Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1075

(875)

Ариадна Тыркова-Вильямс

ЖИЗНЬ ПУШКИНА

ТОМ ВТОРОЙ

1824–1837

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2004

УДК 882(092)
ББК 83.3(2 Рос=Рус)1-8
Т 93

Издание четвертое

ISBN 5-235-02652-7 (т. 2)
ISBN 5-235-02650-0

К ЧИТАТЕЛЯМ

Оба тома «Жизни Пушкина» я писала в Лондоне и оба тома печатаю в Париже. Это не мешало мне во время работы мысленно жить в тогдашней, Пушкинской, России. В промежутке между появлением моих двух томов в нынешней России произошел крутой перелом в отношении к Пушкину. Его официально признали национальным гением. Его столетний юбилей справили шумно, пышно. Перед ним широко распахнули двери. Его сочинения были переизданы в сотнях тысяч, если не в миллионах экземпляров. Но, насколько я могла уследить, среди этих изданий нет ни фототипического, ни просто полного издания всех его рукописей, включая черновики. Это, конечно, беднит труды исследователей, которые, как я, лишены возможности изучать их в русских книгохранилищах. Все же юбилей вызвал в Пушкиниане движение. Труды многочисленных пушкинистов внесли дополнения и подробности в прежнюю обширную литературу о Пушкине. Их работами, насколько это было возможно в Лондоне, я пользовалась с большой благодарностью.

Самый факт Пушкинского юбилея, как он был отпразднован в России и за границей, русскими и иностранцами, — это один из немногих солнечных лучей в затемненных сумерках русской и мировой жизни. Ярким пламенем вспыхнуло лучезарное имя Пушкина, наполняя законной гордостью усталые души его соотечественников. Но об этом, как и о

многом, связанном с Пушкиным, следует писать целые книги. И я уверена, что кто-то где-то их уже с волнением и радостью обдумывает, вынашивает, пишет.

В заключение считаю своей приятной обязанностью от души поблагодарить гр. С. В. Панину и Б. А. Бахметьева, которые своим участием и поддержкой сделали возможным появление этого тома.

Версаль.
1948 г. Май

Ариадна Тыркова-Вильямс

Часть первая

МИХАЙЛОВСКОЕ

(1824—1826)

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.



Глава I

ВТОРАЯ ССЫЛКА

Но здесь меня таинственным щитом
Святое Провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.
(1835)

Михайловское, куда Пушкина выслали из Одессы, было одним из тех тихих, глухих дворянских уголков, прелесть которых Пушкинское поколение, да и его потомки, далеко не всегда умели ценить. И Пушкин сначала рвался вон из своего дворянского гнезда, чувствовал себя в нем гонимым невольником. Вторая ссылка казалась ему горше первой. Из Одессы привез он в северную деревню острую обиду, сознание незаслуженной кары, тоску любовной разлуки. Его известность уже переходила в славу. Он был полон новых замыслов, чувствовал свою зрелую силу. Тем оскорбительнее было, что с ним обошлись как с провинившимся школьником. Он сам, десять лет спустя, описал свое тогдашнее настроение:

...Я еще был молод,
Но уже судьба меня борьбой неравной истомила,
Я был ожесточен! В унынии часто
Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаньях,
О строгости заслуженных упреков,
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души, доверчивой и нежной —
И горькие кипели в сердце чувства . . . .
(1835)

В черновике есть еще четыре строчки, которые Пушкин не отдал в печать, а в них ключ к его жизни в Михайловском:

Но здесь меня таинственным щитом
Святое Провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Михайловское было частью большого владения, пожалованного Абраму Ганнибалу Императрицей Елизаветой Петровной. Чернокожий генерал-аншеф выстроил себе в этом псковском поместье небольшой незамысловатый домик. После его смерти обширные его угодья раздробились между размножившимися его потомками. Его внучке, Надежде Осиповне, матери поэта, еще досталось две тысячи десятин и 80 душ крестьян, живших в деревне Зуево, в двух верстах от барского дома. Местное название усадьбы тоже было Зуево, но Пушкин всегда говорил — Михайловское, и это название так укрепилось в памяти русских, что можно про Зуево забыть.

Усадьба была простая, запущенная, бедная. Деревенский дом, как был в середине XVIII века выстроен прадедом, так и стоял без переделок, без поправок. Но это было уютное, живописное гнездо. Вокруг дома разросся сад. От него к сосновому лесу на версту тянулась прямая, широкая аллея. На круглом дворе пестрел цветник. Дом стоял на холме, с которого открывался чудесный вид на окаймленное лесистыми холмами озеро. Этот просторный пейзаж зарисован в стихах и Пушкина, и Языкова.

Там, где на дол с горы отлогой
Разнообразно сходит бор,
В виду реки и двух озер
И нив с извилистой дорогой,
Где древним садом окружен,
Господский дом уединенный
Дряхлеет, памятник почтенный
Елисаветиных времен...

(«На смерть няни», Языков)

Пушкин, десять лет спустя после Михайловской ссылки, писал:

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогой невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...

(1835)

Сначала все в деревне его тяготило. Даже природа. Он был так полон острой красотой юга, что не замечал тихой прелести

севера, не поддавался ей, чувствовал себя чужим. Да и в родительском доме ему было не по себе.

Когда Александр неожиданно приехал из Одессы, вся семья Пушкиных была в Михайловском. Четыре года не виделся он с ними. Сестра Ольга, и в особенности брат Левушка, обрадовались его приезду, зато родители переполошились. Их напугало, что Александр был сослан за безбожие. Когда-то Сергей Львович гордился своим вольнодумством, но при изменившемся настроении двора, где теперь на такой образ мыслей смотрели косо, изменилось и настроение части дворянства. Безответственное, шутливое, вольтерьянское отношение к религии, которым тешились прежние поколения просвещенных бар, стало опасной непристойностью, если не преступлением. Александр I, впервые раскрывший Библию, когда Наполеон вторгся в Россию, теперь строго осуждал безбожие. В этом грехе архимандрит Фотий подозревал даже благочестивого сановника князя А. Н. Голицына. При таком настроении верхов Пушкина, за несколько неосторожных, шутливых строк об атеизме, нашли нужным покарать с неожиданной суровостью, хотя в царствование Александра I людей не подвергали гонениям за мысли. Местное начальство, под надзор которого Пушкин был сослан, не знало, что делать с таким преступником. И псковский губернатор, барон Адеркас, и стоявший над ним генерал-губернатор Балтийского края и Псковской губернии маркиз Паулуччи не знали, как надлежит поступать с ссыльным дворянином, что ему запрещать, что дозволять? Губернатор, который сам пописывал стишки и не прочь был их показать Пушкину, отобрал от него подписку, что «он обязуется жить безотлучно в поместье родителей, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями предосудительными и вредными и не распространять никуда оных». Дальнейший надзор за исключенным со службы коллежским секретарем Александром Пушкиным губернатор передал А. Н. Пещурову, который, как уездный предводитель дворянства, нес ответственность за поведение всех дворян Опочецкого уезда. Обязанность была неприятная, и Пещуров попытался спустить ее соседу Пушкина, И. М. Рокотову. Но у Рокотова тоже не было ни малейшей охоты отвечать за поэта, стихи которого он, может быть, и не читал, но об его дуэлях и меткой стрельбе из пистолета слыхал. Рокотов отказался. Тогда власти придумали другой исход. Паулуччи написал Пещурову:

«Если Статский Советник Пушкин (отец) даст подписку, что будет иметь неослабный надзор за поступками и поведе-

нием сына, то в сем случае последний может оставаться под присмотром отца и без избрания к такому надзору дворянина, тем более, что отец Пушкина есть один из числа добронравнейших и честнейших людей».

Губернатор в довольно неграмотной форме сообщил об этом в Петербург:

«С. Л. Пушкин с крайним огорчением об учиненном преступлении сыном отозвался неизвестностью, но поручен в полное его смотрение с тем заверением, что он будет иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим» *(4 октября 1824 г.)*.

Это был один из многих необдуманных поступков в жизни Пушкина-отца. Отношения с сыном быстро и бурно обострились. Александр писал княгине Вере Вяземской, по-французски, как почти всегда писал женщинам:

«...Я пропадаю от бешенства и скуки, от дурацкой жизни... Сбылось то, что я предвидел. То, что я очутился в своей семье, только удвоило мои огорчения и без того довольно существенные. Правительство имело низость предложить моему отцу стать орудием его гонений. Меня корят за ссылку, боятся, что я навлеку на семью несчастия, уверяют, что я проповедую безбожие моей сестре, этому небесному созданию, и моему брату, очень юному, очень забавному... Мой отец имел слабость принять это поручение, которое во всяком случае ставит его в ложное положение передо мной. Поэтому я провожу верхом и в полях все время, которое я не провожу в постели. Все, что напоминает мне море, нагоняет на меня тоску — шум фонтана делает мне больно — я, вероятно, заплакал бы от бешенства при виде ясного неба, но слава Богу, небо у нас сивое, луна точно репка» *(10—15 октября 1824 г.)*.

Это единственная русская фраза. Шуткой пытался Пушкин прикрыть свою тоску. Не о море, о графине Элизе тоскует он. Даже в работе не сразу находит успокоение. Чтобы писать, нужно иметь свой угол. В Михайловском у него его не было. Ни мать, ни отец не умели, не хотели считаться с его работой. Они всю жизнь провели в праздности, не понимали, что значит работать, и своего первенца не понимали они. Не любили. Третьестепенными французскими поэтами Пушкины восхищались, а в своей семье просмотрели гения.

Писать Пушкин начал сразу по приезде. В ту же осень написал он «Разговор поэта с книгопродавцем», «Подражание Корану», кончил «Цыган». А отец изводил его сценами, которые гнали поэта вон из дому и принимали все более и более тяжелый, угрожающий характер. Закон сурово карал за непочтение или неповиновение родителям. Отец имел право отдать сына в солдаты, сослать в Сибирь, Пушкин это знал.

Жуковскому, который был в давних приятельских отношениях со старшими Пушкиными, Александр писал:

«Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен, как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче — быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно. Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и велит ему не знаться с этим чудовищем (avec ce monstre), с этим блудным сыном (ce fils dénaturé)... Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца... Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить*. Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — еще раз спаси меня.

Поспеши: обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться — дойдет до Правительства, посуди, что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я hors de loi*.

P. S. Надобно тебе знать, что я уже писал бумагу губернатору, в которой прошу его о крепости, умалчивая о причинах. П. А. Осипова, у которой пишу тебе эти строчки, уговорила меня сделать тебе и эту доверенность. Признаюсь, мне немного на себя досадно, да, душа моя, голова кругом идет» *(31 октября 1824 г.)*.

На счастье Пушкина, П. А. Осипова, хозяйка соседней усадьбы Тригорское, приказала своему человеку, с которым Пушкин послал письмо псковскому губернатору, не отдавать письма, а привезти его обратно под предлогом, что губернатора нет в городе. В то же время Осипова написала Жуковскому, осторожно рассказала ему про семейные распри Пушкиных и прибавила:

---

* Вне закона *(фр.)*.

«Из здесь приложенного письма усмотрите вы, в каком положении находится молодой, пылкий человек, который кажется увлечен сильным воображением, часто к несчастью своему и всех тех, кои берут в нем участие, действует прежде, а обдумывает после. Вследствие некоторых недоразумений или лучше сказать разных мнений по одному и тому же предмету с отцом своим, вот какую просьбу послал Александр к нашему Адеркасу...» Осипова просила Жуковского «не дать погибнуть сему молодому, но право хорошему любимцу Муз, а я, пользуясь несколько дружбою и доверенностью А. П., постараюсь, если не угасить вулкан, по крайней мере направить пути лавы безвредно для него».

П. А. Осипова понимала некоторые стороны характера Пушкина тоньше, чем понимали его умные друзья, включая и Жуковского, который не спешил отвечать на отчаянные письма поэта. Отозвался на них только в ноябре, да и то с укоризной:

«На письмо твое, в котором описываешь, что случилось между тобой и отцом, не хочу отвечать, ибо не знаю, кого из вас обвинять и кого оправдывать. На все, что с тобой случилось и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ — Поэзия. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач, у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро заслуженное. Ты более нежели кто-нибудь можешь и обязан иметь нравственное достоинство. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждение. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастные, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую со спокойного берега утопающему. Нет, я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет. Плыви, силач, а я обнимаю тебя» *(ноябрь 1824 г.)*.

Пока письмо это дошло до Михайловского, Сергей Львович, ссылаясь на неотложные семейные дела, требовавшие его присутствия в Петербурге, отказался от надзора за ссыльным сыном и уехал с семьей в столицу. Опять Александр на несколько лет расстался с семьей, даже не переписывался с ними. Опять, как в ранней его юности, только несколько лет спустя рост его славы заставил отца и мать искать примирения с сыном.

Оставшись один, Пушкин понемногу успокоился. Черновой набросок ответного письма к Жуковскому еще кипит досадой, но он уже с усмешкой передает слова отца: «Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать

руками», и прибавляет уже с горечью: «Стыжусь, что доселе не имел духа исполнить пророческую весть, что разнеслась недавно обо мне, и еще не застрелился...» Этих слов нет в окончательном, смягченном тексте письма:

«Отец говорил после: *Экой дурак, в чем оправдывается! да он бы еще осмелился меня бить! да я бы связать его велел!* — зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? *Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками?* Это дело десятое. *Да он убил отца словами!* — каламбур, и только. Воля твоя, тут и поэзия не поможет» *(29 ноября 1824 г.)*.

На самом деле поэзия, как всегда, пришла к нему на выручку.

Ссора с отцом была скоро забыта. Близости между ними никогда не было, терять Александру было нечего, потребность в семье, в домашнем тепле так и осталась неудовлетворенной. Живя на юге, он издали вообразил, что между ним и Левушкой может установиться тесная братская дружба, что брат может стать поверенным его дел и мыслей. Быстро рассеялась и эта иллюзия.

Лев был на шесть лет моложе Александра. У него была такая же острая память, как и у старшего брата, стихи которого он запоминал безошибочно и мог без конца декламировать, подражая манере поэта, как подражал он и его почерку. Вяземский уверял, что некоторые стихи Пушкина хранились только в памяти Льва. Может быть, но до потомства они не дошли. Лев пережил брата на двадцать лет, но не записал ни одной строчки его неизданных стихов, не оставил о нем писанных воспоминаний, кроме нескольких отрывистых страничек. Все было некогда. Была в нем бездельная суетливость, напоминавшая дядюшку Василия Львовича.

Писем Льва Пушкина у нас нет, но есть письма Александра к нему, тринадцать с юга России, девятнадцать из Михайловского и три короткие деловые записочки, написанные гораздо позже. Первое письмо Александра с юга начинается очень ласково: «Милый брат, я виноват перед твоею дружбою, постараюсь загладить вину мою длинным письмом...» Это то классическое по стилю и содержанию письмо из Кишинева, где Пушкин описывает свое путешествие с Раевскими. Письмо написано в таком тоне, точно обращено к товарищу поэту, а не к пятнадцатилетнему мальчику, проявившему себя только тем, что он уже был исключен из двух школ. Лев рано сблизился с писателями, видался с Кюхельбекером, бывал у Дельвига и Баратынского, которые жили вместе, беспечно, безалаберно и весело. Лев тоже пробовал писать стихи, посылал их брату в Кишинев. В ответ Александр писал ему:

«Благодарю тебя за стихи; более благодарил бы за прозу. Ради Бога, почитай поэзию — доброй, умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтоб забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтаньем и сказками; но влюбиться в нее — безрассудно» *(24 сентября 1820 г.)*.

Одно время он все-таки считал Льва писателем. «Ты, Дельвиг и я можем все трое плюнуть на сволочь нашей литературы» *(13 июня 1824 г.)*, — писал он брату из Одессы. «Я тебе буду отвечать со всевозможной болтливостью, и пиши мне по-русски, потому что, слава Богу, с моими конституционными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку» *(27 июля 1824 г.)*.

Александр журил брата за полурусские, полуфранцузские письма, но так как «болтливость братской дружбы была бы мне большим утешением», то он шел на уступки: «Пиши мне, пожалуйста, как тебе угодно; хоть на шести языках; ни слова тебе не скажу — мне без тебя скучно» *(21 июля 1822 г.)*.

Раз в письме, где двадцатитрехлетний поэт внушал младшему брату «житейские правила, выработанные собственным горьким опытом», Александр и сам сбился на французский. Он писал это письмо под впечатлением какой-то светской обиды. К ним Пушкин был всю жизнь не в меру чувствителен. В его кругу чувства, связанные со светским самолюбием, со светской жизнью, все еще принято было выражать по-французски, на родном языке для них не находили оттенков. Все остальные письма Пушкина к брату писаны по-русски, быстрым разговорным языком, который так отличает стиль его писем от стиля его корреспондентов. О своих литературных делах Пушкин начал писать брату только из Михайловского. С юга писал мельком, просил достать от Никиты Всеволожского проигранную ему тетрадку стихов, иногда посылал свои новые стихи, а потом сердился, что Левушка их всем читает и дает списывать.

«Плетнев пишет мне, что Бахч. Фонт. (тогда еще не изданный. — *А. Т.-В.*) у всех в руках. Благодарю вас, друзья мои, за ваше милостивое попечение о моей Славе» *(январь 1824 г., Одесса)*.

Но это еще было мимолетное раздражение. Встретившись наконец после четырехлетней разлуки в Михайловском, братья быстро подружились. Они вместе спасались от родительской воркотни в соседнем Тригорском, вместе там дурачились, волочились за барышнями. Когда семья уехала, Александр писал Левушке из Тригорского: «Я в Михайловском редко, Annette очень смешна; сестра расскажет тебе мои новые фарсы. Все там о тебе сожалеют, я ревную и браню тебя — скука смертная везде» *(начало ноября 1824 г.)*.

Через несколько дней опять о тригорских барышнях:

«Кстати о талии: на днях я мерялся поясом с Евпр., и тальи наши нашлись одинаковы. След. из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины. Евпр. дуется и очень мила, с Анеткой бранюсь; надоела!» *(ноябрь 1824 г.).*

Левушке только что минуло 19 лет, он побывал в нескольких учебных заведениях, ни одного из них не кончил, был, по протекции А. И. Тургенева, причислен к Департаменту духовных дел, где ничего не делал. Он вообще ничего не делал. Жил с родными, постоянно нуждался в деньгах, а когда деньги перепадали, тратил их быстро и беспечно. Этому веселому, ветреному, пустому малому доверчивый поэт вздумал поручить свои дела, ждал от него толковых ответов на свои письма. Левушка получать письма любил, отвечать не любил. Он писал своему приятелю С. А. Соболевскому: «Отвечать мне на все письма, или сослать меня на каторгу: для меня почти одно и то же...» И опять в другом письме: «Не взыскивай на меня, что я не пишу тебе по три месяца, ты знаешь мою лень, она из меня делает черт знает какую скотину» *(1826).*

Александру тоже следовало бы знать, до чего Левушка ленив и безделен, а он упрямо добивался от него деловитости. Возможно, что его обманывало, несомненно, искреннее восхищение, с которым Левушка бросался на его стихи. Полушутя, вскользь упоминает об этом Пушкин в письме к Вяземскому: «Брат очень забавен и очень юн. Он восторгался моими стихами, но сам я ему надоел» *(10 октября 1824 г.).*

К неудовольствию отца и матери, между братьями началась переписка. Вначале, когда Пушкин еще не писал друзьям, боясь скомпрометировать их своими письмами, он писал брату о своем житье, о политике и литературе, намекал на свои планы бежать за границу: «Пусть оставят меня так, пока Царь не решит моей участи. Зная его твердость и, если угодно, упрямство, я бы не надеялся на перемену судьбы моей, но со мной он поступил не только строго, но и несправедливо. Не надеясь на его снисхождение, надеюсь на справедливость его. Как бы то ни было, не желаю быть в ПБ, и, верно, нога моя дома уж не будет. Сестру целую очень. Друзей моих также — тебя в особенности» *(ноябрь 1824 г.).*

Старший брат давал младшему всякие житейские поручения. В Пушкинском музее хранится автограф — клочок бумаги со списком:

Бумаги, перьев
Облаток, чернил
Чернильницу de voyage*

---

* Дорожную *(фр.).*

Чемодан
Библии две
Шекспир Bordeaux
Вина Sautern Табак
Сыр Champagne Гл. трубку
Курительницу Lampe de Voyage*
Chemises**
Bague
Medallion simple
Monte***

В деревне ничего нельзя было купить, все привозилось за четыреста верст из Петербурга, куда время от времени отправлялся, конечно на собственной подводе, приказчик Михайло Калашников. Он и привозил все нужное для дома и для хозяйства. Помимо вина и сыра, Пушкин, с еще большей настойчивостью, требовал книг. Левушка выпить любил и вино присылал довольно аккуратно, но о книгах приходилось несколько раз ему напоминать.

«Стихов, стихов, стихов! Conversations de Byron! Walter Scott!**** это пища души... Ах, Боже мой! Чуть не забыл! вот тебе задача: историческое, сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице Рус. Ист.» *(начало ноября 1824 г.)*.

Пушкина бунтари всегда интересовали. В предыдущем письме он просил прислать «Жизнь Емельки Пугачева». Такой книги не было. Одиннадцать лет спустя он сам ее написал. Настойчиво, неоднократно, просил он Левушку прислать ему Библию по-французски.

«Мих. привез мне все благополучно, а Библии нет. — Библия для христианина то же, что История для Народа» *(4 декабря 1824 г.)*.

«Ты мне не присылаешь Conversations de Byron, добро! но милый мой, если только возможно, отыщи, купи, выпроси, укради «Записки» Fouché и давай мне их сюда; за них отдал бы я всего Шекспира; ты не воображаешь, что такое Fouché. Он по мне очаровательнее Байрона. Эти записки должны быть сто раз поучительнее, занимательнее, ярче записок Наполеона, т. е. как политика, п. ч. в войне я ни черта не

---

* Дорожную лампу *(фр.)*.
** Сорочки *(фр.)*.
*** Перстень *(фр.)*.
Простой медальон (?) *(фр.)*.
Здесь, очевидно, экипировка для верховой езды *(фр.)*.
**** Беседы Байрона! Вальтер Скотта! *(фр.)*.

понимаю. На своей скале (прости Боже мое согрешение) Наполеон поглупел, — во-первых лжет как ребенок, 2) судит о таком-то не как Наполеон, а как парижский памфлетер, какой-нибудь Прадт или Гизо... Читал ты записки Наполеона? Если нет, так прочти: это, между прочим, прекрасный роман, mais tout ce qui est politique n'est fait que pour la canaille*» *(февраль 1825 г.).*

Несколько времени спустя опять список поручений: «Душа моя, горчицы, рому, что-нибудь в уксусе — да книг: Conversations de Byron, Mémoires de Fouché, Талию, Старину да Sismondi (littérature)**, да Schlegel (dramaturgie), если есть у St. Florent***.

Хотел бы я также иметь новое изд. Собр. Рус. Стих., да дорого, 75 руб. Я и за всю Русь столько не даю. Посмотри однако ж» *(14 марта 1825 г.).*

Купить горчицу и вино можно было поручить Калашникову, книги выписать прямо из лавки француза Флорана. Но Левушке были поручены и несравненно более важные дела — быть посредником в переговорах с цензурой и с книгопродавцами. Издателем был сам Пушкин. Когда младший брат уезжал из Михайловского, Александр вручил ему рукопись первой главы «Онегина» и «Разговор книгопродавца с поэтом», который должен был быть издан в одной книге с первой главой романа. Левушке поручалось переписать рукопись и сговориться с типографией. Ему же поручил поэт другое важное дело, подготовку издания первой книги своих стихотворений: «Брат, обнимаю тебя и падаю до ног. Обнимаю также и алжирца Всеволожского. Перешли же мне проклятую мою рукопись — и давай уничтожать, переписывать и издавать. Как жаль, что тебя со мною не будет! Дело бы пошло скорее и лучше. — Дельвига жду, хоть он и не поможет. У него твой вкус, да не твой почерк» *(14 марта 1825 г.).*

Левушка, по примеру отца и дядюшки, обожал рыскать по городу, разносить новые вести и новые стихи. Об «Онегине» уже говорили, уже с нетерпением его ждали. С рукописью брата в кармане Левушка всюду был желанным гостем. Он тешился своими салонными успехами. Несколько лет спустя

---

* Но все, что относится к политике, писано только для черни *(фр.).*

** У Пушкина был французский перевод «De la littérature dramatique» Sismondi. 1814, издание 1814 года. *(Прим. авт.)*

*** Беседы Байрона, мемуары Фуше... Сисмонди (литература)... Шлегель (драматургия)... Сен-Флорана *(фр.).*

Ф. Глинка писал Пушкину: «Мы слушали живое стереотипное издание творений ваших — вашего любезного братца Льва Сергеевича... Он прочитывал от доски до доски целые поэмы ваши наизусть с величайшей легкостью и с сохранением всех оттенков чувств и пиитических красот» *(17 февраля 1830 г.)*.

Александра мало радовало, что благодаря Левушке его неизданные стихи расходились в списках по дворянским городским домам и деревенским усадьбам. Левушка, не смущаясь недовольством брата, беспечно расточал его стихи и его деньги, путал его расчеты, не мог собраться сдать «Онегина» в цензуру. Александр терпел долго и добродушно. «Между нами, брат Лев у меня на руках, — писал он Вяземскому. — От отца ему денег на девок да на шампанское не будет; так пускай «Телеграф» с ним сделается, и дай Бог им обоим расторговаться с моей легкой руки» *(июль 1825 г.)*.

Но деньги ему и самому были очень нужны, так как он собирался бежать за границу. «Скажи Плетневу, — писал Пушкин Дельвигу, — чтоб он Льву давал из моих денег на орехи, а не на комиссии мои, потому что это напрасно. Такого бессовестного комиссионера нет и не будет» *(начало июня 1825 г.)*.

К этому времени он уже потерял терпение и написал Левушке письмо, похожее на обвинительный акт: «Я на тебя полагался как на брата, — между тем год прошел, а у меня ни полушки. Если б я имел дело с одними книгопродавцами, то имел бы тысяч 15.

Ты взял от Плетнева для выкупа моей рукописи 2.000 р., заплатил 500, доплатил ли остальные 500? и осталось ли что-нибудь от остальной тысячи?

Я отослал тебе мои рукописи в марте — они еще не собраны, не цензированы. Ты читаешь их своим приятелям до тех пор, что они наизусть передают их Моск. публике. Благодарю.

Дельвига письма до меня не доходят. Издание поэм моих не двинется никогда. Между тем я отказался от предложения Заикина. Теперь прошу если возможно возобновить переговоры. Словом, мне нужны деньги или удавиться. Ты знал это, ты обещал мне капитал прежде году — а я на тебя полагался. Упрекать тебя не стану, а благодарить ей Богу не за что». И в конце письма вопрос: «Заплочены ли Вяземскому 600?» *(28 июля 1825 г.)*.

На этом кончилась их переписка. Следующей весной Александр написал Левушке еще какое-то письмо, которое

друзья, старавшиеся примирить братьев, называли убийственным. Оно до нас не дошло. Охлаждение старшего брата не помешало Левушке, по словам Анненкова, «во всех кризисах своего существования, а их было не мало, обращаться к надежной опоре — к своему брату».

Александр не раз выручал Левушку, платил его долги, хлопотал за него. По мере того, как росла слава и росли доходы поэта, семья все бесцеремоннее требовала от него помощи и поддержки. После Михайловского семейных иллюзий у него не оставалось. Но по бесконечной доброте своей и ради чувства родового долга, которое в нем было очень сильно, он делал для них что мог, даже больше. Левушка во многом был виноват перед старшим братом, но в семье он лучше всех понимал поэта, по-своему его любил, перед его поэзией преклонялся. В самом Левушке бродили какие-то поэтические задатки, которым не пришлось выявиться. Трудно было рядом с Александром развернуться еще другому Пушкину. В Левушке не было ни тени зависти к знаменитому брату, которая так неприятно просачивается в письмах их сестры, неудачницы. Ольгу Пушкину по какому-то недоразумению принято считать близким другом поэта. На самом деле ни в стихах Пушкина, ни в его переписке нет и тени этой дружбы. А в письмах Ольги сквозит явное недоброжелательство, почти враждебность к брату.

Вяземский, который всегда старался отмечать в людях, особенно в умерших, их лучшие стороны, после смерти Льва Пушкина писал: «Лев, или как слыл он до смерти Левушка, питал к Александру некоторое восторженное поклонение. В любовь его входила может быть и частичка гордости. Он гордился тем, что был его братом — и такая гордость не только простительна, но и естественна и благовидна. Он чувствовал, что лучи славы брата несколько отсвечиваются и на нем, что они освещают и облегчают путь ему».

Пушкина рассердило не только небрежное отношение брата к денежным и литературным делам, но и то, что Левушка разболтал об его планах бежать за границу. Еще в Одессе Пушкин мечтал о бегстве в чужие края. В Михайловском желание бежать обострилось. Резкая внезапность новой ссылки, оскорбительное исключение со службы, враждебные ему рассказы о причинах его ссоры с Воронцовым, неуверенность, что общественное мнение на его стороне, — все это растравляло самолюбие Пушкина, задевало его гордость. Оправдываться и объясняться по почте было невозможно. По словам Пущина, «друзья поэта в Петербурге и Москве, огорченные несомненным этим известием (об его ссылке), теря-

лись в предположениях. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Все это нисколько не утешало нас».

Пушкин знал, что даже его друзья не понимают, что проделал с ним Воронцов, и, вероятно, писал об этом Дельвигу. Этого письма у нас нет, но есть ответное письмо Дельвига:

«Великий Пушкин, малое дитя. Иди как шел, т. е. делай что хочешь, но не сердись на меры людей и без того довольно напуганных. Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который не бранил бы за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Если бы ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными ссрдцами нашими, как ты. Чего тебе нс достает? Не дразни их год или два, Бога ради. Употрсби получшс время твоего изгнания» *(28 сентября 1824 г.)*.

Но Пушкин весь первый год рвался на свободу. Старый дом, где родная семья встретила его так неприветливо, казался сму тюрьмой. Свободным он себя и в Одессе не чувствовал, но там было мелькание его любимой городской жизни, были люди, была итальянская опера, красивые женщины, пирушки, приятели, поклонники. Была волшебная графиня Элиза. И все-таки Пушкин уже в Одессе строил планы бегства. Заканчивая там первую главу Онегина, Пушкин писал:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

В то же время писал он брату прозой: «Не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж». Но уехать ему не пришлось.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!
Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

(«К морю». 1824 г.)

Помешала бегству не только могучая страсть, любовь к Воронцовой. Были и более прозаические препятствия. Нелегко было ускользнуть из России, даже имея таких живописных сообщников, как Мавр Али, пират Египетской земли, и две хорошенькие светские женщины, Вера Вяземская и графиня Элиза. Воронцов подозревал, что они что-то затевают. Это усилило его раздражение против Пушкина и его неприязнь к жене Вяземского. Почт.-директор А. Я. Булгаков, в письмах которого сохранилось много то забавных, то характерных подробностей Пушкинской эпохи, писал брату, что граф Воронцов просил его передать княгине Вяземской письмо от графини Элизы. Вяземская удивилась церемонному тону этого письма, так как в Одессе очень сблизилась с Воронцовой. Она спросила Булгакова:

— В чем дело? Вы не знаете?

— Не знаю, — отвечал ей почт.-директор, но брату пояснил:

«А я очень знаю, что Воронцов желал, чтобы сношения с Вяземской прекратились у графини. Он очень сердит на них обеих, особливо на княгиню, за Пушкина, шалуна-поэта, да и поделом: Воронцова хотела помочь его бегству из Одессы, искала для него денег, корабль. Ну есть ли в этом какой-нибудь здравый смысл?» *(12 июня 1825 г.)*.

Если, несмотря на таких пособниц, Пушкин не мог ускользнуть из приморской Одессы, то тем труднее было бежать из далекой от границы псковской усадьбы. Было только два способа выбраться из нее — царская милость или эмиграция. На первую было так мало надежды, что Пушкин сразу стал обдумывать план бегства. Первым его советчиком был Левушка. Другим был сын Осиповой, дерптский студент Алексей Вульф, тоже помощник несерьезный. Он сочинил рискованный план. Пушкин под предлогом аневризма должен был выхлопотать себе разрешение ехать в Дерпт, якобы на консультацию с известным профессором медицины Мойером. Из Дерпта А. Вульф обещал вывезти Пушкина за границу под видом своего крепостного слуги. Нашлась опять женщина, готовая ему помочь, — П. А. Осипова. Но ей хотелось знать,

как отнесутся к этому друзья поэта? Извещая Жуковского о ссоре Александра с родными, она писала:

«Я живу в двух верстах от Михайловского, где теперь А. П., и он бывает у меня каждый день. Желательно было бы, ч. б. ссылка его сюда скоро кончилась, иначе... Я боюсь быть нескромной, но желала бы, чтобы вы, милостивый государь Василий Андреевич, меня угадали. Если Александр должен будет долго оставаться здесь, то прощай для нас русских его талант, его поэтический гений, и обвинять его не должно будет. Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнейшего размышления из огня выскочит в пламя...»

Иносказательно и туманно спрашивала она, считает ли Жуковский «полезным для русского орла воздух и солнце Франции?».

Смирный Жуковский в такой перемене воздуха, по-видимому, пользы не видел, на эти намеки не откликнулся, а может быть, не сразу понял, в чем дело.

У Пушкина никакого аневризма не было, было только расширение вен на одной ноге. По почте Пушкин боялся объяснять столичным друзьям, зачем ему понадобился аневризм. Они забеспокоились об его здоровье. Потом встревожили их слухи о бегстве, которые благодаря Левушкиной болтовне пошли по Петербургу.

«Мне дьявольски не нравятся П[етербургс]кие толки о моем побеге, — писал Александр брату. — Зачем мне бежать? Здесь так хорошо. Когда ты будешь у меня, то станем трактовать о *банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева»* *(декабрь 1824 г.).*

Чаадаев был за границей. Пушкин мечтал с ним там встретиться. Но зима прошла, а Пушкин все сидел в Михайловском. В конце мая Н. О. Пушкина, не спросив согласия Александра, по совету Карамзина и Жуковского подала прошение на Высочайшее Имя: «Со всею тревогою уязвленного материнского сердца, осмеливаюсь припасть с мольбой к стопам Вашего Императорского Величества о благодеянии для моего сына. Государь, не отымите у матери предмета ее нежной любви. Благоволите разрешить моему сыну поехать в Ригу или в какой-нибудь другой город, который угодно будет Вашему Величеству указать, чтобы подвергнуться операции, которая одна дает мне надежду сохранить его...»

Канцелярская переписка, возникшая из-за этого прошения, показывает, что петербургские чиновники, штатские и военные, тогда еще не очень внимательно следили за Пушкиным. Из канцелярии начальника Главного штаба

И. И. Дибича, с которым Пушкину позже не раз придется иметь дело, послали запрос в Коллегию иностранных дел, в каком чине состоит Александр Пушкин и сообщено ли о нем псковскому губернатору? Коллегия ответила, что Пушкин ровно за год перед тем был уволен со службы. Тогда генерал Дибич сообщил губернатору Адеркасу, «что Император разрешил Пушкину приехать в Псков и иметь там пребывание для излечения от болезни», но прибавил, что предписано «иметь наблюдение за поведением и разговорами г. Пушкина».

Пушкин взбесился: «Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно, — писал он Жуковскому, — тем более, что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство во Пскове, но я строго придерживался повеления высшего начальства.

Я справлялся о Псковских операторах; мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге о лечении лошадей. Несмотря на все это, я решился остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность Его Величества.

Боюсь, чтоб медленность мою пользоваться монаршей милостию не почли за небрежение или возмутительное упрямство. Но можно ли в человеческом сердце предполагать такую адскую неблагодарность?

Дело в том, что десять лет не думав о своем аневризме, не вижу причины вдруг о нем расхлопотаться. Я все жду от человеколюбивого сердца Императора, авось-либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства. Обнимаю тебя горячо» *(начало июля 1825 г.)*.

А друзья все не понимали, в чем дело. Жуковский оказал Пушкину медвежью услугу — попросил профессора Мойера, с которым был дружен, навестить поэта в Михайловском. Плетнев, думая обрадовать Пушкина, писал: «Когда Мойер услышал, что у тебя аневризм, то сказал: «Я готов всем пожертвовать, чтобы спасти первого для России поэта»... Жуковский тебя обнимает. Ты не поверишь, с каким он участием всегда говорит о тебе. Ты только люби Поэзию, а тебя все не перестанут любить и почитать» *(5 июля 1825 г.)*.

Пушкин попал в глупое положение и поспешил написать Мойеру: «Ради Бога не приезжайте и не беспокойтесь обо мне. Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтоб отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания. Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести» *(29 июля 1825 г.)*.

Все были сбиты с толку, Языков, тогда еще дерптский студент, писал брату: «Письмо (Пушкина к Мойеру. — *А. Т.-В.*) очень учтиво и сверкает блесками самолюбия. Я не понимаю этого поступка Пушкина. Впрочем, едва ли можно объяснить его правилами здравого разума» *(9 августа 1825 г.)*.

Наконец друзья сообразили, в чем дело. Близкая приятельница Жуковского, А. А. Воейкова, писала ему: «Милый друг, Плетнев поручил мне отдать тебе это и сказать, что он думает, что Пушкин хочет иметь 15 тысяч, чтобы иметь способ *бежать* с ними в Америку или в Грецию. Следственно, не надо доставать их ему. Он просит тебя, как единственного человека, который может иметь на него влияние, написать Пушкину и доказать ему, что не нужно терять верные 40 тысяч, с терпения. Ежели Плетнев продаст сам все поэмы вместе, то может иметь 40 тысяч и надо говорить только о деньгах, не подавая виду, что есть другие причины и также истолковать ему, что Псков — это очевидное недоразумение или можно выписать туда доктора. Одним словом, он думает, что ты один имеешь власть над Пушкиным, и просит тебя отвечать на эти письма».

Странно теперь читать наставительные письма, которые свободолюбивый Вяземский, мягкий Жуковский, даже Плетнев, робевший перед поэтом, писали ему точно школьнику, которого надо удержать от опасной шалости. Жуковский, узнав, что Пушкин отказался от услуг Мойера, а может быть, и получив письмо Воейковой (недатированное), писал ему: «Прошу не упрямиться и не играть безрассудно жизнью и не сердить дружбы, которой жизнь твоя дорога. До сих пор ты тратил ее с недостойною тебя и с оскорбительною для нас расточительностью, тратил и физически, и нравственно. Пора уняться. Она была очень забавной эпиграммой, но должна быть возвышенной поэмой. Не хочу ораторствовать, лучший для тебя оратор есть твоя судьба. Ты сам ее создал и сам же можешь и должен ее переменить. Она должна быть достойна твоего Гения и тех, которые, как я, знают ему цену, его любят и поэтому тебя не оправдывают» *(9 августа 1825 г.)*.

Вяземский, мнением которого Пушкин тоже дорожил, обрушился на него еще резче. Летом, на морских купаниях в Ревеле, он подружился с Ольгой Пушкиной и принял ее точку зрения на поведение Пушкина. Она показала письмо, которое Пушкин ей написал после того, как узнал, что их мать подала прошение царю. В этом письме, которое до нас не дошло, Пушкин высказал предположение, что мать таким путем просто хотела выселить его из Михайловского: «Так как они будут очень довольны, когда меня не будет в Михайловском, то мне остается ждать только соответственного приказа»

(Comme on sera bien à l'aise de me voir hors de Michailovskoie j'attends qu'on m'en signifie l'ordre).

Эту фразу Вяземский цитирует в своем длинном укоризненном письме и говорит, что Ольга из-за брата проплакала целый день. Вяземский удивлялся, почему Пушкин не ценит материнских хлопот и старается «все делать на перекор тем, которые тебе доброжелательствуют». Своим отказом ехать лечиться в Псков Пушкин «только подает новый повод к тысячам заключений о твоих намерениях, видах, надеждах». Он обязан ехать в Псков и тем показать, «что ты уважил заботы друзей, не отвергнул из упрямства и прихоти милости царской и не был снова на ножах с общим мнением, с общим желанием... Ты портишь свое положение. И для нас, тебя знающих, есть какая-то таинственная несообразимость в упорстве не ехать во Псков, что же должно быть в уме тех, которые ни времени, ни охоты не имеют ломать себе голову над разгадыванием твоих своенравных и сумасбродных логогрифов. Они удовольствуются первой разгадкой — что ты человек неугомонный, с которым ничего не берет, который из охоты идет на перекор власти, друзей, родных и которого вернее или спокойнее держать на привязи подальше. Уж довольно был ты в раздражительности и довольно искр вспыхнуло от этих электрических потрясений. Отдохни. Попробуй плыть по воде, ты довольно боролся с течением. Душа должна быть тверда, но не хорошо ей щетиниться при каждой встрече. Смотри чтобы твоя не смотрела в поросята. Без содрогания и без уныния не могу думать о тебе, не столько о судьбе твоей, которая все-таки уляжется когда-нибудь, но о твоей внутренности, тайности. Ты можешь почерстветь в этой недоверчивости к людям, которою ты закалиться хочешь. И какое право имеешь ты на эту недоверчивость? Разве одну неблагодарность свою. Лучшие люди в России за тебя. Многие из них даже деятельно за тебя. Имя твое сделалось народной собственностью. Чего тебе не достает? Я знаю чего, но покорись же силе обстоятельств и времени. Ты ли один терпишь и на тебя ли одного обрушилось бремя невзгод, сопряженных с настоящим положением не только нашим, но и европейским. Если приперло тебя потеснее другого, то вини свой пьедестал, который выше другого. Будем беспристрастны, не сам ли ты частью виноват в своем положении? Ты сажал цветы, не сообразуясь с климатом. Мороз сделал свое дело, вот и все. Я не говорю, что тебе хорошо, но говорю, что могло бы быть хуже... Тебя читают с жадностью. В библиотеках тебе отведена первая полка, но мы еще не дожили до поры личного уважения... Оппозиция у нас бесплодное и пустое ремесло во всех

отношениях. Она не в цене у народа. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят, разумеется кроме друзей твоих, но ты им не сю дорог... Ты любуешься в гонении, у нас оно, как и авторское ремесло, не есть почетное звание, да оно и не считается званием» *(28 августа 1825 г.)*.

Можно себе представить, как досадно было Пушкину читать эти упреки, на которые по почте было опасно по-настоящему ответить. Уж если Жуковский и Вяземский считали его стремление к свободе прихотью — «если дружба вошла в заговор с тиранством», — то у кого же ему искать сочувствия.

Ответ Пушкина Вяземскому звучит несвойственной ему горечью:

«Очень естественно, что милость Царская огорчила меня, ибо новой милости не смею надеяться, — а Псков для меня хуже деревни, где по крайней мере я не под присмотром полиции. Вам легко на досуге укорять меня в неблагодарности, а были бы вы (чего Боже упаси) на моем месте, так может быть пуще моего взбеленились. Друзья обо мне хлопочут, а мне хуже да хуже. Сгоряча их проклинаю, одумаюсь, благодарю за намерение, как езуит, но все же мне не легче. Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним предлогом к избавлению, ultima ratio libertatis*, — и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку! Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Они заботятся о жизни моей. Благодарю, но черта ли в эдакой жизни. Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере могила моя будет живым упреком, и ты бы мог написать на ней приятную и полезную эпитафию. Нет, дружба входит в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отвратить негодование; выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике, лишают меня права жаловаться (не в стихах, а в прозе, дьявольская разница!), а там не велят и беситься. Как не так! — Я знаю, что право жаловаться ничтожно, как и все прочие, но оно есть в природе вещей» *(13 сентября 1825 г.)*.

Его задело, что Вяземский заподозрил его в любовании гонениями, и он приписал к письму: «P. S. Ты вбил ему (Горчакову. — *А. Т.-В.*) в голову, что я объедаюсь гонением. Ох, душа моя, — меня тошнит... но предлагаемое да едят».

Так добродушно принимал он наставления и выговоры друзей, когда в его больших черных черновых тетрадях уже были вписаны неопровержимые доказательства его превос-

* Последним доводом в пользу освобождения *(лат.)*.

ходства, зрелости его ума, его упорного трудолюбия. Его гения. Там уже были первые наброски Бориса Годунова. Пушкин сам ощущал полноту своих творческих сил. В письме к приятелю сорвалось у него признание: «Душа моя созрела, я знаю, что могу творить». Но это признание осталось только в черновике.

Ни бежать за границу, ни получить от царя прощение Пушкину не удалось. Есть в черновых тетрадях любопытный, воображаемый разговор с Александром I, который показывает, чего поэт хотел от царя:

«Когда б я был Царь, то позвал бы А. П. и сказал ему: — А. С., вы сочиняете прекрасные стихи, я читаю с большим удовольствием.

А. П. поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: — Я читал вашу оду *Свобода.* (Прекрасно хоть она) написана немного сбивчиво, мало обдуманно (вам ведь было 17 лет, когда вы написали эту оду... В. В. я писал ее в 1817 г.). Тут есть 3 строфы очень хорошие... Вы поступили неблагоразумно... Я заметил, вы старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы, вижу, что вы можете иметь мнения неосновательные, что вы не уважили правду, личную честь даже в Царе...

— Ах, В. В., зачем упоминать об этой детской оде. Лучше бы вы прочли хоть 3 или 6 песнь Рус. и Люд., ежели не всю поэму, или часть К. П. и Бах. Фонт. Онегин печатается».

Дальше Пушкин, оправдывая свое поведение на юге, хвалит Инзова, резко говорит о Воронцове, торопится высказать все, что накопилось...

«В. В., вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное, приписывают мне... Я не оправдывался никогда из пустого вольнодумия, от дурных стихов не отказывался, надеясь на свою добрую славу, от хороших, признаюсь, и сил нет отказываться. Слабость непозволительная. — Но вы же и Афей? Вот это уж никуда не годится.

— В. В., как можно судить человека по письму, писанному товарищу, можно ли школьническую шутку взвешивать как преступление, а две пустые фразы судить как бы всенародную проповедь?»

Разговор с невидимым августейшим собеседником кончается отрывистыми, но очень показательными фразами:

«А. Пуш. тут же разгорячился и наговорил мне много лишнего (хотя отчасти правды), я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму Ермак...»

Пушкин твердо знал, что стихи будет писать всюду, куда бы ни загнала его царская немилость.

Глава II

ОПАЛЬНЫЙ ДОМИК

Прогулки, чтенье, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина.
(«Онегин». Гл. IV. 1826 г.)

«Вот уже четыре месяца, как нахожусь я в глухой деревне — скучно, да нечего делать... Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны... Она единственная моя подруга — и с нею только мне не скучно...»

Об этих длинных зимних вечерах, которые он проводил вдвоем с няней, не раз упоминает Пушкин в письмах из Михайловского.

«Знаешь мои занятия? — писал он брату, — до обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» *(первая половина ноября 1824 г.).*

И опять Вяземскому: «Я один-одинешенек; живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни» *(25 января 1825 г.).*

С отъездом семьи Пушкин остался хозяином в Михайловском, но, конечно, за хозяйство и не думал приниматься. Землей и мужиками ведал крепостной староста, Михайло Калашников. В усадьбе и в доме, в особенности в девичьей, где сидели девушки-рукодельницы, царствовала няня, Арина Родионовна. Царство было не особенно пышное. В описи, составленной после смерти поэта, говорится, что дом был 8 сажень длины, 6 ширины. Окон 14, печей 6. Значит, столько же было и комнат. Дом был деревянный, запущенный внутри и снаружи. Полы, окна, двери, давно не крашенные, облупились. Обои оборвались. Скудная мебель обветшала. Единственной роскошью был биллиард, да и то с продранным сукном. Пушкин играл на нем один за неимением партнеров. Прямо из сеней была дверь в комнату, где жил поэт. В этой комнате он спал на деревянной кровати со сломанной ножкой, подпертой поленом, тут же принимал гостей, писал. Там стоял широкий диван, обитый потертой кожей. Было две высоких полки с книгами. И всюду валялись обкусанные

гусиные перья. Еще в Лицее Пушкин приучился писать такими оглодками, которые трудно было удержать в пальцах. На ломберном столе, заменявшем поэту письменный стол, вместо чернильницы долго стояла банка из-под помады.

Все это не смущало Пушкина. Он и позже предпочитал работать в полупустой комнате, были бы только стол да книжные полки. Привычки у него были неприхотливые. Он ел раз в день. Больше всего любил печеный картофель. Такому барину нетрудно было угодить. Для Арины Родионовны он был не только барин, но и близкий ее сердцу воспитанник, за которым она умела ухаживать, не нарушая его крепких рабочих привычек, как это делали отец и мать. Няня создала вокруг Пушкина домашний уют, окружила его любовной заботой, в самое творчество поэта внесла свой вклад. Ему никогда не было скучно с этой семидесятилетней неграмотной женщиной, которую он в стихах и в прозе не раз называл своей подругой. Быстрая, несмотря на толщину, очень подвижная, она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица и песенница, остроумная собеседница, порой веселая собутыльница. Н. М. Языков, который летом 1826 года гостил в Михайловском и Тригорском, воспел в стихах «свет Родионовну» с неменьшей нежностью, чем красавиц Трех Гор:

Как сладостно твое святое хлебосольство
Нам баловало вкус и жажды своевольство;
С каким радушием — красою древних лет —
Ты набирала нам затейливый обед!..
Ты занимала нас — добра и весела —
Про стародавних бар пленительным рассказом...
(1826)

Два года спустя Арина Родионовна умерла, и Языков посвятил ей длинное стихотворение, вспомнил все мелочи этих летних, светлых, слишком быстро промелькнувших дней:

Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли — и порой
К своей весне переносилась
Разгоряченною мечтой;
Любила слушать наши хоры,
Живые звуки чуждых стран,
Речей напоры и отпоры
И звон стакана об стакан...
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничать давай...

...Как детство шаловлива,
Как наша молодость вольна,
Как полнолетие умна
И как вино красноречива,
Со мной беседовала ты,
Влекла мое воображенье...

Ты не умрешь в воспоминаньях
О светлой юности моей
И в поучительных преданьях
Про жизнь поэтов наших дней...

Среди окружающих Пушкина женских образов морщинистое лицо мамушки, как он ее называл, заняло место своеобразное и почетное. Арина Родионовна — прообраз няни в «Онегине». О ней думал он, когда писал Пахомовну в «Дубровском». Лернер правильно указал, что стиль письма Пахомовны очень похож на стиль писем Арины Родионовны к Пушкину. Стихи Пушкина лучшие свидетели того, с какой нежностью относился он к няне. Пушкин посвящал стихи друзьям, иногда знакомым, но семейных стихов, если не считать шуточных записочек к брату и дяде Василию Львовичу, да длинного лицейского послания сестре, у него нет. Поэт, которому легче было выражать тончайшие оттенки чувств стихами, чем прозой, не посвятил ни одной строчки ни матери, ни отцу. А «мамушка» вдохновляла его на стихи, близкие к любовной лирике. В них, как во всем, что писал Пушкин, нет ни тени приторности. Все та же искренность, все та же классическая простота великого мастера, который извлекает поэтическое золото из всего, чего касается, из великого и малого, из человеческих страстей и из любой подробности быта, из красных гусиных лапок, из мелькания спиц в наморщенных руках старой няни.

Мы, русские, с детства знаем его стихи о зимних вечерах в Михайловском, мы так сжились с их выразительностью, с их музыкой, что принимаем их как сказку, забываем о их реальности. Между тем 32 строчки «Зимнего вечера» — это одно из чудес Пушкинской простоты и точности:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.

Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?..
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Выпьем, добрая подружка,
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

(1825)

В эти зимние вечера, когда метель крутилась и шуршала вокруг одинокого, занесенного снегом михайловского дома, няня, постукивая спицами, сидела около своего воспитанника и нараспев, как полагается сказительнице, передавала ему семейные предания Ганнибалов и Пушкиных, пела народные песни, сказывала сказки. Ее дар неистощимой забавницы так передавал Пушкин в песне:

Да еще ее помянем:
Сказки сказывать мы станем —
Мастерица ведь была
И откуда что брала.
А куды разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины!..
Слушать, так душе отрадно.
Кто придумал их так складно?
И не пил бы и не ел,
Все бы слушал, да глядел.

(«Сват Иван». 1833 г.)

Опять, как в детстве, няня стала посредницей между поэтом и русским сказочным миром. Ее даровитая память хранила обычаи и поверья, песни и поговорки, в которых язык проявляет свое обилие и гибкость, свою ритмичность. Следя за ее мерным рассказом, Пушкин опускался в глубь русского языка, русского народного гения. Ее острые словечки его забавляли, он их повторял, ими пользовался. Он писал Вяземскому: «Экий ты неуемный, как говорит моя няня», употребляя слово, которое Арина применяла к нему самому.

Со своими воспитанниками она обращалась запросто, называла их «занавесные Пушкенята», потому что, когда они были грудными младенцами, им во время кормления как-то особенно завешивали глаза от света. Сохранилось в бумагах Пушкина два ее письма. В них забавная смесь заботливости, нежности, почтительной, фамильярной наставительности. Она зовет его то «Свет Александр Сергеевич», то «любезный друг, целую ваши ручки с позволения вашего сто раз», говорит ему то «вы», то

«ты». «Многолюбящая няня ваша Арина Родионовна», сама неграмотная, сумела наложить свою печать даже на письма, которые, очевидно, писали ей другие. В них слышится ее голос. Оба письма от 1827 года. Пушкин уже был обласкан Государем, признан всей Россией. Но все-таки няня кончает письмо советом: «За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила: поживи дружочек хорошенько, самому слюбится».

В тех же больших черных тетрадях, где черновики «Цыган», «Онегина» и «Годунова», записал Пушкин семь няниных сказок. Сравнивая черновые прозаические записи с отделанными, позже переложенными в стихи сказками, можно проследить, как поэт обрабатывал фольклорный материал, выбирал, менял, то выдумывал подробности, то перебрасывал их из одной сказки в другую, то почти дословно передавал стихами слышанное от Арины. Одна из ее сказок, про царя Салтана, положенная Пушкиным на стихи, а Римским-Корсаковым на музыку, и сейчас бродит по всему свету.

Няня была не только рассказчицей, но и слушательницей. Ей первой читал Пушкин свои стихи:

И впрямь блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно томной!..

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

(«Онегин». Гл. IV. 1825 г.)

У него была привычка, может быть, потребность, читать себя вслух. Рядом, в Тригорском, хоровод хорошеньких барышень всегда готов был его слушать, восторгаться каждой строчкой. Пушкин им предпочел Арину Родионовну, по ней исправлял свой русский язык и ошибки своего французского воспитания... Даровитая старая песенница помогла своему воспитаннику стать русским народным поэтом. Когда ссылка кончилась и Пушкин вернулся к жизни шумной и людной, он вдруг среди петербургских и московских развлечений вспомнил о няне, как вспоминают о покинутой, но все любимой женщине:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный, отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь
(1827)

Прошли года, и Пушкин опять посетил «тот уголок земли, где провел отшельником два года незаметных». С мягкой грустью вспоминает он:

...Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни утренних ее дозоров...
И вечером, при завываньи бури,
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет, но никогда не скучных...
(1835)

В этом черновике есть еще более задушевные слова: «Ее простые речи полные любви... которые усталое мне сердце ободряли отрадой тихою любви...»

Привязанность Пушкина к няне так бросалась в глаза, что Анна Керн, в которую Пушкин был так бурно влюблен, уверяла, что Пушкин по-настоящему любил только свою Музу и свою няню. Анна Керн тонко подметила какую-то связь между Музой и няней. Есть у Пушкина тоже незаконченный отрывок, подтверждающий меткость этого замечания:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны...
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне...
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила,
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
(1821)

Это еще образ старой няни, но уже в ее руках волшебная поэтическая свирель. Пройдут года, и она опять приходит уже не к ребенку, а к отроку:

Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнем улыбка оживилась...
Вся в локонах, обвитая венком,
Прелестницы глава благоухала;
Грудь белая под желтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала...
(1821)

Это волшебное превращение старой няни в красавицу Музу показывает, как крепко связана была Арина с таинственным миром творчества. «В галерее созданий Пушкинского творчества, — говорит Лернер, — эти полупризрачные, воздушные лики Музы-старушки и Музы-красавицы принадлежат к самым прекрасным, вызывающим радость и умиление».

Арину Родионовну много, много лет позже, в 1880 году на Пушкинском празднике помянул добрым словом И. С. Аксаков: «Блистательный, прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных, «наш Байрон», как любили называть его многие, не стыдился всенародно, в чудесных стихах, исповедывать свою нежную привязанность к мамушке, к няне и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою Музу... Так вот кто первая вдохновительница, первая Муза этого великого художника и первого истинно русского поэта, это простая русская деревенская баба... Точно припав к груди матери-земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа. Да будет же ей, этой старой няне, и от лица русского общества вечная благодарная память».

* * *

В древнем псковском крае открылся Пушкину еще другой, соборный, источник русского народного духа. В пяти верстах от Михайловского есть старинный Святогорский Успенский монастырь, где хранилась высоко чтимая православным народом икона Божьей Матери Одигитрия. Дорога от Михайловского к монастырю шла через густой сосновый бор. Пушкин иногда ходил по ней пешком, чаще ездил верхом. Еще в Лицее научился он хорошо ездить и этим щеголял. Он писал Вяземскому: «Упал на льду не с лошади, а с лошадью: большая разница для моего наезднического честолюбия» *(28 января 1825 г.)*. Через несколько времени давал Левушке поручение: «Книгу об верховой езде — хочу жеребцов выезжать: подражание Альфиери и Байрону» *(23 апреля 1825 г.)*.

Жеребцов выезжать он так и не стал, да и лошадей себе порядочных так и не завел, хотя о его верховых конях рассказы довольно противоречивы. Мужик, сосед, пренебрежительно рассказывал: «Плохие кони у Пушкина были, вовсе плохие... Козьяк совсем дрянной конь был». Анна Скоропостижная, дочь его приходского священника Шкоды, оставила более живописное описание: «Помню его, приезжал на высокой красивой лошади и был он во фраке с хвостом и под шеей широкий белый галстук-платок».

Святогорский монастырь, как большинство монастырей, был построен на горе. К нему вели широкие ступени из белого камня. Белые монастырские стены вставали над обрывом, поросшим деревьями. Вид был чудесный.

Сначала Пушкин бывал в монастыре по обязанности. Он состоял под двойным надзором, полицейским и церковным. Излечить поэта от афеизма, вернуть его в лоно Православной Церкви, было поручено настоятелю Святогорского монастыря, игумену Ионе и отцу Лариону Раевскому, приходскому священнику соседнего с Михайловским сельца Вороничи. Пушкин под «Годуновым» подписал: «Писал раб Божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333 на Городище Вороничи».

Отца Лариона в просторечии звали поп Шкода. В 1908 году И. Л. Щеглов записал рассказ его дочери, Акулины Ларионовны Скоропостижной:

«Покойный Александр Сергеевич очень любил моего тятеньку. И к себе, в Михайловское, приглашал, и сами бывали у нас запросто... Подъедет верхом к дому и в окошко цок. «Поп у себя?» — спрашивает (старуха произносила это энергично, с достоинством, закинув голову, видимо, подражая манере Пушкина). А если тятеньки не случится дома, всегда прибавит: «Скажи, красавица, чтобы беспременно ко мне наведался, мне кой о чем потолковать с ним надо». И очень они любили с моим тятенькой толковать, хотя он был совсем простой человек, но ум имел сметливый и крестьянскую жизнь и всякие крестьянские пословицы и поговорки весьма примечательно знал. Только вот насчет божественного они с тятенькой не всегда сходились и много споров у них через это выходило. Другой раз тятенька вернется из Михайловского, туча-тучей, шапку швырнет: «Разругался я сегодня с Михайловским барином, вот до чего. Книгу он мне какую-то богопротивную все совал... так и не взял, осердился...» А глядишь, двух суток не прошло, Пушкин сам катит на Воронич, в окошко плеткой стучит — «дома поп? Скажи, я мириться приехал».

Рассказ полон таких живописных подробностей, что хочется поверить, что Акулина Ларионовна действительно все это видела и слышала. На самом деле, когда Пушкин был в Михайловском, ей было лет шесть. Она дожила до 1927 года и умерла 108 лет. Но она могла наслушаться позднейших рассказов отца о том, какой чудной, но хороший барин был Александр Сергеевич, в памяти дочери мог сохраниться образ Пушкина, каким его знал поп Шкода, — Пушкина простого, шутливого, задорного и бесконечно добродушного. Есть в

рассказе старухи какая-то достоверность, подлинный отголосок тех времен. Ее отца Пушкин два раза помянул в письмах:

«Нынче день смерти Байрона, — писал он Вяземскому, — я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба Божия боярина Георгия. Отсылаю ее к тебе» *(7 апреля 1825 г.).*

В тот же день он писал брату: «Я заказал обедню за упокой души Байрона (сегодня день его смерти) А. Н. также, и в обеих церквах Тригг. и Вор. происходили молебствия. Это немножко напоминает la messe de Frédéric II pour le repos de l'âme de Mr. de Voltaire*. Вяз-му посылаю вынутую просвиру о. Шкодой за упокой поэта» *(7 апреля 1825 г.).*

У Пушкина с его церковными опекунами сложились несравненно более простые, дружелюбные отношения, чем с родным отцом. В Святогорском монастыре собрал он богатый запас поэтического меду. Вся обстановка монастырской жизни пригодилась для его поэтического хозяйства, все пошло в ход. Беглый монах Варлаам в «Борисе Годунове» своими поговорками и прибаутками, добродушием и пристрастием к вину очень напоминает игумена Иону. Пушкин очертил его с мягкой, веселой снисходительностью, с юмором, который и сейчас, сто лет спустя, веселит русских читателей «Бориса Годунова» и оперных зрителей по всему свету.

Игумену случалось и самому заглядывать в Михайловское. И. И. Пущин привез в деревню Пушкину «Горе от ума» в рукописи. «После обеда за чашкой кофе он начал читать вслух. Среди чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окошко, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение, я спросил его, что это значит? Не успел он ответить, как вошел в комнату низенький рыжеватый монах и отрекомендовался настоятелем соседнего монастыря. Я подошел под благословение. Пушкин тоже. Монах начал извинением, что, может быть, помешал нам. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Разговор завязался. Подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видимо, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая и рому, и после этого начал прощаться, извиняясь, что прервал нашу товарищескую беседу. Я рад был, что мы остались одни, но мне неловко было за Пушкина. Он как школьник присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал свою досаду, что накликал это посещение: «Перестань, любезный друг, ведь он

---

* Обедню Фридриха II за упокой души г-на Вольтера *(фр.).*

и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре»... Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию».

Церковный надзор действительно мало беспокоил поэта, тем более что его отношение к религии уже менялось. Он зачитывался Библией и Четьи-Минеями. Пущин, конечно, читавший «Гавриилиаду», этого не знал и был уверен, что Пушкин держит эти книги на своем столе только как ширму. Друзья поэта не подозревали, какие новые думы рождались и зрели в деятельной душе поэта.

В Святогорском монастыре Пушкин нашел черты старинного быта, восходившие в прошлое, к годуновской России, даже глубже. Работа над трагедией, составлявшая смысл, радость, красоту первого года его жизни в Михайловском, особенно народные сцены, питалась не только книгами, но и тем, что он наблюдал кругом. Наконец окунулся он в подлинную русскую народную стихию.

В течение столетий православный народ шел в Святые Горы людей посмотреть и себя показать, забавляться и каяться, торговать и молиться. Длинные, благолепные церковные службы завершались живописными крестными ходами. На монастырские ярмарки народ стекался издалека. Особенно славилась майская ярмарка. Богомольцы, торговцы, крестьяне из далеких деревень, нищие и странники табором располагались вокруг монастыря, ночевали в телегах, варили на кострах еду. Являлись и помещики. Одни, из далеких усадеб, ночевали в монастырской гостинице. Более близкие, отстояв обедню, важно объезжали ярмарку, не выходя из экипажа, чтобы не смешиваться с простым народом. К ужасу и негодованию этих бар и барынь, Пушкин никогда не приезжал в экипаже, а являлся то верхом, то пешком, что уже совсем не подобало дворянину. Молодой псковский купец И. И. Лапшин, горячий и робкий поклонник Пушкина, описал в своем дневнике появление поэта на ярмарке:

«В Святых Горах был о девятой пятнице... И здесь я имел счастие видеть Александру Сергеича г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одеждою, а например: у него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными черными бакенбардами, которые более походят на бороду; также с предлинными ногтями, которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю — около 1/2 дюжины» *(29 мая 1825 г.)*.

Это похоже на наряд Онегина, описанный Пушкиным:

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский на распашку
И шапку с белым козырьком.
И только — сим убором чудным,
Безнравственным и безрассудным,
Была весьма огорчена
Его соседка Дурина.

Пушкину было мало дела до соседей-помещиков. Не для того, чтобы их дразнить, ездил он в монастырь. Его привлекали странники, нищие, калеки, слепцы, распевавшие старинные духовные стихи об Алексее Божьем человеке, о слепом Лазаре, о Страшном Суде. В этой толпе оборванных бродячих артистов веяло русским духом, русской художественной даровитостью. Для Пушкина это были свои люди. С ними ему было легко и весело. Он садился на траву среди слепых певцов, болтал с ними, вызывал их на шутки, часто меткие, далеко не всегда пристойные, схватывал их словечки, запоминал их песни и интонации, сам шутил, баловался и пел с ними. Ведь он был такой же песенник и гусляр, такой же странник, да еще и гонимый.

Среди монахов ходила легенда, как Пушкин в белой рубахе с красным пояском пел Лазаря вместе со слепцами, как управлял он этим хором, помахивая тростью, на которую привязал бубенцы. Собравшаяся вокруг них толпа загородила проезд и проход. Полицейские хотели арестовать нарушителя порядка, но узнали, что это Пушкин, сочинитель, и оставили его в покое. На то и сочинитель, чтобы чудить.

Над монастырскими воротами, около которых Пушкин часто сиживал, окруженный своими бродячими знакомцами, было две надписи:

Возведи очи мои горе от ню дуже пройдет помощь моя.

Богородице, дверь небесная, отверзи нам дверь милости Твоея.

Прошло немногим более десяти лет, и через эти ворота провезли на Святогорское кладбище гроб поэта. Богородица отверзла перед ним двери вечного покоя.

* * *

В своих вынужденных скитаниях по России Пушкин очень скучал без друзей, лицейских и литературных. На юге пробовал он сойтись с новыми людьми, но с одними было ему скучно, в других, как в Александре Раевском, он разоча-

ровался. Александр Раевский коварно прокрался между поэтом и графиней Элизой, может быть, даже мужу ее что-то нашептывал.

Точных сведений о роли Александра Раевского в высылке Пушкина из Одессы у нас нет, но что-то неладное там произошло. Не о нем ли думал Пушкин, когда писал в лицейскую годовщину:

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,
Друзьям иным душой предался нежной;
Но горек был небратский их привет...
(1825)

А в друзьях он нуждался. «Для Пушкина дружба была священной потребностью», — писал как-то Плетнев, который никак не мог научиться писать просто. Правда, французские и немецкие романтики, которыми они тогда зачитывались, писали еще напыщеннее. Да на этот раз Плетнев и не преувеличивает, верно передает одно из основных свойств Пушкина. У людей того поколения была потребность и способность к дружбе. Даже черствые, холодные люди считали необходимым иметь друзей, изливать перед ними свои чувства, хотя бы вычитанные и вымышленные. Пушкин не был ни холодным, ни черствым. Чувствительных излияний он не любил, был неисправимым зубоскалом, мог дразнить своих и чужих. Но дар дружбы ему был дан редкий. Щедрость его бесконечно богатой натуры сказывалась и тут. И в дружбе он больше давал, чем получал. Только Дельвиг, позже Нащокин, платили ему такой же полновесной золотой монетой.

Верно заметил Н. Н. Страхов: «Пушкина многие любили, но не друзья его прославились своей необычайной преданностью, а он знаменит той нежностью, которую питал к ним».

От Петербурга до Михайловского 400 верст, расстояние для России очень небольшое, но только два лицеиста, Пущин и Дельвиг, навестили его. Первым, в январе 1825 года, приехал Пущин. Он ушел из военной службы и был в Москве судьей. Многие считали такой переход чудачеством. По тогдашним понятиям, это была должность низкая, не барская. Пущин говорит, что выбрал судейскую должность по убеждению, как член Союза Благоденствия, одной из задач которого было упорядочить в России правосудие. В тот год И. И. Пущин проводил рождественские каникулы во Пскове

у сестры своей Набоковой. Перед отъездом из Москвы он сказал А. И. Тургеневу, что собирается повидать Пушкина.

«— Как, вы хотите к нему ехать? Разве вы не знаете, что он под двойным надзором, политическим и духовным?

— Все это я знаю, но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в сегодняшнем его положении, особенно, когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад.

— Не советовал бы, — прибавил добрейший Александр Иванович».

Друзья даже не знали, разрешено ли бывать у Пушкина. На самом деле никто не мешал ему принимать гостей. Единственное препятствие, которое встретил Пущин, были сугробы. На одном из них его сани так тряхнуло, что ямщик слетел с облучка. Пущин и его человек схватили вожжи: «Все лес... скачем опять в гору извилистой тропою. Вдруг крутой поворот, и как будто вдруг вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика... Я оглядываюсь, вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубахе, с поднятыми вверх руками. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнаты. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надо прикрыть наготу, а я не думал об заиндевелой шубе и шапке. Было около восьми часов утра. Прибежавшая старушка застала нас в объятиях друг друга. Один почти голый, другой весь забросанный снегом. Наконец, пробила слеза, и мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной, впрочем, она все поняла... Ничего не спрашивая, няня бросилась меня обнимать... Пришел и Алексей (слуга Пушкина), который в свою очередь бросился целовать Пушкина. Он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов... Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако, ту же веселость. Он как дитя был рад нашему свиданию».

День пролетел быстро. Под вечер Пушкин читал свои стихи. Продиктовал Пущину начало «Цыган» для альманаха, издававшегося товарищами Пущина по тайному обществу, Рылеевым и А. Бестужевым. С появлением Пущина в Михайловском, как в Каменке, повеяло духом заговора. Возможно, что Пушкину хотелось кое-что узнать от старого друга, но Пущин, если верить его воспоминаниям, написанным 30 лет спустя, обошелся с поэтом с дидактической важностью и наставительностью.

«Среди разговора Пушкин ex abrupto* спросил меня: что

* Внезапно *(лат.)*.

говорят о нем в Петербурге и в Москве? При этом вопросе рассказал мне, что будто бы император Александр ужасно испугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а его брат Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли на него кто-нибудь смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искрснннс, чтобы скорее кончилось его изгнание. Он терпеливо выслушал меня и сказал, что нссколько примирился за эти четыре месяца с новым своим бытом, в начале очень для него тягостным, что тут хоть невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения, с Музой живет в ладу и трудится охотно и усердно... Среди всего этого было много шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Пушкин потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я преобразился в судью. Это было ему по ссрдцу, он гордился мною и за меня. Незаметно опять коснулись подозрений насчст общества. Когда я ему сказал, что я не один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и воскликнул: «Верно, все это в связи с майором Раиевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, он продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою по многим моим глупостям...» Молча я крепко обнял его».

Это молчание, очевидно, было знаком согласия. Хотя Пушкин имел бы право спросить приятеля: «Если это так, если я не имею политического влияния, то за каким чертом меня держат в этой глуши?» Но, бссконечно снисходительный к друзьям, он только «как дитя был рад свиданию».

Оно недолго продолжалось. Пущин дажс не остался ночевать, уехал в ту же ночь. Это была их последняя встреча.

В конце апреля приехал Дельвиг, которого Пушкин уже давно и нетерпеливо ожидал. Дельвиг все делал неторопясь и долго дразнил Пушкина обсщаниями приехать. В середине марта Пушкин послал ему лаконическую записку:

«Дельвиг, жив ли ты?»

В это время Дельвиг действительно чуть не умер от горячки. Он посхал к отцу в Витебск и заболел. Была еще и другая причина, почему Пушкин не получал от него писем. «Из Петербурга я несколько раз писал тебе, — сообщал Дельвиг

Пушкину, — но у меня был человек немного свободомыслящий. Он не полагал за нужное отправлять мои письма на почту». Это письмо кончается чисто по-дельвиговски: «Целую крылья твоего гения, радость моя».

Радостью для обоих была их встреча. У Пушкина ближе Дельвига никого не было. Их связывало созвучное чувство поэзии, которая для обоих была главным содержанием жизни. Оба, любя поэзию, умели наслаждаться чужими стихами. Дельвиг привез Пушкину отголоски свежих литературных толков и споров, в центре которых он был как издатель «Северных Цветов». Пушкин любил современность, любил быстрое мелькание сегодняшнего дня, пульсацию столичной жизни, от которой уже пять лет был оторван.

Наговорившись досыта за день, друзья вечером отправлялись в Тригорское, где приветливый, благодушный Дельвиг писал стихи в альбом красавиц трех гор, как прозвал он тригорских барышень.

«Как я был рад баронову приезду, — писал Пушкин брату. — Он очень мил. Наши барышни все в него влюбились, а он равнодушен, как колода, любит лежать в постели, восхищаясь Чигиринским старостою (поэма Рылеева. — *А. Т.-В.*), приказывает тебе кланяться» *(23 апреля 1825 г.)*.

Приезд Дельвига пришелся особенно кстати, так как Пушкин подготовлял давно задуманное издание первой книги стихов, важное дело в жизни каждого поэта. До тех пор Пушкин издал отдельными книгами три поэмы, в 1820 году «Руслана и Людмилу», в 1822 году «Кавказского пленника», в 1824 году «Бахчисарайский фонтан». А книги стихов у него все еще не было. Печатал он стихи, начиная с 1814 года, в сборниках, журналах, альманахах. Пора было их собрать под одной обложкой. Еще в 1820 году в Петербурге хотел он издать стихи, уже выписал их в чистовую тетрадь. И всю тетрадь проиграл за тысячу рублей Никите Всеволожскому, амфитриону Зеленой Лампы. Тетрадь осталась, как заклад за карточный долг, а сам поэт очутился на юге, тоже своего рода заложник, выхваченный правительством из лагеря либералистов. Годы шли. Много написал Пушкин новых чудесных стихов, которые повторялись по всей России. А все еще не было тома стихотворений Пушкина. В Михайловском Пушкин в первую же зиму занялся их подбором, строгим, тщательным, скупым, многое раньше напечатанное не включил, многие новые стихи сурово отбросил. Между прочим внес в список уже бывшее в печати стихотворение «Платонизм», потом вычеркнул и на полях пояснил: «Не надо, ибо я хочу быть моральным человеком».

С Дельвигом он снова проверил свой список. Его поэтическому чутью он всецело доверял. Но и на этом не успокоился. Советовался еще с Жуковским и Плетневым. В конце концов отобрал 106 вещей. Потом выбросил из них еще десять и три прибавил. Наконец, Плетневу разрешил напечатать сборник. В последних числах декабря 1825 года вышла в свет «Первая книга стихотворений Пушкина».

Дельвиг прогостил у него только десять быстро промелькнувших дней. Опять Пушкин остался один, с няней и с тригорскими соседками. В том же году в сентябре он еще мельком виделся с третьим лицеистом, князем А. Горчаковым. Будущий канцлер был тогда скромным советником посольства в Лондоне. Он приехал в отпуск к дяде А. Н. Пещурову, тому самому, который был приставлен наблюдать за Пушкиным. Услыхав о приезде Горчакова, Пушкин поехал к нему. Горчакову нездоровилось. Он лежал в постели. Пушкину вздумалось прочесть ему отрывок из «Бориса Годунова», но трагедия не понравилась дипломату. В особенности не по вкусу ему пришлись народные сцены. Горчаков потом рассказывал, что в некоторых сценах «проглядывала какая-то изысканная, нарочитая грубость, там говорилось что-то о слюнях». Князь заметил Пушкину, что такая искусственная тривиальность довольно неприятно отделяется от общего тона и слога, которым написаны другие сцены.

«— Вычеркни, братец, эти слюни. Ну к чему они тут?

— А посмотри у Шекспира, и не такие еще выражения попадаются, — возразил Пушкин.

— Да, но Шекспир жил не в XIX веке и говорил языком своего времени.

Пушкин подумал и переделал свою сцену».

Так, полвека спустя сановный дипломат помянул свою встречу с создателем «Бориса Годунова». А Пушкин, досадуя на себя, что вздумал «душить трагедией в углу» этого далекого от литературы балованного красавца, тогда же написал Вяземскому:

«Горчаков доставит тебе мое письмо. Мы встретились и расстались довольно холодно, по крайней мере с моей стороны. Он ужасно высох — впрочем, так и должно; зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше. От нечего делать я прочел ему несколько сцен из моей комедии, попроси его не говорить об них, не то об ней заговорят, а она мне опротивит, как мои «Цыганы», которых я не мог докончить по сей причине» *(12 сентября 1825 г.)*.

Но все-таки, справляя один, вдали от братской переклички, лицейский день, он и эту встречу в своем величавом гимне помянул по-товарищески:

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней...
Нам разный путь судьбой назначен строгой:
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай, проселочной дорогой,
Мы встретились и братски обнялись...

С благодарностью вспоминает он обоих своих гостей-лицеистов:

...Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный...

Горячее всего строки, посвященные Дельвигу:

О Дельвиг мой, твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил...

Величавая мудрость этих стансов показывает, как вырос Пушкин. С каким широким благоволением говорит он:

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Даже такие, казалось бы, понимающие друзья, как Жуковский и Вяземский, корили его за ветреность и необузданность, за капризы и порывы, а в это время в его душевной глубине царила прозрачная тишина, зрели величавые творческие мысли, которые он облекал в слова, насыщенные плавной, музыкальной красотой. Как прекрасно каждое слово, обращенное к Дельвигу:

С младенчества дух песен в нас горел
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво...
(19 октября 1825 г.)

Эти две классические строчки яснее всяких рассуждений показывают, чем стал Пушкин в Михайловском.

* * *

Живя в Михайловском, Пушкин скрепил издали по переписке еще одну дружбу — сблизился с П. А. Плетневым. Он с конца 1824 года взял на себя безвозмездно все заботы по литературным и издательским делам поэта, который был сам своим издателем и при своей непрактичности легко мог бы запутаться. Своими многолетними неустанными бескорыстными услугами и хлопотами Плетнев облегчил и упорядочил его денежные дела. Он имел право сказать: «Я был для Пушкина всем — и родственником, и другом, и издателем, и кассиром».

П. А. Плетнев (1792—1865) был писатель, поэт, критик, преподаватель российской словесности в Екатерининском и Патриотическом институтах и в Пажеском корпусе. Позже стал он профессором Петербургского университета, потом его ректором и членом Академии наук.

Пушкин познакомился с ним сразу после Лицея, может быть, через Кюхельбекера, который тоже давал уроки в Екатерининском институте. Они встречались у Жуковского, у Гнедича, у Дельвига, вообще в тех домах, где собирались писатели. Во второй половине жизни Пушкина имя Плетнева встречается так же часто, как имена Вяземского, Дельвига и Жуковского, хотя Плетнева как писателя нельзя ставить рядом с этими блестящими современниками поэта.

Плетнев был человек способный, но не талантливый. Критик он был добросовестный и вдумчивый, а поэт посредственный, что в эпоху такого расцвета русской поэзии особенно было заметно. Но смолоду он, как и все то поколение, был одержим демоном метромании.

Легкомысленный Левушка из-за стихов чуть не поссорил Плетнева с Пушкиным, который из Кишинева написал брату: «Мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи — он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен как мертвец. Кланяйся ему от меня (т. е. Плетневу, а не его слогу) и уверь его, что он наш Гёте» *(4 сентября 1822 г.)*.

Левушка, который показывал письма брата всем, кому можно и кому нельзя, умудрился дать прочесть Плетневу и это письмо. Плетнев был человек неглупый и добрый. Он огорчился суровой критикой, но не поддался обиде, смиренно принял насмешливую оценку Пушкина, превосходство которого глубоко чувствовал. На критику поэта он ответил поэтическим посланием, которое обезоружило Пушкина своей кротостью:

Я не сержусь на едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой силы.
И может быть, взыскательный урок,
Ослабшие мои возбудит крылы.
Твой гордый гнев, скажу без лишних слов,
Утешнее хвалы простонародной,
Я узнаю судью моих стихов,
А не льстеца с улыбкою холодной.

Пушкин пожалел, что из Кишинева не может надрать брату уши за его нескромность, а Плетневу написал: «Ты, конечно б, извинил мои легкомысленные строки, если б знал, как часто бываю подвержен так называемой хандре. В эти минуты я зол на целый свет, и никакая поэзия не шевелит моего сердца» *(осень 1822 г.)*.

Их дружба окрепла в личном общении, когда Пушкин перестал быть ссыльным. Один из первых пушкинистов, академик Я. Грот, многолетняя переписка которого с Плетневым очень облегчает изучение этой эпохи, говорит: «Сношения с Плетневым, начиная с конца 1824 г., имели для Пушкина не одно нравственное и литературное, но столь же и практическое значение, чем и отличались они от сношений с другими литераторами. Плетнев был, так сказать, восприемником большей части его произведений, вел за него дела и счеты с типографиями и книгопродавцами и пересылал Пушкину, или, по его желанию, хранил у себя его деньги».

Еще одну услугу, и немалую, оказал Плетнев поэту. Он был очень хороший преподаватель и пользовался большой любовью своих многочисленных учеников и учениц. Он заражал их своим энтузиазмом к литературе. Пушкина он постоянно читал им в классе, приносил его стихи, часто еще не напечатанные. Эту молодежь, составлявшую цвет образованного общества, Плетнев воспитывал на Пушкине. Их не надо было заставлять его читать, его заучивать. Они впитывали его стихи, как воздух, которым дышали. Но Плетнев был лично близок к Пушкину, и это их волновало, чаровало.

Глава III

КРАСАВИЦЫ ТРЕХ ГОР

Псковский край был полон помещиками, но Пушкин с ними мало знался. Иногда ездил играть в карты к Назимовым, к Рокотовым, к Пещурову. Бывал в Богдановском у Д. Н. Философова. В Богдановском долго хранился столик, за которым Пушкин играл в банк. За пять лет до войны 1914 года,

когда хозяйкой Богдановского была известная общественная деятельница А. П. Философова, я гостила у нее. Мне показали этот Пушкинский столик. С понятным волнением рассматривала я старинное полированное дерево, по которому Пушкин, когда картежное счастье от него отворачивалось, нетерпеливо барабанил своими гибкими, красивыми пальцами. Я вытащила ящик, вывалила хранившиеся в нем бумажки, сушеные цветы, бантики и вдруг на дне, с обратной стороны, нашла написанные карандашом на неровной доске кишиневские стихи — «Играй, Адель, не знай печали...». Философовы и не подозревали, что у них в Богдановском есть такая редкость, как автограф Пушкина.

Не знаю, сохранились ли в других усадьбах такие памятники о его посещениях. Как будто нет. Он не часто делал визиты.

Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры;
Бежал он их беседы шумной,
Их разговор благоразумной
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен.

(«Онегин». Гл. II. 1824 г.)

Все же Пушкин нашел женское общество себе по вкусу в соседнем Тригорском, где бывал каждый день. «Для обитателей Тригорского, — писал Анненков, — их дружба с Пушкиным составляла жизненный интерес, для Пушкина это было мимолетное отдохновение, изящная забава, средство обмануть время, оставшееся от трудов. Настоящим центром его духовной жизни было Михайловское и одно Михайловское».

Это только отчасти справедливо. Пушкин был человек жизни, даже быта. Тригорское вносило веселые перерывы в работу, которая в деревенском уединении стала особенно напряженной. Михайловское и Тригорское так крепко переплелись в повседневной жизни поэта, что надо сделать усилие, чтобы вспомнить, что это две отдельные усадьбы на вершине двух холмов, в двух верстах друг от друга. Пушкин как-то писал Осиповой: «Вспоминайте иногда о Тригорском изгнаннике, т. е. о Михайловском изгнаннике. Вы видите, я уже по привычке путаю наши с вами обиталища» *(29 июля 1825 г.)*.

С хозяйкой Тригорского, Прасковьей Александровной Осиповой (1781—1859), Пушкин познакомился после Лицея, когда первый раз приехал в Михайловское. Ему было 18 лет, ей 36. Еще был жив ее второй муж И. С. Осипов. Вокруг них шумела большая семья. У Прасковьи Александровны от двух браков было восемь человек детей. Казалось, все это могло охладить романтическое воображение, но Пушкину не раз случалось увлекаться женщинами старше его. Что-то тогда промелькнуло между ним и Осиповой. Пушкин мог заразить ее «безумством бешеных желаний». Это неудивительно. Гораздо удивительнее, что семь лет спустя, когда он опять появился в Тригорском, хотя об ухаживанье уже не было и помину, они стали близкими друзьями. Пушкин относился к П. А. Осиповой с дружеским доверием, с шутливой, но ласковой почтительностью. А она была бескорыстно, безмерно предана Александру, как она его звала. Любила его, может быть, больше, чем собственных детей.

Осипова была выше обычного помещичьего уровня. По словам ее племянницы, Анны Керн, «Прасковья Александровна мало заботилась о своем туалете, только читала, иногда вместе с детьми училась. Согласитесь, что, долго живучи в семье, где только думали покушать, отдохнуть, погулять и опять что-нибудь покушать, большое достоинство было женщине 26 или 27 лет сидеть в классной комнате, слушать, как учатся, и самой читать и учиться».

В тригорском доме было много книг. Осипова их усердно читала, некоторыми даже зачитывалась. Поэзия приводила ее в восторженное состояние. Поэты были для нее, выражаясь на тогдашнем языке, избранники богов. Что Пушкин не просто сочинитель, а гениальный поэт, это она так же твердо знала, как всем сердцем знала, что он очень хороший человек. П. И. Бартенев, который с ней встречался, писал: «Осипова, вместе с Жуковским, сумела понять чутким, всеизвиняющим сердцем, что за вспышками юношеской необузданности, за резкими отзывами, сохранялась во всей чистоте не только гениальность, но и глубокое, доброе, благородное сердце и та искренность, которая и доселе дает его творениям чарующую силу и власть над людьми».

Около Осиповой и ее семьи находил Пушкин приют и ласку. У нее спасался от воркотни своих стариков, пока они еще были в Михайловском, вместе с Левушкой волочился в Тригорском за барышнями. Вероятно, это было не очень опасное волокитство, иначе Пушкин не стал бы писать брату красавиц, студенту Алексею Вульфу:

Чудо — жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света;
Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы,
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены...
(20 сентября 1824 г.)

К этому письму приписка Анны Вульф. Она просит брата уговорить поэта Языкова, тоже студента Дерптского университета, приехать к ним, «так как Пушкин этого очень желает», и прибавляет: «Сегодня я тебе писать много не могу. Пушкины оба у нас, и теперь я пользуюсь случаем, пока они оба ушли в баню».

Тригорская баня стояла в конце сада, на реке Сороть. Пушкин в ней мылся, ночевал, иногда писал. Кажется, в этой бане написал он величавые «Подражания Корану», которые он посвятил Осиповой.

Гениальный друг доставлял преданной соседке немало хлопот и волнений, то серьезных, то забавных. Когда Пушкин внезапно появился в Михайловском, Осипова опять была вдовой и в Тригорском царила женская стихия. Двое младших сыновей были еще детьми, сын от первого брака, дерптский студент, Алексей Николаевич Вульф (1805—1881), приезжал только на каникулы. Зато барышень была целая вереница: две сестры Вульф, Анна и Евпраксия, она же Зина и Зизи. Потом две девочки Осиповы, Екатерина и Мария... Да еще падчерица, хорошенькая Александра Ивановна Осипова, она же Алина, да еще кузины и племянницы, среди которых была и кокетливая Нелли, и победоносная соблазнительница Анна Керн, единственная из всего хоровода, в кого поэт был, хотя и недолго, но крепко влюблен.

Ухаживал и баловался он со всеми, пугая правительницу этого женского царства своими проказами и неожиданными выходками. Она за ним приглядывала, но при его подвижности и неугомонности это было нелегко.

В наполненный молодежью дом появление Пушкина вносило оживление, усиливало говор и смех, тот веселый шорох женской жизни, к которому Пушкин всегда был неравнодушен. Языков подробно описал стихами милые мелочи тригорской жизни — гулянья, купанья, тихую прелесть северного пейзажа:

Там, у раздолья, горделиво,
Гора трихолмная стоит;
На той горе, среди лощины,
Перед лазоревым прудом,

Белеется веселый дом
И сада темные куртины,
Село и пажити кругом...

И часто вижу я во сне:
И три горы, и дом красивый,
И светлой Сороти извивы
Златого месяца в огне,
И там, у берега, тень ивы...
И те отлогости, те нивы,
Из-за которых, вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер и Гёте и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый.

Только поэту позволительно говорить о красоте тригорского дома. Длинный, деревянный, одноэтажный, похожий на казарму, он был выстроен без всяких претензий на архитектурную красоту, так как предназначался под полотняный завод. Позже его удачно приспособили для барского житья. Многочисленной семье было в нем удобно и просторно. Комнат было много. Была длинная танцевальная зала, где вдоль стен, как полагалось, чинно стояли стулья. Была просторная гостиная, где барышни играли на фортепьяно, пели или, склонив к стоявшим у окна пяльцам хорошенькие головки с длинными модными локонами, вышивали бесконечных собачек с выпученными глазами... Отдельная комната была отведена под библиотеку. Пушкин, ненасытный читатель, часто пользовался книгами Осиповой, бесцеремонно делал на их полях заметки. Книги, по которым в начале XIX века прошелся карандаш Пушкина, остались стоять на тех же полках до 1918 года, пока крестьяне, а может быть, специально посланные революционерами агитаторы, не сожгли тригорский дом.

Дом стоял у пруда, окруженный большим садом, переходившим в лес. В теплые, томные летние вечера молодежь под музыку бродячего еврейского оркестра танцевала под открытым небом, на лужайке, окаймленной липами. В памяти осиповской семьи сад сросся с Пушкиным, с его шалостями и фантазиями.

Осипова была хозяйка, хлопотунья, одержимая страстью все перестраивать и менять. Она нашла, что одна старая, развесистая береза застилает ей вид на озеро, и приказала срубить ее. Пушкин любил деревья, обращался к ним в стихах, как к живым существам. Пушкинский кипарис в Гурзуфе и три сосны на пригорке над Михайловским крепко связаны с его памятью. Сюда же надо ввести и развесистую березу в

Тригорском. Он уговорил Осипову не трогать ее. В Тригорском рассказывали, что береза недолго пережила своего спасителя: в год его смерти ее разбила молния.

Это одна из легенд, которыми соседки окружили память поэта. После смерти знаменитых людей, нередко даже те, кто при жизни не умел их ценить, с запоздалым благоговением сочиняют про них целые истории. Но тригорские соседки, не дожидаясь посмертной славы, ощутили чудесную легендарность Пушкина. Они поддались обаянию живого Пушкина, заражались его весельем, мирились с переменчивостью его настроения, баловали, просто любили его. Их любовь скрасила ему деревенскую ссылку. Он привязался к своим тригорским друзьям. Уже женихом прелестной Ташеньки Гончаровой, сидя один в Болдине, вспомнит он о них:

О, где б судьба ни назначала
Мне безыменный уголок,
Где б ни был я, куда б ни мчала
Она смиренный мой челнок,
Где поздний мир мне б ни сулила,
Где б ни ждала меня могила —
Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей,
Нет, нет! нигде не позабуду
Их милых, ласковых речей...
Воображать я вечно буду...
И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы —
Приют, сияньем Муз одетый,
Младым Языковым воспетый.
(18 сентября 1830 г.)

Бесхитростный, но тем более ценный рассказ о Пушкине в Тригорском сохранил М. И. Семевский, который 30 лет спустя после смерти поэта ездил в Михайловское, чтобы собрать воспоминания о нем. Вот что он записал со слов младшей Осиповой, Марии:

«Каждый день, в часу третьем по-полудни, Пушкин являлся к нам из Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то бывало приволочится и на крестьянской лошаденке. Бывало, все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек, выйдем ему навстречу. Раз тащится он на лошаденке крестьянской, ноги у него чуть ли не по земле волочатся, я и ну над ним смеяться и трунить. Он потом за мною погнался, все своими ногтями грозил, ногти же у него такие длинные, он их очень берег. Приходил, бывало, и пешком, доберется к дому тогда совсем незаметно, если летом

окна бывали открыты, он влезет в окно. Все у нас, бывало, сидят за делом, кто читает, кто работает, кто за фортепьяно. Сестра Александрин дивно играла на фортепьяно. Я, бывало, за уроками сижу. Ну, пришел Пушкин, — все пошло вверх дном: смех, говор, шутки так и раздаются по всем комнатам... А какой он был живой. Никогда не посидит на месте, то ходит, то бегает... Я, бывало, все дразню и подшучиваю над Пушкиным. В двадцатых годах была мода вырезывать и наклеивать разные фигурки из бумаги. Я вырежу обезьяну и дразню Пушкина, он страшно рассердится, а потом вспомнит, что имеет дело с ребенком, и скажет только: «вы юны, как апрель».

«И что за добрая душа был этот Пушкин, всегда в беде поможет. Маменьке вздумалось, чтобы я принялась зубрить Ломоносовскую грамматику. Я принялась, но, разумеется, это дело мне показалось адским мучением. «Пушкин, заступитесь!» Стал он громко говорить маменьке, и так убедительно, что она совсем смягчилась. Тогда же Пушкин сказал ей, я вот отродясь не учил грамматики и никогда ее не знал, а вот, слава Богу, пишу помаленьку и не совсем безграмотен, тогда маменька окончательно оставила Ломоносова».

Пушкин тем охотнее заступился за школьницу, что сам всю жизнь делал ошибки в русском правописании. По-французски он писал грамотнее, чем по-русски.

Анненков побывал в Тригорском раньше Семевского, в пятидесятых годах. Ему посчастливилось уловить более трепетные отзвуки Пушкинской эпохи: «Пусть же теперь читатель представит себе деревянный длинный, одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем с утра до ночи, все маленькие интриги, борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был перенесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в наш обычный тогда дворянский сельский уют, который так превосходно изображал поэт. Он был светилом, вокруг которого вращалась вся эта жизнь, он тешился ею, сам оставаясь постоянным зрителем и наблюдателем ее, даже когда думали, что он без оглядки плывет с нею. Дело, конечно, не обходилось без крошечных драм, без ревностей и катастроф».

Сам Пушкин в Тригорском не переживал катастрофических страстей. Он то по очереди, то одновременно ухаживал за всеми красавицами трех гор. Это была веселая, беспечная игра в любовь. Он платил за нее стихами и обессмертил и Нелли, и Алину, и Зизи. Лучшее из этих стихотворений досталось Алине, падчерице Осиповой, которой он если и увлекался, то очень мимолетно. Но ей посвятил он «Призна-

ние». Сколько поколений русских влюбленных потом повторяло его своим возлюбленным:

Я вас люблю, — хоть и бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь...
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь — мне отрада,
Вы отвернетесь — мне тоска,
За день мучения — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, —
Я в умиленьи, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..

(1824)

Это было написано в первую Михайловскую осень, когда Пушкин писал Вульфу — «мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены». Старшая из дочерей, Анна Вульф, ровесница поэта, имела неосторожность действительно мертвецки влюбиться в него, а он ее безжалостно дразнил. Ее пятнадцатилетняя сестра, златокудрая Евпраксия — Зизи, сама дразнила своим полудетским кокетством и Пушкина, и поэта Языкова, тогда еще студента.

Со слов А. Н. Вульф, М. И. Семевский записал: «Сестра Евдоксия, бывало, заваривает всем нам после обеда жженку. Сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку. И вот мы из больших бокалов сидим, беседуем, да распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи, то Пушкина, то Языкова, сопровождали нашу дружескую пирушку. Языков был страшно застенчив, да и тот, бывало, разгорячится, пропадет застенчивость».

Серебряный ковшик с длинной ручкой, в котором Зизи варила пунш, долго хранился в Тригорском, как память об этих веселых днях. Их «чистый хмель» воспел Языков:

Как хорошо тогда мы жили!
Какой огонь нам в душу лили
Стаканы жженки ромовой!
Ее вы сами сочиняли,
Сладка была она, хмельна,
Ее вы сами разливали

И горячо пилась она!..
Примите ж ныне мой поклон
За восхитительную сладость
Той жженки пламенной, за звон,
Каким стучали те стаканы
Вам похвалу за чистый хмель,
Каким в ту пору были пьяны
У вас мы ровно шесть недель...
Я верно, живо помню вас,
И взгляд радушный и огнистый
Победоносных ваших глаз,
И ваши кудри золотисты
На пышных склонах белых плеч,
И вашу сладостную речь,
И ваше сладостное пенье
Там у окна, в виду пруда...

* * *

Пушкин в Тригорском хлебнул и более крепкого вина, чем легкое ухаживание за вереницей хорошеньких барышень. Там налетело на него одно из страстных увлечений, которыми была озарена вся его жизнь.

В один ясный июньский день он вошел, как всегда без доклада, в тригорскую столовую и среди знакомых женских лиц неожиданно увидел новую гостью — белокурую красавицу Анну Керн.

Они встречались еще раньше, но открыл ее Пушкин по-настоящему только в Тригорском.

Анна Керн (1800—1879), урожденная Полторацкая, была племянницей первого мужа Осиповой. Вместе с кузиной своей, Аннетой Вульф, провела она большую часть детства в имении Берново Старицкого уезда у общего их деда Вульфа. Их воспитывала француженка, гувернантка m-lle Benoit, выписанная из Англии для великой княжны Анны Павловны. Почему-то она попала не во дворец, а в среднее дворянское гнездо, куда эта хорошо образованная девушка внесла любовь и знание французской литературы и некоторые навыки жизни, заимствованные у английских лордов, у которых она смолоду служила гувернанткой. В русской среде она удивляла и старших и младших тем, что каждое утро, не обращая внимания на погоду, гуляла со своими воспитанницами, а еще больше тем, что одевалась сама, без помощи горничной.

Время учения быстро промелькнуло. Хорошенькая Анна Полторацкая с двенадцати лет была окружена поклонниками. Какая-то из ее многих теток, чтобы охладить ухаживателей, даже нашла нужным отрезать девочке длинную косу, которой

та очень гордилась. Но это решительное средство не помогло. У Анны кокетство было в крови, и ни родители, ни наставницы, ни тем более старый муж, которым отец ее рано наградил, не переломили ее темперамента. Ей едва минуло 16 лет, когда ее выдали замуж за генерала Керна, за которого ей совсем не хотелось выходить. Он был старше ее на 40 лет. Из этого брака ничего путного не вышло. У генерала был скверный, грубый характер. Генеральша была кокетка, но не жестокая, а милостивая и щедрая со своими обожателями. Она была очень красива. По какой-то несправедливой случайности ее портрета в молодости не сохранилось. Приходится ловить отблески ее очарования, как они отражались на тех, кто ею любовался, кто был в нее влюблен. Сам Император Александр I, знаток и любитель женской красоты, приехав на смотр в Полтаву, обратил внимание на семнадцатилетнюю генеральшу. Он танцевал с ней на дворянском балу, ухаживал за ней, вскружил ей голову. «Весь он с его обаятельной грациею и неизъяснимою добротою, невозможными ни для какого другого смертного, даже для другого царя, восхитили меня, ободрили, воодушевили, и робость моя исчезла совершенно. Не смея ни с кем говорить доселе, я с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом».

Танцуя польский с сияющей гордостью красавицей, Царь сказал ей:

— Если вам когда-нибудь что-нибудь понадобится, обращайтесь прямо ко мне.

Это обещание, данное на балу хорошенькой женщине, Император позже сдержал. Опытный в обращении с женщинами, Александр раздразнил, обострил в ней сознание женской силы. Анна Керн в мемуарах говорит: «В Полтаве потом много говорили, что он сказал, что я похожа на прусскую королеву». Сравнение ей тем более льстило, что всем было известно, что прусская королева Луиза своей томной улыбкой и мечтательными глазами приворожила русского Царя.

Пушкин первый раз увидел Анну Керн в Петербурге на балу в доме президента академии Оленина. Его жена, урожденная Полторацкая, была ей родной теткой. Об этой встрече Анна Керн рассказала в воспоминаниях, которые академик Л. Майков, большой знаток Пушкина, считал очень ценным вкладом в пушкинскую литературу: «В них меньше всего небрежности, недомолвок и желания порисоваться, этих обычных недостатков мемуарной литературы, особливо записок, веденных женщинами...» Другой вдумчивый исследователь жизни Пушкина, требовательный Б. Л. Модзалевский, считал эти воспоминания «замечательными».

Анна Керн рассказывает, что, увлеченная танцами и шарадами, она не обратила внимания на «вертлявого юношу», пока он не заставил ее себя заметить... «Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и когда я держала корзину с цветами, Пушкин вместе с братом Александром Полторацким (ее кузеном и тогдашним счастливым поклонником. — *А. Т.-В.*) подошел ко мне, посмотрел на корзинку и сказал: «Et c'est sans doute monsieur, qui fera l'aspic*». Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла... За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как например: «Это просто непозволительно быть такой хорошенькой».

Потом между ними завязался шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю... «Ну, и я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины», — сказал Пушкин».

Это была та кокетливая, полная вызывающих намеков болтовня, которую Пушкин умел и любил вести с женщинами. Прошло несколько лет, и Пушкин возобновил эту игру с Анной Керн, сначала по переписке. Генерал служил в Риге комендантом. Генеральша с маленькой дочерью оставалась у родителей в Лубнах и оттуда переписывалась с кузиной Анной Вульф, с которой была очень дружна. Керн издали сначала кокетничала с Пушкиным, «с нашим знаменитым поэтом... Я с жадностью читала «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан» и первую главу «Онегина», который доставлял нам сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко, милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек». Родзянко был богатый помещик, отставной гвардеец, встречавший Пушкина в Петербурге. Через него и через Анну Вульф Анна Керн завела из Полтавской губернии с Пушкиным игру по почте. Это было в Пушкинском вкусе. Пользуясь посредничеством влюбленной в него Анны Вульф, Пушкин напоминал далекой красавице о прежних встречах и просил ей передать, «что она была слишком блистательна» (Qu'elle était trop brillante).

Родзянко был не только соседом, но и очередным утешителем очаровательной соломенной вдовы. Судя по фривольному, не слишком приличному тону писем Пушкина, он

---

* А роль змеи, как видно, предназначается этому господину *(фр.)*.

догадывался об этой связи, что не мешало Родзянко показывать письма своей подруге.

«Объясни мне, милый, что такое А. П. К., которая написала много нежностей обо мне своей кузине? — писал Пушкин. — Говорят она премиленькая вещь — но славны Лубны за горами. На всякий случай, зная твою влюбчивость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным или полусделанным» *(8 декабря 1824 г.).*

Анну такие намеки не обижали. Напротив, они ее подзадоривали. Весной она собралась ехать на север к мужу. Родзянко писал Пушкину: «Вздумала мириться с Ермолай Федоровичем, снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей, и я пропал». Анна Керн рассказывает, что она прочла это письмо и сделала к нему приписку. «После этого мне с Родзянкой вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали шуточное послание в стихах». Это письмо полно игривыми, дразнящими намеками, которые подготовили влюбчивое воображение Пушкина к встрече с Анной. Он ответил стихами. Керн приводит их в своих воспоминаниях:

Ты прав, что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной —
Поговорим опять об ней.
Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу...

Закончил письмо Пушкин лукавым наставлением:

Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода,
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А, во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы.
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.
(Июнь, 1825 г.)

И вот эта, дразнившая его издали женщина, неожиданно очутилась перед ним. Ее появление было радостным, бурным событием в однообразной деревенской жизни.

«Восхищенная Пушкиным, — пишет Анна Керн, — я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки, в Тригорском, в июне 1825 года. Вот как это было. Мы сидели за обедом. Вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол: он обедал у себя гораздо раньше и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, волкодавами. Тетушка, около которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. Робость видна была во всех его движениях. Я тоже не нашлась, и мы не скоро ознакомились и разговорились. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться, он был очень неровен в обращении, то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту... Он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был несказанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его. Когда он решался быть любезным, то ничто не могло сравняться с блеском, остротой и увлекательностью его речи... Он был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и развлекать общество. Однажды с этой целью явился он в Тригорское со своей большой черной книгой, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочел нам своих «Цыган»... Я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах»:

И голос, шуму вод подобный...»

Их сразу потянуло друг к другу. Оба были молоды. У обоих была горячая кровь. Оба были свободны. О том, что где-то существует генерал Керн, было просто смешно вспоминать. В приволье непринужденной помещичьей жизни любилось легко, весело, без обязательств, без мыслей о завтрашнем дне. Они просто обеими руками черпали радость жизни. То, что приходилось хитрить, обманывать бдительность тетки, кузин, всех домочадцев, увеличивало пряность игры, в которую оба игрока уже играли не в первый раз, которую они разыгрывали с ветреностью, как герои Бомарше, любимца Пушкина. В роман поэта с хорошенькой генеральшей вплелись ухаживания за ней ее кузена, Алексея Вульфа, вздохи другой Анны, бедной Анны Вульф, все еще влюбленной в Пушкина, трога-

тельно и беспомощно. Она отступила без боя. Где же ей, деревенской барышне, тягаться с такой неотразимой и опытной кокеткой, как ее белокурая кузина. Хотя портретов Анны Керн нет, но по рассказам ее поклонников мы знаем, что у нее было круглое личико, маленький пухлый рот, большие, томные глаза. Ее мягкая красота, ее ленивая грация, ее голос кружили головы, как доброе вино. Пушкин называл ее прельстительницей, отметил ее редкий дар очарования, в котором часто не меньше власти, чем в красоте. Вот какой рисовалась она его влюбленным глазам:

«Скажи от меня Козлову, — писал Пушкин Плетневу, — что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его «Венецианскую ночь» на голос гондольерского речитатива. Я обещал известить о том милого вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит ее, но пусть вообразит себе красоту и задушевность, по крайней мере дай Бог ему ее слышать» *(середина июля, 1825 г.)*.

Когда Керн уехала, он писал ей: «Носите короткие платья, так как у вас прехорошенькие ножки. Но, пожалуйста, не взбивайте волос на висках, хотя этого и требовала бы мода, так как, на ваше несчастье, у вас круглое лицо...»* Он боится, что ее «прекрасные глаза будут смотреть на какого-нибудь рижского фата с таким же томным и страстным выражением... Нет, этого я не вынесу» *(21 июля 1825 г.)*.

Возможно, что и старшая из тригорских поклонниц Пушкина, тетушка Прасковья Александровна, уловила чересчур соблазнительные взгляды племянницы и нашла, что атмосфера влюбленности слишком сгущается в ее доме. Она не рассчитывала на благоразумие Анны, еще меньше на сдержанность Александра. Поэтому, забравши обеих Анн, и дочь и племянницу, Осипова внезапно уехала на морские купанья в Ригу. Опять оторвали Пушкина от его возлюбленной, но эта разлука не была трагической. Анна Керн никогда не была для него тем, чем была волшебница Элиза. Об этом явно свидетельствуют его письма. Сама Анна Керн в своих записках не старается преувеличить страсть своего знаменитого поклонника. Это показывает, что природа, кроме томных глаз и хорошенькой ножки, наградила ее и здравым смыслом. Пушкин так бурно загорелся страстью, так откровенно любовался ею, что ее избалованной головке было от чего вскружиться, но она трезво расценила его чувства.

Утром, в день их отъезда, Пушкин принес Анне Керн

---

* Эти слова относятся не к А. П. Керн, а к адресату письма Анне Николаевне Вульф.

вторую главу «Евгения Онегина» и в нее вложил листок, на котором написал:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

«Когда я собиралась спрятать в шкатулку этот поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю».

Некоторые современники и позднейшие критики сомневались, что этот торжественный гимн относится к Керн. Действительно, трудно сочетать тон писем Пушкина к ней с тем возвышенным чувством, которым горят эти изумительные строчки. Печатая в 1827 году в «Северных Цветах» эти стихи, Пушкин их озаглавил: «К ***». Но Анненков видел писанный рукой Пушкина список его стихов, сочиненных до 1826 года. В нем «Я помню чудное мгновенье» помечено: «К А. П. К.». Эта пометка Пушкина прекращает всякие споры.

Анна Керн прожила в Тригорском только несколько недель. 19 июля тетушка повезла ее в Ригу. Пушкину даже не удалось проводить свою возлюбленную до первой почтовой станции. Зато Алексей Вульф вскочил в карету и, на зависть Пушкину, уселся рядом с кузиной. В тот же вечер он вернулся, и они с Пушкиным полночи проговорили о ветреной красавице.

До нас дошло немного писем Пушкина к женщинам, если не считать его писем к жене. Говорят, графиня Элиза Воронцова, которая на полвека пережила Пушкина, перед смертью сожгла его письма. Так же поступила московская барышня Екатерина Ушакова, за которой Пушкин крепко ухаживал. Анна Керн письма его сохранила, семь из них опубликовала, дала возможность прислушаться к голосу поэта, когда он говорит с любимой женщиной не стихами, а прозой. Не к недоступному гению чистой красоты обращены эти письма. В них отголосок горячей, земной влюбленности, а не могучей неотразимой страсти, за год перед тем охватившей поэта в Одессе.

Правда, Пушкин не был уверен, что его письма не попадут в руки строгой тетки, нескромного волокиты кузена Алексея или даже в руки ревнивого старого мужа. Анна в Риге была под опекой, под надзором. Тетка уже не могла обрезать племяннице ее белокурые локоны, но письма ее бесцеремонно перехватывала. Влюбленные пользовались бедной Анной Вульф, как ширмой. Первое письмо Пушкина обращено к ней, хотя его шутливые советы явно относятся к другой Анне. Тон этих, писанных по-французски, писем легкий, веселый,

нежность прикрыта шуткой, готовой соскользнуть в непристойность. Это то, что Пушкин называл «врать с женщинами». Комплименты, вспышки чувства, быстрые переходы к насмешке, и за всем этим невысказанный, но страстный призыв. Точно он хочет заставить ее почувствовать горячие прикосновения его красивых рук, смелый взгляд его переменчивых глаз, то бледно-синих, то почти черных. Над всем быстрым трепетом настроений звенит его заразительный смех, блестят его ровные, белые зубы.

«Каждую ночь гуляю в саду и говорю себе: она была здесь — камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе рядом с увядшим гелиотропом, я пишу много стихов, все это, если хотите, очень похоже на любовь, но я вас уверяю, что это не то. Если бы я был влюблен, то в воскресенье со мной сделались бы судороги от бешенства и ревности, а мне было только немного обидно. Но мысль, что я ничего для нее, что, пробудив и заняв ее воображение, я только забавлял ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не отвлечет ее от побед, не сделает ее в скучные дни более грустной, что ее прекрасные глаза будут смотреть на какого-нибудь рижского фата с таким же томным и страстным выражением... Нет, скажите ей, что этого я не могу вынести, что меня мысль об этом убивает... Нет, не говорите ей ничего, это прелестное создание будет только смеяться надо мной. Но скажите ей, если в ее сердце не найдется для меня ни тайной нежности, ни влечения меланхолического и таинственного, то я ее презираю. Слышите? Да, презираю! Ее, вероятно, удивит это новое для нее чувство» *(21 июля 1825 г.)*.

Это первое письмо. Оно написано сразу под горячим впечатлением разлуки. Такому нетерпеливому, страстному любовнику нелегко было удовольствоваться письмами. Пушкин так и писал: «Я имел слабость просить у вас позволения писать, а вы из кокетства и ветрености мне это позволили. Я отлично знаю, что переписка ни к чему не ведет, но не могу устоять против желания получить хоть одно слово, писанное вашей хорошенькой ручкой. Ваше появление в Тригорском оставило более сильное и мучительное впечатление, чем когда-то наша встреча у Олениных... А вы небось все бываете в восторге, что есть сердце, которое страдает в вашу честь...» *(25 июля 1825 г.)*.

Потом срывается приписка, точно слышится его горячий шепот: «Я опять берусь за перо, потому что умираю с тоски и только о вас и думаю... Я надеюсь, что вы будете читать это письмо украдкой. Вы опять спрячете его на груди? Вы ответите мне длинным письмом? Умоляю вас, пишите мне все,

что вздумается. Если ваши слова будут такие же ласковые, как ваши глаза, я постараюсь им поверить, или буду себя обманывать, это все равно... Знаете ли вы, что когда я перечел эти строчки, мне стало стыдно за их сентиментальный тон? Что скажет Анна Николаевна? Ах, вы, чудотворка, или чудотворица» *(25 июля 1825 г.)*.

Этой шутливой русской фразой Пушкин закончил свое письмо, писанное, как и все эти письма, по-французски. Мы не знаем, как отозвалась на него Анна Керн. Ее писем у нас нет. Возможно, что и его письма она не все отдала в печать. Следующее помечено серединой августа. Для влюбленного поэта срок длинный, хотя в это время он был занят не одной любовью. Он еще не оставил мечты о бегстве за границу, был озабочен своими денежными делами, сердился на Левушку, правил издание книги стихов. А главное — «Борис Годунов» владел им. Не меньше, чем любовь. Но об этом нет ни намека в письмах к ней, полных беспечной влюбленности и кокетства. Ведь Пушкин тоже был мастер кокетничать.

«Читаю и перечитываю ваши письма и говорю — милая! прелесть! божественная!.. а потом — ах мерзкая! Простите, моя нежная красавица, но так оно есть. Что вы божественная, в этом нет сомнения. Но иногда у вас совсем нет здравого смысла. Еще раз прошу прощения, но вы должны утешиться тем, что это делает вас еще красивее...

Вы говорите, что я не знаю вашего характера. А какое мне дело до вашего характера? Мне это решительно все равно. Разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Важно только, какие у них глаза, зубы, руки, ноги (я прибавил бы — сердце, но ваша кузина слишком много о нем разглагольствует). Вы говорите, что вас не трудно понять, вы хотите сказать, полюбить? Я согласен. Я сам доказательство, что это так, а вел я себя с вами, как четырнадцатилетний мальчик — это просто возмутительно... Но поговорим о другом. Как подагра вашего супруга? Надеюсь, что после вашего приезда у него был здоровый припадок. И поделом ему! Если бы вы знали, какую смесь отталкивания и уважения этот человек во мне вызывает! А что вы делаете с вашим кузеном? Отправьте его поскорее в университет, не знаю почему, но я также не люблю этих студентов, как и г. Керн. Г. К. очень достойный человек, разумный, осторожный и т. д. У него только один недостаток, что он ваш муж. Как это можно быть вашим мужем? Я просто не могу себе этого представить, как не могу себе представить рая» *(15 августа 1825 г.)*.

В следующем письме Пушкин уже не ревнует, а шутливо защищает генерала Керна: «Скажите пожалуйста, что вам

сделал ваш бедный муж? Уж не вздумал ли он ревновать? Ну, так скажу вам, он был прав. Вы совсем нс умеете или (что еще хуже) вы совсем нс хотите щадить людей. Конечно, хорошенькая женщина может распоряжаться собой как хочет. (Unc jolie femme est bien la maitresse d'être la maitresse...) Уж нс мне читать мораль. Но все-таки муж имеет право на некоторое внимание. Иначе кому же захочется стать мужем. Не притесняйте слишком эту профессию, она в жизни необходима... Простите, божественная, если я говорю так откровенно, это доказательство моего искреннего интереса к вам. Я вас люблю гораздо больше, чем вы думаете. Постарайтесь как-нибудь поладить с этим проклятым г. Керн. Я понимаю, что он не гений, но все-таки он и не совсем дурак. Немного мягкости, немного кокетства (а главное, отказы, отказы, отказы), и он будет у ваших ног. Я от глубины души завидую, что он может занять такое место, но что же поделаешь».

И опять веселая болтовня сменяется вкрадчивым, страстным шепотом, точно они очутились вдвоем в тригорском саду:

«Прощайте! Ужс ночь, и ваш образ встает передо мной такой печальный, такой сладостный. Мне кажется, что я вижу ваш взгляд, ваш полуоткрытый рот. Прощайте! Мне кажется, что я у ваших ног, что я держу в своих руках, что я чувствую ваши колени. Я готов всю кровь свою отдать за одно настоящее мгновение. Прощайте и поверьте, что я действительно с ума схожу. Это смешно, но это так» *(конец августа, 1825 г.)*.

Тетушка Прасковья Александровна писала Пушкину, жалуясь на непозволительную ветреность племянницы. Пушкин отвечал (опять по-французски) с насмешливой почтительностью: «Ваше последнее письмо прелестно. Я от всего сердца смеялся, но вы слишком строги к вашей милой племяннице. Что она ветрена, это правда, но потерпите еще годков двадцать, и она исправится, я вам обещаю. Что касается ее кокетства, то вы совершенно правы, она отчаянная кокетка. А ведь, казалось бы, могла бы удовольствоваться тем, что нравится г. Керн, раз уж ей на долю выпало это счастье?» *(28 августа 1825 г.)*.

Это письмо не застало Осипову в Риге. Она поссорилась со своей лукавой племянницей за то, что она тайком ведет «неприличную» переписку с поэтом. Захватив собственную Анну, Осипова вернулась в Тригорское, но предварительно водворила Анну, племянницу, в квартиру генерала. Как и следовало ожидать, влюбленные, обманывая и тетку, и мужа, продолжали переписываться. Пушкин даже предложил генеральше сбежать от коменданта к нему в Михайловское:

«Вы мне будете говорить, что это скандал, но, черт возьми, когда мужа бросают, это уже скандал, все остальное ничего не значит, или мало что значит. Ну признайтесь, ведь мой план очень романтичен?..

Если вы приедете, я вам обещаю быть очень любезным. В понедельник я буду весел, во вторник я буду в восторженном настроении, в среду я буду нежен, я буду игрив в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье, я буду каким вам угодно, но всю неделю я буду у ваших ног» *(28 августа 1825 г.).*

Анна Керн в Михайловское не поехала. Опытной в любовных делах женщине нетрудно было угадать, что в горячем увлечении Пушкина нет той подлинной глубины, которая заставляет преодолевать внешние препятствия и условности. Она, весьма прозаически, еще на некоторое время, осталась при муже. Пушкин подозревал, что в этом решении играет какую-то роль Алексей Вульф. Он полушутливо корил Анну за кокетство с кузеном и потом среди легких упреков вдруг бросил:

«Ангел мой, мой прекрасный ангел, не обманывайте меня. Пусть благодаря вам я умру, познав счастье» *(22 сентября 1825 г.).*

Счастье он еще раз около нее испытал. Чтобы завершить этот легкий, в духе Бомарше, роман, в последнем действии на сцену появился муж. Генерал великодушно решил, что Прасковья Александровна несправедливо сердится на его жену, и решил помирить тетку с племянницей. В октябре, к большому удовольствию Пушкина, Керн вдруг привез жену в Тригорское.

«Керн предложил мне поехать, — я не желала, потому что Пушкин, из угождения тетушке перестал мне писать, а она сердилась. Я сказала мужу, что мне неловко ехать к тетушке, когда она сердится. Он, ни в чем не сомневающийся, как и следует храброму генералу, объявил, что берет на себя нас помирить. Я согласилась. Он устроил романтическую сцену в саду (над которой мы с Анной Николаевной очень смеялись). Он пошел вперед, оставив меня в экипаже, я через лес и сад пошла позже и упала в объятия этой милой, смешной, всегда оригинальной маленькой женщины, вышедшей ко мне навстречу в толпе всего семейства. Когда она меня облобызала, то все бросились ко мне, Анна Николаевна первая. Пушкина тут не было, но я его несколько раз видела, он очень не поладил с моим мужем, а со мной был по-прежнему и даже больше нежен, боясь всех глаз, на него и на меня обращенных».

Так писала Анна Керн Анненкову тридцать лет спустя. Сам Пушкин в письме к Вульф иначе отзывается о своих отношениях с генералом:

«Муж ее очень милый человек, мы познакомились и подружились» *(10 октября 1825 г.)*.

Генерал с генеральшей скоро вернулись домой в Ригу. Оттуда она прислала Пушкину французское издание Байрона. Он поблагодарил письмом, которое Анна Керн определяет как «чуть ли не самое любезное из всех писем, так он был признателен за Байрона».

«Я не ожидал, очаровательница, что вы обо мне вспомните. От всей души благодарю вас. Байрон приобретает для меня новую прелесть. Все его героини примут, в моем воображении, облик той, которую нельзя забыть. В Гюльнаре, в Леиле я буду видеть вас — даже Байроновский идеал не может быть более божественным. Судьба опять посылает мне вас, чтобы скрасить мое одиночество. Вы ангел-утешитель, а у меня еще хватает неблагодарности роптать... Быть может, перемена, которая только что произошла, приблизит меня к вам, уж боюсь надеяться. Нельзя верить надежде, это хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем. А что поделывает ваш муж, мой кроткий гений? Знаете ли вы, что всех врагов Байрона, включая его жену, я представляю себе в его образе».

«8 дек. Я снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я вас по-прежнему люблю, что иногда я вас ненавижу, что третьего дня я наговорил про вас гадостей, что я целую ваши красивые руки, что я снова и снова их целую в ожидании лучшего, что я не могу этого больше переносить, что вы божество и т. д., и т. д.» *(8 декабря 1825 г.)*.

Это последнее письмо. Роман был доигран. Когда год спустя Пушкина вернули из ссылки, Анна Керн уже разошлась с мужем и жила в Петербурге одна. Пушкин встречал ее у Дельвигов и у своих родных. Но его отношение к ней резко изменилось. Ни об одной женщине он так грубо не отозвался в письмах, как о ней. Сделал это дважды. Раз назвал ее вавилонской блудницей. Другой раз, с неповторимым цинизмом, упомянул о своей встрече с ней. В нем не было ни лицемерия, ни ханжества. Он меньше, чем кто-либо, осуждал женщин, которые шли «мимо всех условий света». То, что она перешла от него к Алексею Вульфу, путалась с Илличевским, с Левушкой, с Соболевским, не могло его особенно удивить. Но эта не в меру доступная женщина чем-то задела его. Может быть, оскорбила эстетическое чувство этого аристократа в любви, как определил Пушкина меткий Вяземский.

Когда юный Пушкин встретил Анну Керн у Олениных, она играла Клеопатру. После ее появления в Тригорском он набросал первый вариант Клеопатры. Было ли это простое

совпадение, или в воображении влюбленного поэта она представлялась то гением чистой красоты, то Клеопатрой, кто знает? Во всяком случае, ее опьяняющая красота озарила его пусть мгновенной, но творческой иллюзией. И, несмотря на грубые слова, брошенные в письме к приятелю, он сохранил к ней добродушное, благожелательное отношение. Керн рассказывает, что после его женитьбы они почти не встречались, но когда умерла ее мать и она попала в трудное материальное положение, «Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал со свойственной ему живостью по всем соседним дворам, пока, наконец, нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие, ласкал мою маленькую дочь Ольгу, забавляясь, что она на вопрос — Как тебя зовут? — отвечала — «Воля». И вообще он был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восторгалась им как добрым гением».

Связь с Пушкиным была самой блистательной, но не самой счастливой в ее женской жизни. Уже после смерти поэта она влюбилась в красивого офицера, своего племянника, А. В. Маркова-Виноградова. Ему было двадцать лет, ей за сорок, что не помешало и ему влюбиться без памяти в очаровательную тетку. На этот раз и она привязалась крепко, окончательно, нашла свое женское счастье. Но их преследовали денежные невзгоды. Всю вторую половину своей жизни Анна провела в нужде. Пришлось продать даже письма Пушкина, но это не обогатило бедную старуху. М. П. Семевский, который их купил, заплатил ей всего только по пять рублей за письмо.

Она умерла в глубокой старости, в тот год, когда в Москве ставили памятник поэту. Есть легенда, что, когда ее гроб, за которым шли два-три человека, везли на кладбище, им преградила дорогу колоссальная повозка, на которой тащили на Страстной бульвар гранитный пьедестал для памятника Пушкину.

Глава IV

ТРИ ЧЕРНЫЕ ТЕТРАДИ

И светлых мыслей красота...

«Пушкин бывал у покойной нашей барыни почти каждодневно. Добрый был, да ласковый, но только немного тронувши был. Идет, бывало, из усадьбы с нашими барышнями

по Тригорскому с железной палочкой. Надо полагать, от собак брал он ее с собой. Бросит ее вверх. Схватит свою шляпу с головы и начнет бросать на землю или опять вверх, а сам попрыгивает да поскакивает. А то еще чудесней: раз это иду я по дороге в Михайловское, а он мне навстречу. Остановился вдруг ни с того ни с сего, словно столбняк на него нашел, ажно я испугался, да в рожь и спрятался, и, смотрю, он вдруг так громко разговаривать промеж себя стал на разные голоса, да руками все разводит, совсем как тронувши. Частенько мы его видали по деревням на праздниках. Бывало, придет в красной рубахе и смазных сапогах, станет с девками в хоровод и все слушает, да слушает, какие они песни поют, и сам с ними пляшет и хоровод водит».

Это рассказ бывшего крепостного Осиповой, записанный, когда Россия справляла столетие со дня рождения Пушкина, когда внезапно вспыхнул, разгорелся, обновился интерес к поэту. Стали разыскивать его современников, собирать обрывки воспоминаний. Со дня смерти поэта прошло больше шестидесяти лет, казалось, неграмотный мужик мог все забыть и перепутать, но точность его рассказа подтверждается одной строфой в Онегине, о которой старик, конечно, понятия не имел:

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.
. . . .
Или (но это кроме шуток)
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладозвучных строф,
Они слетают с берегов.
(Гл. IV. Стр. XXXV)

За два года в Михайловском много сладкозвучных строф написал Пушкин. Друзья напрасно боялись, что вынужденное деревенское одиночество превратится в ленивое прозябание. Они все еще не понимали, что Пушкин, веселый, легкий Пушкин, был великий труженик, что для него писательство было радостью и послушанием.

В Михайловском он скучал, тосковал, негодовал на свою неволю, порой ребячески на нее злился, но как бы ни были бурны его чувства, в душевной глубине шла своя поэтическая жизнь, царила светлых мыслей красота. Не внешние обстоятельства, не жажда славы, даже не любовь, а поэзия была мерой его жизни. В «Разговоре книгопродавца с поэтом» есть такой вариант:

Отдайте мне мои дубравы,
Мои холмы, приюты скал,
Где я, не понимая славы,
Одной поэзией дышал...

Пушкин эти строчки выпустил. Боялся, что не поверят его правдивости, не поймут, что поэзия может быть дороже славы.

После отъезда отца с матерью Пушкин мог спокойно работать у себя дома, писать сладкозвучные строфы в Михайловском, не забираясь в тригорскую баню. Привычный рабочий порядок дня был сразу восстановлен. Вставал он рано. Прямо через сад шел купаться в Сороти. Зимой брал дома ледяную ванну. После купанья ложился в постель, все утро читал или писал, крепко держа в тонких пальцах обгрызенное гусиное перо. На клочках бумаги набрасывал стихи, иногда только одни рифмы. Если это случалось на прогулке или во время верховой езды, то он рассовывал исписанные бумажки по карманам, потом вносил их в свои черновые тетради. В этих тетрадях есть все — стихи, рисунки, заметки, черновики писем, выписки из книг, иногда запись долгов, особенно карточных, повести, рассказы, варианты.

В деревне Пушкин пользовался тремя большими тетрадями одновременно, и проследить хронологию его записей бывает трудно. Вульф рассказывает, что на одной из тетрадей он видел полустертый масонский знак и что Пушкин сказал ему, что это приходные книги масонской ложи. Возможно, что он просто пошутил. Более поздние исследователи молчат о масонских знаках, хотя тетради эти были не раз подробно описаны. В них чередовались произведения, различные по темам, по настроению, по эпохе и характеру героев, не говоря уже о структуре стиха. Из глухой псковской усадьбы воображение переносило поэта в далекие страны, в давно минувшие времена, которые он воскрешал с тщательным мастерством великого психолога.

Греческий миф в «Прозерпине», Египет в «Клеопатре», французская революция в «Андрэ Шенье», «19 октября 1825 г.», борьба России с Наполеоном, в воспоминании Пушкина крепко связанная с Лицеем, величавая мудрость Востока в «Подражании Корану», в «Разговоре книгопродавца с поэтом» мудрость иная, художественная, в причудливом сочетании с печальной страстностью любовной лирики. Наконец там же, в Михайловском, осенило его высокое духовное вдохновение, выразившееся в «Пророке». Но и это не все, это только часть написанного за два года в деревне. Там Пушкин закончил «Цыган», написал три с лишним главы «Евгения Онегина» и «Графа Нулина». Там и начал и кончил «Бориса

Годунова», который вздымается, как Казбек над длинной горной цепью.

В разгаре работы над «Годуновым» у Пушкина срывается признание: «Я чувствую, что дух мой созрел окончательно. Я могу творить» *(июль 1825 г.)*.

На этих словах прерывается черновик письма, писанного, вероятно, к Николаю Раевскому. Есть основание предполагать, что оно никогда не было отправлено. В почтовой прозе Пушкин предпочитал говорить о своих стихах не как о призвании, а как о ремесле, уверял, что пишет стихи, как портной кроит платье, сапожник — сапоги — для денег. Но в стихах, ранних и поздних, он с властной откровенностью говорил о творчестве, о вдохновении, с точностью анатома анализировал это особое духовное состояние и его развитие.

Обычно делал он этот анализ, когда чувствовал приближение длительного приступа вдохновения, точно этим расчищал себе путь.

Так несколько лет спустя, в Болдине, переживая одержимость рифмами даже для него небывалую, Пушкин описал свою Музу в ее различных воплощениях. И Михайловский период начинается с рассказа о том, как находит на него «тяжкий пламенный недуг».

Первые стихи Пушкина в Михайловском полны воспоминаний об Одессе.

Он получал от Элизы Воронцовой письма, уносил их к себе, читал вдали от недоброжелательного и назойливого любопытства родителей. В одной из черновых тетрадей, после строфы XXXII, главы III, где, отправляя письмо Онегину,

Татьяна то вздохнет, то охнет,
Письмо дрожит в ее руке... —

есть отметка «5 сент. 1824 г. Une lettre de ***»*. В тех же тетрадях, среди черновиков «Годунова», автобиографическое «Сожженное письмо».

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои...
Но полно, час настал: гори, письмо любви...
(1825)

Белинский, едва ли не лучший толкователь Пушкина, очень высоко ценил «Сожженное письмо». «Лирические произведения Пушкина в особенности подтверждают нашу

* Письмо от... *(фр.)*.

мысль об его личности. Чувство, лежащее в их основании, всегда так тихо и кротко, несмотря на всю его глубокость, и вместе с тем так человечно и гуманно... И оно всегда проявляется у него в форме столь художнически спокойной, столь грациозной. Он ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая страсть его, несмотря на ее глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна, она умеряет муки души и целит раненые сердца... Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, грациозное и благоуханное во всяком чувстве Пушкина. Читая его творения, можно воспитать в себе человека».

Есть у Пушкина один отрывок, вероятно, относящийся к той же осени, который скрепляет суждение Белинского. По настроению стихи эти связаны с «Сожженным письмом» и «Коварностью», которую Пушкин пометил 18 октября 1824 года. Вот это восьмистишие:

Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья...

Сколько дерзкой откровенности в этих строчках, какой правдивостью звучат слова о девичьих слезах, как искусно переплетается неугасшая страсть к Элизе с тем, что Анненков называл изящной забавой в Тригорском. Это уж не острое томление любви, это гул страсти затихающей, память о любви погибшей.

Но над первыми писанными в Михайловском стихами — Пушкин дал им сухое название — «Разговор книгопродавца с поэтом» — еще царит образ Элизы. Это пламенная поэма, где восторг любовный и восторг творческий льются из одного источника. В диалоге три темы — поэт и толпа, творчество, любовь. Пушкин никогда не впадал в стихах в схематические рассуждения, что нередко случалось с Жуковским. «Разговор» — это прежде всего музыка. Стихи плывут с пленительной плавностью. Чувства полны благородной искренности, мысли — ясной глубины. И ни капли горечи, хотя она могла еще тогда в нем быть. Характеры обоих собеседников определенно намечены. Поэт — это и Ленский, и сам Пушкин. Книгопродавец — делец, не лишенный юмора. Он пришел за делом, он хочет купить рукопись:

Стишки любимца Муз и Граций
Мы вмиг рублями заменим...

Черновой вариант еще игривее:

И в пук тяжелых ассигнаций
Его листочки превратим...

Сначала поэт презрительно отворачивается от ассигнаций, мечтательно вспоминает то блаженное время, когда он писал «из вдохновенья, не из платы» и «на пир воображенья свою подругу призывал...»:

Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
. . . .
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом,
И музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом,
Я был хранитель их скупой,
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы младой
Хранит любовник суеверный.
(26 сентября 1824 г.)

Пушкин, любовник суеверный, до самой смерти хранил перстень-талисман, подаренный ему волшебницей Элизой.

Книгопродавцу до этих сентиментальностей нет дела. С почтительной иронией напоминает он, что «без денег и свободы нет», что слава приносит успех у женщин, произносит фразу, ставшую поговоркой, как и многие стихи Пушкина:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

Благоразумное замечание сразу возвращает поэта к житейской необходимости. Он отвечает уже не стихами, а деловой прозой: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся».

«Разговор» был напечатан вместе с первой главой «Евгения Онегина», которая вышла отдельной книгой, как выходили и все последующие главы. Роман так захватил и взвол-

новал читателей, что большинство не заметило всей значительности «Разговора». Только немногие друзья оценили блеск и глубину диалога. Жуковский писал: «Читал Онегина и разговор, служащий ему предисловием. Несравненно. По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место в русском Парнасе» *(ноябрь 1824 г.)*.

Плетнев писал: «Разговор с книгопродавцем верх ума, вкуса и вдохновения. Я уж не говорю о стихах. Меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, столько мыслей, не докажет так ясно свое предложение. Между тем, какая свобода в ходе» *(25 января 1825 г.)*.

Ранней осенью, когда друзья издали корили его, что «он недостойно расточает свой талант», а дома отец корил его за то, что он проповедует Левушке безверие, Пушкин писал «Подражания Корану», эту прелюдию к «Пророку». Они посвящены П. А. Осиповой и писались в Тригорском, куда Пушкин спасался от домашних сцен. Когда в тригорском доме ему мешала веселая девичья болтовня, он уходил в конец сада — в баню, где, как раньше в биллиардной комнате в Каменке, мог работать без помех. Вот как Анненков, вдумчиво проследивший ступени и переходы внутренней жизни поэта, толковал эти «Подражания»: «Алькоран служил Пушкину знаменем, под которым он проводил собственное религиозное чувство. Пушкин употребил в дело символику и религиозный пафос Востока, отвечавший мыслям и чувствам, которые были в душе самого поэта, тем, еще не тронутым, религиозным струнам его сердца и поэзии, которые могли свободно и безбоязненно прозвучать под прикрытием смутного имени Магомета. Это видно даже по своеобычным прибавкам, которые в этих весьма своеобразных стихах нисколько не вызваны подлинником».

Друзья Пушкина пришли в восторг от металлической силы и звучности стиха, от полноты художественного достижения. Но они не уловили глубокого духовного процесса, который медленно, но неуклонно отводил поэта от юношеского скептицизма, не заметили, как чья-то рука снимала чешую с его глаз. Их ослепило совершенство формы, сбило с толку внешнее отсутствие лирики. В «Подражаниях» нет и следа личных страстей и волнений, придающих такую кипучую стремительность «Разговору книгопродавца с поэтом». Их писал величавый, умудренный длительным созерцанием старик-дервиш, а не дерзкий молодой поэт, сосланный в глушь потому, что он влюбился в жену своего начальника.

Пушкин Турции не знал, мусульман наблюдал только на

отвоеванном от турок юге России. Коран он читал в Одессе во французском переводе. Этого оказалось довольно, чтобы схватить и передать дух иноземного, иноверного пророка. Трудно сказать, кто больше пленил его в Магомете, религиозный вождь или вдохновенный поэт? В примечаниях Пушкин говорит: «Нечестивые, пишет Магомет (глава *Награды*), думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен». Мнение сих *нечестивых*, конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний».

Это не в меру скромное определение. На самом деле это не перевод и не подражание, а проникновение в чужую метафизику. По тому, как Пушкин оценивал «Восточные мелодии» Томаса Мура, друга и биографа Байрона, мы можем судить, какие требования ставил он поэту, пользующемуся восточными мотивами. В письме к Вяземскому из Кишинева Пушкин справедливо называл Мура «чопорным подражателем безобразному восточному воображению» *(2 января 1822 г.)*. И опять, из Михайловского, писал он Вяземскому, что не любит Мура, «потому что он чересчур уже восточен. Он подражает ребячески и уродливо — ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. — Европеец, и в упоении восточной роскоши, должен сохранить вкус и взор европейца» *(апрель 1825 г.)*.

Все девять «Подражаний Корану» различны по форме и по ритму, но связаны внутренним единством, отражающим мусульманское мироощущение:

Земля недвижна — неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.

«Плохая физика; но зато какая смелая поэзия», — замечает Пушкин.

В основу каждого «Подражания» положена определенная сура, то есть стих из Корана, но к нему примешаны мысли и образы, взятые из разных мест Корана. Н. О. Лернер (в III томе Венгерова) приводит тексты Корана, из которых Пушкин исходил. Первое «Подражание» — это поэтическая переработка 93-й суры. Долго не слышит пророк голоса Аллаха. Наконец Аллах опять обращается к нему: «Клянусь утренним блеском, клянусь ночью, когда она темнеет, — Господь не оставил тебя и не презрел, будущее для тебя лучше настоящего».

Пушкин усилил и клятвы, и обещания Аллаха, отчасти собрав их с других страниц, отчасти внеся свои образы:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой.
Нет, не покинул я тебя...

В Коране говорится: «Не сиротой ли он нашел тебя и приютил? Не блуждающим ли он нашел тебя и на прямой путь поставил?» Пушкин в шестнадцати строках определяет духовный смысл божественной щедрости:

Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

Также вольно передана 80-я сура, которую Пушкин превратил в третье «Подражание», причем опять для изображения Страшного Суда воспользовался образами из других стихов Корана. «Пораженные ужасною десницею Бога, люди будут как опьяневшие», — говорит Магомет. У Пушкина ужас передается образным выражением — «обезображенные страхом». Есть в 16-й суре такое наставление: «Призывай людей на суд Божий мудростью и кроткими увещаниями, если входишь с ними в спор, веди себя благороднейшим образом». У Пушкина:

Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых.

Один из вдумчивых литературных критиков прошлого века, Н. Н. Страхов, писал по поводу ритмики Пушкина: «Третье «Подражание» представляет поразительное течение речи. Вначале раздаются величественные звуки: С небесной книги список дан тебе, пророк, не для строптивых... Потом меняется, делается кротким, тихим. — Почто ж кичится человек? За то ль, что Бог и умертвит и воскресит его по воле? И вдруг раздается гром негодования. — Но дважды ангел вострубит... — Угрозы сыплются градом. Музыка удивительная. Поставить союз **но** так, как он тут поставлен, едва ли бы решился какой-нибудь европейский поэт. Полный разрыв течения мыслей и вместе строгая связь душевных движений, явный беспорядок и чудесная гармония».

Рылеев пришел в восторг от «Подражаний». «Отрывки из Алкорана прелестны, — писал он Пушкину, — «Страшный суд» ужасен. Стихи — И брат от брата побежит и сын от матери отпрянет — превосходны» *(25 апреля 1825 г.)*.

* * *

Богатый Михайловский период был периодом окончательного обрусения Пушкина. Его освобождение от иностранщины началось еще в Лицее, отчасти сказалось в «Руслане», потом стало выявляться все сильнее и сильнее, преодолевая экзотику южных впечатлений. От первых, писанных в полурусской Одессе, строф «Онегина» уже веет русской деревней. В древнем Псковском крае, где поэт пополнял книжные знания непосредственным наблюдением над народной жизнью, углублялся его интерес к русской старине, к русской действительности.

Теперь Пушкин слышал вокруг себя чистую русскую речь, жил среди людей, которые были одеты по-русски, пели старинные русские песни, соблюдали старинные обряды, молились по-православному, блюли духовный склад, доставшийся от предков. Точно кто-то повернул колесо времени на два столетия назад, и Пушкин, вместо барских гостиных, где подражали Европе в манерах и мыслях, очутился в допетровской, Московской Руси. К ней душой и телом принадлежал спрятавшийся от него в рожь мужик, крепостные девушки, с которыми Пушкин в праздники плясал и пел, слепцы и певцы на ярмарке, игумен Иона, приставленный обучать поэта уму-разуму. Все они, сами того не зная, помогли Пушкину стать русским национальным поэтом.

Он привез с юга две большие незаконченные вещи — «Евгения Онегина» и «Цыган». Начатые в Одессе в декабре 1823 года, «Цыгане» были окончены в Михайловском 10 октября 1824 года, в другой обстановке, в другом писательском настроении. Раннее увлечение Пушкина Байроном и Шатобрианом осталось далеко позади. Алеко еще напоминает шатобриановского Рене, но у Пушкина монологи короче и несравненно умнее. Красота пушкинского стиха прикрывает душевную бедность разочарованного в цивилизации героя. Цыганский быт, движение страстей Пушкин описывает как художник-реалист. Медведь, изорванные шатры, Земфира, все это не выдуманное, а слышанное и виденное. В эпилоге поэт говорит:

За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Кончая «Цыган», любовную драму, вставленную в этнографическую рамку, Пушкин опять, как в эпилоге «Кавказского пленника», в нескольких строчках передает то ощущение русской государственности, которое пробудилось в нем на юге:

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш Орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.

Широким взмахом руки очертил он могучий простор русской державы, а потом сразу перешел к Мариуле, к кострам, к песням.

Из трех больших черных тетрадей, которые Пушкин употреблял в Михайловском, одна как будто особенно часто попадала ему под руку. В литературе о Пушкине она известна под номером 2370. Это не его нумерация, а сделанная жандармами, когда они, после смерти поэта, составили опись его рукописей и бумаг. Сам Пушкин своих тетрадей не нумеровал и в записях хронологического порядка не соблюдал. Иногда изо дня в день писал в той же тетради, иногда сразу в нескольких. На внутренней стороне тетради 2370 его рукой написано:

1824. 19/7 avr. mort de Byron*

Это еще Одесса. В этой тетради есть черновики майских писем к правителю дел канцелярии гр. Воронцова, Казначееву, отрывки из «Цыган», отдельные строфы из «Онегина», сцены из «Бориса Годунова». Самая отрывистость записей помогает уловить отголоски рабочего ритма, которому Пушкин следовал... «Цыган» он дописывал клочками, точно заполняя ими пустые места, трещины между «Онегиным» и «Годуновым». Начало «Цыган» находится в другой тетради, 2369 — между второй и третьей главами «Онегина». Продолжение в 2370, перебеленный текст в третьей тетради — 2368. Перечеркнутый поправками текст «Цыган» чередуется, переплетается то с отдельными строчками, то с целыми строфами из «Онегина». Потом в оркестр вступает «Годунов». Воображение поэта одновременно воссоздает грубую Москву XVI века и помещичью жизнь начала XIX века. Борис, трагичес-

---

* 19/7 апр. смерть Байрона *(фр.)*.

кий царь — узурпатор и реформатор, и разочарованный, тронутый байронизмом Онегин, старый монах Пимен и восторженный юноша Ленский, с душою прямо Геттингенской, Татьяна, Земфира, Марина — все они одновременно владеют Пушкиным, и всеми ими одновременно владеет он. В эти плодоносные месяцы в его мозгу родятся и развиваются темы, различные по эпохе, по колориту и узору, по форме, по стихотворному темпу. От четырехстопного ямба «Онегина» поэт прямо переходит к белым стихам «Годунова». Строфы «Онегина» далеко не всегда писались в том порядке, в котором мы привыкли их читать. Письмо Татьяны Пушкин задумал еще в Одессе. После страницы, где написана сцена из «Цыган» — «Веду я гостя, за курганом» и т. д. и строфы XXXIII из первой главы «Онегина» — «Я помню море пред грозою...» — есть черновой конспект письма Татьяны.

«У меня нет никого... Я знаю, что вы презираете... Я долго хотела молчать, я думала, что вас увижу. Я ничего не хочу, я хочу вас видеть, — у меня нет никого, придите, вы должны быть то-то и то-то, если нет, меня Бог обманул... Я не перечитываю письма и письмо не имеет подписи, отгадайте кто?»

Пройдет еще несколько лет, прежде чем из этих отрывистых слов вырастет знаменитое письмо Татьяны.

С «Цыганами», которые, по словам Пушкина, ему надоели, он наконец разделался в октябре 1824 года. С этого момента и до августа следующего года главным товарищем «Онегина» становится «Годунов». Первая запись о «Годунове» сделана в тетради № 2370 ранней осенью 1824 года, вероятно, в октябре. На странице 44-й Пушкин набросал исторические заметки и план трагедии, который почти весь и осуществил. Только одна сцена — Годунов и колдуны — осталась, по-видимому, ненаписанной. Со страницы 47-й начинается уже текст трагедии — монолог Бориса, вторая сцена на Красной площади, первые 23 строчки монолога Пимена в Чудовом монастыре:

> Еще одно, последнее сказанье —
> И летопись окончена моя,
> Исполнен долг, завещанный от Бога
> Мне, грешному...

И до слов:

> Минувшее проходит предо мною —
> Давно ль оно неслось, событий полно,
> Волнуяся, как море-окиян?
> Теперь оно безмолвно и спокойно...

На этом обрывается монолог. За ним идет «Сожженное письмо». Оно, как лирический возглас, врывается в важный

эпос исторической трагедии. После письма, не связанный с ним ни темой, ни ритмикой, отрывок рассказа про любовные огорчения Татьяны:

Так проповедывал Евгений.
Сквозь слез, не видя ничего,
Едва дыша, без возражений
Татьяна слушала его...
(Гл. IV. Стр. XVII)

И еще другая строфа:

...Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, к печали жадной...

Позже эти строфы войдут в главу четвертую, которую Пушкин начал исповедью о собственном любовном опыте — «В начале жизни мною правил прелестный, хитрый, слабый пол...». Он закончил эти вводные четыре строфы словами:

Как будто требовать возможно
От мотыльков и от лилей
И чувств, и мыслей, и страстей...

Пушкин переделал последнюю строчку, вместо «мыслей» поставил «и чувств глубоких», верно, считал, что не стоит ожидать от женщин мыслей. Но и в этих, нелестных для женщин, строчках, как и в «Разговоре книгопродавца с поэтом», он делает для какой-то одной женщины исключение... «Но есть одна меж их толпою... Я долго был пленен одною... с тех пор во мне уж сердце охладело, закрылось для любви оно, и все в нем пусто и темно...»

Эти четыре вводные строфы Пушкин не напечатал, заменил их цифрами I, II, III, IV.

На этих черновых страницах Татьяна и чернец Григорий чередуются. После строк:

И меркнет милой Тани младость:
Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.
(XXIII) —

резкий переход к пророческому сну Григория:

Ты все писал и сном не позабылся,
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил...
Три раза в ночь злой враг меня будил.
Мне снилося, что лестница крутая...

Между описанием вещего сна и монологом Григория:

Как я люблю его спокойный вид,
Когда душой в минувшем погруженный,
Он летопись свою ведет... —

опять стихи о Татьяне:

Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит...
Меня стесняет сожаленье;
Простите мне: я так люблю
Татьяну милую мою...
(Гл. IV. Стр. XXIV)

И тут же, на тех же страницах, черновой вариант монолога Григория, который по первому замыслу должен был говорить Пимен:

Борис, Борис. Престола ты достиг,
Исполнилось надменное желанье.
Вокруг тебя послушные рабы,
Все с трепетом твоей гордыне служит,
Но счастья нет в твоей душе преступной,
И ты забыл младенца кровь святую,
А в келии безвестное перо
Здесь на тебя донос безмолвный пишет;
И не уйдет злодейство от суда,
И на земле, как в вышних перед Богом.
Как быстро, как неясно
Минувшее проходит предо мной.
Давно ль оно неслось, событий полно,
Как океан, усеянный волнами,
И как теперь безмолвно, безмятежно.
Передо мной опять проходят люди,
Князья, враги и старые друзья,
Товарищи мои в пирах и битвах
И в сладостных семейственных беседах.
Как ласки их мне сладостны бывали,
Как живо жгли мне сердце их обиды.
Но где же их знакомый лик и голос,
И действия и страсти (мощные)
Немного слов доходит до меня,
Чуть-чуть их след ложится мягкой тенью...
И мне давно, давно пора за ними...

Эти страницы рукописи двадцать пять лет после смерти Пушкина были отчасти* описаны Анненковым: «Опять начи-

* Не знаю, опубликовали ли пушкинисты советской республики все варианты «Бориса Годунова». В издании Императорской академии их нет. Мне пришлось пользоваться отрывистыми текстами, опубликованными отдельными исследователями. *(Прим. авт.)*

наются мятежные расспросы чернеца о дворе Иоанна, о его роскоши и битвах и раздается величавый голос инока, этот голос, который в тишине отшельнической кельи, ночью, звучит как умиротворенный благовест и как живое слово из далеких веков»:

Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе Всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь Господь меня привел...

На этом прерывается монолог Пимена. Набросав эти восемь вводных строк, Пушкин вместо того, чтобы приступить к страшной исповеди грозного царя, останавливается, делает какую-то внутреннюю паузу и занимается сентиментальным романом Ленского и Ольги:

Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой,
Владимир сладостной неволе
Предался полною душой...
(Гл. IV. Стр. XXV)

Мелодия стиха поет, точно старинный венский вальс. Улыбающаяся кудрявая головка Ольги, которую Пушкин тут же на полях нарисовал, может служить образцом для русской балерины в балете «Дунайский вальс».

Резкие смены тем в его черновиках показывают, что иногда и ему приходилось поджидать вдохновения. Вот как он сам об этом говорит в уже цитированном раньше черновом письме Раевскому:

«Вы меня спрашиваете, пишу ли я трагедию характеров или костюмов. Я выбрал самый легкий путь, но я постарался соединить оба рода. Я пишу и думаю. Большинство сцен требует только размышления. Когда я дохожу до сцены, требующей вдохновения, я жду или откладываю, это для меня совсем новая манера работы. Я чувствую, что душа моя созрела, я могу творить» *(июль 1825 г.)*.

Вдохновение часто слетало к нему, когда он ездил верхом. Чтобы не растерять уже зазвучавшие в мозгу рифмы, он подгонял коня. Так, по дороге из Тригорского в Михайловское сочинил он свидание Марины с Дмитрием у фонтана, единственную любовную сцену в «Годунове». Когда Пушкин вернулся домой, оказалось, что у него нет чернил. Он отложил

запись, потом корил себя за это, считая, что первая, ускользнувшая из его памяти версия, была лучше второй.

Не совпала ли эта забывчивость с приездом Анны Керн? Не ей ли в жертву принес он этот первый, лучший вариант? Она рассказывает в своих воспоминаниях, где много точных подробностей, что Пушкин, часто повторявший особенно полюбившийся ему стих, при ней все твердил слова из сцены у фонтана:

Обманет, не придет она...

Глава V

«БОРИС ГОДУНОВ»

Нет точных указаний, когда Пушкин начал «Годунова». Вероятно, поздней осенью 1824 года. К осени 1825 года трагедия была закончена. Под чистовой, переписанной рукописью Пушкин поставил дату — 7 ноября 1825 года. Четыре года спустя, когда все еще не был разрешен к печати «Годунов», он набросал к нему предисловие:

«Хотя я вообще довольно равнодушен к успеху иль неудаче моих произведений, но признаюсь, неудача «Бориса Годунова» будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен. Как Монтень, могу сказать о своем сочинении: это был честный труд (C'est une œuvre de bonne foi). Писанная мною в строгом уединении (не смущаемый никакими чуждыми влияниями), вдали охлаждающего света, плод добросовестных изучений, постоянного труда, трагедия эта доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено: живое занятие вдохновению, внутреннее убеждение, что мною употреблены все усилия, и, наконец, одобрение малого числа избранных. Трагедия моя уже известна почти всем тем, мнением которых дорожу» *(1829)*.

Друзья Пушкина рассказывали Анненкову, что сам Пушкин считал, что «Цыгане» открыли ему дорогу к драматическим произведениям. В «Цыганах» есть драматическое столкновение страстей, есть диалоги, есть новые для него приемы. Пушкин не мог не прийти рано или поздно к театру, к которому у него с детства было наследственное влечение. Он любил всякие зрелища — драмы, комедии, балеты, шарады, оперы Россини и Моцарта, ярмарочных скоморохов, пенье слепых и нищих. Всякое «как будто» находило в нем отклик. Он изучал историю театра, вдумывался в законы и прихоти сцены, в сущность и органичность сценической правды. Он

упоминает об этом в своих письмах, в заметках о «Годунове», разбросанных по черновым тетрадям. В том же известном (писанном по-французски) письме к Раевскому, которое писалось в разгаре работы над «Годуновым», Пушкин говорит:

«Какое, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, разделенной на две половины, с одной стороны 2.000 людей, которых те, что на сцене, как будто не видят... Правдоподобие положений и правдивость диалогов, вот настоящие законы трагедии...» *(июль 1825 г.)*.

Пять лет спустя, в черновой заметке о драме, он опять возвращается к вопросу о правдивости и лживости театральных представлений:

«Если мы будем полагать правдоподобие в строгом соблюдении костюма, красок, времени и места, то и тут мы увидим, что величайшие драматические писатели не повиновались сему правилу. У Шекспира Рим[ские] лик[торы] сохраняют обычаи лондонских алдерманов... Римляне Корнеля суть или испанские рыцари или Гасконские бароны... Со всем тем Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте недосягаемой... Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах, — вот чего требует наш ум от драматического писателя».

Пушкин спрашивает:

«Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ — судьба человеческая и судьба народная. Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки».

«Что нужно драматическому писателю? Философия, беспристрастие, Государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. СВОБОДА».

Последнее слово он подчеркнул, что делал редко. Речь идет здесь, конечно, не о политической свободе, а о внутренней свободе художника, которую Пушкин всегда отстаивал для себя и для других. По поводу «Горя от ума» он писал Бестужеву:

«Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. След., не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова» *(после 25 января 1825 г.)*.

В поисках этих законов его главным попутчиком и советчиком был Шекспир. Со смелой откровенностью художника, сознающего свое богатство, Пушкин отмечал то, что было для

него созвучного в других поэтах и мыслителях. Он не замалчивал, он преувеличивал их влияние. По поводу «Годунова» он не раз указывал на свою связь с Шекспиром и Карамзиным.

«Изучение Шекспира, Карамзина и наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории... Я писал в строгом уединении не смущаемый никаким влиянием. Шекспиру подражал я в его вольном и широком изображении характеров, в необыкновенном составлении типов и в простоте. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык того времени. Источники богатые» *(1828)*.

Знакомство Пушкина с Шекспиром началось на юге и совпало с внутренним его созреванием, с освобождением от чужих влияний. В письме, за которое Пушкин был выслан из Одессы, он писал:

«...Читая Шекспира и Библию, Св. Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира» *(март 1824 г.)*.

Приехав на север, Пушкин уже читал и перечитывал не Байрона, а Шекспира. Один из первых в России, опередив кружок Герцена и Белинского, оценил он английского драматурга. Хороших русских переводов еще не было. Как и большинство русских, Пушкин читал Шекспира по-французски, в переводе, слишком похожем на переделку. Мелодия и ритм шекспировской речи, которыми англичане упиваются, как мы пушкинским стихом, сначала не имели никакого влияния на увлечение Пушкина Шекспиром, которого он стал читать в подлиннике только позже. Но в Михайловском уединении Шекспир уже не сходил со стола Пушкина, где лежал бок о бок с Библией.

Анненков, отчасти потому, что в кружке Белинского придавали огромное значение всякому соприкосновению с Шекспиром, отчасти под влиянием суждений друзей поэта, указаниями которых он пользовался, отводил слишком властное место Шекспиру в духовном и художественном развитии Пушкина. Трудно было современникам понять могучую самобытность Пушкина. Они видели подражание, ученичество там, где только была созвучность родственной гениальности, или, как это было с Байроном, сходство настроений одного и того же поколения. Забывали, что такие поэты, как Пушкин, встречая себе равных, идут с ними, а не за ними.

Пушкин не оставил сколько-нибудь цельной, исчерпывающей сводки своих суждений о Шекспире, ни одной статьи или хотя бы письма, целиком ему посвященного. Но в уже

цитированном раньше французском черновом письме к Н. Н. Раевскому, рассуждая о трагедии, он писал:

«Я не читал ни Кальдерона, ни Вега, но что за человек этот Шекспир! Я не могу прийти в себя. Как трагический Байрон мелок по сравнению с ним. Байрон, который постиг только один характер, свой собственный, разделил между своими героями те или иные черты своего характера, одному дал свою гордость, другому свою озлобленность, третьему свою мрачность и т. д. — таким образом из одного характёра, цельного, угрюмого, решительного, он создал несколько характеров незначительных — это уже вовсе не трагедия... Читайте Шекспира, вот мой припев» *(конец июля 1825 г.)*.

Выписал он себе в Михайловское и ученые немецкие исследования о театре, но Шекспир больше, чем теоретики, помогал ему понять сущность драматического искусства. Гениальные художники не ставят себе теоретических заданий, но, создавая «Годунова», Пушкин мечтал заложить начало русскому народному театру, необходимость которого он сознавал. Он писал в заметках о «Годунове»:

«Я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина» *(1828)*.

И опять, год спустя:

«Твердо уверенный, что устаревшие формы нашего театра требуют преобразования, я расположил трагедию свою по системе отца нашего, Шекспира, принес ему в жертву два классических единства, с трудом сохранивши третье... По примеру Шекспира, я ограничился изображением исторических лиц и эпох, не гоняясь за театральными эффектами, за романтическим пафосом» *(1829)*.

Под драмой народной он подразумевал не сюжет, а дух произведения, отвечавший духу того народа, для которого оно было написано. Пушкин указывал, что «самые народные трагедии Шекспир заимствовал из итальянских новелл», но это нисколько не мешало ему признавать Шекспира великим национальным писателем. Лев Толстой понять этого не мог и сердито называл Шекспира второстепенным подражателем итальянских новеллистов. (Я это слышала от самого Толстого в 1903 году.)

В связи с «Годуновым» не раз называл Пушкин и Карамзина. Может быть, отчасти по его вине друзья преувеличили и это влияние. Трагедия была не только плодом свободного вдохновения, это была историческая работа, которую Пушкин вел вдали от библиотек и архивов, вдали от общения с людьми, изучавшими прошлое России. Он был один. «Обще-

ство мое состоит только из старой няни, да из трагедии», — писал он приятелю.

Те, с кем Пушкин привык советоваться, кому читал свои незаконченные вещи, были далеко. Да на этот раз у него и потребности делиться не было. Он ревниво охранял свое писательское уединение, никого не звал в свое царство, никому не послал ни строчки «Годунова». И в письмах молчал о трагедии. Когда работа была уже наполовину сделана, он написал Вяземскому:

«Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь: Романтическую трагедию! — Смотри, молчи же! Об этом знают весьма немногие» *(13 июля 1825 г.)*.

И внизу приписка к письму:

«Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтобы не выписать ее заглавия: Комедия о настоящей беде Московскому Государству, о Ц. Борисе и Гришке Отр. Писал раб Божий Алек., сын Сергеев Пушкин в лето 7333 на городище Ворониче. Каково?»

Месяц спустя он писал Жуковскому:

«Трагедия моя идет, и думаю к зиме ее кончить; вследствие чего читаю только Карамзина да летописи. — Что за чудо эти два последние тома Карамзина! Какая жизнь! В этом трепет жизни, как во вчерашней газете, как писал я Раевскому. Одна просьба, моя прелесть: нельзя ли мне доставить или жизнь *Железного Колпака*, или житие какого-нибудь *Юродивого*. Я напрасно искал Василия Блаженного в Четьих-Минеях — а мне бы очень нужно» *(17 августа 1825 г.)*.

На это письмо отозвался не Жуковский, ленивый на письма, а Вяземский, гостивший в Царском у Карамзиных. Историограф с большим интересом услыхал о «Годунове» и через Вяземского предлагал свою помощь:

«Карамзин очень доволен твоим трагическим занятием и хотел отыскать для тебя Железный Колпак, — писал Вяземский, — он говорит, что ты должен иметь в виду в начертании характера Бориса дикую смесь набожности и преступных страстей. Он беспрестанно перечитывал Библию и искал в ней оправдания себе. Это противоположность драматическая. Я советовал бы тебе прислать план трагедии Жуковскому для показания Карамзину, который мог бы быть тебе полезен в историческом отношении... Карамзин говорит, что в Колпаке не много найдешь пищи, т. е. вшей. Все юродивые похожи. Жуковский уверяет, что тебе надо выехать в лицах юродивого» *(6 сентября 1825 г.)*.

Железным Колпаком звали юродивого, блаженного Иоан-

на, который зимой и летом носил тяжелую железную шапку. Пушкин настойчиво добивался каких-нибудь подробностей об его жизни, хотя в трагедии отвел ему только одну сцену. Но в ней голос юродивого, бесстрашно обличающего Бориса за убийство Дмитрия, звучит как голос совести русского народа. В сценическом отношении сцена с юродивым при всей своей краткости одна из очень важных и сильных.

Отвечая Вяземскому, Пушкин писал:

«Благодарю от души Кар. за Железный Колпак, что он мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать. В самом деле, не пойти ли мне в Юродивые, авось буду блаженнее! Сегодня кончил я вторую часть моей Трагедии — всех, думаю, будет четыре. Моя Марина славная баба, настоящая Катерина Орлова! Знаешь ее? Не говори однако ж этого никому. Благодарю тебя и за замечание Кар. о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны; я его засажу за Евангелье, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное. — Ты хочешь *плана*? возьми конец X и весь XI том, вот тебе и *план*» *(13 сентября 1825 г.)*.

Так Пушкин упорно повторял, что идет по стопам Карамзина, хотя указания, переданные Вяземским, не отразились на характере Годунова, который у Пушкина очерчен гораздо шире, чем у Карамзина. В пушкинском Годунове нет «дикой смеси набожности и преступных страстей». На совести Бориса лежит темное преступление, но он владеет собой, у него ясный государственный ум. Лукавыми, преступными путями пробирается он к трону и в то же время мечтает, добившись власти, осчастливить народ.

А в душе грызущее сознание своего падения, своей слабости:

Да, жалок тот, в ком совесть не чиста...

Это психология несравненно более глубокая и сложная, чем указания Карамзина. Тут родственное Шекспиру понимание сильных человеческих характеров, мучительные противоречия могучей богатырской натуры, борьба темных и светлых сил, которые так трагически терзали душу Правителя. В Борисе неутолимая жадность к власти и любовь к родине, отчасти и к народу, жестокость и нежная привязанность к детям, презрение к людям и сознание собственной преступности. Это не мелодраматический злодей, писанный одной краской, это живой человек, который волнует нас, которого мы не можем не жалеть. Рядом с ним его соперник, Самозванец, кажется ветреным мальчишкой, но Пушкин придает и ему черты привлекательные — удаль, дерзость, храбрость,

наконец, романтическую, красивую влюбленность в надменную Марину.

В письмах Пушкин ничего не говорит о других источниках, которыми он пользовался для «Годунова». Их было немало. Само название, выписанное в письме к Вяземскому, есть пересказ первых строчек старинной хроники: «Летопись о многих мятежах и разорении Московского Государства». Пушкину эта хроника очень пригодилась. Кроме того, у него был «Новый Летописец», «Житие Царя Федора Ивановича», составленное патриархом Иовом, «Сказание Авраама Палицына», «Грамота об избрании Годунова», VII том «Истории Российской» Щербатова, «Древняя Русская Вифлиотека» Новикова, сочинение капитана Маржерета, «Etat de l'Empire de la Russie»*. В библиотеке Пушкина был экземпляр этого сочинения издания 1821 года. Возможно, что и в Святогорском монастыре видел он старые рукописи и записи. Но так велик был авторитет Карамзина и так велика была горделивая скромность Пушкина, что созданная им самим легенда, будто в трагедии он только облек в художественную оболочку карамзинскую повесть о Годунове, продолжалась более полувека.

«Карамзину, — писал Пушкин, — следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык того времени».

Это прямое указание на летописи долго ускользало от внимания критиков и исследователей, пока, в самом конце XIX века, не появилась работа академика И. Н. Жданова. Он показал, что Пушкин далеко не слепо следовал Карамзину, а сверял его с другими источниками и выводил равнодействующую: «Пушкин, в изображении царя Бориса, шел своей дорогою, на которой Карамзин не был и не мог быть его руководителем. Карамзинский Борис появляется на престоле как излюбленный царь русской земли, вызывающий общее сочувствие и боярства и народа. Пушкинский же Борис в первых же сценах драмы представляется мнимым избранником народа, тоже своего рода самозванцем; развитие драмы лишь вскрывает ту ложь, которая скрывалась в самом вступлении Бориса на престол».

Вся первая сцена, разговор Шуйского и Воротынского, где с таким мастерством обрисованы оба характера, расходится с Карамзиным, который считал, что «Князья Рюриковичи, давно лишенные достоинства князей, давно слуги Московских государей, наравне с детьми боярскими не дерзали и мыслить о своем наследственном праве». У Пушкина эти

---

* «Состояние Российской Империи...» *(фр.)*.

князья и бояре полны памяти о наследственных правах, но они притаились, они выжидают. Пушкин не сочинил этого настроения, он только развил заключающийся в «Летописи о многих мятежах» намек на Шуйских, которые «Бориса не хотяху на царство, узнаху его, что быти от него людям и к себе гонению».

Так, начиная с первого диалога, Пушкин не по-карамзински, а по-своему толкует отношения между Годуновым и народом, основную тему трагедии. Не Карамзин дал ему материал для самых значительных монологов и сцен. Монолог Бориса в Кремлевских палатах:

> Ты, отче патриарх, вы все, бояре,
> Обнажена душа моя пред вами... —

сцена между Пименом и Григорием в Чудовом монастыре, наконец, характеры Дмитрия и Марины, всего этого нет у Карамзина, как нет у него и большинства бытовых и исторических подробностей, которые Пушкин подбирал из других книг и из окружавшей его русской жизни, где его зоркий глаз улавливал следы минувшего.

Все же, издавая пять лет спустя после смерти Карамзина свою трагедию, Пушкин по просьбе семьи Карамзина посвятил ее историку:

«Драгоценной для Россиян памяти Н. М. Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает Александр Пушкин».

Он признавал свою преемственную связь с Карамзиным, который много ему дал как историк и как человек думающий. Не будь «Истории государства Российского», не было бы и «Годунова». Появление труда Карамзина за семь лет до трагедии было событием в умственной жизни Пушкина, как и всей России. На образование характера Пушкина оставило след личное общение с обаятельным, умным Карамзиным. В Китайском домике он соприкоснулся с верхами русского просвещения. Пытливость Карамзина, его страстная влюбленность в русскую историю, его правдивость и независимость, его историческая честность были созвучны Пушкину. Когда в Михайловском он задумался над тем, что можно и должно требовать от историка, живой Карамзин встал перед ним как прообраз Пимена. Не случайно в одной заметке он говорит об «иноческой простоте» Карамзина.

Сосланный в деревню за атеизм, Пушкин с сыновней нежностью рисует образ благочестивого монаха-летописца. Он любит в нем не только свое создание, но и живое воплощение творческих и нравственных сил русского народа.

«Характер Пимена, — говорит он в заметке, которая могла быть черновиком статьи или письма к Погодину, — не есть мое изобретение. В нем я собрал черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое усердие, набожность к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия — дышат в этих драгоценных памятниках времен минувших, между коими озлобленная летопись князя Курбского отличается от прочих летописей как бурная жизнь Иоан|нова| изгн|анника| отличалась от смиренной жизни безмятежных иноков. Сии безымянные хроники, вдохновенные в тишине монастырей...

Мне казалось, что сей характер вместе нов и знаком для русского сердца, что трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателей» *(1827).*

Тут прямое указание, прямая линия от Китайского домика к Чудову монастырю, от придворного историографа XIX века к смиренному иноку XVI века. В критической статье об «Истории Русского Народа» Н. Полевого, напечатанной в «Литературной Газете» *(1830)*, Пушкин дал еще более прямое указание на сходство Карамзина с Пименом. Вот что говорит Пушкин о Карамзине:

«Нравственные его размышления, своей иноческой простотой, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи».

Очень для Пушкина, для его благородной незлобивости и незлопамятности, показательно, что, создавая Пимена, которого он так нежно любил, чью душевную красоту он так радостно ощущал, он выявил в нем лучшие свойства Карамзина, от которого на самого Пушкина часто веяло холодом. После смерти историка поэт писал Вяземскому:

«К. меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить...» *(10 июля 1826 г.).*

К каждому из своих героев Пушкин испытывал определенное личное чувство, какое мы испытываем к живым людям. Четыре года спустя после того как «Годунов» был дописан, Пушкин в письме к Н. Н. Раевскому говорит:

«Я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Карамзина он только слегка отмечен. Но это, конечно, была престранная красавица. У нее только одна страсть — честолюбие, но такое сильное, бешеное, что трудно себе представить. Хлебнув царской влас-

ти, она опьяняет себя химерой, проституируется, переходит от проходимца к проходимцу — то делит ложе отвратительного еврея, то живет у казака в палатке, всегда готовая отдаться каждому, кто дает ей хоть слабую надежду на трон, уже несуществующий. Смотрите, как она мужественно переносит войну, нищету, позор; но с польским королем она сносится как венценосец с венценосцем. И какой конец у этой буйной, необыкновенной жизни. У меня для нее только одна сцена, но если Бог продлит мои дни, я к ней вернусь. Она волнует меня как страсть» *(30 января 1829 г.) (писано по-французски).*

В тетрадях Пушкина сохранились заметки, показывающие, что он не оставлял мысли написать драму о Марии Мнишек. У него действительно было к ней влечение, похожее на физическую влюбленность. Острота личного отношения к своим героям уживалась в нем с мудрой снисходительностью и художественным беспристрастием. Это особенно сказывается в обрисовке Годунова.

Вяземский, чуткий, строгий критик, писал:

«В трагедии есть красоты удивительные, трезвость и спокойствие. Автора почти нигде не видно».

Эта мудрая ясность 26-летнего автора, его отрешенность, уменье подняться над событиями тем показательнсе, что в «Годунове» Пушкин затронул вопросы политические, еще недавно бурно волновавшие его. Он сам, в письме к Вяземскому, указал на эту особенность трагедии, обронил одно из тех, будто случайно брошенных, но знаменательных замечаний, которые служат вехами для биографа. В ответ на соображения Карамзина о характере Годунова Пушкин писал:

«Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической стороны».

В этих словах есть отблеск улыбки, но и прямая связь с суждением, высказанным в другом месте, что для драматического писателя нужны «государственные мысли историка».

Эта политическая точка поддается многим толкованиям, и ею не исчерпывается «Борис Годунов», с его широким захватом характеров, страстей, событий. Гениальные произведения всегда многогранны. Пушкин взял переходный отрезок русской истории, в центре поставил царя узурпатора и реформатора, на нем проверил те политические теории, увлечения, чувства, среди которых сам рос, которые передумал и переборол. Еще на юге по-своему подошел он к проблеме власти, отношения между народом и правительством. Ощущение государства, как живого организма, окрепло у Пушкина на юге, среди вновь завоеванных просторных областей, где чуткий слух поэта с восторгом ловил державный шелест

российских знамен. Впервые услыхал он этот шелест отроком, в Царском Селе, когда русские полки один за другим уходили на запад, защищать русскую землю от вторгнувшихся в нее наполеоновских полчищ. Позже отвлеченные речи Чаадаева, Николая Тургенева и других членов «общества умных» заглушили песни знаменосцев. Но только на время. Стоило ему побывать на Кавказе, послушать Раевского-отца, всмотреться в русское дело в Бессарабии, и сразу в его стихах зазвучали державные ноты.

В псковской глуши, слушая няню и певцов, приглядываясь к жизни мужиков, читая летописи, воссоздавая один из труднейших переломных моментов русской истории, Пушкин снова ощутил живую силу русской державы и нашел для нее выражение в «Годунове». С тех пор, и до конца жизни, он в мыслях не отделял себя от империи. Оттого и Петру поклонялся. В «Полтаве», в «Медном всаднике» тоже шелест державных знамен.

Не только правительство, но даже и друзья не понимали, что 26-летний поэт не колебал основ, а был могучим источником русской творческой великодержавной силы. Анненков объяснял это непонимание отчасти тем, что порывистая, страстная натура поэта сбивала многих с толку. За внешними вспышками окружающие просмотрели его внутреннюю ясность и мудрость.

«Случайные переходы в крайность и увлечение мешали современникам уразуметь правильно основной характер его настроения. Нельзя нс удивляться крайнс малой догадке близких ему людей относительно хода умственной его жизни. Они и теперь еще не видели произошедшей в нем перемены и продолжали считать его одним из застрельщиков в авангарде современного радикализма, когда он уже отдался исторически-критическому направлению. Продолжению сумерек вокруг действительного образа мыслей Пушкина много способствовал тот род застенчивости, который был свойственсн поэту и нс допускал его грубо обнаруживать себя перед людьми, не понимавшими намеков и признаков. В короткий промежуток, развиваясь необычно быстро, он переходил постепенно от бессознательной роли великосветского радикала, которую он играл в Петербурге, к отчаянному протесту личности, ничего не признающей, кромс ссбя, к неистовому Байронизму, которым заражен был в Кишиневе, и от него, через умеряющее действие романтизма и через изучение Шекспира, к объективности и историческому созерцанию, а, наконец, и к задачам, которые представляют для творчества и для анализирующей мысли русский старый и новый быт».

В оправдание его друзей надо сказать, что Пушкин в письмах, может быть, из осторожности, не упоминал о перемене в своих политических воззрениях, не обмолвился ни словом о политическом содержании «Годунова». Только Вяземскому, да и то прикрываясь шуткой, писал, что готов отказаться от красного революционного колпака.

Его Годунов гораздо выше народа, которым повелевает. Он не только честолюбец, но слуга государства и народа.

...Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье...
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше...

Годунов-царь говорит о толпе, как все чаще будет о ней говорить Пушкин-поэт. Хитрый Шуйский определяет чернь еще презрительнее:

...бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Для истины глуха и равнодушна
И баснями питается она.

Это уже близко к тому, что два года спустя напишет Пушкин в диалоге между чернью и поэтом.

Свою «политическую точку» Пушкин вынашивал в Михайловском один на один. Только дикие утки над озером да Арина Родионовна вечером у огонька слушали монологи Бориса и Пимена. Прочел он раз отрывок Алексею Вульфу, другой раз князю А. Горчакову, о чем пожалел. Любопытно, что будущий канцлер остался глух к духу государственности, пронизывающему трагедию. Ему только брезгливо запомнились слюни, хотя о них говорилось как раз в сцене, где очень ярко выражена мысль о крепкой связи между государством и государем:

О Господи, кто будет нами править,
(Он обещал с боярами рядить по-прежнему)
— А царство без царя
Как устоит? поднимется раздор
А (хищный) хан набег опять готовит
И явится внезапно под Москвой.
Кто отразит поганые полки,
Кто сдвинет Русь в грозящую дружину.
О, горе нам.
Заплачем же и мы.
— Я силюсь, брат,
Да не могу.

— Я тоже,
Нет ли луку,
Потрем глаза.
— Нет, я слюной намажу...

Этот черновой вариант остался в тетради № 2370. Пушкин его не напечатал.

Кончив трагедию, Пушкин известил Вяземского буйно радостным письмом, где вперемежку с грубыми шутками сообщил:

«Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедиею, в ней же первая персона Борис Годунов! Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал, — ай да Пушкин, ай да сукин сын! — Юродивый мой малый презабавный... Прочие также очень милы... Жуковский говорит, что Царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого — торчат!» *(конец октября 1825 г.).*

В первоклассных произведениях, написанных Пушкиным за два года в Михайловском, чувствуется глубокая перемена, которая в нем произошла. Она светится в монологах Пимена, в «Подражаниях Корану», где Пушкин входит в новую для него область поэзии, вдохновленной религиозными мотивами. Но с особой, неотразимой, сокрушающей торжественностью выразил он свои новые духовные переживания в «Пророке». В нем прямой отблеск видения пророка Исаи, но это не простое мелодическое изложение библейского рассказа. Это Пушкинский рассказ, Пушкинский пророк.

В середине прошлого столетия несправедливо забытая, но талантливая писательница Н. С. Кохановская-Сохановская, на которую не раз ссылается Лернер в своих работах о Пушкине, писала по поводу «Пророка»: «Библейское пророчество было благодатной каплей небесного дождя, упавшей на дивную плодотворную силу нашего поэта, возрастившего самобытно и самородно высокое создание Пророка... Но ни один Библейский пророк, ни даже все они вместе, не получили такого полнейшего посвящения, такой благодати открытия перед ними тайны жизни в голосах и звуках вселенной, как получил пророк Пушкина».

Полвека спустя Владимир Соловьев, философ-поэт, знаток древнееврейского языка, сделал несколько любопытных замечаний о стиле «Пророка»:

«Общий тон стихотворения невозмутимо величавый... И самый грамматический склад речи, бережно перенесенный в

греческую, а оттуда в церковно-славянскую Библию, удивительно выдержан. Отсутствие придаточных предложений, относительных местоимений и логических союзов, при нераздельном господстве союза И (в 30 стихах он повторяется 20 раз) настолько приближают здесь Пушкинский язык к Библейскому, что для какого-нибудь талантливого гебраиста ничего бы не стоило дать точный древнееврейский перевод этого стихотворения».

Очень показательна его оценка «Пророка»:

«Пушкинский пророк испытывает, слышит и говорит не противоположное, но совсем другое, по существу отличное от того, что испытывал, слышал и говорил настоящий библейский пророк... Откровение, им получаемое, относится не к судьбам и движениям народов, не к деятелям истории, а к подводному ходу морских гадов, и к другим существам низшей и высшей природы».

Соловьев считал стихотворение «превосходным, прекрасным с начала до конца», но для него пророк Пушкина не пророк, а «идеальный образ истинного поэта и в его сущности и в высшем призвании... Он не есть какой-нибудь из поэтов, он не есть также и сам Пушкин, а есть чистый носитель того безусловного, идеального существа поэзии, которое было присуще всякому поэту истинному, и прежде всего самому Пушкину, в зрелую эпоху его творчества и в лучшие минуты его вдохновения».

Мицкевич заглянул еще глубже. В «Пророке» он услыхал новое для Пушкина томление по бесконечности. Он считал, что «Пророк» был «началом новой эры в жизни Пушкина, но что Пушкин не имел в себе достаточно силы, чтобы осуществить это предчувствие. У него недоставало смелости подчинить свою внутреннюю жизнь и труды этим возвышенным понятиям».

Глава VI

ПЕРЕПИСКА С ДРУЗЬЯМИ

В черновые тетради Пушкин изредка заносил и черновики своих писем. В те времена переписка составляла важную отрасль умственной жизни. Наши деды и прадеды умели и писать письма, и наслаждаться ими. Для Пушкина переписка с друзьями была потребностью, для них его письма были событием, знаком отличия. Они читали их друг другу, возили из гостиной в гостиную, иногда давали списывать наряду с

его стихами, не считаясь ни с его желаниями, ни с его положением опального.

До нас дошло около 700 писем Пушкина. В течение многих лет они появлялись в печати случайно, разрозненно, пока в начале XX века (1906—1911) академия не выпустила первое, более или менее полное, издание писем Пушкина, куда вошли и письма к нему. Эти три тома были своего рода откровением. Новый Пушкин открылся русским читателям, простой, близкий, точно это был человек нашего поколения, не отделенный от нас десятилетиями.

П. И. Бартенев, первый собиратель сведений о Пушкине, приступивший к этому увлекательному занятию еще в сороковых годах, дожил до этого издания и так приветствовал его:

«В трех томах переписки Пушкина наш поэт, наша отрада, святая искра, выбитая из груди России нашествием Европы, выразился вполне точно, как будто перед нами его рабочий стол и мы можем следить за его письменными занятиями. И в переписке своей, как и в своих художественных произведениях, он необыкновенно привлекателен».

Задолго до издания переписки, в пятидесятых годах прошлого столетия, когда Анненков писал первую биографию Пушкина, друзья поэта давали ему читать некоторые его письма. Анненков сразу оценил их значительность и по поводу переписки из Михайловского говорит:

«Она составляет просто литературную драгоценность, объясняя отношения писателей той эпохи между собой и вопросы их занимавшие. Но у ней есть еще одно достоинство. Она рисует нам образ Пушкина в изящном, нравственном, привлекательном виде. Тому, конечно, много способствует ее язык, это постоянно один и тот же блеск молодого, свежего и замечательно основательного ума, проявляющийся в бесконечных оттенках выражений. Переписка эта еще крайне поучительна и в другом смысле: в ней ни малейшего признака какого-нибудь напряжения, не чувствуется ни малейшей капли того отшельнического яда, который обыкновенно накопляется в душе гонимых или оскорбляемых людей; напротив все письма светлы, благородны, доброжелательны, даже когда Пушкин сердится, или выговаривает друзьям и брату за их вины перед ним и публикой... Богиня добродушного веселья была ему знакома не меньше Музы. Действие переписки на читателя неотразимо, какое бы мнение он ни составил заранее о характере автора: необычайная, безыскусственная простота всех чувств, замечательная деликатность — смеем так выразиться, — сердца, при оригинальности самых поворотов мысли и всех суждений, приковывает читателя к

этой переписке невольно и выносит перед нами облик Пушкина в самом благоприятном свете».

Пять лет спустя того, как Анненков написал это в своей чрезвычайно ценной книге — «Пушкин в Александровскую эпоху», И. С. Тургенев опубликовал в «Вестнике Европы» письма Пушкина к жене и по поводу их писал:

«В этих письмах, как и в прежде появившихся, так и бьет струей светлый и мужественный ум Пушкина, поражает прямизна и верность его взглядов, меткость и как бы невольная красивость выражений. Они бросают яркий свет на самый характер Пушкина, дают ключ ко многим событиям его жизни... Несмотря на свое французское воспитание, Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком того времени... Его письма для историка литературы сущий клад: нравы, самый быт известной эпохи отразились в них хотя быстрыми, но яркими чертами» *(1878)*.

Редактор первого тома Академического издания Пушкина и автор многих вдумчивых о нем исследований, Леонид Майков, писал:

«Письма Пушкина, без сомнения, одно из удивительнейших произведений его гения. Чуждые всякой искусственности, всякого сочинения, они поражают разнообразием своих особенностей. Те из них, которые писаны к жене или друзьям, отличаются горячностью чувства, задушевностью, порывистой откровенностью и нередко блеском остроумия. Другие письма, обращенные к лицам официальным, или по крайней мере мало знакомым поэту, по преимуществу носят на себе печать ясности и благородной простоты выражения».

Простота была прирожденным даром Пушкина, как поэта и человека. В работе над своим характером и своими рукописями он ее закрепил, усилил. Его писательская требовательность к себе была так велика, что иногда даже для любовных или дружеских писем набрасывал он черновики, как позже делал другой великий мастер русского слова — Лев Толстой.

Пушкин в течение многих лет прозой писал только письма. Свою первую прозаическую повесть — «Арап Петра Великого» — начал он только в 1827 году, когда за ним уже было тринадцать лет писательства. Его прозаический стиль, ясный, математически точный, стройный, как стихи, вырабатывался в письмах. Это уже та проза, которой позже напишет он свои романы и повести, расчищая путь Толстому, Тургеневу, Достоевскому, Чехову.

Письма Пушкина так же непосредственны и так же правдивы, как его поэзия, но в них нет лирики. Если его одолевали неприятности и тревоги, он сообщал об этом друзьям не-

многословно, с приправой шуток и острот. Распространяться в письмах о чувствах и настроениях он не любил. Для этого у него были стихи. Им доверял он тайны страстных волнений, политических, идейных, любовных, творческих. В прозе только раз, да и то не в письме, а в повести «Египетские ночи», с точностью клинициста описал он припадок вдохновения. В письмах небрежно говорит, что находит на него эта дрянь, эта дурь. О женщинах, отмеченных его влюбленным вниманием, он в письмах просто молчит. Их надо искать в его стихах. В переписке их нет.

Но это не делает писем Пушкина безличными. Напротив. Его подвижность, юмор, разнообразие интересов, жизненных и книжных, его понимание людей, редкая доброта, заразительная веселость, горячность сердца, прозрачная трезвость мысли — все это блестит и пленяет в его письмах. Их главная прелесть в том, что в них виден сам Пушкин, многоликий и цельный, гениальный поэт и политический мыслитель, верный друг и чарующий любовник, остроумный собеседник, повеса, светский человек, труженик, нежный муж, заботливый отец. Пушкин искренний и неуловимый, великодушный и замкнутый, доступный и загадочный. Великий Пушкин, малое дитя.

По письмам видно, какое разнообразие оттенков вносил он в свои отношения с людьми, как, всегда оставаясь самим собой, умел к каждому подходить иначе, находить другие слова, другой ритм вносить в свою речь. Можно, не глядя на имя адресата, угадать, кому Пушкин пишет. Сама конструкция фразы меняется, обращается ли он к Дельвигу или к Вяземскому, к брату или к Рылееву.

Из писем к женщинам, кроме писем к жене, до нас дошли только письма к Элизе Хитрово и к Анне Керн, да и те писаны по-французски. Это придает им характер более церемонный, показывает, как полагалось в те времена образованному человеку разговаривать с дамами, даже к нему благосклонными. Из всех женщин только жене Пушкин писал по-русски. Когда она стала его женой. Таше Гончаровой, невесте, он писал еще по-французски. Его письма к ней занимают особое место в ряду его художественных произведений, и о них я скажу после.

Переписка Пушкина с друзьями началась из Кишинева и Одессы и усилилась в Михайловском. Корреспонденты плохо берегли его письма. Все же из Михайловского до нас дошло, включая черновики, 118 писем. Их них на 1826 год приходится только 19. После восстания декабристов опасно было и переписываться, и хранить письма. Кроме немногих писем к тригорским приятельницам и к Анне Керн, и нескольких

писем к брату, все остальные письма обращены к литературным друзьям — Дельвигу, Жуковскому, Вяземскому, Плетневу, Бестужеву, Рылееву. Сначала, ошеломленный новой опалой, Пушкин боялся писать даже Вяземскому и Жуковскому, чтобы их не подвести. Никто не знал, как посмотрит начальство на сношения с ссыльным поэтом. А. И. Тургенев малодушно уверял Дельвига и Пущина, что с Пушкиным опасно сноситься, писал Вяземскому: «Перестань переписываться с П. (только буква, даже фамилию побоялся поставить. — *А. Т.-В.*), и себе и ему повредить можешь. Он не унимается, и сродникам и приятелям, всем достанется от него. Прислал вторую часть «Онегина», говорят, лучше первой» *(2 мая 1825 г.)*.

Вяземский этого совета не послушал, и, к радости Пушкина, между ними шла оживленная переписка. Оттого ли, что Вяземский оказался бережливее других, или Пушкин писал ему из Михайловского чаще, чем другим, но 22 письма, без малого четверть всей переписки, адресованы Вяземскому.

«Твои письма гораздо нужнее для моего ума, чем операция для моего аневризма, — острил Пушкин. — Они точно оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини, как похотливое кокетство итальянки. Пиши мне, во Пскове это для меня будет благодеяние» *(14 августа 1825 г.)*.

Вяземский и Пушкин обменивались литературными суждениями и новостями, приправляя их шутками, не всегда удобными для печати. Пушкин издали следил за литературой, русской и иностранной, за европейскими спорами о классицизме и романтизме, о том, что такое искусство, свободное творчество, права художника. Абстрактных теорий Пушкин не любил, но разбирался в них точно и быстро. Умел суммировать их в двух-трех крылатых строчках. По михайловским письмам видно, как менялись, как зрели его литературные воззрения. Он писал Вяземскому:

«Что за чудо Д. Ж.! (Дон Жуан.) Я знаю только пять первых песен. Прочитав первые две, я сказал тотчас Раевскому, что это chef d'œuvre* Байрона, и очень обрадовался, после увидя, что Walter Scott моего мнения. Мне нужен Англ. язык, и вот одна из невыгод моей ссылки, не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: il y avait quelque chose là...** Извини эту поэтическую похвальбу и прозаическую хандру...

Зачем жалеешь о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах,

* Шедевр *(фр.)*.

** Здесь кое-что было... *(фр.)*.

невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо, — а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь за одно с Гением. Поступок Мура лучше его Лалла Рук. Мы знаем Байрона довольно, видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскрешающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении: *он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, иначе! Писать свои Mémoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать можно, быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью — на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать (braver) суд людей не трудно, презирать суд собственный невозможно» *(около 12 сентября 1825 г.).*

После Вяземского Кондратий Рылеев (1797—1826) и Александр Бестужев-Марлинский (1797—1837) были его наиболее частыми собеседниками в письмах. До ссылки Пушкин мельком встречал их в Петербурге. Чуть не подрался с Рылеевым на дуэли из-за какого-то вздора. Потом заочно с обоими подружился. С Бестужевым начал переписываться еще из Кишинева. Из Одессы сердито выговаривал ему за то, что Бестужев, вопреки желанию Пушкина, напечатал в альманахе «Полярная Звезда» заключительные строки «Крымской элегии». Пушкин вспылил, испугался, что это будет неприятно женщине, «мнением которой я дорожу больше, чем всеми журналами на свете».

Приятели чуть из-за этих строчек не поссорились.

Рылеев и Бестужев были типичными для Александровской эпохи радикалами из дворян. Оба получили военное воспитание, оба участвовали в походах против Наполеона, оба были действительными членами тайного общества, что не мешало капитану лейб-гвардии Драгунского полка, Александру Бестужеву, состоять при герцоге Вюртембергском. Ведь и у Аракчеева адъютантом был член тайного общества, князь Илья Долгоруков.

Когда Наполеона заперли на острове Св. Елены и войны прекратились, Рылеев поступил на службу в частную торговую русско-американскую компанию, где к моменту восстания был заведующим делами. В 1822 году Рылеев и Бестужев

начали издавать альманах «Полярная Звезда». В названии слышится какая-то связь с названием масонской ложи «Пламенная Звезда», членом которой был Рылеев. Альманах имел большой успех. Выпуск 1824 года издатели посвятили обеим императрицам, Марии Феодоровне и Елизавете Алексеевне, за что было им пожаловано — Бестужеву золотая табакерка, а Рылееву два бриллиантовых перстня. Год спустя после этой высочайшей милости Бестужев попал в солдаты, а Рылеев на виселицу.

Александр Бестужев, под псевдонимом Марлинского, писал повести, герои и героини которых переживали самые невероятные приключения, раздирали себе и читателю душу сложными, мрачными чувствами, любили исступленно, ненавидели ненасытно. На нем очень сказалось увлечение западными романтиками, особенно Байроном, но был в нем и собственный прирожденный романтизм, мучительный и мрачный. В самих обстоятельствах его смерти было странное сходство с гибелью его героев. После декабрьского бунта Бестужев был разжалован в солдаты. Его отправили на Кавказ, там за храбрость через несколько лет снова произвели в офицеры. У Бестужева была любовница, красавица. Раз утром ее нашли мертвой. Было подозрение, что Бестужев ее убил из ревности. Улик против него не было. После ее смерти Бестужев, в первом же бою с горцами, не слушаясь команды, один впереди своего отряда бросился на черкесов, которые изрубили его на куски.

Кондратий Рылеев был человек другого склада. Мягкий и деятельный, мечтательный и решительный, крепко привязанный к своей юной жене. Стихи писал он главным образом исторические и политические, в поэзии придавал значение мыслям, а не форме, про себя говорил — я не поэт, я гражданин. Его «Думы», печатавшиеся сначала в журналах, в 1825 году изданные отдельной книжкой, соперничали с популярностью пушкинских политических стихов и усиливали «горячую атмосферу либерализма», как охарактеризовал Вяземский настроение перед 14 декабря. Тон стихов Рылеева становился все резче. Под конец его «Думы» звучали как политические прокламации, призывавшие к восстанию. В то же время, как заговорщик, как политик, Рылеев становился все более умеренным. Он был одним из руководителей Северной Думы и боролся против республиканских и революционных тенденций южанина Пестеля. Рылеев хотел добиться реформы мирными способами, считал, что Россия не дожила до республики. У Пушкина ко времени ссылки в Михайловское тоже сложились взгляды, несравненно более

умереннее, чем ему приписывали друзья и враги. Рылеев, как и Пушкин, был человек в мыслях правдивый, смелый. Если бы им до восстания довелось обменяться своим умственным опытом, может быть, они удержали бы заговорщиков от вооруженного выступления, которое, к моменту бунта, многим бунтарям было уже не по душе. Но Пушкин не мог двинуться за пределы Псковской губернии, а по почте обсуждать политические вопросы было невозможно. Их переписки невольно ограничивались литературными делами.

Оба издателя «Полярной Звезды» очень дорожили сотрудничеством Пушкина. Беспутный Левушка принес Бестужеву разговор Татьяны с няней и просил по пяти рублей за строчку. Бестужев знал, что эти деньги пойдут Левушке на кутежи, и поддразнил его: «Промахнулся, Левушка, продешевил, не спросил червонец за строчку. Мы готовы золотом платить за золотые строчки».

При всем своем восхищении стихами Пушкина, издатели «Полярной Звезды» не прочь были читать поэту наставления. В особенности Бестужев. Пушкин принимал их терпеливо. Он привык к дружеским поучениям. Но и писать давно привык по-своему. В печатных своих статьях Бестужев восхвалял Пушкина восторженно, красочно, порой напыщенно: «В «Цыганах» гений Пушкина восстал в первородной красоте и простоте величественной. Куда не достигнет отныне Пушкин». А в частных письмах корил за первую главу «Онегина», за выбор темы, которая казалась ему мелкой, несерьезной.

«Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семени, подобно браминам индейским, когда в руках у тебя резец Праксителя? Для чего ты из пушки стреляешь в бабочку? Дал ли ты Онегину поэтические формы, исключая стихов? Я вижу франта, который душой и телом предан моде, вижу человека, которых тысячи встречаю на яву, ибо самая холодность и мизантропия теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, но они не полны. Ты схватил петербургский свет, но не проник в него. Прочти Байрона, он, не знавши петербургского света, описал его схоже, там где дело касалось до глубокого познания людей. У него даже притворное пустословие заключает в себе замечания философические, а про сатиру и говорить нечего. Я с жадностью глотаю английскую литературу и душою благодарен английскому языку: он научил меня мыслить, он обратил меня к природе. Это неистощимый источник. Я готов даже сказать — il n'y a point de salut hors de la littérature anglaise*. Если можешь,

* Нет никакого спасения, кроме английской литературы *(фр.)*.

учись ему, ты будешь вознагражден сторицею за труды» *(9 марта 1825 г.)*.

Бестужев не заметил, что русский поэт давно перерос своего английского собрата. За «Онегина» Пушкин заступился:

«Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки ты смотришь на Онегина не с той точки, все-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с Д. Ж. — Никто более меня не уважает Д. Ж. (Первые пять пес., других не читал), но в нем нет ничего общего с Онег... Где у меня сатира? О ней и помину нет в Евг. Он. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры... Если уж и сравнивать Онегина с Д. Ж., то разве в одном отношении: кто милее и прелестнее (gracieuse), Татьяна или Юлия? 1-я песнь просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мной случается)» *(24 марта 1825 г.)*.

Между ними шел бесконечный спор о сущности поэзии, о свободе поэта в выборе темы, о самоцельности поэзии. Тут Пушкин не шел ни на какие уступки. Он писал Вяземскому:

«Эта поэма («Чернец» Козлова. — *А. Т.-В.*) полна чувства и умнее Войн[аровского], но в Рылееве есть более замашки, или размашки в слоге. У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал. Зато думы дрянь, и название сие происходит от немецкого Dumm*, а не от польского, как казалось бы с первого взгляда» *(25 мая 1825 г.)*.

Бестужеву он писал: «Я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов» *(30 ноября 1825 г.)*.

Ту же мысль позже еще острее Пушкин высказал в письме к Вяземскому:

«Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата» *(май 1826 г.)*

Что не мешало ему вкладывать в свою поэзию целые диссертации. Но его задевала прозаичность рылеевской рифмованной публицистики. Он это откровенно высказывал.

«Ты спрашиваешь, какая цель у «Цыганов»? — писал он Жуковскому. — Вот на! Цель поэзии — поэзия, как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все невпопад» *(начало июня 1825 г.)*.

Рылеевские «Думы» раздражали его тенденциозностью и плохими стихами. Он откровенно писал и самому Рылееву:

«Что сказать тебе о думах? Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы Петра в Остр[огожске] чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест (Loci Topici). Описание места действия, речь

* Глупый *(нем.)*.

Героя и — нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключаю «Ивана Сусанина», первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант)... Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Прощай, Поэт, когда-то свидимся?» *(конец мая 1825 г.).*

Вот эти последние строки Петра Великого в Острогожске, которые Пушкин похвалил:

Где ж свидание с Мазепой
Дивный свету царь имел?
Где герою вождь свирепый
Клясться в искренности смел?
Там, где волны Острогощи
В Сосну тихую влились, ...
Где в стране благословенной
Потонул в глуши садов
Городок уединенный
Острогожских казаков.

Вряд ли Рылеев удовлетворился тем, что Пушкин похвалил это беглое описание казачьего городка. Ему, наверное, хотелось, чтобы автор «Вольности» и «Деревни» похвалил его за политический пафос. Но этого не случилось. Пушкин искренне признавал за Рылеевым поэтическое дарование и потому не хотел отделываться общими, вежливыми фразами, тем более, что издали успел к нему привязаться.

«Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? — писал он Бестужеву. — Мнение свое о его Думах я сказал вслух и ясно, о поэмах его также. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, — но он идет своею дорогою. Он в душе поэт. Я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай, да черт его знал. Жду с нетерпением Войнаровского и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа, чтоб он писал, — да более, более» *(24 марта 1825 г.).*

Рылеев смиренно признавал превосходство Пушкина: «Ты всегда останешься моим учителем в стихотворном языке», — писал он ему и не скупился на похвалы: «Гений... Сирена... Чародей... Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца... Я разделяю твое мнение, что картины светской жизни входят в область поэзии. Да если бы и не входили, ты, со своим чертовским дарованием, втолкнул бы их туда насильно» *(12 февраля 1825 г.).*

«Пушкин, ты приобрел уже в России пальму первенства. Один Державин еще борется с тобой, но еще два-три года усилий, и ты опередишь и его, тебя ждет завидное поприще, ты можешь быть нашим Байроном, но ради Бога, ради Христа, ради твоего любезного Магомета, не подражай ему.

Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным. Если бы ты знал, как я люблю, как я ценю твое дарование» *(12 мая 1825 г.)*.

Такие восторженные приветы слышал Пушкин от всех поэтов. Вернее, получал, потому что он не слышал их голосов, был оторван от живого общения с ними. Дельвиг писал ему:

«Прозерпина не стихи, а пенье райской птицы, слушая его, не заметишь, как пройдет тысяча лет».

Жуковский говорил:

«Ты создан, чтобы попасть в боги».

Баратынский из Москвы писал:

«Жажду иметь понятие о твоем «Годунове». Чудесный наш язык ко всему способен, это я чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком вселился гений. Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, то что он совершал один, а наше дело признательность и удивление» *(декабрь 1825 г.)*.

Вяземский писал:

«Твое море прелестно. Я затвердил его наизусть тотчас, а это по мне великая примета. Вообще стихи потеряли для меня это очаровательство невообразимое. Прежде стихи действовали на меня почти физически, щекотали чувства (les senses). Теперь надо было им задеть струну моего ума и сокровенные струны моей души, чтобы отозваться на мне. Ты играешь на мне на старый лад. Спасибо тебе, мой милый виртуоз. Пожалуйста, почаще брянчи, чтобы я не вовсе рассохся. Письмо Тани прелесть и мастерство» *(6 сентября 1824 г.)*.

Так писали ему лучшие поэты того времени. Это были искренние похвалы. В этом даровитом кругу было не в обычае льстить друг другу или скрывать свои мысли. Они были великие спорщики. Рылеев с Пушкиным горячо спорил в письмах о романтизме и классицизме. Рылеев как поэт, как умный человек, понимал, что настоящий художник идет своей дорогой, не считаясь со школами и модными классификациями. Он писал:

«Ни романтической, ни классической поэзии не существует. Истинная поэзия одна. Идеал поэзии, как идеал всего, к чему стремится дух человеческий, необъятен».

И Пушкину он писал:

«Твори прекрасное, и пусть другие в нем разбираются». Но поэты резко расходились в понимании задач поэзии. Рылеев придавал исключительное значение теме, содержание

ставил выше формы. Для Пушкина они были неотделимы. Рылеев уговаривал Пушкина написать поэму о древней Псковской республике, которую Иоанн Грозный уничтожил в XVI веке. «Там, — писал Рылеев, — задушены последние вспышки русской свободы, настоящий край вдохновения. Неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?» *(январь 1825 г.)*.

Рылеев горячо нападал на Пушкина за его взгляды на дворянство, за то, что Пушкин утверждал, что дворянское происхождение делает русских писателей более независимыми, что он придавал значение истории своего рода и гордился своими предками. Рылеев принимал это за сословное чванство. На самом деле тут было не чванство, а исторический и психологический подход к родному прошлому, чувство связи с ним. Пушкин писал Бестужеву:

«Наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем перед ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения... У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение как шестисотлетний дворянин — дьявольская разница...» *(начало июня 1825 г.)*.

По-видимому, на это и ответил Рылеев, когда писал Пушкину:

«Ты сделался аристократом! Это меня рассмешило. Тебе ли чваниться 500-летним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону. Будь ради Бога Пушкиным. Ты сам по себе молодец» *(июнь 1825 г.)*.

Пушкин отбивался:

«Мне досадно, что Рылеев меня не понимает... Ты сердишься за то, что я чванюсь шестисотлетним дворянством (NB. мое дворянство старее). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость etc. Не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег. А у нас (кроме меня) из тщеславия» *(июнь 1825 г.)*.

Рылеев не сдавался: «Ты мастерски оправдываешь свое чванство шестисотлетним дворянством; но несправедливо. Чванство дворянством непростительно, особенно тебе. На тебя устремлены глаза России, тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин» *(октябрь 1825 г.)*.

Теперь, через поколения, эти слова звучат напыщенно, театрально. Тогда они были полны опасного, боевого значения. Близок был роковой день, когда дворяне-декабристы, по образному выражению Герцена, разорвали на Сенатской площади свои дворянские грамоты. Рылеев был один из их вождей и жизнью за это поплатился.

Глава VII

РОКОВОЙ ДЕНЬ

Осенью 1825 года внезапно оборвалось царствование Александра I, которое принесло России столько плодотворных реформ и перемен, столько блистательных побед.

Царь скончался неожиданно, в далеком Таганроге, на берегу Азовского моря. Случилось это 19 ноября. Только 25 ноября привез курьер в столицу известие о смерти самодержца. Александр умер бездетным. По закону его наследником должен был быть следующий брат, Цесаревич Константин Павлович, который был наместником в Варшаве. Он был женат морганатическим браком на польке, Жанете Грудзинской, получившей от Александра титул княгини Лович. Отчасти из-за этого брака, но главным образом потому, что это не соответствовало его характеру, в. к. Константин Павлович царствовать не хотел. 14 января 1822 года он послал Александру отреченье, в котором объяснял, что «не чувствует в себе ни тех дарований, ни тех сил духа, которые для Царя необходимы». Александр скрыл это отреченье ото всех, даже Николая Павловича не нашел нужным предупредить, что его ждет корона. Полтора года спустя после отреченья Константина Царь поручил митрополиту Филарету составить манифест о назначении в. к. Николая Павловича престолонаследником. 16 августа 1823 года Александр манифест этот подписал и поручил митрополиту положить его в особый ковчег для хранения важных государственных актов, стоявший в Успенском соборе в Москве. 29 августа манифест был положен в ковчег, но об этом знали только граф Аракчеев и князь А. Н. Голицын. Опять ничего не сказали в. к. Николаю Павловичу.

Спустя некоторое время он навестил брата Константина в Варшаве и был удивлен, что он как-то странно с ним обращается, оказывает ему слишком большой почет да еще величает царем Мирликийским. Особого значения Николай Павлович этому не придал. Константин и младший их брат Михаил унаследовали от Павла Петровича склонность к

балагурству, к шуткам, легко переходившим в шутовство. Их шутки всерьез не принимались. У Николая Павловича мало было юмора, да ему и в голову не пришло, что за кривлянием Константина скрывается государственная тайна первейшей важности.

Получив известие о смерти Александра, великие князья, царская фамилия, армия, сенат, синод, чиновники всех ведомств принесли 27 ноября присягу императору Константину. С этого дня приказы издавались от его имени. И вдруг пришло из Варшавы от Константина письмо Николаю Павловичу, где он писал о своем отречении и обращался к Николаю как к царю. Письмо было довольно бессвязное, отреченья, написанного в форме государственного акта, в нем не было. Это усилило беспорядок в умах. Никто не знал, как быть с присягой. Николай продолжал себя считать подданным императора Константина. Он боялся, что в народе возникнет подозрение, что он, пользуясь отсутствием старшего брата, стремится самовольно захватить престол, и отправил в Варшаву младшего брата, великого князя Михаила Павловича, чтобы получить от Константина формальное отреченье. Варшава была далеко. Дороги были скверные, и великий князь вернулся только 14 декабря, рано утром, когда судьба России решалась уже не грамотами, а писалась кровью на улицах столицы.

Десять лет спустя император Николай I в назидание своим детям написал записку об этих днях междуцарствия и о 14 декабря. Историки декабрьского движения скупо ссылаются на этот документ, а между тем в нем ряд подробностей, рисующих ход событий, которые отчасти предопределили характер Николаевского царствования, наложили печать на личность самодержца, а через него и на судьбу Пушкина.

29-летний офицер, третий сын в царской семье, Николай не ждал короны и не искал ее. После смерти Александра, к которому он был очень привязан, он, еще не став царем, уже почувствовал всю тягость ответственности за русскую державу. Перед ним встал призрак смуты. Фельдъегерь привез от Константина новое письмо, подтверждающее, что он себя царем не считает. И опять оно носило частный характер, точно разговор шел о разделе семейной вотчины, а не царства. Опять у Николая не было в руках акта, пригодного для опубликования, хотя нежелание Константина царствовать уже не вызывало никаких сомнений. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, которую Николай держал в курсе своих сомнений, сказала ему:

«Склонитесь перед волею вашего брата».

«Прежде чем склониться перед ним, соблаговолите объя-

снить мне, почему я это должен сделать? Я не знаю, кто приносит большую жертву, тот, кто отказывается от трона при таких обстоятельствах, или тот, кто соглашается стать царем».

Затягивать такое неопределенное положение становилось опасным. Решено было назначить новую присягу на 14 декабря. За два дня до этого, 12 декабря, Николая разбудили и передали ему пакет, присланный из Таганрога генералом Дибичем, начальником главного штаба, который состоял при Александре до самой кончины. На конверте было написано: *Срочно, особо важно*. Адресован конверт был Его Императорскому Величеству, без имени. После некоторых колебаний Николай пакет вскрыл.

В нем были донесения унтер-офицера уланского полка Шервуда и капитана Вятского полка Майбороды. Оба проникли в тайное общество, чтобы следить за его членами. Они доносили о задачах и составе общества. В пакете также было донесение самого Дибича, что «за несколько дней до кончины своей покойный Император велел ему арестовать членов Южного общества — Вадковского, Пестеля и кн. С. Волконского». Сообщая об этом в своих записках, Николай Павлович прибавил:

«Только тогда почувствовал я в полной мере всю тяжесть своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. К кому мне было обратиться — одному, совершенно одному, без совета».

Все-таки он пригласил на совет трех приближенных — генерал-адъютанта А. Х. Бенкендорфа, князя А. Н. Голицына и героя войны 12-го года, петербургского генерал-губернатора, жизнерадостного графа Милорадовича, который не хотел верить, что среди русских офицеров могут быть заговорщики. Он ручался своей головой, что в войсках спокойно и что присяга пройдет гладко. За эту свою доверчивость он действительно поплатился головой. Удивительно, что никто из этих советчиков не подсказал великому князю, который уже нес царскую ответственность, что надо прежде всего арестовать заговорщиков, списки которых хорошо были известны правительству. Бенкендорф еще в 1821 году подавал Александру рапорт о тайном обществе. Потом князь Васильчиков просил Царя пресечь деятельность заговорщиков и получил от Александра знаменитый ответ:

«Я разделял их иллюзии и заблуждения, не мне их карать».

Николай этих иллюзий не разделял. Он мог с чистой совестью их арестовать и тем предотвратить всякую возможность бунта. Этого он не сделал. За два дня до 14 декабря написал он два письма — Волконскому и Дибичу. В обоих слышится тревога и неуверенность.

«Я еще не государь вам, но обязан поступать как государь, — писал он Дибичу. — Я почти уверен, что сообщников подобного злодеяния здесь весьма мало или вовсе нет... Нет ни слуха о том, ни подозрения в чем-нибудь подобном, и напротив, можно скорее сказать, что никогда такого порядка при жизни государя здесь не бывало... Но на Бога надейся, а сам не плошай, было и будет нашим правилом до конца жизни, и мы не зеваем... Я считаю, что вы там, скоро получите известие, что все здесь в порядке, конечно, или иначе я жив не останусь».

Князю П. М. Волконскому, который был очень близок покойному царю, Николай Павлович писал:

«14-го числа буду я государь или мертв. Что во мне происходит, описать нельзя, вы наверное надо мной сжалитесь, да мы все несчастные, но нет несчастнее меня. Да будет воля Божья».

Николай Павлович, внук Петра III и сын Павла, знал, что такое цареубийство. Семейные страшные легенды не могли не вспоминаться ему в эти дни. 12 декабря курьер привез из Варшавы еще одно письмо от Цесаревича. Константин недоумевал, зачем от него требуют публичного отречения от престола. Николай приписал в письме к Дибичу: «Решительный курьер воротился, — завтра поутру я или государь или без дыхания. Я жертвую собой для брата, счастлив, если как подданный исполню волю его. Но что будет с Россией? Что будет с армией? У нас по сию пору непостижимо тихо, но часто бывает затишье перед грозой...»

К ночи Николай Павлович получил еще одно предостережение. В 10 часов вечера во дворец явился член тайного общества поручик Я. И. Ростовцев, адъютант командира гвардейской пехоты, и подал великому князю рапорт о готовящемся восстании. Он умолял Николая Павловича не принимать присягу, пока Константин сам, всенародным актом, не передаст ему своих царских прав. Он говорил: «Против вас таится возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России. Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, м. б. и Литва от нас отделятся. Европа вычеркнет раздираемую Россию из списков держав своих и соделает ее державой азиатской».

В этих словах есть предчувствие потрясений, случившихся сто лет позже. Я. И. Ростовцев не был наемным агентом, как Шервуд и Майборода. В его донесении есть отголоски сомнений других декабристов. Но и он не сумел убедить Николая предотвратить бунт. Никаких мер не было принято. Между тем опасная необдуманность, которую Александр проявил в

таком важном деле, как престолонаследие, породила смуту в широких кругах. Вместо того, чтобы присягнуть прямо законному наследнику, пришлось через две недели после первой присяги готовиться ко второй. Невольно стали обсуждать и критиковать личность того, кто шел на смену Александру.

Гвардия не любила Николая Павловича. В нем не было ни гуманитарной мечтательности покойного царя, ни его либерализма, ни его уменья всех очаровывать. С воцарением Николая исчезла надежда на политические реформы. Это хорошо знали члены тайного общества. Начиная с 27 ноября, когда с роковой поспешностью была принесена присяга императору Константину, заговорщики почти каждый вечер собирались у Рылеева. Его близкий друг, 9-го экипажа капитан-лейтенант М. А. Бестужев, в своих воспоминаниях рассказывает, как, после того как войска присягнули Константину, он и Рылеев «почувствовали свое бессилие» и решили, что необходимо немедленно выработать план действий. Задумали разбрасывать прокламации в казармах, даже начали их писать, потом, «чтобы подготовить дух войск», решили все трое, — третий был А. А. Бестужев-Марлинский — идти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться около каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного Царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлен до 15 лет срок солдатской службы. «Нельзя представить жадности, с какою слушали солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какою наши слова разнеслись по войскам».

Две ночи проходили они так по городу, потом Рылеев слег.

Так втроем — только втроем — пускали они по Петербургу слухи, которым солдаты и мужики были рады поверить, но которым сами пропагандисты не верили.

В среде заговорщиков не было революционного порыва, не было веры в успех. В этом «обществе умных», как назвал их Пушкин, оказалась роковая неспособность вовремя задуматься и вовремя остановиться. Точно их толкала какая-то темная сила. Князь С. Трубецкой под старость рассказывал о своих тогдашних колебаниях и сомнениях, но тогда он даже не пытался отговорить товарищей, не спорил, когда они назначили его диктатором над восстанием, а просто не пошел с ними к памятнику Петру Великому. Отправился на противоположный конец площади к Генеральному штабу и там присягнул новому императору. Шильдер рассказывает: «Когда государь выехал на площадь, он заметил кн. Трубецкого около дома главного штаба, не подозревая, что он имеет перед собой диктатора мятежного движения».

Идеолог Северного общества, умный Рылеев, поэт, влюбленный в свободу, внимательно выслушивал соображения своих колеблющихся сообщников и отвечал: «Да, мало видов на успех, но все-таки надо, надо начать. Начало и пример принесут пользу». Так барон Розен в своих записках передает слова Рылеева. То же говорит М. А. Бестужев, который в эти дни почти не расставался с Рылеевым. «Предвижу, что не будет успеха, но потрясение необходимо, — говорил ему Рылеев. — Тактика революции заключается в одном слове — дерзай. И ежели эта попытка будет несчастлива, мы своей неудачей научим других».

В этом он не ошибся. Декабристы, несомненно, положили начало русскому революционному движению, хотя многие из них и считали себя мирными реформаторами. Через своих товарищей, занимавших видные места, заговорщики знали, что правительство растерянно, что царя нет. Они думали, что такое положение можно и должно использовать, что, прежде чем принести присягу новому императору, надо предъявить ему конституционные требования. Вечером 13 декабря, накануне дня, назначенного для присяги, заговорщики, как всегда, собрались у Рылеева. На этот раз нельзя было ограничиться разговорами, надо было принять какое-то решение, от слов перейти к делу.

Вот как М. А. Бестужев описывает этот вечер: «Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно высоко-настроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения, слова без дела, за которые многие дорого поплатились, не будучи виноваты ни в чем, ни перед кем. Как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был не хорош собою, говорил просто, не гладко, но когда он попадал на свою любимую тему, на любовь к родине, физиономия его оживлялась, черные его, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава. В этот роковой вечер, решив, быть или не быть, его лик, как луна бледный, был озарен сверхъестественным светом».

Решение вывести наутро мятежные войска на площадь было принято без всякой уверенности в успехе.

Но и в Зимнем дворце не было уверенности. В то время, как заговорщики собирались в помещении Американской компании на Гороховой, где жил Рылеев, во дворце, на другой стороне площади, собрались члены Государственного Совета. Им было приказано явиться к 8 часам. Николай Павлович хотел обеспечить себе поддержку высшего учреждения Империи. Он допускал, что войска, за две недели перед тем присягнувшие Константину, могут отказаться от новой при-

сяги. Обмен письмами между Петербургом и Варшавой хранился в тайне. Николай Павлович оттягивал заседанис Государственного Совета, рассчитывая, что Михаил Павлович может вернуться из Варшавы с формальным актом об отречении. А его все не было. Высокие сановники хорошенько не знали, зачем их собрали. А. Н. Оленин рассказывает, что «они сидели в глубоком молчании часа два или более, утомленные от ожидания и пустых между собой разговоров. Государь не появлялся». Наконец, поздно вечером, их позвали ужинать. «Сие предложение многих членов, удрученных летами и слабостью, оживило». В полночь Николай появился, прочел им письмо Константина и свой манифест о восшествии на престол и закончил словами:

«Сегодня я прошу, а завтра буду приказывать».

Но он был далеко не уверен, что ему суждено приказывать. Рано утром 14 декабря, надевая мундир, он сказал Бенкендорфу, присутствовавшему при его одевании:

«Сегодня вечером, может быть, нас обоих больше не будет на свете, но по крайней мере мы умрем, исполнив наш долг».

Все-таки день начался с присяги. В семь часов утра сенат, синод и большая часть гвардии присягнули Николаю. Он стал царем.

А на Сенатской площади, вокруг памятника Петру, строились заговорщики. Первой выступила часть лейб-гвардии Московского полка. К ним присоединились гренадеры и весь гвардейский экипаж. Солдаты плохо понимали, в чем дело, но они любили своих либеральных офицеров, за ними шли, кричали: «Конституция, конституция», не имея понятия, что это такое. Даже, говорят, кричали: «Хотим Константина и жену его Конституцию».

Михаил Бестужев рассказывает в своих мемуарах: «День был сумрачный. Ветер дул холодный. Солдаты, затянутые в парадную форму с пяти часов утра, стояли на площади уже более семи часов. Со всех сторон мы были окружены войсками, бсз главного начальства, потому что диктатор Трубецкой не явился, без артиллерии, без кавалерии, словом, лишенные всех моральных и физических опор для поддержания храбрости солдат. Они с необычайной энергией оставались непоколебимы и, дрожа от холода, стояли в рядах, как на параде. Кюхельбекер и Пущин уговаривали народ очистить площадь, потому что готовились стрелять в нас. Я присоединился к ним, но на все мои убеждения был один ответ: «Умрем вместе с вами».

Почти все заговорщики были офицеры, но военного начальника среди них не оказалось. Двое штатских, Рылеев и

Пущин, взяли эту роль на себя. Оба были друзья Пушкина. Барон Розен в своих записках рассказывает: «Рылеев как угорелый бросался во все казармы, ко всем караулам, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался с пустыми руками».

Пущин за несколько дней перед этим приехал из Москвы, чтобы принять участие в предполагаемых революционных действиях. Он, один из немногих, сохранил полное присутствие духа и отдавал солдатам приказы. Его плащ весь был прострелен пулями. Так рассказывает Е. Якушкин в предисловии к запискам Пущина. По словам обвинительного акта, Пущин «взялся ободрять войска на площади, где оставался до картечных выстрелов, расхаживая по фасам, поощряя солдат к мятежу, и, при наступлении кавалерии на чернь, скомандовал переднему фасу взять ружья к ноге».

В начале ни та, ни другая сторона не знали, что делать. Из казарм солдат вывели, а боя не было. Где неприятель, не показали. На другом конце площади смутно колыхалось очертание других воинских частей. Но ведь это были не враги, а такие же русские солдаты, как и они сами. Граф Милорадович, который за пять лет перед тем, по просьбе своего адъютанта, Ф. Глинки, тоже члена тайного общества, так добродушно обошелся с Пушкиным, все еще отказывался верить, что в русской армии могут быть мятежники. Когда он действительно убедился, что это военный бунт, он пришел во дворец и доложил, что Московский полк взбунтовался, и предложил, что сам уговорит солдат. Еще от Суворова унаследовал он упрямое доверие к солдату. Он поскакал к мятежным войскам уговаривать их вернуться в казармы и под конец скомандовал:

— Направо кругом, марш!

Знакомые слова, для многих и знакомый генеральский голос, вызвали движение в рядах. Казалось, солдаты сдадутся. Но Каховский — он был в совершенном исступлении — выстрелил в Милорадовича. Князь Оболенский ткнул раненого генерала штыком. Уверяют, что Милорадович, умирая, сказал:

— Доиграна комедия. (La comédie est jouée.)

Это на него похоже.

А на другом конце площади, около Зимнего дворца, где был центр правительственных сил, царило смятение. Никто не знал, что это, бунт или революция? Карамзин, который провел 14 декабря во дворце, видел, как молодая красавица Императрица вся в слезах молилась на коленях перед образом. Ее и детей только утром, под военной охраной, перевезли из Аничкова в Зимний дворец, по приказу Царя, который вместе с великим князем Михаилом Павловичем,

вернувшимся ночью из Варшавы, лично руководил действиями войск против бунтовщиков. В памятной записке Николай I рассказывает, как он сам вывел бывших на карауле финляндских стрелков и построил их на площади на защиту дворца. Потом скомандовал первому батальону преображенцев, который остался верен правительству, — к атаке, в колонну, — и пешком повел их мимо здания Генерального штаба к сенату, откуда раздавались крики: «Ура Константин!» Кто-то догадался подвести Царю коня.

«Когда я с Бенкендорфом выехал на площадь, — пишет Николай, — меня встретили выстрелами. Видя, что дело становится весьма важным и не предвидя еще, чем кончится, послал я Адлерберга с приказанием шталмейстеру кн. Долгорукову приготовить загородные экипажи для матушки и жены, и намерен был в крайности вывозить их с детьми под прикрытием кавалергардов в Царское Село. Сам же, послав за артиллерией, поехал на Дворцовую площадь, дабы обеспечить дворец... Не доехав еще до главного штаба, увидал в совершенном беспорядке, со знаменем, без офицеров, лейб-Гренадерский полк, идущий толпой. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я пошел остановить людей и выстроить, но на мое — Стой! — отвечали мне — мы за Константина. Я указал им на Сенатскую площадь: — Когда так, то вот вам дорога. — И вся толпа прошла мимо меня, сквозь все войска и присоединилась без препятствий к своим одинаково заблужденным товарищам».

С гренадерами был их офицер Панов, член Северного общества. Он надеялся занять дворец, но это ему не удалось... Кто-то раньше успел поставить на караул сапер, верных правительству. Часть Московского полка, солдат и офицеров, также оставшуюся верной правительству, привел из казарм Михаил Павлович. И на правительственной стороне не было настоящего руководительства. Николаю самому пришлось прочесть солдатам манифест и объяснить, кому они должны присягать. Карамзин вышел из дворца посмотреть, что творится на площади, и позже писал: «Я видел Императора, на коне среди войск, видел ужасные лица, слышал ужасные слова».

Эти лица, эти угрожающие слова видел и слышал и молодой Царь. Третий царь, под которым довелось жить Пушкину, провел первый день своего царствования на коне, усмиряя свою взбунтовавшуюся гвардию. Николай рассказывает в своей записке: «Погода из довольно свежей становилась холоднее, было скользко, начинало смеркаться, ибо было уже три часа пополудни. Шум и крик делались настойчивее, частые ружейные выстрелы многих из конной гвардии ранили

и перелетали через войска. Выехав на площадь, желал я посмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп, пули просвистали мне через голову и, к счастью, никого из нас не ранили. Рабочие Исаакиевского собора, из-за забора, начали кидать в нас поленьями, надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска стали бы в трудном положении».

Царь приказал конной гвардии идти в атаку, но лошади скользили по обмерзлой земле. Генерал-адъютант князь Васильчиков заявил, что надо дать залп.

— Вы хотите, чтобы я в первый день моего царствования пролил кровь моих подданных. (Vous voulez, que je verse le sang de mes sujets le premier jour de mon regne.)

— Да, государь, чтобы спасти вашу Империю. (Pour sauver votre Empire, Sire.)

Увидав, что артиллерийской стрельбы не миновать, Николай Павлович послал сказать императрицам, находившимся в Зимнем дворце, что, истощив все меры убеждения, он будет вынужден стрелять из пушек и надеется, что будет довольно двух выстрелов. Это так потрясло Императрицу-мать, что с ней чуть не сделался удар:

— Боже мой, до чего я дожила, мой сын с пушками всходит на престол!

А в это время у памятника Петру Великому происходил записанный Бестужевым разговор его с Рылеевым, который, обнимая его, сказал:

«Предсказания наши сбываются, последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы, мы дышали ею, и я охотно отдаю за них мою жизнь».

Рылеев ошибся только в сроке. Несколько месяцев спустя он действительно заплатил жизнью за эти минуты вольности.

Картечь положила конец восстанию. После первого же залпа солдаты, окружавшие памятник Петру, и теснившаяся около них толпа побежали. М. А. Бестужев, спустившись на Неву, пробовал построить бегущих в ряды, но лед подался, люди стали тонуть и спасаться бегством. Шильдер, которому был открыт доступ в казенные архивы, говорит: «Весьма трудно установить, сколько жертв пало во время возмущения 14 декабря». Адмирал А. С. Шишков в своих записках пишет: «Исаакиевская площадь была обагрена кровью. Множество тел лежало на ней. Скопившаяся толпа народу страдала вместе с бунтовщиками».

В ту же ночь М. А. Бестужев, пробираясь через площадь,

где за несколько часов перед тем он и его друзья пытались произвести государственный переворот, увидел рабочих, сметавших следы бунта. «Одни скоблили красный снег, другие посыпали вымытые места белым снегом, остальные собирали тела убитых и свозили их в реку».

Благодаря жестокому усердию полиции в реку побросали не только убитых, но и раненых. Когда это дошло до Николая, он был очень возмущен и сместил полицмейстера.

Из руководителей заговора никто не был ранен и никто не пытался скрыться, кроме обезумевшего Кюхли. Он бежал в Варшаву, но был скоро арестован.

У правительства были списки заговорщиков. Аресты начались в ту же ночь. Пущина взяли не сразу, может быть, считая, что он в Москве. Друзья пытались его спасти. На следующий день после восстания к нему приехал лицеист, князь Горчаков, уговаривал уехать за границу, даже привез паспорт. Пущин отказался. Он решил разделить участь товарищей... Приехал и Вяземский, спрашивал, чем может быть ему полезен. Пущин передал ему на хранение портфель с бумагами, где среди политических записок были стихи Рылеева и Пушкина. Этот портфель Вяземский привез Пущину в первый день его возвращения из ссылки, 32 года спустя.

Арестованных мятежников отвозили сначала в Зимний дворец, оттуда в крепость. Революции редко происходят на глазах у тех коронованных особ, которых революционеры пытаются свергнуть, а Николай Павлович был в самой гуще мятежных войск, сам защищал от них свою корону, свой дворец, свою семью, свое государство. Немудрено, что, когда началось судебное следствие, он и в нем принял близкое, хотя уже не руководящее, участие. Он присутствовал на первом ночном опросе декабристов. Большинство из них он лично знал, отправлял с ними полковую службу, танцевал с ними на балах, вместе ухаживал за хорошенькими женщинами. Теперь эти офицеры, которые не раз несли во дворце охранную службу, стояли перед царем со связанными руками, как преступники. Это была уже не гвардия, это были враги, чьи пули за несколько часов перед тем свистали вокруг царской головы. Можно ли удивляться, что в эту ночь Николай осыпал их упреками и угрозами.

Из дворца их везли через Неву в крепость. Николай из своих окон видел ее кирпичные стены, за которыми в мрачных, сырых казематах сидели пленные декабристы, для одних — герои, для Царя — враги отечества. Сурово расправился он с мятежниками. Но 30 лет спустя, когда Севастопольская кампания открыла ему глаза на хищения, на взятки,

на злоупотребления в армии и администрации, которые прятались под покровом самодержавного великолепия и льстивой лжи, Николай с горечью сказал:

— Мои друзья декабристы никогда бы этого не сделали.

Он признавал их честность, но был враждебен их политическим идеям, считал их безумцами и государственными преступниками. Он и позже не захотел, может быть, не сумел смягчить самое роковое последствие декабрьского бунта — разъединение между образованным обществом и властью.

Через две недели после Петербургского мятежа Южное общество подняло мятеж на юге, в Черниговском полку, стоявшем около Фастова. Мятежники продержались целую неделю, с 29 декабря по 3 января. Потом сдались. Их неуспех приписывали тому, что и у них не было вождя. Пестель еще 13 декабря, по приказу покойного царя, был арестован и отправлен в Петербург.

Пестель был республиканец, стоял за вооруженный военный переворот, за самые решительные действия, вплоть до цареубийства, но принять участие в вооруженном восстании ему не пришлось. Как побежденный, как пленник, Пестель не проявил того мужества, которого от него ждали.

Товарищи считали Пестеля опасным себялюбцем, но человеком железной воли. Его сравнивали с Бонапартом. Может быть, о нем думал Пушкин, когда писал:

Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.

Но арест оглушил Пестеля. Его показания, писанные в крепости, полны ненужной откровенности. Он, как, впрочем, делали и другие декабристы, сообщил имена многих заговорщиков.

А поэт Рылеев, которого считали мягким мечтателем, из крепости писал Царю:

«Государь, будь милостив к товарищам моего преступления, я виновнее их всех». И жене писал: «Если кто заслужил казнь, вероятно, нужную для блага России, то, конечно, я, несмотря на мое раскаяние и совершенную перемену мыслей».

Первая попытка вооруженного переворота не удалась. Бенкендорф оказался прав, когда в записке, поданной Александру I, выражал твердую уверенность, что «их бессмысленные надежды на всеобщее содействие не оправдаются». Маленькая кучка прекраснодушных аристократов была без боя раздавлена. Но 14 декабря они положили начало русской революции, которая то замирала, то разрасталась и наконец

в феврале 1917 года привела к падению самодержавия, а в октябре — к превращению Российской Империи в коммунистическую республику.

Глава VIII

ПОД ШУМ БУРИ

Буря пролетела далеко от Пушкина. Известия доходили медленно до Михайловского. О смерти Александра поэт узнал только две недели спустя и вообразил, что теперь с него снимут опалу. Он писал Катенину:

«Может быть, нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями. Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти Государя, но, как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина, в нем очень много романтизма, бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем, напоминают Генриха V. К тому ж он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего... Признаюсь, мочи нет, хочется к вам» *(4 декабря 1825 г.)*.

Через несколько дней он писал Плетневу:

«Милый, дело не до стихов, — слушай в оба уха (одно из неуклюжих выражений Кюхельбекера. — *А. Т.-В.*). Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно, они вспомнят обо мне. Если брать так брать — не то что и совести марать — ради Бога, не просить у Царя позволения мне жить в Опочке или в Риге. Чорт ли в них? *А просить или о въезде в столицы, или о чужих краях.* В столицу хочется мне для вас, друзья мои, — хочется с вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать?.. Выписывайте меня, красавцы мои, а не то не я прочту вам трагедию свою» *(начало декабря 1825 г.)*.

Но друзьям было не до него и не до его трагедии. Декабрьское восстание вызвало среди них панику, оцепенение, у некоторых резкое осуждение.

Не получая ни от кого писем, Пушкин еще во время междуцарствия решил поехать в Петербург, узнать, что там делается. Только вера в дурные приметы удержала его от этой поездки. Собравшись в Петербург, он поехал проститься к тригорским соседкам, заяц два раза перебежал ему дорогу. Быть может, это был прямой потомок того зайца, который за тринадцать лет перед тем, в июне 1812 года, когда началась переправа французской армии через Неман, бросился под

ноги лошади Наполеона, дал великому полководцу свое звериное предостережение. Император чуть не свалился с шарахнувшейся лошади, а среди маршалов, по словам Коленкура, прошел тревожный ропот. Они тогда же решили, что поход на Московию не кончится для великой армии добром.

И Пушкина заяц смутил. Раздосадованный, вернулся он в Михайловское, где ему доложили, что слуга, которого он хотел взять с собой, внезапно заболел. Пушкин приказал другому человеку собраться в путь. Отправились. Только что выехали за ворота, как навстречу им поп. Этого Пушкин не выдержал, повернул обратно и остался дома.

Этот рассказ слышали от него многие: тригорские приятельницы, Погодин, Вяземский, Нащокин, Соболевский, который так записал слова Пушкина: «Вот каковы были бы последствия моей поездки. Я рассчитывал попасть в Петербург поздно вечером 13 декабря и попал бы к Рылееву прямо на совещание. Меня приняли бы с восторгом и, вероятно, забыли бы о Вейсхаупте (Weishaupt), я пошел бы на следующий день с прочими на Сенатскую площадь. Не пришлось бы мне сидеть здесь с вами, друзья мои».

Упоминание о Вейсхаупте связано все с той же гадалкой Кирхгоф. Соболевский, свидетель довольно точный, в одной заметке своей рассказывает, что Кирхгоф предостерегала поэта, что он должен опасаться белой лошади, белого человека, белой головы и что Пушкин из-за этого отстранился от масонства и не вступил в тайное общество.

«Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные общества, даже само масонство получили от Адама Вейсхаупта направление подозрительное и враждебное государственному порядку. Как же мне было приставать к ним?»

Пушкин своей веры в приметы не скрывал. Говорил о ней полушутя, но за шутками скрывалась странная настороженность. Он знал, что судьба его караулит.

Он остался в Михайловском. Его мучила полная неизвестность о том, что делается в Петербурге, что собираются делать его друзья-заговорщики. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, он написал «Графа Нулина», повесть в стихах, шуточную, брызжущую весельем. В его бумагах сохранилась запись, как зародилась эта повесть.

«В конце 1825 г. находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал, что если б Лукреции пришло в голову дать пощечину Тарквинию?.. Лукреция б не зарезалась. Публикола не взбесился бы — и мир и история мира были бы не те... Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог

противиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Гр. Нулин» писан 13 и 14 дек... бывают странные сближения».

Так, в то утро, когда его мятежные друзья теснились около памятника Петру, Пушкин писал забавную повесть, которую Николай позже милостиво похвалил.

Не от своих столичных друзей, от Арсения, крепостного повара Осиповой, узнал Пушкин о бунте.

«Осень и зиму 1825 г. мы мирно жили у себя в Тригорском, — рассказывала тридцать лет спустя одна из дочерей Осиповой М. И. Семевскому. — Пушкин, по обыкновению, бывал у нас почти каждый день, а если, бывало, засидится и заработается у себя дома, так и мы с матушкой к нему ездили. Вот однажды, под вечер, зимой сидели мы все в зале за чаем, Пушкин стоял у печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал повар Арсений. Обыкновенно каждую зиму посылали мы его с яблоками в Петербург. Там эти яблоки и разную деревенскую провизию Арсений продавал, а на вырученные деньги покупал сахар, вино и т. п. нужные для деревни запасы. На этот раз он явился назад совершенно неожиданно, яблоки продал и деньги привез, ничего на них не купивши.

Арсений рассказывал, что в Петербурге бунт, всюду заставы и караулы, насилу выбрался на заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен и говорил мне что-то о существовании тайного общества, но что, не помню».

Несколько времени спустя в «Русском Инвалиде» начали печатать правительственные сообщения о бунте и следствии. Каждый день Пушкин узнавал о новых арестах. Круг замыкался. Он был уверен, что и ему не миновать ареста. Набрасывая родословную своих предков, он писал позже:

«В конце 1825 г., при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать многих, а может быть, и умножить число жертв. Не могу не сожалеть об их потере. Они были любопытны. Я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, со всей откровенностью дружбы и короткого знакомства» *(1830)*.

Эти слова подтверждают его связь с декабристами. Среди них он жил, начиная с Лицея. Он знал князя С. Трубецкого, Н. М. Муравьева, князя Илью Долгорукова, Лунина, Якушкина, М. Ф. Орлова, В. Д. Давыдова, князя Волконского, А. И. Якубовича, Я. Н. Толстого, Охотникова, встречался в Кишиневе с Пестелем, был дружен с Кюхельбекером и Пущиным. Он

переписывался с Рылеевым и А. Бестужевым. Свою дружбу с заговорщиками он не пытался скрывать, скорее подчеркивал ее:

«Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими заговорщиками», — писал он Вяземскому.

Оглядываясь на десять лет своей сознательной жизни, вспоминая Лицей, лекции либеральных профессоров, разговоры с либеральными гусарами, Арзамас, Зеленую Лампу, политические беседы с Чаадаевым и братьями Тургеневыми, демократические обеды в Каменке у Орловых, даже разговоры с Инзовым об Гишпанской революции и о конституции кортесов, Пушкин не мог, да и не хотел, отрицать своей духовной связи с либералистами.

Никто из заговорщиков не сумел выразить мечты и упования новорожденного русского либерализма с такой ясностью, с такой поэтической силой, с таким заразительным пафосом, как Пушкин.

Вяземский, который не состоял в тайном обществе, писал: «Хотя Пушкин и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой вулканической атмосфере. Мы все более или менее дышали и волновались этим воздухом».

Мемуары современников, в особенности самих декабристов, подтверждают, какое влияние имели на них стихи Пушкина. Вот, что они сами писали:

«Не было грамотного прапорщика артиллерии, который не знал бы его стихов. Во всех дружеских кружках молодые люди читали его сочинения, дышущие свободой» *(Якушкин)*.

«Стихи Пушкина читались и повторялись во всех дружеских кружках» *(Беляев)*.

«Кто из молодых людей не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой» *(барон Штенгель)*.

Это было хорошо известно следственной комиссии по делу декабристов. Среди 29 вопросов, предъявленных майору Н. И. Лореру, был такой вопрос: «Говорили ли вы некоторым членам общества, что в местечке Линце есть шпион и что полковник Пестель спрятал свои бумаги в бане, а вы и поручик Гориславский сожгли сочинения Пушкина?»

Комиссия доискивалась, где бумаги Пестеля, хотела найти рукопись «Русской Правды», этой хартии вольностей, составленной Пестелем. Насчет бумаг Пестеля Лорер отозвался неведением, «а насчет же сочинений П-на, я чистосердечно признаюсь, что я их не жег, ибо я не полагал, что они сомнительны, знаю, что почти у каждого находятся и кто их не читал».

В ответ на вопрос комиссии, «с которого времени и

откудова заимствовали они свободный образ мыслей, т. е. от общества ли, или от внушения других, или от чтения книг, или от сочинения в рукописях?», многие декабристы указали на Пушкина.

Щеголев в книге «Пушкин» пишет, что «это создавало впечатление о Пушкине, как об опасном и вредном для общества вольнодумце, рассевавшем яд свободомыслия в обольстительной поэтической форме. С такой же определенной репутацией человека неблагонадежного и зловредного должен был войти поэт в сознание одного из деятельнейших членов упомянутой комиссии — генерал-адъютанта А. Х. Бенкендорфа. Такое же представление сложилось о нем и у Николая I».

Пушкин всю жизнь платился за неосторожную откровенность декабристов, но мог поплатиться еще дороже.

До самой могилы его преследовало то более, то менее затаенное недоверие шефа жандармов и его державного начальника. Это было тем более незаслуженно, что во время бунта Пушкин уже перестал быть бунтовщиком. Он тоже хотел «вполне и искренно помириться с правительством». Он сомневался в пригодности своих либеральных друзей осуществить те высокие государственные задания, о которых они так много и горячо спорили.

Перемена в нем началась еще на юге. Вяземский, который очень хорошо знал политические взгляды Пушкина, писал: «На политическом поприще, если бы оно открылось перед нами, он несомненно был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом... Он часто бывал Эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи, и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него. Не менее того он был искренним, но не был сектатором в убеждениях или предубеждениях, а тем более, не был сектатором чужого предубеждения. Он любил чистую свободу, как любить ее должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце, каждая благородная душа... Но из этого не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы 20-х годов очень это чувствовали и применяли такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были его приятелями, но они не находили в нем готового соумышленника и к счастью, его самого и России, они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому их соображению и расчету их можно приписать спасение Пушкина от крушения 25-го года».

Через пять лет после декабрьского бунта Пушкин написал десятую главу «Онегина», где дал очень откровенную оценку

заговорщикам. Судя по тому, как Вяземский называл ее «славной хроникой», в ней была обычная пушкинская меткость.

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико,
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука...
. . . .
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов...
(1830)

К несчастью, до нас дошли только немногие разрозненные строфы и строки, но так писать мог Пушкин только позже, когда неудержимая писательская потребность выразить свой опыт в словах пересилила другие соображения. Сразу после бунта казнь пятерых, суровые меры, обрушившиеся на остальных, лишали Пушкина, да и не его одного, возможности свободно высказаться. Критика могла быть истолкована как отреченье от гонимых. Сидя в Михайловском, Пушкин не мог знать, что накануне 14 декабря часть заговорщиков была в мыслях своих близка ему, что после этого рокового дня некоторые из них подвергли горькой, суровой переоценке себя и свою деятельность.

Мысль о декабристах неотступно стояла перед поэтом. Об этом говорят и письма его, и его черновые тетради, испещренные рисунками. Пушкин был хороший рисовальщик, любил набрасывать то на полях, то среди текста женские ножки, лица, карикатуры, целые сцены. В своих рабочих тетрадях и в альбомах своих приятельниц нарисовал он больше полусотни собственных портретов. Некоторые из них живее передают его подвижное, неправильное лицо, чем его портреты, писанные лучшими художниками. Он не щадил себя и оставил несколько автокарикатур, по-видимому, очень метких.

Рисунки Пушкина редко были иллюстрациями к тексту, они чаще отражали настроения или мысли, не связанные с ним. В начале января 1826 года Пушкин писал V главу «Онегина», где есть описание вещего сна Татьяны. Поля страниц, на которых написана эта глава, исчерчены портретами в профиль. Тут Мирабо, Вольтер, рядом с ними Рылеев, Пестель, Каховский. Тут же автопортрет, где Пушкин придает себе сходство с Робеспьером. К своему характерному профилю прибавил он высокий галстук, надменную сухость, откинутые назад волосы французского трибуна. Дальше на двух

страницах несколько раз рисует он профиль Пестеля. В это время Пушкин вряд ли мог знать, что 3 января руководителя Южного общества привезли с юга в Петропавловскую крепость. Но в эти недели тревоги и неизвестности, когда его так беспокоила судьба декабристов, его преследовали резкие черты Пестеля. Пушкин знал, какую значительную роль играет Пестель среди заговорщиков, и был хорошо осведомлен об их внутренних отношениях. В семье Осиповой долго хранился листок, на котором Пушкин нарисовал портреты главных декабристов.

Еще одна любопытная подробность. На тех же страницах, где на полях и среди текста портреты заговорщиков, идут строфы о Татьяне:

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы:
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь...
. . . .
Когда случалось где-нибудь
Ей встретить черного монаха,
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей, —
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.
(Гл. V. Стр. V и VI)

Это описание его собственной веры в приметы, которая удержала его от поездки в Петербург. Так мысли о странных предостережениях, которые иногда дает нам судьба, сплетались с мыслями о декабристах.

Молчание друзей и неопределенность собственного положения становились мучительными. Пушкин решил пойти навстречу событиям и отправил Жуковскому письмо, похожее на показание. По смелости и прямоте оно настолько характерно для Пушкина, что надо его прочесть целиком:

«Я не писал к тебе, во-первых, потому, что мне было не до себя, во-вторых, за неимением верного случая. Вот в чем дело: мудрено мне требовать твоего заступления пред Государем; не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14-го декабря связей политических не имел, — но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведенья о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто ж, кроме полиции и Правительства, не знал

о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно. (NB. Оба ли Раевские взяты и в самом ли деле они в крепости? Напиши, сделай милость.) Теперь положим, что Правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю, не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною Правительства etc.

Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.

В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым.

Я был масон в Киш. ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи.

Я, наконец, был в связи с большею частью нынешних заговорщиков.

Покойный Император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии.

Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же доверять иногда и счастию. Прости, будь счастлив, это покаместь первое мое желание.

Прежде чем сожжешь это письмо, покажи его Кар... и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать Царю: В. В., если Пушкин не замешан, то нельзя ли, наконец, позволить ему возвратиться?

Говорят, ты написал стихи на смерть Алекс. — предмет богатый! Но в теченьи десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. — Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры, глас народа. Следств. я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба» *(вторая половина января 1826 г.)*.

Дельвигу Пушкин писал:

«Вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь, и дай Бог, чтобы было понапрасну. Мне сказывали, что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казматов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня» *(вторая половина января 1826 г.)*.

Но и Дельвиг молчал.

30 декабря вышел первый том «Стихотворений Александра Пушкина». Изданием книги занимался Плетнев, который делал для поэта все, на что оказался непригоден Левушка, был

поверенным, советчиком, посредником между автором, цензурой и книгопродавцами, бескорыстно исполнял обязанности издателя и казначея. Посылая книгу, он спрашивал, доволен ли Пушкин изданием, докладывал, что у него на руках скопилось уже четыре тысячи рублей, торопил с изданием следующих книг: «Умоляю тебя напечатать одну или две вдруг главы «Онегина», отбоя нет, все жадничают его. Хуже будет, когда простынет жар. Уж я и то боюсь, стращают меня, что в городе есть списки второй главы» *(21 января 1826 г.)*.

В жизни каждого поэта появление его первой книжки стихов большое событие. Пушкин почти десять лет мечтал выпустить этот первый том, подбирал и готовил для него стихи. А теперь только тремя строчками поблагодарил своего преданного друга: «Душа моя, спасибо за «Стих. Ал. П.», издание очень мило; кое-где ошибки, это в фальшь не ставится. — Еще раз благодарю сердечно и обнимаю дружески» *(около 21 января 1826 г.)*.

И сейчас же нетерпеливо перешел к волновавшим его событиям, на которые в длинном письме Плетнева нет даже намека:

«Что делается у вас в Петербурге? Я ничего не знаю. Все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми я находился в короткой связи, меня мучает. Надеюсь для них на милость царскую. Кстати: не может ли Ж. узнать, могу ли я надеяться на Высочайшее снисхождение, я 6 лет нахожусь в опале, а что ни говори, — мне всего 26. Покойный Имп. в 1824 г. сослал меня в деревню за две строчки не-религиозные — других художеств за собой не знаю. Ужели молодой наш Царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее, если уж никак нельзя мне показаться в ПБ. Прости, душа моя, скучно, мочи нет».

Книга стихотворений разошлась в несколько недель, но и это не заставило Пушкина отдать в печать «Цыган», «Бориса Годунова», ряд окончательно отделанных первоклассных стихотворений, которые лежали у него в столе. Плетнев настойчиво просил дать ему «Бориса Годунова» и следующие главы «Онегина», ручаясь за денежный успех, а Пушкин в ответ ему писал:

«А ты хорош! пишешь мне: переписывай, да нанимай писцов Опоческих, да издавай Онегина. Мне не до Онегина. Черт возьми Онегина! Я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки помогите!..» *(3 марта 1926 г.)*.

Наконец даже власти забеспокоились, почему Пушкин не

присылает в цензуру свою трагедию. Петербургский генерал-губернатор, граф П. В. Голенищев-Кутузов, докладывал начальнику Генерального штаба генералу Н. И. Дибичу: «Относительно трагедии «Борис Годунов», известно, что Пушкин писал Жуковскому, что оная не прежде им будет выдана в свет, как по снятии с него запрещения въезжать в столицу».

Это полицейское толкование писем Пушкина к друзьям показывает, с каким недоверием в правительственных кругах следили за ним. Его приятели это знали. Пушкин поручил Плетневу поднести Карамзину книгу стихов. На ней стоял эпиграф из Проперция Aetas prima canat Veneras, Extrema tumultus. «В раннем возрасте мы воспевали любовь, в позднейшем смятение». Карамзин прочел эпиграф и укоризненно сказал Плетневу:

«Что вы делаете, вы губите молодого человека!»

Плетнев пояснил, что здесь подразумеваются душевные смятения, а не мятежи, но самая тревога Карамзина, хорошо знавшего придворные настроения, показывает, с какой недоброжелательной подозрительностью там относились к каждому слову поэта. А Пушкин доверчиво ждал, что судьба скоро изменится к лучшему, и недоумевал, почему Жуковский молчит, почему молчат друзья. Первым откликнулся Дельвиг. Его письмо до нас не дошло. Судя по ответу Пушкина, в нем были советы сидеть тихо и ждать, пока минует буря:

«Насилу ты мне написал и то без толку, душа моя, — писал Пушкин Дельвигу. — Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый 6 лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам, — но никогда я не проповедывал ни возмущений, ни революции, — напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, чем к деятельности, и если 14 дек. доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы *вполне и искренне* помириться с правительством, и конечно, это ни от кого, кроме Его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.

С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и

обнародование заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего Царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни — как Фр. трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» *(15 февраля 1826 г.).*

Откликнулся наконец и Жуковский, но не прямо, а через Плетнева. Посылая Пушкину отчет о денежных делах, Плетнев прибавил: «Жуковский особенно просит прислать «Бориса». Он бы желал прочесть его сам и еще (когда ты позволишь) на лекции его. Другая его к тебе комиссия состоит в том, чтобы ты написал ему письмо серьезное, в котором бы сказал, что, оставляя при себе образ мыслей твоих, на кои никто не имеет никакого права, не думаешь никогда играть словами, которые противоречили бы какому-нибудь всеми принятому порядку. После этого письма он скоро надеется свидеться с тобой в его квартире» *(27 февраля 1826 г.).*

Пушкин сразу написал Жуковскому второе письмо, короткое, формальное, даже на «вы»:

«Поручая себя ходатайству Вашего дружества, вкратце излагаю здесь историю моей опалы. В 1824 г. явное недоброжелательство графа Воронцова принудило меня подать в отставку. Давно расстроенное здоровье и род аневризма, требовавшего лечения, служили мне достаточным предлогом. Покойному Государю Императору не угодно было принять оного в уважение. Его Величество, исключив меня из службы, приказал сослать меня в деревню, за письмо, писанное года три тому назад, в котором находилось суждение об афеизме, суждение легкомысленное, достойное, конечно, всякого порицания.

Вступление на престол Государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» *(7 марта 1826 г.).*

Друзья мало надеялись на скорую перемену в положении поэта. Даже Дельвиг, хорошо понимавший его горячую нетерпеливость, советовал сидеть смирно. Он писал: «Живи, душа моя, надеждами далекими и высокими, трудись для просвещенных внуков, надежды же близкие, земные, оставь на старание друзей твоих и доброй матери твоей. Они очень исполнимы, но не теперь. Дождись коронации, тогда можно будет просить царя, тогда можно от него ждать новой жизни для тебя» *(7 апреля 1826 г.).*

Несколько дней спустя пришло и долгожданное письмо Жуковского. Он хворал, был на письма ленив, а может быть,

и оттого отмалчивался, что декабрьский бунт его глубоко опечалил. Жуковский уже много лет был близок к семье великого князя Николая Павловича, преподавал русский язык и русскую историю его жене, великой княгине, теперь царице Александре Федоровне. Ему было поручено воспитание старшего сына, будущего императора Александра II. Жуковский жил в Аничковом дворце. Возможно, что в день бунта он вместе с царскими детьми проехал в Зимний дворец по улицам, полным мятежными солдатами. Во всяком случае, он, как и Карамзин, провел этот страшный день в Зимнем дворце.

У них обоих были друзья среди декабристов, что не мешало им считать заговорщиков бунтовщиками, если не преступниками, то уже, конечно, безумцами. Ведь даже либералы, как Вяземский, испуганно почуяли тяжелое значение этого дня для России. Вяземский был писатель смелый и независимый, но три года спустя в своей «Исповеди» он писал:

«Сей день, бедственный для России, и эпоха кроваво им ознаменованная, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось в его роковые скрижали».

Но Карамзин был прав, когда, стараясь смягчить участь декабристов, говорил Николаю Павловичу: «Государь, заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века».

Так думал и Пушкин, но друзья, с которыми он был давно разъединен ссылкой, продолжали, по меткому выражению Анненкова, считать его нераскаянным светским радикалом. Когда Жуковский наконец собрался ответить опальному поэту, его письмо звучало наставительно и укоризненно. Он объяснял свое молчание болезнью и тем, что «дельного отвечать тебе нечего. В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу... Дай пройти несчастному этому времени. Я никак не могу изъяснить, для чего ты написал мне последнее письмо свое? Если оно только ко мне, то оно странно. Если же для того, чтобы его показать, то оно безрассудно. Ты ни в чем не замешан, это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством. Ты знаешь, как люблю я твою Музу и как дорожу твоей благоприобретенной славою, ибо умею уважать поэзию, знаю, что ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью и драгоценностью России. Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Наши отро-

ки, при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры в жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями. Ты уже многим нанес вред неисцелимый — это должно заставить тебя трепетать. Талант ничего. Главное величие нравственное. Извини, эти строки из катехизиса. Я люблю тебя и твою Музу и желаю, чтобы вся Россия вас любила. Кончу началом: не просись в Петербург. Еще не время. Пиши «Годунова» и подобное: они отворят двери свободы. Присылай все, что будет сделано твоим добрым гением. То, что напроказит твой злой гений, оставь у себя: я ему не поклонник» *(12 апреля 1826 г.).*

Тяжело было Пушкину услыхать от Жуковского такую оценку своего вредного влияния на молодежь. Но эта откровенность не отразилась на их дружбе. В тот год им не удалось свидеться. Жуковский вскоре на три года уехал за границу лечиться. Когда он вернулся, они постоянно виделись, и дружба поэтов осталась неизменной до самой кончины Пушкина.

Пушкин в Михайловском особенно дорожил перепиской с друзьями, но после Декабрьского восстания вынужден был ее сократить, почти прекратить. От этой полосы его жизни до нас дошло мало писем. Среди них есть одно, едва ли не единственное из сотен его писем, где Пушкин говорит о своих любовных делах. Правда, эта любовь особого рода, это мимолетное сближение с рабыней, с собственной крепостной. В таких случаях можно было, согласно тогдашнему кодексу, сохранить репутацию порядочности, не соблюдая тех требований молчать, беречь имя возлюбленной, которые по отношению к женщинам, и в особенности к девушкам своего круга, считались обязательными.

3 января 1826 года, в самый разгар тревоги за друзей-декабристов, Пушкин в строфе «Евгения Онегина», перечисляя прелести деревенской жизни, мимоходом бросает:

Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй...

Пущин, который за год перед тем провел в Михайловском один день, помянул в своих «Воспоминаниях» хорошенькое личико, которое он заметил среди крепостных рукодельниц, трудившихся в девичьей, под командой Арины Родионовны. Он обменялся с Пушкиным выразительным взглядом, но ничего не сказал, ничего не спросил. Хотя в тех же «Воспоминаниях» Пущин с веселой резвостью рассказал, как вместе с Пушкиным ездил после Лицея в притоны. Эта сторона

мужской жизни находит себе из века в век разные толкования и разные оправдания.

Возможно, что пушкинская белянка черноокая, пушкинская рукодельница и та, кого пушкинисты прозвали «крепостная любовь Пушкина», одно лицо. Что такая девушка была, это мы узнаем от самого Пушкина.

Был в Михайловском крепостной приказчик Калашников. Была у него дочь. С этой девушкой Пушкин сблизился. Он писал Вяземскому:

«Милый мой Вяземский, ты молчишь и я молчу, и хорошо делаем, потолкуем когда-нибудь на досуге... Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о попе, но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах. При сем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный Дом мне не хочется, а нельзя ли его покаместь отдать в какую-нибудь деревню — хоть в Остафьево. Милый мой, мне совестно, ей Богу, но тут уж не до совести» *(начало мая 1826 г.)*.

Вяземский ответил быстро и тоже шутливо, как полагалось говорить о таких обычных происшествиях. Он смотрел на дело проще, чем Пушкин, в письме которого слышится смущение, виноватость. Вяземский писал:

«Сейчас получил я твое письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видел, а доставлено оно мне твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он отцом твоим в управляющие. Какой же способ оставить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее этого сделать нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своем. Мой совет написать тебе полу-любовное, полу-раскаятельное, полу-помещичье письмо блудному твоему тестю, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда, Волей Божией, ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумно и к всеобщей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего «Бахчисарайского Фонтана», на страх завести новую классикоромантическую распрю хотя с Сергей Львовичем,

или с певцом Буянова (с Василием Львовичем, дядей поэта. — *А. Т.-В.*), но оно не исполнительно и неудовлетворительно. Другого делать кажется нечего, как то, что я тебе сказал, а во всяком случае мне остановить девушки (ou peu s'en faut) нет возможности».

Дальше совет держаться как можно осторожнее в политическом отношении.

«Я рад, что ты здоров и не был растревожен. Сиди смирно, пиши стихи, отдавай в печать. Жена тебе очень нежно кланяется» *(10 мая 1826 г.)*.

Больше никаких следов ни в письмах, ни в воспоминаниях современников не оставила эта девушка. Как тень прошла через жизнь поэта. А может быть, как быстро погасший солнечный луч, согревший его в темную полосу Михайловской жизни. В конце мая Пушкин еще раз в письме к Вяземскому ее помянул:

«Видал ли ты мою Эду? (Героиня поэмы Баратынского. — *А. Т.-В.)* Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, она очень мила?»

Друзья были правы, когда писали, что выгоднее дать пройти «несчастному времени». Правительство не доверяло Пушкину и усердно следило за ним, за его перепиской, за его знакомыми. Даже умеренный, от политики далекий Плетнев вызвал подозрение Государя. Генерал Дибич писал генерал-адъютанту Голенищеву-Кутузову, начальнику кадетских корпусов, где Плетнев был преподавателем, что «Государю Императору угодно было повелеть узнать достоверно, по каким точно связям знаком Плетнев с Пушкиным и берет на себя ходатайство по сочинениям его и иметь за ним ближайший надзор».

Властям хотелось выяснить, не был ли через Пушкина Плетнев связан с декабристами. К счастью для Плетнева, его начальник дал о нем очень благоприятный отзыв: «Плетнев знает Пушкина как литератор, смотрит за печатанием его сочинений и вырученные за продажу оных деньги пересылает к нему по просьбе и по поручению г. Жуковского. Поведения прекрасного. Жизни тихой и уединенной, характера скромного и даже более робкого».

За самим Пушкиным был усилен тайный надзор. Шпионские донесения того времени читаются теперь как курьезы. Они показывают низкий уровень той полиции, которая всю жизнь преследовала Пушкина своим вниманием... Но как раз тогда, когда от этих малограмотных рапортичек в значительной степени зависела судьба великого поэта, во Псков был

послан агент более крупного калибра, чиновник Коллегии иностранных дел, Бошняк. Он был командирован «для возможно тайного обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению вольности крестьян и для арестования его и отправления куда следует, буде бы он действительно оказался виновным».

Бошняк должен был также выяснить, занимается ли Пушкин «сочинением и пеньем возмутительных песен».

Бошняк был большой поклонник Пушкина, человек образованный, знавший лично многих писателей и часть заговорщиков. До бунта была ему поручена слежка за Южным обществом. Приехав во Псков, он разыграл роль собирателя ботанических коллекций, под этим предлогом разъезжал вокруг Михайловского, разговаривал с помещиками, с трактирщиками, с крестьянами и монахами. Ничего опасного для Пушкина они не сказали. Только ближайший сосед Пушкина, генерал П. С. Пущин, отозвался о поэте достаточно нелепо: «Пушкин дружески обходится с крестьянами, брал за руку знакомых, здороваясь с ними». Генерал сосед даже в верховой езде Пушкина видел опасный уклон и говорил, что после катанья Пушкин «приказал человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу».

Благожелательнее всего отозвались о чудаке-соседе монахи Святогорского монастыря. Они сказали, что он «ведет себя просто и никого не обижает». Игумен Иона на вопрос, возмущает ли Пушкин крестьян, заявил, что «Пушкин никаких песен не поет и никаких песен им в народ не выпущено, он ни во что не вмешивается и живет, как красная девка».

К июлю Бошняк составил свой рапорт, где говорил, что «Пушкин не действует к возмущению крестьян... что он действительно не может быть почтен, по крайней мере ныне, распространителем вредных в народе слухов, а еще меньше возмутителем, — я, согласно с данным мне повелением, и не приступил к арестованию его!..».

Пушкин не подозревал, что петербургские власти нашли нужным послать в Псковскую губернию одного из своих лучших сыщиков, чтобы проверить, как он себя ведет. Он был настроен примирительно, ждал ответа на свое прошение, которое еще в мае, по совету друзей, послал Царю:

«В 1824 году, имев нещастие заслужить гнев покойного Императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы

и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором Губернского начальства.

Ныне с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом), решился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшею моею просьбою.

Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края.

Всемилостивейший Государь,
Вашего Императорского Величества
верноподданный
Александр Пушкин».

О своих политических взглядах он ничего не сказал, раскаяние выразил только в атеизме, от которого действительно отходил. К прошению была приложена еще бумага «Обязательство Пушкина»: «Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь ни каким тайным обществам, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них» *(11 мая 1826 г.)*.

Текст письма и обещания приведен здесь целиком. Это важный оправдательный документ. Пушкина, при его жизни и после смерти, упорно и бездоказательно обвиняли в заискивании перед Николаем I. Спокойный, достойный тон его прошения ясно опровергает это обвинение. Но Пушкин покривил душой, заявляя, что он ни к каким тайным обществам не принадлежал. Членом «Союза Благоденствия» он не был, но он был масон. Правда, масонам полагалось публично отрекаться от этого звания.

Сообщая Вяземскому о своем прошении, Пушкин писал:

«Твой совет кажется мне хорош. — Я уже писал Царю, тотчас по окончании следствия, заключая прошение точно твоими словами. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда, но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я

был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое и, кажется, это не к добру. Впрочем, чорт знает. Прощай, пиши» *(10 июля 1826 г.)*.

Друзья нашли прошение Пушкина слишком сдержанным. «Я видел твое письмо в Петербурге, — писал Вяземский, — оно показалось мне сухо, холодно и не довольно убедительно. На твоем месте написал бы я другое и отправил в Москву» *(31 июля 1826 г.)*.

«Ты находишь мое письмо холодным и сухим, — отвечал Пушкин. — Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» *(14 августа 1826 г.)*.

Теперь, то есть после сурового приговора над декабристами. Пятеро было повешено. 120 было отправлено на каторгу.

Пока шло следствие, Пушкин, как и многие, надеялся на милость царскую. Смертная казнь была отменена в России еще в 1741 году Елизаветой Петровной. Никто не ждал виселиц. Все были потрясены. Вяземский из Ревеля писал жене:

«О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня неожиданно и невольно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место» *(20 июля 1826 г.)*.

И в записной книжке он записал: «13 июля (день казни) для меня ужаснее 14 декабря. По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла в одном умысле».

Пушкин лично знал всех повешенных — Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Пестеля. Его неотступно преследовали мысли о них. На 38-й странице черновой тетради № 2368 есть рисунок, вызывающий немало споров. Страница исчерчена мужскими лицами в профиль. А наверху и внизу страницы нарисовано пять виселиц, пять повешенных. На нижнем рисунке часть крепостной стены. Над верхним рисунком надпись:

И я бы мог как шут...

Почерк настолько неразборчив, что одни, как С. А. Венгеров, читали «шут», другие, как В. Е. Якушкин, — «тут». Ему казалось невероятным, чтобы Пушкин мог назвать декабристов шутами. Между тем он, несомненно, употребил это слово. Венгеров в доказательство правильности своего чтения ссылается на то, что Пушкин всегда писал длинное Т, никогда не писал его с тремя палочками. Это неверное замечание. В той же тетради среди автографов Пушкина можно найти оба Т. Но что в данном случае это Ш, видно из того, что

палочки связаны росчерком внизу, а не наверху*. Следует признать и понять, что Пушкин действительно написал:

И я бы мог как шут...

Это только подчеркивает его новый, шекспировский, подход к декабрьской трагедии. Он переживал ее в полном одиночестве. Только тригорские соседки делили его тревогу и волнение. Среди приговоренных у них были родные и знакомые. Казненный Муравьев-Апостол приходился Осиповой внучатым племянником. Тревожилась она и за Пушкина. Сам он, по своему обыкновению, находил спасение в работе. В середине августа дописал он шестую главу «Онегина», где дуэль и смерть Ленского. Глава кончается лирическим прощанием с молодостью. В этих строчках столько душевной ясности, такая светлая мягкость, что трудно поверить, что это написано в черный год гибели политических мечтаний, занимавших такое романтическое место в жизни пушкинского поколения, в год гибели друзей, доказавших свою беспредельную преданность этим либеральным упованиям.

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.
(Глава VI. Стр. XLV)

---

*Тетрадь № 2368 одна из немногих пушкинских тетрадей, которые я успела внимательно осмотреть в Румянцевском музее в январе 1918 года. Я позволяю себе утверждать, что Венгеров ошибся, говоря, что Пушкин всегда писал длинное Т. К сожалению, все еще не опубликовано давно обещанное фототипическое издание пушкинских рукописей и черновиков. Это беднит и затрудняет работу тех, кому сейчас недоступны музеи и книгохранилища Москвы и Петрограда. У нас даже нет полного издания текста. Приходится разыскивать отрывки вариантов в отдельных изданиях и трудах. Характеризуя работу Пушкина в Михайловском, я, кроме издания Венгерова, пользовалась больше всего академическим изданием сочинений и Анненковым, в особенности его «Матерьялами для биографии Пушкина». Но ведь эта работа была напечатана в 1873 году, с тех пор собрано много нового. *(Прим. авт.)*

Прошение Пушкина на высочайшее имя долго гуляло по канцеляриям. Пушкин еще в мае сам подал его губернатору Адеркасу. Тот продержал его до середины июля, прежде чем переслать в Ригу генерал-губернатору маркизу Паулуччи, который отправил его министру иностранных дел, графу К. Нессельроде, прибавив от себя, что «упомянутый Пушкин ведет себя хорошо». Но шли месяцы, а ответа не было.

Наконец в сентябре внезапно пришла давно желанная перемена. День 3 сентября Пушкин провел в Тригорском и был очень весел. Соседки проводили его до дому. А на рассвете прибежала к ним Арина Родионовна.

«Это была старушка чрезвычайно почтенная, — рассказывали много лет спустя тригорские помещицы М. И. Семевскому, — лицом она была полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком — любила выпить. Она прибежала вся запыхавшись, седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи, бедная няня плакала навзрыд. Оказалось, что вечером прискакал фельдъегерь и объявил Пушкину ехать с ним в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его не было...

— Что же офицер, взял какие-нибудь бумаги?

— Нет, ничего не брал. Ничего не ворошил. Уж я потом сама кое-что выбросила.

— Что?

— Да сыр проклятый, что Александр Сергеевич кушать любил. Такой от него дух скверный, немецкий...»

Тревога нянюшки и соседок оказалась напрасной. Это был не арест, а вызов в Москву. Фельдъегерь привез Адеркасу в Псков приказ от Дибича:

«Находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом с ним нарочным курьером. Господин Пушкин может ехать в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря. По прибытии в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба Его Императорского Величества» *(31 августа 1826 г.)*.

5 сентября утром Пушкин выехал из Пскова в Москву. Кончилась ссыльная жизнь поэта. Но то, что его ожидало, назвать свободной жизнью трудно.

Часть вторая

НА ПУТЯХ СЛАВЫ

(1826—1829)

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен.



Глава IX

ПОЭТ И ЦАРЬ

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою...
(«Друзьям», 1828)

Над судьбой Пушкина личные свойства Императора Николая I и те отношения, которые между ними установились, имели немалую власть.

Николай I умел нравиться когда хотел. Через неделю после восшествия на престол, впервые принимая дипломатический корпус, молодой царь поразил своей царственной простотой дипломатов, старавшихся разгадать его характер. Властелин огромной Империи откровенно заявил иностранным послам:

«До 29-ти лет я был только солдатом. Теперь надо научиться управлять».

После приема Царь увел к себе французского посла, Лаферонэ, и разговаривал с ним целый час наедине. «Какое величие, какое благородство. Император Николай явился передо мной как образованный Петр Великий», — сказал потом посол графу Рибопьеру. Это могла быть просто придворная лесть, но упоминание о Петре любопытно. Пушкина тоже первая встреча с Николаем навела на мысль о Петре, о великом государе великой страны. В первом стихотворении, посвященном Царю, он говорит:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой Он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред Ним отличен Долгорукой.
(«Стансы», 1826)

У Николая Павловича было много властности в осанке, в манерах, в характере. Его предшественник был несравненно

мягче. Братья не были похожи ни по внешности, ни по взглядам. И воспитание они получили разное. Александр, любимый внук Екатерины, рос около нее, в атмосфере просвещенного абсолютизма, в которую его воспитатель, республиканец Лагарп, вносил свою политическую романтику. Младшие великие князья, Николай и Михаил, росли в Гатчине, в резиденции Павла Петровича. Их воспитателем был немецкий офицер Ламсдорф (впоследствии граф). Павел Петрович, единственный сын Екатерины, страстно любил формы, парады, военные забавы. Все это Николай Павлович от отца унаследовал. Прорывалась в нем, пока он был только великим князем, отцовская грубость, отцовское пренебрежение к фрачникам. В следственном деле о декабристах Рылеев и Пущин названы «гнусного вида люди во фраках».

Николаю Павловичу едва минуло 16 лет, когда Наполеон вторгся в Россию. В походах Александра он, по молодости лет, не участвовал, хотя и умолял державного брата взять его в армию. Только приближаясь к Парижу, вызвал Александр братьев за границу. Позже, в 1816 году, Императрица-мать послала Николая Павловича в Англию, «для изощрения его суждений». Чтобы оградить царственного юношу от увлечения английскими конституционными учреждениями, граф Нессельроде, по поручению императрицы Марии Федоровны, составил для двадцатилетнего великого князя напутственную записку, где признавалось, что Англия может гордиться своим парламентом, но и пояснялось, что ее конституция не всегда годится для других стран. «Их учреждения заслуживают ближайшего изучения только для того, чтобы дать возможность наблюдателю изощрять свой ум размышлениями, а не как источник конституционных форм, откуда можно было бы заимствовать расчеты новых зданий под другими небесами и в совершенно ином климате».

Не стоило давать таких предостережений Николаю Павловичу. В нем не было ни малейшей склонности воздвигать парламентские здания под русским небом. Для него был бы немыслим такой разговор, какой его брат вел в Англии в 1814 году, когда Александр I сказал лидеру вигов, что считает честную оппозицию необходимой и что, вернувшись в Россию, он постарается «создать очаг оппозиции».

По приказу Александра, интересовавшегося социальными утопиями, Николай в Англии навестил Роберта Оуэна, на которого произвел впечатление. Оуэн заявил:

«Этот юноша рожден повелевать».

Молодой великий князь побывал в парламенте, в клубах, в политических салонах. К политической жизни Англии он

отнесся насмешливо и сказал сопровождающему его генералу Кутузову: «Если бы на наше несчастие какой-нибудь злой гений перенес к нам их клубы и митинги, делающие больше шума, чем дела, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков или лишить дара слова всех, кто делает из него такое употребление».

В Англии ему понравились только военные, в особенности герцог Велингтонский. Очень понравилась ему жизнь помещиков. Он говорил, что, не будь он Императором Всероссийским, он хотел бы быть английским лордом.

Николай был прежде всего солдат. Первый день своего царствования он провел в бою, да еще не с внешним, а с более страшным, внутренним, врагом. Ему пришлось расстреливать собственную гвардию. Он не знал, где свои, где враги? Этот день оставил след на всем царствовании, сделал его недоверчивым. 25 лет спустя, в письме к фельдмаршалу Паскевичу, он жаловался: «Около меня, когда я взошел на престол, не было людей преданных».

Но он знал, что обязанности царя требуют уменья нести не только строевую службу. В 1835 году, уезжая в Калиш, на свидание с прусским королем Фридрихом, Николай почему-то ожидал, что на него могут быть покушения, и оставил сыну, цесаревичу Александру Николаевичу, политическое завещание, в котором слышится голос монарха с твердым чувством государственности: «Будьте добры, вежливы и справедливы, в последнем слове заключается и снисходительность, и суровость, то и другое в нем неразрывно связаны».

Первая встреча Пушкина с новым царем была обставлена с наполеоновской театральностью, точно кто-то умышленно старался поразить впечатлительное воображение поэта.

Пушкина стремительно выхватили из его тихого Михайловского, заставили три дня и три ночи скакать без остановки по таким скверным дорогам, что его коляска едва выдержала эти семьсот верст. На четвертый день, восьмого сентября утром, он был в Москве. Сопровождавший его фельдъегерь не дал ему заехать ни в гостиницу, ни к дядюшке, Василию Львовичу, а доставил прямо в Кремль, в канцелярию дежурного генерала Потапова. Там его продержали до четырех часов и немытого, небритого, усталого доставили в Чудов монастырь, где жил Николай Павлович.

Входя в кабинет Царя, Пушкин не знал, что его ждет, как с ним поступят? Он ожидал суровой встречи и по-своему к ней готовился. Соболевский рассказывает, что, уезжая из

Михайловского, Пушкин сунул в карман листок, где был написан «Пророк», кончавшийся обличительными строфами. Соболевский даже привел одну из них:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
И с вервием вкруг смирной выи
К царю кровавому явись...

Стихи явно не пушкинские. И рассказу трудно верить. Но много, много лет спустя Лернер слышал тот же рассказ от другого современника Пушкина, А. В. Веневитинова: «Являясь в Кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость, в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем, вручить Николаю Павловичу на прощание это стихотворение».

Говорят, ирландские барды умели сочинять магические песни, которыми они убивали врагов как стрелами. Так и Пушкин заготовил поэтическое оружие на случай поединка с Царем. Возможно, что это только легенда, но она показывает, в каком настроении он входил во дворец. И странная мысль мелькнула у него в голове, когда он увидел Царя.

Николай Павлович был только на четыре года старше Пушкина. При первом взгляде на этого молодого, статного, красивого офицера, с правильными чертами лица, с большими пристальными глазами, от взгляда которых, по уверению Герцена, у собеседника стыла кровь в жилах, Пушкин вспомнил гадалку Кирхгоф и подумал:

«Высокий... Белокурый... Не он ли?»

А что же думал царь? Он внимательно следил за следствием над декабристами, он знал, какое влияние имели на них стихи этого невысокого человека, который своим штатским видом, бакенбардами, длинными кудрявыми волосами должен был резать военный глаз Царя. Даже М. И. Погодину, страстному своему читателю, Пушкин с первого взгляда показался «превертлявым, ничего не обещающим снаружи человеком».

Между тем судьба поэта зависела от того, какое впечатление произведет он на Николая и какое впечатление Николай произведет на него. Притворяться Пушкин не умел и не хотел, но им обоим надо было сделать над собой усилие, надо было проявить немало здравого смысла, чтобы перешагнуть через все, что их разъединяло, договориться до того, что их сближало.

Их разъединял день 14 декабря. Между ними стояло пять виселиц.

Николай принял Пушкина с глазу на глаз и продержал его почти два часа. Ни поэт, ни Царь не оставили связного, подробного рассказа об этой знаменитой встрече. Только в передаче третьих лиц до нас дошли отрывки их разговоров о цензуре, о литературе, о Петре Великом, перед которым оба преклонялись. Взгляды Пушкина на народное образование настолько заинтересовали Царя, что он заказал ему записку о воспитании. Разговор зашел и о восстании 14 декабря.

Вот как в 1848 году Николай Павлович рассказывал об этом графу А. Ф. Орлову и барону М. А. Корфу:

«Что сделали бы вы, если бы 14-го декабря были в Петербурге?» — спросил я, между прочим, Пушкина.

«Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он.

На мой вопрос, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14-го декабря, но очень долго колебался простым ответом и только после долгого молчания протянул руку с обещанием сделаться другим».

Тот же вопрос и тот же ответ, но уже со слов Пушкина, записала его московская знакомая, А. Г. Хомутова.

«...Всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет императора, который мне сказал:

«Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?»

Я отвечал ему, как следовало. Государь долго говорил со мной, потом спросил:

«Принял ли бы ты участие в 14-ом декабре, если бы был в Петербурге?»

«Непременно, Государь, все друзья мои были в заговоре, я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие меня спасло, за что я благодарю Бога».

Пушкин был рад, что Царь дал ему возможность сразу заявить о своей дружеской близости с побежденными заговорщиками. Царь не потребовал отреченья от них. Прямота и смелая искренность поэта могли ему понравиться. Пушкин был очарован простотой Николая, тем, как внимательно он слушал, как охотно сам высказывался.

«Император принял меня самым любезным образом», — писал Пушкин Осиповой.

Вяземский писал Жуковскому: «Государь принял его у себя в кабинете. Говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею» *(29 сентября 1826 г.)*.

Княгиня В. Вяземская запомнила заключительные слова этой беседы:

«Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин», — сказал Царь, отпуская Пушкина.

Пушкин вышел из царского кабинета с веселым счастливым лицом, даже со слезами на глазах, что у него бывало признаком восторженного настроения. У Пушкина была потребность находить в людях хорошее, любоваться, даже восторгаться ими. Поэт уже шесть лет жил в опале. Приветливость Царя, его обещание, что теперь он будет сам цензором его стихов, не могли не подействовать на воображение Пушкина. В обращении Царя ему почудилось уважение к писателю.

Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Подал — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?
(«Друзьям», 1828)

Пушкин не скрыл от друзей, что Царь ему очень понравился. Адам Мицкевич рассказывал Герцену: «Николай обольстил Пушкина. Он призвал его к себе и сказал: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил партию, к которой ты принадлежал, но верь мне, я так же люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сначала укрепиться».

Сто лет спустя вдумчивый Лернер писал: «Младенчески божественная мудрость великого певца, человека вдохновения, уступила осторожной тонкости. Умный победил мудрого».

Во всяком случае, Пушкину не только не пришлось пускать в ход своего поэтического оружия, но, уходя, он чуть не потерял на дворцовой лестнице листок с обличительными стихами, который выпал у него из кармана.

Но и Николай, при всем своем равнодушии к поэзии, почувствовал в поэте что-то, с чем нельзя не считаться. Вызов Пушкина из Михайловского был не просто милостью. Это был политический шаг, поскольку это понятие можно применить к внутренней жизни тогдашней России. Даже сквозь пышность коронационных торжеств царь и его приближенные чувствовали, что часть просвещенного московского дворянства осуждает их за жестокую расправу с декабристами. Среди казненных и сосланных у многих москвичей были родные и друзья. Перед коронацией надеялись на милость,

ждали, что сократят сроки ссылки, снимут с каторжан оковы, от которых у них на ногах делались мучительные раны. Эти надежды не сбылись.

Николай знал, что среди дворянства накопилась против него затаенная горечь. Он считал выгодным привлечь к себе Пушкина, через этого «корифея либерализма» найти некоторое примирение с общественным мнением. Пушкин, входя в Чудов монастырь, этого не подозревал, по детскому простодушию не знал себе цены. Шесть лет с ним обращались то как с вредным повесой, то как с опасным для государства вольнодумцем. Когда он внезапно очутился лицом к лицу с самодержцем, ему и в голову не пришло, что правительству выгодно привлечь его к себе.

В тот день вечером был бал у французского посла маршала Мармона, герцога Рагузского. Там Николай сказал Блудову, который из Арзамасца превратился уже в сановника:

«Знаешь, я нынче долго разговаривал с умнейшим человеком в России. Угадай, с кем?»

Видя недоумение на лице Блудова, Николай с улыбкой пояснил:

«С Пушкиным».

Весть, что Пушкин в Москве, сразу разнеслась среди гостей герцога Рагузского и вызвала радостное волнение. Стоя недалеко от Царя, молоденькая княжна А. И. Трубецкая сказала своему танцору, поэту Веневитинову:

«Я теперь смотрю на Царя более дружескими глазами. Он вернул нам Пушкина».

Глава X

БАЛОВЕНЬ МОСКВЫ

Среди гостей герцога Рагузского был молодой С. А. Соболевский, приятель Левушки Пушкина. Он, как был в бальных башмаках с пряжками и в белых шелковых чулках, поскакал по Москве разыскивать Пушкина. Нашел его у дядюшки Василия Львовича. Пушкин, который знал Соболевского еще по Петербургу, огорошил его неожиданным поручением — немедленно отправиться к графу Федору Толстому и вручить ему вызов на дуэль.

Это был отголосок старой ссоры 1820 года. Пушкин подозревал тогда, что Толстой распространял по Петербургу выдуманный им слух, что Пушкина высекли в полиции. Он тогда же вызвал Толстого на дуэль. Подраться они не успели,

так как Пушкина выслали на юг. Обида не была забыта. При одном воспоминании о ией Пушкин менялся в лице. В рассказе «Выстрел» Пушкин описал состояние человека, который годами носил в сердце надежду отомстить обидчику. Злые, мстительные чувства были совсем не свойственны Пушкину, но, как говорил Вяземский, «он строго держал в памяти свою бухгалтерскую книгу, в которую вносил имена должников своих». Долги чести не имели давности. Пушкин, как и большинство его современников, считал, что обида смывается кровью. Уезжая из Михайловского почти без вещей, он, к неудовольствию фельдъегеря, захватил с собою ящик с пистолетами.

Федор Толстой был типичный бретер. Его прозвали «американцем», потому что он прожил несколько лет на Алеутских островах, куда его за бурное поведение высадил адмирал Крузенштерн, под командой которого Толстой плавал вокруг света. Федор Толстой был драчун, враль, картежник, дуэлист, отправивший на тот свет десяток противников. Это не мешало ему иметь много друзей. О нем писал Вяземский: «Американец и цыган, на свете нравственном загадка... которого душа есть пламень, а ум холодный эгоист, под бурей рока твердый камень, в волненьях страсти легкий лист».

Много лет спустя Лев Толстой, приходившийся ему двоюродным племянником, говорил о Федоре Толстом: «Необыкновенный, преступный и привлекательный человек».

Федор Толстой был отличный стрелок и мог легко убить Пушкина. К счастью, его не оказалось в Москве, и, когда он вернулся, Вяземский сумел помирить с ним Пушкина. Вяземский был убежденный противник дуэлей, считал такой способ защиты своего достоинства просто дикостью. В этом Вяземский сходился с Николаем. Царь говорил: «Я ненавижу дуэли. Это варварство. На мой взгляд, в них нет ничего рыцарского». В его царствование количество дуэлей резко уменьшилось. Да и настроение молодежи переменилось. Задорное удальство уже не считалось необходимой подробностью хороших манер, как это было в ранней юности Пушкина.

Угомонился и Пушкин. После Кишинева у него была только одна дуэль, это его последний, роковой поединок с Дантесом.

На приезжих из деревни коронационная Москва производила ошеломляющее впечатление. В один день с Пушкиным туда приехал С. Т. Аксаков. Он писал: «Москва еще полна гостей, съехавшихся на коронацию со всей России, из Петербурга, из Европы, гудела в тишине темной ночи. Десятки тысяч экипажей, скачущих по мостовым, крик и говор еще

не спящего четырехсоттысячного населения производили такой полный хор звуков, который нельзя передать никакими словами. Над всей Москвой стояла беловатая мгла, сквозь которую светились миллионы огоньков. Бледное зарево отражалось в темном куполе неба, и тускло сверкали в нем звезды. В эту столичную тревогу, вечный шум, гром, движение и блеск переносил я из спокойной тишины деревенского уединения скромную судьбу мою и моей семьи».

Москва всегда умела и любила праздновать. Приезд двора и коронация дали для этого отличный повод. Русская знать и иностранные послы соперничали между собой в пышности приемов. Долго шли споры о том, кто лучше принял Царя — английский посол — герцог Девонширский — или посол французский, герцог Рагузский? У кого ярче были освещены палаты, где искуснее играли крепостные музыканты, у князя Юсупова или у графини Анны Орловой-Чесменской? Она разослала более тысячи приглашений. Такого количества танцоров ее зала не могла вместить. Графиня велела настлать паркет в огромном манеже, где ее отец объезжал своих знаменитых рысаков. Одной из главных трудностей приемов было освещение. Вся Москва говорила о том, что в манеже графини Орловой горело более 7000 свечей, да еще восковых.

Она воскресила пышность Екатерининских дней, устроила все так роскошно, что суровый монах Фотий, под духовной властью которого спасала свою душу скромная, аскетически набожная дочь вельможи, велел ей после бала омыть грех светских утех усердными молитвами и сугубо щедрыми вкладами в монастырские церкви.

На этот бал Пушкин уже, вероятно, попал. Он упомянул о нем во французском письме к П. А. Осиповой, где описал гуляние, устроенное для народа:

«Сегодня, 15 сент., у нас большое народное гулянье. На Девичьем поле поставлено три версты столов, пироги поставляют саженями, как дрова. Так как пироги пекли несколько недель тому назад, их будет трудно проглотить и переварить, но почтенной публике предоставят фонтаны вина, чтобы их размочить» *(15 сентября 1826 г.)*.

Коронационные празднества завершились колоссальным фейерверком. Все небо над Москвой горело огнями. Было сразу пущено 140 тысяч ракет, которые огненными буквами чертили над головой Царя и Царицы их вензеля. Этими огненными потехами завершилась официальная программа. Двор уехал в Петербург.

Еще до их отъезда Пушкин стал львом кончающегося коронационного съезда. Сын Вяземского, князь Павел Пет-

рович, рассказывает, какое оживление вызвало появление Пушкина в их доме:

«Пушкин приехал! Пушкин приехал! раздавалось по нашим детским, и все, дети, учителя, гувернантки бросились в верхний этаж, в приемные комнаты взглянуть на героя дня. И детская, и девичья с 1824 г. (с Одессы) были рассадниками легенд о похождениях поэта на берегах Черного моря».

Такое же радостное восклицание раздалось по всей Москве, в гостиных, в казармах, в профессорских кабинетах, в канцеляриях, даже в людских. Москвичи сравнивали впечатление, произведенное появлением Пушкина в театре, с волнением толпы, когда покоритель Кавказа, А. П. Ермолов, появился в московском дворянском собрании. Когда Пушкин первый раз вошел в Большой театр, все зрители повернулись в его сторону, забыли о сцене. В зале раздавалось одно слово — Пушкин! Пушкин! При разъезде его окружили, указывали на него друг другу, искали глазами в толпе его светлую пуховую шляпу.

Одна из приятельниц Пушкина, Елизавета Ушакова, рассказывала своему сыну: «Мгновенно разнеслось в зале, что Пушкин в театре, имя его повторялось в каком-то общем гуле, все лица, все бинокли обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густой толпой».

Толпа ходила за ним и на гулянье по Новинскому бульвару, и опять всюду громко звучало его имя — Пушкин! Пушкин! Графиня Ростопчина описала в стихах это гулянье:

Вдруг все стеснилось, и с волненьем,
Одним стремительным движеньем,
Толпа рванулася вперед.
И мне сказали: — он идет!

ОН, наш поэт, ОН, наша слава,
Любимец общий, величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой.

Прошел ОН быстро предо мной,
И долго, долго в грезах сна
Арабский профиль рисовался,
Взор вдохновенный загорался.

О том, какое внимание вызвал к себе Пушкин, рассказывает и профессор Шевырев: «Вспомним первое появление Пушкина и можем гордиться таким воспоминанием. Мы еще теперь видим, как во всех обществах, на всех балах, первое внимание устремлялось на нашего гостя, как в мазурке и котильоне наши дамы выбирали поэта беспрерывно. Прием

от Москвы Пушкину — одна из замечательных страниц его биографии».

Москва носила Пушкина на руках. Московские девицы наперебой старались привлечь его внимание. Хозяйки засыпали его приглашениями. Москвичи острили: «Счастливая Москва, сначала короновала царя, теперь коронует Пушкина». Вяземский писал, что в 20-х годах Пушкин был «повелителем и кумиром». Это слово часто применялось к поэту, заставляя Пушкина вспоминать слова гадалки, что он будет кумиром своего народа. Смеясь, он говорил:

«А ведь пророчество, как будто, сбывается...»

Он откровенно наслаждался славою и веселился, как юноша. Все его тешило — балы, катанья, цыганское пенье, философические беседы, ухаживанья за барышнями, буйные холостяцкие кутежи, встречи со старыми друзьями, новые знакомства. В дворянской Москве некоторые дома по живости умственных интересов напоминали французское дореволюционное общество, только в московских гостиных все было проще, патриархальнее, чем в сен-жерменских салонах XVIII века.

После коронации Николая I обычаи стали меняться, жить стали пышнее, обедать позже, одевать дворню лучше. А в общем Москва жила той веселой хлебосольной жизнью, которую Толстой описал в «Войне и мире». Гостям всегда были рады. Раз человек был принят в доме, он всегда мог, особенно там, где была молодежь, приехать в любое время, начиная с полудня и кончая полуночью. Это помимо званых обедов, спектаклей, балов, маскарадов, которые часто кончались под утро. Пушкин, соскучившийся без общества, особенно без общества хорошеньких светских женщин, решил наверстать потерянное время.

От дядюшки, Василия Львовича, он переехал к С. А. Соболевскому.

Соболевский (1803—1870), как и Герцен, был незаконный сын. Мать его была из хорошей помещичьей семьи, отец известный всей Москве богач А. И. Самойлов. В те времена незаконные дети знатных бар были приняты всюду, даже при дворе.

Соболевский в 23 года был сделан камер-юнкером и числился при Московском Архиве иностранных дел, к которому были приписаны многие барчата, соединявшие светскость с умственными интересами. Пушкин прозвал их архивными юношами, и эта кличка за ними долго держалась. Соболевский был весельчак, остряк, гуляка, что не мешало ему быть начитанным и образованным. Он писал стихи,

главным образом эпиграммы, переводил отрывки из Карамзина на латинский язык, собирал рукописи, книги, картины. Он собрал библиотеку настолько значительную, что после его смерти часть ее была куплена Лейпцигским университетом, а другая часть Британским музеем. Пушкин, сам большой книголюб, ценил эту страсть Соболевского. Издавая «Цыган», Пушкин для Соболевского напечатал специальный экземпляр на пергаменте. Кроме общей любви к книге, их сближала и общая привычка к картам, кутежам, к цыганам.

Соболевский широко тратил деньги, щедро отпускаемые ему богатыми родителями. Он жил на отдельной половине, в доме отца, держал отличного повара, который своим гастрономическим искусством иногда смягчал остроту философических споров, кипевших среди молодых москвичей. У Соболевского днями и ночами толпились гости, пили, пели, играли в карты, болтали обо всем на свете, как умеет болтать даровитая молодежь, в особенности русская.

Поселившись у Соболевского, Пушкин попал в самую гущу светско-литературной Москвы и, конечно, сразу стал ее центром. Долго помнили гости Соболевского широкий диван, на котором Пушкин спал, где по утрам он изредка перебирал свои бумажки, чаще болтал с посетителями или возился со своими любимцами, породистыми датскими щенками. Над письменным столом повесил он портрет Жуковского, с известной надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя».

Теперь уже не только Жуковский, но и вся пишущая Россия признала его своим учителем. «Поэтической дружины славный вождь и исполин» — так определил место Пушкина не склонный к комплиментам Вяземский. Даже те, кто вообще никаких стихов не читал, считали нужным, чтобы не отстать от века, восторгаться поэзией Пушкина.

Пушкин опять попал в свой круг на ту верхушку русского образованного общества, где он провел детство и раннюю молодость. После приезда в Москву наконец установилась живая дружба между ним и князем П. А. Вяземским. Раньше встречались они только мельком, знали друг друга по стихам и письмам. С княгиней Верой Вяземской Пушкин подружился еще в Одессе. Приехав в Москву, он в тот же вечер ворвался к ним. Самого Вяземского не было дома. Он был в бане. Пушкин поехал его разыскивать. Русские люди, как когда-то римляне, ходили в баню, как в клуб, не только попариться, смыть грязь с тела, но и душу расправить в приятельской болтовне. Пушкину после длинной дороги и крутой встряски

и то и другое было кстати. Жаль, что не нашлось летописца, который сохранил бы для потомства тот фейерверк острых слов, которыми потешались эти два неистощимых остряка, пока банщики шлепали их барские тела горячими березовыми вениками.

У Вяземских Пушкин чувствовал себя как дома. Он был дружен с князем, с княгиней, с чадами и домочадцами. Князь Петр Андреевич был на редкость умный человек, даровитый писатель, критик, журналист, поэт. У него был острый, страстный политический темперамент, для которого тогдашняя русская жизнь не давала ни простора, ни даже применения. По ясности суждения, по меткости критического анализа и литературного чутья Вяземский больше всех современников приближался к Пушкину.

Они сообща закладывали традиции русской литературы, превращали ее из любительской забавы в профессию, хотя Вяземский, богатый барин, промотавший несколько состояний, бывший вечно в долгах, не умел, как это делал Пушкин, жить писательским трудом. Не раз об этом жалел, считал, что необходимость зарабатывать заставила бы его преодолеть лень, не размениваться на мелочи и разговоры. Все же после него осталось 12 больших томов стихов и прозы, прекрасно изданных внуком его, гр. С. Д. Шереметевым. Критические статьи, воспоминания о 12-м годе, впечатления от поездки по Европе, биография Фонвизина, а в особенности яркие характеристики людей, с которыми он встречался, — все блестит наблюдательностью и умом. Сам Вяземский был ярче и даровитее всего им написанного и полнее всего проявлялся в разговоре. Он горько корил себя за «недоделанную» жизнь, за то, что, дожив до глубокой старости, так и не высказал себя по-настоящему в слове, хотя был он верный рыцарь слова. Это сближало его с Пушкиным. Ни внешние перемены, ни случавшиеся расхождения во взглядах, порождавшие между ними задорные споры, не нарушали их долголетней дружбы, в которой был своеобразный оттенок добродушного, щегольского соревнования в меткости выражений, в остроте мысли. Для Пушкина Вяземский был умственным подстрекателем. Он писал про него Погодину:

«Его критика поверхностна или несправедлива; но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны; он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться: важное достоинство, особенно для журналиста!» *(31 августа 1827 г.)*.

Вяземский мог бы быть первоклассным журналистом, газетчиком, но, на его несчастье, ему негде было развернуться, так как русская журналистика была в зародыше.

Дружен был также Пушкин и с княгиней, может быть, даже больше, чем с князем. Умственные интересы мужа и его друзей составляли так же часть и ее жизни. Да и сердцем она лучше понимала Пушкина, глубже заглядывала в его сложную, как Вяземский говорил, струистую душу. Она просто очень любила Пушкина. Он это еще оценил в Одессе, где княгиня была поверенной его любви к графине Элизе. Вяземская была одной из тех женщин, в дружбу с которыми Пушкин вносил легкий романтический оттенок, то, что французы называют amitié amoureuse*.

Дружил Пушкин и с их сыном, маленьким князем Павлом. Они хохотали и баловались как два товарища. Пушкин научил мальчика боксировать. К ужасу матери, Павел стал показывать свое искусство сверстникам с такой разрушительной энергией, что напугал всех мамаш и его перестали приглашать на детские праздники.

«Моя мать, — рассказывает Павел Вяземский в своих воспоминаниях, — запрещала мне даже касаться карт, опасаясь развития в будущем наследственной страсти к игре. Пушкин, во время моей болезни, научил меня играть в дурачки, употребив для этого визитные карточки, накопившиеся в новый, 1827 год. Тузы, короли, дамы, валеты, козырные определялись Пушкиным. Значение остальных не было определенное, и эта неопределенность составляла всю потеху. Завязывались споры, чья визитная карточка бьет ходы противника. Мои настойчивые споры и цитаты в пользу попавшихся в мои руки козырей потешали Пушкина, как ребенка. Пушкин всегда утверждал, что все, что возбуждает смех, позволительно и здорово, все, что разжигает страсти, преступно и пагубно. Позже он так же искренне сочувствовал юношескому пылу страстей и юношескому брожению впечатлений, как чистосердечно, ребячески, забавлялся с ребенком».

Так же ребячески мог он забавляться и взрослым весельем. Блеск и прелесть балов, в особенности петербургских, Пушкин не раз описывал. Его поколение зачинателей русской интеллигенции умело веселиться, даже баловаться. Они шли навстречу жизни, брали все, что она давала. В них не было презрения к нарядным развлечениям, которое позже так уродливо проявилось в нигилизме, более невинно в лаптях Толстого, свирепо в большевизме.

Балы, красивые анфилады комнат, наполненных праздничной толпой, блеск вечерних туалетов, всем этим Пушкин любовался и наслаждался. Он многим в жизни умел наслаждаться.

---

* Дружеская влюбленность *(фр.)*.

Кто знает, может быть, проживи он дольше, он сумел бы перебросить следующим поколениям свою бодрость и жизнерадостность, и чеховские сестры веселее собирались бы в Москву.

Первые недели в Москве Пушкин досыта упился своим возвращением в свет. Вяземский рассказывает, что он, Пушкин и Григорий Римский-Корсаков «составляли неразлучный бальный триумвират, появление которого всюду встрсчалось с радостью...». Балы часто давала мать Григория, М. И. Римская-Корсакова, послужившая Толстому образчиком для его княгини Мягкой.

«М. И. Римская-Корсакова, — писал Вяземский, — должна иметь почетное место в преданьях хлебосольной Москвы. Она жила открыто, давала обеды, вечера, балы, маскарады, зимой санные катанья за городом, импровизированные завтраки. Красавицы дочери ее были душой и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была типом московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. В ней отзывались и русские предания Екатерининского времени и выражались понятия и обычаи нового общества. Старый и новый век сливались в ней в разнообразной стройности и придавали ей особую привлекательность».

Бывал Пушкин у княгини Зинаиды Волконской. Ее отец, князь Белосельский-Белозерский, долго жил в Италии, где она и получила образование. Ее муж, князь Никита Г. Волконский, брат декабриста, состоял при Александре I, сопровождал его в походах и на конгрессах. В Вероне, в Теплице, в Вене, в Париже княгиня Волконская принимала дипломатов и венценосцев всей Европы. В ее салоне иногда в присутствии Царя обсуждались, порой решались, вопросы, волновавшие весь мир. Александр I любил ее общество, ценил нервную красоту, живой артистизм этой незаурядной женщины.

Преследуя Наполеона через всю Европу, Царь между двумя сражениями успевал писать княгине Зинаиде Волконской по-французски записочки, где сквозь модное тогда рыцарски-романтическое поклоненье сквозит и чувство более острое.

«Я полон желанья успеха моим армиям, но к этому чувству примешивается искреннее желание, чтобы эти успехи доставили мне счастье увидать Вас как можно скорее» *(14 мая 1813 г.)*.

«Только Вы обладаете редким талантом всех, кто к Вам приближается, делать любезными. Оттого часы, проведенные около Вас, — это истинное наслаждение...» *(21 августа 1813 г.)*.

«Если пламенно чувствовать все, что исходит от женщины прекрасной и любезной, может дать рыцарские права, то я надеюсь, что могу предъявить на них претензию» *(10 октября 1813 г.)*.

Тринадцать лет прошло с тех пор, как это было писано. Царственный поклонник уже покончил счеты с земными страстями, а княгиня Зинаида по-прежнему влюбляла в себя и сама влюблялась.

С ее именем связано немало любовных историй. Когда Пушкин познакомился с ней в Москве, ей было 35 лет, и 20-летний поэт Д. В. Веневитинов, страстно в нее влюбленный, писал:

Волшебница, как сладко пела ты
Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты...
Как я любил твои воспоминанья...
Ты упилась сим воздухом чудесным,
И речь твоя так страстно дышит им...
На цвет небес ты долго нагляделась
И цвет небес в очах к нам принесла...

Княгиня Зинаида рисовала, писала стихи и прозу по-русски, по-французски, по-итальянски, играла на арфе, сочиняла оперы, сама в них пела. Эта аристократка искренне любила литературу, искусство, красоту во всех ее проявлениях, хотя и выражала эту любовь с модной тогда цветистостью, которая теперь может показаться притворством. Ее внучатый племянник С. М. Волконский так описал ее по семейным рассказам и преданиям:

«Женщина очаровательного ума, блестящих художественных дарований... Утонченная представительница юного романтизма в его сочетании с пробуждающимся и мало еще осознанным национализмом, она была типичный продукт западной цивилизации, приносящий себя на служение родного искусства, родной литературы... Она умела принять, обласкать человека, поставить его в ту обстановку, которая была нужна для его работы, для его вдохновения».

Частый посетитель салонов Волконской, Вяземский писал:

«В Москве дом кн. З. Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты артистами и любительницами, представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка».

Он же писал А. И. Тургеневу:

«Там музыка входила всеми порами (on était saturé d'har-

monie). Дом ее был волшебным замком музыкальной феи, ногою ступишь за порог, раздаются созвучия. До чего ни дотронешься, тысячи слов гармонически откликнутся. Там стены пели, там мысли, чувства, разговоры, движение, все было пение» *(6 февраля 1833 г.).*

И вот в этом доме, где светский блеск, к которому Пушкин всегда был неравнодушен, соединялся с утонченным аристократизмом, хозяйка устроила возвращенному из ссылки поэту триумфальный прием. В первый же раз, когда он появился в ее гостиной, княгиня Зинаида спела его элегию — «Погасло дневное светило», положенную на музыку композитором Геништа.

«Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого художественного кокетства, — рассказывает Вяземский, — по обыкновению краска вспыхнула на его лице. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был несомненно выражением внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения».

Когда Пушкин собрался обратно в Михайловское, княгиня Зинаида подарила ему свой портрет. Известный художник Бруни изобразил ее в виде шиллеровской Жанны д'Арк, роль которой она исполняла в своем домашнем театре. Вместе с портретом она послала Пушкину восторженное письмо по-французски.

«Возвращайтесь к нам, в Москве легче дышится. Великий русский поэт должен писать в степях или под сенью Кремля, и автор «Бориса Годунова» принадлежит городу царей. Какая мать могла зачать человека, чей гений так полон мощи, свободы, грации? То дикарь, то европеец, то Шекспир, то Байрон, то Ариосто и Анекреон, он всегда останется русским и переходит от лирики к драме, от песен нежных, любовных, простых, к песням суровым, романтическим, язвительным или к наивному и важному языку истории» *(29 октября 1826 г.).*

На это полагалось ответить мадригалом, но Пушкин написал его только несколько месяцев спустя, посылая Волконской «Цыган»:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.

Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,

И вьется и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.
(1827)

Возможно, что княгиня Зинаида навеяла и другое стихотворение:

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой...
Италии волшебный край,
Страны высоких вдохновений...

Это фон. А вот описание самой красавицы, томной, нежной:

На рай полуденной природы,
На блеск небес, на ясны воды,
На чудеса святых искусств,
В стесненье вдохновенных чувств,
Душевный взор она возводит,
Дивясь и радуясь душой —
И ничего перед собой
Себя прелестней не находит...

Стихотворение не закончено, но в нем есть эти удивительные строчки:

Стоит ли с важностью очей
Пред Флорентинскою Кипридой:
Их две, и мрамор перед ней
Страдает, кажется, обидой...
(1827)

Прямого указания, что стихи относятся к княгине Зинаиде, нет. Пушкин поставил два эпиграфа. Один по-немецки из Гёте, Kennst du das Land*. Другой совсем по-русски — «по клюкву, по клюкву, по ягоду, по клюкву». Не оттого ли стихи остались недоделанными, что начал он их в торжественном гётевском стиле, а бес смешливости пересилил? Его отношение к Волконской двоилось. Ему нравилось бывать у нее в доме, где он наслаждался своей любимой итальянской музыкой, встречал выдающихся людей, включая Мицкевича, иногда ребячился как школьник. Хозяйка привлекала его своим умом, светскостью, приветливостью. Но в ней не было простоты, ее экзальтированность его смешила. Позже он писал Вяземскому из Петербурга:

* Ты знаешь край... *(нем.)*.

«Я от раутов в восхищении и отдыхаю от проклятых обедов Зинаиды» *(25 января 1829 г.)*.

Дальше шла непристойная шутка о ней и о красивом флорентинце, графе Риччи, которым она тогда увлекалась.

Пушкин не случайно упомянул о цыганке и итальянской певице Каталани. Дом Волконской был для него, как и для Вяземского, домом музыки и пения. Оба они у нее наслаждались итальянцами, но и цыганское пение было необходимой бытовой подробностью их жизни.

В пушкинские времена жил в России англичанин, Джордж Баррау, посланный туда Библейским обществом. Это был первый англичанин, оценивший Пушкина. К сожалению, они никогда не встречались, Баррау был лингвист, знал русский язык и перевел несколько вещей Пушкина. Знал он также цыганский язык, изучая его в России, позже в Испании, написал очень интересную книгу о цыганах. Большая часть ее посвящена испанским цыганам, которых он считал свирепыми разбойниками, ворами, убийцами, уверял, что среди них есть колдуны и даже людоеды. Совсем иначе он отзывается о русских цыганах, говорит, что они резко отличаются от своих испанских единоплеменников, что в России цыгане кормятся не преступлением, а пением.

«Среди русских цыган, — писал Дж. Баррау, — выделяются певцы, искусство которых признают не только русские, но не могут не признать и иностранные критики. Едва ли не самую высокую похвалу получила певица-цыганка от самой Каталани. Вся Россия знает, что знаменитая итальянка так пленилась голосом одной московской цыганки, что сорвала со своих плеч кашемировую шаль, подаренную ей Папою, расцеловала цыганку и заставила ее принять этот великолепный подарок, говоря, что шаль была дана ей как лучшей певице Европы, но что теперь она уже не может считать себя первой».

Ездить к цыганам, любоваться их пляской, слушать их пение бывало пряной приправой для кутежей, но бывало и подлинным художественным наслаждением. Их своеобразное, за сердце хватающее пение заражало то буйным весельем, то сладкой тоской. В нем была степная удаль, чарующий ритм, перед которым трудно было устоять. Вяземский и Пушкин также заслушивались цыган, как после них Толстой и Тургенев, как почти все русские поэты и художники.

У Пушкина, после его бессарабского увлечения милой Мариулой, не было любовных приключений с цыганками.

В Москве они не пользовались свободой, как в южных степях, а жили под ревнивым надзором табора и были очень

недоступны. Если кому-нибудь случалось влюбиться в цыганку, то надо было ее похитить, что было нелегко, или выкупать у табора, что стоило очень дорого. Так сделал Нащокин с Ольгой, о которой не раз упоминается в его переписке с Пушкиным.

Но можно было в любое время дня и ночи приехать к цыганам, разбудить, поднять их на ноги, заставить петь и плясать. Только это стоило денег. Иногда пляска и пенье цыганки приводили гостей в такой восторг, так зажигали их, что они буквально осыпали артистку червонцами. Молодежь разорялась на цыган не меньше, чем на карточную игру. В начале царствования Николая I в Москве гремела молоденькая цыганка Таня. Ее появление описала графиня Ростопчина в поэме «Цыганский табор»:

Но вот гремящий хор внезапно умолкает,
И Таня томная одна меж них слышна,
И голос пламенный до сердца проникает,
И меланхолию вселяет в нас она.
Бледна, задумчива, страдальчески прекрасна...
Она измучена сердечною грозой...
Душа внимает ей в безмолвном наслажденьи,
Как бы предчувствием нежданных благ полна,
Но если запоет она вам повесть страсти,
Но если о любви твердят ее слова...
О, сердцу слабому напевы те беда.
Не избежит оно заразы их и власти,
Не обойдут его тревога и тоска.

Пушкин любил Моцарта, Россини, Глюка, Глинку, но и пение Тани доводило его до слез. Она сама много лет спустя рассказывала о своих встречах с ним: «Поздно уже было, час двенадцатый, и мы все собирались спать ложиться, как вдруг к нам в ворота постучались. Бежит ко мне Лукерья и кричит: «Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят». Я только косу расплела и повязала голову платком. Такой и выскочила. Оказалось, приехал Нащокин. С ним еще один, небольшого роста, губы толстые и кудрявый такой. Увидел меня, так и помер со смеху, зубы-то белые, большие, так и сверкают. Показывает на меня господам, кричит — «Поваренок». Засмеялась и я, только он мне некрасив очень показался... И сказала я подругам, по-нашему, по-цыгански, — «Гляди, точно обезьяна». А Нащокин ему и говорит: «А вот, Пушкин, ты послушай, как этот поваренок поет». Как я пропела «Друг милый», Пушкин с лежанки скок. Он, как приехал, так забрался на лежанку, потому что на дворе холодно было, и кричит мне: «Радость моя! извини, что я тебя поваренком назвал. Ты бесценная прелесть, а не поваренок». И стал он к

нам с тех пор часто ездить, то утром, то вечером. А мы все читали, как он в стихах кочевых цыган описывал. И я много помнила наизусть и раз прочла ему оттуда и говорю: «Как это вы хорошо про нашу сестру цыганку написали». А он хохочет. «Я, — говорит, — на тебя новую поэму напишу». Да вдруг как схватится с лежанки. «Ахти мне, кричит, радость моя, из-за тебя забыл, что меня жид кредитор ждет». Схватил шляпу и убежал, как сумасшедший. А я Ольге и стала хвалиться, что Пушкин на меня поэму хочет сочинить. Нащокин в ту пору пропадал по Ольге. Она говорит: «Я скажу Нащокину, чтобы он попросил не на тебя, а на меня написать...»

Даже цыганки соперничали из-за стихов Пушкина, за которыми гонялись светские женщины. Рассказывая об этом, Таня прибавила: «У Нащокина тогда дела были плохи, он говорит Пушкину: «Тебе-то хорошо, ты напишешь двадцать стихов, вот тебе и двадцать золотых».

Нащокин выкупил Ольгу и поселил ее у себя. У них Таня встречала Пушкина. В табор он ездил все реже, но наблюдательная Таня несколько раз видела его и позже, когда он стал женихом, и хорошо описала его предсвадебное настроение.

В Москве не только плясали, пировали, пили и сли, там увлекались книгами, мыслями, искусством, философией, в особенности немецкой, изучали Канта и Шеллинга. Это течение Пушкин подметил еще раньше. Во второй главе «Онегина», писанной в Одессе еще до встречи с москвичами, он говорит:

Владимир Ленский,
С душою прямо Геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.
(«Евгений Онегин». Гл. II. Стр. VI)

Это можно отнести к московской молодежи, с которой Пушкин встретился два года спустя после того, как эти строчки были написаны. Е. А. Баратынский писал ему в Михайловское:

«Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. Не знаю, хорошо это или худо, я не читал Канта и, признаюсь, не очень понимаю новейших эстетов. Впрочем, какое о том дело, в особенности тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову» *(январь 1826 г.)*.



Александръ Пушкинъ

Михайловское. Вид усадьбы.
П. А Александров с оригинала И. С. Иванова. 1837.

Алексей Никитич Пещуров, сосед Пушкиных.
П. Ф. Соколов. 1830-е гг.



Арина Родионовна. *Рельеф Я. П. Серякова. 1840-е гг.*





Иван Иванович Пущин.



Антон Антонович Дельвиг.
Рисунок В. Лангера. 1830.

Кабинет Пушкина в Михайловском

Анна Петровна Керн.
Миниатюра.
1820—1830-е гг.



Евпраксия Николаевна
Вревская, урожд. Вульф.
А. А. Багаев. 1841.



Анна Николаевна Вульф.
Силуэт. 1820-е гг.





Алексей Николаевич Вульф.
А. И. Григорьев. 1828.



Николай Михайлович
Языков. *Р. Гундризер
с оригинала Хринкова. 1829.
Литография. 1850-е гг.*

Тригорское. Скамья Онегина.



Вильгельм Карлович Кюхельбекер. *Гравюра И. Матюшина.*



Кондратий Федорович Рылеев. *1824—1825.*

На Сенатской площади 14 декабря 1825 года. *К. И. Кольман. 1830-е гг.*



Император Николай I.



Адам Мицкевич. *Литография В. М. Ваньковича. 1828.*



Дмитрий Владимирович Веневитинов. *Неизвестный художник. 1820-е гг.*

Дом Д. В. Веневитинова в Кривоколенном переулке, 4.
Здесь 12 октября 1826 г. Пушкин читал «Бориса Годунова».

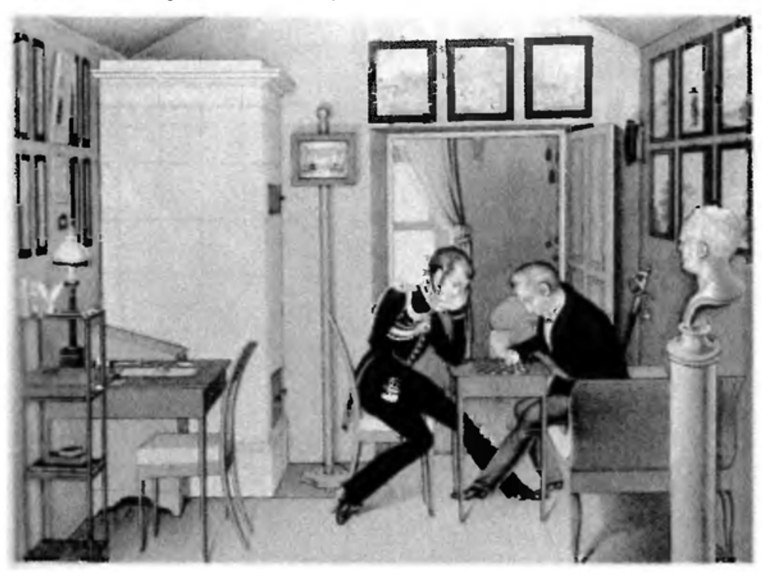


Александр Христофорович Бенкендорф. *Литография П. И. Разумихина с оригинала П. Н. Орлова. 1839.*



Максим Яковлевич фон Фок. *Литография И. П. Фридрица. 1828.*

Приемная графа А. Х. Бенкендорфа. *Неизвестный художник. Конец 1820-х гг.*



Гостиная в доме Олениных в Приютине. *Ф. Г. Солнцев. 1834.*

Петербург. Невский проспект (фрагмент панорамы).
В. С. Садовников. 1830-е гг.





Алексей Николаевич Оленин.
Г. Варнек. 1820-е гг.



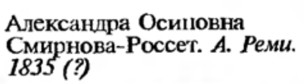
Анна Алексеевна Оленина.



Екатерина Николаевна Ушакова. *Неизвестный художник. Конец 1820-х — начало 1830-х гг.*



Елизавета Николаевна Киселева, урожд Ушакова. *Ж. Вивьен. 1833.*



Александра Осиповна Смирнова-Россет. *А. Реми. 1835 (?)*



Вера Александровна Нащокина. *Неизвестный художник. 1830-е гг.*





Павел Воинович Нащокин. *К. П. Мазер. 1839.*



Зинаида Александровна Волконская. *Портрет Мюнере. 1814.*



Аграфена Федоровна Закревская. *Литография с портрета 1828 г.*



Дарья Федоровна Фикельмон.
Г. Ювинс. 1826.



Елизавета Михайловна
Хитрово. *Портрет Ф. Шевалье
с оригинала В. Гау.
Конец 1830-х гг.*

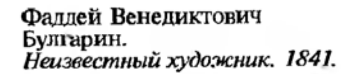
Наводнение в Петербурге.



Петр Александрович Плетнев.
А. В. Тыранов. 1836.



Михаил Петрович Погодин.
Литография А. Мюнстера по рис. П. Бореля.



Фаддей Венедиктович Булгарин.
Неизвестный художник. 1841.



Николай Александрович Полевой. *В. А. Тропинин (?). 1840-е гг.*



Вдохновителем московского кружка шеллингианцев был дальний родственник Пушкина, даровитый юный поэт Д. В. Веневитинов (1805—1827). В доме его матери Елагиной чаще всего собирался их кружок. Веневитинов дал этим собраниям вокруг самовара или бутылки вина название Общество Любомудров. В него входили такие же, как и он, архивные юноши — братья Киреевские, князь В. Одоевский, А. Кошелев, кроме того, профессора Погодин и Шевырев. Философствовать приходилось при закрытых дверях. Дней Александровых прекрасное начало осталось далеко позади. При Николае никакие кружки и общества не разрешались. Даже такое невинное занятие, как совместное изучение Канта́, Фихте и Шеллинга, могло навлечь гонения.

Пушкин с любопытством прислушивался к спорам в кружке Веневитинова, приглядывался к новому поколению. Ему нравилась их восторженность, их религиозное отношение к искусству, их жаркие споры о поэзии. Пушкин на лету схватывал сложные теории, но книг по философии в его библиотеке не было, в нем не было философской складки. Он думал от жизни, не от теории. В его словах: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», было больше ясности и смысла, больше эстетической глубины и проникновения, чем во многих толстых трактатах по искусству. Тщетно пытались московские философы навязать поэту свои взгляды, убедить его писать стихи на философские темы, как раньше декабристы старались уговорить его писать на темы политические. Пушкин всех слушал и никого не слушался. Он шел своей дорогой и писал Дельвигу из Москвы:

«Ты пеняешь мне за «Моск. Вестник» и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее, да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. — Я говорю: Господа, охота вам из пустого в порожнее переливать, все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... «Московский Вестник» сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? (Впрочем, на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да NB.) А время вещь такая, которую с никаким «Вестником» не стану я терять, им же хуже, если они меня не слушают» *(2 марта 1827 г.)*.

Девять лет спустя, сравнивая Петербург с Москвой, Пушкин писал:

«Немецкая философия, которая нашла себе в Москве, быть может, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от

холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествующего поколения».

Есть у него еще в отрывках неконченных повестей две иронические характеристики этой московской молодежи:

«Вершинин, один из тех людей, одаренных убийственной памятью, которые все знают и все читали и которых только стоит тронуть пальцем, чтобы из них полилась их всемирная ученость».

К этому вариант:

«Один из тех юношей, которые воспитывались в Московском университете, служат в Московском Архиве и толкуют о Гегеле...»

Московские любомудры, следуя Платону и Шеллингу, считали, что красота и истина — это идеи, врожденные человеку, что искусство, как одно из высших проявлений человеческого духа, должно быть свободно. Не им было Пушкина этому учить. Во всем, что касалось творчества, он знал и понимал больше, чем все они, вместе взятые. Не на чужих книжных теориях, на опыте собственного вдохновения вырабатывалось его понимание творческого процесса и отношения между художником и толпой. Московская философическая молодежь не прочь была вообразить, что такие показательные для Пушкина стихи, «Поэту» и «Чернь», были написаны под их влиянием. На самом деле не они влияли на него, а могучий гений Пушкина накладывал на них свою печать, соприкосновение с ним обостряло их и без того кипучую умственную жизнь. Он, как духовный кормчий, дал направление этому кружку, из которого вышли честные ученые и вдумчивые писатели.

Пушкин вводил своих молодых друзей в творческую лабораторию, где происходит трудноуловимый, часто затерянный в веках, процесс роста, обогащения, одухотворения разговорного языка, процесс, составляющий одну из тайн языковедения. Когда Бог посылает народу, еще не знающему письменности, вдохновенного певца, его мелодии, его чувства, радостные и печальные, его слова, передаются из поколения в поколение, но имя гения, его лицо, исчезают, расплываются в памяти людей. Так потерялся Гомер, в значительной степени Шекспир. Образ живого Пушкина, сделавшего для России не меньше, чем Гомер сделал для Греции, Шекспир для Англии, сохранился и мало-помалу стал одним из сокровищ русской культуры.

Веселое добродушие Пушкина, его неизменная благоже-

лательность и интерес к чужим мыслям, его умение приветствовать всякую искру дарования делало общение с ним легким и обогащающим. У Пушкина было очень доброе сердце, он всегда был готов помочь, поделиться деньгами даже с чужими людьми. Но сильнее всего его доброта, его отзывчивость проявлялись в том, что он умел себя так держать, что его рост, его гениальность не подавляли других. Так легко нести свое превосходство могут только те, в ком большой ум сочетается с большой душой.

«Пушкин прямо наш, потому что он честен и в нем человек равняется поэту», — восторженно писал Соболевскому молодой Шевырев после нескольких месяцев знакомства с Пушкиным.

С людьми, которые бывали ему чужды или неприятны, Пушкин и сам мог быть очень неприятным. Но когда вокруг него были люди дружественные, он почти всегда был в хорошем настроении и весь сиял заразительной одухотворенностью. Один из членов кружка Веневитинова, Н. С. Тихонравов, позже ставший известным профессором русской словесности, вспоминал: «С какой жадностью прислушивались мы к задушевным, домашним импровизациям Пушкина о поэзии и искусстве... Беседы Пушкина о поэзии и русских песнях, чудесное чтение Пушкиным этих песен наизусть принадлежат к числу тех плодотворных впечатлений, которые содействовали образованию моего вкуса и развитию во мне истинных понятий о поэзии».

Этой молодежи, воспитанной на иностранных учебниках и образцах, Пушкин передавал свой интерес к старинным историческим памятникам, к русской народной поэзии, заразил ее своей любовью к русскому слову. Вяземский уверяет, что Пушкин принимал ошибки в русском языке, как личное оскорбление. Эти ошибки он определял слухом, чутьем, так как научно русская грамматика еще была слабо разработана. Замечание Пушкина о структуре речи, о допустимых и недопустимых оборотах указывали путь. Молодой писатель, граф Соллогуб, как-то спросил Жуковского, как надо писать какое-то слово. Ответ был простой:

«А вот как мы с Пушкиным пишем, так и надо писать».

Пушкин никогда никого не поучал. Он любил спорить, но в нем не было и тени наставительности, никакого желания навязать свои взгляды. Несмотря на славу, какой до него не пользовался в России ни один писатель, все та же в нем оставалась простота, скромность и неисчерпаемая, непосредственная веселость. Когда елагинская молодежь стала издавать рукописный юмористический журнал «Полночная

Дичь», где высмеивали собственное глубокомыслие, Пушкин, по словам Жуковского, и «охал, и хохотал, и прыгал при каждом слове».

Один из новых знакомцев Пушкина, молодой профессор истории М. П. Погодин, оставил в своем дневнике любопытные записи, позже им дополненные в статьях и воспоминаниях. О Погодине писал Вяземский Пушкину в Михайловское:

«Здесь есть Погодин, университетский и, по-видимому, хороших правил, он издает альманах в Москве на будущий год и просит у тебя Христа ради. Дай ему что-нибудь из «Онегина», или что-нибудь из мелочей».

На следующий день после приезда Пушкина в Москву Погодин записал: «Пушкин приехал. Ехать к нему? Нет, не поеду». Он горел желанием познакомиться с поэтом, но боялся уронить свое достоинство, наткнуться на заносчивость, смущался перед знаменитостью. На следующий день, 11 сентября, он записал: «Веневитинов рассказывал мне о вчерашнем дне. «Б. Годунов» чудо. У него еще «Самозванец», «Моцарт», «Наталья Павловна», продолжение «Фауста», 8 песен «Онегина» и прочее. Веневитинов рассказывал о суеверии Пушкина. Ему предсказали судьбу, какая-то немка Кирхгоф и грек в Одессе. До сих пор все сбывается. Два изгнания. Теперь должно начаться счастье. Смерть от белого человека или от белой лошади, и я с боязнью кладу ногу в стремя или подаю руку белому человеку. — Между прочим, приезжает сам Пушкин. Я не опомнился.

«Мы с вами давно знакомы, — сказал он мне, — и мне очень приятно утвердить наше знакомство».

Пробыл пять минут, превертлявый и ничего не обещающий снаружи человек».

Запись о гадалке особенно интересна, так как сделана сразу со слов правдивого Веневитинова, который накануне слышал это от Пушкина.

Не один Погодин говорил, что «Годунов» чудо. Успех трагедии в тесном кругу избранных придал возвращению Пушкина в свет особую художественную живописность. А. И. Тургенев, верно отражавший суждения этих немногих, писал в Париж брату Николаю: «Пушкин написал прекрасную трагедию «Годунов». Вяземский называет ее «зрелое и возвышенное произведение». Ум его развернулся. Душа прояснилась. Он вознесся до высоты, которой еще не достигал» *(3 ноября 1826 г.)*.

В юности Пушкин был одержим поэтической общительностью, готов был всем и всюду читать стихи, которые подхватывались раньше, чем он успевал записать их. Он читал

их лицеистам и гусарам в Царском Селе, в Петербурге читал своим ветреным друзьям под Зеленой Лампой, читал у Жуковского, у Олениных, у братьев Тургеневых. По привычке делиться стихами присылал из первой ссылки то отрывки, то целые поэмы. Но «Бориса Годунова», которого он писал с таким одиноким упоением, он ревниво таил даже от близких. В Москве на третий день после приезда он прочел трагедию в небольшом писательском кружке. «Годунов» произвел потрясающее впечатление. Погодин попал только на одно из позднейших чтений, 12 октября, у Веневитиновых. Там были Чаадаев, граф М. Ю. Виельгорский, братья Киреевские, Хомяков, Баратынский, Шевырев, Мицкевич. Вернувшись домой, Погодин пророчески записал: «Пушкин, ты будешь синонимом нашей литературы».

Позже он так описал этот вечер: «Какое действие произвело на нас это чтение, описать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которые мы все знали наизусть. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Наконец, надо себе представить и самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим приятным голосом, в черном сюртуке и черном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем поэтическую, увлекательную речь.

Первые явления выслушали спокойно, тихо или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущение усиливалось. Сцена летописца с Григорием всех ошеломила. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещениях Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков — «да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной», — мы все просто как бы обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы подымались дыбом. Не стало сил воздерживаться. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах Самозванца — «Тень Грозного меня усыновила». Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго, потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех... Полились слезы, поздравления. Эван! эвое! дайте чаши! Явилось шампанское, и Пушкин воодушевился, видя такое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам поддавать жару, читать свои песни, потом начал рассказывать о плане

«Дмитрия Самозванца», о палаче, который шутит с чернью, стоя на плахе на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек, сцену с которой он написал верхом и потом забыл на половине, о чем глубоко сожалел. О, какое это было утро, оставившее след на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как кончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто из нас и спал в эту ночь. Так потрясен был весь наш организм».

У Пушкина был гибкий, выразительный голос. Читал он просто, без модных тогда завываний, но, когда читал, весь менялся. «Это был удивительный чтец. Вдохновение так меняло его, что за чтением «Годунова» он показался мне красавцем», — писал Шевырев.

И другие современники рассказывают, как менялось лицо поэта, как сияли, излучая таинственную силу, его прекрасные, прозрачные, голубые глаза. По-видимому, в Пушкинском чтении стихов была не только художественная прелесть, но и магическая заразительность, которую Лев Толстой справедливо считал необходимой основой искусства.

После «Годунова» уже не было сомнения, что Пушкин первый поэт России. Но трагедия, доставившая ему столько наслаждений, принесла ему и немало огорчений. Царская милостивая цензура оказалась игрой в кошки и мышки. Четыре года не мог Пушкин добиться от Царя разрешения напечатать «Годунова». Наконец в 1830 году он был издан, но публика встретила его гораздо холоднее, чем встречала первые, менее совершенные, произведения Пушкина. На сцену при жизни Пушкина «Годунов» так и не попал.

Далеко не все в Москве нравилось Пушкину. Через несколько дней после приезда он уже писал П. А. Осиповой:

«Москва шумит и так празднует, что я уже устаю и начинаю вздыхать о тишине Михайловского».

Два месяца спустя он писал Вяземскому уже из Михайловского:

«Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться» *(9 ноября 1826 г.)*.

Это не помешало ему скоро вернуться в Москву и пробыть в ней до весны. «Пушкин здесь на розах, — писал в марте лицеисту Яковлеву его брат из Москвы. — Его знает весь город, все им интересуются. Отличнейшая молодежь собирается к нему, как древле к великому Arouet (Вольтеру). Со всем тем Пушкин скучает. Так он мне сам сказал. Пушкин очень

переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали его лицу какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же. Так же жив и скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению. Он ревностно участвует в издании «Московского Вестника».

В этих розах были и шипы. «Москва неблагородно поступила с ним, — писал Шевырев. — После неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в искательстве, наушничестве и шпионстве перед государем».

Доходили ли эти сплетни до Пушкина, кто знает. Но, вернувшись поздно осенью в Михайловское, он писал Вяземскому:

«...Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни, — ей Богу, приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно, сочиненной при Ц. Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом» *(9 ноября 1826 г.)*.

Однако деревенская тишина уже не могла его удовлетворять. Он стал редким гостем в Михайловском. Только урывками видела теперь Арина Родионовна своего любимца. В Академическое издание писем вошли и ее два письма к поэту, где сквозь условный слог, которым до самой революции писали малограмотные русские люди (а может быть, и сейчас пишут?), просвечивает заботливая ласка, есть отблеск ее лукавой усмешки:

«Желаю я тебе, любезному моему благодетелю, здравия и благополучия, я вас уведомляю, что я была в Петербурге: а об вас никто не может знать, где вы находитесь, и твои родители о вас соболезнуют, что вы к ним не приедете».

Дельвиг, Вяземский, Жуковский старались в это время примирить Пушкина с родителями. На это по-своему намекает Арина. Ее письмо кончается нежными словами: «При сем любезный друг я цалую ваши ручки с позволения вашего сто раз *(генваря 30-го дня 1827 г.)*».

В следующем письме она благодарит его за присылку денег и за письмо, к сожалению, не сохранившееся: «За все ваши милости я всем сердцем благодарна, вы у меня беспрестанно на сердце и на уме и только когда засну, забуду вас и

ваши милости ко мне. Приезжай мой ангел к нам в Михайловское — всех лошадей на дорогу выставлю. Наши Петербургские летом не будут, они все едут непременно в Ревель — я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы он дал нам свидеться».

На этот раз письмо кончается не только ласково, но и наставительно: «Прощай мой батюшка, Александр Сергеевич, за ваше здоровье я просфору вынула и молебен отслужила: поживи дружечек хорошенько, самому слюбится. Я, слава Богу, здорова, цалую ваши ручки, остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна» *(6 марта 1827 г.).*

Это письмо помечено Тригорским. Вероятно, няня диктовала его одной из красавиц Трех Гор, которые тоже скучали без поэта.

Он провел с няней в Михайловском лето и часть осени 1827 года. На следующий год та, кого Пушкин звал мамушкой, кого так нежно воспел, скончалась. Одним верным, чутким другом у него стало меньше.

Глава XI

БАРЫШНИ

В ту осень Пушкин бросился из Москвы в Михайловское, напрасно рассчитывая там писать. Ему не работалось. Мешали первые недоразумения с Бенкендорфом, мешали мысли о московских барышнях, которые были для него в Москве немаловажной приманкой.

Москва славилась красавицами. Это была ярмарка невест, куда из всех дворянских гнезд свозили барышень потанцевать, повеселиться, а главное, найти жениха. Не случайно Пушкин повез Татьяну в Москву, когда решил выдать ее замуж. Он и сам в Москве поддался общему настроению и почувствовал себя женихом, не чьим-нибудь, а вообще женихом.

Во многих влюбчивых людях сидит потребность одного большого чувства. Была она и в Пушкине. Его потянуло к любви открытой и прочной, захотелось иметь свой угол, свою домашность. Надоело быть странником. Он стал высматривать себе невесту в толпе хорошеньких, юных, чистых девушек, с которыми танцевал на балах, катался с гор, играл в шарады, дурачился в гостиных и на катаньях. Красавицы декламировали ему его стихи, пели ему его романсы, выбирали его в котильоне и только что входившей в моду мазурке,

шутили и шалили, иногда украдкой от родителей целовались за трельяжем в темном углу гостиной, скупо освещенной свечами, в будни сальными, в парадные дни восковыми. У Пушкина от их лукавой девичьей прелести голова кружилась слаще, чем от шампанского. В его стихах блистают отблески их грациозной женственности:

И вы, любимицы златой моей зари,
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами...
(«Осень», 1830)

Мертвецки, как он говорил, не был он влюблен ни в одну из них. Иногда он ухаживал за одной в Москве, за другой — в Петербурге. Когда встретил свою настоящую суженую, Ташу Гончарову, и женился на ней, Москва потеряла для него свою прелесть. Он стал уверять, что Москва переменилась, хотя на самом деле переменился он сам.

Шествие юных московских красавиц, чьи имена сохранились только потому, что Пушкин отметил их своим вниманием, открыла маленькая, чернокудрая и черноглазая, похожая на фарфоровую статуэтку, Софи Пушкина, дальняя родственница поэта. Прожив в Москве два месяца, Пушкин сделал ей предложение и уехал в Михайловское, не дожидаясь ответа. Дорогой остановился во Пскове, откуда послал своему приятелю В. П. Зубкову, который был женат на сестре Софи, что-то вроде исповеди. Пушкин мужчинам обычно писал по-русски, это письмо писано по-французски, вероятно, в надежде, что его покажут молодой девушке. В нем смесь шутливости, откровенности и влюбленности, характерная для пушкинской манеры ухаживать.

«Так как я очутился в Пскове, в гостинице, вместо того, чтобы быть у ног Софи, то давай болтать, т. е. рассуждать.

Друг мой, мне 27 лет. Пора начать жить, т. е. познать счастие. Ты мне говоришь, что оно не может быть вечным, велика новость! Меня беспокоит не мое счастье, как могу я не быть самым счастливым человеком в мире, раз я буду около нее, но я дрожу при мысли о том, какая судьба, может быть, ее ждет, — сумею ли я сделать ее такой счастливой, как хочу. Моя жизнь до сих пор была бродячей и бурной, характер у меня неровный, ревнивый, впечатлительный, одновременно и пылкий, и слабый — вот что минутами наводит меня на печальные размышления. Имею ли я право связать судьбу такого нежного, прекрасного существа с моей печальной судьбой, с моим несчастливым характером? Господи, какая она хорошенькая! и как нелепо вел я себя с ней. — Друг мой,

постарайся изгладить скверное впечатление, которое я мог произвести, — скажи ей, что я гораздо благоразумнее, чем кажусь, (дальше по-русски) скажи, что тебе в голову придет.

Мерзкий этот Панин, два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой недели — а я вижу раз ее в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь! (Опять по-французски.) Если она думает, что Панин правильно поступает, то меня она должна считать сумасшедшим, не правда ли? — объясни же ей, что прав я, что, увидав ее, нечего раздумывать, что я не претендую на то, чтобы пленять, что поэтому я правильно поступил, идя прямо к цели, что, влюбившись в нее, нельзя уже любить ее крепче, как нельзя ждать, что она похорошеет, т. к. невозможно быть еще красивее» *(1 декабря 1826 г., Псков).*

Пушкин написал в тот день еще три письма — Соболевскому, Вяземскому и Алексееву, своему кишиневскому знакомцу. К каждому из них Пушкин подходил по-разному, каждому писал другим стилем. На письме Зубкову есть отпечаток московских гостиных. С Алексеевым, вспоминая старые кишиневские проделки, он и слова употребляет кишиневские. Соболевскому короткими, отрывистыми фразами сообщает о своих неприятностях.

«Вот в чем дело. Освобожденный от Цензуры, я должен, однако ж, прежде чем что-нибудь напечатать, представить оное Выше, хотя бы безделицу. Мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову».

Вяземскому пишет как всегда шутливо:

«Еду к вам и не доеду. Какой! меня доезжают!.. изъясню после. В деревне я писал презренную прозу, а вдохновенье не лезет. В Пскове, вместо того, чтобы писать 7-ую главу «Онегина», я проиграл в штос четвертую: не забавно».

Из трех забот, неуверенности в согласии Софи Пушкиной, карточного проигрыша и жандармской головомойки, с которой начались многолетние жандармские приставанья, его больше всего раздосадовало письмо Бенкендорфа.

Из сватовства ничего не вышло. «Малютка Пушкина предпочла крошку Панина», — как острили в Москве. Да Пушкин об этом и не горевал. Чувства и впечатления более высокого порядка заслонили это случайное сватовство. В Москве, куда он вернулся к Рождеству, он встретил свою крымскую любовь, бывшую Марию Раевскую, теперь княгиню Волконскую. Их положение изменилось. Пушкин уже не был юношей, которого, за шумные проказы и неосторожные эпиграммы, гоняли с одного конца России на другой. Он был прославленный поэт, обласканный самим царем. Она — бесправная жена каторжанина. Если «существование Пушки-

не шло на розах», то ее маленькие ножки, с такой нежностью им воспетые, уже не «мяли вешние цветы», а были изранены терниями жизни. Прошли года с тех пор, как пятнадцатилетняя Мария заставила поэта пережить сладкую печаль робкой, юношеской влюбленности. В Москве перед ним уже была не балованная дочь вельможного отца, а молодая героиня, добровольно принявшая на свои хрупкие плечи тяжелый крест. Она пробудила в нем глубокое восторженное уважение, к которому, быть может, примешалась и вспышка прежней нежности.

Мария Раевская вышла замуж за Волконского не по любви, а по настоянию отца. Он считал князя Сергея Волконского блестящей партией. Как горько пришлось генералу Раевскому каяться, когда зять был арестован, приговорен к смертной казни, но в виде милости только закован в цепи и сослан в Сибирь на вечную каторгу. Молодая княгиня была далеко от Петербурга. Она была беременна и жила на юге у матери. Когда она узнала о судьбе мужа, она, едва окрепнув от тяжелых родов, оставила новорожденного сына у матери и поехала в Петербург уже с готовым решением ехать дальше, в Сибирь. Семья была в отчаянии. Особенно отец. Он знал, что ее влечет в Сибирь не любовь к мужу, а героическое чувство долга. Он ее умолял, уговаривал, пугал расстоянием, суровостью климата, лишениями, опасностями, возможностью оскорблений, унижений, которые ждут ее в дикой сибирской пустыне, в маленьком приисковом поселке, где не встретит она никого, кроме бесправных каторжан и их полноправных тюремщиков.

Когда Раевский понял, что к его замкнутой, хрупкой дочери перешла его солдатская твердость в исполнении долга, он склонился перед ее волей и с печальной гордостью благословил свою любимую дочь в дальнюю дорогу.

В Петербурге молодой княгине пришлось выдержать второй раз борьбу, уже с правительством. Ей сначала отказали в разрешении ехать к мужу. Она настаивала. Ее стали запугивать трудностями и лишениями. Она не сдавалась. От нее потребовали, чтобы она отказалась от своих дворянских и имущественных прав. В то время это была не шутка. Ее муж был лишен всех прав по приговору суда. Она от своих отказалась добровольно. Но своего добилась. Несколько месяцев после того, как декабристы, в цепях, были отправлены в Нерчинск на серебряные рудники, княгиня Мария Волконская уже ехала вслед за ними.

Дорогой она провела несколько дней у своей невестки княгини Зинаиды Волконской. Ее муж, егермейстер, князь

Никита Григорьевич, был приближенным к Царю человеком. Это не помешало княгине Зинаиде устроить прием в честь жены государственного преступника. Она посвятила ей восторженное, написанное по-французски стихотворение в прозе, которое повторялось во всех московских гостиных. В нем Мария Волконская сравнивалась с индусской вдовою, восходящей на костер. «У тебя глаза, волосы, цвет лица, как у дочери Ганга, и жизнь твоя, как и ее жизнь, запечатлена долгом и жертвой. Твой высокий стан встает передо мной, как воплощение мысли. Мне сдается, что твои грациозные движения творят ту мелодию, которую древние приписывали движению небесных светил».

Как трагическое воспоминание о разбитых мечтах дней Александровых, промелькнула Мария Волконская через Москву. А. В. Веневитинов записал в свой дневник:

«27 декабря 1826 г. Вчера провел я вечер незабвенный для меня. Я видел несчастную княгиню Марию Волконскую, коей муж едет в Сибирь и которая сама отправляется за ним вслед с Муравьевой. Она не хороша собой, но глаза ее чрезвычайно много выражают. Третьего дня ей минуло двадцать лет. Это интересная, и вместе с тем могучая женщина, больше своего несчастья. Она его преодолела, выплакала, источник слез уже иссох в ней. Она чрезвычайно любит музыку. В продолжении всего вечера она слушала, как пели, и когда один отрывок был отпет, она просила другого. До 12 часов ночи она не входила в гостиную, потому что у кн. Зинаиды было много гостей, но сидела в другой комнате, за дверью, куда к ней беспрестанно ходила хозяйка, думая о ней только и стараясь ей угодить... Когда все разъехались и осталось очень мало самых близких, она вошла сперва в гостиную, села в угол, все слушала музыку, которая для нее не переставала, потом приблизилась к клавикордам, села на диван, говорила тихим голосом, очень мало, изредка улыбаясь».

Сорок лет спустя Мария Волконская написала в своих записках: «В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки, которая приняла меня с такой нежностью и добротой, которых я никогда не забуду. Она окружила меня заботами, вниманием, любовью и состраданием. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве, и несколько талантливых девиц. Прекрасное итальянское пенье привело меня в восхищение, а мысль, что слышу его в последний раз, делала его для меня еще прекраснее. Дорогой я простудилась и потеряла голос, а они пели как раз те вещи, которые я изучила лучше всего, и я мучилась от невозможности принять участие в

пении. Я говорила им: «Еще! Еще! Подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки...» Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь... Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения. Он хотел передать мне свое «Послание к узникам», но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александре Муравьевой. Пушкин говорил мне: «Я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправлюсь на места, в Оренбург, перееду через Урал, проеду дальше и приду просить у вас убежища в Нерчинских рудниках».

Через несколько времени другая декабристка, А. Р. Муравьева, уезжала к мужу в Сибирь, и Пушкин послал с ней свои стихи:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

(1827)

На это, тоже стихами, ответил князь А. И. Одоевский:

...Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя.

Много лет спустя Ленин взял последнюю строчку эпиграфом для своего революционного марксистского журнала «Искра», печатавшегося в Швейцарии. Любопытный пример преемственности через поколения.

Когда стихи Одоевского дошли до Пушкина, он прочел их П. А. Осиповой и сказал:

«Мне хотелось бы, чтобы Царь был обо мне хорошего мнения. Если бы он мне доверял, то, может быть, я мог бы добиться какой-нибудь милости для них».

Бедный Пушкин, как любила позже говорить его жена.

Через Муравьеву Пушкин послал приветствие и Пущину: «Пушкин первый в Сибири встретил меня задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу вызывает меня к частоколу Муравьева и отдает листок бумаги, на котором

неизвестной рукой написаны были: «Мой первый друг, мой друг бесценный». Отрадно отозвался во мне голос Пушкина. Преисполненный глубокой, живительной благодарностью, я не мог его обнять, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнании».

Когда умер у Марии Волконской ее первенец, оставшийся у Раевской-матери, Пушкин написал эпитафию и послал ей. Она писала брату: «В моем положении никогда не знаешь, доставишь ли ты удовольствие, напоминая о себе старым знакомым. Но все-таки напомните обо мне Александру Сергеевичу. Я поручаю вам выражение моей благодарности за эпитафию Николаю. Уметь утешить скорбь матери есть действительное доказательство его дарований и направления его чувств».

Кроме Волконской, еще несколько женщин поехало в Сибирь, одни по любви, другие из чувства долга. Их присутствие согрело, смягчило жизнь каторжан. Жены декабристов не претендовали на политическую роль. Но эти женщины оказали на ход русской истории не меньшее влияние, чем их мужья. Они заложили героическую традицию и пробудили в следующих поколениях русских женщин высокое, восторженное понятие о гражданском мужестве, беспокойную жажду подвига. Русские девушки на школьных скамьях знали длинные тирады из некрасовских «Русских женщин». Эта героическая поэма, основанная отчасти на рассказах современников, была написана в семидесятых годах и сразу стала настольной книгой не только для революционерок, но и вообще для русской женской интеллигенции. Для многих читательниц некрасовские декабристки сплелись с Пушкинской Татьяной. В ней есть те же героические свойства, которые с такой простотой выразились в декабристках.

Они и на Пушкине оставили след. Повеса и Дон-Жуан, с влюбчивой кровью, которая загоралась от одного присутствия хорошенькой женщины, он мог иногда с приятелями цинично говорить о женщинах. Но в своих произведениях, — там, где надо искать настоящего Пушкина, — он создал ряд пленительных женщин, правдивых, чистых, глубоких, доблестных, сложных, светлых, одухотворенных. Он их не выдумал. Он их знал. Это портреты, озаренные его гением.

Ни в письмах, ни в стихах Пушкина мы не найдем имени Марии Волконской. Но два года спустя после их встречи он, не называя ее, ей посвятил «Полтаву»:

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?

Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, не признанное вновь?
Узнай по крайней мере звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей —
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

(1828)

Долго шли споры, к кому он обращался, пока Щеголев не разобрал в черновой рукописи первый, выброшенный потом, эпитет — Твоя сибирская пустыня. Это слово — сибирская — явственно свидетельствует, к кому обращено посвящение. Сочетание внешней ветрености с верностью сердца, один из тех контрастов в характере Пушкина, которые при жизни сбивали с толку его друзей, после смерти ошеломляли его биографов и исследователей.

28 декабря, на следующий день после того, как «Дева Ганга» скрылась в снежной мгле метелей, Погодин записал в дневнике: «Досадно, что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при всех».

Переводя на простой язык, пришел пьяный. Другой такой записи про Пушкина у Погодина нет.

В тот год в Москве Пушкин познакомился с семьей Ушаковых, где были две хорошенькие дочки. Они в первый раз увидели Пушкина в театре. Его появление вызвало всеобщее волнение. Его представили. Он стал бывать в их просторном доме на Пресне. Ушаковы жили по-московски, шумно, весело, гостеприимно. Отец, страстный любитель музыки, возил дочерей в итальянскую оперу, куда Пушкин их часто сопровождал. Учил барышень пенью итальянец, а мать, к удовольствию Пушкина, пела русские народные песни. Их дом тоже с утра до ночи был полон музыкой, только тут все было проще, чем у Зинаиды Волконской. И смеху было больше. Пушкин почти каждый день, иногда несколько раз в день, бывал у Ушаковых. Сначала он ухаживал за младшей, Елизаветой, потом влюбился в старшую, Екатерину. Москва любила посудачить, и это ухаживание вызывало толки, особенно среди барынь, у которых были дочери на выданье.

Московская барышня, Е. Телепнева, записала в дневнике: «Меньшая Ушакова очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, по-видимому, наш поэт,

наш знаменитый Пушкин, намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо он уже положил оружие свое у ног ее, т. е., сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва. Еще не видавши их, я слышала, что Пушкин все свое пребывание в Москве только и занимался, что Катей N. (Ушаковой). На балах, на гуляньях, только с ней и говорил, а когда случалось, что в собраниях ее нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и никто не в силах его развлечь. В их доме все напоминает о Пушкине. На столе найдете его сочинения. Между нотами «Черную Шаль» и «Цыганскую Песнь». На фортепьяно его «Талисман» и «Кошечку» (?), в альбоме несколько листочков картин, стихов и каррикатур, а на языке беспрерывно вертится имя Пушкина».

Так царствовал поэт в этом девичьем мирке. Упоминание об альбомах не случайное. В жизни светской молодежи того времени альбомы играли роль поверенных и пособников в любовной игре. Это была пробная лаборатория для домашних талантов. Друзья, поклонники, случайные посетители, все обязаны были проявлять свою любезность и выдумку в прозе, в стихах, в рисунках. Позднейшие исследователи с благодарностью перелистывают толстые пожелтевшие листки, отыскивая в них ценные черточки, вдыхая аромат эпохи. Поэты часто проклинали эту моду, но альбомный стиль все-таки создали. Пушкин называл альбомы — «разрозненные томы из библиотеки чертей... мученье модных рифмачей». Он писал в «Онегине»:

Когда блистательная дама
Мне свой in quarto подает,
И дрожь, и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!
(Гл. IV. Стр. XXX)

Но в альбомах барышень Ушаковых он писал охотно. Благодаря ему эти альбомы породили обширную литературу. Почтенные академики сочли бы ниже своего достоинства прислушиваться к веселой молодой болтовне, звеневшей в ушаковской гостиной, но когда шаловливые красавицы и их то верные, то ветреные поклонники сошли в могилу, ученые погрузились в тщательное исследование каждой строчки, каждого наброска, сочиненного этой легкомысленной молодежью. Немало внушительных трактатов, полных глубокомысленных догадок и соображений, написано об альбомах милых барышень Ушаковых.

Из трех ушаковских альбомов до нас дошел только один, принадлежавший младшей сестре, Елизавете. Почти на каж-

дой странице есть что-нибудь рукою Пушкина — стихи, наброски, карикатуры, — где поэт отразился со всей дружеской необдуманностью и веселой непосредственностью. Есть посвященные Екатерине стихи, написанные на заданную, казалось, невозможную, тему — аминь, аминь, рассыпься. Для Пушкина невозможных тем не было:

Когда я вижу пред собой
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой,
И речи резвые, живые —
Я очарован, я горю,
И содрогаюсь пред тобою,
И сердцу, полному мечтою,
Аминь, аминь, рассыпься, говорю.
(Апрель 1827 г.)

Это не просто шутливый заговор, разгоняющий любовные чары, это портрет, сохранивший для нас веселую, естественную прелесть московской барышни, отблеск ее томных уст и томных глаз, как в ту же весну писал Пушкин. К этим стихам он нарисовал и иллюстрацию, свой собственный портрет. Пушкин изобразил себя в виде молодой монахини. Свои знаменитые бакенбарды он переделал в локоны, выбивающиеся из-под клобука, а перед собой посадил добродушного беса с рогами, с сигарой во рту. Под этим подпись из романса Баратынского: «Не искушай меня без нужды...»

Пушкин любил дразнить своих кокетливых приятельниц, но и они отвечали ему тем же. В них было немало мальчишеского задора. «Барышни Ушаковы вели такие разговоры, что хоть святых выноси», — рассказывала Россет-Смирнова. Судя по стихам, посвященным Екатерине Ушаковой, их задор нравился Пушкину:

Я вас узнал, о мой оракул,
Не по узорной простоте
Сих неподписанных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам... столь неправым,
И этой прелести живой...
(Январь 1830 г.)

Сестры особенно любили его дразнить за его влюбчивость и волокитство. Пушкин и не думал оправдываться. Напротив, раз под аккомпанемент итальянских арий, которые пела одна из сестер, Пушкин, своим быстрым, нервным почерком, вписал в альбом Елизаветы Ушаковой 37 женских имен. Теперь эти странички прославлены как донжуанский список

Пушкина. Тут нет фамилий. Только имена, над которыми уже четвертое поколение пушкинистов ломает голову. Одна загадочная N. N. столько вызывала мудрых предположений, тонких догадок, ожесточенных прений, а все-таки мы не знаем, кто она, эта N. N.

На первой странице 16 имен. Список начинается и кончается Натальей. В первой из них угадывают крепостную актрису, в которую Пушкин-лицеист был влюблен. Последней может быть Наталья Гончарова, так как список составлен в конце 1828 года. Есть две Екатерины, вероятно, Карамзина и Орлова, есть Авдотья. В ней нетрудно угадать княгиню Голицыну. Есть кишиневские красавицы с греческими именами, Калипсо и Пульхерия. Есть голубоглазая тригорская соседка Евпраксия. Так расшалился Пушкин, что даже Элизу вписал, хотя это скорее не графиня Элиза, а Элиза Хитрово, над которой он в первый год их знакомства не прочь был посмеяться.

На следующей странице еще 18 имен. На третьей — три. Название донжуанского списка не очень подходит к этим запискам, так как Пушкин не назвал тех, кто им увлекался, скорее тех, кем он сам увлекался. Точно хотел исповедоваться перед Екатериной Ушаковой.

Казалось, московские кумушки не ошиблись и дело шло к свадьбе, но что-то у них расстроилось. По словам Бартенева, Пушкин уже был обручен с Екатериной Ушаковой, но она узнала, что известная московская гадалка, к которой он, несмотря на ее просьбы, пошел, предсказала Пушкину, что «он умрет от своей жены». Молодая девушка рассердилась, что Пушкин не сдержал своего обещания, и испугалась предсказания. Не захотела жить в постоянном страхе за любимого человека. Бартенев обычно проверял свои истории, но эта звучит не особенно убедительно. Во всяком случае, в мае 1827 года, когда Пушкин уехал из Москвы на север, он не был женихом.

На следующий год в Петербурге молва объявила Пушкина женихом другой красавицы, Анеты Олениной.

Из всех женщин, около которых кружился Пушкин, только она оставила дневник, где встречи с поэтом записаны не сквозь туман воспоминаний, а сразу, под свежим впечатлением. Отрывки из этого дневника были опубликованы внучкой Олениной сто лет спустя после смерти Пушкина. В них много жизненного. Дневник отражает психологию просвещенного барства и характер самой Олениной, по цельности и прямоте близкой Пушкинским героиням.

Анета была дочь А. Н. Оленина, президента Академии художеств. Когда Пушкин встретил у Олениных Анну Керн, Анета была маленькой, незаметной девочкой. Теперь это была юная красавица, фрейлина двух императриц, одна из звездочек придворного небосклона. Лучшие танцоры спешили вписать свои имена в ее carnet de bal*. Она имела успех в придворных спектаклях как актриса и певица. Сам Глинка, дружески принятый в их доме, был ее учителем пения. Дневник свой она вела по-русски, изредка переходя на французский. Тогда она говорит о себе в третьем лице, точно пишет роман. Свою первую встречу с Пушкиным она описывает по-французски: «Раз на балу у графини Тизенгаузен — Анет встретила самого выдающегося человека своего времени, составившего себе высокое положение в литературе. Это был знаменитый поэт Пушкин.

Он только что вернулся из шестилетней ссылки. Все, и мужчины и женщины, спешили оказать ему внимание, как это всегда делается по отношению к гению. Одни делали это, следуя моде, другие, чтобы получить от него красивые стихи и этим поднять свою репутацию, иные, наконец, из подлинного уважения к гению, но большинство, потому что он пользовался милостивым расположением императора, который был его цензором. Анет знала его еще когда она была ребенком. С тех пор она восторженно наслаждалась его увлекательными стихами.

Встретив его на балу, она захотела отличить знаменитого поэта и выбрала его в одном из танцев; опасение, что он посмеется над ней, заставило ее, подходя, опустить глаза и покраснеть. Ее задела небрежность, с которой он спросил, где ее место. Ее задела мысль, что Пушкин может принять ее за дурочку, но она ответила просто и уже весь вечер не пыталась его выбирать.

Тогда он, в свою очередь, подошел и пригласил ее на фигуру. Она подала ему руку и, чуть отвернувшись, улыбнулась. Ведь такой чести все добивались».

От этого рассказа, записанного вскоре после бала, веет салонными нравами эпохи. Видишь перед собой эту крошку Оленину — она, как и отец, была очень маленького роста — в пышном белом платье, по которому разбросаны букеты роз, золотые локоны перехвачены бирюзовой парюрой, сделанной в модном греческом стиле по специальному рисунку ее отца. Голубые глаза — «глаза Олениной моей», — блещут горделивой уверенностью в своей привлекательности. Быстро приру-

---

* Бальная записная книжка, в которую записываются танцы и кавалеры *(фр.)*.

чила молодая девушка балованного поэта. Он стал часто бывать у них — то в их городской квартире в академии, то у них на даче, в Приютине, на берегу Невы, где еще до ссылки Пушкина в Кишинев Жуковский сочинил шуточную балладу с меткой строчкой:

Пушкин бесом ускользнул...

Анета Оленина, как и многие ее современницы, знала «Онегина» почти наизусть. В ее дневнике много цитат из Пушкина. Ей льстило внимание знаменитого поэта, но сам он ей совсем не нравился. Вяземский в письме к жене юмористически описал Пушкина в Приютине:

«21-го ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню, верст за 17. Там нашли мы и Пушкина с его любовными гримасами. Деревня довольно мила, особливо для Петербурга: есть довольно движения в видах, возвышенность, вода, леса. Но зато комары делают из этого места сущий ад. Поневоле пляшешь Камаринскую. Я никак бы не мог прожить тут и день один. Мицкевич говорит, что это кровавый день. Пушкин был весь в прыщах и, осаждаемый комарами, нежно восклицал: сладко!» *(21 января 1828 г.)*.

У белокурой Олениной была соперница по светским успехам, черноглазая фрейлина Россет. Ее южную красоту воспел Вяземский, Пушкин ответил стихами:

Она мила, скажу меж нами,
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза...
Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты.
Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает Божество.
(1828)

Анет рассердилась на эти стихи. Моя Оленина! В этом ей послышалось слишком поспешное чувство собственности. Еще больше рассердилась она, когда кто-то из знакомых передал ей, будто Пушкин сказал:

«Мне бы только с родными сладить. С девчонкой я сам слажу...»

Она описывает Пушкина с суровой неприязнью, напоминающей враждебные отзывы лицеиста, барона М. А. Корфа:

«Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который был в голубых, или лучше сказать в стеклянных глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал его лица. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного и неограниченное самолюбие — вот те достоинства телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX века».

Такого непривлекательного отзыва о Пушкине не оставила ни одна женщина. Правда, в то лето, когда Пушкин особенно часто бывал в Приютине, крошка Оленина влюбилась в другого. Это был скромный, неизвестный молодой офицер, сибирский казак, высокий, белокурый, пригожий молодец. Он приехал из Читы, где, как пишет Оленина, «видел их». Их — то есть декабристов. По осторожным намекам в дневнике юной фрейлины видно, какое благоговейное отношение к ссыльным мятежникам царило в оленинском сановном, близком ко двору, доме. Молодой казак привез кусок серебряной руды, добытой руками декабристов. Он обещал сделать из него браслет для Анеты и не успел, потому что его спешно отправили на турецкий фронт. Молодая девушка была очень опечалена разлукой. «Он был мой идеал. Он не мог подумать без ужаса о распутстве. Чистая душа его не понимала жизни безнравственной».

В этих словах укор Пушкину. Через брата до Анет доходили рассказы о кутежах молодежи, в которых Пушкин принимал участие. Через несколько дней после отъезда «идеала» в действующую армию Анет опять пишет о декабристах: «Боже мой! Какая радость! С них сняли цепи. Все чувства радости проснулись в душе моей: они свободны, хоть телом свободны... Эта мысль услаждала горе знать их так далеко и в заточенье. Но увы, жалея о них, горюя об их ужасной участи, я не могу не признать, что рука Всевышнего карает их за многие дурные намеренья. Освободить родину прекрасно, но проливать реками родную кровь есть первейшее преступление. Надо понемногу приучать народ к мысли о свободе благоразумной, но не безграничной...»

Так из дневника хорошенькой, кокетливой фрейлины доносятся до нас живые отголоски политических настроений.

Недаром, воспевая ее глаза, Пушкин отметил — какой задумчивый в них гений.

И этот его роман кончился ничем, кроме прелестных стихов. Уезжая в 1829 году на Кавказ, Пушкин написал в альбом Олениной одно из лучших своих лирических стихотворений:

Я вас любил. Любовь еще, быть может,
В моей душе угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
(1829)

Четыре года спустя, когда он был уже женат, он поставил под стихами plus que parfait* и этой подписью скрепил их прежнее значение.

Малютка Оленина через несколько лет вышла замуж за тусклого, незначительного человека, была примерной женой, матерью, бабушкой, но счастья мало видела. Ее внучка, издавая через сто лет листки из ее дневника, писала: «Все, что относилось к памяти Пушкина, бабушка хранила с особой нежностью. Она всегда говорила, что в его обществе никому никогда скучно не могло быть, такой он был веселый и живой, особенно когда был в кругу доброжелательном».

Возможно, что эти воспоминания, окрашенные запоздалой нежностью, составляли одну из самых поэтических страниц ее жизни.

Из Москвы сестры Ушаковы следили за петербургскими похождениями поэта и рисовали в альбомах каррикатуры на него и на Оленину. Они считали, что он уже жених. Может быть, с досады на его непостоянство Екатерина Ушакова приняла предложение князя Долгорукого. Когда Пушкин неожиданно появился в Москве, он спросил ее: «С чем же я остался?»

«С оленьими рогами», — насмешливо ответила девушка.

Свадьба с Долгоруковым не состоялась. Ее расстроил Пушкин. Он знал, что Долгоруков человек непорядочный, и

* Plus-que-parfait — давно прошедшее время *(фр.)*.

сказал об этом Ушакову-отцу. Это была бескорыстная услуга. Его влюбленность уже перешла в спокойную дружбу. Возможно, что Екатерина Ушакова любила поэта гораздо более глубокой любовью, чем он думал. Только после его смерти вышла она замуж за помещика Д. М. Наумова. Муж так ревновал ее к памяти поэта, что разломал на куски его подарок, восточный браслет с яшмой, который Пушкин носил на руке выше локтя. Уничтожил Наумов и принадлежавшие его жене два альбома, полные записей и рисунков Пушкина. Но до писем поэта ему не удалось добраться. Жена их от него спрятала. Умирая, она велела своей замужней дочери, Елизавете Обрезковой, принести шкатулку, где эти письма хранились, и, несмотря на все просьбы дочери, сожгла их.

— Мы горячо любили друг друга, — сказала умирающая. — Пусть тайна нашей любви умрет с нами.

Проверить точность таких слов трудно. А поверить им можно.

Анет Оленина записала в своем дневнике, что среди гостей, приезжавших на ее рожденье в Приютино, был и Пушкин. Она прозвала его Red Rower по имени героя в пьесе O'Keet, «Wild Oats»*. «The Red Rower влюблен в Закревскую, — писала Анет. — Все об ней толкует, чтобы заставить меня ревновать, но при этом тихим голосом прибавляет всякие нежности». Он дразнил Анету Закревской, но его воображение было одновременно задето обеими. В Олениной он видел возможную жену. В тетрадях, среди стихов, рисовал он ее монограммы, называл ужс ее Анной Пушкиной. Это не мешало ему опьяняться грешными прелестями графини Аграфены Закревской.

Вяземский прозвал ее медной Венерой. Пушкин — Клеопатрой Невы и беззаконной кометой. Графиня Закревская была светская женщина, жена генерал-адъютанта и министра внутренних дел. По темпераменту это была блудница, ошеломлявшая даже своих дерзких любовников своей страстностью. В нее без памяти влюбился Баратынский. Он называл ее колдуньей, вокруг которой все дышит греховным соблазном. «Страшись прелестницы опасной, не подходи, обведена волшебным очерком она, кругом нее заразой страстной исполнен воздух...»

Достаточно опытный в любви Пушкин писал ей:

---

* «Красный гребец... Дикий овес» *(англ.)*.

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык.
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты...
(1828)

Так говорил он в стихах. А в прозе, между двумя поездками в Приютино, писал Вяземскому:

«Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер. Но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи» *(1 октября 1828 г.)*.

Какие стихи, мы не знаем. Может быть, восьмистишие, последние строчки которого стали почти поговоркой:

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О, жены севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.
(1828)

Точно царственной мантией прикрыл он грешницу стихами. Сама она никаких прикрытий не искала, ничем не стеснялась и не скрывала ни своих любовных похождений, ни своих телесных прелестей.

Раз летом Закревские в своем пышном доме на набережной давали большой прием. Был очень жаркий день. Жена министра вышла к своим гостям в прозрачном кисейном платье, надетом на не менее прозрачную батистовую рубашку. Больше на ней ничего не было. Гости, в особенности женщины, были озадачены. Пушкин из всего этого сделал строфу в «Онегине», где есть и шелковистое шуршанье, и струистая прозрачность наряда, и блеск чувственной красоты:

Смотрите, в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей;
В волненье перси, плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах.

Глава XII

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ

Четыре с лишним года, которые прошли между царским вызовом в Москву и женитьбой, Пушкин вел кочевую жизнь. Ему не сиделось на месте. Он переезжал из Петербурга в Москву и обратно, побывал в Эрзеруме, съездил в Нижегородскую пушкинскую вотчину, Болдино, проскакал много тысяч верст по скверным, немощеным дорогам. В Михайловское редко заглядывал, а в другом месте себе дома не завел. В Москве в его распоряжении был знаменитый диван Соболевского. В Петербурге номер в трактире Демута, который содержался французом и считался лучшей гостиницей Петербурга, а на самом деле был местом неуютным и неприбранным.

Демут помещался в центре Петербурга недалеко от Зимнего дворца, в том доме, где позже был славившийся своей кухней ресторан Донона, хорошо известный русским и иностранцам.

«Пушкин занимал бедный номер, состоявший из двух комнат, и жизнь вел странную, — рассказывает Ксенофонт Полевой, который в зиму 1827/28 года тоже жил у Демута. — Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал лежа в постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями.

Иногда заставал я его за другим столиком, карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя. После нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего проигрывался в пух. Жалко было смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного глупой и грубой страстью. Зато он был удивительно умен и приятен в разговоре касательно всего, что может занимать образованный ум. Многие его замечания невольно врезались в память».

Похвала тем более показательная, что Кс. Полевой Пушкина не любил. Сурово осудил он Пушкина за «глупую страсть» к картам. Это было любимой забавой многих выдающихся людей. Самые несхожие люди были картежниками — Бенжамен Констан и Талейран, Лев Толстой, Некрасов, Достоевский — все они не могли устоять перед азартом карточной игры.

Пушкин начал играть сразу после Лицея, может быть,

даже в Лицее, когда сдружился с гусарами. Много было картежников среди Арзамасцев, еще больше среди Лампистов. Амфитрион Зеленой Лампы, Никита Всеволожский, поставил 1000 червонцев против рукописи пушкинских стихов. И выиграл. Это была одна из последних ставок поэта перед отъездом на юг, где он, по бедности, уже не мог играть. Когда ему стали платить по золотому за строчку, он умудрился раз так зарваться, что опять поставил на карту рукопись главы «Онегина», как другие ставили свои алмазные перстни, снимая их тут же с пальцев, или даже ставили на карту жену.

Обычно игра шла среди знакомых. Но иногда в нее входили случайные люди, первые встречные на почтовой станции, профессиональные, сомнительные игроки. Такие бывали и у Пушкина в трактире Демута. Но обыгрывали его не только шулера. Он вообще редко выигрывал, а проигрывать случалось ему суммы для него очень крупные. Делал он это с той же иронической беспечностью, с какой шел на поединок... Когда не везло, засучивал рукава и маленькой, красивой рукой выстукивал по зеленому сукну какую-то мелодию, всегда одну и ту же. Приятели называли ее похоронным звоном. Иногда мелодия переходила в стихи. В разгар игры Пушкин написал на манжете одного из игроков:

А в ненастные дни собирались они
Часто.
Гнули... их... от 50-ти
На сто
И выигрывали и отписывали
Мелом.
Так в ненастные дни занимались они —
Делом.
(1828)

Этот экспромт, с точками на месте непристойных слов, послужил Пушкину эпиграфом к «Пиковой даме». Ритм похож на стук пальцев по столу.

Все, что бы Пушкин ни делал, вызывало любопытство и разговоры. Об его карточной игре шли толки в обеих столицах. Цензор Никитенко записал в дневнике: «Говорят, Пушкин проиграл 17 000 р.» *(22 сентября 1827 г.)*.

Полгода спустя Вяземский, сам промотавший и проигравший не одно, а несколько состояний, с шутливой укоризной писал Пушкину из Остафьева:

«Слышу от Карамзинских дам жалобы на тебя, что ты пропал без вести, а несется один гул, что ты играешь не на живот, а на смерть. Правда ли? Ах, голубчик, как тебе не совестно?» *(26 июля 1828 г.)*.

На этот раз карточный запой Пушкина мог обостриться

неприятностями из-за «Гаврилиады». Но играть он мог и с горя, и с радости. Просто играл, потому что был игрок.

Вяземский рассказывает, что «Пушкин куда-то ехал за несколько верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, прогулял все деньги свои, и бал, и любовь свою».

Когда карточные долги чересчур разрастались, он сердился на себя. Он писал одному из своих богатых партнеров, И. Я. Яковлеву:

«Тяжело мне быть перед тобою виноватым, тяжело и извиняться, тем более, что я знаю твою delicacy of gentleman*. Ты едешь на днях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят, и дай Бог, чтоб они вовсе не были банкроты, а я (между нами) проиграл уже около 20 т. Во всяком случае, ты первый получишь свои деньги» *(ноябрь 1829 г.)*.

Расплата, по-видимому, очень затянулась, так как после смерти Пушкина опека выплатила Яковлеву 6000 рублей.

Одним из азартных игроков пушкинского кружка был С. Д. Полторацкий, богатый юноша, который сорил деньгами пока не проиграл графу Ф. Толстому-американцу 700 000 рублей, за что и был отдан под опеку. Полторацкий, как Соболевский, был коллекционер, собирал книги, автографы, рукописи, исторические документы. От него Герцен получил письма Рылеева к Пушкину, напечатанные в Лондоне в «Полярной Звезде». Герцен рассказал, как они к нему попали: «С. Д. Полторацкий несколько раз просил у Пушкина этих писем, чтобы их списать... Пушкин все отказывал, обещаясь подарить ему самые письма. Раз, за игрой, Полторацкий ставил 1000 руб. и предлагал Пушкину поставить письма Рылеева. В первую минуту Пушкин было согласился, но тотчас же, опомнившись, воскликнул: «Какая гадость, проиграть письма Рылеева в банк. Я подарю их вам». В конце концов Пушкин разрешил Полторацкому их списать».

Все кругом Пушкина играли в карты. Никто не видел в этом большой беды, ничего дурного, только бы не было разорительных проигрышей. Пушкин откровенно писал:

...Страсть к банку...
Ни любовь к свободе,
Ни Феб, ни дружба, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры...

---

* Деликатность джентльмена *(англ.)*.

Но, когда он стал женихом, он дал себе обещание не играть. Только раз, обиженный Царем, это обещание нарушил.

И в Петербурге, как в Москве, молодежь льнула к Пушкину. Он любил общество, гостей, любил угощать. На Невском, против Казанского собора, был просуществовавший до революции ресторан Доминика. Там нередко можно было увидеть Пушкина. Известный богач, граф Завадовский, встретил его там, окруженного свитой молодых собутыльников, которых Пушкин угощал.

«Однако, Александр Сергеевич, видно, туго набит ваш бумажник, что вы так кутите», — заметил ему Завадовский.

Пушкин засмеялся.

«Да ведь я богаче вас, граф. Вы получаете деньги только с ваших деревень, а у меня постоянный, верный доход с 36-ти букв русской азбуки».

Кроме многочисленных знакомых, были у Пушкина в Петербурге и настоящие друзья. Прежде всего Дельвиг, потом Вяземский и Мицкевич, которые оба тоже переехали из Москвы в Петербург. У Пушкина в его непритязательном номере у Демута, помимо карточной игры, спрыснутой шампанским, бывали своего рода аттические пиры на платоновский лад, кипели оживленные споры, шла беседа сладкая друзей. Присутствие Пушкина всех оживляло. Даже люди, к нему неприязненные, вынуждены были признать, что он «удивительно умен и приятен в разговоре». Друзьям беседа с ним давала такое же наслаждение, как и его стихи. В ней был блеск его гения. Он привлекал к себе веселой приветливостью, поражал своим умом. И. В. Киреевский, сам человек ума незаурядного и деятельного, писал приятелю: «В Пушкине я нашел еще больше, чем ожидал. Такого мозгу, кажется, не вмещает ни один русский череп, по крайней мере ни один из ощупанных мною» *(29 января 1829 г.)*.

Писатели, с которыми Пушкин был близок, встречались почти каждый день, то у него, то у Плетнева, чаще всего у барона Дельвига.

Кончив Лицей, Дельвиг поступил в Публичную библиотеку помощником Крылова. Библиотека вряд ли выиграла от того, что в ней одновременно служили два таких лентяя. Когда Пушкин вернулся в Петербург, Дельвиг уже перешел в Министерство внутренних дел, в отдел инославных вероисповеданий. Чиновник он был плохой. Он, как и Пушкин, был прежде всего и больше всего литератор. Стихи писал все реже и реже, но к чужим стихам и чужой прозе сохранил острое

чутье и любовь. И он, и Пушкин, любя поэзию, умели быть внимательными к поэтам.

Светских вкусов своего знаменитого друга Дельвиг не разделял, на балы не ездил, в салонах титулованных красавиц не бывал. Но общество любил. В его незамысловато убранной квартирке на Владимирской, в доме жены купца Альферовской, всегда были рады гостям. Хлебосольный хозяин, он любил угощать вкусными обедами, хорошим вином, устраивал веселые поездки за город, чаще всего в Красный Кабачок. Дельвиг был женат. Вскоре после поездки в Михайловское он женился на 17-летней Софии Салтыковой. Она приветливо принимала его гостей, старалась помогать ему, держала для него корректуры, отчасти делила его литературную жизнь. Ученица Плетнева, она до свадьбы восторженно увлекалась поэзией и поэтами. В длинных письмах к школьной подруге, жившей где-то в Оренбургской глуши, постоянно возвращается имя Пушкина, стихи которого обе подруги твердили наизусть.

Как и дневник А. Олениной, эти письма показывают, как в ту раннюю эпоху русского просвещения женщины создавали вокруг русских поэтов атмосферу понимания и симпатии, порой поклонения. В 16 лет Софи Салтыкова писала подруге: «Мой несравненный Пушкин. Я восторженно люблю не только его стихи, но и его личность... Очарователь Пушкин». Она повторяет слова графини Ивелич, хорошо знавшей семью Пушкина: «Графиня меня уверяет, что Александр несравненно лучше своей репутации, что он славный малый».

Плетнев дразнит ее, зовет ее — Александр Сергеевич, но все-таки обещает познакомить когда-нибудь с Пушкиным и Дельвигом. Софи пишет: «Я очень хочу познакомиться с Дельвигом, потому что он связан с моим дорогим Пушкиным, потому что он друг Плетнева».

Весной 1825 года Софи гостила в Царском Селе в семье гусарского офицера Рахманинова — кажется, деда музыканта. Там она познакомилась с Дельвигом, который привез из Михайловского новые главы «Онегина». Уже одно это расположило молодую девушку в его пользу. Через три месяца они повенчались. Юная баронесса восторженно описывает незамужней подруге свое семейное счастье. Теперь она жена видного столичного литератора и не прочь щегольнуть последними стихами Пушкина, за которыми гоняются светские модницы.

Через полтора года после свадьбы она наконец познакомилась с Пушкиным. Сначала — как Вера Вяземская в Одессе — Софи Дельвиг была разочарована. «Кстати, —

пишет она подруге, — я познакомилась с Александром. Я в восторге, что увидела его наконец. Я поговорю о нем с тобой, когда лучше узнаю. Что он умен, это мы знаем уже давно, но я не знаю, любезен ли он в обществе? Вчера он был довольно скучен и ничего особенного не сказал, только читал прелестный отрывок из пятой главы «Онегина» *(2 мая 1827 г.)*.

Через несколько дней опять: «Вот я провела с Пушкиным вечер. Он мне очень понравился, очень мил, мы с ним довольно коротко уже познакомились». И еще позже: «Как бы ты полюбила Пушкина, если бы видела его, как я, каждый день. Это человек, который выигрывает, когда его узнаешь».

Так писала молоденькая баронесса, когда ее семейная жизнь еще была полна счастьем первой влюбленности. Потом появились трещины. Дельвиг не менялся, по-прежнему был ей предан. Но в доме, где жили Дельвиги, во дворе, поселилась соломенная вдова, Анна Керн. Она подружилась с баронессой. Вслед за ней появился присяжный соблазнитель, тригорский кузен, Алексей Вульф, теперь уже не студент, а гусар. Если верить дневнику этого пустого малого, он одновременно и с равным успехом ухаживал и за Керн, и за баронессой. Вульф подробно записал в дневнике, как он с ней любезничал, пользуясь отсутствием Дельвига:

«Вдруг появился Пушкин. Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые отдает в «Северные Цветы», и уехал. Мы начали говорить о нем. Она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи, я удивлялся и защищал его, наконец она, приняв одно его общее мнение за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает» *(18 октября 1828 г.)*.

Пушкин, застав их вдвоем, мог без труда по их лицам догадаться, что жена его лучшего друга стала игрушкой псковского ловеласа, как он шутливо прозвал Вульфа. А ей стало стыдно, что Пушкин может заметить, что она обманывает такого доверчивого, великодушного мужа, как Дельвиг. Он ничего не замечал. Да и посторонним его семейная жизнь казалась уютной, счастливой.

По средам и воскресеньям, часто и в другие дни, у него собирались товарищи по Лицею и молодые литераторы, которых Дельвиг, сам еще молодой, выслушивал как благосклонный патриарх. Начиная с 1825 года он издавал альманах «Северные Цветы». С 1830 года издавал недолго просуществовавшую «Литературную Газету», выходившую раз в пять дней. И то, и другое при щедром сотрудничестве Пушкина.

Мягкий, беззаботный, всегда в отличном настроении, Дельвиг своей ровной добротой смягчал расхождения, непо-

нимание, обиды самолюбия и тщеславия, отравляющие жизнь людей, в особенности писателей и артистов. Дельвиг был хороший рассказчик и импровизатор. Вокруг него баловались, музицировали, пели. Иногда хором распевали чепуху, сочиненную хозяином. Щенок разорвал песни Беранже. Дельвиг написал куплеты:

Хвостова кипа тут лежала,
А Беранже не уцелел.
За то его собака съела,
Что в песнях он собаку съел!

Возможно, что музыку сочинил частый гость Дельвигов М. И. Глинка. Анна Керн писала о нем: «Гений музыки, добрый и любезный человек, как и следует гениальному существу. Тут кстати заметить, что Пушкин говорил часто:

— Злы только дети и дураки.

Однако и он часто был зол на словах. В поступках он всегда был добр и великодушен... На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич. Он был так мягок, так благороден, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые тут же и выдумывал, и был занимателен для всех и каждого. Сказки в нашем кружке были в моде. Многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное».

Среди этих многих был и Дельвиг. Это подтверждает в своих воспоминаниях его племянник, барон Андрей Иванович Дельвиг. Он говорит, что его дядя придавал в своей жизни большое значение чудесному. В детстве он был хилым ребенком, не говорил до четырех лет и заговорил только после того, как его свезли в Чудов монастырь и дали приложиться к мощам митрополита Алексея. Дельвигу случалось иметь видения. Его племянник передает одну странную семейную легенду.

Был у Антона Дельвига друг, Н. В. Левашев. Они условились, что тот из них, кто первый умрет, должен явиться оставшемуся в живых. Левашев об этом уговоре совершенно забыл. Раз вечером он сидел один, читал и вдруг видит перед собой Дельвига, тогда уже покойного. Андрей Дельвиг слышал это от самого Левашева, на дочери которого женился.

Визионерство Дельвига должно было привлекать Пушкина. Их все друг в друге привлекало. Анна Керн рассказывает, как встретились поэты, когда Дельвиг вернулся из Харькова, как развевался черный плащ Пушкина, когда он стремительно мчался навстречу другу, как сияло радостью его лицо. «Он

бросился в его объятия. Они целовали друг другу руки, казалось, не могли наглядеться друг на друга. Они всегда так встречались и прощались, была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях».

Вместе им было всегда весело и хорошо. Стоило Пушкину с какого-нибудь блестящего светского приема появиться в скромной квартире Дельвига, как все наполнялось его заразительным смехом. Это был тот смех, то оживление, о котором тригорские соседки до старости вспоминали с благодарностью.

Много людей, мужчин и женщин, восхищались гением Пушкина, многие любили его, но вряд ли кто-нибудь любил с такой всеобъемлющей, всепрощающей нежностью, как Дельвиг.

Зиму 1827/28 года Пушкин бывал у Дельвигов почти каждый вечер. Сидели в кабинете хозяина. Пушкин забирался на диван, в своей любимой позе, поджав под себя ноги по-турецки. Он каждый день делал гимнастику и до конца жизни сохранил юношескую гибкость. У грузного Дельвига было любимое просиженное кресло, с которого он мог часами не вставать. Друзья вместе просматривали статьи и стихи, присылавшиеся Дельвигу. Читали новые вещи Баратынского, Жуковского, самого Пушкина. В этой комнате Адам Мицкевич, тоже частый гость, во второй раз слушал «Годунова», о котором позже писал: «Б. Годунов» содержит в себе подробности и целые сцены красоты изумительной. Особенно пролог кажется мне столь самобытен и грандиозен, что я считаю его единственным в своем роде».

Третий раз слушал он трагедию, когда Пушкин 16 мая 1828 года читал ее у графини Лаваль, матери княгини Ек. Трубецкой, уехавшей за мужем в Сибирь. На чтении был и Грибоедов. В ту весну три великих славянских поэта несколько раз сходились в гостиных Петербурга. Грибоедов в марте приехал из Персии, где служил в русском посольстве, а в июне опять уехал в Тегеран, куда на этот раз был назначен министром-резидентом. За короткое пребывание в Петербурге он был очень занят составлением мирного договора с Персией, но все-таки несколько раз виделся с Пушкиным, Мицкевичем, Вяземским, принимал участие в литературных беседах, а иногда и в пирушках. Но по-настоящему с пушкинским кружком он не сдружился.

А с Мицкевичем (1798—1855) Пушкин сблизился. Трудно измерять, трудно сравнивать поэтическую силу двух поэтов, да еще писавших на разных языках. Но из живых поэтов, которых Пушкин знал лично, только Мицкевич обладал

близкой, сродной ему силой вдохновения. Они были почти однолетки. Оба прославились еще юношами, оба за свои стихи претерпели гонения. Мицкевич родился в благочестивой, скромной шляхетской семье в Литве, в Минской губернии. Учился в Вильне и еще в университете стал духовным вождем молодежи, мечтавшей о независимой Польше. Его стихи — он издал два тома в 1822 и 1823 годах — вдохновляли польских либералов и патриотов. Среди польских студентов не угасали мечты национальные, вызванные наполеоновскими войнами и обещаниями Александра I. С разрешения русского правительства они образовали в Вильне литературное «Общество лучистых». Но в Европе возобновилось революционное брожение и террористические акты. Правительства насторожились. После убийства писателя Коцебу «Общество лучистых» было закрыто. Осенью 1823 года многие члены его были арестованы. И Мицкевич попал в тюрьму вместе с сотней студентов.

История была нелепая, но не особенно трагическая. Начальство Виленской тюрьмы довольно либерально относилось к заключенным. По вечерам им разрешалось собираться в одну камеру, где они слушали вдохновенные импровизации Мицкевича. А он в тюрьме вырос, возмужал и через полгода вышел из нее еще более пламенным патриотом, чем вошел. Несмотря на то, что во главе следственной комиссии стоял Аракчеев, приговор был мягкий. Троих, считавшихся вождями, сослали в Оренбург, 17 человек, среди которых был и Мицкевич, послали в Россию и определили в чиновники. Остальных выпустили на свободу. Это было при Александре. В следующее царствование кружок московских студентов, среди которых был и Герцен, дороже поплатился за вольные разговоры.

Осенью 1824 года, когда Пушкин уже был в Михайловском, Мицкевича через Петербург отправили на службу в Одессу. Никак не мог граф Воронцов избавиться от поэтов. Но у Мицкевича никаких недоразумений с ним не вышло, тем более что он попал не в его канцелярию, а преподавателем в Лицей. Через год его перевели в Москву. Останься он в Петербурге, он мог бы быть замешан в дело 14 декабря, так как был знаком с Рылеевым и Бестужевым.

Блуждания Мицкевича по России трудно назвать гонениями. В Одессе его приняли хорошо, служба была нетрудная. Он много разъезжал, подолгу живал у графа Олизара в Крыму, у него в Кардиатике написал свои прелестные «Крымские сонеты». В Москве Мицкевич был зачислен в канцелярию генерал-губернатора князя Д. Голицына. Светская и литератур-

ная Москва обласкала опального польского поэта, который настолько сблизился с русскими, что это тревожило, возмущало некоторых его польских друзей. С Москвы началась дружба поэта с княгиней Зинаидой Волконской, продолжавшаяся и в Риме, когда Мицкевич-эмигрант уже стал резко враждебен России.

Его положение не изменилось с приездом двора на коронацию. Ссыльного поляка продолжали принимать даже в тех домах, где бывал Царь.

По словам одного из его польских биографов, Спасовича, «Мицкевич считал себя паломником, которого гнали власти, но любили друзья его, москали. Еще не произошло между ними резкого политического разделения. Мицкевич даже не догадывался тогда о пропасти, разделяющей оба народа».

Это отметил и князь Вяземский. Он познакомился с Мицкевичем в Варшаве, где русский князь, чиновник, состоявший при наместнике, ввел польского поэта в некоторые польские дома. Потом в Москве и в Петербурге они часто встречались. «Мицкевич с первого приема не очень податлив и развертлив, — писал Вяземский жене, — но раскусишь, так будет сладко» *(1827)*.

Когда Мицкевич умер, Вяземский писал о нем:

«Мицкевич был радушно принят в Москве. Она видела в нем подпавшего действию административной меры, нимало не заботясь о поводе, вызвавшем эту меру, в то время русские еще не думали о польском вопросе. Все располагало к нему общество. Он был умен, благовоспитан, одушевлен в разговоре, обхождения утонченно-вежливого. Держался он просто, то есть благородно и благоразумно, не корчил из себя политической жертвы. При оттенке меланхолического выражения в лице он был веселого склада, остроумен, скор на меткие словца. Говорил он по-французски не только свободно, но изящно, с примесью иноплеменной поэтической оригинальности. По-русски говорил он тоже хорошо. Он был везде у места, и в кабинете ученого и писателя, и в салоне умной женщины, и веселым за приятельским обедом. Поэту, то есть степени и могуществу его дарования, верили пока на слово и понаслышке. Только весьма немногие знакомые с польским языком могли оценить Мицкевича-поэта, но все оценили и полюбили Мицкевича-человека».

В Москве Пушкин встречался с Мицкевичем у Погодина, у Веневитинова, у княгини Волконской, у Вяземской, почти во всех домах, где бывал. Есть шуточный рассказ, как Пушкин встретил Мицкевича на улице, посторонился и сказал:

«Прочь с дороги, двойка, туз идет!»

«Козырная двойка и туза бьет», — быстро ответил Мицкевич, который в находчивости не уступал Пушкину.

Мицкевич писал своему другу А. Одинцу:

«Я знаком с Пушкиным, и мы часто видимся. Он почти ровесник мне, двумя месяцами моложе. В беседе он очень остроумен и увлекателен. Читал много и хорошо, хорошо знает современную литературу. О поэзии имеет чистое и возвышенное понятие. Он теперь написал «Бориса Годунова». Я знаю только несколько сцен ее в историческом роде. Они хорошо задуманы и с прекрасными подробностями».

Мицкевич подарил Пушкину томик Байрона с надписью: «Байрона Пушкину подносит поклонник их обоих».

Мягкий польский мистик тоже увлекался жестким даром английского бунтаря. Он разделял стремление Байрона к свободе, отчасти его презрение к толпе, но личной распущенности Байрона подражать Мицкевич не был склонен. Он был человек сдержанный, застенчивый, целомудренный. Ему не нравились кутежи его русских друзей, их привычка к словесному цинизму. Когда Пушкин отпускал непристойные шутки, Мицкевич его останавливал.

С. Т. Аксаков писал своему другу Шевыреву:

«Завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, второй прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что второй два раза принужден был сказать: «Г.г., порядочные люди и наедине с собой не говорят таких вещей» *(26 марта 1829 г.)*.

Пушкин много в себе преодолел еще до встречи с Мицкевичем; но, быть может, тихая, чистая вдумчивость польского поэта помогла ему в этой работе над собой.

Мицкевич был замечательный импровизатор. По-польски он импровизировал стихами, по-французски прозой. Насмешливый, не склонный к преувеличенным восторгам, Вяземский, который не раз присутствовал при таких импровизациях, говорит: «В импровизациях Мицкевича была мысль, чувство, картины и в высшей степени поэтические выражения. Можно было подумать, что он вдохновенно читает поэму, заранее им написанную».

Иногда Мицкевич предлагал слушателям написать темы на бумажках, потом тянул жребий. Раз выпала тема об убийстве в Константинополе греческого патриарха. Мицкевич несколько минут молчал, потом «выступил с лицом, озаренным пламенем вдохновения. Было в нем что-то тревожное, прорицательное. Импровизация была блестящая, великолепная, Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге». Так по

памяти много лет спустя описал Вяземский этот вечер, а в письме к жене, написанном сразу, под свежим впечатлением, он говорит:

«Третьего дня провели мы вечер у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Плетневым, Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал, поразил нас силой и богатством, поэзией своих мыслей. Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами. Мицкевич импровизировал раз трагедию в стихах, и слушавшие уверяют, что она лучшая или единственная трагедия польская» *(30 мая 1828 г.)*.

Мицкевич далеко не всегда был в торжественном настроении, он тоже умел баловаться. На маскараде у известной артистки Шимановской он сначала импровизировал под музыку хозяйки, потом изображал испанца, испанку и даже попугая.

Пушкин в «Египетских ночах» использовал Мицкевича, но вложил его импровизаторский дар в одного из ничтожных детей мира. А Мицкевич описал в стихах свою прогулку с Пушкиным по ночному Петербургу и их разговор у памятника Петру:

«Однажды вечером два юноши укрывались от дождя под одним плащом, рука в руку. Один из них был паломник, пришедший с запада, другой поэт русского народа, славный своими песнями на всем севере. Знали они друг друга с недавних пор, но знали коротко и уже были друзьями. Их души возносились над всеми земными препятствиями, походили на две альпийские скалы, двойчатки, которые, хотя силою потока и разделены навеки, но преклоняют друг к другу головы, едва внимая ропоту враждебных волн» *(перевод Вяземского)*.

Многое сближало поэтов, но по-разному переживали они две основные стихии человеческой жизни. Мицкевич был несравненно беднее Пушкина любовным опытом. Влюблялся он тоже довольно часто, но у него в крови не было того огня, которым Пушкин и сам горел, и обжигал других. Зато религиозный опыт Мицкевича был несравненно глубже, устойчивее, непрерывнее, его поэзия пронизана светом мистического христианства. Мицкевич горел верою, как Пушкин горел любовью. От ребяческого вольтерьянства Пушкин освободился еще до их встречи. Мицкевич лучше многих был способен понять, почувствовать, что и Пушкина тревожило томление по невидимому. То, что пути их скрестились, не могло пройти бесследно для обоих великих славянских поэтов.

Несмотря на все внимание, которым был окружен Миц-

кевич в России, его тянуло домой, в Польшу, еще дальше в Европу. Пушкин, сам поднадзорный, сам получивший только видимость свободы, стал, с обычной своей стремительной добротой, хлопотать за польского поэта: 7 января 1828 года он подал записку фон Фоку и в ней просил для Мицкевича разрешения вернуться на родину. Пушкин напомнил, что Мицкевичу было всего 17 лет, когда он вступил в литературное общество, к тому же просуществовавшее только несколько месяцев.

«Мицкевич признает, что он знал еще о существовании другого литературного общества, что ему было известно, что оно ставит себе целью распространение польского национализма. К тому же и это общество просуществовало весьма недолго».

Записка Пушкина произвела желанное действие. Фон Фок в «Секретной Газете», как он называл свои доклады Бенкендорфу, буквально повторил слова Пушкина: «Общество сие не имело никакой возмутительной цели, — и прибавил: — Мицкевич человек образованный, тихий, ведет себя отлично в отношении нравственном и политическом».

Мицкевичу разрешили вернуться на родину. В начале 1829 года он уехал в Варшаву, оттуда за границу. В Россию он больше не возвращался и с Пушкиным больше не встречался. Но издали они друг друга больно ранили.

Польское восстание 1831 года вызвало у Пушкина пламенные патриотические стихи. Мицкевич, который по другую сторону границы также пламенно воспевал патриотизм польский, ответил стихами — «К русским друзьям», где упрекал их, что они изменили либеральным идеям и перешли на сторону самодержавия. Пушкин не был назван, но у него были все основания принять это на свой счет. Его стихотворный ответ остался незаконченным и при его жизни не был напечатан. Это набросанный рукой мастера эскиз, где проступают основные черты характера Мицкевича:

Он между нами жил,
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал он, мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами,
И песнями (он вдохновен был свыше
И с высоты взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он

Ушел на запад — и благословеньем
Его мы проводили. Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом и ныне
В своих стихах, угодник черни бурной,
Поет он ненависть: издалека
Знакомый голос злобного поэта
Доходит к нам!.. О Боже, возврати
Твой мир в его озлобленную душу...

(1834)

Вряд ли Пушкин оставил бы слова об угодничестве черни, если бы собирался печатать этот отрывок. Он хорошо знал, что Мицкевич был такой же независимый поэт, как и он сам.

Неожиданная смерть Пушкина глубоко опечалила Мицкевича, он помянул своего гениального друга на лекциях в Коллеж де Франс и пророчески указал, что эта смерть «нанесла опасный удар умственной жизни России».

Он писал:

«Ему было 30 лет, когда я его встретил. Те, кто его знал в то время, замечали в нем значительную перемену. Он любил вслушиваться в народные песни и былины, углубляться в изучение отечественной истории. Казалось, что он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву. Его разговор, в котором прорывались зачатки будущих творений, становился обдуманнее и серьезнее. Он любил обращать рассуждение на высокие вопросы, религиозные и общественные.

Пушкин соединял в себе различные, как будто друг друга исключающие качества. Его талант поэтический удивлял читателя, и в то же время он увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума, был одарен памятью необыкновенной, верным суждением, вкусом утонченным и превосходным. Когда он говорил о политике внешней или отечественной, можно было думать, что это человек заматерелый в государственных делах и пропитанный ежедневным чтением парламентских дебатов. Он нажил себе много врагов эпиграммами и насмешками, они мстили ему клеветою. Я довольно близко и долго знал русского поэта, находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда и легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца».

Это хорошо знали женщины, с которыми Пушкин был дружен. У него и среди женщин были верные, преданные друзья. В дружбу с ними он тоже умел вкладывать себя. Умел

иногда обращать мимолетное любовное чувство в длительную, надежную дружбу. Он любил женское общество, и женщины это чувствовали. Но дамским угодником никогда не был, мог быть насмешливым, далеким, мог очень нелестно отзываться о женских литературных суждениях и вкусах.

Он писал в «Северных Цветах»:

«Природа, одарив их умом и чувствительностью самой раздражительной, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не достигая души: они бесчувственные к ее гармонии, примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи, самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму» *(1828)*.

Эта суровая оценка позже могла ему помочь примириться с великолепным равнодушием его собственной жены к его стихам. Но было бы несправедливо применять ее к тем чутким и образованным женщинам, среди которых он жил. Да они к себе таких выходок Пушкина и не относили.

В свои отношения с приятельницами Пушкин вносил отблеск рыцарской преданности, которую можно было принять за легкую влюбленность, и такое же разнообразие оттенков, как и в свою дружбу с мужчинами. С Е. А. Карамзиной, вдовой историка, он был почтительно ласков. С ее дочерью, княгиней Мещерской, вел себя как веселый товарищ. П. А. Осипову подкупал откровенностью и родственной теплотою. С черноглазой фрейлиной, А. Россет-Смирновой, дурачился и острил, точно они были два студента. С Элизой Хитрово капризничал, как балованная женщина, но именно с нею охотно делился волновавшими его политическими мыслями и чувствами. Она была преданна ему восторженно и беззаветно. Вяземский, который тоже был своим человеком в доме Хитрово, писал, что она «питала к Пушкину самую нежную, самую страстную дружбу, проявляя в данном случае доблестные Кутузовские традиции: большое уважение к проявлениям общественной деятельности и горячую любовь ко всему, что составляет славу Русского имени».

Дочь фельдмаршала графа Голенищева-Кутузова, Элиза в первый раз была замужем за графом Ф. Н. Тизенгаузеном, от которого у нее были две дочери. Тизенгаузен был убит под Аустерлицем. Ее второй муж был генерал Н. Ф. Хитрово. После наполеоновских войн он перешел на дипломатическую службу и был посланником в Неаполе, но вскоре умер, оставив вдову почти без средств. Это не помешало ей поддерживать и расширять свои разнообразные связи. Одним из усердных посетителей ее салона в Неаполе был принц Леопольд Саксен-Кобургский. Будущий бельгийский король и

советчик королевы Виктории дружески переписывался с Элизой. За старшей дочерью, графиней Екатериной Тизенгаузен, ухаживал и писал ей нежные письма принц Фридрих Вильгельм, позже ставший прусским королем. Младшая дочь, хорошенькая графиня Долли, 17 лет вышла замуж за австрийского дипломата, графа Карла Фикельмонта, который был на 27 лет старше жены.

И мать, и обе дочери, где бы они ни появлялись, пользовались успехом и вниманием. Когда в 1823 году они отправились из Италии в Россию, их путешествие было похоже на триумфальное шествие. В Берлине их носили на руках. Принц Леопольд писал Элизе: «Я слышал, что Его Прусское Величество вас хорошо и должным образом чествовало. Даже на таком большом расстоянии я могу отлично себе представить каждую из моих милых приятельниц в этой обстановке».

Обласкали их и в Петербурге. Белокурая графиня Долли была провозглашена первой красавицей сезона. Этот титул закрепил за ней своим вниманием Александр I. Это была только прелюдия к тому положению, которое Элиза Хитрово и ее дочери заняли в петербургском свете, когда в начале 1827 года окончательно поселились в Петербурге.

Старшая, незамужняя дочь была в 10 лет сделана фрейлиной за заслуги деда фельдмаршала. Теперь императрица Александра Федоровна зачислила ее в свою свиту. Элиза Хитрово, дочь фельдмаршала, вдова дипломата и притом очень милая женщина, пользовалась благосклонностью царской семьи. В свете ее любили, хотя и подсмеивались над ее влюбчивостью. Неутомимый портретист Вяземский писал: «Утра Е. М. Хитрово (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее гр. Фикельмонт остались в памяти тех, кто имел счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имели первые отголоски в этих двух родственных салонах... Тут можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная с политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут и обозрение текущих событий. А что всего лучше, это всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. В числе сердечных качеств, отличавших Е. М. Хитрово, едва ли не первое место должно занимать, что она была неизменный, твердый, безусловный друг своих друзей».

Пушкин не раз мог в этом убедиться. Они познакомились, вероятно, в 1828 году. Эта светская женщина сразу отнеслась

к Пушкину с сердечной простотой, напоминающей дружбу с тригорскими соседками.

«Не знаю как благодарить вас за заботу о моем здоровье, — пишет ей Пушкин. — Трудности, огорчения и неприятности держат меня вдали от света...»

На него как раз тогда свалилась расплата за «Гавриилиаду», и он говорит с Элизой Хитрово о своей тревоге, как делится с ней и литературными и политическими мыслями. В январе 1829 года графа Фикельмонта назначили в Петербург австрийским послом. Элиза Хитрово, которая была очень дружна со своим зятем, поселилась у него в просторном доме австрийского посольства, где ей была отведена отдельная половина. Пушкин стал часто бывать у нее и у ее дочери. В посольстве он слышал последние европейские новости, мог обсуждать их с людьми не только стоявшими в центре европейской политики, но и влиявшими на ее ход.

Элиза Хитрово была на 16 лет старше Пушкина. Когда они познакомились, она, по тогдашним понятиям, была уже пожилой женщиной. Ей было 45 лет. Но она сохранила способность увлекаться и увлекать, была окружена поклонниками, которые часто были моложе ее. Один из них, граф В. А. Соллогуб, ей посвятил свои первые стихи. Он писал: «Э. М. Хитрово никогда не была красавицей, но имела сонмище поклонников, хотя молва никогда не могла назвать ее избранников, что в те времена была большая редкость. Она даже не отличалась особым умом, но обладала в высшей степени светской привлекательностью, самой изысканной и всепрощающей добротой, которая только встречается в настоящих больших барынях».

Элиза славилась красотой своих белых плеч и очень охотно выставляла их напоказ. За это ее насмешливые друзья, Вяземский и Пушкин, прозвали ее Элизой Голенькой.

«Эта истина совсем голая, как плечи нашей приятельницы», — писал Вяземский Смирновой-Россет. Элиза добродушно принимала их шутки, не обижалась.

Она подкупала Пушкина своей деятельной добротой, искренностью, но сбивала его бурностью своих чувств. Как поэта, она окружила его восторженным культом. Так было с начала их знакомства и до его смерти. Одно время она была просто и открыто влюблена в него. Трудно, да и не к чему устанавливать хронологию этой любовной истории. Важно то, что Элиза заняла свое определенное место в его жизни. Мимолетная связь, полная такой страстной нежности с ее стороны и шутливой небрежности с его, перешла потом в прочную, хорошую дружбу. Пушкин не очень церемонился со своей поклонницей, а она заботилась о нем, старалась

разогнать предубеждения против него, снабжала его иностранными книгами и газетами, которые не было разрешено выписывать. Через нее Пушкин получал стихи В. Гюго, Сент-Бёва, Альфреда де Мюссе, в котором сразу угадал большое дарование. Он в письмах обменивался с нею мыслями о книгах и политике, чего мы не видим в других его письмах к женщинам, не исключая писем к жене.

Элиза терпеливо сносила его причуды. Знала, что свою долю в его жизнь она вносит, что он к ней привязан. Но со сватовством его, которое совпало с разгаром ее влюбленности, ей сначала было очень трудно примириться.

Глава XIII

ПОКАЯННАЯ ЛИРИКА И «ПОЛТАВА»

Служенье Муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво.

Так в музыкально точной формуле определил Пушкин вечную обособленность художника. В этих двух строчках, написанных в деревне в 1825 году, есть, быть может, предчувствие суеты, которая год спустя захватила его. В течение трех лет — 1827—1829 годов — он писал мало. По-прежнему был он недосягаемым мастером русского слова, но служил ему урывками. Написал только одну большую поэму. Зато это была «Полтава».

Для внутренней биографии Пушкина в эти годы особенно показательна новая для него покаянная лирика — «Воспоминание», «Стансы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных». В эти же годы написал он «Поэт», «Чернь» и «Награда», позже названная «Поэту», произведения, отмечающие важный этап в его поэтическом сознании.

За шесть лет ссылки Пушкина жизнь в России резко переменилась. Конечно, только на тех верхах, к которым поэт принадлежал, а не в глубине. Дней Александровых прекрасное начало отошло в прошлое. Общенародная юношеская легкость, всероссийское «все можем», которое так ясно слышится в письмах и воспоминаниях Александровской эпохи, даже в таких официальных исторических работах, как многотомный труд Михайловского-Данилевского о походах Александра I, весь этот великодержавный размах, так гениально отразившийся в солнечной, торжественной поэзии Пушкина, — все это сжалось. Кончились праздники, пришли будни, праздничные огни потухли.

Из многолетних европейских войн Россия вышла победительницей. Потускнение жизни не было вызвано внешним поражением. Оно было следствием длившегося только несколько часов сражения на Сенатской площади, из которого никто не вышел победителем. Правда, заговорщики были разбиты, зато доверие между властью и думающими людьми было глубоко, надолго поколеблено. Еще Екатерина в своем наставлении наследникам писала: «Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены». Это огорчение оставило глубокие раны.

Внешне жизнь при Николае стала наряднее, благообразнее. Россия потихоньку начала богатеть. Но развеялось горение мечты, которой жило Пушкинское поколение. Пушкин, при всей своей простоте, был поэт пафоса, поэт больших мыслей и больших чувств. После 14 декабря для этого пафоса надо было найти новое применение, иное направление и содержание. После двух лет полусвободы он досадливо из Петербурга писал П. А. Осиповой:

«Признаюсь, наше житье довольно глупое, и я горю желанием так или иначе его переменить. Не знаю, приеду ли я в Михайловское. Хотелось бы. Признаюсь, шум и суета Петербурга мне становятся совершенно чужды. Я все это очень нетерпеливо переношу. Мне нравится ваш прекрасный сад и милые берега Сороти» *(24 января 1828 г.)*.

Опять, как в Кишиневе, заглядывал он в черные провалы небытия, в сердца непонятный мрак. Но уже отшумели бури юношеского отрицания. Какие-то смягчающие веяния прошли в Михайловском через его сердце. Как это произошло, мы не знаем. Пушкин на своем поэтическом языке, на котором он не боялся быть откровенным, говорит о своей внутренней жизни в Михайловском — «здесь меня таинственным щитом Святое Провиденье осенило». Значит, пережил он там какой-то просветляющий духовный опыт. После Михайловского в его стихах нет кощунства, в них порой слышится смущенное благоговение перед Непостижимым.

Мировая поэзия есть сознательное, или бессознательное, отражение того, как поэт воспринимает космос, весь космос, от травы под ногами до далекой звезды, от неприятностей денежных до блеска в глазах возлюбленной. Диапазон творчества определяется тем, какую долю космоса может он вместить, как звезда уживается с деньгами, «Граф Нулин» с «Годуновым». А также способностью художника овладеть отрезком жизни, превратить, подчинить его себе, провести через свое вдохновенье или через свою мозговую лабораторию дела человеческие, малые и большие. Пушкин в эти, для его

творчества менее обильные годы, нашел новые отрезки, затронул новые мотивы. Вдохновение хотя и редко, но приходило к нему, не считаясь с внешней обстановкой.

Летом 1827 года в беспорядочном, холостяцком номере трактира Демута, где день и ночь толкались около него офицеры, поэты, бездельники, поклонники, картежники, иногда шулера, Пушкин написал «Три ключа»:

В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности — ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит,
Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

(1827)

В этих восьми строках отрешенная от мира мудрость, тихое сердечное просветление, величавое признание, что все суета сует. В печать Пушкин «Три ключа» не отдавал. Не потому ли, что в них отразилось настроение, которым он ни с кем не хотел делиться?

К этим же годам относятся покаянные стихотворения, в которых есть какой-то библейский оттенок. Среди них незаконченный отрывок, позже озаглавленный «Воспоминания в Царском Селе». Поэт сравнивает себя с блудным сыном:

...Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.
В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном вихре суеты,
О, много расточил сокровищ я сердечных
За недоступные мечты...
И долго я блуждал, и часто, утомленный,
Раскаяньем горя, предчувствуя беды...
Я думал о тебе, приют благословенный,
Воображал сии сады...

(1829)

За год перед тем написал он «Воспоминание», которое даже исследователи, склонные умалять автобиографическое значение стихов Пушкина, вынуждены признать за исповедь:

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:

В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят, в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
(19 мая 1828 г.)

Пушкин напечатал только эту первую строфу. Вторую, где еще с большей печалью говорит он об утратах, разочарованиях и заблуждениях юности, он хранил для себя, может быть, из того же целомудренного чувства, которое иногда заставляло его в стихах менять, затушевывать любовные признания:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в гонении, в степях
Мои утраченные годы!
Я слышу вновь друзей предательский привет,
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды...
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне Ангела во дни былые!
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба.
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба...

О ком он думал? Что это, символическое видение или воспоминание о женщинах, когда-то любимых?

Точно отчаявшись разгадать смысл жизни, Пушкин написал:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
(26 мая 1828 г.)

Этот цикл заканчивается «Стансами». Они написаны после освежительной, радостной, бодрой поездки в Эрзерум. В них новая отрешенность, почти мусульманское отрицание волевой жизни:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных, —
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час...

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

В «Стансах» нет ни возмущения, ни бунта, ни укора. Спокойное признание хрупкости нашей жизни разрешается примирительным аккордом:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Под «Стансами» стоит пометка — *1829 г. 26 декабря, 3 ч. 5.* Так подробно Пушкин датировал стихи, которым почему-либо придавал особое значение. Так пометил он каждую главу «Полтавы».

Пушкин писал по поводу потерявшихся записок Байрона:

«И слава Богу, что потерялись. Толпе не к чему знать слабости гения, не к чему радоваться тому, что он может быть так же ничтожен, как и она. Врете, подлецы! Он и мал, и мерзок не так, как вы, иначе».

Эту инакость, эту обособленность свою от толпы он стал особенно определенно чувствовать, вернувшись из ссылки. Яснее ощутил, что поэт не только избранник, но и слуга, жертва своего дара. После нескольких месяцев жизни в Москве, жизни, полной успехов и утех, Пушкин, «почуяв рифмы», сбежал в Михайловское и там написал:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
(15 августа 1827 г.)

«Пророк» (1826), «Поэт», «Чернь» (1828), и «Поэту» (1830) составляют особый цикл, где с Пушкинской точностью очерчена сущность вдохновения, дан кодекс эстетики, ясный, живой, несравненно более убедительный, чем длинные трактаты по искусству.

Пророк в поисках Бога бежит в пустыню. В противоположность ему поэт, как будто ничего не ищет, поддается мелким соблазнам жизни. И вдруг, как удар молнии, налетает священный момент преображения, чуда, и поэт переживает то же, что и пророк, родственный трепет охватывает этих избранников святого духа. От прикосновения ангельской десницы глаза пустынника открываются, «как у испуганной орлицы». И поэт, как «пробудившийся орел». Его трепет, его смятение родственны священному ужасу пророка.

Тогда же посвятил психологии поэта стихотворение молодой Веневитинов: «Все чуждо, дико для него, на все безмолвно он взирает... тихий гений размышленья ему поставил от рожденья печать молчанья на уста...»

Сравнивая эти два стихотворения, Лернер говорит: «Пушкинский поэт диаметрально противоположен шлегелевскому и веневитинскому. Он не сам идет в пустыню или в лес, а гоним туда, и Пушкин выражает это состояние одним словом — смятение».

И. С. Тургенев говорил, что пушкинское определение — смятение — замечательно верно передает состояние души художника в момент творчества.

Год спустя после того, как был написан «Поэт», Пушкин написал «Чернь», диалог между толпой и поэтом, своеобразное продолжение «Разговора между книгопродавцем и поэтом». У толпы нет лукавой сметки и льстивости книгопродавца. Толпа тупа, требовательна. На ее дерзкие речи поэт отвечает не менее дерзкими обличениями:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес,
Тебе бы пользы все — на вес,
Кумир ты ценишь Бельведерский...

Чернь упрямо предъявляет свои права:

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй,
Сердца собратьев исправляй...
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Ответ поэта звучит олимпийской надменностью:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас...
. . . .
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
(1828)

Эти стихи в первый раз Пушкин прочитал у Зинаиды Волконской. В тот вечер он был замкнут и молчалив. Ему не хотелось читать. Но хозяйка настаивала. Он усмехнулся и прочел «Чернь», чем вызвал в салоне родовитой любительницы искусства смущение. Слушателям подумалось, не их ли он бичует? Не о светской ли черни говорит? На самом деле Пушкин был аристократ духа, а не класса, он не считал чернью ни бывшую крепостную Арину Родионовну, ни князя Вяземского, но многих своих знакомцев, титулованных и не титулованных, чернью считал.

Этот цикл замыкается сонетом, который Пушкин сначала выразительно назвал «Награда», потом напечатал под названием «Поэту»:

Поэт! не дорожи любовию народной,
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
(1 июля 1830 г.)

Он был женихом Таши Гончаровой, когда писал этот сонет. Но сколько величавой, орлиной печали в этих простых словах — ты царь: живи один. В них обреченность великого таланта. Как трагически звучат они в устах общительного поэта, с его веселой кровью, с его неослабевающей потребностью острить, шутить, играть, любить.

Пушкин подчинил себе все темы, все виды поэзии. Лирик, эпиграмматист, драматург, рассказчик, юморист, романист, сказочник, песенник — он все мог. Такие поэты не укладываются в рамки литературных категорий. Они их создают, шутя, на ходу, перестраивают и разбрасывают теоретические перегородки. Но если под лирикой понимать умение передавать, изображать чувства и страсти, свои и чужие, то Пушкин прежде всего великий лирик. Он говорил, что драматургом можно быть до 70 лет и позже, а лирическим поэтом только до 35 лет, но сам сохранил свой лирический дар до конца жизни. Правда, что ему, как Рафаэлю, было только 37 лет, когда он умер. Последние семь лет он писал больше прозой, поэтических произведений было все меньше, но, отражая изменения, происходившие в душе самого Пушкина, они становились все разнообразнее и совершеннее, все богаче, чище, глубже.

В Пушкине слишком долго видели главным образом сочинителя возмутительных политических стихов и любовных песен. Отчасти это было верно. Его первые четыре длинные поэмы посвящены любви. В них, как в «Евгении Онегине», как в позднейших прозаических рассказах, героиням отводится более благородная роль, женским чувствам придается больше глубины. А в любовной лирике Пушкин рисует все оттенки, всю красоту мужского чувства, ветреного, грустного, ревнивого, робкого, нежного, страстного до бесстыдства, восторженного до экстаза, то тоскующего, то насыщенного гордостью обладания. В его любовных песнях горит огонь, слышится биение горячей, влюбчивой крови. Это художественное преображение его собственного многообразного сердечного опыта. Это автобиография, прошедшая сквозь магический кристалл, переложенная на все богатства напевов и мелодий. Сколько русских поколений находили в стихах Пушкина выражение для своих чувств, одухотворенных его гением.

В «Каменном госте», описывая власть музыки, он говорит:

...Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь мелодия...

Все же любовь была только одним из мотивов его поэзии. В восемнадцать лет он написал «Вольность», где ясность мысли, сила политического пафоса, точность исторического описания сплетаются с могучим музыкальным ритмом. В посланиях и одах нередко является он летописцем — «Вещий Олег», «Вельможе», «Овидий», «Моя родословная». Принявшись за прозу, он начал с исторической повести — «Арап Петра Великого».

Петр ужс давно его занимал, давно вытеснил из его воображения Наполеона. Первая запись о Петре в кишиневской тетради:

«Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения» *(1822)*.

Мысль написать историю Петра давно занимала Пушкина, но он подходил к ней постепенно. Собирать в архивах материалы о Петре начал он, с особого царского разрешения, только в конце 1831 года, после женитьбы. Но еще до этого два раза писал он Петра. Первый великолепный эскиз, набросанный летом 1827 года в Михайловском, «Арап Петра Великого», почему-то остался неконченным. Осенью следующего года Пушкин вернулся к Петру и написал «Полтаву».

Это единственная большая поэма, которую Пушкин целиком, с начала до конца, с редкой даже для него стремительностью, написал в Петербурге. Сначала слова его не слушались. Он никак не мог справиться с описанием Марии, в которой есть несомненное сходство с Марией Раевской. Даже взял ее имя. На самом деле дочь Кочубея звали Матреной. Пушкин, описывая красоту молодой девушки, добивался простоты народного рассказа. Он менял, вычеркивал, искал настоящих слов, волновался, был оглушен хлынувшим вдохновением. Был в смятении. Наконец потерял терпение и отошел от «Полтавы», потребовал к ответу свою давнюю подругу:

Рифма, звучная подруга
Вдохновенного досуга,
Вдохновенного труда...
Ты умолкла, онемела;
Ах, ужель ты улетела,
Изменила навсегда?
В прежни дни твой милый лепет
Усмирял сердечный трепет,
Усыплял мою печаль!
Ты ласкалась, ты манила
И от мира уводила
В очарованную даль!
Ты, бывало, мне внимала,
За мечтой моей бежала,
Как послушное дитя...

...Сколько раз повиновался
Резвым прихотям твоим;
Как любовник добродушный,
Снисходительно послушный,
Был я мучим и любим...
(1828)

Рифмы отозвались на призыв своего верного любовника, хлынули толпой, не оставили его в покое, пока он не кончил «Полтаву».

Над «Годуновым» Пушкин работал год в деревне, без помех, без отвлечений. «Полтаву» он писал в шумной гостинице, где по-прежнему вокруг него толпились друзья и знакомцы, и закончил ее в три недели.

Первая песнь — 500 строк — была кончена 3 октября 1828 года. Вторая — 580 строк — 9 октября. Третья — 482 строки — 16 октября. Стихи одолевали его, как бред. Он рассказывал Юзефовичу, офицеру, с которым через год встретился под Эрзерумом, что, когда он писал «Полтаву», стихи, как в юности в Лицее, грезились ему даже во сне. Он вскакивал с постели и впотьмах записывал их. Днем писал почти без остановки. Торопливо обедал в одном из соседних трактиров. Но стихи его и там настигали. Он записывал их прозой, потом шла отделка.

«Я видел у него черновые листы, — писал Юзефович, — до того измаранные, что в них ничего нельзя было разобрать, над зачеркнутыми строчками было несколько рядов зачеркнутых же строчек, так что на бумаге не оставалось ни одного чистого места. Однако, несмотря на такую работу, он кончил «Полтаву», помнится, в три недели».

Сохранившиеся черновики «Полтавы» подтверждают точность этого рассказа. Поправки Пушкин обычно делал позже. В «Египетских ночах» Пушкин рассказал, как налетает на поэта вдохновенная одержимость, как находит на него «эта дрянь».

«Приятель мой уверял, что он только тогда и знал истинное счастье. Остальное время года он гулял» *(1835)*.

Именно эти прогульные полосы даже люди, близкие Пушкину по духу и ремеслу, больше замечали, чем его страдную пору. Осенью 1828 года, когда Пушкин был одержим «Полтавой», Вяземский из своего барственного Остафьева, где он весело бездельничал, ухаживая за хорошенькими соседками и посвящая им нежные стихи, дружески корил Пушкина за беспутство, за карточную игру, за то, что вьется около медной Венеры, а главное, за лень. Всем этим Пушкин был грешен. За Аграфеной Закревской ухаживал. В карты играл безудержно, неосторожно и много проигрывал. Не тогда, когда писал

«Полтаву», а раньше. Но на полях рукописи «Полтавы», против описания любви казака к Марии отмечены следы игры — его карточные долги:

1800 Гол. (Голицыну)
500
850

Свалилась на него тогда еще напасть худшая, чем карточные долги; правительство затеяло дело о «Гаврилиаде». Но когда среди всех забот, беспорядочных страстей и тревог раздался таинственный призыв, в ответ ему встрепенулась душа поэта и зазвучал кованный стих Пушкина.

В «Полтаве» нет и следа мягкой чувствительности первых поэм. Это мужественное, вылитое из бронзы произведение. «Полтава» так насыщена историческими мыслями и характеристиками, что нужно все колдовство Пушкинской музыки, чтобы поэма не производила впечатление странички из исторического исследования.

Из полутора тысяч строк только сто с чем-то посвящены Петру, но Царь витает над поэмой, как Медный Всадник над Петербургом. Великий, искусный мастер, Пушкин так построил поэму, что размах исторической борьбы не заслоняет характеров: колоссальная фигура Царя не мешает читателю с волнением следить за судьбой и других героев, за тайными происками Мазепы, за повестью его любви к Марии. В борьбу сильных, властных людей Пушкин ввел молчаливую влюбленность к Марии молодого казака. Его робкая любовь к дочери Кочубея напоминает любовь самого Пушкина к другой Марии, к Раевской-Волконской.

Петр появляется только в третьей песне, в описании Полтавского боя. С первого же стиха от него веет грозной силой, которая порой наводила такой ужас на современников:

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь как Божия гроза.

С необычайной простотой, силой, краткостью, без объяснений и рассуждений, Пушкин тут же, в грохоте и движении боя, дает почувствовать в могучем всаднике, в его свыше вдохновенном голосе воплощение великой державы:

И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой,
. . . .
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,

В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны...

«Полтава» не до конца исчерпала поднявшуюся в душе Пушкина волну вдохновения. Сразу от поэмы он перешел к «Онегину» и закончил к началу ноября седьмую главу, черновик которой уже два года таскал с собой в чемодане. 9 ноября написал он «Анчар» и, наконец, оглянувшись на эти недели стремительного творчества, провел резкую черту между собой и толпой — написал «Чернь». Плодовитая в тот год выдалась у него осень, хотя и провел он ее в Петербурге. «Полтава» была напечатана через несколько месяцев после того, как была написана, но оценили, поняли эту гениальную вещь только десятилетия спустя.

«Полтава» вышла, но принята холодней, чем заслуживает, — писал Погодин Шевыреву, — у Пушкина публика вычитает теперь из должных похвал прежние, лишние» *(28 апреля 1829 г.)*.

«Полтава» вообще меньше нравится, чем все другие поэмы Пушкина, — писал Баратынский Вяземскому, — ее критикуют вкривь и вкось. Странно. Я говорю не потому, чтобы я чрезмерно уважал суждения публики и удивлялся, что на этот раз оно оказалось посрамленным. Но «Полтава» имеет то, что доставляет успех: почтенный титул, занимательность содержания, новость и народность предмета» *(1829)*.

Оправдалось то, что еще раньше по поводу неодобрительных отзывов о IV и V главах «Онегина» Баратынский писал Пушкину:

«Высокая простота создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходит перед их глазами: mais que le diable les emportent et que Dieu les bénisse*. Я думаю, что у нас в России поэт только в первых своих незрелых опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большой обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним и не мирятся, потому что его стихи все-таки не проза» *(март 1828 г.)*.

Уже после смерти Пушкина Вяземский писал:

«По мере созрения и усилившейся мужественности таланта своего он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и нашу бессознательную и малоголовую критику».

---

* Но да поберет их дьявол и да благословит их Господь *(фр.)*.

Но книги его по-прежнему быстро раскупались. Писал он меньше, чем прежде, но издавал гораздо больше. До возвращения из Михайловского им были изданы пять книг: «Руслан и Людмила» (1820), «Кавказский пленник» (1824), «Бахчисарайский фонтан» (1824), первая глава «Онегина» (1825), первая книга стихов (1825).

В течение следующих трех лет Пушкин напечатал десять книг, по-прежнему оставаясь собственным издателем.

1826 г. — Вторая глава «Онегина».

1827 г. — «Цыгане». «Бахчисарайский фонтан», второе издание. «Онегин», третья глава.

1828 г. — «Руслан и Людмила», третье издание. «Онегин», четвертая и пятая главы, «Онегин», шестая глава.

1829 г. — Стихотворения, часть I и II. «Полтава».

Глава XIV

ПОД ТАЙНЫМ НАДЗОРОМ

Пушкин перестал быть ссыльным, но и права свободного передвижения не получил. Надзор за ним стал затаеннее, лукавее и строже. Царь обещал ему быть его цензором и поставил между собой и поэтом шефа жандармов, генерал-адъютанта А. Х. Бенкендорфа, который окружил его шпионами. Об этих махинациях полицейского подполья Пушкин долго не знал. Да и нелегко было о них догадаться, в них разобраться. Только много лет спустя после его смерти опубликование документов, писем, воспоминаний, в особенности казенных бумаг, показало истинное отношение правительства к Пушкину.

После первого эффектного приема Пушкин долго не встречал Царя. Между ними встал близкий Николаю I человек — шеф жандармов. Он Пушкина гоненьям не подвергал, но изводил его мелкими придирками, замечаниями, запросами, запретами, выговорами. Пушкин долго относился к этим систематическим приставаниям с удивительным добродушием. Чего особенно беспокоиться, если молодой Царь его вернул, принял его приветливо, поздравил со свободой, обещал сам быть его цензором. Это главное. С остальным можно мириться. Пушкин старался не беспокоить лишний раз своего высокого цензора «среди его огромных государственных забот». Но все же Царя, не шефа жандармов, считал он своим литературным начальством и с удовольствием называл Николая — мой цензор. Это придавало ему уверенности, тешило

его самолюбие, немало пострадавшее за время шестилетней ссылки.

На самом деле так называемая свобода Пушкина, то есть его право на передвижение и на печатание своих произведений, определялась Бенкендорфом. Изредка шеф жандармов действовал по прямому указанию Царя, чаще сам подсказывал Царю, что можно и чего нельзя дозволять поэту.

Генерал-адъютант, впоследствии граф, А. Х. Бенкендорф (1783—1844) был одним из немногих, кому Николай I доверял. Они знали друг друга с детства. Мать Бенкендорфа была немка, близкая подруга императрицы Марии Федоровны, с которой вместе приехала из Германии. Отец, тоже немец, состоял при в. к. Павле Петровиче. Александр Бенкендорф вырос среди гатчинских влияний и уже тогда сблизился с Николаем Павловичем, хотя был гораздо старше его. Оба они прежде всего были солдаты. Став императором, Павел I назначил 15-летнего Бенкендорфа, одновременно с его родственником, графом Воронцовым, своим флигель-адъютантом. Позже он принял участие во многих военных кампаниях, которыми было так богато царствование Александра, несмотря на то, что Царь всегда мечтал о мире, как, впрочем, и его противник, Наполеон. Когда Наполеон занял Москву, Бенкендорф был комендантом города. Уходя, он сумел захватить у французов 30 орудий и 3000 пленных. Он участвовал в преследовании французов в 1812—1814 годах, был в Голландии, в Бельгии, занял Дюссельдорф и Лувен. За свои подвиги он получил немало орденов русских, шведских, прусских, нидерландских. Регент Великобритании дал ему золотую саблю с надписью — «За подвиги 1813 г.».

Александр I не любил Бенкендорфа и для внутренней службы его не употреблял. Для Николая это был приближенный, верный слуга. Страшный день 14 декабря они пережили вместе, и это их еще больше сблизило. Две недели спустя после казни декабристов, 25 июля 1826 года, Бенкендорф был назначен шефом жандармского корпуса и начальником Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Эти два, связанные между собой учреждения были только что созданы для борьбы с крамолой и для наблюдения за политической благонадежностью населения. Просуществовали они почти сто лет и только в 1917 году были уничтожены революцией, оставив по себе недобрую память.

Бенкендорф был ограниченный, сухой карьерист. В обществе его не любили. Его причисляли к немецкой партии, придворное влияние которой раздражало русскую знать. Лицеист, барон М. А. Корф, сам из немецкой семьи, оставил

нелестный отзыв о Бенкендорфе. Он говорит, что Бенкендорф в гостиной, особенно в своем любимом женском обществе, мог быть приятным собеседником. Но ни в Комитете министров, ни в Государственном Совете, где Корф десять лет заседал с Бенкендорфом, он никогда не слыхал его голоса. По словам Корфа, Бенкендорф никогда ничего не читал и на всех языках был малограмотен.

А. О. Россет-Смирнова говорит в своих записках: «Я уверена, что он хотел бы искоренить русскую литературу, что не мешало ему считать себя очень образованным». (Je crois qu'il voudrait supprimer la littérature russe, et cependant il se croit sehr gebildet.)

К книгам, к просвещению, особенно русскому, Бенкендорф относился с большой недоверчивостью. Он сам об этом рассказал в своих записках. В 1830 году ехал он с Царем по тряской дороге в Выборг. Говорили о французской революции. Бенкендорф сказал: «В России со времен Петра Великого всегда стояли впереди нации ее монархи. Поэтому не должно слишком торопиться с ее просвещением, чтоб народ не стал, по кругу своих понятий, в уровень с монархом и не посягал тогда на ослабление их власти». Николай в ответ на это глубокомысленное замечание промолчал.

Вот этого-то генерала, считавшего, что самодержавие может сохранить власть только над непросвещенными подданными, Царь поставил между собой и Пушкиным, в котором сам признавал одного из умнейших людей России. Ему отдал он под опеку поэта, гений которого уже был всенародным достоянием. В своих докладах Царю Бенкендорф упоминает о Пушкине с коварной полуснисходительностью. Когда Царь после коронации вернулся в Петербург, Бенкендорф докладывал: «Пушкин, автор, в Москве и всюду говорит о Вашем Величестве с благодарностью и величайшей преданностью. За ним все-таки следят внимательно».

И опять несколько месяцев спустя: «После свидания со мною Пушкин в английском клубе с восторгом говорил о В. В. и побудил лиц, обедавших с ним, пить за В. В. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно» *(1 июля 1827 г.)*.

По своей лени и малограмотности Бенкендорф предпочел переложить наблюдение за Пушкиным на своего помощника, заведующего Третьим отделением, тоже немца, фон Фока. Трудолюбивый подчиненный был умнее и образованнее своего начальника и держал все дело политического сыска и надзора в своих руках. Он любил это дело. Вел его систематически. Под его управлением работал целый штат тайных

агентов, среди которых были люди невежественные, но были и образованные. Фон Фок получал донесения от лакеев и офицеров, от помещиков и актеров, от чиновников, от придворных, от писателей. Он накопил в III отделении богатейший архив, бесконечное число записочек, заметок, меморандумов, писем, из которых многие писаны его мелким, бисерным почерком. Фон Фок любил писать, любил придавать своей полицейской переписке оттенок литературности, вносить в нее личные оценки людей и событий.

За Пушкиным он следил пристально и недоброжелательно. Один из его подчиненных, чиновник III отделения, М. М. Попов, говорит в своих записках, что Бенкендорф и фон Фок всегда смотрели на Пушкина, «как на опасного вольнодумца, постоянно следили за ним и тревожились каждым его движением. Бенкендорф и фон Фок, не восхищавшиеся ничем в литературе и не считавшие поэзию делом важным, передавали царскую волю Пушкину всегда пополам со строгостью, хотя и в самых вежливых выражениях. Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец предпримет какой-нибудь вредный замысел или сделается коноводом возмутителей. Между тем Пушкин постоянно впадал в проступки, выслушивал замечания, приносил извинения и опять проступался. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись».

В этих словах чиновника тайной политической полиции есть неожиданное сходство с дельвигским определением — «великий Пушкин, малое дитя».

С фон Фоком у Пушкина почти не было прямых отношений, и ему трудно было догадаться, какую роль этот жандармский генерал играет в его жизни. Когда фон Фок умер, Пушкин записал в дневнике:

«Скончался в Петербурге фон Фок, начальник III-го Отделения Государственной Канцелярии (Тайной Полиции), человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Государь сказал: «Я потерял Фока. Я могу только его оплакивать и сожалеть, что он никогда не вызывал во мне любви». Вопрос, кто будет на его месте, важнее другого вопроса: «Что сделаем с Польшей». Это уже ироническое добавление к великодушной памятке.

Кроме этих двух старших жандармских генералов, за поэтом следил целый штат тайных агентов. Из них едва ли не самым гнусным был Фаддей Булгарин (1789—1859). Романист, журналист, редактор большой газеты, он не гнушался состоять на жалованье в тайной полиции и писать доносы на писателей. Сын мелкого польского шляхтича Минской губер-

нии, Булгарин служил в Русской армии, дрался против Наполеона. За бесчестные поступки его выгнали из полка. Тогда он перебежал во французскую армию, но выбрал плохой момент, попал в отступление, докатился с французами до Парижа, там был арестован русскими как дезертир и выслан обратно в Россию. В Париже он успел познакомиться с либеральными офицерами. Это знакомство продолжалось и в Петербурге. Он был запросто принят у Рылеева, бывал у Бестужева и других декабристов. Начальство, чтобы вознаградить его за шпионство среди литераторов, дало ему исключительную привилегию — право издавать в Петербурге ежедневную газету. Названия ее менялись — «Северный Архив», «Литературные Листки», «Северная Пчела». Последняя была самая долговечная из всех. Булгарин начал издавать ее в 1825 году вместе с Гречем. 30 лет они безнаказанно писали в ней пасквили и доносы на писателей. Жандармы считали польского дезертира Булгарина русским патриотом и оставили за ним монополию газетного дела в Петербурге.

Для Бенкендорфа и фон Фока Булгарин был авторитетом по делам русской литературы. В 1826 году, по желанию Бенкендорфа, Булгарина зачислили в чиновники Министерства просвещения, вероятно, в награду за доносы на декабристов, со многими из которых он был на «ты». Служба давала ему определенное общественное положение и право получать чины и ордена. В подтверждение заслуг Булгарина перед просвещением Бенкендорф указал, что еще в 1816 году Булгарин «издал по-русски избранные оды Горация, из которых было исключено все соблазнительное и помещено все согласное с христианской нравственностью».

Как Булгарин приблизил Горация к христианству, неизвестно, но в нем самом христианских добродетелей было мало. Он был неглуп, мог писать, но по характеру своему был продажный, злой, низкий, совершенно бесстыжий человек. Пушкина временами он травил, то явно, своей пасквильной, недобросовестной критикой, то тайно, как секретный доноситель. Но вначале, когда Пушкин только что вернулся из ссылки, Булгарин старался завязать с ним дружеские отношения. Возможно, что он действительно любил его стихи. Во всяком случае, ему очень хотелось заручиться ими для «Северной Пчелы».

В первых секретных донесениях о Пушкине Булгарин давал о нем благоприятные отзывы. Они сохранились в обширных архивах аккуратного фон Фока. Спустя два года после бунта Булгарин писал:

«После 14-го декабря петербургские литераторы перестали

собираться в дружеские кружки, как было прежде, и не стали ходить в привилегированные литературные общества, уничтожившиеся без всякого повеления начальства. Нелепое мнение, что Государь Император не любит просвещение, было общим среди литераторов. Но чины, пенсии и подарки, жалуемые от щедрот монарха, составление комитета для сочинения нового цензурного устава и, наконец, особое попечение Государя об отличном поэте Пушкине совершенно уверили литераторов, что Государь любит просвещение, но только не любит, чтобы его употребляли как вредное орудие для развращения неопытных софизмами и остроумными блестками» *(14 декабря 1827 г.)*.

Булгарин знал, что правительство хочет создать себе опору в общественном мнении, и со свойственной ему низменной, лакейской угодливостью изображал перемену настроений писателей, а Пушкина — как примирителя между ними и властью. Описывая вечеринку у Свиньина, Булгарин рассказывает:

«За ужином, при рюмке вина, вспыхнула веселость, пели куплеты и читали стихи Пушкина, пропущенные Государем к напечатанию. Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих Государь сравнивается с Петром. Начали говорить о ненависти Государя к злоупотреблениям и взяточности, об откровенности его характера, о желании дать России законы — и, наконец, литераторы так воспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев с рюмками шампанского и выпили за здоровье Государя. Один из них весьма деликатно предложил здоровье цензора Пушкина, и все выпили до дна, обмакивая стансы Пушкина в вино. Пушкин был в восторге и постоянно напевал, прохаживаясь: «И так, молитву сотворя, во первых здравие царя» *(сентябрь 1827 г.)*.

После этих донесений фон Фок писал: «Поэт Пушкин ведет себя отменно хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит Государя» *(октябрь)*.

Все это писалось, пока Булгарин искал сближения с Пушкиным, потом тон переменился.

Отношение самого Бенкендорфа к Пушкину очень напоминает Воронцова. В обоих генералах было врожденное пренебрежение к такому пустому занятию, как писание стишков. Обоих раздражала независимость Пушкина и его слава. Но Бенкендорф свою недоброжелательность уже вынужден был скрывать. В Одессе Воронцову и в голову не приходило, что правительству не следует отталкивать Пушкина, а Бенкендорф уже говорил Царю, что может быть выгодно «направить перо и речи» поэта.

Общественного мнения в России еще не было. Но было мнение дворянства. Николай понимал, что с их симпатиями и антипатиями приходится считаться. Слава Пушкина уже была так велика, что обращаться с ним по-воронцовски было невыгодно. Пушкин, со своей стороны, уже не был так нетерпелив и резок, как в Одессе. Он остепенился, научился лучше владеть собой. Воронцова он всегда был готов щелкнуть эпиграммой, надменность вельможи отпарировать острой шуткой, которая бесила самолюбивого барина больше, чем грубость, тем более что ему доносили, что вся Одесса повторяет эпиграммы Пушкина. Таких «Пажеских шуток» Пушкин себе с Бенкендорфом не позволял и на него эпиграмм не писал. Шеф жандармов говорил с ним от имени Царя. Пушкин этого никогда не забывал. Но власть Бенкендорфа была куда шире, чем власть генерал-губернатора, настигала Пушкина в любом конце России. Негде было укрыться от его холодного, подозрительного взгляда. При полном отсутствии политической свободы, при упрямом недоверии власти к населению всякий русский подданный, а тем более писатель, находился в большой личной и профессиональной зависимости от правительства. Шефу жандармов было подвластно то, чем Пушкин жил и духовно и материально, — его право печататься.

Их десятилетняя переписка показывает, как неустанно жандармы, шпионы, доносчики, клеветники следили за Пушкиным. Даже мягкотелый Жуковский, когда он после смерти поэта прочел эту переписку, возмутился и написал Бенкендорфу: «Я перечитал все письма, им от Вашего Сиятельства полученные: во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжимается при этом чтении. Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, когда Государь его так великодушно присвоил, его положение не изменилось; он все был, как буйный мальчик, которому опасно дать волю, под строгим, могучим надзором. Годы проходили. Пушкин созревал. Ум его остепенился. А прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было все то же и то же» *(февраль 1837 г.)*.

Сам Пушкин долго этого не замечал. Когда наконец заметил, в нем поднялась тяжелая брезгливость, омрачившая его отношения с Царем.

Пушкин встречал Бенкендорфа в свете, изредка вынужден был являться к нему в канцелярию. Чаще сносились они письмами. В большинстве писем Бенкендорфа есть выговоры, иногда резкие. Зачем, не спросясь, читал Пушкин в Москве «Годунова»? Зачем не известил, что едет в Петербург?

в Москву? в деревню, на Кавказ? Почему вообще разъезжает не спросясь? Зачем явился на бал во французском посольстве во фраке, а не в дворянском мундире? Из месяца в месяц, из года в год этот ничтожный жандармский офицер приставал к великому поэту со всякой чепухой. Даже теперь, сто лет спустя, эти письма раздражают своей сухостью, тупым высокомерием, полным непониманием, кому он пишет.

До сих пор опубликовано 36 писем Бенкендорфа и 56 писем Пушкина к нему. Некоторые из них писаны по-французски, да и русский текст местами напоминает своими деланными выражениями и преувеличенной почтительностью официальный французский стиль.

Первое письмо Пушкина, где он спрашивает разрешения поехать в Петербург, до нас не дошло. Ответное письмо Бенкендорфа полно раздражительности с оттенком угрозы: «Государь Император не только не запрещает приезда Вашего в столицу, но предоставляет совершенно на Вашу волю». Кажется, чего бы лучше? Но сейчас же начинаются оговорки: «С тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешение через письмо. Его Величество совершенно остается уверен, что Вы употребите отличные Ваши способности на предание потомству славы нашего отечества, предав вместе бессмертию имя Ваше. В сей уверенности Е. И. В. благоугодно, чтобы Вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить Ваши мысли и соображения, и предмет сей должен предоставить Вам тем обширнейший круг, что на опыте видели все совершенно пагубные последствия ложной системы воспитания... Сочинений Ваших никто рассматривать не будет, на них нет никакой цензуры. Государь Император сам будет первым ценителем ваших произведений и цензором. Объявляя Вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения Ваши, так и письма можете для представления Его Величеству доставлять мне, но, впрочем, от Вас зависит и прямо адресовать их на монаршее имя» *(30 сентября 1826 г.)*.

В этом письме уже вся программа дальнейших двусмысленных отношений между правительством и поэтом. В каждой фразе ловушка или недоговоренность. Право печатания, право передвижения даны, и в то же время не даны, точно нарочно, чтобы потом Пушкину, как школьнику, читать нотации.

А он это первое письмо принял добродушно, увидел в нем только формальное подтверждение, что Царь сам будет его

цензором, спокойно уехал в Михайловское, где собирался писать седьмую главу «Онегина» и заказанную ему записку о воспитании. Во Пскове его нагнало второе письмо, уже с двойным выговором, за то, что не ответил на первое, и за то, что «доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную Вами трагедию» *(22 ноября 1826 г.)*.

Пушкин начал свой ответ Бенкендорфу теми же словами, как в Одессе начал письмо Казначееву:

«Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, я не знал, должно ли мне отвечать на письмо, которое удостоился получить от Вашего Превосходительства и которым был я тронут до глубины сердца». Он извинялся в этом неумышленном проступке, «так как я действительно читал в Москве свою трагедию некоторым особам (конечно, не из ослушания, но только потому, что худо понял Высочайшую волю Государя), то поставляю за долг препроводить ее Вашему Превосходительству в том самом виде, как она была мною читана, дабы Вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена. Я не осмеливался прежде сего представить ее глазам Императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения» *(29 ноября 1826 г.)*.

Царь оценил прямоту и искренность этого письма. Возвращая его Бенкендорфу, он писал: «Я очарован письмом Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его сочинение. Велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтобы она не распространялась».

Бенкендорф передал рукопись Булгарину. Он был тем верным человеком, кому поручили составить для Царя выписки. Булгарин «Годунова» не одобрил: «Все разговоры, припоминающие Вальтер Скота. Все подражания. Прекрасных тирад и стихов весьма мало. Некоторые места должно непременно исключить». По мнению Булгарина, пьесу можно, пожалуй, разрешить к печатанию, но уже никак не к представлению. Бенкендорф подал Царю эти соображения как свои собственные, прибавив к ним выдержки из трагедии, сделанные Булгариным. Царь, прочтя выдержки, согласился с мнением этих двух ценителей русской литературы. Пушкин скоро получил от шефа жандармов письменный отзыв: «Е. И. В. изволили прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно написали следующее: «Я считаю, что цель г Пушкина была бы выполненная, если бы с нужным очищением переделал бы комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скота» *(14 декабря 1826 г.)*.

Тут Николай отчасти повторил суждение, подсказанное ему продажным писакой, о котором он мало что знал. Но какие-то сомнения копошились в голове Царя. Через несколько времени он спрашивал Бенкендорфа: «Ответил ли вам Пушкин по поводу замечаний на трагедию?»

Конечно, ответил:

«С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего Превосходительства, уведомляющее меня о Всемилостивейшем отзыве Его Величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как Государь Император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное.

В непродолжительном времени буду иметь честь, по приказанию Вашего Превосходительства, переслать Вам мелкие мои стихотворения.

С чувством глубочайшего почтения, благодарности и преданности честь имею быть

3 Января — Вашего Превосходительства
1827 — Всепокорнейший слуга
Москва. — Александр Пушкин».

Так с щегольской краткостью отклонил он царский совет. «Борис Годунов» остался лежать у него на столе. Только немногие отдельные сцены, дразня любопытство читателей, появились в журналах.

Опять, как во время одесской борьбы Пушкина с полумилордом, приятели не сразу поняли, что проделывает с ним Бенкендорф. Умный Вяземский писал Жуковскому: «Пушкин получил обратно трагедию из рук высочайшей цензуры. Дай Бог каждому такого цензора. Очень мало увечья» *(16 января 1827 г.)*.

Одновременно с трагедией Бенкендорф передал Царю составленную Пушкиным «Записку о воспитании». Она была заказана с благим намерением «занять досуг» поэта, доставить ему возможность «предать свое имя бессмертию». Бенкендорф, как и Воронцов, в сущности, как и Николай, были не способны понять, что каждая строка Пушкина укрепляет его право на бессмертие, увеличивает славу России, имеет более влияния на юношество, чем воспитательные проекты их подчиненных. Пушкин им сам об этом позже напомнил.

Казалось, писатель, ставший идолом своего поколения, умеет распоряжаться своим досугом, но ведь для Царя и его советчиков стихи были делом несерьезным. Пушкину, при всем его отвращении к казенной прозе, пришлось написать заказанную ему докладную записку. На этот раз нельзя было

так нашалить, как с саранчой. Он старался честно составить свой педагогический рапорт.

В нем много дельных замечаний, есть интересная характеристика тех перемен, которые на его глазах произошли в молодом поколении, но нет в ней той отчетливой ясности мысли и изложения, которая так пленяет во всем, что написано рукой Пушкина. Он знал, что не годится для казенных поручений, и не надеялся, что правительство согласится с его взглядами на просвещение. Его записка кончается признанием, что ему больше бы хотелось представить свои взгляды на цензуру: «Прошу Его Величество дозволить мне повергнуть пред ним мысли касательно предметов, более мне близких и знакомых».

Такого позволения не последовало. В своей записке о воспитании Пушкин предлагал уничтожить телесные наказания в школах и «заранее внушать воспитанникам правила чести и человеколюбия. Не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатами, слишком жестокое наказание делает из них палачей, а не начальников».

В этих словах Царь и Бенкендорф могли без труда уловить связь с ненавистными им идеями декабристов, убежденных противников телесных наказаний. Хотя к самому восстанию 14 декабря Пушкин свое критическое отношение достаточно ясно определил:

«Должно надеяться, что люди, разделившие образ мыслей заговорщиков, образумились, что с одной стороны они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей».

Бенкендорф был слишком туп, чтобы уловить личный, к самому Пушкину относящийся смысл этого замечания, а общий дух записки ни ему, ни Николаю не понравился. Это ясно видно из его письма к Пушкину. Оно начинается словами: «Государь с удовольствием читал», а кончается: «Впрочем, рассуждения Ваши заключают много полезных истин». Бенкендорф писал: «Его Величество заметить изволили, что принятое Вами за правило, будто бы просвещение и гений (у Пушкина ни слова о гении. — *А. Т.-В.*) служат исключительным основанием совершенства, есть правило, опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое количество молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному» *(23 декабря 1826 г.)*.

Это письмо шефа жандармов Пушкин получил в Москве,

как раз когда появление Марии Волконской обострило в нем и в его друзьях сознание близости с декабристами. К ним относились язвительные слова Бенкендорфа о завлеченных на край пропасти.

Весной Пушкину захотелось уехать из Москвы в Петербург. Он не знал, что ему запрещено, что разрешено. На всякий случай через Бенкендорфа попросил он разрешения на эту поездку. В ответ получил очень наглое письмо, смысл которого сводится к тому, что право разъездов по России надо еще заслужить примерным поведением: «Его Величество, соизволяя на прибытие Ваше в Петербург, Высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином Государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано» *(3 мая 1827 г.)*.

Так же неопределенно, как право разъездов, оставалось право Пушкина печатать свои произведения. Он подпал под двойную цензуру — царскую и общую. 22 августа шеф жандармов известил Пушкина, что Царь «изволил прочесть с особым вниманием» ряд стихотворений. «Ангел», «Стансы», III глава «Онегина» были пропущены без перемен. «Графа Нулина» Государь Император «изволил прочесть с большим удовольствием».

По-видимому, шаловливая повесть пришлась Николаю больше по вкусу, чем «Годунов». Но два стиха — «Порою с барином шалит» и «Коснуться хочет одеяла» — Царь предложил изменить. Смирнова рассказывала, что Николай сам заменил в тексте одно слово другим, вместо «урыльник», как было у Пушкина, поставил «будильник». Это восхитило Пушкина: «Это замечание джентльмена. И где нам до урыльника? Я в Болдине завел горшок из-под каши и сам полоскал его с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой?»

Одновременно с «Нулиным» была пропущена цензурой сцена из «Фауста» с ничтожной поправкой. Народные песни о Стеньке Разине были запрещены. «При всем своем поэтическом достоинстве по содержанию своему они неприличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина, ровно как и Пугачева». Пушкин считал эти замечания снисходительными и, отсылая стихи Погодину для «Московского Вестника», писал:

«Победа! Победа! «Фауста» Царь пропустил, кроме двух стихов — «Да модная болезнь, она недавно нам подарена», — скажите это господину, который вопрошал нас, как мы смели представить пред очи его высокородия такие стихи! Покажите

ему это письмо и попросите его высокородие от моего имени впредь быть учтивее и снисходительнее» *(31 августа 1827 г.).*

Господин, так рассердивший Пушкина, был московский цензор, профессор И. М. Снегирев. Как и все цензурные чиновники, он боялся Пушкина, боялся его вспыльчивости, его насмешек, но боялся и начальства, боялся проглядеть опасную строчку. Снегирев записал в дневнике: «После заутрени беседовал с Погодиным о стихах Пушкина, подражание Фаусту Гётеву, в коем есть выражения, противные нравственности, и все основание оной мне не нравится» *(7 марта 1827 г.).*

Погодину очень хотелось напечатать «Фауста» в «Московском Вестнике», но он был не из храбрых, и отзыв цензора его так напугал, что, даже получив от Плетнева пропущенный Царем текст «Фауста», Погодин еще посоветовался с другим знакомым цензором, с С. Т. Аксаковым. Тот тоже не удовлетворился царским разрешением, стал раздумывать. Пушкин сердился и из Петербурга писал Погодину:

«Я не лишен прав гражданства и могу быть цензирован нашею цензурою, если захочу — а с каждым правоучительным четверостишием я к Высшему цензору не полезу. Скажите это им» *(ноябрь 1827 г.).*

«Фауст», пройдя царскую цензуру, еще год гулял по канцеляриям. Пушкин, с трудом скрывая свое раздражение, снова писал Бенкендорфу, стараясь выяснить свои права. От этого письма, может быть, даже неотправленного, остался только черновик:

«Г. обер. полиц. требовал от меня подписки в том, что я впредь [не буду печатать] без предвар. обычной цензуры... Государь Император в минуту, для меня незабвенную, изволил освободить меня от цензуры, я дал честное слово Государю, кот. изменить я не могу, не говоря уже о чести дворянина, но и по глубокой моей привязанности к Царю и человеку. Требование полицейской подписки унижает меня в собственных глазах... Прошу Ваше Прев. разрешить мне, как надлежит мне впредь поступать с моими сочинениями, которые, как вам известно, составляют одно мое имущество» *(август 1828 г.).*

Полицейская подписка была связана с новыми, грозными неприятностями. Это, после возвращения из ссылки, была уже вторая история из-за стихов. Первое дело возникло летом 1826 года. Пушкин был еще в Михайловском, когда генерал И. Н. Скобелев получил от тайного агента стихи, которые под заглавием «14-е декабря», ходили в рукописи между офицерами. Генерал Скобелев еще на юге, как военный полицеймейс-

тер, следил за Пушкиным. В одном из своих рапортов он, перевирая цитаты из «Вольности», писал: «Пора сказанному вертопраху Пушкину запретить издавать развратные стихотворения. Если бы сочинитель этих вредных пасквилей в награду лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше».

Генерала перевели в Петроград, назначили комендантом Петропавловской крепости, где под его охраной сидели декабристы. Хотя их идеи, как и всякие либеральные идеи, были Скобелеву ненавистны, но обращался он с арестантами гуманно.

Когда Пушкин был еще в Михайловском, Скобелев получил от тайных агентов стихи «14-е декабря» и переслал их шефу жандармов, присоединив копию письма, которое Рылеев писал перед казнью и которое никакого отношения к стихам не имело. Бенкендорф, имевший до приезда Пушкина в Москву смутное о нем представление, ответил характерно безграмотным вопросом: «Какой это Пушкин, тот самый, который в Пскове, известный сочинитель вольных стихов?»

В том же тоне ответил Скобелев: «Мне сказано, что тот, который писать подобные стихи имеет уже запрещение, но отослали его к отцу».

Стихи действительно были Пушкинские, но они ничего общего с 14 декабря не имели и были написаны почти за год до восстания. Это был отрывок из «Андрэ Шенье». За два года до этого, 8 сентября 1825 года, цензура пропустила элегию и разрешила включить ее в «Первое собрание стихотворений» Пушкина. Но 44 строчки были цензурой выброшены, начиная с «Приветствую тебя, мое светило» и кончая словами: «И буря мрачная минет». Цензура выбросила из стихотворения строки, где Пушкин клеймит революционное безумство.

«Андрэ Шенье» как раз одно из стихотворений, показывающих, какая перемена произошла в политическом настроении Пушкина. В Михайловском Пушкин один из первых в России оценил Шенье, стихи которого в 1819 году были впервые изданы в Париже братом Шенье. Пушкину нравилась музыкальность этого предвестника Альфреда де Мюссэ. Он испытывал к нему дружеское тяготение, как раньше к Овидию. Пушкина привлекала и мужественная независимость Шенье, его готовность отстаивать свободу против тиранов, венценосных и революционных. Печатая элегию в своем первом сборнике, Пушкин сделал к ней несколько примечаний:

«На роковой телеге везли на казнь с Андрэ Шенье и поэта

Рушэ, его друга. В эти последние минуты они беседовали о поэзии, которая для них, после дружбы, была самая прекрасная вещь на земле. Расин был предметом их беседы, их последнего восхищения. Им захотелось прочесть его стихи. Они выбрали первую сцену из Андромахи».

Еще одну черточку отметил Пушкин в этих примечаниях, писанных почему-то по-французски: «Шенье заслужил ненависть революционной клики. Он прославлял Шарлоту Кордэ. Он клеймил Колло д'Эрбуа, Робеспьера. Известно, что король, в письме, полном спокойного достоинства, просил у Собрания права апеллировать к народу. Это письмо, подписанное в ночь с 17-го на 18-е января, составлял Андрэ Шенье».

В примечаниях Пушкина, как и в самой элегии, нет восхваления революции, в них осуждение революционных безумств, бешеной, слепой жестокости, порождаемой бунтом.

В «Андрэ Шенье» Пушкин повторил, развил то, что писал в «Вольности»:

Лишь там над царскою главою
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью Святою
Законов мощных сочетанье.

За эти политические взгляды Вяземский и называл Пушкина либеральным консерватором. У Пушкина Шенье вспоминает, как в начале революции детски радовались они свободе:

От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон,
Оковы падали; закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство.
И мы воскликнули: «Блаженство»!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, не виновна ты:
В порывах буйной слепоты,
Сокрылась ты от нас. Целебный твой сосуд
Завешан пеленой кровавой...

(1825)

Эти строки цензура запретила, но они пошли по рукам, как ходили многие, опубликованные и неопубликованные стихи Пушкина. Кому-то вздумалось поставить над ними

опасное название «14-го декабря». Одно упоминание об этом дне заставляло правительство настораживаться, тем более что в перехваченном стихотворении воспевалась священная свобода, богиня чистая. Началась жандармская переписка, о которой Пушкин, только что пославший из Михайловского Царю прошение о снятии опалы, и не подозревал.

8 сентября 1826 года, в тот день, когда Царь принимал его в Кремле, в Новгороде начались допросы офицеров, виновных в хранении преступных 44 строчек. Сначала допросили прапорщика лейб-гвардии Конно-Пионерского батальона Молчанова. Он сказал, что с Пушкиным незнаком, а стихи получил от штабс-капитана егерского полка А. И. Алексеева. Неделю спустя арестовали в Новгороде и Алексеева, о котором военное начальство дало такой отзыв: «Ведет себя по службе хорошо, имеет способности ума хорошие, к пьянству и игре не предан, знает иностранные языки, в хозяйстве хорош». Не помогла ни эта аттестация, ни заявление Алексеева, что он в тайных обществах не участвовал, «ничего дурного против Е. В. и правительства не затевал, а в хранении стихов не видел ничего зловредного».

Дело сразу приняло для Алексеева опасный оборот. Стихи, вероятно, дал ему его дядюшка, Вигель, в то время уже крупный чиновник. Алексеев был человек твердый, и ни мольбы отца, ни свирепый приговор военного суда не могли заставить его кого бы то ни было назвать.

Николай начал царствование пятью виселицами. Пушкин палачами назвал якобинцев, но Царю мог послышаться намек, сравнение. Между тем стихи написаны до бунта, вдали от заговорщиков. В них Пушкин точно принял участие в спорах декабристов и определенно стал на сторону противников террора и цареубийства. Он имел право после бунта с горькой шутливостью писать Плетневу:

«Душа моя, я пророк, ей Богу, пророк. Я «Андрэ Шенье» велю напечатать церковными буквами» *(конец декабря 1825 г.)*.

Но правительство думало иначе. О преступных строчках доложили Царю. Начальник Главного штаба, генерал Дибич, правая рука Бенкендорфа по жандармским делам, донес командиру гвардейского корпуса великому князю Михаилу Павловичу: «Государь Император, желая примером строгого взыскания пресечь впредь подобные столь вредные для общего спокойствия государства покушения, повелел, чтобы суд был покончен в возможной поспешности и непременно в продолжение трех дней». Монаршая воля была исполнена.

Алексеева привезли в Москву и судили военным судом. Через тринадцать дней после ареста ему уже был вынесен

смертный приговор: «За содержание у себя и передачу другим возмутительных стихов — расстрелять».

К счастью, нашелся здравомыслящий человек, генерал Потапов, который убедил в. к. Михаила Павловича, что дело не ясно. Решили потребовать от сочинителя, Пушкина, объяснения, «он ли писал известные стихи и с какой целью?». Казнь приостановили, но Алексеев просидел в тюрьме несколько месяцев, со дня на день ожидая расстрела.

13 января 1827 года московский обер-полицеймейстер Шульгин вызвал к себе Пушкина и задал ему совершенно бессмысленный вопрос:

«Вы писали известные стихи?»

«Какие стихи?» — спросил Пушкин.

Обер-полицеймейстер и сам не знал, какие. Пришлось срочно запросить Новгород. Оттуда, в тщательно запечатанном конверте, прислали копию преступных стихов, с указанием, чтобы «г. Полицеймейстер по получению им указанного конверта, немедля нисколько, отдал оный лично Пушкину и, по прочтении им тех стихов, приказал ему тотчас оные запечатать в своем присутствии его, Пушкина, собственной печатью и таковой же другой своей», то есть полицейской.

Можно было подумать, что из Новгорода посылают не стихи, а банку с чумными бациллами, или тот медный кувшин, где, по преданию, был запечатан бес. Этот кувшин в течение столетий показывался в новгородском Софийском соборе.

27 января московский полицеймейстер опять вызвал Пушкина и показал ему преступный листок. Пушкин прежде всего поправил ошибки в тексте:

> Я славил твой священный трон...

Пушкин вместо «трон» поставил «гром».

> Пламенный трибун предрек во страхе полный...

Пушкин вычеркнул «во страхе» и поставил — «восторга полный».

> Он бродит, жаждою томим...

Пушкин вычеркнул «бродит», написал «бредит».

Затем Пушкин в письменном показании заявил:

«Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и без явной бессмыслицы никак не могут относиться к 14 дек.».

Он предлагал справиться в цензуре, куда стихи были им своевременно представлены. Но жандармы не удовлетворились этими показаниями. 29 июня Пушкина из-за этих стихов

опять вызвали в полицию, на этот раз в Петербурге. Пушкин повторил, что писал эти стихи до 14 декабря, что «они относятся к французской революции, коей Андрэ Шенье погиб жертвою... Замечу, что в сем отрывке поэт говорит:

О взятии Бастилии.
О клятве du Jeu de paumme*,
О победе революционных идей,
О торжественном провозглашении равенства.
Об уничтожении царей.

Что же тут общего с несчастным бунтом 14 дек., уничтоженным тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков?

В заключение объявляю, что после моих последних объяснений мне уже ничего не остается прибавить в доказательство истины.

10 класса Александр Пушкин, СПБ. 1827, 29 июня».

Его весь год не оставляли в покое. Потребовали еще объяснения, «почему его стихи переходят из рук в руки по всему пространству?».

Пушкин ответил: «Потому, что я не думал делать из них тайну» *(24 ноября 1827 г.)*.

Правительство отменило смертную казнь Алексееву. Его и еще двоих офицеров разжаловали в солдаты и отправили на Кавказ. При суровой солдатской дисциплине это могло быть и тяжким наказанием. Сказалась крутая перемена в политике нового Царя. Александр I самого Пушкина за вольные стихи и язвительные эпиграммы покарал только переводом на юг. Николай I читателей Пушкинских стихов отдавал в солдаты.

Для Пушкина дело еще не кончилось. Оно пошло выше. Дошло до Сената и до Государственного Совета, где старые, важные сановники имели суждение об опасных строчках. 28 июня 1828 года, почти через два года после ареста офицеров в Новгороде, общее собрание Государственного Совета утвердило приговор над ними «с таковым в отношении к сочинителю означенных стихов, Пушкину, дополнением, что по неприличному выражению его в ответах относительно происшествия 14-го декабря 1825 г. и по духу оного сочинения, в окт. 1825 г. напечатанного, поручено было иметь за ним, в месте его жительства, секретный надзор».

Месяц спустя Николай I скрепил это решение. Оно никогда не было отменено. На всю жизнь остался Пушкин под тайным надзором. Куда бы он ни ехал, за ним вдогонку посылались местным властям тайные инструкции следить за

* В зале для игры в мяч *(фр.)*.

дворянином Пушкиным. Иногда в этих инструкциях его величали «Известным стихотворцем нашим». И это без всякой иронии. При этом сами чиновники плохо понимали, чего хочет от них начальство? Петербургский военный губернатор 19 апреля 1833 года просил московского генерал-губернатора уведомить его: «По какому случаю приказано нужным иметь г-на Пушкина под надзором полиции?» Московский генерал-губернатор ответил: «Сведений об этом у меня не имеется». А между тем, куда бы Пушкин ни схал, через все губернские канцелярии пересылалось напоминание, что с него нельзя спускать глаз.

Пушкин о постановлении Государственного Совета ничего не знал. Бенкендорф ему в письмах спокойно лгал, утверждая, что «полиции никогда не давали приказа наблюдать за вами». Пушкин верил, слишком долго верил, может быть, потому, что переносил на посредника часть уважения и доверия, которое питал к Царю. После двухлетней надоедливой переписки с Бенкендорфом у него хватило добродушия защищать Бенкендорфа от справедливых нападок Вяземского, которому Пушкин писал:

«В сущности, это честный и достойный человек, слишком рассеянный, чтобы быть злопамятным, и слишком порядочный, чтобы вредить» *(25 января 1829 г.)*.

Гениально умный поэт мог быть иногда до глупости доверчив.

История с «Андрэ Шенье» показала, что правительство по-прежнему видело в Пушкине опасного либерала. А тут еще в том же году произошла встреча, лишний раз напомнившая властям о крепких, дружественных связях поэта с декабристами. 15 октября 1827 года Пушкин записал:

«Вчерашний день был для меня замечателен. Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжающего в постеле. Он метал банк гусарскому офицеру. Между тем я обедал. При расплате недостало мне 5 руб. Я поставил их на карту и, карта за картой, проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 руб. и уехал очень недоволен сам собою. На следующей станции нашел я Шиллерова «Духовидца», но едва успел прочитать я первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем... Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели, и с виду настоящий жид... Увидев меня, он с живостию на меня взглянул; я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия.

Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали».

Фельдъегерь по-своему доложил начальству. Он вез из крепости Дюнабург преступника Кюхельбекера и еще двоих других, в его рапорте не названных. На станции Залазы бросился к Кюхельбекеру «некто Пушкин», стал его целовать и с ним разговаривать. Фельдъегерь сразу приказал арестантам сесть в телеги и отправил их вон из деревни. «Но г. Пушкин просил меня разрешения дать Кюхельбекеру денег. Я в сем ему отказал. Тогда он, Пушкин, стал кричать и угрожал мне, говорил, что по прибытию в Петербург он в ту же минуту доложит Его Императорскому Величеству, как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему денег, сверх того не преминул также сказать и ген.-адъютанту Бенкендорфу. Сам же Пушкин, между прочими угрозами, объявил мне, что он посажен был в крепость, а потом выпущен, почему я еще более препятствовал ему иметь соглашение с арестантом, а преступник Кюхельбекер сказал мне: это тот Пушкин, который сочиняет».

Таково официальное описание встречи, о которой Пушкин, с его редкой памятью сердца, всегда вспоминал с волнением. Он безжалостно дразнил Кюхельбекера, но нежно его любил. Через несколько дней после этой встречи подошел день лицейской годовщины, 19 октября. На этот раз Пушкин отметил его только коротким восьмистишием, которое закончил обращением к сибирским друзьям:

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

Через год Пушкина опять потянули к ответу за старые стихи.

Летом 1828 года, вскоре после того как состоялось постановление о тайном надзоре за Пушкиным, крепостные люди новгородского помещика Митькова, брата декабриста, донесли новгородскому митрополиту, что «господин их развращает в понятиях православной веры, прочитывая им из книги его рукописи некоторое развратное сочинение под заглавием «Гавриилиада». Государь сразу назначил для расследования трех сановников — В. П. Кочубея, графа П. А. Толстого и князя А. Н. Голицына. В августе военный губернатор, П. В. Голенищев-Кутузов, вызвал Пушкина. На первом допросе он ответил, что поэма писана не им, но что он еще в Лицее ее

читал и даже списал, но список потерял и сочинителя не знает. Его ответ доложили Государю. Он приказал вызвать Пушкина и от него дознаться, откуда он получил поэму. На этот раз Пушкин дал письменное показание, где заявил, что рукопись ходила по рукам среди гусар Царского Села, но кто ему ее дал, не помнит. «Осмелюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже в тех, в которых я особенно раскаиваюсь, нет следов духа безверия, или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное» *(19 августа 1828 г.)*.

Это едва ли не единственный малодушный поступок Пушкина за всю его писательскую жизнь. И, как часто бывает, когда люди делают что-нибудь несовместное с их характером, эта уловка ни к чему не привела. На этом не кончился заглазный диалог между поэтом и Царем, который решил во что бы то ни стало вырвать у Пушкина признание. Получив 28 августа от комиссии письменные показания Пушкина, Николай написал на них: «Графу Толстому призвать к себе Пушкина и сказать ему моим именем, что я, зная *лично* Пушкина, *я его слову верю*. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская под его именем».

Николай разгадал характер поэта. Вызванный опять в комиссию, Пушкин выслушал слова Государя, помолчал, потом спросил:

«Могу я написать прямо Государю?»

Ему разрешили. Он тут же быстро написал письмо Царю, запечатал его в конверт и передал председателю комиссии, графу Толстому. Содержание письма осталось неизвестно, но, по-видимому, это было сознание, так как, прочтя письмо, Царь велел прекратить дело о «Гаврилиаде». Один из членов комиссии, князь А. Голицын, диктуя уже после смерти Пушкина конспект своих мемуаров, записал: «Гаврилиада» Пушкина. Отпирательство П. Признание. Обращение с ним Государя. Не надо осуждать умерших».

История о «Гаврилиаде» встревожила и взволновала Пушкина. Он писал Вяземскому:

«Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее, прямо, прямо на восток. Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец «Гаврилиада»; приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дм. Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами. Все это не весело...» *(1 сентября 1828 г.)*.

Князя Д. Горчакова, умершего за четыре года перед этим,

он, вероятно, упомянул, чтобы, в случае, если и Вяземского будут допрашивать, не было разногласия в их показаниях.

Пушкину эта история, допросы, необходимость оправдываться, изворачиваться, лгать, была бесконечно противна. В самый разгар следствия о «Гавриилиаде» написал он «Предчувствие»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
(1828)

Тревога была тем тягостнее, что вызвана она была поэмой, от которой Пушкин внутренне отрекся, которую он предпочел бы никогда не писать. Он давно перерос кощунственное буйство своей юности. Семь лет прошло с тех пор, как в азиатском Кишиневе, в припадке бесовской одержимости, он написал «Гавриилиаду». Это была последняя вспышка. В Михайловском, в разнообразии творческого труда созрел его ум, установился характер, создались более строгие требования к себе. Его стихи отмечают ступени внутреннего очищения, просветления. Весной, еще до дела о «Гавриилиаде», которое началось в августе, Пушкин написал:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Большинство его друзей относило это к «Гавриилиаде». Бартенев, со слов Полторацкого, В. П. Горчакова, Нащокина и других современников, писал:

«Пушкин всячески истреблял списки, отнимал их, выпрашивал и сердился, когда ему напоминали о ней». М. В. Юзефович рассказывает, как под Эрзерумом «один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме и стал было читать из нее отрывок. Пушкин вспыхнул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин говорил, что он дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой, легкомысленной молодости».

Близко знавший Пушкина Соболевский писал Лонги-

нову: «Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком, дажс нечаянном, упоминании об этой прелсстной пакости».

Есть что-то жуткое в том, что богохульственная поэма заставила Пушкина лгать, унижаться, отрекаться. От политических стихов, даже самых рсзких, он никогда не отрекался, смело признавал их своими.

Отношение самого Пушкина к правительству определялось переменой в его политическом мироощущении и личной симпатией к Царю, который сму с первой встречи очень понравился. Вера Пушкина в рыцарскую правдивость и державную справедливость Николая до поры до времени смягчала назойливую наставительность жандармов и раздражающую неопределенность его писательских прав.

Адам Мицкевич говорил, что друзья поэта не одобряли сближения этих «двух потентатов». На самом деле никакого сближения не было. После первого свидания в Кремле Пушкину до самой женитьбы не пришлось разговаривать с Царсм. Но их встреча оставила в нем глубокое впечатленис. Пушкин посвятил Николаю три стихотворения: «Стансы» (1826), «Друзья» (1828) и «Герою» (1830). Последнее написано по особому случаю. В первых двух ясно сказано, каким по его представлению должен быть царь. В «Стансах» не восхваление Николая, а надежда, что его царствование будет развитием Пстровской работы:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой...

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Тут намек, призыв к более милосердному отношению к декабристам, о которых Пушкин никогда не забывал. Друзья корили его за пристрастное отношение к Царю. Он ответил им с той смелой искренностью, с которой в стихах описывал свои чувства:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
    Его я просто полюбил:
    Он бодро, честно правит нами;
    Россию вдруг он оживил
    Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.
    Текла в изгнанье жизнь моя,
    Влачил я с милыми разлуку,
    Но он мне царственную руку
    Простер — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?
    Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
    Он горе на царя накличет...

(1828)

Когда Пушкин послал эти стихи в царскую цензуру, то получил через Бенкендорфа ответ: «Государь Император изволил повелеть мне объявить Вам, М. Г., что он с большим удовольствием читал шестую главу «Евгения Онегина». Что же касается стихотворения Вашего под заглавием «Друзьям», то Его Величество совершенно довольно им, но не желает, чтобы оно было напечатано» *(5 марта 1828 г.)*.

Глава XV

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

14 апреля 1828 года был опубликован манифест Николая I о войне с Турцией. Пушкин и Вяземский, оба штатские, оба большие патриоты, оба беспокойные люди, всегда жадные до новых впечатлений, просили разрешения ехать в действующую армию. Одновременно подали свои прошения и одновременно получили быстрый отказ. Бенкендорф писал Пушкину:

«Его И. В., приняв благосклонно готовность Вашу быть полезным в службе Его... не может Вас определить в армию». Отказ мотивировался тем, что все места уже заняты. Письмо кончалось милостивым обещанием: «Он не забудет вас и воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные Ваши дарования в пользу отечества» *(20 апреля 1828 г.)*.

Последняя фраза буквально повторялась в письме к Вяземскому, где были выставлены те же причины отказа.

Вяземский рассердился. Он писал А. И. Тургеневу:

«Что ни делайте, не берите меня за Дунай, а в биографических словарях имячко мое всплывет, когда имя моего отца и благодетеля будет забыто, ибо, вероятно, Россия никогда не воздвигнет Пантеона жандармам... Добро, одного меня, но как не отличить Пушкина, который тоже просился и получил отказ после долгих обещаний. Эти ребячества похожи на месть Толстой-Протасовой, которая после петербургского наводнения проехала мимо Петра на площади и высунула ему язык» *(27 апреля 1828 г.)*.

Это было не ребячество. Это было одно из многих проявлений неизлечимого недоверия правительства к обоим писателям. Для Царя и его приближенных Пушкин и Вяземский были прежде всего друзья декабристов. Услыхав об их просьбе поступить в армию, В. К. Константин Павлович, под начальством которого Вяземский раньше служил в Варшаве, писал Бенкендорфу:

«Поверьте мне, любезный генерал, что ввиду прежнего их поведения, как бы они ни старались теперь высказать преданность службе Его Величества, они не принадлежат к числу тех, на которых можно было бы в чем-либо положиться» *(28 апреля 1828 г.)*.

В следующем письме он опять писал:

«Они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения с большим успехом, и с большим удобством своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров».

Пушкин рассердился. Больше того — он обиделся. Он попросил разрешения съездить на несколько месяцев в Париж. Ему отказали. Тогда, по словам одного из подчиненных Бенкендорфа, А. А. Ивановского, «Пушкин впал в болезненное отчаяние, сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем».

Этого Ивановского, лично знакомого с Пушкиным, Бенкендорф послал разузнать, в каком настроении поэт, и, если надо, его успокоить. «Я нашел его в постели, худого, с лицом и глазами совершенно пожелтевшими. Нельзя было видеть его без душевного волнения и соболезнования».

В ту весну возвращался в Англию художник Дау, выписанный еще Александром I, чтобы писать портреты героев

12-го года. Друзья провожали его на пароходе до Кронштадта. Среди них был и Пушкин. Он уверял, что спрячется в трюм и тайком уедет на чужбину. От этого искушения он воздержался, но в действующую армию все-таки потихоньку удрал.

Война с Турцией шла на двух фронтах — за Дунаем на Балканах, где одно время руководил военными действиями сам Царь, и в Закавказье. Пушкина не пустили в Дунайскую армию. Год спустя он, уже не спрашивая никаких разрешений, сел в коляску и в сопровождении все того же слуги — дядьки Никиты отправился из Москвы на Кавказ, где у него в армии было много приятелей, включая командира Нижегородского полка, Н. Н. Раевского, у которого Левушка Пушкин служил адъютантом.

Дорога была дальняя. От Москвы до Тифлиса две тысячи верст, а действующая армия была еще где-то дальше. Пушкин расстояний не боялся. Разъезды любил. В тогдашней жизни дорога занимала немалое место. Поезда, автомобили, аэропланы стерли из нашей памяти представление о других способах передвижения. Но те, кто родился в XIX веке и успел поездить по России, знают прелесть езды на лошадях, то усыпительно медленной, то головокружительно быстрой.

Все русские писатели и поэты о ней писали. У Вяземского есть много хороших стихов о большой дороге. У Гоголя прозаические описания, стоящие стихов. Пушкин, который исколесил Европейскую Россию с севера на юг и с запада на восток, постоянно в стихах, рассказах, письмах говорит о дороге, проклинает ее неудобства, воспевает ее очарования.

Когда в 1899 году Россия справляла столетие со дня рождения Пушкина, в «Почтово-Телеграфном Журнале» перепечатали все, что Пушкин написал о ямской и почтовой гоньбе, и сопроводили статьей специалиста, который подтвердил, что Пушкин и тут показал точность своих писаний.

«Пушкин дает вполне определенное представление о русских дорогах, езде, станционных смотрителях первой половины XIX века. Особенно метко очерчены неудобства путешествия по России в старинное время — переезды под пестрыми казенными шлагбаумами, у застав городских и сельских, опасность встретиться с разбойниками, кишевшими в крепостное время в лесах и под мостами, тягостные высидки в карантинах (то было время чумы и холеры), всякого рода внешние неудобства, вызывавшие многочисленные жалобы в

мемуарах и даже в поэзии». Дороги были скверные, немощеные, изрытые ямами и ухабами, вязкие в дождь и пыльные летом. Даже между Петербургом и Москвой не было приличной дороги. Московское шоссе начали прокладывать при Александре I, после Наполеона, кончили двадцать лет спустя, в 1835 году при Николае. Тогда же пустили первые дилижансы. Это событие вдохновило Пушкина на крайне интересную статью «Мысли в дороге». Она написана от лица москвича.

«Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более 15 лет... Катясь по гладкому шоссе в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о последнем своем путешествии в Петербург по старой дороге. Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугой пустился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянные мостовые совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в ПБ полумертвым» *(1835)*.

Это очень похоже на то, как он, за десять лет перед этим, в шутливом письме к Соболевскому описывал в прозе свои дорожные невзгоды между Москвой и Михайловским, а в стихах свои дорожные утешения, главным образом гастрономические. Селигерские форели, баранки податливых крестьянок в Валдае, «у Гальяни иль Кальони, закажи себе в Твери с пармезаном макарони... На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай» *(9 ноября 1826 г.)*.

Пожарские котлеты изобрела Дарья Пожарская, статная, видная дочь ямщика, содержавшего в Торжке почтовую станцию и трактир, славившийся на всю Россию своей стряпней. Сам Царь, часто ездивший в Москву, всегда останавливался в Торжке у Пожарского. Когда царская карета въезжала во двор, все ямщики, вся прислуга во главе с Пожарским высыпали навстречу. Крыльцо устилалось собольими шубами. Дарья Пожарская в шитом кокошнике, в штофном сарафане стояла на подъезде с хлебом-солью. Николаю нравился старинный обряд. Он любил болтать с пригожей, смышленой целовальницей.

Даже иностранные путешественники в письмах и книгах описывали кулинарные таланты Пожарской. Виконт д'Аленкур в книге «Пилигрим», изданной в 1843 году, посвятил целую страницу этой «превосходной хозяйке,

открывшей искусство румянить телячьи котлеты». И Александр Дюма хвалил гастрономические прелести, приготовленные для путешественников между Путербургом и Москвой.

Пушкин рассказами о котлетах и форели дразнил любившего хорошо покушать Соболевского. Сам он к еде был равнодушен. Любил картофель, жареный или печеный, иногда в один присест мог съесть десяток персиков или абрикосов. Для него в дороге искушением была не гастрономия, тем более что на большинстве станций кормили скверно, а картежная игра. В неуютной, грязной, освещенной сальной свечкой или лучиной комнате для проезжих офицеры, чиновники, помещики в ожидании лошадей или коротая длинные, скучные, зимние вечера за картами иногда проигрывали в один вечер целое состояние. Играли с незнакомыми, нарывались на шулеров, дрались на дуэлях из-за карточных ссор. Случалось, что юный корнет, проиграв казенные деньги, пускал себе под утро пулю в лоб.

Но и карты не были главной дорожной приманкой. Прелесть разъездов была в самом движении, в том своеобразном настроении, которое навевает длинная дорога, особенно зимняя, покрытая серебристым снегом, просторная, убаюкивающая, манящая. Ее очарование не раз описывал Пушкин. «Зимняя дорога», «Дорожные жалобы», «Бесы» — целая трилогия. В ритме «Зимней дороги» слышится топот тройки, однозвучный, усыпляющий звон колокольчика. Скучно, грустно поневоле — вот припев песни. Протяжное пенье ямщика вторит этому настроению, усиливает его. Что-то слышится родное в долгой песне ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Не зимняя дорога, сама жизнь стелется, тянется, однообразная, безысходная.

«Дорожные жалобы» написаны после длинного путешествия через всю Россию на Кавказ. В ритме слышен стук колес по жесткой дороге. Поэт перечисляет все невзгоды, подстерегающие путника. Список как будто совсем прозаический, но через него просвечивает целая гамма настроений, печаль, бездомность, жажда уюта:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил.

(4 октября 1829 г.)

Год спустя, в Болдине, уже женихом, Пушкин написал «Бесов». Из-за шороха снега, воя ветра слышен хохот бесовский, сквозь метель видны рожи бесовские.

Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин...
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре,
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...
(1830)

И опять через реалистическое описание мира предметного просвечивает иной, внутренний смысл вещей, та глубина, откуда исходит мироощущенис и творчество художника. В дорожных песнях сказывается глубокая связь с русской землей, с русским пейзажем, который Пушкин умел рисовать несколькими словами, его любовь к русским далям и пространствам, то грустным, милым, успокоительным, то бурным и грозным. Песни ямщиков усиливала для него прелесть русской природы. С усмешкой писал он в «Домике в Коломне»:

Поет уныло русская девица,
Как музы наши, грустная певица,
Фигурно, иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз. Печалию согрета
Гармония и наших Муз и дев.
Но нравится их жалобный напев...
(1830)

В дороге Пушкин не один, у него есть дорожный товарищ — ямщик. Ямщики часто бывали песенниками, тоже умели изливать душу в песнях. В них, не меньше чем в бурлаках, выявлялась певучая русская стихия, из которой вышла, с которой органически связана певучая, как грусть, светлая, сладостная, как радость, торжествующая песнь Пушкина. Те, кто слышал, как Пушкин читает свои стихи, свидетельствуют, что в звуке его голоса была неотразимая, колдовская власть. Но ведь и у слушателей была природная русская способность поддаваться магии слова, сказанного и пропетого, была особая, русская восприимчивость к мелодической речи, к ритму, к напевности.

Для русского народа песня искони веков была потребностью, как хлеб, как воздух. Напевы хранились в незнавшем грамоты народе, передавались из поколения в поколение. Во всех слоях все события, печальные и радостные, отмечались, сопровождались песнями, которые придавали чувствам глубину и человечность. Хороводы и пляски, былины, сказки, ритмичсская музыкальная речь были равно необходимы и в царских палатах, и в мужицкой избе. Даже русская интеллигенция, которая, подпав под книжные европейские влияния, отбросила старинные, родные обычаи, от пссни не могла отказаться. Политические споры, иногда и митинги, нередко кончались «Дубинушкой».

Эта пережившая все перевороты и революции, уцелевшая до сегодняшнего дня страсть к стихам, к пению, к ритму, в Пушкинские времена была еще сильнее. Отчасти потому Россия так стремительно, бурно, восторженно отозвалась на голос Пушкина. Его стихи знали не только в гостиных, их знали и пели по всей России, в мещанских домиках провинциальных городов, в цыганских палатках, на студенческих пирушках, в офицерских биваках, на ярмарках, где можно было найти рукописные списки его поэм.

В самом Пушкине была такая же страсть к ритмической речи. Он любил народную поэзию и чужие стихи, радовался появлению каждого нового даровитого поэта, любил пенье цыган, бурлаков, ямщиков, слепцов. В дороге, когда часами, днями вливалась в его душу смиренная красота северной природы, такая разнообразная в своем кажущемся однообразии, песнь ямщика, хватающая за сердце, помогала ему думать, навевала на него ту светлую печаль, которая у него часто предшествовала вдохновению.

Белинский в грустной песне ямщика видел «субстанцию России. Суровое небо видели ее младенческие очи, разгульные вьюги пели ей колыбельные песни, жестокие морозы закалили ее тело здоровьем и крепостью. Когда вы едете зимой на лихой тройке, и снег трещит под полозьями ваших саней, и взор ваш с тоской теряется в необъятной снежной равнине, — как понятна кажется вам протяжная, заунывная песнь ямщика, и как будет гармонировать с ней однообразный звон колокольчика, надрывающий сердце, по выражению Пушкина. Грусть есть общий мотив нашей поэзии, и народной, и художественной. Грусть составляет один из основных звуков и аккордов поэзии Пушкина, и потому она придает ей задушевность, сердечность, мягкость, влажность, но в ней нет ничего общего с унынием, болезнью слабых душ».

Полтора месяца добирался Пушкин до действующей армии. Из Москвы он выехал 1 мая. Через две недели был в Горячеводске. Оттуда по Военно-Грузинской дороге проехал в Тифлис, где пробыл около двух недель. Наконец 13 июня попал в штаб-квартиру командующего армией, графа Паскевича, который уже продвинулся дальше Карса. Сбылась давнишняя мечта поэта увидеть настоящую войну.

Дорогой обеими пригоршнями черпал он новые впечатления. Путешествие в Арзрум — как позже назвал он свою поездку — полно движения, красок, кипит жизнью. Он вырвался наконец на простор, на свободу, и наслаждался, расправлялся со всей непосредственностью своей страстной натуры.

Всю вторую половину пути, начиная от Екатеринодара, пришлось ехать на полувоенном положении с эшелоном, как за девять лет перед тем ездил он с Раевским. Но теперь Пушкин на всем долгом пути встречал подтверждение своей славы. Молодые офицеры и старые генералы спешили проявить ему внимание. Его обласкали два командующих Кавказской армией: бывший — генерал Ермолов и настоящий — генерал Паскевич. Чествовали Пушкина в Тифлисе, под стенами Карса и Арзрума его приветствовали старые друзья и незнакомые поклонники.

Первым оказал ему внимание Ермолов, имя для Пушкина с юности священное, связанное с легендарными подвигами русских войск. Покоритель Кавказа был в опале и жил у себя в деревне. Его считали, по-видимому, справедливо, причастным к тайному обществу. Пушкин сделал 200 верст крюку, чтобы повидать его.

«Был у меня Пушкин, — писал Ермолов Денису Давыдову.— Я в первый раз его видел и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта. Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения».

Пушкин в «Путешествии в Арзрум» говорит о Ермолове — «голова тигра на торсе Геркулесовом».

Если не считать мимолетной встречи с персидским поэтом, Ермолов был самым крупным человеком, с которым Пушкин встретился во время этого путешествия. Но он умел весело общаться и с самыми скромными людьми. Один из его случайных дорожных товарищей, офицер Н. Б. Потакский, рассказывает, что из Екатеринодара ехал он верхом в одном эшелоне с Пушкиным. Дорогой затевали скачки, вызывали друг друга на состязания. Иногда, разыгравшись, они вылетали далеко вперед за цепь. Тогда за ними посылали конвой.

Среди горцев было немало любителей накинуть аркан на неосторожного путника.

Вечером на ночлеге шли веселые разговоры вперемежку с песнями. Пушкин дурачился, писал мелом стихи, рисовал карикатуры на дверях почтовых станций. Сторожа сердились, стирали тряпкой его рисунки. Молодые офицеры со смехом внушали ворчливому инвалиду:

«Что ты делаешь, ведь это Пушкин рисовал...»

Старик сердито отвечал:

«А по мне хоть Пушкин, хоть Кукушкин, а казенный дом нечего пачкать».

Пушкину это так понравилось, что он дал старику на чай.

Другая его шутка чуть не кончилась плохо. Эшелон уже был на Военно-Грузинской дороге, у станции Коби, среди высоких гор. Пушкину захотелось посмотреть на осетинский аул. В плаще, в красной феске, с любимой суковатой палкой в руках, шел он, единственный штатский, впереди целой компании офицеров. Осетины окружили их, стали спрашивать, что за человек. Переводчик объяснил: «Большой человек».

Пушкин приказал переводчику сказать, что он не человек, а шайтан. Русские поймали его мальчиком в горах, он вырос между ними, теперь приходится ему жить, как живут люди. Горцы попятились. Пушкин выставил длинные ногти, сделал страшную гримасу и, блестя белыми зубами, прыгнул в толпу. Поднялся шум, женщины завизжали, дети заплакали, все побежали. Град камней посыпался на черта и его товарищей. Хорошо, что казаки подоспели на выручку.

Перед этим у Пушкина произошло другое, более поэтическое приключение. Не доезжая до станции Коби, на узкой дороге, проложенной высоко в горах, встретил он персидского придворного поэта, Фазиль Хана, который ехал на север.

«Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие, — писал Пушкин, — но как же мне стало совестно, когда Фазиль Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умною учтивостью порядочного человека. Он надеялся увидеть меня в Петербурге, он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и пр. Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской несмешливости. Впредь не стану судить о человеке по его бараньей папахе и по крашеным ногтям».

Позже, выехав из Грузии в Армению, по дороге к Карсу,

Пушкин пережил трагическую встречу. В тот 1829 год, 30 января, в Тегеране был убит Грибоедов, самый крупный из всех современных Пушкину русских писателей. Пушкин, прочтя еще в рукописи «Горе от ума», предсказал, что многие строчки войдут в русскую разговорную речь. Смерть Грибоедова он принял как тяжелую утрату для России.

Недалеко от крепости Гергеры два вола тащили в гору арбу. «Несколько грузин сопровождали арбу. Откуда вы? — спросил я их. «Из Тегерана». — Что вы везете? «Грибоеда». — Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия».

Эта встреча была едва ли не единственной мрачной тенью в залитом южным солнцем путешествии. В Тифлисе Пушкину устроили чествование. Издатели «Тифлисского Листка» в пышной заметке сообщили о «приезде нашего знаменитого поэта» и дали ему обед. Обедам и завтракам не было конца. Устроили в городском саду праздник. Танцевали лезгинку, пели грузинские алаверды, заунывные персидские песни, удалые русские. Ну и пили, как полагается. Один из устроителей, К. И. Савостьянов, вспоминал потом:

«Скромный Пушкин нас приводил в восторг, всех забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. Он был полон веселья. Как он оригинально предавался этой смеси азиатских увеселений. Все собирались поближе к нему, чтобы наслушаться его речей и наглядеться на него... Когда европейский оркестр, во время заздравного тоста Пушкину, заиграл марш из «La Dame Blanche»*, на русского Торквато надели венок из цветов и подняли его на плечи при беспрерывном «ура!», заглушавшем гром музыки».

Пировали до утра. Разошлись, когда солнце поднялось над азиатской границей и озарило своим золотом снежные вершины Кавказской цепи, которая так величественно очерчивает северный горизонт над Тифлисом.

Раевский торопил Пушкина, писал, что армия уже продвигается дальше, за отвоеванный от турок Карс. Пушкин выехал из Тифлиса в сопровождении казаков.

Переходы делались большие, но Пушкин был хороший наездник. Его все радовало — роскошь южной природы, вкус

---

* «Белая дама» *(фр.)*.

и запах горного воздуха, яркость небесной синевы, сияние звезд, лица и наряды туземцев.

«Казаки разбудили меня на заре... Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая двуглавая гора. Что за гора? — спросил я потягиваясь и услышал в ответ: Это Арарат. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, — и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения.

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное: с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России».

В действующей армии Пушкин нашел, помимо брата и Раевского, много старых знакомых, среди которых было несколько декабристов, разжалованных в солдаты и сосланных в Кавказскую армию. Офицеры относились к ним по-товарищески. При генерал-адъютанте графе И. Ф. Паскевиче (1782—1856), получившем впоследствии титул князя Эриванского, состоял декабрист М. И. Пущин, брат лицеиста. В солдатской форме присутствовал Михаил Пущин на некоторых военных совещаниях при Главнокомандующем. Его суждения иногда перевешивали генеральские мнения. С этим Пущиным 30 лет спустя, в 1857 году, познакомился в Швейцарии Лев Толстой. Он нашел, что Пущин «прелестный и добрый человек», к тому же отличный рассказчик, и уговорил его написать про его встречи с Пушкиным на Кавказе. По живости и безыскусственности этот рассказ стоит выше записок его брата, Ивана Пущина.

«Я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского, чтобы его порадовать скорою, неминуемой встречей с неприятелем, встречей, которой все в отряде нетерпеливо ждали, — вспоминает Пущин, — не могу описать моего удивления и

радости, когда тут Пушкин бросился меня целовать, и первый вопрос его был:

— Ну скажи, Пущин, где турки? Увижу ли я их? Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и с оружием в руках...

Пушкин радовался как ребенок тому ощущению, которое его ожидает».

Пушкин сговорился с майором Семичевым, что они будут в бою держаться вместе. Показался неприятель. Все бросились к лошадям. Пущин сразу попал в схватку казаков с турецкими наездниками. Ему было не до Пушкина, пока не подскакал Семичев, спрашивая, где Пушкин?

«Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун и скачущего с саблей наголо против турок, на него летящих. Приближение наших улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться. Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкой башкой, и он, хотя с неудовольствием, но нас более не покидал... Правду сказать, со всем желанием Пушкина убить или побить турка, ему уже не было на это возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде, до самой сдачи Арзрума, без оглядки бежал».

Другой декабрист, А. С. Гангбелов, рассказывает, что Пушкин не только носился по полю битвы, но даже исполнял какие-то поручения Раевского. В Саганлугском селе Паскевич наблюдал за ходом сражения с холма. «Когда главная масса турок была опрокинута и Раевский с кавалерией стал их преследовать, мы увидели скачущего к нему во весь опор всадника: это был Пушкин, в кургузом пиджаке и маленьком цилиндре на голове. Осадив лошадь в двух, трех шагах от Паскевича, он снял свою шляпу, передал ему несколько слов Раевского и, получив ответ, опять понесся к нему же, Раевскому».

Внезапное появление поэта среди сражающихся описано с забавной серьезностью в официальной «Истории военных действий в Азиатской Турции».

«Перестрелка 14-го июня 1829 г. замечательна потому, что в ней участвовал славный наш поэт Пушкин. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас же сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков, в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный

отвагою, столь свойственной новобранцу войны, схватил пику одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собой незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Это был первый и последний дебют любимца муз на Кавказе».

Солдаты недоумевали, что это за штатский скачет верхом рядом с командиром. Они прозвали Пушкина — драгунский батюшка.

Паскевич старался держать Пушкина при себе и был с ним очень любезен. Он был не прочь, чтобы Пушкин его прославил в стихах. Но поэт в «Путешествии в Арзрум» сказал о нем несколько вежливых, но прозаических слов.

Эта сдержанность, может быть, объясняется тем, что военные друзья Пушкина невысоко ставили военные таланты Главнокомандующего. Во всяком случае, у Паскевича осталось недоброе чувство к Пушкину.

Свою поездку Пушкин с классической сжатостью и выразительной точностью описал в «Путешествии в Арзрум», куда включил мелочи радовавшей его походной жизни.

«Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка поднимала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах Таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков, и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы Закавказских наших областей, и жители земель, недавно завоеванных. Между ними с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на востоке дьяволопоклонниками... Я старался узнать от Язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая басня, что они веруют в единого Бога, что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастный, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее».

Так Пушкин, опять пользуясь гостеприимством Раевского, возобновил свои наблюдения над восточными народами, которыми он так увлекался, когда юношей, с семьей Раевских, разъезжал по Крыму и Кавказу. Опять набирался он ярких, южных впечатлений, наслаждался красотою гор. Сбылась его давнишняя мечта увидать настоящую войну. Его

привлекали и грозные ее черты, и героизм. Офицер Э. В. Бриммер рассказывает, что под Арзрумом Пушкин стоял впереди Паскевича в чистом месте один. «Вдруг первый выстрел из батареи 21-й бригады. Пушкин восклицает: «Славно!» Главнокомандующий спрашивает: «Куда попало?» Пушкин: «Прямо в город». — Паскевич: «Гадко, а не славно».

В походе попадались Пушкину и прокаженные, и чумные. Меньше всего видел он раненых. Турки не столько дрались, сколько отступали или сдавались в плен. Арзрум был взят почти без боя. Среди пленных был старик паша. Увидев среди офицеров штатского во фраке, он спросил, кто такой. «Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных, и между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются».

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на Сераскира... Выходя из его палатки, я увидел молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиной в руке и с мехом за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был мой брат, дервиш, пришедший приветствовать победителя. Его насилу отогнали».

Пушкин жил в одной палатке с Раевским. У них постоянно бывали гости, включая разжалованных в солдаты декабристов. Опять Пушкин был среди военной интеллигенции, как в Каменке и Кишиневе. Рядом с палаткой Раевского ставилась палатка его адъютантов Льва Пушкина и Юзефовича, который за шесть недель пребывания Пушкина в армии успел к нему крепко привязаться.

«Как теперь вижу его живого, простого в обхождении, хохочущего, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными большими, чистыми, ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми блестящими зубами, о которых он заботился, как Байрон. Он вовсе не был смугл, ни черноволос, как уверяют некоторые, а вполне был белокож, с вьющимися волосами каштанового цвета. В облике его было что-то родное африканскому типу, но не было того, что оправдывало бы его стих — потомок негров безобразный. Напротив того, черты лица у него были приятные. В одежде и во всей его наружности была заметна светская заботливость о себе.

Пушкин был чрезвычайно добр и сердечен. Надо было видеть нежное участие, которое он оказывал донцу Сухорукову, умному, образованному и чрезвычайно скромному ли-

тературному собрату, который имел несчастие возбудить против себя гонение тогдашнего министра военного Чернышева. У него отняли все выписки, касающиеся истории Дона, которые он собрал в архивах по поручению Карамзина. Пушкин, узнав об этом, чуть не плакал и все думал, как бы, вернувшись в Петербург, выхлопотать Сухорукову эти документы».

Он не забыл этого обещания и, вернувшись в Петербург, стал хлопотать о бумагах Сухорукова. Это далеко не единственный случай пушкинского заступничества за обиженных.

В походном чемодане Пушкина больше всего места занимали книги и его большие черные тетради с рукописями «Бориса Годунова», «Полтавы», «Евгения Онегина». Он возил с собой Шекспира по-английски и Данте по-итальянски. Где-то на походе он записал:

Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих...
(1829)

В его библиотеке был такой ветхий томик Данте, парижское издание 1596 года. Из всех книг Пушкина это была самая старинная. Вероятно, ее и сунул он в чемодан.

Юзефович рассказывает, что раз Пушкин стал читать вслух Шекспира по-английски: «В чтении Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил, что Пушкин не знает по-английски, и решил подвергнуть его экспертизе». Позвали Захара Чернышева, тоже декабриста, который английский знал с детства. Когда Пушкин прочел несколько строк, Чернышев расхохотался: «Да ты по-каковски читаешь?»

Пушкин тоже расхохотался и объяснил, что он выучился самоучкой и читает английский как латынь. Но когда он стал переводить, то Чернышев убедился, что язык Пушкин действительно хорошо понимал».

Русские офицеры были люди грамотные. Раньше возили в карманах седел томики Вольтера и Парни, потом Ламартина и Байрона по-французски, потом стали возить Пушкина. Теперь он живой был среди них, заражал их то своим веселым шумным смехом, то вдохновенным чтением стихов. Когда в палатке, при колеблющемся свете сальной свечки смотрела эта военная молодежь на изменчивое лицо поэта, совершенно преображавшегося, когда он читал стихи, слушала его «Годунова» и «Полтаву», они проникались его вдохновенным ощущением русского государства, как живого существа. Боевые

офицеры не могли не встрепенуться от его описания Полтавского боя. Воюя с турками, расширяя пределы России, они продолжали державное дело Петра. В далекой нагорной Армении, в боевой лагерной обстановке, Пушкин мог наслаждаться своей властью над русскими сердцами еще полнее, чем в петербургских и московских гостиных.

Из Закавказского похода вывез он «Путешествие в Арзрум», предисловие к «Годунову», несколько стихотворных отрывков, где, как в эскизе больших мастеров, выражен дух этих новых для него стран. Но писать было некогда. Он спешил обратно, боялся, что чумные карантины загородят путь в Москву. Подгоняла его мысль о Таше Гончаровой. На обратном пути ехал он от Владикавказа в коляске Михаила Пущина. Третьим был Дорохов. Об этом Дорохове вспомнит Пушкин, возвращаясь смертельно раненный со своей последней дуэли. Дорохов, картежник, отчаянный забияка и драчун, был своего рода знаменитостью среди дуэлянтов. Лев Толстой, со слов М. И. Пущина, вывел его в «Войне и мире» под именем Долохова.

Михаил Пущин согласился взять Дорохова и Пушкина в свою коляску под условием, что они дорогой не будут играть в карты. Обещание Пушкин сдержал, но в Кисловодске, где он остановился, чтобы брать нарзанные ванны, он наверстал потерянное время. Каждое утро он верхом заезжал к какому-то профессиональному игроку, где весь день шла игра. Пушкину не везло. Он проиграл даже деньги на обратную дорогу. Пущин в своих воспоминаниях так рассказал, точно все еще видел перед собой юного Пушкина, лицеиста, повесу: «Несмотря на намерение свое заниматься, Пушкин, живя со мной, мало работал».

На самом деле Пушкин как раз в эти сентябрьские дни написал «Обвал», «Кавказ», «Монастырь на Казбеке»:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне.
(1829)

Монастырь, построенный высоко на склонах Казбека, виден с Военно-Грузинской дороги. Он то смутно белеет,

тонет в лиловой мгле, то вдруг отчетливо выступает, плывет навстречу путнику, волнуя воображение. Это одна из самых прекрасных подробностей этой прекрасной горной дороги. От Казбека дорога начинает спускаться к долинам севера. Перед тем, как к ним вернуться, Пушкин написал эти стихи, как прощальный привет своему светлому арзрумскому приключению. Чувствовал, что дочитывает неповторимую страницу своей страннической жизни. Как только он спустился с гор, жизнь сразу дала себя знать.

«Во Владикавказе... нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с бóльшим мимическим искусством... Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца. Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве».

Это заключительные слова «Путешествия в Арзрум». По мере того, как Пушкин продвигался дальше на север, проза жизни, к которой поэты еще чувствительнее, чем простые смертные, все ближе подступала к нему. До женитьбы она для него воплощалась в Бенкендорфе.

Еще не доехав до Петербурга, получил он от него строгий разнос: «Государь Император, узнав по публичным известиям, что Вы, Милостивый Государь, странствовали за Кавказом и посетили Арзрум, Высочайше повелел мне изволить спросить Вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие? Я же с своей стороны покорнейше прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении Вашем сделать сие путешествие» *(14 октября 1829 г.)*.

Пушкин не служил. Под открытым надзором не числился. Все русские, кроме крепостных, имели право свободного передвижения внутри России. Но Царь, выпустив его из Михайловского, ему этого права не вернул. Поездка Пушкина на Кавказ рассердила правительство не только потому, что он уехал самовольно, но еще потому, что он навестил опального Ермолова, а в походе жил среди своих старых друзей, декабристов.

Да и Н. Н. Раевский-младший, хотя и дослужился до генеральских чинов, был у правительства на плохом счету. Когда Пушкин попросил разрешения поехать к нему в деревню, ему этого не разрешили.

Получив письмо шефа жандармов, Пушкин опять вынужден был извиняться и оправдываться: «Я с большим огорчением узнал, что Его Величество недовольно моим путешествием в Арзрум... Приехав на Кавказ, я не мог устоять перед желанием увидеть моего брата, который служит в Нижегородском полку и которого я пять лет не видел».

Дальше идет совершенно ребяческое оправдание:

«Когда я туда приехал, мне показалось неудобным не принять участия в предстоящем деле, и таким образом, я присутствовал при военных действиях, на половину как солдат, на половину как путешественник. Я вижу, насколько мое положение было ложно и как ветрено себя вел. Но в этом не было ничего, кроме ветрености» *(10 ноября 1829 г.)*.

После горячих оваций, которыми приветствовали «русского Торквато» его южные поклонники, север сразу обдал его холодом.

Часть третья

ЗА СЧАСТЬЕМ

(1829—1833)

«Я поступаю как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться».

Из письма Пушкина Кривцову



Глава XVI

ПО ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГЕ

Весной 1828 года, в танцклассе Иогеля, описанном у Толстого в «Войне и мире», Пушкин увидел в толпе юных барышень высокую, тоненькую Ташу Гончарову в белом воздушном платье с золотым обручем в темных волосах. В ее движениях, в правильных чертах ее девичьего лица была законченная гармония. Кто знает, может быть, поэт с изумлением подметил в этой девочке сходство с Музой, своей невидимой спутницей. Он узнал в ней свою суженую. Это было не одно из многих его увлечений, не простое восхищение еще несложившейся, полудетской красотой. Это было чувство, несомненно, более властное. «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив», — писал он ей через несколько лет после женитьбы.

Три года упорно добивался он ее руки. И в то же время каждый раз, когда от нее отрывался, когда уезжал из Москвы в Петербург, в Арзрум, в Болдино, он сразу веселел, чувствовал облегчение, освобождение. Но очарован он был с первого взгляда. Граф Ф. Толстой, бывший его противник, а теперь приятель, представил Пушкина Н. И. Гончаровой-матери. Пушкин стал бывать в их доме, но в нем осталось какое-то противодействие, смутный страх, похожий на предчувствие, чувство по отношению к женщинам непривычное для этого аристократа любви, как определял его Вяземский. В письмах Пушкина, в его разговорах с друзьями точно проскальзывала тайная надежда, что судьба поведет его по другой дороге.

Гончаровы дворянство получили только за 25 лет до рождения Таши, при Екатерине. Они были из калужских мещан, люди промысловые, предприимчивые. Судя по фамилии, они, как и многие калужане, были когда-то кирпичниками. В XVIII веке Гончаровы занялись выделкой полотна для флота, имение их так и называлось Полотняные Заводы. При Петре Афанасий Гончаров основал первую в России писчебумажную фабрику. Императрица Елизавета прикрепи-

ла к ней 12 тысяч рабочих, из которых большинство были беглые крепостные. В течение всего XVIII века Гончаровы богатели, но, когда Пушкин познакомился с ними, от былого благополучия остались только просторная усадьба и широкие привычки. Семейные богатства размотал дедушка Таши — Афанасий Николаевич Гончаров (1760—1832). Он получил в наследство от отца поместья, фабрики, дома, тысячи крепостных и даже, что по тем временам было редкостью, полтора миллиона рублей. Деньги он истратил. Имущество, какое мог, распродал, что не мог продать, заложил. Накопил полтора миллиона долга, но в свое удовольствие пожил. От Москвы до Полотняных Заводов было только 150 верст. В великолепном, похожем на дворец доме, где ночевал, отступая от Москвы, Наполеон, гости не переводились, устраивались охоты, балы, был свой оркестр, свой крепостной театр. Старик мотал наследственное добро, не заботясь ни о вкусах, ни об интересах семьи, для которой у него никогда не было денег. Когда Пушкин стал женихом, дедушке уже было семьдесят лет, но он все еще развлекался, распутничал, должал, разорялся на любовниц.

Его сын, отец Таши, Николай Афанасьевич Гончаров (1787—1861) был совсем иного склада, тихий, скромный, образованный, очень музыкальный. Дочь от него унаследовала красоту. Он страдал меланхолией, порой переходившей в буйство, и в жизни детей никакой роли не играл. Его жена, Наталья Ивановна, была незаконной дочерью богача Загряжского и француженки, которую он привез из Парижа и поселил под одной крышей со своей законной женой. К незаконным детям, особенно прижитым от знатных родителей, тогда относились просто. Наталья Ивановна выезжала со своими сводными сестрами и была особенно дружна с одной из них, с фрейлиной Екатериной Ивановной Загряжской, которая потом в петербургском свете приняла под свое покровительство Натали Пушкину.

Н. И. Гончарова была женщина грубая, необузданная, распущенная. Дети трепетали перед ней. Взрослых дочерей она при чужих награждала пощечинами, что, впрочем, делалось во многих семьях до самой эмансипации. «В самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых, — пишет в своих воспоминаниях А. П. Арапова, дочь Н. Н. Пушкиной от второго брака. — Если случалось, что одну из них призывали к Наталье Ивановне в неурочное время, то сердце замирало в тревожном опасении и язык шептал молитву».

Детей было шестеро, три сына и три дочери — Екатери-

на (1809), Александра (1811) и Наталья (1812). Когда девочек начали вывозить, ссоры между дедушкой и матерью усилились, так как ни он, ни она не хотели тратиться на наряды бедных барышень. Они выезжали в старых, несвежих платьях, в сношенных туфлях, на которых дырки замазывались мелом. Мать очень хотела поскорее выдать их замуж, но ее взбалмошный характер отпугивал женихов.

Первым серьезным претендентом был Пушкин. Но и с ним Гончарова-мать несколько раз так ссорилась, что, казалось, свадьбе не бывать. Младший брат, Сергей Гончаров, который был ближе других к семье поэта, рассказывал Бартеневу, что у Пушкина бывали частые размолвки с его матерью, «п. ч. Пушкину случалось проговариваться о проявлениях благочестия и об Имп. Александре I, а у Наталии Ивановны была особая молельня, и она про покойного Императора выражалась не иначе, как с благоговением».

Судя по письмам Пушкина, размолвки происходили не столько из-за религиозных или монархических расхождений, сколько просто из-за денег и из-за самодурства Гончаровой.

Первое полусогласие Пушкин получил еще весной 1829 года. Перед отъездом в Арзрум он послал графа Ф. Толстого просить руки шестнадцатилетней Таши. Вот как год спустя, в письме к матери невесты, он описал свои чувства:

«Когда я ее увидел впервые, ее красота еще едва была замечена в свете; я полюбил ее; голова моя кружилась, я просил ее руки. Ваш ответ, хотя и неопределенный, на мгновение опьянил меня. В ту же ночь я уехал в армию. Если вы спросите меня зачем, я скажу, что и сам не знаю. Невольная тревога гнала меня прочь из Москвы. Я не вынес бы в ней ни вашего присутствия, ни ее» *(5 апреля 1830 г.)*.

Это мгновенное опьянение отразилось гораздо непосредственнее в письме, написанном тоже по-французски, сразу после первого сватовства. Во всей богатой коллекции писем Пушкина нет ни одного такого беспорядочного и слащавого. Даже стиль изменил писателю. Трудно понять, был ли он пьян от любви, или просто на радостях напился с Федором Толстым и в нетрезвом виде написал письмо:

«Я должен был бы написать Вам стоя на коленях и обливаясь слезами благодарности теперь, когда Толстой принес мне Ваш ответ. Ваш ответ не есть отказ, Вы позволяете мне надеяться. Если я все-таки ропщу, если доля печали и горечи примешивается к чувству счастья, не обвиняйте меня в неблагодарности. Я понимаю осторожность и нежность матери. Но не осудите нетерпение сердца больного и опьяненного счастьем» *(1 мая 1829 г.)*.

В тот же день он уехал на Кавказ. Веселое, полное приключений путешествие длилось четыре с половиной месяца. Вернувшись в Москву, Пушкин, если верить Сергею Гончарову, сразу явился к ним.

«Было утро. Мать еще спала. Дети сидели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в столовую влетает из прихожей галоша. Это Пушкин, торопливо раздевающийся. Войдя, он спросил про Наталью Николаевну. За ней пошли, но она не смела выйти, не спросившись матери».

Пушкин позже в письме к Н. И. Гончаровой иначе описал этот приезд:

«Сколько терзаний ожидало меня при возвращении. Ваше молчание, ваша холодность, небрежный, невнимательный прием м-ль Н. У меня не хватило мужества объясниться. Я уехал в Петербург с убитой душой. Я чувствовал, что был смешон. В первый раз в жизни я был робок, а в мужчине моих лет робость не может понравиться молодой девушке в возрасте Вашей дочери» *(5 апреля 1830 г.)*.

Таша, как звали в семье младшую дочь, которую позже в свете будут звать Натали, была настолько равнодушна к своему поклоннику, что даже забыла об его приезде и позже рассказывала биографам, что поэт прямо с Кавказа проехал в Петербург, не побывав у них.

Пушкин решил, что его ставки биты. Он опять попытался получить разрешение уехать за границу.

«Пока я не женат и не на службе, я хотел бы совершить путешествие во Францию и Италию. Если же это не будет разрешено, я прошу оказать мне милость и разрешить посетить Китай, куда отправляется специальная дипломатическая миссия» *(7 января 1830 г.)*.

Ответ Бенкендорфа звучит насмешливо: «Государь не соблагоизволил разрешить Вам посетить чужие края, полагая, что это внесет расстройство в Ваши личные дела и оторвет Вас от Ваших занятий» *(17 января 1830 г.)*.

Делать было нечего. Пришлось остаться в Петербурге, где Пушкину, в сущности, не так уж плохо жилось. Приятелей у него было много, знакомых еще больше. По словам Н. М. Смирнова, хотя «одна четверть общества по-прежнему считала Пушкина вольнодумцем, три четверти носили Пушкина на руках».

Дельвиг был еще жив. Пушкин постоянно с ним виделся, помогал ему редактировать «Литературную Газету», для которой и сам охотно давал стихи и статьи. Он писал восьмую главу «Онегина». Написал великолепные стансы — «Брожу ли я вдоль улиц шумных», — настроение которых так резко отличалось от

его тогдашней веселой, привольной жизни. Это был его последний холостой, светский сезон, и Пушкин точно спешил насладиться им, ухаживал, танцевал, постоянно бывал и на больших балах, и на более интимных дневных и вечерних приемах.

В той тетради, № 2382, куда вписал он первый черновой текст «Путешествия в Арзрум», Пушкин, вероятно, около нового, 1830 года набросал список домов, куда ему надо было заехать с визитом или оставить карточку. Там все его близкие друзья — Дельвиги, Карамзины, Хитрово, граф Ланжерон, Вяземские, — там же и дипломаты, послы австрийский, французский, испанский, посланники неаполитанский, саксонский. Возможно, что к этой зиме 1829/30 года относится записочка от графини Долли Фикельмон, показывающая, что Пушкин был не только незаменимым собеседником в салоне Элизы Хитрово и ее дочери, где обсуждались речи французских министров, статьи Сент-Бева, романы Бальзака и стихи Гюго, но и веселым участником их забав.

Жена австрийского посла звала Пушкина на маскарад. Маскарады были любимым развлечением светских людей, включая Николая I, который очень забавлялся, когда его интриговали, когда к нему подходило грациозное и таинственное домино. Если из-под черной полумаски виднелся нежный подбородок, блестели задорные молодые глаза, то Царь был не прочь, как тогда говорили, завязать интрижку. Конечно, под большим секретом.

«Решено, — писала Пушкину графиня Долли, — завтра вечером мы устраиваем нашу маскарадную экспедицию. — В девять часов соберемся у мамы. Приходите в черном домино и с черной маской. — Вашей кареты нам не нужно, но ваш слуга нам понадобится, — наших сразу узнают. Мы рассчитываем, дорогой м. Пушкин, что ваше остроумие все нам оживит. Потом вы будете у нас ужинать, и тогда я вас хорошенько поблагодарю. Если хотите, мама приготовит для вас домино».

Это единственная дошедшая до нас записка графини Долли к Пушкину. Белокурой графине Долли, амбасадерше, как ее дружественно прозвали в их кружке, было тогда 26 лет. Она считалась одной из самых красивых женщин Петербурга. Когда появилась темноволосая Натали Пушкина, которая была на восемь лет моложе, Долли и с ней выдерживала сравнение. Графиня была не только красивая, но и умная, образованная женщина, такая же сердечная, как и мать. Обе они обладали даром крепко удерживать около себя поклонников и превращать их в друзей.

Когда в начале 1830 года Вяземский поступил на службу в Министерство государственных имуществ и очень скучал

среди чуждого ему петербургского света, он сразу оценил приветливость Элизы Хитрово и ее дочери и писал жене в Москву:

«Элиза предобрая и превнимательная, ссужает меня книгами и газетами и всегда рада оказать услугу. Тоже и посланница, с которой мне ловко и коротко, как будто мы век вековали вместе. Вообще петербургские дамы так холодны, так чопорны, что право не нарадуешься, когда найдешь на них непохожих. А к тому же посланница и красавица и одна из царствующих дам в здешнем обществе и по моде, и по месту, и по дому, следовательно простодушие ее имеет еще больше цены. Как Пушкин не был влюблен в нее, он такой Аристократ в любви. Или боялся inceste*?» *(26 апреля 1830 г.)*.

Кто знает, быть может, Пушкин и был влюблен в эту царствующую даму. Легенда говорит, что был.

Как-то раз, разговаривая со своим другом Нащокиным о силе воли, Пушкин стал утверждать, что при желании можно удержаться от обморока, и рассказал об одном случае из собственной жизни. Нащокин тем наивным языком, которым и письма писал, пересказал его Бартеневу:

«Была молодая дама, стоявшая на высокой степени придворного и светского значения. Муж ее был гораздо старше ее, но она была безукоризненна в общем мнении любящего сплетни и интриги света... Эта блистательная, безукоризненная дама, наконец, поддалась обаянию поэта и назначила ему свидание в своем доме. Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец. По условию, он лег под диван в гостиной и должен был дожидаться ее приезда домой... После долгих ожиданий он слышит, подъехала карета. В доме засуетились. Два лакея внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины. Они возвращались из театра или из дворца. Через несколько минут фрейлина уехала. Хозяйка осталась одна. «Ты тут?!», и Пушкин был перед нею. Они перешли в спальню. Дверь была заперта, густые, роскошные гардины задернуты... Быстро проходило время в наслаждениях. Наконец, Пушкин как-то случайно подошел к окну, отдернул занавеску и с ужасом видит, что уже рассвело. Он наскоро оделся. Смущенная хозяйка ведет его к стеклянным дверям выхода, люди уже встали, топят печки. У самых дверей они встретили дворецкого, итальянца. Эта встреча так поразила хозяйку, что ей стало дурно. Она была готова упасть в обморок, но Пушкин крепко сжал ее руку, умоляя ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его, как для него, так и для нее самой.

---

* Инцеста *(фр.)*.

Женщина преодолела себя. Она позвала свою служанку, старую чопорную француженку, ловкую в таких случаях. Француженка свела Пушкина вниз прямо в комнаты мужа. Тот еще спал. Шум шагов его разбудил. Он спросил: «Кто здесь?» — Это я, — ответила ловкая наперсница и провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел».

Записав эту историю, сходную с приключениями в «Пиковой даме», Бартенев на полях отметил, что это была графиня Долли.

Во время путешествия в Оренбург Пушкин, разговаривая с женой казанского профессора Фукса о силе воли, передал очень сходную историю.

Австрийский посол, граф Фикельмон, с большой снисходительностью относился к тому культу, которым окружали в его доме Пушкина. Он понимал, во всяком случае, признавал его гениальность. Между поэтом и дипломатом установились очень хорошие отношения. Пушкин постоянно брал у посла книги и газеты, расспрашивал его об европейских событиях, за которыми пристально следил.

Позже, когда Пушкин уже был отцом семейства, граф Фикельмон раз, уезжая в отпуск, заехал к Пушкину проститься. Не застав его дома, он оставил ему два томика Гейне по-французски и записку: «Вот два томика контрабанды, которые гр. Фикельмон имеет честь поднести г. Пушкину и которые он просит принять на память вместо визитной карточки» *(27 апреля 1835 г.)*.

В марте 1830 года Пушкин вдруг оторвался от всех развлечений Петербурга и бросился в Москву. До него оттуда дошли две вести — поощрительный привет от Гончаровой-матери и слух о том, какой успех имела Таша на балах и празднествах, устроенных по случаю приезда Царя.

Как отнеслась графиня Долли к внезапному отъезду Пушкина, мы не знаем. Но мать ее, Элизу Хитрово, он очень огорчил, хотя она, как и все его друзья, знала, что Пушкин давно сватается к Таше Гончаровой. Элиза писала ему вдогонку длинные, кротко-укоризненные письма, тревожилась за него, воображала, что он болен, что с ним что-то случилось в дороге, умоляла его писать ей:

«Несмотря на то, что я с вами кротка, безобидна, покорна, а я знаю, что вы всего этого терпеть не можете, все-таки изредка давайте мне знать, что получили мои письма. Увидя Ваш почерк, я сразу просияю. Я буду говорить с Вами о большом свете, об иностранной литературе, о возможной перемене министерства во Франции, — увы, я около всех источников, но только не около источника счастья».

«Я должна Вам сказать, что позавчера вечером я была чрезвычайно обрадована. В. к. Михаил пришел провести с нами вечер. Увидя Ваш портрет, вернее Ваши портреты, он мне сказал: «Знаете, я никогда не видал Пушкина вблизи. У меня было сильное предубеждение против него, но теперь у меня большое желание познакомиться и поговорить с ним подольше». Под конец он попросил у меня «Полтаву». Как я люблю, чтобы Вас любили» *(18 марта 1830 г.).*

В это время Пушкин из Москвы писал Вяземскому:

«Если ты можешь влюбить в себя Елизу, то сделай мне эту божескую милость. Я сохранил свою Целомудренность, оставя в руках ее не плащ, а рубашку (справься у княгини Мещерской), а она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефреихи» *(вторая половина марта 1830 г.).*

Отъезд Пушкина почему-то обеспокоил Царя. Вернувшись из Москвы, Николай встретил у Императрицы Жуковского и его расспрашивал, зачем Пушкин уехал в Москву:

«Какая его муха укусила?»

Жуковский ответил, что не знает, зачем. Николай был недоволен также тем, что другой приятель Жуковского переехал из Москвы в Петербург, и прибавил:

«Один сумасшедший уехал, а другой приехал».

Вяземский, сообщая об этом жене со слов Жуковского, пояснил: «Впечатления Государя обо мне даны ему Бенкендорфом» *(4 марта 1830 г.).*

По-видимому, настроение Царя отразилось и на шефе жандармов. Бенкендорф послал Пушкину очередной нагоняй за самовольный отъезд из Петербурга:

«К крайнему моему изумлению услышал я, что Вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предупредив меня... Поступок сей принуждает меня Вас просить об уведомлении меня, какие причины заставили Вас изменить данному мне слову? Я вменяю себе в обязанность Вас уведомить, что все неприятности, коим Вы можете подвергнуться, должны Вами быть приписаны собственному Вашему поведению» *(17 марта 1830 г.).*

Пушкин ответил своей жандармской няньке добродушно-шутливым светским письмом:

«В 1826 году получил я от Государя Императора позволение *жить в Москве*, а на следующий год от Вашего Высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я *каждую зиму* проводил в Москве, осень в деревне... В Москву намеревался приехать еще в начале зимы, и, встретив Вас однажды на гулянии, на вопрос Вашего Высокопревосходительства, что намерен я делать? имел я счастие о том Вас

уведомить. Вы даже изволили мне заметить: Vous êtes toujours sur les grands chemins»* *(21 марта 1830 г.)*.

Намек на то, что он не держит слова, конечно, задел его. Но не мог он, задумав жениться, ссориться с шефом жандармов. Будущая теща требовала, чтобы он выяснил свои отношения с правительством. Дворянам полагалось служить или жить доходами с именья. Пушкин ни того, ни другого не делал. Гончаровы с недоуменьем смотрели на этого странного жениха. Его знала вся Россия, знал, даже как будто жаловал, Царь. Но со службы он был исключен, не было у него ни капитала, ни собственных крепостных. Не было ничего, кроме стихов. Из рода он был хорошего, а по положению только сочинитель.

В семье Гончаровых его так и величали. Может быть, и очаровательная Таша его когда-нибудь так назвала. Пушкин хорошо знал эту среду дворян, беспечных, малообразованных, полуразоренных, но полных претензий. Он понимал, что в их глазах сочинитель немного лучше, чем учитель. Понимал он также, что и мать тянет с ответом, надеясь, что подвернется жених посолиднее. Все это он знал и все же каждый день ездил на Никитскую в одноэтажный деревянный дом, с тремя окнами на улицу, где все было неряшливо и скупо, где старались не оставлять его ни к завтраку, ни к обеду, чтобы не ставить лишнего прибора. Ездил все чаще, связывал себя все больше, влюблялся все крепче.

У Пушкина бывали очередные любимые изречения, которые он твердил, как припев. В полосу жениховства таким припевом было изреченье Монтеня — вне проторенных дорог нет счастья. (Il n'est de bonheur que sur les voies communes.)

Он уверял себя и других, что женится, чтобы найти счастье на проторенной дороге, чтобы зажить как все. Но есть что-то странное, неладное, не Пушкинское в его женитьбе, в этом стремлении добиться руки девушки, которая ничем не показала ему, что она его любит, что он ей нравится.

Он и сам это чувствовал. В глубине души копошилась надежда, что кто-то или что-то отведет его от этого брака. В Страстную субботу написал он Н. И. Гончаровой-матери странное письмо, где подчеркнул свою материальную необеспеченность, разницу лет, свои сомнения в чувствах молодой девушки и в собственной пригодности к семейной жизни. Точно ему хотелось, чтобы ему отказали:

«Ваша дочь может привязаться ко мне только в силу привычки, после долгой близости. Я могу надеяться, что в конце концов я заслужу ее расположение, но во мне нет

---

* Вы всегда на больших дорогах *(фр.)*.

ничего, что могло бы ей нравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом доказательство только ее спокойного, сердечного равнодушия. Но сохранит ли она это спокойствие, когда будет окружена восторгами, поклонением, соблазнами? Ей будут говорить, что только несчастная судьба помешала ей заключить союз более равный, более достойный, более блестящий... Не начнет ли она тогда раскаиваться? Не будет ли смотреть на меня, как на помеху, как на обманщика и похитителя? Не стану ли я ей тогда противен? Бог свидетель, что я готов умереть за нее, но умереть, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной выбрать нового мужа — это адская мысль».

Странно читать такие предсказания в письме влюбленного жениха. Пушкин, который говорил, что он был влюблен во всех хорошеньких женщин, конечно, был влюблен в Ташу. Она была больше, чем хорошенькая. Она была красавица. Лучше, чем кто-нибудь, знал он, какой грозной разрушительной силой может быть женская красота, какая опасность может таиться в женской улыбке.

«Поговорим о моем состоянии. Я этому не придаю значения, и мне моего состояния до сих пор хватало. Но хватит ли, когда я женюсь? Ни за что на свете я не потерплю, чтобы моя жена терпела какие бы то ни было лишения, чтобы она не могла появляться там, где она призвана блистать и веселиться. Она имеет право это требовать. Чтобы ее удовлетворить, я готов пожертвовать всеми своими вкусами, всеми увлеченьями, пожертвовать для нее жизнью свободной и полной приключений. А все-таки не будет ли она роптать, если ее положение в обществе не будет таким блестящим, как она этого заслуживает и как я хотел бы. Вот что меня тревожит, и я в страхе, что Вы найдете мою тревогу основательной. Есть еще одно опасение, которое я не могу доверить бумаге» *(5 апреля 1830 г.).*

Это был намек на его неблагонадежную политическую репутацию. Но Н. И. Гончарова решила, что пора спустить с рук хоть одну из трех дочерей, и не испугалась письма Пушкина. На следующий день, в Пасхальное воскресенье, его предложение было принято. Официальную помолвку отложили до ответа от Бенкендорфа, которому Пушкин написал по настоянию Гончаровой. В этом письме есть, тоже несвойственная ему, неловкость, даже неуклюжесть.

«Я очень смущен, что вынужден обращаться к властям по делу исключительно личному. Но меня к этому вынуждает мое положение и тот интерес, который Вы мне проявляете... Я должен жениться на м-ль Гончаровой, которую Вы, веро-

ятно, видели в Москве... Мне делают два возражения — мое имущественное состояние и мое положение по отношению к правительству. Относительно состояния, я мог ответить, что у меня его достаточно, благодаря Его Величеству, который дал мне возможность честно жить моим трудом. Что же касается моего положения, то я не могу скрыть, что оно и ложное и неопределенное... М-м Гончарова боится выдавать дочь за человека, который имел бы несчастие не пользоваться доверием Императора. Мое счастье зависит от одного благосклонного слова Того, к кому я уже испытываю бесконечную благодарность» *(16 апреля 1830 г.)*.

Покончив с навязанной ему и очень для него неприятной необходимостью говорить с шефом жандармов о своих личных, семейных делах, Пушкин переходит к «Годунову». Вернувшись в свою литературную вотчину, он сразу становится самим собой, говорит своим голосом. В третий раз просит он Царя разрешить ему напечатать трагедию и заодно отвечает на сделанные ему раньше замечания. Нечасто в письме поэта, обращенном к монарху, да еще в письме, которое посылалось через шефа политической полиции, можно услыхать такую спокойную писательскую уверенность, что верховным судьей своих произведений может быть только сам автор.

«Два или три места привлекли Его (Царя. — *А. Т.-В.*) внимание, потому что в них как будто бы содержится намек на недавние события, — писал Пушкин. — Я перечел их недавно и сомневаюсь, чтобы им можно было давать такое толкование. Все смуты похожи одна на другую. Драматический автор не может отвечать за слова, которые он вкладывает в уста своих исторических персонажей. Он должен заставлять их говорить сообразно с известным их характером. Поэтому следует обращать внимание также на общий дух, в котором задуман весь труд, на общее впечатление, которое он производит.

Моя трагедия произведение добросовестное, и я по совести не могу вычеркнуть из нее то, что мне представляется существенным» *(16 апреля 1830 г.)*.

Письмо кончается просьбой: «Обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь, меня торопят, и я умоляю Его Величество развязать мне руки и разрешить мне напечатать трагедию так, как я ее понимаю».

Разрешение издать «Бориса Годунова», который пять лет уже лежал в рукописи, было наконец дано. Пушкин так обрадовался, что написал Плетневу:

«Милый! победа! Царь позволил мне напечатать *Годунова* в первобытной красоте... Думаю написать предисловие. Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично ли мне,

Ал. Пушкину, являясь перед Россией с Борисом Годуновым, заговорить о Фаддее Булгарине? Кажется не прилично» *(начало мая, 1830 г., Москва).*

Относительно брака ответ тоже был милостивый. Бенкендорф писал, что Царь «принял с благосклонным удовольствием известие о браке, который Вы предполагаете заключить», он уверен, что Пушкин «позаботится о счастьи такой любезной и интересной женщины, как Гончарова». На главный, самый щекотливый вопрос, Бенкендорф отозвался лицемерным недоумением:

«Что касается лично Вашего положения по отношению к правительству, то я считаю, что оно вполне отвечает Вашим интересам. Не может быть в нем ничего ни ложного, ни сомнительного, если только Вы сами не сделаете его таковым. Его Величество, с чисто отеческим к Вам попечением, соблаговолил мне, ген. Бенкендорфу, не шефу жандармов, а человеку, которому благоугодно Ему оказать доверие, наблюдать за Вами и давать Вам руководящие советы. Никогда, никакой полиции не было приказано наблюдать за Вами» *(28 апреля 1830 г.).*

Это была наглая ложь, но Пушкин этого не знал, а мать невесты ответ шефа жандармов удовлетворил. 6 мая состоялось формальное обручение Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Что испытывала молодая девушка, мы не знаем, но чувства жениха Пушкин тогда же описал. В его черновиках есть русский набросок, помеченный как перевод с французского. Вряд ли можно сомневаться, что это совсем не перевод, а описание его собственных переживаний:

«Участь моя решена. Я женюсь.

Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, — Боже мой, она почти моя.

Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней, заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — все это в сравнении с ним ничего не значит.

Дело в том, что я боялся не одного отказа... Жениться! Легко сказать. — Большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок, другие — приданое и степенную жизнь, третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им под тридцать лет...

Я женюсь, т. е. я жертвую независимостию, моей беспечной, прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством... Я никогда не хлопотал о счастии: я мог обойтиться без него. — Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его...»

Насмешливо описывает он, как его приняли в доме невесты:

«Отец... первый встретил меня с отверстыми объятиями, вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решил высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Надиньку, она явилась бледная, неловкая... Нас благословили. Надинька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне — и я жених... Все радуются моему счастию, все поздравляют, все полюбили меня... Дамы в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте. — «Бедная! она так молода, так невинна, а он такой ветреный, безнравственной!» Признаюсь, это начинает мне надоедать» *(апрель 1830 г.)*.

Это не рассказ об обручении двух влюбленных, это юмористическое описание сделки между женихом и родителями невесты. Невеста только пассивный объект родительского решения. Пушкин это понимал, на это шел. При его знании женского сердца в его сватовстве не меньше смелости, чем в его поединках.

Почти год был он женихом. Жениховство всегда полно хлопот и суеты. Для Пушкина это беспокойное состояние осложнялось денежными делами и очень неровными отношениями с будущей родней. Вскоре после помолвки он писал Элизе Хитрово:

«Родным моей жены мало дела до нее и до меня. Я от всего сердца плачу им тем же. Это очень приятные отношения, и я их никогда не изменю» *(май 1830 г.)*. Любопытно, что он уже называет Натали женой, торопится закрепить свои права, хотя до женитьбы еще далеко.

Несколько раз благодаря капризам Н. И. Гончаровой свадьба чуть не расстроилась. Семья Гончаровых была не из легких. И будущая теща, и дедушка Афанасий Николаевич досыта надоедали добродушному поэту. Одни разговоры о приданом чего стоили. Нелепость их состояла в том, что Пушкин женился на бесприданнице и отлично это знал. Правда, 70-летний bonvivant* дедушка обещал сделать Таше приданое и дать ей 300 душ крестьян, но самым спокойным образом надул ее, ничего не дал, и приданое было сделано на деньги Пушкина. Зато дедушка очень старался использовать столичные связи жениха. Он навязал Пушкину презабавное поручение — продать в казну колоссальную статую Екатерины II, превратить медную императрицу в золото. Статуя была заказана в 1782 году в Берлине Потемкиным. Там ее купил прадед Натали, Н. А. Гончаров, и привез в Полотняные Заводы, где она 35 лет пролежала в сарае.

---

* Бонвиван *(фр.)*.

Через три недели после помолвки Пушкин, с трудом сдерживая усмешку, от имени предка своей суженой просил Бенкендорфа разрешения растопить бронзовую императрицу и продать ее на вес. «Свадьба внучки, очень быстро налаженная, застала его (деда. — *А. Т.-В.*) совершенно без денег, и вывести нас из затруднения может только Государь Император и Его Августейшая бабка» *(29 мая 1830 г.)*.

Этим вздором Пушкин занимался, когда в его голове складывались царственные стихи:

Поэт! не дорожи любовию народной...
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Стихи помечены первым июня. Трудно верится, что такие строчки родились среди назойливого жужжания и приставаний будущих родных, в особенности тещи, которая упорно учила ветреного жениха правилам жизни.

Разрешение расплавить Великую Екатерину было дано. Взбалмошный дедушка им не воспользовался, но долго и разнообразно надоедал Пушкину. По своему обычаю поэт спасался шутками и в письмах острил над дедушкой и его медной бабушкой, которая и после женитьбы преследовала его. Даже попала на одну из его квартир на Фурштадтской. Можно себе представить, как было удобно в петербургской квартире хранить медную статую, которой было тесно в просторной усадьбе. Позже, уже без участия Пушкина, медной бабушке пришлось путешествовать через всю Россию на юг. Ее водворили в Екатеринославле на площади, где, если советское правительство ее не свалило, она и сейчас стоит.

Друзья поздравляли Пушкина с помолвкой. Одни злорадно, другие искренно. Вяземский писал жене: «Не знаю еще, радоваться или нет счастью Пушкина. Но меня до слез тронуло его письмо к родителям. Что он говорил тебе об уме невесты? беда если в ней его нет. Денег нет, а если и ума не будет, то при чем же он останется с его ветреным нравом» *(26 апреля 1830 г.)*.

В тот же день в письме к Пушкину Вяземский пустил одно из своих метких словечек, до сих пор не забытых: «Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нашего поколения».

Пушкин поблагодарил приятеля за поздравление и за мадригал и сейчас же перешел на литературные темы, заговорил о том, как бы ему и Вяземскому добиться разрешения издавать газету. О свадьбе только несколько слов в конце, и то невеселых: «Сказывал ли ты Екатерине Андр. (Карамзиной. — *А. Т.-В.*) о

моей помолвке? Я уверен в ее участии — но передай мне ее слова — они нужны моему сердцу и теперь не совсем счастливому» *(2 мая 1830 г.).*

Нелегко ему было учиться ходить по проторенным дорогам.

Но когда это сказала Элиза Хитрово, он ее оборвал. Она писала ему:

«Я боюсь для Вас прозаической стороны брака. Я всегда думала, что гению необходима полная независимость, что ряд неудач помогает его развитию, — счастие, полное, положительное, непрерывное, в конце концов однообразное, убивает его способность, заставляет его жиреть, превращает великого человека просто себе в славного малого» *(май 1830 г.).*

Пушкин насмешливо ответил, что ее рассуждения о браке были бы совершенно правильны, «...если бы вы менее поэтически оценивали меня. На самом деле я просто себе славный малый и очень хотел бы потолстеть и жить счастливо, первое легче, чем второе» *(19 мая 1830 г.).*

Ни его жениховство, ни его женитьба не поколебали его дружбы с Элизой, скорее даже углубили ее. До конца жизни Элиза осталась для него преданной и деятельной поклонницей, всегда готовой употребить все свое влияние, чтобы защитить поэта от неприятностей, от мелких светских уколов, к которым он был всегда чувствителен.

Помолвкой Александра очень довольны были старики Пушкины. Они поздравляли его горячо и напыщенно. Отношения между ними и старшим сыном уже несколько лет как были восстановлены благодаря усилиям Дельвига, Вяземского, Анны Керн. Близости по-прежнему не было, все же, извещая их о своем сватовстве, Пушкин мог от чистого сердца писать:

«Я прошу вашего благословения не как простой формальности, а потому, что оно необходимо для нашего счастия. Пусть вторая половина моей жизни принесет вам больше утешения, чем печальная моя юность» *(апрель 1830 г.).*

От этого письма сохранился только отрывистый черновик, кончающийся просьбой дать ему какую-нибудь долю из семейных владений. Отец и мать прислали и родительское благословение, и обещание выделить 200 душ в деревне Кистеневке Нижегородской губернии, где у Сергея и Василия Львовичей было свыше тысячи душ, давно заложенных... Не в пример старику Гончарову, Пушкины обещание свое сдержали, чем очень выручили сына. Денежные дела Пушкина были не в порядке. Зарабатывал он много, но его тревожили карточные долги. Их было свыше 20 тысяч, и некоторые кредиторы настойчиво требовали уплаты.

Нужны были деньги на свадьбу. Плетнев, который самоотверженно возился с издательскими и денежными делами поэта, ворчал, что Пушкин раньше не известил его о женитьбе, не дал времени собрать деньги с книгопродавцев. Но все-таки Плетнев устроил так, что Пушкин должен был в течение четырех лет после свадьбы получать не менее 600 рублей ежемесячно. Это было немало, но нужно было также достать деньги на жениховские расходы. Выручил Погодин, в журнале которого Пушкин печатал стихи. Пушкин засыпал его просьбами о деньгах, послал ему в мае десять коротеньких записочек, и все о деньгах.

«Сделайте одолжение, скажите мне, могу ли я надеяться к 30 маю иметь 5000 р... Сделайте божескую милость, помогите! К воскресенью мне деньги нужны непременно... Выручите, если возможно, а я за Вас буду Богу молить с женой и малыми детушками... Будут ли деньги? У Бога конечно всего много, но он взаймы не дает, а дарит кому захочет, так я более на Вас надеюсь, чем на Него (прости, Господи, мое прегрешение)».

Погодин в дневнике отмечал: «Рыскаю по Москве... ищу денег для Пушкина, как собака... Набрал 2000, с торжеством послал Пушкину», — записал он 8 июня.

Пушкин, с его беспечным отношением к деньгам, отлично мог бы этим обойтись, но теща приставала, всячески напоминала, что теперь он должен жить по-новому. Чтобы устроить свои дела, получить от отца бумаги для ввода во владение 200 душ, устроить печатание «Годунова», Пушкин среди лета вернулся в Петербург и оттуда писал княгине Вяземской: «К стыду своему признаюсь, я веселюсь в Петербурге и не знаю, как и когда вернусь» *(2 августа 1830 г.)*.

Кто знает, не к этим ли веселым летним неделям относится рассказ Нащокина о ночном свидании с блистательной дамой?

Пушкин в то лето делил свое время между двумя несхожими, но равно дружественными домами и чаще всего бывал в австрийском посольстве и у Дельвигов, которые снимали дачу на Неве, на Крестовском острове. У них постоянно запросто бывали гости, шли чтения, музыка, пение, споры о волновавшей всех июльской революции во Франции. В русских газетах о ней почти не писали, но Пушкин приносил из австрийского посольства новости и иностранные газеты. Мог ли он угадать, как французские события отразятся на его судьбе?

Из рядов приверженцев свергнутого короля, Карла X, вышел Жорж Дантес, высокий, белокурый человек, роковую

встречу с которым за двадцать лет вперед предсказала гадалка Кирхгоф.

Та же революция косвенно сократила жизнь самого близкого Пушкину человека — Дельвига. Когда Пушкин 10 августа наконец отправился в Москву, друзья, возобновив старый лицейский обычай, прошли пешком 25 верст до Царского Села и там расстались, не подозревая, что это было их последнее прощание.

Пушкин рассчитывал сыграть свадьбу в сентябре. Но 20 августа умер давно хворавший дядюшка Василий Львович. Пришлось из-за траура свадьбу отложить. Благодаря этому Пушкин поехал в нижегородскую деревню Болдино, где успел написать «кучу прелестей». Это была последняя невольная, но великая услуга, которую дядюшка оказал русской литературе.

Перед отъездом Пушкин чуть не рассорился с Гончаровым. Дедушка сердился, что жених недостаточно настойчиво просит в Петербурге у министра финансов графа Канкрина ссуды на поправку расстроенных дедушкиных дел. Мать сердилась, что жених Богу не молится, и все еще колебалась, выдавать ли за него Ташу. Что-то не ладилось с этой свадьбой.

Точно ища опоры в прошлом, Пушкин побывал в старом бабушкином сельце Захарове, где не был с детства. Имение было давно продано, но в соседней деревне жила дочь Арины Родионовны, Марья. Она рассказывала, что Александр Сергеевич обежал все любимые места.

Часть березовой рощи была вырублена. Флигель снесен. «Все наше рушили, все поломали, все заросло», — сказал он ей невесело и скоро уехал.

Накануне отъезда в Болдино Пушкин писал княгине В. Вяземской:

«Я уезжаю, поссорившись с М-м Гончаровой. На следующий день после бала она мне закатила самую нелепую сцену, какую только можно вообразить. Она наговорила мне вещей, которые по совести я не могу слушать. Я еще не знаю, расстроилась ли моя свадьба, но повод для этого есть, и я оставил дверь открытой. Проклятая штука счастье» *(август 1830 г.)*.

Плетневу писал он откровенно:

«Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей

невесты и ее матери — отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения — словом, если я и не несчастлив, по крайней мере и не счастлив. Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает, а я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть буду ли там иметь время заниматься, и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского.

Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Чорт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостию, которой обязан я был Богу и тебе. Грустно, душа моя...» *(31 августа 1830 г.).*

Пушкин был так мало уверен в чувствах невесты, что перед отъездом вернул ей ее слово.

«Я отправляюсь в Нижний без уверенности в своей судьбе. Если Ваша мать решила расторгнуть нашу свадьбу и Вы согласны ей повиноваться, я подпишусь подо всеми мотивами, какие ей угодно будет привести своему решению, даже если они будут так же основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было меня осыпать. Может быть, она права, а я был неправ, думая одну минуту, что я был создан для счастья. Во всяком случае, Вы совершенно свободны, что же до меня, то я даю Вам честное слово принадлежать только Вам, или никогда не жениться» *(конец августа 1830 г.).*

Вяземский очень отговаривал Пушкина от поездки, так как с Каспия, по Волге, поднималась эпидемия холеры и уже подходила к Нижнему. Пушкин не придавал этому значения. Под Арзрумом видел он и холеру, и чуму.

«Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами, — записал он позже. — Приятели, у коих дела были в порядке (или в привычном беспорядке, что совершенно одно), упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество.

На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой... Воротиться в Москву казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой. — Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждаются карантины. Народ ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности загадочно непривычным стеснениям. Мятежи вспыхивают то здесь, то там.

Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказки и не ездя по соседям».

Невесте он писал, что не вернулся «потому, что готов был радоваться и чуме».

Холера заставила Пушкина прожить в Болдине, сочиняя сказки, не три недели, а три счастливейших месяца. Это было не то довольство среднего человека, о котором он твердил в письмах. Это было счастье творческое, недоступное людям, не знающим других путей, кроме проторенных дорог.

Глава XVII

БОЛДИНО

Ты царь: живи один.

«Доношу тебе, моему Владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что коли твой смиренный Вассал не околеет от сарацинского падежа, Холерой именуемого и занесенного нам крестовыми воинами, т. е. бурлаками, то в замке твоем, Литературной Газете, песни трубадуров не умолкнут круглый год».
(Письмо Дельвигу. 4 ноября 1830 г.)

Одинокая осень в Болдине была одной из самых царственных страниц в блистательной творческой жизни Пушкина.

Опять он был среди родовых вотчин. Пушкины осели в Нижегородском крае еще до Смутного времени. Как в Михайловском поэт был в центре Ганибаловщины, так в Болдине очутился он в обширных Пушкинских владеньях. Пушкиным в трех уездах, Городецком, Сергачском и Лукояновском, принадлежали земли, пожалованные им в разное время за государеву службу, ратную и иную. Семья была беспечная, бесхозяйственная. Никто из Пушкиных не позаботился на этих землях свить для потомков гнездо, достойное рода древнего и с хорошим достатком. Хотя Пушкин в письме к невесте и назвал Болдино «мой печальный замок», на самом деле это был простой деревянный дом. В России, где никогда не было феодализма, не было и замков, отделенных от виланов неприступной стеной. Возможно, что это одна из причин, почему русские дворяне, владевшие крепостными, были проще, ближе к народу, чем немецкие бароны и французские маркизы. Пушкин говорил, что, несмотря на рабство, русские мужики совсем не похожи на забитых дикарей, как описывали некоторые французские дореволюционные писатели своих крестьян. Но у нерадивых помещиков мужики были бедные,

терпели лишенья и притесненья, доходившие иногда до зверства. В Болдине Пушкин видел последствия легкомыслия и беззаботного мотовства своих предков.

Именье было большое — 500 дворов, тысяча душ, 6 тысяч десятин земли, пахотной, луговой и под лесом. Это было золотое дно, но управляющие, пользуясь дальностью расстояния и небрежностью владельцев, довели мужиков до нищеты. Братья, Сергей и Василий Львовичи Пушкины, ни во что не вмешивались, только широко пользовались своим правом закладывать и перезакладывать в казну земли, постройки и живой инвентарь — крепостных мужиков. Ни отец, ни дядя толком не знали, кому и сколько они должны, но умудрились по нижегородским именьям задолжать более 100 тысяч рублей.

У Сергея Львовича было еще 500 душ в деревне Кистеневке, в десяти верстах от Болдина. Из них-то он и выделил Александру 200 душ. Пушкину пришлось, чтобы оформить этот дар, несколько раз съездить в уездный город Лукоянов за сорок верст. 16 сентября его ввели во владенье. Он рассчитывал после этого быстро вернуться в Москву и до Рождественского поста успеть обвенчаться. Холера нарушила его планы. Ему пришлось прожить в Болдине до конца ноября.

Усадьба была запущенная. Дом давно нежилой, неубранный, полупустой. На одиннадцать комнат было только 24 стула, 6 кресел, четыре стола и дивана. Все настолько плохонькое, что дом со всей обстановкой был оценен в 5 тысяч. Зато кругом на нескольких десятинах раскинулся сад, через который тянулась длинная липовая аллея. В конце ее стояла полюбившаяся Пушкину скамейка. С этой скамейки открывался отличный вид, может быть, не такой красивый, как михайловские синие озера и густые леса, но и тут был все тот же русский простор, на который Пушкин всегда отзывался.

Уехал он из Москвы в скверном настроении, все твердил — тоска, тоска. В деревне прежде всего написал «Бесов» и «Элегию», точно прислушивался к предостерегающим голосам. В «Бесах» реалистическое описание метели, но сквозь белые хлопья снега мелькают злые полчища. Стих то шуршит, как жесткий снег, то стонет и плачет. Пушкин под заглавием «Бесы» приписал — «Шалость», небрежным словом прикрывая жуткость видений. На следующий день, может быть, даже в тот же день, написал он «Элегию»:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
(8 сентября 1830 г.)

Выразив себя в слове, он сразу ожил и писал Плетневу:

«Теперь мрачные мои мысли порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня Колера Морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию... Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь... А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает. Сегодня от своей получил я премиленькое письмо; обещает выдти за меня и без приданого...

Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верьхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов» *(9 сентября 1830 г.)*.

Невеста не воспользовалась тем, что он ей вернул слово. Упускать жениха не входило в расчеты Гончаровой-матери. Все осталось по-прежнему. Пушкин получил от Таши письмо, на которое ответил, как ему полагалось:

«Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, — я у Ваших ног, чтобы благодарить и просить Вас о прощении за беспокойство, которое я вам причинил. Ваше письмо прелестно н вполне меня успокоило... Простите меня и верьте, что я счастлив только там, где вы» *(9 сентября 1830 г.)*.

Невеста писала под контролем, может быть, даже под диктовку матери, которая, конечно, читала и письма жениха. В письмах Пушкина сквозь шутливость слышится неуверенность, несвойственная ему натянутость. До нас дошло семь его болдинских писем к Таше. Великий русский поэт писал невесте по-французски, но опубликован только русский перевод, сделанный И. С. Тургеневым. Он купил эти письма у дочери Пушкина, графини Н. А. Меренберг, и в 1878 году напечатал их в «Вестнике Европы». Пушкин тревожился за невесту и в каждом письме умолял ее уехать из Москвы.

«Вот я и совсем готов почти сесть в экипаж, хотя мои дела не окончены и я совершенно пал духом... Будь проклят тот час, когда я решился оставить Вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров... Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня и эта чума с карантином — разве это не самая скверная шутка, какую судьба могла придумать. Мой ангел, только одна Ваша любовь препятствует мне повеситься на воротах моего печального замка (на этих воротах, скажу в скобках, мой дед некогда повесил француза, un outchitel, аббата Николя, которым он был недоволен). Сохраните мне эту любовь и верьте, что в этом все мое счастье. Можно мне Вас обнять? Это нисколько не зазорно на расстоянии 500 верст и сквозь пять карантинов. Эти карантины не выходят у меня из головы» *(30 сентября 1830 г.)*.

«Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине... Скажите мне, где Вы? Оставили ли Вы Москву? Нет ли окольного пути, который мог бы привести меня к Вашим ногам?.. Передо мной теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и проехать к Вам через Кяхту или через Архангельск?.. Прощайте, мой прелестный ангел. Целую кончики Ваших крыльев, как говорил Вольтер людям, не стоившим Вас» *(1 октября 1830 г.)*.

Одно письмо он все-таки ей написал по-русски: «Милостивая Государыня Наталья Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить Вам по-русски, а Вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только отвечайте. Письмо Ваше от первого октября получил я 26-го. Оно огорчило меня по многим причинам, во-первых, потому, что шло ровно 25 дней, 2) что Вы 1-го октября были еще в Москве, давно уже зачумленной, 3) что Вы не получили моих писем, 4) что письмо Ваше короче было визитной карточки, 5) что Вы на меня видно сердитесь, между тем как я пренесчастное животное уж без того» *(27—29 октября 1830 г.)*.

Несколько дней спустя, опять по-французски: «9-го Вы еще были в Москве! — Мне пишет о том мой отец. Он пишет мне еще, что моя свадьба расстроилась. Не достаточно ли этого, чтобы повеситься? Я еще скажу Вам, что от Лукоянова до Москвы 14 карантинов. Чего лучше?» *(4 октября 1830 г.)*.

«В Болдине, все еще в Болдине! Узнав, что Вы не оставили Москвы, я взял почтовых лошадей и отправился. Выехав на большую дорогу, я увидал, что Вы были правы — 14 карантинов были только аванпостами, а настоящих карантинов только три... Я проделал 400 верст, не сделав ни шагу из моей берлоги... Я совсем потерял мужество и так, как у нас теперь пост (скажите матушке, что этого поста я долго не забуду), то

я не хочу больше торопиться; предоставляю вещам идти по своей воле, а сам останусь ждать сложив руки. Мой отец все мне пишет, что свадьба моя расстроилась. На днях он уведомит меня, может быть, что Вы вышли замуж. Есть от чего потерять голову» *(18 ноября 1830 г.)*.

Пушкин имел основание тревожиться за невесту. Холера расплывалась по России, с Волги перекинулась на Москву, где въезд и выезд были запрещены. Эпидемия была сильная, напугавшая население и правительство. Вяземский писал из Остафьева Жуковскому: «Я живу под давлением единой, душной неразбиваемой мысли — холера у нас в Москве» *(26 сентября 1830 г.)*.

В народе пошло брожение, местами переходившее в бунт. Врачей и начальство обвиняли в том, что они умышленно морят народ. Правительство стало издавать в Москве особую ведомость, «для сообщения верных сведений, необходимых в настоящее время для пресечения ложных и неосновательных слухов, кои производят безвременный страх и уныние». Редактировать эти ведомости было поручено Погодину. Это было ответственное поручение. Молодой поэт, А. С. Хомяков, писал Погодину: «Даже в 12-ом году не с большим нетерпением ждали газет, чем мы Ваших бюллетеней».

Чтобы поддержать спокойствие и поднять дух населения, Царь 29 сентября неожиданно приехал в Москву. Появление Царя в городе, где свирепствовала эпидемия, с которой тогда совершенно не умели бороться, произвело огромное впечатление. Народ окружал коляску Царя, становился на его пути на колени. Смелость Николая вызвала всеобщее восхищение. Насмешливый Вяземский, далеко не принадлежавший к его поклонникам, записал в дневнике:

«Приезд Николая Павловича в Москву точно прекраснейшая черта. Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство. Мы видали царей в сражении. — Это хорошо, — но тут есть военная слава, есть point d'honneur*, нося военный мундир и не скидывая его показать себя иногда военным лицом. Здесь нет никакого упоения, нет славолюбия, нет обязанности. Выезд Царя из города, объятого заразою, был бы, напротив, естественным и не подлежал бы осуждению, следовательно приезд Царя в такой город есть точно подвиг героический. Тут уж не близь Царя — близь смерти, а близь народа — близь смерти».

Не зная ничего о настроении Вяземского, Пушкин выра-

---

* Дело чести *(фр.)*.

зил в стихах чувства очень сходные. Когда весть о появлении Царя в зараженной Москве дошла до Болдина, Пушкин написал диалог «Герой». Поэт восхваляет Наполеона, посетившего чумной госпиталь в Яффе. Приятель говорит, что это легенда, опровергнутая историками. Поэт не сдается.

Да будет проклят Правды свет,
Когда Посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

Описывая Наполеона в Яффе, Пушкин, в сущности, рисовал Николая I в Москве. Но, чтобы его не обвиняли в заискивании перед Царем, он пометил стихи — 29 сентября 1830 года, Москва — и послал их Погодину для «Московского Вестника». Свое имя он запретил ставить. Все знали, что он не в Москве. Только после смерти Пушкина обнаружилось, кто был автор «Героя».

Пушкин корил невесту, что она сидит в холерной Москве, а она его за то, что он сидит в Болдине, что его там удерживают хорошенькие соседки. «Как Вы могли думать, что я завяз в Нижнем из-за этой проклятой Голицыной? — писал Пушкин. — Знаете ли Вы эту княгиню Г.? Она толста, как вся Ваша семья, вместе взятая, включая и меня» *(2 декабря 1830 г.)*.

У Таши не было оснований ревновать жениха. Он нигде почти не бывал. Среди соседей не было ни одной семьи, способной окружить его влюбленной преданностью, как в Тригорском. Все же, будь Таша другого склада, она могла бы почувствовать, что у нее есть соперница, что кто-то владеет воображением поэта. В глухой деревне, вдали от мира, под угрозой Колера Морбус, ее жених жил богатой, полной, счастливой жизнью, где ей не было места. Это не было охлаждающее влияние разлуки. Он был влюблен в Ташу, а влюбленный, он и на расстоянии умел чувствовать прелесть пленившей его женщины. Княгиня Вера Вяземская, которая, может быть, лучше, чем кто-нибудь, понимала некоторые интимные черты Пушкина, передавала Бартеневу: «Пушкин говаривал, что как скоро ему понравится женщина, то уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с ней, и в воображении увозит ее с собой, сажает в экипаж, одевает ей плечи, целует у нее руки».

Его любовные стихи подтверждают эту способность издали, вне времени и пространства, переживать близость любимой. В Болдине он написал три элегии, насыщенные памятью о прежнем, давно утраченном, но не забытом счастье. В них

страстный призыв к женщине, которую отняла от него не то смерть, не то судьба. Письма к невесте идут своим чередом. В них Пушкин на беглом французском языке выражает подобающую, слегка шутливую нежность. Но в памятливом сердце поэта не угасли и прежние чувства. Встает образ графини Элизы.

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
(«Расставание». 5 октября 1830 г.)

Через несколько дней он пишет «Заклинание», колдует, вызывает призрак любимой. Это вспышка страсти, пламенный призыв любовника:

Явись, возлюбленная тень,
. . . .
Приди, как дальная звезда,
Как легкой звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно, сюда, сюда!..
(17 октября 1830 г.)

Наконец перед самым отъездом в Москву, когда, казалось, все мысли Пушкина должны были быть полны близким свиданьем с невестой, а не памятью о любви минувшей, написал он «Разлуку»:

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный,
Я долго плакал пред тобой...
(27 ноября 1830 г.)

О ком он думал? О мертвой Амалии Ризнич? Об умершей для него графине Элизе Воронцовой? Прощался со всем своим свободным любовным прошлым? Или, как предполагают некоторые биографы, в его жизни была еще какая-то глубокая любовь, которая для нас осталась скрытой? Этого мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем. Для нас важно не имя, а то, что поэт хранил в своем сердце столько страстной нежности, что любовь свою передал он стихами, которые и через столетие волнуют, заражают, вдохновляют. Красноречивее всяких признаний выдают они внутреннюю неудовлетворенность Пушкина-жениха. Своими прозорливыми глазами видел он, что сбился с дороги, что настоящая любовь осталась позади, что возлюбленная тень больше полна жизни, чем его московская косая Мадонна.

Ей в Болдине не посвятил он ни одной строчки стихов, но почти во всем, что он там написал, отразился его многообразный любовный опыт, его знание женского сердца. Анна Керн говорила, что по-настоящему Пушкин любил только свою Музу. В Болдине он с юношеским упоением бросился ей навстречу. Может быть, никогда в жизни не был он так счастлив, как в этой глуши, где никто и ничто не стояло между ним и вдохновеньем. Никогда не оставался Пушкин так долго в таком полном, в таком сосредоточенном одиночестве. Точно судьба нарочно подняла его на гребень, откуда он мог оглянуться на прошлое, претворить в художественные образы чувства и мысли, накопленные в его бурной и страстной жизни. Тридцатилетний поэт переработал в изображения страстей и характеров личные мотивы, которыми в дни юности была насыщена его лирика, отчасти его поэмы. Свои глубокие мысли, свои слова щедро роздал он своим героям и героиням. Это не была поглощенность одной формой, одной темой. В его голове одновременно уживались, нарождались самые разнообразные напевы, мелодии, размеры, ритмы. Лирические стихотворения, короткие драмы, исторические поэмы, шутливая повесть в стихах, главы Онегина, прозаические рассказы, первые им написанные. Любовь испанских грандов, жизнь русских крепостных, шутливый рассказ о том, как в глухой Коломне к вдове нанялся кухаркой молодой повеса, чтобы приударить за ее хорошенькой дочкой, Арзрум нагорный и его благочестивые жены, большой петербургский свет и зачумленный английский городок. Пушкин переходил из страны в страну, от одного характера к другому, обозревал русскую историю, описывал человеческие страсти, то любовь, то скупость, то дерзкий вызов судьбе, то нежность, то мрачную зависть, передавал переходы, оттенки человеческих переживаний, героических, темных, возвышенных, радостных, глубоких, жалких.

В Болдине, между 7 сентября и 27 ноября, написал Пушкин столько первоклассных вещей, что если бы он ни раньше, ни позже ничего не написал, одними болдинскими произведениями заработал бы он себе звание первоклассного лирика, драматурга, рассказчика, романиста, даже журналиста. Болдинские рукописи до конца его жизни приносили ему доход, после его смерти помогли детям разбогатеть. Это художественный клад, до сих пор еще не до конца исследованный, хотя все напечатано, хотя за последние полвека трудолюбивые книжники разбирают, переворачивают, толкуют каждую строчку, каждую запятую, каждую описку Пушкина.

Вот календарь Болдинской работы. Он помогает понять поэтическую биографию Пушкина. В большинстве случаев даты показывают день окончания пьесы, как он помечен самим Пушкиным.

Сентябрь:

7-го,	«Бесы».	56 строк.
8-го,	«Безумных лет угасшее веселье...»	14 стр.
14-го,	«Станционный смотритель».	
18-го,	окончены «Странствия Онегина»	
20-го,	«Барышня-крестьянка».	
25-го,	окончена гл. VIII «Онегина».	

Октябрь:

2-го,	«Осень».	96 стр.
5-го,	«Расставание» .	6 стр.
7-го,	«Паж».	30 стр.
9-го,	«Гробовщик», «Я здесь, Инезилья...»	20 стр.
10-го,	«Домик в Коломне».	432 стр.
	«Отрок».	4 стр.
14-го,	«Выстрел».	
16-го,	«Моя Родословная».	84 стр.
17-го,	«Стамбул гяуры нынче славят...»	46 стр.
20-го,	«Метель».	
23-го,	«Скупой рыцарь».	448 стр.
26-го,	«Моцарт и Сальери».	310 стр.
30-го,	«Стихи, сочиненные во время бессонницы».	15 стр.
31-го,	«История села Горюхина».	

Сверх того в октябре не датированные Пушкиным, частью не законченные:

«Пир во время чумы».	250 стр.
«Герой».	68 стр.
«Пью за здравие Мэри...»	20 стр.
«Как весенней теплою порой».	82 стр.
«В начале жизни школу помню я...»	42 стр.
«Царскосельская статуя...»	4 стр.
«Рифма».	8 стр.
«Труд».	4 стр.

Ноябрь:

4-го, «Каменный гость»	680 стр.
Не датировано:	
«Перед испанкой благородной...»	16 стр.
«Рыцарь бедный».	56 стр.

Вероятно, в ноябре написана десятая глава «Онегина», которую Пушкин потом уничтожил.

Как-то, еще из Одессы, Пушкин писал Вяземскому: «Меня тошнит от прозы». До тридцати лет он писал только стихи, если не считать писем, немногих журнальных статей и неоконченного «Арапа Петра Великого». А в Болдине он с маху написал пять «Повестей Белкина». Шестая повесть, «Летопись села Горюхина», осталась неоконченной. В этих повестях та верность характеров и подробностей, которая стала основной традицией русской прозаической литературы. Начало русскому реализму положил не великий фантаст Гоголь, а именно Пушкин, которого упорно величали романтиком.

Пушкин рассказами своими остался доволен. Когда они были напечатаны, кто-то спросил его:

— Кто этот Белкин?

— Кто бы он ни был, а писать вот так и надо — просто, коротко, ясно, — ответил, смеясь, Пушкин.

Помимо рассказов и отдельных стихотворений, он за эти 80 дней написал четыре короткие драмы в стихах, закончил и отделал три главы «Онегина». Драматические сцены были для него новой формой. Пушкин охотно преувеличивал след, оставленный на его воображении чужими произведениями. Так сделал он и с этими драмами. Он привез с собой в Болдино книгу Колриджа, которого очень ценил, парижское издание английских поэтов, где была драма Вильсона «Зачумленный город», а также драматические сцены Барри Корнуэля, настоящая фамилия которого была Проктор. Пушкин почему-то высоко ставил этого писателя, давно забытого в Англии. В Большой Английской Энциклопедии Корнуэлю посвящено только 12 строчек. Из них две сообщают, что «он с 1832 по 1861 г. состоял столичным инспектором по делам сумасшедших». Конечно, и гений может быть не оценен Британской Энциклопедией, но Корнуэль был далеко не гений, а очень посредственный поэт. Однако какой-то толчок Пушкину он дал. К драмам Корнуэля драматические сцены Пушкина относятся так же, как простодушные итальянские хроники к произведениям Шекспира, который ими пользовался. За эти заимствования Толстой сердито называл Шекспира плагиатором, но вряд ли даже Толстой позволил бы себе называть Пушкина подражателем Корнуэля.

В коротких драмах Пушкина есть основные черты драматического произведения — столкновение характеров и страстей. Каждая из них сосредоточена около определенной страсти, но в них нет отвлеченности, предвзятости. Характеры принадлежат эпохе и среде, органически связаны с действием.

В «Скупом рыцаре» изображен средневековый барон, в котором скупость поглотила все человеческие чувства — честность, жалость, совесть, любовь к сыну. Нищий сын богача отца мечтает о турнирах, об улыбке прекрасной дамы, но бедность заграждает ему путь в рыцарский круг. Еврей-ростовщик вкрадчиво намекает, что отца ведь можно и устранить, тогда наследник станет богачом. Сын в негодовании. Он не преступник, одна мысль о преступлении приводит его в ужас. Он выгоняет ростовщика и все-таки убивает отца, правда, убивает его словами. В заключительной сцене между скупым рыцарем и юношей слышатся драматизированные отголоски столкновений в Михайловском между Пушкиным и его отцом, который обвинял Александра в желании убить его словами. Чем-то очень личным звучит печальное восклицание юноши: «О бедность, бедность! Как унижает сердце нам она!..»

Не для того ли, чтобы затушевать семейное сходство, Пушкин сделал к заглавию приписку: «Сцены из Ченстоновской трагикомедии». Когда русский пушкинист Лернер лет сорок тому назад обратился к директору Британского музея с просьбой помочь ему найти английский оригинал, директор ответил, что такой трагикомедии не существует, что русский поэт подшутил над своими читателями.

Самое сильное место в драме — это монолог скупого, когда он в темном подвале перебирает свои сокровища и восхваляет могущество золота. Тут порок, доведенный до угрюмого величия.

Другая драма, «Пир во время чумы», действительно вольное переложение первого действия трагедии Вильсона «Зачумленный город» (John Wilson, «The City of the Plague»). Пушкин совершенно изменил английский текст, сухой, растянутый, и построил драму на двух противоположных подходах к судьбе и к смерти. Песня Мэри полна кроткой печали, покорности воле Божией, ожиданья будущей встречи с возлюбленным на небесах. Ответная песнь председателя пира звучит бурным, дерзким вызовом.

Той же дерзостью кипит любовная игра ненасытного, жаждущего новизны Дон Жуана в «Каменном госте». Шутя бросает он судьбе вызов, не воображая, что она его примет, придет к нему в лице статуи Командора.

Наконец, «Моцарт и Сальери». Это загадочное произведение до сих пор толкуется по-разному. В основу его Пушкин положил малодостоверный рассказ, как Сальери отравил Моцарта. В черновых заметках Пушкина есть запись: «Завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца». Как характерно для Пушкина думать, что человек,

совершивший преступление против искусства, способен на всякое иное преступление.

В драме только два лица, две противоположные художественные натуры, радостный, беспечный и вдохновенный Моцарт и тяжелый, неудачливый Сальери, угрюмый мозговик, бескрылый аналитик, — «звуки умертвив, музыку я разъял, как труп». Но он тоже художник, он тоже живет только через искусство. Перебирая лучшие дары жизни, ради которых стоит жить, он говорит:

Быть может, посетит меня восторг,
И творческая ночь и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден сотворит
Великое — и наслажуся им...

Это наслаждение дает ему Моцарт, а Сальери решается его убить. На это преступление его толкает не столько зависть, сколько суеверный страх:

...я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
Вот яд, последний дар моей Изоры...

Сальери не завистник, устраняющий соперника. Он судия, орудие рока, этого третьего, невидимого и главного героя драмы. Тяжелые, приближающиеся шаги рока слышит и легкомысленный гуляка Моцарт, как слышит их влюбленный Дон Жуан, когда Командор является к нему на свидание. Моцарт рассказывает Сальери, что его преследует одетый в черное незнакомец, заказавший ему реквием.

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

«И, полно! что за страх ребячий?» — отвечает ему Сальери, уже решившийся отравить Моцарта. Моцарт расспрашивает его, правда ли, что Бомарше кого-то убил? Стараясь отогнать смутное томительное предчувствие, Моцарт произносит знаменитые слова:

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство
Две вещи несовместные. Не правда ль?

«Ты думаешь?» — отвечает Сальери и бросает яд в стакан Моцарта.

Некоторые критики считали, что Пушкин в Моцарте изобразил себя, а в Сальери Баратынского, который будто бы завидовал его гению. Вряд ли. Великий сердцевед, он мог сознавать, что его дар смущает, может быть, даже бередит зависть, а мог «по простоте и высоте своей» ее и не заметить. К тому же Баратынский, как все поэты кругом, вынужден был раз навсегда признать недостижимое поэтическое превосходство Пушкина. Пушкин, изображая Моцарта и Сальери, скорее раздвоил самого себя. Первому отдал свою легкость, светлое свое вдохновение. В Сальери вложил свое упорство, свою неугасимую любовь к труду, к мастерству, — «ремесло поставил я подножием искусству». Он так насытил монологи Сальери умом, что тут опять, как в «Разговоре книгопродавца с поэтом», целый трактат по искусству. Самые сложные мысли, самые возвышенные чувства Пушкин передает простым, разговорным языком. Шевырев говорил: «Пушкин рассказывает роман первыми словами, которые срываются с языка, и в этом отношении он есть феномен в истории русского языка и стихосложения».

Другое чудо Пушкина было, что его стихи, запоминающиеся, как музыка, были в то же время построены, как обыденная русская речь. Эти стихи в «Каменном госте», в «Моцарте и Сальери» достигают совершенства даже для Пушкинского редкого мастерства. Во всех четырех коротких драмах, как в греческих трагедиях, главное действующее лицо Судьба. Она стучит могильной лопатой, прерывая песни безумцев, пытающихся буйным весельем заглушить голос царицы-чумы. Шаги Судьбы слышит и скупой рыцарь в своем подвале, и ветреный любовник Дон Жуан. К нему Судьба приходит в облике каменного гостя. «О, тяжело пожатье каменной его десницы». К Моцарту судьба является в черном плаще незнакомца.

Разнообразны, богаты оттенками художественные образы, явившиеся на свет в Болдине по властному призыву Пушкина, но сквозь них, как руководящий мотив в музыкальном произведении, проходит одна объединяющая их мелодия — чувство Судьбы, многообразный фатализм. На пороге новой жизни, оглядываясь на прошлое, на безумных лет угасшее веселье, на тех, кого он любил, на все, что жизнь ему дала и в чем его обманула, Пушкин с предельной ясностью ощутил то, чем за шесть лет перед тем закончил «Цыган» — и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет...

И в болдинской прозе слышится этот мотив. В рассказе

«Гробовщик» привидения похожи на тех, о ком Свидригайлов у Достоевского говорит — привидения самые обыкновенные. Пушкин обращается с ними запросто, рисует их со своей обычной четкой простотой, с мелкими подробностями, точно знакомых описывает. «Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми...»

Рукопись «Гробовщика» исчерчена рисунками Пушкина. На одном из них изображен мертвый бригадир Курилкин, который укоряет гробовщика, что он его надул, подал счет на дубовый гроб, а положил в сосновый. На этой же странице черновика нарисовано распятие, но на кресте висит не Спаситель, а сатана. Странный, страшный набросок.

«Гробовщик» навеян вывеской, которую Пушкин видел в Москве из окна дома, где жила его невеста. Странное сочетание мыслей.

В пустом, одиноком болдинском доме, вслушиваясь в темное бормотание ночной тишины, Пушкин написал «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», полувопрос, полуупрек, обращенный к жизни, к Судьбе, к Богу. К этим пятнадцати строкам особенно применимы слова английского писателя Мориса Беринга, что Пушкина нельзя перевести, потому что у него ритм слов неотделим от мыслей. Хотелось бы сказать — неотделим от ритма мыслей. В описании бессонницы, как в описании метели в «Бесах», слышится еще иной смысл, придающий звукам таинственную выразительность:

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...
(30 октября 1830 г.)

Одновременно с драматическими сценами, действие которых происходит в разные эпохи и в разных странах, — в Италии, в Испании, в Англии, в Германии, Пушкин заканчивал «Онегина», роман насквозь русский. На четвертушке

бумаги подвел он в Болдине хронологию «Онегина», своего рода бухгалтерский отчет:

Часть первая	Онегин
I песнь. — Хандра. — Кишинев. — Одесса.	1823
II песнь. — Поэт. — Одесса.	1824
III песнь. — Барышня. Одесса. Михайловское.	1824
Часть вторая	
IV песнь. — Деревня. — Михайловское.	1825
V песнь. — Имянины. — Михайловское.	1825
VI песнь. — Поединок. — Михайловское.	1826
Часть третья	
VII песнь. — Москва. — Михайловское. СПБ. Малинники.	1827—1828
VIII песнь. — Странствия. — Москва.	1829
IX песнь. — Большой свет. Болдино.	
1823 г. 9 мая.	1830 г. 25 сент. Болдино.
И внизу подведен итог	7 лет 4 месяца 17 дней

Эта запись показывает, как долго, как отрывисто писался «Онегин», который в чтении производит впечатление обдуманности, цельности. Так же годами писал Данте «Божественную комедию», Гёте «Фауста», где вторая часть так резко разнится от первой. У Пушкина сохранилась полная слитность.

Пушкин часто писал несколько вещей одновременно, но ни одну не откладывал в сторону, каждой отдавал непрерывное усилие. «Борис Годунов» чередовался с «Цыганами» и главами «Онегина», но был написан в десять месяцев. «Полтава» написана в три недели. «Медный всадник» в несколько дней, тоже в Болдине, но в следующий приезд. Только «Онегин» годами уживался с другими героями и замыслами, временами надолго уступая им дорогу. Из этого романа, полного точных бытовых мелочей, с ясно очерченной любовной историей, Пушкин сделал центральную кладовую, которая в течение многих лет была для него складом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.

Роману следовало бы называться по имени героини, как Пушкин одно время и предполагал. По мере того, как характеры крепли, развивались, образ Татьяны заслонял Онегина. Этот рост шел по каким-то своим законам, независимо от воли поэта. В январе 1905 года Толстой в Ясной Поляне рассказывал моему мужу, Г.-В. Вильямсу, что когда-то встречал в Монтрё дочь Карамзина, княгиню Екатерину Николаевну Мещерскую. Пушкин был с ней дружен. Он сказал ей:

— Знаете, ведь моя Татьяна отказала Онегину, бросила его. Этого я от нее никак не ожидал.

Любовная история и замысел в «Онегине» несложные, но гениальный ум Пушкина, неотразимость его стихов превратили этот роман в настольную книгу для нескольких русских поколений. Такие диаметрально противоположные люди, как Император Николай II и Ленин, оба отдыхали над «Онегиным». Это самый национальный, самый общенародный из всех русских романов. И в то же время это страницы из русской истории. Деревня, Москва, высший свет, глухая провинция обрисованы с такой правдивостью, что по этим описаниям можно изучить эпоху. Это сама русская жизнь, прошедшая через таинственную лабораторию гения, пронизанная его светом. В развитие чувств и событий вплетаются быстрые очерки философических мыслей, занесенных из Германии туманной, почерпнутых из книг Адама Смита, легкие остроты, величавое описание встреч поэта с Музой, забавный кодекс волокитства, точно невзначай оброненное признание в любви подлинной. Пушкин не носится с собой, не позирует, не разливается в описании своих чувств, но он все время тут, рядом. Ни в Онегине, ни в Ленском Пушкин себя не изобразил, но это очень личное, местами автобиографическое произведение. Своеобразные, чарующие отступления от главной темы заносились в разные черновые тетради по мере того, как рождались, часто без видимой связи. Иногда Пушкин отдавал «Онегину» то, что по первому замыслу принадлежало другому произведению, или наоборот, вынимал строчки из «Онегина» и вставлял в другие сочинения. Так в криптограмме десятой, уничтоженной главы есть строчки о Наполеоне:

Сей муж судьбы, сей странник бранный
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший, как тень зари...

Эти четыре строчки, слегка изменив их, Пушкин вставил в «Героя»:

Все он, все он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирилися цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Семь лет писал он Онегина, но все строфы созвучны по мелодии, по грациозному юмору, во всех общая, Онегинская, музыка. Была у Пушкина в мозгу особая магическая, Онегинская комната, через нее проводил он эти четырнадцать строк

пятистопного ямба, из которых строились строфы романа. Прежде чем занять свое место, они иногда годами хранились в его больших черных тетрадях с магическими масонскими знаками. Что же, ведь и поэт вроде колдуна или мага, вызывающего из Космоса нерожденные души.

Пушкин печатал «Онегина» отдельными главами. Седьмая была уже напечатана, когда работал он в Болдине над тремя следующими. Из них до нас дошли только две — восьмая, первоначально названная Пушкиным «Большой свет», — и «Странствия Онегина». 25 сентября Пушкин простился с Онегиным. Как это часто бывает с художниками, ему было грустно расставаться со своим детищем. Он это высказал в гекзаметре, форме для него мало привычной:

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний,
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга Пенатов святых?

Форма накладывает свою печать даже на большого мастера. Гекзаметр обязывает к величавости. То же настроение Пушкин высказал несравненно проще и задушевнее в предпоследней строфе Онегина:

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.
(Гл. VIII. Стр. L. 1830 г.)

Все же это не было последнее расставание. Письмо Онегина к Татьяне Пушкин написал позже, уже после женитьбы. Хотя другие образы толпились, роились, требовали воплощенья, но Пушкин в Болдине, может быть, перед самым отъездом, еще раз вернулся к «Онегину» и написал десятую главу, о декабристах. В ней он изобразил русскую политическую жизнь, начиная с 1812 года и кончая 14 декабря. Наполеон в Москве, русские офицеры в покоренном Париже, первое зарождение либерализма, влияние на военную молодежь гре-

ческой гетерии и неаполитанской революции, тайные общества и бунт на Сенатской площади.

От всего этого до нас дошел согнутый пополам листок, на котором рукой Пушкина написаны бессвязные строчки. Их расшифровали только в XX веке. В 1910 году П. О. Морозов, известный пушкинист, заметил, что строчки, казавшиеся бессвязными, заключают в себе криптограмму, где Пушкин записал отрывок десятой главы, передвигая строчки и слова. Для Морозова ключом послужило письмо А. И. Тургенева и заметка в дневнике Вяземского, сделанная сразу после того, как Пушкин заезжал к нему в Остафьево по дороге из Болдина в Москву. «Он много написал в деревне, привел в порядок 8 и 9 главы Онегина, его и кончает; из десятой, предполагаемой, читал мне строфы о 1812 г. и следующих — славная хроника. У вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи...» *(19 декабря 1830 г.)*.

Два года спустя А. И. Тургенев писал из Мюнхена в Париж брату Николаю, эмигранту: «Есть тебе и еще несколько бессмертных строк о тебе. Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 г. и упоминает между прочим и о тебе:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

В этой части у него есть прелестная характеристика России и русских, но она останется на долго под спудом. Он читал мне в Москве только отрывки» *(лето 1832 г.)*.

Николай Тургенев был доктринер, довольно надутый. Он не оценил меткости этой добродушной характеристики.

Друзья, особенно Вяземский, настойчиво советовали Пушкину подальше спрятать или даже уничтожить эту главу, чтобы накануне свадьбы не дать правительству нового повода для недовольства и придирок. Пушкин дал Царю обещанье не писать политических, или, по официальной терминологии, — возмутительных стихов. Десятая глава была очень далека от вольнолюбивых настроений его юности, но Николай I всякое упоминание о декабристах воспринимал болезненно. Не понравилась бы ему и суровая характеристика Александра I, хотя Пушкин и декабристов не пощадил. Это тоже было одной из причин, почему эта глава была, вероятно, им уничтожена. Нельзя было бить лежачего.

Для русской литературы и истории это огромная потеря, что десятая глава не дошла до нас. У Пушкина было историческое чутье, которым художники нечасто обладают в такой степени. Наблюдатель памятливый, честный (что тоже не часто встречается), он проницательно схватывал характеры, воздавал должное и тем, с кем нс ладил, кто ему не нравился. Он находился в центре тогдашней жизни, знал почти всех выдающихся людей своего времени. Такой свидетель мог многое объяснить в декабрьских событиях, которые обе стороны изображали пристрастно.

Быть может, где-нибудь в пыльном углу библиотеки еще отыщется рукописная копия таинственной главы. Есть смутные сведения, что Вяземский говорил, что такой список есть в Остафьеве. Богатейший семейный архив Вяземских, перешедший через его дочь к Шереметевым, все еще не разобран. Будем надеяться, что какой-нибудь трудолюбивый архивный юноша найдет заветную тетрадь и мы узнаем, как Пушкин оценивал романтическую попытку толпы дворян, в сущности, горсточки дворян, освободить Россию и крестьян.

У Пушкина в Болдине были хлопоты, были и тревожные мысли. Самая поездка была вызвана имущественными делами, с которыми он не привык возиться. У него никогда не было никакого имущества. Были только деньги, которые он зарабатывал стихами. Когда он эти деньги разматывал, проигрывал, проживал, он умел обходиться и без денег. Одна голова не бедна. Но, входя в семью Гончаровых, он знал, что надо наладить денежные дела. Это была надоедливая мысль. Тревожило его и то, что невеста сидит в холерной Москве, за неприступной стеной карантинов. Пушкин ворчал на болдинское заточение, в письмах к невесте называл себя «пренесчастным животным», честно пытался, нарушая запреты, «проскочить в Москву, чтобы поскорее сыграть свадьбу».

Это все делал тот житейский Пушкин, к которому поэт отнес суровые слова — меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но другой, внутренний Пушкин был в Болдине счастлив, допьяна упивался вдохновением. Этого слова Пушкин целомудренно избегал. Но, чтобы понять художников и поэтов, понять искусство, надо вдуматься в это «расположение души». Миллионы людей живут и умирают, не познав не только вдохновения, но даже минутного озарения. Некоторые готовы его отрицать, как лишенный слуха склонен отрицать хроматическую гамму. Но, внимательно читая Пушкина, даже тот, кто никогда не испытал окрыляющей радости вдохновения, может заглянуть в таин-

ственную психологию творчества. Пушкин, когда ему было 23 года, написал:

«Критик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему восприятию впечатлений и соображению понятий, следственно и к объяснению оных. Восторг исключает *спокойствие,* необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому...» Заметка на этом обрывается. Пушкин в стихах не раз описывал это состояние, эту движущую силу, которую так явственно ощущал в себе. И в Болдине он описывал творческий процесс, в VIII главе «Онегина», в «Осени», в шутливой бытовой повести «Домик в Коломне». Точно ему нужно было словами освободиться от одержимости. Его аналитический ум пытался понять, что такое с ним творится, когда находит на него эта «дрянь»? Почему все думают прозой, а он стихами? Кто насылает на него незримый рой гостей? Часто, приступая к большому произведению, он сначала описывал, как находит на него вдохновение, как «душа стесняется лирическим волненьем, трепещет, и звучит, и ищет, как во сне». В Михайловском, перед тем, как писать «Годунова» и очередные главы «Онегина», он в «Разговоре книгопродавца с поэтом» говорит:

Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава...
(1824)

Перед тем как приняться за «Полтаву», он восхвалял «рифму, звучную подругу вдохновенного досуга». В Болдине несколько раз возвращался он к описанию «пламенного недуга», когда поэт полон звуков и смятенья. Для «Осени» он взял эпиграфом слова Державина «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум». Эта творческая дрема была хорошо знакома Пушкину.

«Осень» начинается с простой деревенской картины. «Я не люблю весны; скучна мне оттепель, вонь, грязь — весной я болен... Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи...»

И потом сразу переход:

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно...

В длинный осенний вечер любит он сидеть один у камина:

...а я пред ним читаю,
Иль думы долгие в душе моей питаю.

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем.
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

XI

Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в эпанчах, жиды, богатыри,
Царевны пленные, графини, великаны,
И вы, любимицы златой моей зари, —
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами.

XII

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

По всем произведениям Пушкина рассыпаны описания этого момента, когда после мертвого штиля все в нем приходит в движенье, «когда сменяются виденья перед тобой в волшебной мгле и быстрый холод вдохновенья власы подъемлет на челе». Об упоении, о наслаждении, о сладострастии творчества Пушкин говорит теми же словами, которые он употребляет в любовной лирике. Это не есть стилистическая скудость. Русский язык, со всеми своими богатствами, был ему подвластен, как никому. Слова сами бежали ему навстречу. Но, правдивый художник, он для сходных чувств брал сходные выражения. Любовь дарила его переживаниями, сродными творчеству. Не оттого ли, переходя на прозу, он с одинаковой сдержанностью, иногда с напускной небрежностью, говорил и о любви, и о поэзии. В известных нам 700 письмах Пушкин почти не упоминает о своих любовных увлечениях или даже приключениях. О стихах говорит редко,

скупо: «Я пишу, как булочник печет, портной шьет — за деньги, за деньги. Я не принадлежу к писателям XVIII века. Я пишу для себя, а печатаю за деньги, ничуть не для улыбки прекрасного пола». Изредка сорвется признанье: «Я думал стихами. На меня нашла эта дрянь...» Даже с близкими людьми, а переписывался он больше всего с друзьями, хранит он горделивую сдержанность во всем, что касается любви и поэзии. Не употребляет слов — вдохновение, творить. Начал «Онегина», хотел признаться Вяземскому — пишу его с упоеньем. И вычеркнул эти слова. Писал «Годунова», хотел сказать Раевскому — я чувствую, что душа моя созрела, что я могу творить, — и этого письма не отправил, не кончил. А ведь с ними обоими он был очень дружен.

В прозе только раз, в неоконченной повести «Египетские ночи», рассказал Пушкин переживания поэта и описал Мицкевича под видом странствующего импровизатора-итальянца. Ни в ком не мог он так явственно наблюдать пламя вдохновения, как в польском поэте, с его чудесным даром импровизации. У Пушкина этого дара не было. Он мог, шутя, перекладывать прозаический разговор в стихи, мог, слушая, как Глинка играет восточные мотивы, тут же к его мелодии сочинить слова — «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...». Песня и напев так друг друга дополняют, точно их сочинил один художник. Но импровизировать сложные, законченные поэмы, как это делал Мицкевич, Пушкин не мог. В неконченой повести «Египетские ночи» Пушкин изобразил и себя под именем Чарского, «которого в журналах звали поэтом, а в лакейских сочинителем».

Сначала заезжий итальянец своей приниженностью, убогостью производит на Чарского жалкое впечатление. Тем с большим изумлением видит поэт-аристократ, как внезапно, как чудесно преобразило вдохновение его нищего собрата. «Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога. Он дал знак музыкантам играть. Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем».

Чарского, то есть себя, Пушкин описывает гораздо холоднее: «...он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал в постели с утра до поздней ночи. Одевался наскоро, чтобы ехать в ресторацию, выезжал часа на три; возвратившись, опять лежал в постели и писал до петухов, это продолжалось у него недели две-три, много месяц и случалось однажды в год, всегда осенью. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял,

чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?»

В «Египетских ночах» есть точное описание, как находит *«эта дрянь»*. «Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. — Чарский погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали. — Он писал стихи».

Это единственный случай, когда Пушкин в прозе передал то, что не раз выражал стихами, при этом с такой же мастерской точностью, с какой описывал черкесский наезд, или Татьяну на улицах Москвы, где в девяти строчках, составленных только из существительных, дана такая разнообразная картина московских улиц, что художник Добужинский, как ни бился, не мог вместить все эти предметы в одну иллюстрацию.

Мелькают мимо бутки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
(Гл. VI. Стр. XXXVIII)

Такую же протокольную точность соблюдает Пушкин, описывая приступ вдохновения. Перед тем как рассказать похождения молодого повесы, ради волокитства нанявшегося в кухарки, Пушкин в первых восьми октавах «Домика в Коломне» дает блестящий трактат о стихосложении и рифмах. Эти строчки вошли во все учебники русской словесности:

Ведь рифмы запросто со мной живут:
Две придут сами, третью приведут...
Мне рифмы нужны, все готов сберечь я,
Хоть весь словарь; что слог, то и солдат —
Все годны в строй: у нас ведь не парад...

Как весело стихи свои вести
Под цифрами, в порядке, строй за строем,
Не позволять им в сторону брести,
Как войску, в пух рассыпанному боем!
Тут каждый слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем,

А стихотворец... С кем же равен он?
Он Тамерлан, иль сам Наполеон.
(1830)

Это писано в Болдине. Там же, кончая «Онегина», в последней главе, прежде чем рассказать, как Татьяна из скромной уездной барышни превратилась в блестящую светскую даму, Пушкин посвятил шесть строф своей Музе, поблагодарил свою верную подругу за все счастье, которое она ему давала, которым он так глубоко, так жадно насладился в эти творческие, вдохновенные осенние дни в Болдине. Точно о свиданиях с любимой женщиной рассказывает он о своих встречах с Музой. Сначала Лицей:

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне...

Потом Петербург:

Я Музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров...
Она несла свои дары,
И как Вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась.
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... она за мной.
Как часто ласковая Муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!..
Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шопот Нереиды,
Глубокой, вечный шум валов,
Хвалебный гимн Отцу миров.

Потом Бессарабия, где Муза

...позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом:
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

И ныне Музу я впервые
На светской раут привожу,
На прелести ее степные
С ревнивой робостью гляжу...

Блистательная светская женщина — это последнее перевоплощение Пушкинской Музы. После Болдина он Музе уже не посвящает стихов. В Болдине подвел он итог не только «Онегину», но всему прошлому, несмотря ни на что светлому, легкому, насыщенному творчеством и любовью. Чувствовал, что подходит к рубежу, за которым его ждет уже другая жизнь.

Глава XVIII

ИДИЛЛИЯ

«Милый! я в Москве с 5 декабря, — писал Пушкин Плетневу. — Нашел тещу озлобленную на меня, и насилу с нею сладил... Насилу прорвался я и сквозь карантины — два раза выезжал из Болдина и возвращался. Но, слава Богу, сладил и тут. Пришли мне денег, сколько можно более...» *(9 декабря 1830 г.).*

Вот и все о женитьбе. Дальше идут просьбы прислать денег, литературные новости и перечень написанного в Болдине: «Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал».

Узнав о предстоящей женитьбе Пушкина, преданный Плетнев с усиленной рьяностью повел дела своего друга, сразу прислал ему 2000 рублей, через две недели еще столько же. Для Гончаровых этого было мало. Нащокин рассказывал потом Бартеневу, что после Болдина у Пушкина были такие крупные размолвки с будущей тещей, что он считал, что свадьба не состоится, и собирался уехать в Польшу, на войну. Нащокин его отговаривал, а Пушкин в ответ напевал: «Не женися, добрый молодец, на те деньги ты купи коня».

Но никуда он не уехал, только все настойчивее собирал деньги. Опять писал Плетневу:

«Душа моя, вот тебе план жизни моей: я женюсь в сем месяце, полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи, не как хочешь — как тетки хотят. Теща моя та же тетка». Дальше он пишет о газете, о которой давно мечтал: «Кабы я не был ленив, да не был жених, да не был очень добр, да умел бы читать и писать, то я бы каждую неделю писал бы обозрение литературное — да лих терпения нет, злости нет, времени нет, охоты нет. Впрочем, посмотрим.

Деньги, деньги: вот главное. Пришли мне денег. И я скажу тебе спасибо» *(13 января 1831 г.)*.

За несколько дней до свадьбы снова пишет он Плетневу о деньгах:

«Через несколько дней я женюсь: и представляю тебе хозяйственный отчет: заложил я моих двести душ, взял 38 000 — и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее была с приданым — пиши пропало. 10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остается 17 000 на обзаведение и житие годичное. В июне буду у вас и начну жить en bourgcois*, а здесь с тетками справиться невозможно — требования глупые и смешные, а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит приданое и отчего я сердился? Взять жену без состояния — я в состоянии, — но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять по крайней мере на свадьбе. Делать нечего: придется печатать мои повести. Перешлю тебе на второй неделе, а к Святой и тиснем» *(начало февраля 1831 г.)*.

Тут уже намечаются тягости будущей жизни Пушкина. Глупые требования теток наложат на нее свою печать. Тряпки Натали будут съедать золото, заработанное стихами. Придется поступаться важной писательской привычкой выдерживать рукописи, придется спешить с их печатаньем.

А тут еще в самый разгар жениховства обрушилось на Пушкина большое горе. 14 января умер в Петербурге Дельвиг. Он давно прихварывал, но его окончательно подкосило неожиданное столкновение с Бенкендорфом, одна из тех бессмысленных историй, которые, постепенно накопляясь, отчуждали от правительства русское образованное общество.

28 октября в «Литературной Газете» была напечатана невинная заметка о том, что в Париже предполагается поставить памятник жертвам июльской революции и на нем вырезать стихи Казимира де ла Виня:

France, dis moi leurs noms!
Je n'en vois pas paraitre
Sur ce funebre monument:
Ils ont vaincu si promptement,
Que tu fus libre avant de les connaitre**.

---

* Как добрый мещанин *(фр.)*.

** Франция, назови мне их имена! Я не вижу их начертанными на этом надгробном монументе: они победили так быстро, что ты стала свободной прежде, чем их узнала *(фр.)*.

Шеф жандармов в одном упоминании о революции усмотрел крамолу. Рассердился он и на неподписанную статью, которую писал Пушкин, но Бенкендорф приписал ее Дельвигу. «Литературная Газета» была немедленно закрыта. Дельвига вызвали к Бенкендорфу, который, по словам Андрея Дельвига, его племянника, обошелся с писателем крайне грубо, говорил с ним на «ты», грозил упрятать в Сибирь и его, и Вяземского, и Пушкина. «В пылу разговора Бенкендорф не скрыл даже, что в этом деле он руководствовался доносом Булгарина».

Дельвиг, со свойственной ему невозмутимостью, спокойно возразил, что на основании закона издатель не отвечает за статьи, пропущенные цензурой, как было в данном случае, и что упреки его сиятельства должны быть обращены не к нему, а к цензору. Бенкендорф разгневался и ответил:

— Законы пишутся не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мной на них ссылаться или ими оправдываться.

Так рассказывает в своих записках А. И. Кошелев, мемуарист осторожный и точный.

Мягкий, благовоспитанный Дельвиг вернулся из жандармского управления совсем больной. Он написал Пушкину в Болдино горькое письмо: «Люди, истинно привязанные к своему Государю и чистые совестью, ничего не ищут и никому не кланяются, думая, что чувства верноподданнические их и совесть защитят их во всяком случае. Неправда, подлецы в это время хлопочут из корыстолюбия марать честных и выезжают на своих мерзостях. Булгарин верным подданным является. А я слыву карбонарием, я — русский, воспитанный Государем, отец семейства и ожидающий от Царя помощи матери моей, и сестрам, и братьям» *(середина ноября 1830 г.)*.

Пушкин издали плохо вник в эту историю и роль Булгарина, сидя в Болдине, понять не мог. Вернувшись в Москву, он из разговоров с друзьями получил новые подтверждения тому, что Булгарину поручено следить за литераторами. Тогда Пушкин написал Плетневу: «Итак, русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу! Жаль — но чего смотрел и Дельвиг? охота ему было печатать конфектный билетец этого несносного Лавинья! Но все же Дельвиг должен оправдаться перед Государем. Он может доказать, что никогда в его Газете не было и тени, не только мятежности, но и недоброжелательства к правительству. Поговори с ним об этом. А то шпионы-литераторы заедят его, как Барана, а не как Барона» *(9 декабря 1830 г.)*.

Твердо верил Пушкин в великодушную справедливость Царя.

И вдруг внезапно пришло известие, что Дельвиг 14 января скончался. «Что скажу тебе, мой милый? — писал Пушкин Плетневу. — Ужасное известие получил я в воскресенье... Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все.

Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертию — говорили о нем, называя его покойник Дельвиг и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так.

Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров — и постараемся быть живы» *(21 января 1831 г.)*.

В Пушкине была упругость, помогавшая ему переносить удары. «Я всегда был уверен в жизни и здоровьи своем и своих», — писал он как-то Плетневу. Позже, когда Плетнев горевал о смерти своего приятеля, Молчанова, Пушкин уговаривал его не поддаваться унынию: «Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер, погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата... были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы» *(22 июля 1831 г.)*.

Но смерть Дельвига была для него очень тяжелым горем. Он писал Элизе Хитрово: «Смерть Дельвига нагнала на меня сплин. Помимо прекрасного таланта, была у него отлично устроенная голова и душа незаурядная. Он был лучше нас всех. Редеют наши ряды» *(21 января 1831 г.)*.

Его беспокоило, что вдова Дельвига осталась без средств, и он был очень признателен Элизе Хитрово, что она сразу вызвалась помочь:

«Это большое счастие для Вас, что Вы обладаете душой, способной все понять, всем интересоваться. То волнение, с которым Вы, среди конвульсий, переживаемых Европой, говорите о смерти поэта, служит лучшим доказательством того, какое у Вас всеобъемлющее сердце» *(начало февраля 1831 г.)*.

В первый раз смерть отняла у Пушкина человека близкого, незаменимого, и ему было нелегко совладать с печалью. Но и помимо этой непоправимой потери Пушкину перед свадьбой было как-то не по себе. Денежные заботы, колебанья между влюбленностью и страхом потерять независимость, суеверные опасенья, которым, по его словам, охотно предаются поэты, что-то похожее на смутное предчувствие, — все

это подмечали в нем приятели. С. Д. Киселев, муж Елизаветы Ушаковой, писал: «Пушкин женится на Гончаровой: между нами сказать на бездушной красавице, и мне сдается, что он с удовольствием заключил бы отступной трактат» *(26 декабря 1830 г.)*.

Очень живописно описала настроение Пушкина-жениха цыганка Таня. Пушкин ее помянул в письме к Вяземскому:

«Новый год я встретил с цыганами и с Танюшей, настоящей Татьяной-пьяной. Она пела песню — в таборе сложенную, на голос приехали сани:

Давыдов с ноздрями,
Вяземский с очками,
Гагарин с усами,
Девок испугали».
(2 января 1831 г.)

А Таня много лет спустя рассказывала: «Стал Пушкин будто скучноватый, а все по-прежнему вдруг оскалит свои большие, белые зубы да как примется вдруг хохотать. Я знала, что он жениться собирается на красавице. Ну и хорошо, подумала, господин он добрый, да ласковый, дай ему Бог совет да любовь. Раз вечером, дня за два до его свадьбы, зашла я к Нащокину с Ольгой. Не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили и зашел Пушкин. Увидел меня и кричит: «Ах, радость моя, как я рад тебе». Поцеловал меня в щеку и уселся на софу. Сел и задумался, да так, будто тяжело, голову на руку опер, глядит на меня: «Спой, говорит, Таня, мне что-нибудь на счастье; слышала, может быть, я женюсь».

Принесли гитару. Таня, которая сама в этот вечер была невесела, запела грустную свадебную песню:

— Матушка, что так во поле пыльно,
Государыня, что так пыльно?
— Кони разыгрались.
— А чьи кони, чьи-то кони?
— Кони Александра Сергеевича...

«Запела и спохватилась, что это не к добру. Пою я эту песню, а самой-то грустно, грустнехонько, чувствую и голосом тоже передаю, и уж как быть, сама не знаю, глаз от струн не подыму... Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за руку схватился, как ребенок плачет».

Возможно, что цыганка этого не выдумала, что оно так и было. Цыганское пенье хватало за сердце. Денис Давыдов, поэт и удалой партизан, чуть не захвативший Наполеона в плен, не раз обливался слезами от цыганского пенья. Да и не он один. А у Пушкина, к тому же, был, как говорят отцы

церкви, дар слезный. Возможно, что, убивая Ленского, он плакал, как плакал Лев Толстой, описывая смерть князя Андрея. Случалось друзьям видеть на глазах Пушкина слезы жалости к чужой беде. Случалось им в этих прозрачных, голубоватых глазах видеть и слезы восторга. Перечисляя лучшие дары жизни, Пушкин говорит: «Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь...»

Но чтобы он плакал над собой — об этом вспомнила только цыганка Таня да незадолго до смерти видели его плачущим близкие друзья.

Пушкин полушутя говорил, что о своих личных делах ни с кем не следует говорить, разве только с Царем, и этого правила держался. Но накануне свадьбы, в письме к арзамасцу и ламписту Н. И. Кривцову, он откровенно высказал свои предсвадебные сомнения и опасения. Кривцов был тяжело ранен в александровских походах и уже несколько лет безвыездно жил в своем тамбовском имении. Может быть, его отдаленность от московских и петербургских гостиных и сделала Пушкина откровенным. Посылая Кривцову «Бориса Годунова», Пушкин писал ему:

«Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги (Кривцов потерял ногу под Кульмом в 1813 г. — *А. Т.-В.*), а я женат. Женат — или почти. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, — все уже мною передумано... Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes. Мне за тридцать лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью. У меня сегодня spleen — прерываю письмо мое, чтоб тебе не передать моей тоски; тебе и своей довольно» *(10 октября 1831 г.)*.

Письмо писано за неделю до свадьбы. Печатая его в «Русском Архиве» *(1864)*, П. И. Бартенев говорит в примечании, что ему «случалось видеть еще одно, французское письмо Пушкина, писанное также почти накануне свадьбы и еще более поразительное по удивительному самопознанию и вещему предвиденью судьбы своей: там Пушкин прямо говорит, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке». Письма такого у нас нет. Но Бартенев, исследователь трудолюбивый, достоверный собиратель сведений о Пушкине, не мог выдумать такого письма. Ему можно верить. Он же, со слов

Нащокина, записал: «Накануне свадьбы Пушкин позвал своих приятелей на мальчишник, приглашая записочками. Собрались обедать человек десять, в том числе были Нащокин, Языков, Баратынский, Варламов, А. А. Елагин и пасынок его, И. В. Киреевский. По свидетельству последнего, Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям было даже неловко. Он читал свои стихи, прощанье с молодостью, которых после Киреевский не видел в печати. Пушкин уехал вечером к невесте. Но на другой день, на свадьбе, все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша».

18 февраля 1831 года Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. Посаженная мать невесты, молодая княгиня Е. А. Долгорукова, рассказывала, что Гончарова-мать утром, перед венцом, послала сказать жениху, что придется еще отложить свадьбу, так как у нее нет денег на карету и еще на какие-то расходы. Пушкин и эти деньги ей дал.

Он уверял, что важнейшие события его жизни связаны с важнейшим праздником, с Вознесением. Он родился в день Вознесения, венчался в церкви старого Вознесения и не раз говорил Нащокину, что хочет построить в Михайловском церковь во имя Вознесения.

Свадебные приметы не предвещали добра. Жених задел за аналой и уронил лежащий на нем крест. Зажженная свеча погасла в его руке. Когда священник обменивал кольца, кольцо Пушкина упало на пол. Сразу после венца он сказал: «Все плохие предзнаменования». — А может быть, он этого и не говорил, а эти слова выдумали позже, когда, к изумлению друзей, сбылись предсказания гадалки Кирхгоф, как бы подтверждая мнение П. И. Бартенева, что «в людях высшего разряда явственно обнаруживаются неисследованные, таинственные силы человеческого бытия».

Но ни зловещие приметы, ни шепот сплетниц, ни тени, пробегавшие в сердце жениха до свадьбы, не омрачили счастья молодых. Они веселились, выезжали, участвовали в шумных катаньях на санях, танцевали на балах, принимали в своей небольшой, но нарядной квартире, устроенной на деньги Пушкина, молодых писателей и важных московских бар, включая великолепного старика, князя Юсупова, портрет которого Пушкин дал в «Вельможе». Юсупов начал жизнь при Екатерине, ездил к Вольтеру на поклон, танцевал в Версале с Марией-Антуанеттой, по-барски принимал и угощал Дидерота и весь «энциклопедии скептический причет» и донес свое просвещенное любопытство до Николаевских времен. «Твой разговор свободный исполнен юности... Влиянье кра-

соты ты живо чувствуешь... С восторгом ценишь ты и блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой», — писал о нем Пушкин.

Один из главных хроникеров и сплетников Москвы, А. Я. Булгаков, был среди гостей молодых Пушкиных и писал брату: «Пушкины славный дали бал. И он и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка. Дай Бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали и так как общество было небольшое, то я также протанцевал по просьбе хозяйки и по приказу старика Юсупова. Ужин был славный, и всем казалось странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство».

Эту новую семейную жизнь Пушкина некоторые старые его знакомцы наблюдали скептически. Через месяц после свадьбы зашел к Пушкину поэт В. Н. Туманский, с которым Пушкин дружил в Одессе. «Пушкин радовался как ребенок моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня со своей пригожей женой. Не воображайте, однако, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина беленькая, чистенькая девочка, с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой гризетки. Видно, что она не ловка еще и не развязна, а все-таки московщина отражается на ней довольно заметно. Что у нее нет вкуса, это видно по безобразному ее наряду, что у ней нет ни опрятности, ни порядка, — о том свидетельствовали запачканные салфетки, и скатерть, и расстройство мебели и посуды» *(16 марта 1831 г.).*

Это самое неблагосклонное из всех дошедших до нас описаний Натальи Николаевны и их домашнего быта. Судя по письму Булгакова, и несправедливое описание. Но какая-то московщина, очевидно, в ней сначала была, и это беспокоило Пушкина, которому нетерпеливо хотелось поскорее переехать в Петербург.

«Москва — это город небытия, — писал он Э. Хитрово, — на шлагбауме написано — приезжающие, оставьте всякую умственность» *(26 марта 1831 г.).*

В тот же день писал он Плетневу, что хочет уехать в Царское Село:

«Лето и *осень* таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний, и тому подобных удобностей. А домá вероятно ныне там недороги: гусаров нет, двора нет — квартир пустых много. С тобою, душа моя, виделся бы я всякую неделю, с Жук. также. — ПБ под боком — жизнь дешевая, экипажа не нужно. Чего, кажется, лучше?» *(26 марта 1831 г.).*

И опять через несколько дней: «Ради Бога, найми мне

фатерку — нас будет: мы двое, 3 или 4 человека, да 3 бабы. Фатерка чем дешевле, тем разумеется лучше...» *(12—14 апреля 1831 г.).*

Плетнев квартиру нашел. В мае Пушкины уехали из Москвы и поселились в Царском Селе, откуда он писал Нащокину:

«Теперь кажется все уладил и стану жить потихоньку, без тещи, без экипажа, следственно без больших расходов и без сплетен» *(1 июня 1831 г.).*

Но Гончаровы и их семейные дела продолжали издали ему докучать. Теща рассердилась, что он, помимо нее, написал дедушке Афанасию Николаевичу об отставном кавалергарде А. Ю. Поливанове, который не прочь был посвататься к Александре Гончаровой. Таша с сестрами была очень дружна. Она знала, как хочется им вырваться из-под материнской опеки. Жених был во всех отношениях подходящий, и она попросила мужа написать о нем дедушке, как главе семьи. Мать рассердилась и в письме к Таше отчитала и дочь и зятя. Но теперь это уже была не та Таша, которую можно было бить по щекам, это была Натали Пушкина. За ней стоял муж. С тещей он уже разговаривал как зять, не как жених. Он был хозяин положения и дал ей это понять:

«Это вовсе не мое дело сватать девиц, и будет ли предложение г-на Поливанова принято, или нет, это мне решительно все равно, — писал он Н. И. Гончаровой, — но вы замечаете к тому, что мой поступок не делает мне чести. Это выражение оскорбительное, позвольте сказать, что я никогда не заслуживал его. Я был вынужден оставить Москву во избежание разных дрязг, которые в конце концов могли бы нарушить более чем мое спокойствие; меня изображали моей жене, как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика. Ей говорили — вы дура, что позволяете вашему мужу и т. под. Вы должны признать, что это все равно, что проповедовать развод. Жене неприлично выслушивать, как ее мужа называют низким человеком, и моя жена обязана подчиняться тому, что я себе позволяю. Не подобает восемнадцатилетней жене властвовать над мужем, которому 32 года. Я представил немало доказательств моего терпения и деликатности, но, по-видимому, я напрасно старался. Я люблю собственное спокойствие и сумею его обеспечить» *(26 июня 1831 г.).*

Письмо отрезвило взбалмошную женщину. Больше она к Пушкину не приставала. Княгиня Е. А. Долгорукова, хорошо знавшая обе семьи, рассказывала Бартеневу: «Наталья Ивановна потом полюбила Пушкина, слушалась его. А он обращался с ней, как с ребенком. Может быть, она сознательнее и крепче любила его, чем сама жена».

Перед тем как поселиться в Царском, Пушкины провели неделю в Петербурге. Пушкин, женатый на красавице, вызывал любопытство друзей. Об ее наружности не было двух мнений. Даже женщины невольно любовались ею. Великосветские поклонницы и приятельницы Пушкина пытались разгадать, что таится за этой внешней прелестью, за застенчивой молчаливостью юной новобрачной. Пламенная, верная Элиза Хитрово писала Вяземскому: «Я была очень счастлива свидеться с нашим общим другом. Я нахожу, что он много выиграл в умственном отношении и в разговоре. Жена его очень хороша и кажется безобидной» *(21 мая 1831 г.)*.

Так писала мать. А дочь, графиня Долли, писала тому же Вяземскому: «Я нашла, что он стал еще любезнее. Мне кажется, что и в уме его заметна подходящая серьезность. Жена его прекрасна, но это меланхолическое выражение похоже на предчувствие несчастия. Физиономии мужа и жены не предрекают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красавицу только раз» *(25 мая 1831 г.)*.

После неприхотливой, неряшливой, граничащей с бедностью московской жизни Гончаровых блестящие палаты австрийского посольства, в особенности его блестящие хозяйки, подлинные grandesdames* на европейский лад, могли смутить скромную барышню. Но у Натальи Николаевны был хороший запас прирожденного женского чутья. Придавало ей уверенности и сознание, что влюбленный муж восхищается всем, что она делает. Она выдержала этот первый салонный экзамен, который продолжался несколько дней. К концу мая молодожены уже были в Царском.

Еще из Москвы, через несколько дней после свадьбы, Пушкин писал Плетневу:

«Я женат — и счастлив. Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется я переродился» *(24 февраля 1831 г.)*.

Вот она, заветная мечта Фауста — остановись, мгновенье, ты прекрасно. Для Пушкина оно длилось дольше чем мгновенье. Вся его прежняя бурная любовная жизнь померкла перед счастьем открытой любви, перед сладостью обладанья юной женой, которую природа наградила не только редкой красотой, но и редкой силой женственного обаяния. Это далеко не всегда совпадает.

---

* Светские львицы *(фр.)*.

«Красота ее меня поразила», — писал Пушкин, добиваясь ее руки. В разговоре с друзьями он иногда называл ее — моя косая Мадонна. У Натальи Николаевны были классически правильные черты. Только глаза были поставлены слишком близко и один глаз слегка косил, что придавало ей чуть лукавое выражение. Было что-то ускользающее во взгляде этих влажных, темных глаз, казавшихся черными от матовой белизны кожи. Высокая, отлично сложенная, с широкими, покатыми плечами и тонкой талией, она двигалась с важной грацией. Плавная походка и мягкий голос дополняли ее красоту. «Твоя грациозная, стройно-созданная, богинеобразная, Мадонистая супруга», — писал как-то Жуковский своим шутливо-торжественным языком.

Образование Натали и ее сестры получили немудреное. Гувернантки научили их недурно говорить по-французски и не очень уверенно писать на этом языке. До книг Натали была не охотница. Но это было ее личное свойство. Другая сестра, Александрин, знала наизусть много стихов Пушкина, и, как многие русские барышни, была в него заочно влюблена. Натали к его стихам была откровенно равнодушна и до, и после свадьбы.

Возможно, что Пушкин, особенно вначале, находил успокоительную прелесть в том, что для Натали он был просто муж, а не знаменитый поэт. Его мужскому самолюбию не могло не льстить, что молодая жена, которая невестой была так далека от него, которая «подала ему холодную, безответную руку», после свадьбы полюбила его. Полюбила не за стихи, не за славу, а за него самого, как мужа. В его донжуанском списке это была самая трудная, самая блестящая, самая радостная победа.

У любви много оттенков, и только сами влюбленные, да и то не всегда, знают, которым из них окрашено их счастье. Но все, кто видел Пушкиных в эти первые, солнечные месяцы их семейной жизни, говорят о них как о счастливой паре.

«Кстати о Пушкине, — писал Веневитинов Погодину из Царского Села, — он премило живет с своей премиленькой женой, любит ее, ласкает и совсем не бесчинствует» *(28 июля 1831 г.)*.

Побывав у них в Царском, Дмитрий Гончаров писал матери: «Я видел также Александр Сергеевича. Между ними царствует большая дружба и согласие. Таша обожает своего мужа, который также ее любит. Дай Бог, чтобы и впредь их блаженство не нарушалось». Жуковский тогда же писал Вяземскому: «Женка Пушкина премилое творенье. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь, тому что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше».

Даже сестра поэта, Ольга Павлищева, придирчивая, не очень-то к брату доброжелательная, признавала: «Брат и его жена в восторге друг от друга. Моя невестка очаровательна, красива, умна и *bonne enfant tout à fait**» *(4 июня 1831 г.)*.

Павлищева находила, что Наталья Николаевна «заслужила более приятного мужа. Александр, при всем моем уважении к его произведениям, стал ворчлив, как беременная женщина».

В жизни Пушкина четыре месяца — с 25 мая по 21 октября, — которые он прожил с женой в Царском Селе, проходят такие же светлые, такие же насыщенные счастьем, как были насыщены творчеством осенние месяцы, прожитые в Болдине. Весь склад их жизни был ему по вкусу, хотя того осеннего «вдохновительного уединения», на которое он рассчитывал, он в Царском не нашел. Но он привез туда жену, потому что с Царским Селом были для него связаны воспоминания юности и первого опьянения творчеством. Инстинкт художника верно подсказал ему, что Царское Село, его дворцы, памятники, сады, озера будут достойной краской для их счастья. Заботливый Плетнев нанял для молодых дом Китаева на Колпинской улице, недалеко от парка. Мебель привезли из Москвы. Из экономии экипажа не держали. Это было героическое решение. В их кругу экипаж считался необходимостью. Даме было неприлично ходить пешком, особенно одной. Если она выходила на прогулку или за покупками, ее сопровождал лакей. Прислуги полагалось держать много, и Пушкины привезли с собой целый штат. Некоторые из слуг были его крепостные, дворецкий и повар вольнонаемные и большие мастера обкрадывать хозяев, что Пушкин не сразу заметил. Его удивляло и тешило новое чувство оседлости. «Надо мне написать Шевыреву умное и большое письмо, — говорил он Погодину, — но я, кочевник, так не привык еще к оседлой жизни, что не знаю, как и когда приниматься за дело».

У него наконец был свой угол, свой дом. Спал он на своей кровати, садился обедать в собственной столовой, писал в своем кабинете. Правда, кабинет был почти пустой, без ковра, без занавесок, но Пушкин в своей рабочей комнате за обстановкой не гнался. Ему нужен был только письменный стол да книжные полки для все растущей библиотеки.

Одной из приманок Царского Села была близость Лицея, с которым у Пушкина никогда не порывалась связь. Он сам был неотъемлемой частью Лицея. Лицеист П. И. Миллер

---

* Совсем как доброе дитя *(фр.)*.

рассказывает, как встретил в парке Пушкина, который, размахивая тяжелой палкой, быстро мчался по дорожке. Юноша набрался храбрости и подошел к нему:

— Александр Сергеевич, я внук ваш по Лицею и желаю представиться.

Пушкин с приветливой улыбкой пожал ему руку. Они продолжали прогулку вместе, разговаривая о Лицее, о том, какие книги лицеисты читают и какие литературные журналы они сами издают. «Я не чувствовал ни прежнего волнения, ни прежней боязни. При всей своей славе Александр Сергеевич был удивительно прост в обхождении. Гордости, важности, резкого тона не было в нем и тени, оттого и нельзя было не полюбить его искренно с первой минуты... Многие расставленные в саду часовые ему вытягивались, и, если он замечал их, он им кивал головой. Когда я спросил: отчего они ему вытягиваются? — он отвечал: «Право не знаю, разве потому что я с палкой».

Заходил Пушкин и в Лицей. Яков Грот, тогда лицеист, потом академик и историк лицейской жизни Пушкина, описал одно из этих появлений поэта, когда он еще раньше, в 1828 году, заглянул в свою бывшую школу.

«Никогда не забуду восторга, с которым мы его приняли. Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших дедов, мы его окружили всем курсом и гурьбой провожали по всему Лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как со старыми знакомыми. На каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем бытье, показывал нам свою бывшую комнату и передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз встречали его гуляющим в Царскосельском саду, то с женой, то с Жуковским. Мы следовали за ним тесной толпой, ловя каждое его слово. Пушкин был в черном сюртуке и белых летних панталонах. На лестнице оборвалась у него штрипка. Он остановился, отстегнул ее и бросил ее на пол. Я с намерением отстал и завладел этой драгоценностью, которая после долго хранилась у меня. Из разговоров Пушкина я ничего не помню, да почти и не слышал. Я так был поражен самым его появлением, что не умел и слушать его».

Любимым местом прогулки Пушкина была с юности милая ему дорожка, обегающая кругом озера, обрамленного легкой зеленью плакучих ив. Их длинные ветки купаются в прозрачной воде, где отражаются памятники, которые Екатерина воздвигла в честь своих победоносных сподвижников. Над озером белеют колонны длинной, крытой Камероновской террасы, где матушка-царица любила принимать гостей в те погожие летние вечера, когда зелено-розовое небо долго,

неторопливо переливает оттенками пастели, не менее прелестными, чем яркие краски юга. Петербуржцы нарочно приезжали, чтобы посмотреть на Пушкина, на его красавицу жену. Она носила белые платья, на плечи накидывала красную шаль, которая так шла к ее темным волосам. Слава об ее красоте сплеталась с его славой, становилась частью его поэзии. Те, кто тогда видел их в Царском, единогласно свидетельствуют, что молва не преувеличила ее красоты. Друзья радовались за него. Недоброжелатели удивлялись, злословили, шипели, прозвали их Вулкан и Венера. Но его это шипенье не смущало, может быть, до него не доходило. Над его головой в Царском Селе безоблачно расстилалось голубое летнее небо.

«Мы живем здесь тихо и весело, будто в глуши деревенской», — писал он Нащокину вскоре после приезда. Удивляло его только, что тихая, семейная жизнь обходится гораздо дороже, чем прежнее холостое, подчас буйное, существование. Сначала Пушкин отнесся к денежным предостережениям с привычной беспечностью и самоуверенностью. Не впервой. Сколько уж раз его вывозили стихи. Вывезут и теперь. Он так благоразумно все обдумал и рассчитал. Неожиданно большие расходы он приписал разным случайностям, даже взваливал вину за них на холеру, которая с Волги перекинулась на север, через Москву пришла в Петербург.

«Холера прижала нас, и в Царском Селе оказалась дороговизна, — писал он Нащокину. — Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят. Вообрази, что со дня нашего отъезда я выпил одну только бутылку шампанского, и ту не вдруг» *(26 июня 1831 г.)*.

Эпидемия выхватила жертву и в царской семье. 15 июня в Витебске умер от холеры великий князь Константин Павлович. После его смерти двор переехал в Царское, которое считалось самым здоровым местом в окрестностях Петербурга. Кончилось одиночество, которым так наслаждался Пушкин. Приехал Жуковский. Как воспитатель наследника, он всюду сопровождал царскую семью. После смерти Дельвига он, среди поэтов, был самым близким Пушкину человеком. Жуковский был на 15 лет старше, но сердце у него было молодое, веселое. Поэты видались по нескольку раз в день, состязались в писаньи народных сказок. Пушкин написал сказку «Поп и его работник Балда» и «Царя Салтана», записанного семь лет раньше в Михайловском со слов няни. Постоянное общение с Пушкиным и волнующее очарование, исходившее от его юной жены, разбудили обленившееся

воображение Жуковского. К концу лета польское восстание вдохновило обоих поэтов на политические стихи.

С этого времени замелькал около Пушкина и Гоголь. В конце мая они познакомились и видались, пока карантины не отрезали Царского от Петербурга.

В царскосельскую жизнь поэтов вносила свой блеск молодая фрейлина императрицы, Александра Россет, которая позже вышла замуж за Н. М. Смирнова. Это была одна из замечательных женщин тогдашнего петербургского света, вообще богатого незаурядными женщинами.

Александра Осиповна Россет была сирота. Не было у ней, как у Анны Олениной, той привлекательной домашней обстановки, которая так облегчает первые шаги молодой девушки в жизни. Но Россет, не ожидая, чтобы ее кто-нибудь вводил в жизнь, пронеслась как ракета по придворному небосклону. Дочь швейцарца, поступившего на русскую службу, и русской матери, в которой была и грузинская кровь, девочка рано осиротела и воспитывалась на казенный счет в Екатерининском институте. Плетнев был ее учителем. Он первый оценил быстроту и яркость ее ума, он разбудил в ней любовь к русской литературе, он, после выпуска, познакомил ее со своими друзьями, с Жуковским, с Карамзиными, у которых она встретила Вяземского и Пушкина. Императрица обратила внимание на хорошенькую институтку и после выпуска взяла ее к себе фрейлиной. Россет жила в Зимнем дворце, несла дежурства. Это была служба для свободолюбивой 17-летней девочки нелегкая. Но Царица и Царь ее любили, и она платила им самой искренней и преданной привязанностью. Понемногу она стала своего рода посредницей между русской литературой и Николаем I.

В архиве Аксаковых, в Самаре, хранился, а может быть, и сейчас хранится, конверт, на котором рукой Николая было написано:

«Александре Осиповне Россет в собственные руки».

На другой стороне ее рукой написано: «Всем известно, что Имп. Н. Павлович вызвался быть цензором Пушкина. Он сошел вниз к Им-це и сказал мне, — вы хорошо знаете свой родной язык. Я прочел главу Онегина и сделал замечания; я вам ее пришлю, прочтите ее и скажите, правы ли мои замечания. Вы можете сказать Пушкину, что я давал вам ее прочесть. Он прислал мне его рукопись в пакете с камердинером. Год не помню. А. Смирнова, рожд. Россет».

К какой именно главе Онегина это относится, неизвестно, но случайно уцелевший конверт свидетельствует, что в глазах

Царя молодая девушка была авторитетом по русской литературе.

Отличная рассказчица, остроумная собеседница, она делила умственную жизнь своих блестящих друзей, но не была ослеплена их блеском, не робела перед их умом, ценила таланты, но не была ими опьянена, сохраняла всю свою независимость, весь свой юмор, который Пушкин, как позже Гоголь, очень ценил. «Ее красота, столько раз воспетая поэтами, — писал И. С. Аксаков, — не величавая и блестящая красота форм — она была очень маленького роста, — а красота тонких правильных линий смуглого лица и черных проницательных глаз, вся оживленная блеском острой мысли, ее пытливый, свободный ум и искреннее влечение к интересам высшего строя искусства, поэзии, знания создали ей в свете исключительное положение. Кто-то, кажется Вяземский, прозвал ее Донна Соль, по имени модной тогда драмы В. Гюго, Эрнани».

«Все мы, более или менее, были военнопленными красавицы, — писал Вяземский в «Старой записной книжке». — Ее осыпали лестными прозвищами, Жуковский называл ее небесным дьяволенком, другие Донна Соль. Сочинили сообща:

Вы Донна Соль, подчас и Донна Перец,
Но все нам сладостно и лакомо от вас,
И каждый мыслями и чувствами из нас
Ваш верноподданный и ваш единоверец...
Но всех счастливей будет тот,
Кто к сердцу вашему надежный путь проложит
И радостно сказать вам сможет —
Вы Донна Сахар, Донна Мед...»

Вяземский воспел ее в стихах и в прозе: «Ее красивая и своеобразная миловидность, ее любовь к русской поэзии, верность ее поэтического чутья, то, что она откликалась на все вопросы ума, с богословом толковала об Иоанне Златоусте, с дипломатом о международной политике, и все без педантства, с чарующей южной ленивостью, с Севильской женственностью. Умела быть и ласковой, и язвительной, полной увлекательных противоречий».

И молча бы меж нас вы умницей прослыли, —
Дар слова, острота — все это роскошь в вас:
В глаза посмотришь вам и разглядишь как раз,
Что с неба звезды вы схватили.

(1830)

Пушкин посвятил ей только десять строк. В них ни слова об ее наружности, точно он хотел подчеркнуть только ее характер, ее внутреннюю прелесть:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взор холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра.
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

(1832)

Познакомилась она с Пушкиным еще до его женитьбы на балу в австрийском посольстве. Протанцевали мазурку, но в тот вечер Пушкин был неразговорчив. Второй раз встретились у Карамзиных, тоже на балу. Опять танцевали мазурку. Пушкин похвалил молоденькую фрейлину за то, что чисто говорит по-русски. Она сказала, что ее учителем был Плетнев.

— Он читал нам вашего Онегина. Мы были в восторге, но когда он прочел — но панталоны, фрак, жилет, — мы сказали, какой, однако, Пушкин индеса...

Институтское словечко развеселило его, и он засмеялся своим заразительным смехом. С тех пор шутки и остроты «фрейлинки Россет» не раз заставляли его весело хохотать. А смеяться Пушкин любил. Он из Царского Села писал Вяземскому:

«Жизнь у нас очень сносная. У Жуковского зубы болят, он бранится с Россет; она выгоняет его из своей комнаты, а он пишет ей арзамасские извиненья гекзаметром,

— — — чем умолю вас, о Царь мой небесный?
— — — — прикажете ль? кожу
Дам содрать с моего благородного тела вам на калоши?
— — — — прикажете ль? уши
Дам обрезать себе для хлопушек...»

(3 июля 1831 г.)

В этой придворной красавице было что-то студенческое. Пушкин мог с ней болтать о чем угодно. Они рассказывали друг другу солдатские анекдоты, шутили крупно и смело, говорили о книгах, о людях. От Россет слышал Пушкин, как в ночь убийства Павла I в Петербурге было такое ликованье, что в городе не осталось ни одной бутылки шампанского. Все было роспито. И рассказы, и разговоры о политике, русской и иностранной, Россет пересыпала живописными словечками, забавлявшими падкого на остроты Пушкина. Оба ни с кем не церемонились, ни с министрами, ни с поэтами.

В Царском для фрейлин были отведены квартиры в Камероновской галерее, над озером. Пушкин и Жуковский часто заходили туда, повидать Россет. Если не заставали ее,

запросто болтали с горничными, которые фамильярно корили Пушкина, зачем он не служит, а только пустым делом занимается, стихи пишет.

По утрам фрейлины обычно были свободны от дежурств, и Россет заглядывала в дом Китаева. В своих отрывистых, но точных воспоминаниях она рассказывает: «Наталья Николаевна сидела обыкновенно с книгой внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе перед диваном находились бумаги и тетради, часто несшитые; простая чернильница и перья; на столике графин с водой, мед и банка с крыжовником, его любимым вареньем. Он привык в Кишиневе к дульчецам. Волоса его обыкновенно еще были мокрые после утреннего купанья и вились на висках; книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате без гардин была невыносимая жара, но он любил это, сидел в сюртуке без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, прибирал всякую чепуху. Иногда читал отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал наше мнение. «Ваша критика, мои милые, лучше всех. Вы просто говорите: этот стих не хорош, мне не нравится». Вечером я иногда заезжала на дрожках за его женой; иногда и он садился на перекладину верхом и тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистощимая mobilité d'esprit*».

Со слов Смирновой-Россет некоторые подробности этих царскосельских дней записал поэт Я. П. Полонский, который много лет позже был домашним учителем ее сына.

«По утрам я заходила к Пушкину. Жена так и знала, что я не к ней иду.

— Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла, ну и иди к нему...

— Конечно, не к тебе. Пошли узнать, можно ли?

— Можно.

С мокрыми курчавыми волосами лежит бывало Пушкин на диване в коричневом сюртуке.

— А я вам приготовил кое-что прочесть.

— Ну, читайте!

Однажды говорю Пушкину: «Мне очень нравятся ваши стихи «Подъезжая под Ижоры...». — «Отчего они вам нравятся?» — «А так, они как будто подбоченились, будто плясать хотят».

Пушкин очень смеялся. По его словам, когда сердце бьется от радости, оно: то так, то пятак, то денежка».

Описывая Полонскому далекие события своей молодости, Смирнова-Россет вспомнила, как Наталья Николаевна ревновала ее к мужу.

---

* Живость ума *(фр.)*.

«Сколько раз я ей говорила: «Что ты ревнуешь? Право, мне все равны, и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев. Разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня?»

«Я это вижу, говорит, да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает».

А. О. Россет была на три года старше Натальи Николаевны. За ней был опыт светской девушки, сумевшей найти общий язык с самыми выдающимися людьми своего времени. Молоденькая, черноглазая, дерзкая на язык фрейлина в умственном отношении была к Пушкину ближе, чем женщины, за которыми он ухаживал. Может быть, именно потому она была одной из немногих хорошеньких женщин, за которой он не волочился. В эти солнечные месяцы у его молодой жены вряд ли было основание ревновать Пушкина к небесному дьяволенку. Но для ревности не нужно оснований. Еще женихом Пушкин увидал, что его Мадонна очень ревнива. Молчаливая, сдержанная с чужими, она дома могла быть вспыльчивой и резкой до грубости. Не только мужа, но и его приятелей в сердцах ругала дураками.

Нащокин, большой поклонник Натальи Николаевны, посылая ей подарок, писал Пушкину: «Удостоила ли меня Наталья Николаевна каким-нибудь дураком за обновку новейшего покроя? Уведомь меня, что твое отсутствие ни малейшего вреда не сделало и ножкой топать от нетерпения Нат. Ник. перестала ли, несмотря на то, что это должно быть очень к лицу» *(январь 1832 г.).*

Когда на нее нападала ревность, она не только ножкой топала, но не гнушалась и более решительными жестами. Раз на балу Наталья Николаевна заметила, что Пушкин за кем-то ухаживает. Она разгневалась и уехала домой одна. Он за ней. Вошел в спальню. Она стояла перед зеркалом, снимала серьги... Красивый жест для красивой женщины.

— Что с тобой? Отчего ты уехала? — спросил ее Пушкин.

Натали повернулась и вместо всякого ответа со всей силы дала ему своей маленькой ручкой большую пощечину. Он никак этого не ожидал, но не обиделся, а залился хохотом и, рассказывая об этом приятелям, каждый раз весело хохотал.

В письмах к жене он постоянно оправдывается, отшучивается от ее ревнивых подозрений. Ревность «женки» забавляла его, тешила его мужское самолюбие, но никогда не носила того страшного, трагического характера, который приняла ревность самого Пушкина, когда ее в нем разожгли.

Это пришло позже. В Царском Селе, в ясные дни своего солнцестояния, Пушкин доверчиво смотрел на будущее, был весел, дурачился, даже запреты строгих холерных карантинов

нарушал с прежней своей дерзкой шаловливостью. Гоголь писал Жуковскому: «Карантины превратили эти 24 версты от Петербурга до Царского Села в дорогу из Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только, что э... Но вы, вы не поверите мне, назовете меня суевером, что всему этому виной не кто иной, как враг честного креста церквей Господних и всего порожденного святым знаменьем. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил на боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся мимо и во мгновение ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару, под высокими домами. Это была радостная минута. Она уже прошла. Это случилось 8 авг.» *(10 сентября 1831 г.)*.

Приезд Царя с Царицей внес крутую перемену в жизнь Пушкиных. Они попали в придворную колею, из которой Пушкин, как ни бился, не выбился до самой смерти.

Государыне Александре Федоровне было тридцать лет. Она была очень красивая, под стать своему высокому, видному, статному мужу. Оба они любили видеть вокруг себя молодые, красивые лица. Это усиливало блеск двора, которому они вернули пышность, потускневшую за вторую половину царствования Александра. Увидав в парке Наталью Николаевну, Царица залюбовалась ею и захотела взглянуть на нее поближе. Через статс-даму Кочубей Императрица выразила желание в ближайшие дни принять Пушкину.

Это было целое событие. Пушкины даже нашли нужным известить главу семьи, дедушку А. Н. Гончарова. Письмо к нему подписано Натальей Николаевной, но, судя по тому, что в нем были и новости общего характера, про холеру и польскую кампанию, оно было продиктовано Пушкиным. Писать Наталья Николаевна была не охотница. Ее писем в семейных архивах почти нет.

«Я высказала графине мое смущение, что мне придется одной явиться ко двору, но она была так добра, что сказала, что постарается сама меня представить, — писала она по-французски дедушке. — Теперь я не могу спокойно гулять в парке, так как узнала от одной барышни, что Их Величества хотят знать, в какие часы я гуляю, чтобы меня встретить. Поэтому я выбираю самые уединенные дорожки» *(31 июля 1831 г.)*.

Возможно, что Наталья Николаевна тогда еще была так робка, что действительно готова была прятаться в кусты, чтобы не попадаться на глаза Царю с Царицей. Ольга Павлищева, с завистливым вниманьем следившая за жизнью брата,

писала мужу: «Моя очаровательная невестка приводит Царское в восторг, и Императрица хочет, чтобы она бывала при дворе. Она в отчаянии, так как не дура и еще немного робка. Но это пройдет. Она красивая, молодая и приятная женщина и поладит и со двором, и с Императрицей. Но зато, как мне кажется, Александр в восторге. Мне досадно, что я не вижу вблизи их семейную жизнь. Физически это разительный контраст — Вулкан и Венера» *(август 1831 г.)*.

Поладить, вернее, вести себя, Наталья Николаевна сумела, но ко двору Пушкины попали только два года спустя. Первое внимание Царя с Царицей к Натали Пушкин принял как законную дань ее юной красоте. Влюбленному мужу было вполне понятно, что все ею любуются. Это входило в игру, вносило новые оттенки в его горделивое чувство обладания.

Николай I прежде всего оказал внимание самому Пушкину. Заметив его в парке, Царь остановил коляску, подозвал поэта к себе и так был приветлив, что Пушкин прибежал к Россет с перебудораженным лицом, рассказал ей о своей встрече и прибавил: «Черт знает, во всех жилках подлость почувствовал». Это был их первый разговор после кремлевского приема. За пять лет чувства Пушкина к Царю не изменились, скорее окрепли. Поведение Царя во время холерных беспорядков в Москве, в Петербурге, в военных поселениях, затем польская война, придали новый, восторженный оттенок тому уважению, которое Пушкин сразу почувствовал к Николаю I. У него была потребность восторгаться, которой он сам в себе боялся. Но он умел брать вещи просто и к царской приветливости, которая приняла и реальный характер милости, отнесся с доверчивым благодушием. Он писал Нащокину:

«Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне Царем. Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди, попаду во временщики...» *(21 июля 1831 г.)*.

Через день писал он Плетневу:

«Кстати скажу тебе новость (но да останется это, по многим причинам, между нами): Царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: Puisqu'il est marié et qu'il n'est pas riche, il faut faire aller sa martite*. Ей Богу, он очень со мной мил» *(22 июля 1831 г.)*.

---

* Так как он женат и небогат, надо ему помочь сводить концы с концами *(фр.)*.

Для писателя, который без царского соизволения не мог ни ездить по России, ни печатать свои сочинения, ни даже жениться, уверенность, что Царь с ним очень мил, имела значение немаловажное.

Глава XIX

СПОР СЛАВЯН

В этот идиллический для Пушкина 1831 год вплелись внутренние и внешние события в жизни России, которые усиливали его преданность Царю, как воплощению Российской державы. Это был год холерных бунтов и польского восстания. К лету холера из Москвы перекинулась в Петербург. Поднялся ропот. Пошли толки, что начальство и доктора напускают на народ мор. В Петербурге, на Сенной площади, толпа разгромила больницу и зверски расправилась с врачами. Полиция была не в силах их защитить. Приехал генерал-губернатор Эссен, пытался успокоить народ. Его прогнали. Явились солдаты, очистили площадь; толпа отхлынула в соседние улицы и всю ночь там шумела.

Наутро из Петергофа приехал в столицу Царь. Не заезжая во дворец, он проехал прямо на Сенную площадь, опять залитую народом. Царская коляска въехала в самую гущу бурлящей толпы.

— На колени! — громко приказал Николай.

Вся толпа, как один человек, опустилась на колени. Бунт был кончен.

В Новгородской губернии, в военных поселениях, холерные волнения приняли уже свирепую форму. Вот что Пушкин писал Вяземскому:

«...ты, верно, слышал о возмущеньях Новогородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новг. поселен. со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились» *(3 июля 1831 г.)*.

В официальном сообщении слова Николая были переда-

ны так: «Если бы я и хотел вас простить, то простит ли вас закон? Простит ли вас Бог?»

Мужественное поведение Николая волновало воображение Пушкина, который, по словам Анненкова, «не мог слушать рассказа о каком-нибудь подвиге мужественном без того, чтобы не разгорелись его глаза и не выступила краска на лице, — а сам, перед всяким делом, где нужен был риск, становился тотчас спокоен, весел и прост».

«Государь сам поехал и усмирил бунт с поразительной смелостью и хладнокровием, — писал Пушкин П. А. Осиповой. — Но не следует народу привыкать к бунтам, а бунтовщикам к Его присутствию» *(29 июля 1831 г.)*.

Для себя, в записной книжке, он подробнее развил эту мысль, очень показательную для его изменившихся политических взглядов:

«Вчера Государь Император отправился в военные поселения... для усмирения возникших там беспокойств... Однако ж сие решительное средство, как последнее, не должно быть всуе употребляемо. Народ не должен привыкать к царскому лицу как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади — и царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом... Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с Государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления Его, как необходимого обряда» *(26 июля 1831 г.)*.

Пушкин нашел, что Царь своим троекратным появлением среди бушующей толпы, в Москве, Петербурге и в поселениях, нарушил требования царственной этики, переступил черту. Пушкин применял свое горделивое изречение — ты Царь: живи один — не только к поэтам, но и к государям.

Польское восстание вдохновило Пушкина на политические стихи, по силе пафоса стоящие выше вольнолюбивых стихов его юности.

Восстание началось 17 ноября 1830 года. Повстанцы напали в Варшаве на дворец наместника. Великий князь Константин Павлович спасся бегством. Борьба, вернее война, длилась почти год. 26 августа, в годовщину Бородинской битвы, русские войска, под командой Паскевича-Эриванского, заняли Варшаву. Пушкин впервые услыхал о восстании, когда вернулся из Болдина в Москву, и с тех пор следил за польскими делами с напряженным вниманием и волнением. Он знал, что Польша не может долго противиться Русской армии, но он боялся вмешательства Европы и войны с другими державами. Он живо помнил Наполеоновские войны, давно

решил, что «Европа, в отношении России, столь же невежественна, как и неблагодарна». Еще до польского восстания писал он в «Литературной Газете» по поводу русской истории Н. А. Полевого:

«...Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европой, история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. — Не говорите: *Иначе нельзя было быть.* Коли было бы это правда, то историк был бы астрономом, и события жизни человеческой были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра». В этой статье Пушкин высказал мысль, которая и сейчас еще многим недоступна: «Историк не астроном. Провидение не алгебра».

Когда Пушкин по дороге из Болдина в Москву заезжал в Остафьево к Вяземскому, два писателя, по своему обыкновению, успели хорошенько поспорить. Вяземский читал Пушкину свою работу о Фонвизине. «Пушкин находил, что я слишком живо нападаю на Фонвизина за его мнение о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в отношении суда его над чужестранными писателями. Этого чувства я не знаю. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем. Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, лучшую награду за свой труд».

Эта патриотическая щекотливость особенно ярко проявилась в польских делах. В первом же, после возвращения из Болдина, письме к Элизе Хитрово из Москвы Пушкин писал:

«Известие о восстании в Польше меня совсем перевернуло. Значит, будут уничтожены наши старые враги и ничего из того, что делал Александр, не удержится, так как все это не было основано на подлинных интересах России, все исходило из соображений личного тщеславия, театральных эффектов и т. п. Поляков мы можем только жалеть. Мы слишком сильны, чтобы их ненавидеть... Все это меня очень печалит. России нужен покой» *(9 декабря 1830 г.).*

В ту зиму, зиму своего жениховства, он часто писал Элизе Хитрово. Она была к правительственным кругам ближе многих его друзей, была осведомлена о действиях русской власти, о том, что делается в Европе. Дочь Кутузова лучше многих понимала патриотическую тревогу Пушкина, разделяла ее. Он точно выразил свое настроение, когда писал, что польские события его перевернули. И ум и сердце были в нем встрево-

жены. Польский мятеж он переживал как личное испытание. Граф Комаровский встретил его на улице и спросил, почему у него такой расстроенный вид.

— Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не такое же грозное, как в 1812 году? — ответил Пушкин.

7 января, после разговора с Пушкиным, Погодин записал в дневник, что, говоря о России, «Пушкин так воспламеняется — видишь восторженного».

Эти мысли и чувства далеко не все кругом него разделяли. Может быть, и Москва ему потому так опротивела, что было в ней затаенное злорадство при известиях о наших военных затруднениях. Два года спустя, готовя статью о Радищеве, Пушкин написал:

«Ныне нет в Москве мнения (общего) народного; ныне бедствия или слава Отечества не отзываются в этом сердце России. Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения; гадко было видеть бездушных читателей французских газет, улыбающихся при вести о наших неудачах».

Первые правительственные сообщения о польских делах не понравились Пушкину: «Я недоволен нашими официальными сообщениями, — писал он Элизе Хитрово. — В них ирония для великой державы неподобающая. Все, что хорошо, то есть искренность, исходит от Государя; все, что плохо, то есть хвастовство и грубый задор — исходит от его секретаря» *(21 января 1831 г.)*.

Писателю с абсолютным слухом было противно читать подражание вульгарным афишам Ростопчина.

Отношение Пушкина и Николая к польскому вопросу оказалось очень сходно, хотя это было еще до их встречи в Царском и никакого обмена мнений между ними давно не было. Оба разделяли взгляд Карамзина, высказанный им в известной записке Александру: «Польша есть законное владение российское, русский Царь есть законный ее Государь».

26 ноября, когда Пушкин был еще в Болдине, куда до него доходили вести о восстании, Царь собрал во дворе Инженерного замка гвардейские части и сообщил им, что в Варшаве восстание. В ответ на негодующие возгласы молодых офицеров Николай сказал: «Прошу вас, господа, поляков не ненавидеть. Они наши братья. В мятеже виновны немногие злонамеренные люди. Надеюсь, что с Божьей помощью все кончится к лучшему».

12 декабря был издан манифест, где говорилось, что русские должны проявить по отношению к полякам «правосудие без мщения, непоколебимость в борьбе за честь и пользу

государства без ненависти к ослепленным противникам». То письмо Пушкина, где он писал Э. Хитрово, что поляков мы можем только жалеть, а не ненавидеть, писано за три дня до этого манифеста. Следующий манифест Пушкин нашел «прекрасным». В нем Царь заявил: «С прискорбием отца, но со спокойной твердостью Царя, исполняющего долг свой, мы извлекаем меч за честь и целость державы нашей».

Пушкинское поколение воспиталось на великодержавных чувствах. Поэт и Царь оба хранили священную память 12-го года. Один подростком, другой уже юношей, с одинаковым завистливым волненьем провожали они войска, которые шли спасать Отечество. Позднее эти слова об Отечестве произносились русскими интеллигентами с усмешкой. Но в Александровскую эпоху народ вкладывал в них душу. Ведь враг вторгся в Русскую Землю. В 30-х годах XIX века память о поляках, которые с армией Наполеона шли против России, была больнее, чем в 30-х годах XX века русские воспоминания о германском нашествии 1914 года.

В 1822 году, в разгар своих либеральных увлечений, Пушкин записал:

«Униженная Швеция и уничтоженная Польша — вот великие права Екатерины на благодарность русского народа».

Ко времени польского восстания он уже был сознательным государственником, свято дорожившим цельностью, неделимостью России. Для него русский народ и русская держава были нераздельны. Он порой и слова эти употреблял как равнозначащие. Позже русская интеллигенция противопоставила эти два понятия, потеряла вкус к великодержавности. Для Пушкина польское восстание было бунтом против России, посягательством на ее цельность. В одном из своих писем Вяземскому Пушкин рассказывает про героическое поведение польского повстанческого отряда Крженецкого и прибавляет:

«Все это хорошо в поэтическом отношении. Но все-таки их надобно задушить и наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям Европейским, каков бы ни был впрочем наш образ мыслей. Но для Европы нужны общие предметы внимания и пристрастия, нужны и для народов и для правительств. Конечно выгода почти всех правительств держаться в сем случае правила non-intervention*, то есть избегать в чужом пиру похмелия, но народы так и рвутся, так и лаят. — Того и гляди,

* Невмешательство *(фр.)*.

навяжется на нас Европа. Счастие еще, что мы прошлого году не вмешались в последнюю французскую передрягу! А то был бы долг платежом красен» *(1 июня 1831 г.).*

Тут уже весь ход мыслей, который через несколько месяцев ляжет в основу «Клеветникам России».

Слово «интервенция» не раз возвращается в его письмах, и не случайно. Пушкин больше всего боялся интервенции, вмешательства иностранцев в войну, которую он считал русской внутренней войной. Западные либералы смотрели на польское восстание как на событие международное, видели в польских повстанцах авангард борцов за право и свободу. Особенно шумели французы. В феврале 1831 года в Париже образовался польский комитет при участии ветерана Великой Революции, генерала Лафайета. Слухи о русских поражениях и о польских победах, чаще всего неточные, усиливали антирусские настроения. К тому же многие французы не забыли русских побед над Наполеоновской армией и казачьих пикетов в Париже. Бродили смутные мысли о реванше. Неповоротливость Дибича, командовавшего войсками в Польше, приняли за военную слабость, холерные бунты — за начало революционного движения. Во французской палате произносились речи о необходимости оказать полякам вооруженную помощь. Но и Луи-Филипп, и правительства прусское и английское были против вмешательства. Пушкин правильно угадал, когда, еще из Москвы, писал Элизе Хитрово:

«По-видимому, Европа будет только следить за нашими действиями. Революция 1830 года породила великое правило невмешательства. Оно заменит принцип легитимизма, поруганного с одного конца Европы до другого. Не такова была система Канинга» *(начало февраля 1831 г.).*

Его тревожило, что кампания затягивается, он все прикидывал, успеет или не успеет Европа вмешаться. «Если мы и осадим Варшаву (что требует большого числа войск), — писал он Вяземскому, — то Европа будет иметь время вмешаться не в ее дело. Впрочем, Франция одна не сунется; Англии не для чего с нами ссориться, так авось ли выкарабкаемся» *(3 августа 1831 г.).*

Это была правильная оценка политического положения. Французский министр иностранных дел заявил в палате, что он против интервенции, так как от Франции до Польши 400 миль. Английский министр иностранных дел, Пальмерстон, отклонил даже вмешательство дипломатическое, то есть совместное с французами выступление по польскому вопросу перед русским двором. У него не было охоты ссориться с русским Царем. Отчасти влияла на него и жена русского

посла, княгиня Ливен. Польскому эмиссару Пальмерстон вежливо, но твердо сказал:

«Мы должны соблюдать договоры. Если бы Россия нарушила Венский трактат, мы должны были бы протестовать. Поэтому мы и сами не можем способствовать независимости Польши, так как это тоже было бы нарушением Венского трактата».

Пушкин не знал об этой дипломатической игре, был в тревоге, писал Вяземскому:

«...Наши дела польские идут, слава Богу: Варшава окружена... Они (мятежники. — *А. Т.-В.*)... хотят сражения; следственно они будут разбиты, следственно интервенция Франции опоздает... Если заварится общая Европейская война, то, право, буду сожалеть о своей женитьбе, разве жену возьму в торока» *(14 августа 1831 г.)*.

С неменьшей горячностью на другом конце России переживал эти события старый приятель Пушкина, разжалованный в солдаты декабрист Александр Бестужев. Из Дербента он писал матери: «Третьего дня получил Тифлисские газеты и был чрезвычайно огорчен и раздосадован известием об измене Варшавской. Как жаль, что мне не придется променять пуль с панами добродеями... Одно только замечу, что поляки никогда не будут искренними друзьями русских... Как волка ни корми...» *(5 января 1831 г.)*.

Политические мысли и чувства Пушкина вылились в две оды — «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Он написал их в Царском Селе. Стихи были вызваны польским восстанием, но направлены не против Польши, а против европейских недоброжелателей и врагов России. Это ответ на «бурный шум и крик» тех, кого он называет:

Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии;
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!

Пушкин считал, что западное общественное мнение не призвано судить «спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос, которого не разрешите вы». Он предчувствовал, что эта семейная распря еще таит в себе всякие возможности:

Кто устоит в неравном споре,
Кичливый Лях иль верный Росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.

(2 августа 1831 г.)

Оба стихотворения по силе вдохновения, по металлической выразительности ритма напоминают «Вольность», но в них пафос патриотический, не либеральный. «Клеветникам России» написано до паденья Варшавы. В них утвержденье русской мощи, наступательная сила:

Иль Русского Царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль Русский от побед отвык?
Иль мало нас? или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская Земля?

Варшава взята, и Пушкин пишет «Бородинскую годовщину», делает быструю сводку минувших испытаний, через которые Россия проходила:

Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!
А вкруг ее волненья пали —
И Польши участь решена...

Он обращается к побежденным полякам:

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.
(5 сентября 1831 г.)

Эти два стихотворения и «Старая песня на новый лад» Жуковского были вместе представлены на царскую цензуру. А. О. Россет устроила так, что Пушкин сам прочел их Николаю. Через пять дней три стихотворения были изданы отдельной брошюрой, но почему-то в очень ограниченном количестве экземпляров. Среди бумаг Смирновой-Россет хранился один экземпляр. На оборотной стороне его зеленой обложки было написано по-французски рукою Пушкина: «Хотя вы уже знаете эти стихи, но так как я послал экземпляр графине де Ламбер, будет справедливо, чтобы у вас был такой же». Дальше по-русски:

От вас узнал я плен Варшавы
. . . .
Вы были вестницею славы
И вдохновеньем для меня.
(Сентябрь 1831 г.)

«Вторую строчку получите, когда я ее найду».

Патриотические оды Пушкина вызвали, да и теперь еще вызывают в одних восторг, в других резкое порицание. Из современников особенно бурно вскипел Вяземский, полемист и страстный, и умный, что не всегда совпадает. Он сидел в Остафьеве. По почте было опасно спорить с Жуковским и Пушкиным о польском вопросе. Вяземскому пришлось доверить свои аргументы дневнику: «Польская кампания дело весьма важное в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии, нет вдохновенья для поэта». Он сравнивал Пушкина с «Яшкой, который горланит на мирской сходке, да что вы! да сунься-ка!.. Зачем же и говорить нелепости, и еще против совести и более всего без пользы... Мне уже надоели эти географические фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и пр. Что же тут хорошего, чему радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли 5000 верст...».

Пушкин и Вяземский отчасти оттого так резко разошлись во взглядах на польское восстание, что для Вяземского это был вопрос отношений между Россией и Польшей, которую он знал лучше и ближе, чем Пушкин, а Пушкина беспокоило, как будет себя вести Европа. Он боялся интервенции, а Вяземский считал, что ее не будет. Из своей службы в Варшаве Вяземский вынес убеждение, что Польша России не нужна, что нам выгоднее от нее избавиться.

«Что было причиной всей передряги? — писал Вяземский в дневнике. — Одна, мы не сумели заставить поляков полюбить нашу власть... При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить Царство Польское, как даем мы отпускную негодяю, которого ни держать у себя не можем, ни поставить в рекруты... Какая выгода России быть внутренней стражей Польши? Гораздо лучше при случае иметь ее явным врагом». Это один из немногих случаев, когда суждение Вяземского, если отбросить от него резкий выпад против поляков, оказалось проницательнее Пушкинского. Но четверть века позже, когда Европа объединенными силами напала на Россию, Крымская война заставила Вяземского пережить такую же вспышку

патриотического негодования, какую переживал Пушкин, когда писал эти стихи. Свое негодование Вяземский тоже передал в стихах, но далеко не таких заразительных, как Пушкинские. Вяземский взял назад сорвавшиеся у него сгоряча слова, что Пушкин говорит нелепости против совести. После смерти поэта он писал А. Я. Булгакову: «Стихи Пушкина о польском мятеже не торжественная ода на случай: они излияние чувств задушевных и убеждений глубоко вкорененных» *(9 февраля 1837 г.)*.

Большинство современных Пушкину читателей, рядовых и тех, с чьим мнением он считался, пришли в восторг от его стихов. Из Москвы Чаадаев писал ему по-французски: «Вот наконец Вы национальный поэт. Вы наконец нашли свое призвание. Особенно изумительны стихи к врагам России. В них мыслей больше, чем было сказано и создано у нас в целый век» *(18 сентября 1831 г.)*.

Слова тем более любопытные, что в это время Чаадаев уже написал «Философические письма», где обрекал Россию на политическое небытие, что не помешало ему так хвалебно отозваться о стихах Пушкина, полных горячей, горделивой веры в политическую мощь России.

А вот что писал из Петербурга родным в Тверскую губернию 18-летний юнкер Михаил Бакунин, будущий вдохновитель международного анархизма: «Эти стихи прелестны, не правда ли, дорогие родители? Они полны огня и истинного патриотизма, вот каковы должны быть чувства русского. Пушкин их озаглавил сначала: «Стихи на речь, говоренную генералом Лафайетом», но цензура изменила это заглавие и поставила: «Клеветникам России». Этот старик Лафайет большой болтун и гений-разрушитель... Он хотел бы поколебать и русских. Но нет! Русские не французы, они любят свое Отечество и обожают своего Государя, его воля для них закон, и между ними не найдется ни одного, который поколебался бы пожертвовать самыми дорогими своими интересами и даже жизнью для его блага и блага родины».

Кто знает, может быть, проживи Пушкин дольше, его влияние удержало бы русскую интеллигенцию от многих заблуждений и ошибок, и Бакунин, вместо того, чтобы служить духу разрушения, нашел бы для своей бешеной энергии более творческое применение. Ведь даже недолгое общение с Пушкиным оставляло на некоторых людях глубокий след. Образованный, вдумчивый офицер Юзефович провел с Пушкиным несколько недель под Арзрумом и потом в своих воспоминаниях писал: «Пушкин был уже глубоко верующим

человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни... Он привязался душой к Государю, и, когда при нем либеральничали, он резко останавливал... На меня он действовал так обаятельно, что может быть первые семена здравого понимания гражданского долга зарождены были во мне Пушкиным».

Глава XX

ЖЕНАТЫЙ ПУШКИН

Царскосельская идиллия продолжалась недолго. В октябре Пушкины уже переехали в Петербург. Началась суетная столичная жизнь, которая очень нравилась ничего не видавшей Наталье Николаевне, а вначале забавляла и самого Пушкина. Он любил светскую жизнь, был светским человеком, хотя всюду прежде всего чувствовал себя писателем. Теперь достигнутая им слава, положение, которое она ему давала, закреплялись вниманием Царя и Царицы к нему и к его жене и как будто открывала перед ним, как писателем, более просторный путь.

Еще в Царском Селе Пушкин подал Бенкендорфу прошение разрешить ему работать в архивах и издавать журнал: «Около него соединил бы я писателей с дарованием и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению, — писал Пушкин и дальше перешел ко второй, для него не менее важной, просьбе: — Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заниматься историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю брать на себя звание Историографа после нашего незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

Хотя он поспешил снять с себя подозрение, что равняет себя с Карамзиным, но не мог он забыть, как в тех же царскосельских аллеях Карамзин беседовал с императором всероссийским о русской истории. Возвращаясь из походов, Александр I любил заходить к историку, читал в рукописи его главы, следил за его работой, выслушивал его мнение о текущих событиях. Иногда, как, например, в польских делах, писатель и Царь резко и откровенно расходились во взглядах. Пушкин мог, где-то в глубине своего воображения, мечтать,

что между ним и Николаем тоже установится сходный обмен мыслей.

На самом деле это было невозможно. Николай Павлович совсем не походил на своего старшего брата, этого царственного интеллигента. Но внешне Пушкин попал в положение, похожее на то, в котором находился Карамзин, когда писал «Историю государства Российского».

14 ноября 1831 года состоялся приказ о причислении титулярного советника А. С. Пушкина к Иностранной коллегии, откуда, за семь лет перед тем, его, благодаря Воронцову, так круто вышвырнули. Опять Пушкин стал получать от казны жалованье, но уже не 700 рублей в год, как получал он в Одессе, а 5000, для чиновника с его маленьким чином оклад неслыханный. Царь, назначая поэту жалованье, не смотрел на него, как на чиновника, никаких обязанностей ему не указал, как будто предоставил ему полный простор. Казалось, ничто не угрожало его независимости, которую он смолоду научился ценить и отстаивать. Все его друзья — Вяземский, покойный Дельвиг, Плетнев, Жуковский — служили, получали от казны жалованье. Значит, так и полагается. К своему новому положению Пушкин отнесся доверчиво, был очень благодарен, что Царь помогает ему наладить новую жизнь, тем более что переход от холостого хозяйства к семейному устройству потребовал несравненно больших усилий, чем он предполагал. Но не прошло и трех лет, как он понял, что сделал ошибку, и с горечью писал жене: «Я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами».

Перед женитьбой Пушкин обещал теще, что «даст Натали возможность блистать и веселиться», что готов ради нее принести в жертву «все вкусы, все прихоти своей вольной жизни». Он сдержал слово. Личные расходы резко сократил, бросил карты, доставлявшие ему столько же волнующих переживаний, как и любовь, против развлечений и выездов жены никогда не возражал, сам, сначала весело, потом покорно вывозил Натали. Но домашние заботы с каждым годом все тяжелее ложились на сердце поэта. Через несколько месяцев после свадьбы он писал Нащокину: «Женясь, я думал издерживать втрое против прежнего, вышло вдесятеро» *(7 октября 1831 г.)*. Потом опять ему же: «Дедушка свинья; он выдает свою третью наложницу замуж с 10 000 приданого, а не может заплатить мне моих 12 000 — и ничего своей внучке не дает. Наталия Николаевна брюхата — в мае родит. Все это очень изменит мой образ жизни; и обо всем надобно подумать» *(22 октября 1831 г.)*.

Думать приходилось ему одному. В Москве, после свадьбы, Нащокин с умиленьем любовался на молодоженов, на то, как Пушкин сидит у стола, перебирая свои бумажки, а рядом с ним Наталья Николаевна, склонив головку, прилежно вышивает. Она была искусная вышивальщица, и подушки, вышитые ее хорошенькими ручками, хранились в семье дольше и бережнее, чем Пушкинские бумажки. Но вышиванье было ее единственным домашним занятием, да и то она скоро бросила, чтобы целиком отдаться тому, что сам муж считал ее призванием, — светским забавам.

Все заботы по дому лежали на нем. Он находил квартиры, он следил за прислугой, нанимал и менял людей. Когда появились дети, он читал наставления мамкам и нянькам. Он шлепал ребят. Он возился со счетами и кредиторами. И уж, конечно, только он мог находить деньги для оплаты катастрофически растущих расходов. Насколько жизнь шла бесхозяйственно и безалаберно, можно судить по тому, что Пушкины, за шесть лет женатой жизни, десять раз меняли квартиру, не считая дач, куда иногда переезжали, бросая зимнюю квартиру.

Сначала Москва, где Пушкин хорошо обставил свою первую квартиру, даже оклеил ее обоями, что тогда считалось редкостью и роскошью. Прожил в ней три месяца и потащил всю обстановку в Царское. Пробыли там до октября, опять потащили мебель в Петербург, на Галерную. Тоже ненадолго — в январе переехали на Фурштадтскую, около Таврического сада. Квартира была такая просторная, что в нее поселили и медную бабушку, которую упрямый старик Гончаров послал-таки Пушкину. Надо надеяться, что матушку Екатерину Пушкины с квартиры на квартиру не таскали, так как на Фурштадтской прожили они только несколько месяцев, побывали на Черной речке, а к октябрю поселились на Морской. Там тоже что-то не понравилось. Переехали на Дворцовую набережную у Прачечного моста, потом к Летнему саду, около Гагаринской пристани. Наконец в октябре 1836 года была взята последняя квартира на Мойке, рядом с трактиром Демута, где холостой Пушкин так весело принимал друзей, с таким упоением писал «Полтаву». Этой квартирой пользовался он только четыре месяца, из нее отправился на вечный покой в Святогорский монастырь.

Переезды стоили денег. «Приехав сюда, — писал Пушкин Нащокину после одной из поездок в Москву, — нашел я большие беспорядки в доме, принужден был выгонять людей, переменять поваров, наконец, нанимать новую квартиру и

следственно употреблять суммы, которые в другом случае оставил бы неприкосновенными» *(2 декабря 1832 г.)*.

Каждая новая квартира была дороже предыдущей. Цены колебались от 3000 до 4500 рублей, почти целиком поглощая положенное Царем жалованье. А сколько было еще других расходов — на стол, на прислугу, на экипаж, на одежду, вернее на туалеты Натали. О. С. Павлищева как-то писала мужу, что не может выезжать из-за того, что это ей не по средствам: «Чтобы поехать на самый простой вечер, надо заплатить за платье не менее 75 р., да чепчик 40 р., парикмахер 15, экипаж от 5 до 15» *(6 января 1832 г.)*. Этот подсчет сделан с родственным ехидством, чтобы подчеркнуть, во что обходятся Александру светские успехи его жены.

Женился он на бесприданнице и должен был сам оплачивать чепцы и экипажи. Он этого не боялся, на это шел. Начиная с Одессы он себя содержал стихами. После Михайловского он зарабатывал больше 20 000 рублей в год. Он был первый и все еще единственный русский писатель, живший писательством. Жуковский, как воспитатель наследника, жил во дворце на всем готовом и получал хорошее жалованье. Н. М. Языков, князь П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, А. С. Хомяков, братья Киреевские, князь В. Ф. Одоевский — все они, помимо жалованья, владели землями, домами, крепостными. Литература и писанье занимали огромное место в их жизни, но не в их бюджете. Только для Пушкина литература была и призванием, и ремеслом, от которого он кормился.

В первый год его женитьбы много денег прошло через его руки. Смирдин купил у него право издать отдельные сборники его ранее напечатанных стихотворений. За эти сборники Пушкин должен был получать четыре года по 7500 рублей ежегодно. Первого января 1831 года вышел наконец в свет «Борис Годунов». В первое же утро в одном Петербурге разошлось 400 экземпляров. Трагедия была быстро раскуплена, несмотря на нелестные отзывы некоторых критиков. Пушкин из Москвы писал Плетневу:

«Пишут мне, что Борис мой имеет большой успех. Странная вещь, непонятная вещь! По крайней мере я того никак не ожидал. Что тому причиною? Чтение Вальтер Скота? голос знатоков, коих избранных так мало? мнение двора? Как бы то ни было, я успеха трагедии моей у вас не понимаю» *(7 января 1831 г.)*.

К концу года Пушкин за Годунова получил 10 000 рублей. Но деньги утекали быстрее, чем приходили. Сразу стали нарастать долги, которыми под конец жизни Пушкин так

мучился. Преследовали его и старые карточные долги. Надо было изворачиваться, платить проценты, уговаривать кредиторов, переписывать векселя, снова занимать. Пушкин был настолько неопытен в делах, что не знал, как пишется доверенность, как платят в ломбард. Он беспомощно писал Нащокину:

«Узнай... сколько должен я в ломбард процентов за 40 000 займа, и когда срок к уплате?.. Да растолкуй мне, сделай милость, каким образом платят в ломбард? Самому ли мне приехать? Доверенность ли прислать? Или по почте отослать деньги?» *(3 августа 1831 г.).*

Кроме денег, взятых под заложенных кистеневских мужиков, Пушкин в тот 1831 год заработал более 35 000 рублей, но уже в январе следующего года он был вынужден просить у богатого приятеля, Судиенко, 25 000 в долг, которых тот не дал. Пушкины были не исключением. Большинство их друзей и знакомых жили выше средств. Русское дворянство расчетливостью не отличалось. Но у других были доходы, не стоившие им труда. Пушкин, чтобы держаться на уровне того круга, куда теперь ввел он жену, мог рассчитывать только на вдохновенье и на свое уменье работать.

Наталья Николаевна раньше в Петербурге никого не знала, но у нее при дворе были две близкие родственницы с большим весом. Одна была ее внучатая бабка, Наталья Кирилловна Загряжская, рожденная графиня Разумовская (1747—1837), кавалерственная дама, состоявшая фрейлиной еще при Елизавете Петровне. Несмотря на то, что ей шел девятый десяток, она пользовалась не только почетом, но и влиянием.

Другая тетка Натальи Николаевны — сводная сестра ее матери, Екатерина Ивановна Загряжская (1779—1842). Она была фрейлиной императрицы Александры Федоровны и жила во дворце. Племянницу она любила, ее успехами гордилась, иногда платила за нее портнихам, выручала и деньгами. Обе Загряжские были носительницами старых традиций русского двора, живой связью с XVIII веком, что нравилось Пушкину, который любил слушать их рассказы. С Загряжской-младшей у него были дружеские отношения. Он считал, что она заменяет жене мать. Когда ему случалось уезжать, он оставлял жену на ее попечении. Обеспокоенный своими денежными делами, он писал жене: «У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка, не вечны» *(21 сентября 1835 г.).*

Но в петербургское общество ввели Натали не родные, а сам Пушкин. Это было нетрудно. Благодаря красоте она сразу заняла в свете положение примадонны. Бывали Пушкины у

его старых друзей — у Карамзиных, Олениных, Виельгорских, в австрийском посольстве, у графов Бобринских, Вяземских, Одоевских, у Жуковского. Ранний биограф Дельвига, Гаевский, описывая эту эпоху, говорит: «В 20-ых годах было несколько литературных салонов. Женщины принимали в них деятельное участие, внося свою прелесть и свое увлечение поэзией и поэтами. Эти салоны сыграли для России не меньшую роль, чем прославленный Hôtel Rambouillet*. В них возбуждался интерес к литературе, поддерживалось стремление к литературной деятельности. Здесь образовался наш разговорный язык, живой и своеобразный, входивший впервые в свои права».

Ни политической жизни, ни клубов не было. В гостиных создавалось общественное мнение, вырабатывались навыки, привычки, обычаи, без которых нет человеческого общества. К людям, которые жили открыто, знакомые заезжали запросто, не дожидаясь приглашений. Нередко гость успевал в один вечер побывать в нескольких домах, чтобы в одном месте узнать последние придворные, политические, литературные новости, в другой гостиной щегольнуть этим знанием, повторить меткое слово из последней речи Полиньяка или строфу из последнего стихотворения Пушкина.

Одним из самых приятных и самых почтенных домов был дом Е. А. Карамзиной. К вдове историка по вечерам съезжались писатели и ученые, военная молодежь, пожилые сановники, стареющие Арзамасцы и молодые фрейлины. Здесь часто бывали все друзья Пушкина. Известный мемуарист А. И. Кошелев описал ее салон в 1830 году: «В Карамзинской гостиной предметом разговоров были не философия, но и не петербургские пустые сплетни. Литература, русская и иностранная, важные события у нас и в Европе, — составляли чаще всего содержание наших оживленных бесед. Вечера начинались в 10 часов и длились до часу ночи. Эти вечера были единственными в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски».

Другой писатель, И. И. Панаев, попавший к Карамзиным гораздо позже, писал: «Чтобы получить литературную известность в великосветском кругу, необходимо было попасть в салон г-жи Карамзиной. Там выдавались дипломы на литературные таланты. Это был великосветский салон со строгим выбором, и Рекамье этого салона была С. Н. Карамзина».

Дочь историка от первого брака славилась добродушием и веселым остроумием. Ее прозвали Самовар-Паша, так как она сидела за самоваром и разливала гостям чай. Кругом нее

* Салон Рамбуйе *(фр.)*.

за чайным столом шла беседа непринужденная, но под довольно строгой цензурой хозяйки. Е. А. Карамзина не допускала вольных шуток, тогдашней привычной приправы дружеских бесед. Даже молоденькая фрейлина Россет обменивалась со своими литературными приятелями, включая Пушкина, довольно фривольными остротами. Вдова Карамзина была на этот счет так строга, что ей случалось выгонять из гостиной старого своего друга Жуковского за слишком соленые остроты. О Пушкине таких рассказов не сохранилось. Он умел считаться с эстетическими вкусами своих друзей. А к Карамзиной он был нежно привязан, да и она к нему относилась как к сыну.

В том же доме, на Михайловской, этажом выше Карамзиных, жили два брата, графы Виельгорские. Из них один, М. Ю. Виельгорский, крупный чиновник и влиятельный масон, композитор и лингвист, философ и великий гастроном, славился тонкими обедами и музыкальными вечерами.

Всего прекрасного поклонник иль сподвижник,
Он в книге жизни все перебирал листы,
Был мистик, теософ, пожалуй, чернокнижник,
И верный трубадур под властью красоты.

(Вяземский)

Виельгорский хорошо играл на скрипке. На его вечерах выступали и любители, как он, и профессиональные артисты. Для Пушкина, очень любившего музыку, это была большая приманка. Позже бывал у Виельгорских и Лермонтов, которому так и не удалось познакомиться с Пушкиным.

Бывали Пушкины у министра внутренних дел Д. Н. Блудова (впоследствии графа), о котором французский писатель, Ипполит Ожье, писал: «Блеском остроумия и изысканной вежливостью манер он был так похож на маркиза, что мне всегда чудилось, что на нем золотом шитый кафтан и красные каблуки».

Дочь Блудова, графиня Антонина, описывая в своих воспоминаниях приемы в доме отца, писала: «А вот и Пушкин с своим веселым, заливающимся, ребяческим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных, блистательных слов и добродушных шуток, а потом растерзанный, убитый жестоким легкомыслием пустых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души». Д. Н. Блудов был гораздо старше Пушкина, но их сближали арзамасские воспоминания и общая любовь к истории, к архивам, к прошлому России. Случалось, что министр помогал Пушкину в его архивных розысках.

Затем была семья графов Бобринских. Они жили в конце Галерной, в великолепном доме, окруженном большим садом.

В нем принимали гостей три поколения. Традиции XVIII века представляла графиня Анна Владимировна Бобринская (1769—1846), урожденная баронесса Унгерн-Штернберг, вдова первого графа Бобринского, Алексея Григорьевича, незаконного сына Екатерины от Григория Орлова. Вяземский писал про нее: «Графиня жила жизнью гостеприимной и общительной. Она веселилась весельем других. Все добивались знакомства с ней, все ездили к ней охотно. А она принимала всех так радушно, так можно сказать благодарно, как будто мы ее одолжили, а не себя, посещая ее дом. Ее праздники были не только роскошны и блистательны, но и носили отпечаток вкуса и художественности».

Графиня не носила никакого придворного звания, но ей оказывала внимание вся царская фамилия, начиная с вдовствующей императрицы, Марии Федоровны. Николай Павлович называл ее ma tante*, заезжал к ней запросто, бывал на ее больших балах, на которые и Пушкины всегда приглашались. Графиня благоволила к поэту и, когда он делал промахи в этикете, выручала его, что он очень ценил.

На другом конце огромного, похожего на дворец, дома была половина сына. Граф А. А. Бобринский (1800—1868) унаследовал от своей царственной бабки живой ум и большую предприимчивость. В своих обширных поместьях он вводил сельскохозяйственные улучшения и новшества, он первый в России начал в своем киевском имении «Смела» разводить свекловицу и там же устроил сахарный завод. Бобринский очень увлекался научными изобретениями и любил о них рассказывать, не замечая, что его хорошенькие слушательницы больше прислушиваются к звукам бального оркестра в соседней зале, чем к его рассуждениям об электричестве и клевере. Он был женат. Все тот же портретист Вяземский так писал об его жене: «Гр. С. А. Бобринская была женщина спокойной, но неотразимой очаровательности. Ей равно покорялись мужчины и женщины. Она была кроткой, миловидной, пленительной наружности. Ясный, свежий, совершенно женственный ум ее был развит и освещен необыкновенной образованностью. Европейские литературы были ей знакомы, не исключая и русской. Она среди общества жила своей домашней жизнью, занималась воспитанием своих сыновей, чтением, умственной деятельностью. Салон ее был ежедневно открыт по вечерам. Тут находились немногие, но избранные. Молодые люди могли тут научиться светским условиям вежливого и утонченного общежития. Дипломаты, просвещен-

---

* Тетушка *(фр.)*.

ные путешественники находили тут предания о тех салонах, которыми некогда славились западные столицы».

Часто бывали Пушкины в австрийском посольстве. Каковы бы ни были ревнивые чувства графини Долли и ее матери, но они обе были очень приветливы с Натали. Элиза Хитрово, узнав, что Пушкин жених, писала ему в Москву, что она и ее дочери будут шаперонами* его жены, когда ее надо будет ввести в свет. Это обещание они исполнили и облегчили молодой женщине вход в дипломатические дома, где ее муж давно был принят.

Жуковский в своей дворцовой квартире устраивал веселые субботники. Начинались они с уютных, вкусных обедов, кончались более многолюдными сборищами, где Пушкин и его мадонистая жена были одной из главных приманок.

Тоже по субботам, но позже, после театра, часов в 11 вечера, съезжались к другому литератору, князю В. Ф. Одоевскому. Он служил в иностранной цензуре и в департаменте духовных дел, был музыкант, знаток Баха и немецкой философии, археолог, человек своеобразного мышления, автор фантастических сказок, на которых отразилось влияние немецких романтиков, особенно Гофмана, уже проникшего в Россию. Одоевский был не богат, жил скромно во флигеле, в Мошковом переулке, на углу Миллионной, недалеко от Зимнего дворца. Гостей принимали в двух небольших комнатках. В одной из них, за высоким серебряным самоваром, сидела красивая, смуглая княгиня. Гости сами брали из ее рук чашку, так как лакеев у Одоевских не было. После чая шли наверх, в львиную пещеру, как прозвали уставленный книжными полками кабинет князя. Граф В. А. Соллогуб так описал их дом: «В этом безмятежном святилище знания, мысли, согласия, радушия, сходился по субботам весь цвет петербургского населения. Государственные сановники, просвещенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, путешественники, молодые люди, светские образованные красавицы встречались тут без удивления, и всем этим представителям столь разнородных понятий было хорошо и ловко. Я видел тут, как Андреевский кавалер беседовал с ученым, одетым в гороховый сюртук... Я видел тут измученного Пушкина во время его кровавой драмы...»

Драма пришла позже. Первое время после женитьбы Пушкин был веселым оживленным гостем в этих дружественных ему гостиных, где ему отводилось почетное, часто первое место, где ловили каждое его слово, каждую его шутку, куда многие добивались приглашения, чтобы взглянуть на зна-

---

* Здесь: наставницами *(фр.)*.

менитого русского поэта. Новичков предупреждали, что, когда Пушкин молчит или не в духе, лучше оставлять его в покое.

Один из гостей Одоевского, В. Ф. Ленц, рассказывает, как осенью 1833 года встретил он там Пушкиных: «Мне захотелось посидеть по крайней мере около Пушкина. Я собрался с духом, сел около него. К моему удивлению он заговорил со мной очень ласково, должно быть, был в хорошем настроении духа. Гофмана фантастические сказки были в это самое время переведены на французский язык и благодаря этому сделались известны в Петербурге. Пушкин только и говорил, что про Гофмана, недаром же он и написал «Пиковую Даму» в подражание Гофману, только в более изящном виде... Наш разговор был оживлен и продолжался долго. Я был в ударе и говорил, как книга. «Одоевский пишет тоже фантастические пьесы», — сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно: «Sa pensée malheureusement n'a pas de sexe»*, и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов: такова была его манера улыбаться».

В тот же вечер Ленц в первый раз увидал жену поэта: «Вдруг — никогда этого не забуду — входит дама, стройная как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла. (В то время был придворный траур.) Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал — когда она появлялась, казалось, видишь богиню. Благородные, античные черты лица ее напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком. Кн. Григорий Волконский подошел ко мне, шепнул: «Не годится слишком на нее засматриваться».

Кроме этих, совсем близких им домов, Пушкины постоянно бывали на больших приемах в посольствах и в частных домах. При дворе они первые три года не бывали. Туда приглашались только люди, имевшие большой чин или придворное звание. Но Царя с Царицей Пушкины постоянно встречали на балах. После усмиренья польского восстания в Петербурге наступила длительная полоса светского веселья и блеска. Графиня Долли, которая унаследовала от матери и чуткость, и политический темперамент, писала Вяземскому: «Пушкин у вас в Москве. Жена его хороша, хороша, хороша. Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность... Вы найдете Петербург веселым, танцующим, не сохранившим даже воспоминание об истек-

---

* Его мысль, к несчастью, абстрактна (букв.: не имеет пола) *(фр.)*.

шем роковом годе. Вы услышите только звуки музыки и пустейшие разговоры. Мы пляшем мазурку на все революционные арии последнего времени, и, поверите ли, я не нашла никого, кто бы над этим задумался» *(12 декабря 1831 г.)*.

Петербург, как начал веселиться в год польского восстания, о котором так осторожно намекает австрийская посланница, так до самой Крымской войны продолжал веселиться и танцевать, поражая иностранцев блеском своей придворной и светской жизни. Вяземский, в письме к А. Я. Булгакову, описал маскарад в австрийском посольстве, где Царь был в мундире венгерского гусара: «Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный, продолжительный. Кадрили Царицы были прекрасны, начиная с нее и Великой Княгини. Много совершенных красавиц... Хороша была Пушкина, поэтша, но сама по себе, не в кадрилях...» *(9 февраля 1833 г.)*.

В свойственной ему шутливой форме Вяземский пояснил, что она не танцевала из-за беременности.

Шел уже третий год женатой жизни Пушкина. Жена его из робкой девочки превратилась в одну из первых красавиц Петербурга, где было немало красивых женщин. Это тешило Пушкина, которому нравился «и блеск, и шум, и говор балов». Друзья ворчали. «Пушкина нигде не встретишь, как на балах, — писал Гоголь Данилевскому. — Так он протранжирит жизнь свою, если только какой-нибудь случай, а более необходимость, не затащут его в деревню» *(8 февраля 1833 г.)*. Снисходительный Плетнев жаловался Жуковскому: «Вы теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как утром перебирает в гадком сундуке своем старые для себя письма, а вечером возит жену свою по балам, не столько для ее потехи, сколько для собственной» *(17 февраля 1833 г.)*.

Вяземский, который сам не мог жить без балов и приемов и каждый вечер норовил поострить в нескольких гостиных и поплясать на нескольких балах, писал Жуковскому: «Пушкин волнист, струист, и редко ухватишь его» *(29 января 1833 г.)*.

Так всегда бывало с Пушкиным, что друзья, не слишком трудолюбивые, корили его за праздность. А он продолжал идти по своей рабочей дороге. Как бы поздно ни вернулся накануне с бала, утро проводил по-своему, по-писательски. Для него работа была такой же ежедневной потребностью, как гимнастика, которой он всю жизнь занимался. Разрешение посещать архивы Пушкин использовал честно, добросовестно. Почти каждый день бывал он то в библиотеке Эрмитажа,

то в архивах министерств, читал старые документы и донесения, воспоминания, письма, указы, накопил несколько тетрадей выписок, главным образом по истории Петра Великого. В эту прилежную, черную, архивную работу Пушкин вносил свою всегдашнюю писательскую тщательность. Но и писательство шло своим чередом. Среди рассеянной светской жизни он продолжал быть усидчивым тружеником. За первые годы после женитьбы стихов писал он очень мало. Самое крупное произведение в стихах — это оставшееся незаконченным либретто к опере «Русалка». Судя по одному стихотворному черновику, некоторые исследователи полагают, что первая мысль об этом произведении зародилась у Пушкина еще в Михайловском в 1826 году. Но под первой сценой «Русалки» есть пометка Пушкина — *27 апр. 1832 год.* В 1831-м и в 1832 годах писал он главным образом прозу — «Капитанскую дочку», «Историю Пугачевского бунта» и «Дубровского». Эту историческую повесть из помещичьего быта XVIII века Пушкин писал тем стремительным темпом, каким он писал поэмы. Образы так быстро складывались в его мозгу, что он писал карандашом, а не своими любимыми огрызками гусиных перьев. Под каждой из девятнадцати глав отметил он день ее окончания. Первая глава помечена — *октябрь 21, 1832 г.* Последняя — *январь 22, 1833 г.* Шесть глав, от третьей до восьмой, были написаны в две недели, от октября 29-го до ноября 1-го. Но что-то в этой мастерски написанной повести не удовлетворяло автора. Пушкин даже не представил «Дубровского» в цензуру. Повесть была напечатана только после его смерти.

То, что Пушкин за это время почти не писал стихов, показывает, что он не так уж был доволен петербургской жизнью, как это казалось его приятелям. Его письма к Нащокину, с которым ему легче всего говорилось о себе, показывают, что многое в ней его тревожило, тяготило.

«Жизнь моя в ПБ ни то, ни се. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения.

Вот как располагаю я моим будущим. Летом после родов жены отправляю ее в калужскую деревню к сестрам, а сам съезжу в Нижний, да может быть в Астрахань. Мимоездом увидимся и наговоримся досыта. Путешествие нужно мне нравственно и физически» *(конец февраля 1833 г.).*

Среди сует своей модной жизни Пушкин почти незаметно для себя и других стал академиком. 7 января 1833 года, по

предложению председателя, адмирала А. Шишкова, с которым так яростно сражались арзамасцы, Пушкин был выбран в Российскую академию, основанную в 1788 году Екатериной II «для усовершенствования русского языка». Кому как не Пушкину было этим заниматься. Но академия была мертвым учреждением. Одновременно с Пушкиным был выбран его старый знакомец, Катенин, писатель третьестепенный. После первого заседания, где был Пушкин, Вяземский писал Жуковскому: «Пушкин был на днях в Академии и рассказывал уморительные вещи о бесчинстве заседания. Катенин избран в члены и загорланил там. Они помышляют о новом издании словаря. Пушкин более всего недоволен завтраком, состоящим из дурного винегрета для закуски и разных водок. Он хочет первым предложением своим подать голос, чтобы наняли хорошего повара и покупали хорошее вино французское» *(29 января 1833 г.)*.

Сначала Пушкин каждую субботу ездил на заседания, посвященные словарю. Но, хотя, как говорил Вяземский, Пушкин ошибки русского языка принимал за личные оскорбления, в журнал академии не занесено ни одного его замечания, суждения или предложения. Точно его там и не было.

В мае Пушкины опять переехали на Черную речку, на дачу, которую занимали они и в прошлом году. «У них красивая дача, — писала Ольга Павлищева мужу. — Дача очень велика, 15 комнат с верхом. Натали чувствует себя хорошо, она была очень довольна своим новым жилищем, тем более, что это в двух шагах от ее тетки, которая живет с Натальей Кирилловной на ферме».

Черная речка в то время была любимым летним местом петербургской знати. Близость царской семьи, переезжавшей на лето в Каменноостровский дворец, придавала жизни блеск. Царь и Царица появлялись на гуляньях и катаньях, бывали в Каменноостровском театре, навещали некоторых высоковельможных дачников. Это было продолжение столичной жизни, только в более непринужденной, полудеревенской обстановке. Наталья Николаевна из-за беременности принуждена была жить тише обыкновенного, что было особенно кстати для Пушкина, так как он был занят подготовкой к печати первого полного издания «Евгения Онегина». Начиная с 1825 года роман издавался отдельными выпусками, по главам. Прошло более десяти лет с тех пор, как он был задуман — не просто роман, а роман в стихах, дьявольская разница, — но для нового издания Пушкин все еще менял слова, строчки, целые строфы.

Живя на даче, он работу в архивах не останавливал. Отличный ходок, он каждый день ходил в город пешком, купался в быстрой, холодной Неве, шел в архив, потом опять пешком, обратно на Черную речку, проделывая не менее 15 верст в день. В нем был огромный запас здоровья, жизненных сил, энергии. И веселья. Хомяков говорил, что смех Пушкина так же увлекателен, как его стихи.

Шестого июля Наталья Николаевна родила сына Александра. Это был уже второй ребенок. Сначала была дочь, Мария (19 мая 1832 г.). Всего Наталья Николаевна за шесть лет семейной жизни принесла Пушкину двух сыновей и двух дочерей. 14 мая 1835 года родился сын Григорий, 23 мая 1836 года дочь Наталья.

Как только Наталья Николаевна стала оправляться от родов, что на этот раз шло довольно медленно, Пушкин попросил разрешения съездить в Оренбург и Казань. Разрешение было дано. 18 августа он выехал в Москву, оставив жену и двоих детей на попечении и под присмотром тетки, Е. И. Загряжской.

В этот день с моря дул буйный ветер. Нева поднялась так высоко, что Пушкин с трудом переехал мост, через который полиция уже боялась пропускать экипажи. Бесновавшаяся река была его последним петербургским впечатлением. Оно ему пригодилось, когда он в Болдине писал «Медного всадника».

До Москвы Пушкин ехал с Соболевским, который только что вернулся из заграницы и дорогой рассказывал ему о своих встречах в Париже с Мицкевичем. И этот разговор очень Пушкину пригодился, оставил след на «Медном всаднике».

Глава XXI

АНГЕЛ МОЙ

Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом.

(Письмо к теще,
конец августа 1834 г.)

Не в первый раз оставлял Пушкин свою молодую жену одну. В декабре 1831 года он провел в Москве две недели, осенью 1832 года — месяц. Оба раза ездил один, по делам.

Надо было сговариваться со старыми кредиторами, перезаложить бриллианты Гончаровых, занять денег, устроить разные литературные дела. Он очень скучал без жены, торопился домой, часто ей писал. До нас, кроме 14 его писем к невесте, дошло 63 письма к жене.

Эти письма показывают, каким вниманием, какой заботливостью он ее окружал. Пушкин входил во все мелочи домашней жизни, давал молодой жене указания, как обращаться с детьми, с прислугой, с деньгами, как вести себя в обществе. Делал это без всякой наставительности, не навязывая своего авторитета, добродушно, пересыпая шутками, забавляя свою «женку» рассказами о знакомых, описанием дорожных встреч. Мыслями своими он с ней не делился, знал, что ей это скучно. Но о своих настроениях, о своих чувствах писал ей просто, откровенно, подчас трогательно. Эти письма, не меньше, чем его стихи, свидетельствуют, что он был не только гениальный поэт, но очень хороший, исключительно добрый человек, с благородным детским сердцем.

Расставшись с женой в первый раз, он писал ей из Москвы: «...тоска без тебя; к тому же с тех пор, как я тебя оставил, мне все что-то страшно за тебя. Дома ты не усидишь, поедешь во дворец, и, того и гляди, выкинешь на сто пятой ступени комендантской лестницы. Душа моя, женка моя, Ангел мой! сделай мне такую милость: ходи два часа в сутки по комнате и побереги себя» *(8 декабря 1831 г.)*.

Эта лестница вела в квартиру тетки, Е. И. Загряжской.

«Тебя, мой Ангел, люблю так, что выразить не могу; с тех пор как здесь, я только и думаю, как бы удрать в ПБ к тебе, женка моя» *(между 10—16 декабря 1831 г.)*.

В сентябре следующего года Пушкин опять поехал в Москву, собирать статьи для газеты, — он воображал, что ему ее разрешат, — и хлопотать о дополнительной ссуде за кистеневских мужиков. Из этой поездки ничего не вышло. Газету ему не разрешили. Ссуды ломбард не дал. Наталья Николаевна была очень недовольна, что он уехал. Об ее письмах мы можем судить только по репликам Пушкина. Ее письма не опубликованы и до нас не дошли. Неизвестно даже, сохранились ли они. По-видимому, она в письмах «топала ножкой», корила Пушкина, что недостаточно часто пишет, постоянно к кому-нибудь ревновала. А он шутливо отбивался:

«Видишь ли, что я прав, а что ты кругом виновата? виновата 1) потому что всякой вздор забираешь себе в голову, 2) потому что пакет Бенкендорфа (вероятно важный) отсыла-

ешь с досады на меня Бог ведает куда, 3) кокетничаешь со всем дипломатическим корпусом, да еще жалуешься на свое положение, будто бы подобное Нащокинскому (которому в это время изменяла цыганка Ольга. — *А. Т.-В*)! Женка! Женка! — Но оставим это. Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счеты, доишь кормилицу. Ай да хват баба! Что хорошо, то хорошо... Мне без тебя так скучно, так скучно, что не знаю, куда головы преклонить... Прощай, душа моя. Христос с тобою» *(начало октября 1832 г.).*

Это веселые ссоры. Письма еще звучат молодым счастьем, уверенностью, смехом. «Теперь послушай, с кем я путешествовал, с кем провел я пять дней и пять ночей. То-то будет мне гонка! С пятью немецкими актрисами, в желтых кацавейках и в черных вуалях. Каково? Ей Богу, душа моя, не я с ними кокетничал, они со мною амурились в надежде на лишний билет. Но я отговаривался незнанием немецкого языка и как маленькой Иосиф вышел чист от искушения... Дела мои, кажется, скоро могут кончиться, а я, мой Ангел, не мешкая ни минуты, поскачу в ПБ. Не можешь вообразить, какая тоска без тебя. Я же все беспокоюсь, на кого покинул я тебя! На Петра, сонного пьяницу, который спит, не проспится, ибо он и пьяница и дурак; на Ирину Кузминичну, которая с тобою воюет; на Ненилу Ануфриевну, которая тебя грабит. А Маша-то? что ее золотуха и что Спасский? Ах, женка, душа! что с тобою будет?» *(22 сентября 1832 г.).*

Получив от Натальи Николаевны письмо, он пишет: «Какая ты умненькая, какая ты миленькая! какое длинное письмо! как оно дельно! благодарствуй, женка. Продолжай, как начала, и я век за тебя буду Бога молить. Заключай с поваром какие хочешь условия, только бы не был я принужден, отобедав дома, ужинать в клобе... Ради Бога, Машу не пачкай ни сливками, ни мазью... Кстати: смотри, не брюхата ли ты, а в таком случае береги себя на первых порах. Верьхом не езди, а кокетничай как-нибудь иначе» *(25 сентября 1832 г.).*

Иногда мимолетно бросит он шутливое указание, как она должна себя держать. И вдруг срывается фраза, где сквозь шутку сквозит невеселая усмешка: «Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не Ангелы прелести, не Мадонны etc...» *(между 29 и 30 сентября 1832 г.).*

Это довольно длинное письмо. В нем Пушкин мельком

упоминает: «На днях был я приглашен Уваровым в Университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы как торговки на Вшивом рынке). А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления. Передай это Вяземскому».

В предыдущем письме он, тоже мельком, сказал: «...в Московском Университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие» *(27 сентября 1832 г.)*. На самом деле, когда он появился, профессора приняли его с почетом, студенты с восторгом. Они были свидетелями спора между Пушкиным и профессорами о «Слове о полку Игореве». Каченовский считал поэму позднейшей подделкой. Пушкин утверждал, что это подлинная старинная народная поэзия. Он говорил: «За нами степь, и на ней возвышается единственный памятник — «Песня о полку Игореве». Чутьем угадал он то, что много лет позже подтвердили и закрепили ученые исследователи.

И. А. Гончаров, тогда студент, был свидетелем этого спора и описал появление Пушкина в университете: «Когда Пушкин вошел с министром Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; его стих приводил меня в дрожь восторга. На меня как благотворный дождь падали строфы его созданий («Евгений Онегин», «Полтава» и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзией, обязаны непосредственным влиянием на наше образование.

Перед тем однажды я видел его в церкви у обедни, — я не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России — передо мной в пяти шагах! Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы.

«Вот вам теория искусства, — сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, — а вот и само искусство», — прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игореве». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию после Давыдова и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игореве», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа, — это для вас интересно», — пригласил нас Уваров, и мы тесной

толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение, — видеть и слышать нашего кумира. Я не припомню подробностей их состязания, — помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслышать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин.

С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, передает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся — это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу голова, с не густыми, кудрявыми волосами».

О том, как горячо встретили его студенты, Пушкин жене не написал. Боялся всякой тени похвальбы, даже в письме к ней.

На третий год женитьбы он, из-за Пугачева, уехал от жены на всю осень. Не доехав до Москвы, он остановился в Малинниках, имении Вульфов, где попал в среду своих давних поклонниц. Предупреждая ревнивые подозрения Натальи Николаевны, он шутливо писал, что дамы засыпали его вопросами об ее красоте, а в Торжке «толстая M-lle Pojarsky, та самая, которая варит славный квас и жарит славные котлеты, провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого такая красавица, что я встретя ее ахнула. А надобно тебе знать, что M-lle Pojarsky ни дать ни взять M-me George (модистка. — *А. Т.-В.*), только немного постарее. Ты видишь, моя женка, что слава твоя распространилась по всем уездам. Довольна ли ты?.. Прощай, моя плотненькая брюнетка (что ли?). Я веду себя хорошо, и тебе не за что на меня дуться... Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете — а душу твою

люблю я еще более твоего лица. Прощай, мой Ангел, целую тебя крепко» *(21 августа 1833 г.)*.

Путешествие его заполняет, занимает, но из каждого города успевает он ей написать, чем дальше едет, тем больше тяготится разлукой. Из Нижнего Новгорода пишет:

«Мой Ангел, кажется я глупо сделал, что оставил тебя и начал опять кочевую жизнь. Живо воображаю первое число. Тебя теребят за долги, Параша, повар, извощик, аптекарь, M-lle Sichler etc., у тебя не хватает денег, Смирдин перед тобой извиняется, ты беспокоишься, сердишься на меня — и поделом. А это еще хорошая сторона картины — что если у тебя опять нарывы, что если Машка больна? А другие непредвиденные случаи. — Пугачев не стоит этого. Того и гляди я на него плюну — и явлюсь к тебе» *(2 сентября 1833 г.)*.

Очень выразительно звучат эти слова — и поделом. Поехал не кататься, а ради своей работы, ради заработка, но увез с собой чувство ответственности за повара, за Парашу, за всю домашность.

Оттого ли, что Пушкин очень скоро передвигался, или Наталья Николаевна не торопилась писать, но ее письма не поспевали за ним. Это его очень тревожило, особенно когда и в Болдине он не нашел ее писем.

«Что с вами? здорова ли ты? здоровы ли дети? Сердце замирает, как подумаешь. Подъезжая к Болдину, у меня были самые мрачные предчувствия, так что не нашед от тебя никакого известия я почти обрадовался. Так боялся я недоброй вести. Нет, мой друг: плохо путешествовать женатому; то ли дело холостому! ни о чем не думаешь, ни о какой смерти не печалишься» *(2 октября 1833 г.)*.

Через несколько дней почта наладилась. Письма от Натальи Николаевны стали приходить правильно, но не успокаивали, а волновали и раздражали Пушкина. Он всегда писал жене ласково, весело, с нежным уважением. Только раз сорвались циничные слова, но они относились не к ней, а к ее поклонникам. Натали хвасталась своими победами, через всю Россию дразнила ими мужа. Делала это, быть может, отчасти из ревности, хотела пробудить в нем ответную ревность, показать, что его успеху, поэтическому и мужскому, она может противопоставить свои победы. Делала это еще и потому, что растущая слава первой красавицы составляла единственное содержание ее жизни. У нее была роковая потребность щеголять перед мужем своей женской неотразимостью. Он эту ее слабость знал и очень кротко просил ее только не мешать ему писать:

«Две вещи меня беспокоят: то, что оставил тебя без денег,

а может быть и брюхатою. Воображаю твои хлопоты и твою досаду; слава Богу, что ты здорова, что Машка и Сашка живы, и что ты, хоть и дорого, но дом наняла. Не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась; я приеду к тебе, ничего не успев написать, а без денег сядем на мель. Ты лучше оставь уж меня в покое, а я буду работать и спешить. Вот уж неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пуг., а стихи пока еще спят. Коли Царь позволит мне Записки, то у нас будет тысяч тридцать чистых денег. Заплотим половину долгов и заживем припеваючи» *(8 октября 1833 г.)*.

«Не стращай меня» — эти слова повторяются и в следующем письме:

«Не жди меня нынешний месяц, жди меня в конце ноября. Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с ц. (с Царем. — *А. Т.-В.*), ни с женихом княжны Любы. Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу — и привезу тебе пропасть всякой всячины» *(11 октября 1833 г.)*.

«Получил сегодня письмо твое от 4-го окт. и сердечно тебя благодарю. В прошлое воскресение не получил от тебя письма, и имел глупость на тебя надуться; а вчера такое горе взяло, что и не запомню, чтоб на меня находила такая хандра. Радуюсь, что ты не брюхата, и что ничто не помешает тебе отличаться на нынешних балах... Кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности — не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к *тону*, а к чему-то уже важнейшему. Охота тебе, женка, соперничать с гр. Сол. (графиня Соллогуб. — *А. Т.-В.*). — Ты красавица, ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать у ней поклонников? Все равно кабы гр. Шереметев стал оттягивать у меня кистеневских моих мужиков. Кто же еще за тобой ухаживает кроме Огарева? Пришли мне список по азбучному порядку. Да напиши мне также, где ты бываешь... Благодарю мою бесценную Катерину Ивановну, которая не дает тебе воли в ложе. Целую ей ручки и прошу, ради Бога, не оставлять тебя на произвол твоих обожателей. — Машку, Сашку рыжого и тебя целую и крещу. Господь с вами!» *(21 октября 1833 г.)*.

Насчет графини Соллогуб, хорошенькой фрейлины великой княгини Елены Павловны, Пушкин, кажется, покривил душой. Он за ней слегка волочился. Легенда говорит, что Пушкин и пощечину от Натальи Николаевны за нее получил. О женщинах, к которым жена его ревновала, Пушкин всегда говорил с подозрительной небрежностью. Но его самого кольнула ревность, и это было гораздо опаснее. Как раз 29 октября, в день, когда он кончал гениальное вступление к «Медному

всаднику», поэт получил от жены письмо, по-видимому, настолько вызывающее, что на этот раз и его ответ звучит даже не сухо, а грубо:

«Вчера получил я, мой друг, два от тебя письма, спасибо, но я хочу немножко тебя пожурить. Ты кажется не путем искокетничалась. Смотри: недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе <...>; есть чему радоваться! Не только тебе, но и Прасковье Петровне, легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что я-де большая охотница. Вот вся тайна кокетства. *Было бы корыто, а свиньи будут...*

Теперь, мой Ангел, целую тебя, как ни в чем не бывало, и благодарю за то, что ты подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь. Гуляй, женка; только не загуливайся, и меня не забывай. Мочи нет, хочется мне увидать тебя причесанную à la Ninon, ты должна быть чудо как мила... Опиши мне свое появление на балах... Да, Ангел мой, пожалуйста не кокетничай. Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что не comme il faut, все, что vulgar*... Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос, и пойду в солдаты с горя. Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду. *Ус да борода — молодцу похвала; выйду на улицу, дядюшкой зовут» (30 октября 1833 г.).*

Ни в одном письме к жене не привел Пушкин ни одного стиха из «Медного всадника», даже не упомянул о поэме. «Недавно расписался» — вот и все. А наставления, как себя вести, продолжаются:

«Друг мой женка, на прошедшей почте я не очень помню, что я тебе писал. Помнится я был немножко сердит — и кажется письмо немного жестко. — Повторю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейственного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: *уважения.* Радоваться своими победами тебе нечего... Курва, у которой переняла ты свою прическу (NB: ты очень должна быть хороша в этой прическе; я об этом думал сегодня ночью), Ninon говорила:

---

* Пристойно... пошло... *(фр.).*

Il est écrit sur le cœur de tout homme: a la plus facile*. После этого, изволь гордиться похищением мужских сердец. Подумай об этом хорошенько и не беспокой меня напрасно. Я скоро выезжаю, но несколько времени останусь в Москве по делам. Женка, женка! я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу — для чего? — Для тебя, женка; чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотой. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных etc., etc., — не говоря об cocuage**, о коем прочел я на днях целую диссертацию в Брантоме» *(6 ноября 1833 г.)*.

Это его последнее письмо из Болдина. 20 ноября Пушкин был уже в Петербурге. «Дома нашел я все в порядке, — писал он Нащокину. — Жена была на бале, я за нею поехал — и увез к себе как улан уездную барышню с именин городничихи» *(24 ноября 1833 г.)*.

В тот вечер, когда Пушкин вернулся из трехмесячного путешествия, Наталья Николаевна была у Карамзиных на балу. Пушкин поехал на Михайловскую площадь, где они жили, отыскал среди многих экипажей свою карету, забрался в нее и послал лакея сказать барыне, чтобы она сразу ехала домой по важному делу. Он запретил говорить, кто ее ждет в карете. Лакей вернулся без барыни, доложил, что она приказала сказать, что танцует мазурку с князем Вяземским. Пушкин снова отправил лакея за женой. Наконец Наталья Николаевна, в пышном розовом платье, скользнула в экипаж и сразу попала в объятия мужа. Когда Пушкин рассказывал Нащокину, как она была хороша в этот вечер, как шло ей розовое, низко вырезанное платье, глаза его сияли.

---

* На сердце всякого мужчины написано: самой доступной *(фр.)*.
** Измене *(фр.)*.

Часть четвертая

РАБОТА И ЗАБОТА

(1833—1836)

Провидение дало нам в нем великого поэта.

Кн. П. А. Вяземский



Глава XXII

ПЕТР И ПУГАЧЕВ

Ты спрашиваешь меня о Петре? идет помаленьку; скопляю матерьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой.

(Письмо жене. 19 мая 1834 г.)

Пушкин любил историю, любил архивы, прелесть старой книги и пыльной хартии, запах старых переплетов, знакомый по детской Москве, по Китайскому домику Карамзиных, по библиотеке Святогорского монастыря. В нем были все данные первоклассного историка — острая память, щепетильная правдивость и точность, чутье и вкус к прошлому, ясность суждения, широта обобщений, наконец, художественное понимание человеческой природы, этого главного материала, из которого творится история. В его привычке заносить в тетради слышанное и виденное, рассказы о людях и событиях, в его неоднократных попытках вести дневник сказалась потребность донести до будущих поколений ускользающую действительность. «Онегин» тоже летопись, по которой можно изучать эпоху. К Пимену Пушкин относился как к старшему собрату.

Когда Царь приказал допустить его в архивы, предполагалось, что Пушкин будет работать над Петром Великим, перед которым и Царь, и поэт преклонялись. История Петра не была еще ни написана, ни изучена, материалы о нем лежали в архивах не разобранные, не систематизированные. Пушкин более пяти лет рылся в документах, наполнил шесть больших тетрадей выписками и заметками. Смерть оборвала работу, не дала закончить многолетние замыслы. Равнодушные, невежественные наследники и небрежные издатели растеряли записи. Семья не сберегла его архивов. Сначала держали бумаги поэта в ящиках, ставили их куда попало, таскали бумаги из



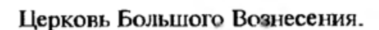
Пушкин. *Гравюра Т. Райта. 1836.*



Наталья Ивановна Гончарова.
Неизвестный художник. 1800-е гг.



Николай Афанасьевич Гончаров.
Неизвестный художник. 1810-е гг



Церковь Большого Вознесения.



Наталья Николаевна Гончарова.
А. П. Брюллов. 1831 — 1832.



Дмитрий Николаевич Гончаров.
Неизвестный художник. 1835.

Екатерина Николаевна Геккерн, урожд. Гончарова.
Ж.-Б. Сабатье. 1838.



Александра Николаевна Гончарова.
Неизвестный художник.
Конец 1830-х — начало 1840-х гг





Наталья Кирилловна Загряжская.
П. Ф Соколов. 1820-е гг.



Екатерина Ивановна Загряжская.
А. П. Брюллов. 1820-е гг.

Царское Село. Вид на Камеронову галерею и Фрейлинский садик.
Неизвестный художник. 1820-е гг





Пушкин и Хвостова на балу
Карикатура неизвестного художника. Конец 1820-х гг.

Бал у княгини М. Ф. Барятинской.
Г. Г. Гагарин. 1834.



Литературный обед в книжной лавке А. Ф. Смирдина.
Эскиз титульного листа альманаха «Новоселье».
А. П. Брюллов. 1832 — 1833.

Женский веер 1830-х гг



Дом-музей Пушкина в Болдине. *Фотография.*

Чернильница из вотчинной конторы Пушкиных.



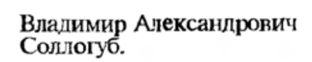


Василий Алексеевич Перовский, оренбургский военный губернатор. *В. Гау. 1841.*

Оренбург. *А. Чернышев. 1830-е гг.*



Сергей Семенович Уваров.
Н. И. Уткин. 1836.


Владимир Александрович
Соллогуб.





Карл Васильевич Нессельроде.
С гравированного портрета Гоффмейстера.

Григорий Александрович
Строганов.





Барон Геккерн. *Гравюра. 1843.*

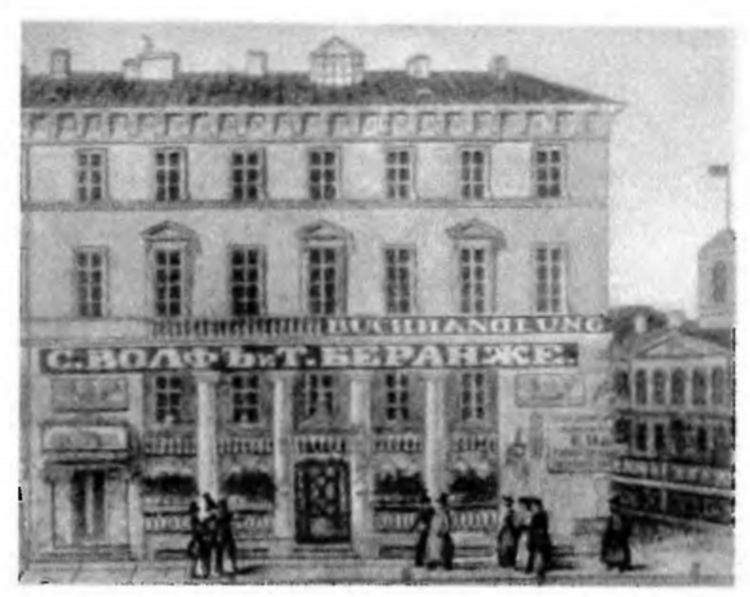


Жорж Дантес-Геккерн.
Портрет Бенара с оригинала неизвестного художника. 1830-е гг.

Les Grands-Croix, Commandeurs et
Chevaliers du Sérénissime Ordre des
Cocus réunis en grand Chapitre sous la
présidence du vénérable grand-Maître
de l'Ordre, S. E. D. L. Narychkine, ont
nommé à l'unanimité Mr Alexandre
Pouchkine coadjuteur du grand Maître
de l'Ordre des Cocus et historiographe de
l'Ordre.

Le sécrétaire perpétuel: Cte J. Borch

Анонимное письмо, полученное Пушкиным 4 ноября 1836 года.



Кондитерская Вольфа в Петербурге. *Раскрашенная гравюра.*

Константин Карлович Данзас
Неизвестный художник.





Дуэльные пистолеты системы Лепажа.

Кабинет Пушкина на Набережной Мойки, 12.



Пушкин в гробу. *Рис. В. А. Жуковского. Карандаш. 1837*

Конюшенная церковь. *М. Н. Воробьев. 1830-е гг.*



Николай Федорович Арендт
Литография О. Эстеррайха. 1822.



Владимир Иванович Даль
Неизвестный художник.

Святые ворота Святогорского монастыря





Памятник Пушкину в Лицейском саду. *Скульптор Р. Бах. 1899.*

именья в именье, наконец, много лет спустя после его смерти, часть сдали в академию, остальное разбрасывали, теряли. Уже после революции, в 20-х годах нынешнего столетия, остатки Пушкинских записей о Петре потомки употребили на то, чтобы завязывать банки с вишневым вареньем. Только незначительная часть материалов о Петре опубликована. Гениальному поэту было не суждено написать историю гениального русского императора. Но своей близостью с Петром он успел насладиться и отчасти ее использовал в художественных своих произведениях.

Пушкина в истории интересовали не только строители, но и разрушители царств и империй. В его библиотеке было свыше 50 книг о французской революции. Изучал он русскую Смуту, дворцовые перевороты, крестьянские бунты, казачьи восстания. Два года, одновременно с материалом о Петре, подбирал он в архивах данные об одном из самых дерзких колебателей Российской Империи, о донском казаке Емельяне Пугачеве, который за 60 лет перед тем взволновал всю юго-восточную окраину России, все Поволжье, от Каспия до Казани. Им еще никто из историков не занимался. В 1809 году была издана в Москве книга: «Ложный Петр III, или Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Пугачева», но Пушкин на нее нигде не ссылается, и я боюсь утверждать, что он ее читал. Пушкин совсем не был уверен, что его похвалят за его любознательность. Он подходил к Пугачеву молча, украдкой, как к запретному плоду. Когда собрал все главные материалы о бунте и написал «Капитанскую дочку», он поехал в Оренбург, проверить себя, получить те непосредственные впечатления, которые для художника часто важнее документов.

Беглый казак, вор, конокрад, Емельян Пугачев, ради которого Пушкин пустился в далекое путешествие, целый год бушевал со своей шайкой, разросшейся под конец в целое войско, царствовал между Уралом и Волгой, грозя докатиться до Москвы. Сама Екатерина, среди европейского великолепия своего двора, чувствовала себя под угрозой. Она была женщина не робкая. Но и ее смутил стремительный успех бунтовщика, объявившего себя императором Петром III. Это был далеко не первый самозванец, выдававший себя за ее покойного мужа. Царица хорошо знала, что Петра Федоровича нет в живых, что уже десять лет как он лежит в могиле. Но даже тень убитого мужа, даже самозванцы, пользовавшиеся его именем, будили в ней темные воспоминания о прошлом, может быть, тревогу за будущее.

Бунт быстро принял такой грозный характер, что Екате-

рина послала против полчищ Пугачева Суворова. Еще до приезда знаменитого полководца генерал Бибиков разбил мятежников. Пугачев уже так высоко залетел, что, когда его схватили и посадили в железную клетку, чтобы везти в Москву, сам Суворов смотрел за тем, чтобы он не сбежал. На одном из ночлегов изба, где держали Пугачева, загорелась. Его вывели на улицу, привязали к телеге, и Суворов ночью проверял, хорошо ли его караулят.

В Москве Пугачева казнили. Тело его сожгли. Прах рассеяли из пушки. Самую память о нем Екатерина старалась рассеять. Было запрещено произносить его имя. Этот запрет все еще не был снят. Пугачева замалчивали. Пушкин первый занялся его историей и так увлекся, что сделал его героем «Капитанской дочки». Он передал сущность бунта, передал характер Пугачева с правдивостью историка. Пушкин судил людей и события с художественной сдержанностью. И в повести, и в историческом своем исследовании Пушкин изобразил Пугачева не как свирепого зверя, даже не как преступника. Это просто казак, быстрый на язык, полный юмора, сметливый и отважный, лукавый и дерзкий, веселый гуляка, то жестокий, то добродушный, способный отплатить добром за услугу и простить смелое слово. Его размах подкупал Пушкина. В этом буйном, грубом русском разбойнике почуял он свойства вождя. Поэта, когда-то увлекавшегося романтическими пиратами Байрона, заняла могучая фигура казака-революционера. Но, подводя итог Пугачевщине, Пушкин писал: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

Подавая помощнику Бенкендорфа, А. Н. Мордвинову, прошение о поездке в Оренбург, Пушкин писал: «Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что же делать? они одни доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге, где труды мои, благодаря Государя, имеют цель более важную и полезную.

Может быть, Государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии. Кроме жалованья, определенного мне щедростию Его Величества, нет у меня постоянного дохода; между тем жизнь в столице дорога и с умножением моего семейства умножаются и расходы» *(30 июля 1833 г. Черновое письмо).*

Он не сказал ни слова о том, что пишет историю Пугачева. Помнил, как ему вернули стихи о Стеньке Разине, боялся, что ему не позволят объехать места, где пронеслась Пугачевщина. А ехать ему очень хотелось. Разрешение было дано, и 18 августа Пушкин выехал с Черной речки, через Москву в Оренбург. Он пробыл в отсутствии три месяца, из которых половину провел в Болдине. За шесть недель он отмахал почти 6000 верст, проезжая по скверным дорогам по тысяче верст в неделю. Из Москвы он выехал 29 августа. Несмотря на разные дорожные неурядицы, 2 сентября он был в Нижнем Новгороде. 5-го он был в Казани. Через два дня — в Симбирске, откуда заехал в именье Языковых, но поэта там не застал. В Симбирске немного задержался благодаря пьяным ямщикам и зайцам, перебежавшим ему дорогу. Зато следующие 627 верст он проскакал в три дня и попал в Оренбург ровно месяц спустя после отъезда из Петербурга. Но и этого ему было мало. Подгоняемый любознательностью и добросовестностью историка, Пушкин проехал в три дня еще 250 верст, чтобы побывать в Уральске, как переименовала Екатерина Яицкий городок, откуда Пугачев поднял мятеж. Начиная с Казани, Пушкин ехал по тем местам, по которым шел Пугачев со своими шайками, только самозванец шел с юго-востока на северо-запад, а Пушкин ехал в противоположном направлении.

На этот раз Пушкин путешествовал сравнительно удобно, в своей коляске, со своим лакеем, о котором писал жене: «Одно меня сокрушает: человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги, и по станциям называет меня то графом, то генералом» *(19 сентября 1833 г.)*.

Пушкину выдали особую подорожную по Высочайшему Повелению. В Москве почт-директор, А. Я. Булгаков, дал ему специальный лист для смотрителей почтовых станций, «которые очень мало меня уважают, несмотря на то, что и пишу прекрасные стишки» *(2 сентября 1833 г.)*. В этой поездке Пушкина опять, как на Кавказе, принимали как знатного путешественника, как знаменитого поэта, стихи которого уже были неотъемлемой частью умственного обихода русских грамотных людей. Они радовались возможности посмотреть на него, приходили познакомиться, давали обеды, говорили речи, помогали ему находить живых свидетелей бунта и их показаниями проверять мертвые архивные документы. Еще были в живых современники

Пугачева, его жертвы, соучастники, его подданные. В Казани Пушкин побывал у профессора медицины К. Ф. Фукса, большого знатока местной этнографии. Это был человек незаурядный. Еще М. М. Сперанский, в 1819 году, по дороге в Сибирь, писал о нем из Казани: «Фукс чудо. Многообразность его познаний, страсть и знание татарских медалей, знания его в татарском и арабском языке. Благочестивый и нравственный человек. Большое его влияние на татар по медицине». При содействии Фукса Пушкин «возился со стариками, современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону» *(8 сентября 1833 г.)*.

Всегда очень внимательно отмечавший всякую услугу, Пушкин, в одном из примечаний к «Истории Пугачевского бунта» говорит о Фуксе: «Ему я обязан многими любопытными известиями относительно эпохи и стороны, здесь описанной».

Жена Фукса была писательница. Она оставила любопытный рассказ о своих встречах с Пушкиным, о его вере в приметы и магнетизм. Пушкин с ней как будто подружился, но Наталье Николаевне писал, что в Казани попал «к сорокалетней несносной бабе с вощеными зубами и ногтями в грязи», которая душила его своими стихами. Он боялся, что жена приревнует. Бесстрашно бросался он навстречу туркам, но от жены порой ограждал себя малодушным враньем.

В Оренбурге Пушкин был гостем губернатора, графа Перовского, старого своего петербургского знакомого. Утром его разбудил смех хозяина. Перовский получил письмо от нижегородского губернатора, М. П. Бутурлина, и хохотал, читая его. Пушкин, проездом через Нижний, сделал визит Бутурлиным, которые приняли его очень приветливо, угостили обедом. Но когда Пушкин уехал, на губернатора напало сомнение, ему показалось странным, что человек с таким положением, как Пушкин, скачет из города в город из-за Пугачева, вообще из-за сочинительства. Он написал своему оренбургскому коллеге: «Должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о Пугачевском бунте; должно быть ему дано тайно поручение собирать сведения о неисправностях. Будьте с ним осторожнее».

Граф Перовский ответил: «Пушкин останавливался в моем доме. Я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета,

кроме нужных ему исторических изысканий» *(23 октября 1833 г.)*.

Можно себе представить, как хохотал Пушкин, читая письмо Бутурлина. Он рассказал эту историю Гоголю, которому она пригодилась для «Ревизора». По словам Анненкова, «Пушкин не совсем охотно уступал ему свое достояние». В кругу домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим хохлом надо быть осторожным; он обирает меня так, что и кричать нельзя».

В Оренбурге встретил он д-ра Даля, тоже петербургского знакомого. Даль был датчанин, но учился в России, окончил сначала морской корпус, потом медицинский факультет. В качестве врача он участвовал в турецкой и польской кампаниях, но интересовался он не флотом, не медициной, а этнографией и фольклором, сказками, поговорками, прибаутками. У Пушкина было с ним много общих интересов. В Оренбурге они сдружились. Оба внимательно прислушивались к голосам сказительниц, которые в устном предании хранили и подлинную историю, и творимые легенды. Даль уже собирал материалы для своего знаменитого словаря. Пушкину было приятно за 3000 верст от Петербурга, на границе Азии, встретить человека с такой страстной любовью к русскому языку, у которого многому можно было поучиться, с которым можно было подумать вслух. Даль, со своей стороны, подпал под обаяние Пушкина, привязался к нему. Он оказывал много услуг Пушкину. Они вместе объезжали окрестности, осматривали места, связанные с осадой Оренбурга Пугачевым, ездили в пригородный поселок Бреды, где был главный штаб Пугачева, откуда он командовал своей ордой, где пьянствовал, бесчинствовал, зверствовал. Даль разыскал современников Пугачева. Некоторые из них очень чтили память самозванца. Пушкин в примечаниях передает: «Грех сказать, — говорила мне 80-летняя казачка, — на него мы не жалуемся, он нам зла не сделал».

Пушкин спросил казака, Дмитрия Пьянова, отец которого был сподвижником мятежника: «Расскажи, как Пугачев был у тебя посаженным отцом. — Он для тебя Пугач, сердито ответил мне старик, — а для меня он был Великий Государь Петр Федорович. — Когда я упомянул об его скотской жестокости, старики оправдывали его, говоря: не его воля была, наши пьяницы его мутили».

Целое утро провел Пушкин с 75-летней казачкой. Свежая, здоровая, сохранившая все зубы, казачка хорошо помнила бунт. Она указала Пушкину место, где стояла золотая, то есть попросту обитая медными листами, изба самозванца, а также

и то место, где стояли виселицы. Показала горный гребень, где, по преданию, скрыт зашитый в рубаху огромный клад Пугачева, заваленный трупами, засыпанный землей. Она пела ему песни о Пугачеве, описывала, как ему присягали, описывала и казни. Через нее он уловил настроение пугачевских подданных, понял, что, затаенное, оно все еще жило среди казаков.

«Озорник, но молодец был батюшка Государь Петр Федорович», — с удовольствием вспоминала казачка, которая за 60 лет перед тем удостоилась чести быть одной из наложниц самозванца», — пишет о ней Пушкин.

Часть ее рассказов он употребил для «Капитанской дочки». Рассказчица так ему понравилась, что на прощанье он дал ей червонец. Это показалось ей подозрительным. Как только непонятные гости ушли, соседки стали стращать ее, уверяли, что за такие разговоры не миновать ей тюрьмы. Старуха заложила телегу и поехала в Оренбург к начальству. Показала золотой и призналась, что его ей дал чужой барин, волоса черные, кудрявые, а на руках когти, должно, антихрист. Чиновники смеялись.

— Не бойся, старуха, ему сам Государь позволил о Пугачеве расспрашивать.

Пушкин очень забавлялся, когда Даль рассказал ему, как любовница Пугачева приняла его за антихриста.

В вечно деятельном мозгу поэта поездка в новые края, изучение событий, оставивших такую грозную память, порождали вереницу новых мыслей. Он делился своими планами с Далем, с воодушевлением говорил о работе над Петром: «Я сделаю что-нибудь из этого золота. О, вы увидите, я еще много сделаю. Я только что перебесился, вы не знали меня в молодости, каков я был: я не так жил, как жить бы должно», — так передает свои разговоры с Пушкиным Даль.

Всюду, где Пушкин появлялся, вернее проносился, он как метеор оставлял след. Весь он кипел жизнью, бодростью, новыми замыслами, интересом к людям. Глядя на этого выносливого, стремительного, точно из гибкой стали сделанного, тридцатичетырехлетнего человека, мог ли подумать Даль, что пройдет три года, и он будет стоять около умирающего Пушкина.

Пушкин промчался по Оренбургскому краю с такой быстротой еще и потому, что подходила осень, его рабочая пора, он чувствовал, что пора спокойно засесть в Болдине. Из Оренбурга он писал:

«Что, женка? скучно тебе? Мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не

написав. Да нельзя, мой Ангел. Взялся за гуж, не говори, что не дюж — то есть уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит, — я и в коляске сочиняю, что же будет в постеле?» *(19 сентября 1833 г.)*.

К первому октября он был в Болдине. Сначала жаловался жене: «Стихи пока еще спят» *(8 октября)*. Потом опять: «Работаю лениво, через пень колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня» *(21 октября)*.

Хандру и томление он часто испытывал, приступая к новому, значительному произведению. Это были родовые муки, которые быстро проходили. Через несколько дней он зажил той размеренной жизнью, которую обычно вел, когда писал по-настоящему.

«Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей, и лежу до трех часов, — писал он жене. — Недавно расписался, и уже написал пропасть. В три часа сажусь верьхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем, да грешневой кашей. До 9 часов — читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо» *(30 октября 1833 г.)*.

Вторая осень в Болдине выдалась не такая детородная, как первая. Но зато он написал «Медного всадника». По его пометкам на рукописях видно, как он писал в этот приезд.

На одном из автографов «Медного всадника», перед началом вступления, стоит — *6 октября*. В этот день, вероятно, начата поэма. На «Сказке о рыбаке и рыбке» стоит — *14 окт.*
«Анджело», начисто переписанное, отмечено — *24, 26, 27.*
«Воевода» и «Бурдыс и его сыновья» — *28.*

В эти же дни начисто переписывал он «Медного всадника». Пушкин целый месяц кружился по следам Пугачева. Приехав в деревню, стал приводить в порядок свои новые о нем заметки и то, что раньше о нем писал. И вдруг сделал резкий переход. От мятежника, беглого казака, конокрада и вора, объявившего себя императором, повернулся поэт к Петру, к самому могучему императору, которого когда-нибудь знала Россия. Петр уже несколько лет был его спутником. Пушкин не был слеп к его недостаткам и порокам, он признавал, что переворот, произведенный Петром, «был крутым и кровавым». По словам П. В. Анненкова, материалов о Петре накопилось у Пушкина достаточно, чтобы приступить к их обработке, но «Пушкин видел двойное лицо — гениального созидателя государства и старый восточный тип «бича Божия». Рука Пушкина дрогнула».

В подтверждение своего суждения Анненков приводит из черновых бумаг поэта одну запись, очень выразительную:

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и кажутся писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего. Вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика».

Но эта грозная, подчас свирепая двойственность не мешала Пушкину признавать величие Петра. Его поражал всеобъемлющий ум, неутомимость в работе, сила воли, зоркость, с которой Петр охватывал интересы России, беззаветная преданность, с которой Петр служил России. Особенно пленял Пушкина государственный гений Петра.

Гоголь говорил — «Пушкин был знаток и оценщик всего великого в человеке». Его тянуло к большим людям. Быть может, оттого так легко нес он свою славу, свою гениальность, что всегда искал себе в веках спутников по росту. Созидательная сила, струившаяся из державного строителя Российской Империи, волновала державного поэта русского народа. Задолго до работы в архивах начал Пушкин вдумываться в сложный и грозный характер Петра, постепенно подходил к нему. В 1827 году начал писать «Арапа Петра Великого», где изобразил и своего черного прадеда, и царя-революционера, оторвавшего Россию от Московии*. Повесть осталась неконченной. Год спустя Пушкин вернулся к Петру в «Полтаве». По замыслу, в поэме царю было отведено только эпизодическое место. Но как только Петр выходит из палатки, его гигантский образ взвивается над поэмой. «Полтава» была написана одним духом. «Медный Всадник» не сразу дался Пушкину. Он несколько раз совершенно менял план. Сначала героем был маленький чиновник, Езерский, захудалый отпрыск когда-то знатного рода, «могучих предков правнук бедный». Позже Пушкин выделил историю Езерского в отдельное стихотворение — «Родословная моего героя», — которое осталось неоконченным. Он оставил в поэме маленького чиновника, Евгения, но это лицо собирательное и пассивное, страдательное. Грозный царь-исполин вытеснил его, как в «Полтаве» вытеснил он героев и более значительных. От Пушкинского

* Известный английский политик, тогда морской министр, сэр Самуэль Хор, теперь лорд Тэмпльвуд, подготовляя речь, сказанную им в Лондоне, на торжественном собрании по случаю столетней годовщины со дня смерти Пушкина, говорил мне, что эта повесть дала ему более ясное представление о Петре, чем длинные исторические рассуждения. — *Прим. авт.*

Петра веет стихийной мощью, как от Невы, яростно пытающейся смыть, сокрушить создание Петрово. Это борьба двух стихий.

Пушкин предпослал поэме краткую справку: «Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным *В. Н. Берхом*». Сухая книга Берха давно забыта. В ней протокольно записано, как вода залила улицы и фонтанами хлынула из подземных труб, как люди боролись и гибли. Все подробности Пушкин подобрал, ему все пригодилось, все пошло в сплав, из которого он вылил «Медного всадника».

Да и образ медного Петра, скачущего ночью по улицам столицы, он не выдумал. От многих мог он слышать этот рассказ, гулявший по Петербургу в год наполеоновского нашествия. Никто еще не знал, пойдут ли французы на Москву или на Петербург? Уже отдан был приказ вывозить из Петербурга архивы и ценности. И конную статую Петра хотели увезти. Но некто Батурин пришел к князю Голицыну, своему товарищу по масонской ложе, и рассказал, что его преследует вещий сон. Он видит, как медный Петр скачет по улицам столицы к Каменноостровскому дворцу. Ему навстречу выходит Александр I.

— Молодой человек, до чего ты довел мою Россию, — говорит ему Петр, — но, пока я остаюсь на своем месте, моему городу нечего бояться.

Голицын, мистик и духовидец, увидал в этом предостережение и уговорил Александра не трогать Петра.

И книжка Берха, и та, передававшаяся из гостиной в гостиную, легенда, были мертвой глиной, из которой Пушкин лепил своего всадника. Поэма, и реалистическая, и полная символов и видений, выросла не сразу. Но она спаяна одним внутренним порывом. Стихи полны могучей музыкальности, сливаются с содержанием, движутся вместе с мыслями. Тут не одна мысль. Множество их. Значение личности, рост России, сверхчеловеческая воля повелителя и создателя империи, сталкивающаяся с судьбою маленьких людей, с их правом на счастье. Это апофеоз Петра, но это и правдивое изображение железной беспощадности вождя. Он мчится к цели, не щадя никого, и себя самого не щадит. Пойти против него может только стихия, только она в одно мгновение может обратить в прах все усилия сильнейшего из сильных. Исторический Петр так и нашел свою гибель, когда попытался, спасая подданных, бороться с водной стихией. Но у Пушки-

на Петр скачет по улицам своей наводненной столицы не как побежденный, как победитель.

В истории создания «Медного всадника» любопытную роль сыграл Мицкевич. Последний толчок для написания этой героической поэмы дали Пушкину «Деды». Вот как это произошло.

22 июля Соболевский вернулся из заграницы в Петербург. 18 августа он вместе с Пушкиным отправился в Москву. Почти неделю провели они вместе. Дорогой Соболевский рассказывал о своих встречах с Мицкевичем, жившим в Париже, и показывал только что изданную там третью часть «Дедов». Последние ее главы — «Русским друзьям», «Памятник Петра» — это сплошное поношение России и русских. Обращаясь к своим русским друзьям — Мицкевич должен был бы сказать: к бывшим друзьям, — он ничего и никого в России не помянул добром. Сделал исключение только для казненного Рылеева и ссыльного Бестужева.

В одном месте он как будто дружественно говорит о Пушкине, рассказывает, как они вдвоем стояли ночью у памятника Петру:

Под вечер стояли под дождем два юноши.
Одним покрытые плащом, рука в руке они стояли.
Один был пилигрим, знакомый чужестранец,
Прибывший с запада, гонимый царской властью.
Второй же русского народа вещун любимый был,
Полночных стран прославленный поэт.
Не долго, но хорошо они друг друга знали
И были в дружбе.
Их души были выше всех земных препятствий,
Возвышались, как две близкие, родные альпийские вершины,
Хоть и разделенные навек потоком горным,
Но шум врагу внизу едва был слышен им,
А в небесах они друг к другу склонялись головами.

Это звучит романтично и дружественно. Но почему-то Мицкевич, хорошо знавший мысли Пушкина, заставил «поэта полночных стран» произнести длинный и невероятный монолог о Петре, где русскому Царю ставится в пример Марк Аврелий и проводится параллель между «Кнутовластным» и все и всех сокрушающим на своем пути северным деспотом и мудрым цезарем, любимцем народа. Монолог отражает мысли Мицкевича, но никак не Пушкина.

Польский поэт одинаково неприязненно, презрительно описывает все: царей, русскую природу, дома, деревни, города, людей. Дикая страна, пустынная, безлюдная, белая, как лист бумаги, ожидающий чьей-то записи. Кто будет на нем писать — перст Божий или меч дьявольский? В этой стране

даже лица «Пусты, как окружающие их равнины»... «Тусклые, невыразительные глаза их никогда не затуманены жалостью». Все в России безобразно, надо всем царит страх и кнут. Даже морозный день в Петербурге Мицкевич описывает с таким отвращеньем, точно цари отвечают и за погоду. Больше всего достается от Мицкевича Петру и его столице. Петербург — это безобразная, бессмысленная груда безвкусных построек, над которыми небо «похоже на глаз мертвого странника, дома, как звери за железными решетками. Чтобы выстроить себе роскошные дома, подлые слуги царей пролили океаны нашей крови, наших слез. Сколько нужно было заговоров, сколько невинных нужно было изгнать, убить, сколько наших земель ограбить... чтобы по-модному украсить эти дома, шампанским вымыть полы в буфетных...».

И какой был смысл воздвигать город на далекой полярной окраине, где земля не дает ни плодов, ни хлеба? В других странах города воздвигались вокруг защитника, вокруг божества или ради промышленности. А Петербург вырос среди болот, «под небом сердитым и переменчивым, как настроение деспота. Подданным он был совсем не нужен, но Петру понравились эти болота, он приказал воздвигнуть там столицу, думая не о населении, а только о себе. Говорят, Венецию строили Боги. Тот, кто увидит Петербург, может сказать, что выстроить его мог только дьявол».

Ненависть ко всему русскому разъедала польского поэта. Обращаясь к русским друзьям, он пишет: «Я выливаю перед всем миром эту чашу яда... Горечь моих слов разъедает и жжет, но я высосал ее из слез и крови моей родины... Пусть эта горечь разъест и сожжет не вас, ваши цепи».

Злобным ядом обливает он не только правительство, но и вчерашних своих друзей. Он обвиняет их в самых низких чувствах и поступках: «Иных, может быть, постигла худшая кара небес. Быть может, кто-нибудь из вас, опозоренный чином или орденом, навеки продал свою свободную душу за царские милости и теперь бьет поклоны у царского порога. Быть может, он, продажным языком, восхваляет царские победы и радуется страданьям своих друзей; быть может, на родине моей упивается нашей кровью и хвалится перед царем своими проклятиями, как заслугой».

В словах о поклонах на царском пороге и о продажном языке Пушкин мог услыхать прямой вызов себе, намек на «Клеветникам России». Он очень внимательно прочел эти главы «Дедов», выборки из них переписал в свою тетрадь № 2373 и среди этих заметок набросал портрет Мицкевича и свой карикатурный профиль в лавровом венке. Тут же памят-

ник Фальконета. Но только конь без всадника, без Петра. Стихи Мицкевича, его пристрастное опорочиванье всего русского, не могли не задеть национальную гордость Пушкина. Но он не стал полемизировать. На «Дедов» ответил «Медным всадником».

Эти две поэмы — как диалог между двумя славянскими поэтами. Разъединенные расстоянием и политикой, они, через всю Европу, высказали друг другу то, что у каждого накопилось в уме и сердце. Люди, им обоим близкие, считали, что Мицкевич намного выдержаннее, уравновешеннее Пушкина. Но в данном споре русский поэт проявил несравненно больше достоинства, эстетического чувства меры и сдержанности, чем поэт польский. Пушкин не возражает на искажения Мицкевича. Без полемики, без гнева, без тени личного или патриотического раздражения он стихами отметает карикатуру Мицкевича. Он не опускается до спора. Но в «Медном всаднике» с первых же слов звучит величавое, непреклонное утверждение Петра, которого Мицкевич так страстно, так яростно пытается умалить, развенчать:

На берегу пустынных волн
Стоял *Он*, дум великих полн,
И в даль глядел...

Тут прямое указание, ясный ответ — не самодурство азиатского деспота, а глубокая прозорливость великого государя создала на пустынной Неве Петербург, столицу великой империи. На иронические рассуждения Мицкевича о бессмысленности Петербурга Пушкин заставляет ответить самого Петра:

...И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу;
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно;
Ногою твердой стать при море,
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Дальше то описание северной столицы, которое в русском сознании неразрывно связано с Петербургом:

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат,
Вознесся пышно, горделиво...
. . . .
По оживленным берегам

Громады стройные теснятся
Дворцов и башен...

Как это далеко от Петербурга Мицкевича, который ненавидит все, что видит в Петербурге. Пушкин отвечает ему неотразимым словом — *люблю*. Вот как Мицкевич изображает морозный день в Петербурге: «Все бегут, всех подгоняет мороз, никто не оглядывается, не болтает, у всех лица бледные, все потирают руки, щелкают зубами. У всех изо рта прямой, длинной, серой полосой валит пар. Смотришь на эту толпу, дышащую дымом, и мнится, что это дымовые трубы бродят по городу». Пушкин отвечает:

Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз...

Это опять прямой ответ на слова Мицкевича, что русские женщины «белы, как снег, румяны, как раки».

Все описание Петербурга у Пушкина звучит, как восторженное объяснение в любви:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройнозыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром...

Он заканчивает горделивыми строками:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия...

У Мицкевича прославленный поэт русского народа, стоя у памятника Петру, говорит, что Петр «скакнул на верх скалы прибрежной, безумный конь повис над бездной, Царю не удержать удил... как скованный морозом водопад висит он над пропастью... Когда свободы солнце над страной заблещет, что станется с тиранства водопадом?».

Так изображает Мицкевич Петра и его памятник. Пушкин отвечает:

Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Пушкин не нападает, не стремится уязвить противника словами. Он отвечает поэтическими образами. В них нет злобы, нет раздражения. Так отвечают не врагу, а заблуждающемуся другу.

Позже Пушкин еще раз вернулся к Петру, написал «Пир Петра Великого». По поводу этой короткой поэмы выдающийся немецкий писатель того времени, Фарнгаген фон Энзе (Warngagen von Ense), писал в «Jahrbuche for wissenschaftliche Kritik» (1839), что «в этой покоряющей сердце песне поэт выражает мысли высокие. Столько же русские, сколько общечеловеческие, воплощает в сильных, трогательных образах торжественный акт прощения, примирения и облекает это в форму быстрой, веселой песни. Одной этой пьесы было бы достаточно, чтобы поставить русскую поэзию наряду со всеми национальными поэзиями».

Почти одновременно и русский критик Белинский писал: «Пушкин нигде не является столь высоким, столь национальным поэтом, как в тех вдохновеньях, которыми он обязан Петру».

Были у Пушкина еще и другие замыслы, связанные с Петром. Возможно, что в Болдине он написал бы больше. Если бы не кокетливое щебетанье Натальи Николаевны. Из-за нее он поторопился вернуться в Петербург. Даже издали она не давала покоя своему мужу-сочинителю. Женихом писал он Плетневу: «...весело удрать от невесты да и засесть стихи писать. Жена не то что невеста... При ней пиши сколько хошь». И ошибся.

Вскоре после возвращения в Петербург Пушкин записал в Дневник:

«Мне возвращен «Медный всадник» с замечаниями Государя. Слово *кумир* не пропущено высочайшею цензурою; стихи

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою Царицей
Порфироносная вдова —

вымараны. На многих местах поставлен (?), все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным» *(14 декабря 1833 г.).*

Запись сухая, но Пушкину было и неприятно, и убыточно, что «Медный всадник» не понравился Николаю. В Москве, в Румянцевском музее, хранилась рукопись «Медного всадника» с собственноручными пометками Царя. Державный цензор не ощутил ее державного духа. В нескольких местах поставил он неодобрительные NB. Между прочим, против тех строк, где медный император скачет по ночному Петербургу и там, где Пушкин называет Петра кумиром и строителем чудотворным.

Пушкин поступил с «Медным всадником» как раньше с «Борисом Годуновым», когда нашел замечания царственного цензора для себя неприемлемыми. Он положил рукопись в стол, иногда перелистывал ее, поправлял, вносил еще большую законченность в стих и без того сжатый, строгий. Но, по существу, ничего не изменил и Царю рукописи больше не представлял. Так и умер, не увидав в печати этой своей последней поэмы.

Для него это был большой убыток. Смирдин должен был с нового года издавать «Библиотеку для чтения». Он вперед законтрактовал все стихи Пушкина по червонцу за строчку. За «Гусара» заплатил 1000 рублей. За «Медного всадника» Пушкин должен был получить не менее 15 000 рублей. Эти деньги были нужны ему до зарезу.

Смирдин был человек без всякого образования, но перед Пушкиным он благоговел и по-княжески принимал его в своей книжной лавке, на Невском. А перед Натальей Николаевной Смирдин терялся. Он рассказывал писательнице Панаевой: «Раз принес я деньги, золотые. Я всегда платил золотыми, потому что их супруга, кроме золота, не желала брать других денег в руки. Александр Сергеевич, когда я вошел в кабинет, говорит:

— Рукопись у меня взяла жена. Идите к ней.

Отворил дверь и ушел. Наталья Николаевна торопилась одеваться. Приказала принести 150, вместо ста золотых.

— Мой муж дешево продает стихи.

— Нечего делать, надо вам ублажить мою жену, — говорит Александр Сергеевич, — ей понадобилось новое бальное платье».

Только после смерти Пушкина могла она обратить «Медного всадника» в новые наряды.

Одновременно с поэмой Пушкин представил Бенкендорфу «Историю Пугачева» и в сопроводительном письме писал:

«...Я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал Историю Пугачевщины... Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для Его Величества, особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных» *(6 декабря 1833 г.)*.

В черновике было иначе: «Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, по крайней мере, я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни Силе, ни господствующему образу мыслей...» Этого он в чистовое письмо не внес. Он часто откидывал в письмах то, что казалось ему слишком личным. Царь прочел его исторический труд внимательно, сделал на рукописи пометки, литературные и политические. Название, «История Пугачева», он нашел неприличным — «ибо мятежники не имеют истории», и собственноручно написал на полях — «История Пугачевского бунта». Не понравились Царю и некоторые определения. Пушкин назвал пленного Пугачева — бедный колодник и славный мятежник. Царь уловил в этих прилагательных недопустимую снисходительность к бунтовщику. Пушкин бедного переделал в темного, славного — в пленного.

В примечании к пятой главе Пушкин написал: «В Озерной старая казачка каждый день бродила над Яиком, клюкою притребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: «Не ты ли, мое детище? Не ты ли, мой Степушка? Не твои ли черны кудри свежа вода моет?» И, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп». Царь отметил: «Лучше выпустить, ибо связи нет с делом». Он не почувствовал, как этот короткий рассказ освещает психологию междуусобицы.

К замечаниям Царя на Пугачева Пушкин отнесся добродушно, даже назвал их в Дневнике дельными. Он знал, что Николай в литературе не очень разбирается, удивился, когда Смирнова-Россет сказала ему, что Царь прочел байроновского «Дон Жуана» в подлиннике, но не удивился, что он перепутал двух молодых русских ученых, Н. Полевого с М. Погодиным.

«...Долго собирался я улучить время, чтобы выпросить у Государя Вас в сотрудники, — писал Пушкин Погодину. Да все как-то не удавалось. Наконец на Масленице Царь заговорил как-то со мною о Петре I, и я тут же и представил ему, что трудиться мне одному над архивами невозможно и что помощь просвещенного, умного и деятельного ученого мне необходима. Государь спросил, кого же мне надобно, и при

Вашем имени было нахмурился — (он смешивает Вас с Полевым: извините великодушно; он литератор не весьма твердый, хоть молодец, и славный Царь)» *(5 марта 1833 г.)*.

Помощника для архивных работ Пушкин так и не дождался, хотя Николай продолжал проявлять к ним интерес. На балу у Бобринских Царь заговорил с Пушкиным о Пугачеве: «...Он сказал мне: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости Эрлингфоской (с 1774-го году!). Правда, она жила на свободе в предместии, но далеко от своей Донской станицы, на чужой, холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда ездил я летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском с большим добродушием» *(Дневник, 17 января 1834 г.)*.

«История Пугачевского бунта» вышла в свет в конце 1834 года. Как это ни странно, но только после ее напечатания Пушкин попросил разрешения просмотреть судебное дело о Пугачеве и сделать из него некоторые выписки, «если не для печати, то, по крайней мере, для полноты моего труда, без того несовершенного, и для успокоения исторической моей совести» *(26 января 1835 г.)*.

Бенкендорф только наполовину побаловал историческую совесть поэта. Дал разрешение на просмотр судебного дела, но прочесть показания самого Пугачева не позволил.

Пушкин обеднел, не мог уже издавать себя сам, как делал, пока был холостым. Средств на это у него уже не было. Он попросил на издание из казны 20 000 рублей взаймы и получил их. На этой книге он надеялся хорошо заработать. Он писал жене из Болдина, что ему жаль, что Болдино продают: «Ох! кабы у меня было 100 000! как бы я все это уладил. Да Пугачев, мой оброчный мужичок, и половины того мне не принесет, да и то мы с тобою как раз промотаем; не так ли? Ну, нечего делать: буду жив, будут и деньги...» *(15 сентября 1833 г.)*.

Ему нравилось называть Пугачева оброчным мужиком. Когда книга вышла, он писал Нащокину: «Каково время? Пугачев сделался добрым, исправным плательщиком оброка, Емелька Пугачев оброчный мой мужик! Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой, а все идет на расплату» *(20 января 1835 г.)*.

Для Пушкина успех сравнительно сухой исторической работы был неожиданностью. Посылая экземпляр старику И. И. Дмитриеву, он писал: «Его побранивают, и поделом: я писал его для себя, не думая, чтоб мог напечатать, и старался только об одном ясном изложении происшествий, довольно

запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену, возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону» *(25 апреля 1835 г.)*.

Глава XXIII

В ПАУТИНЕ

1834 год был для Пушкина переломным годом. Три события наложили печать на его судьбу.

Его произвели в камер-юнкеры. Царь прочел его письма к жене, перехваченные на почте. Наталья Николаевна привезла из деревни и поселила у себя двух своих незамужних сестер. Казалось бы, эти три происшествия мало между собой связаны и совсем не равноценны, но это были звенья одной цепи. В совокупности своей они омрачили жизнь поэта, мешали ему работать, меняли его отношения к Царю, его положение в обществе, в семье.

Производство в камер-юнкеры произошло для него совершенно неожиданно. Этот первый, низший придворный чин давался только очень молодым людям. Ни по годам, ни по положению в общественном мнении Пушкину неподобало быть камер-юнкером. Он совсем не хотел быть царедворцем, считал, что это его связывает, бросает тень на его независимость. И был прав. При его жизни, как и после его смерти, легкомысленные судьи находили в этом непрошеном, злосчастном камер-юнкерстве доказательство его сервильности, его заискиванья перед Царем.

На самом деле, когда Пушкин узнал о своем назначении, он пришел в такое бешенство, что Жуковскому и Вяземскому пришлось отливать его холодной водой. Он увидал в этом издевательство, умышленное оскорбление, нанесенное ему Царем, единственным человеком, от которого он не мог потребовать удовлетворения за обиду, которого он не мог вызвать на дуэль. Почти все его друзья носили придворное звание. Они успокаивали его как могли, но Пушкин твердил, что ко двору ездить не будет и мундира не наденет. Муж А. О. Россет, Н. М. Смирнов, рассказывает: «Жена моя, которую он очень любил и уважал, и я стали опровергать его решение, представляя ему, что пожалование его в сие звание

не может лишить его народности; ибо все знают, что он не искал его, что нельзя его было сделать камергером по причине чина его; что натурально двор желал иметь право приглашать его и жену его к себе, и что Государь... имел в виду.. приглашать его на свои вечера, не изменяя старому церемониалу, установленному при дворе. Долго спорили, убеждали мы Пушкина, наконец полуубедили».

Только полу. Со своим камер-юнкерством Пушкин никогда не мог примириться. Его возмущало, что это назначение связано со светскими успехами его жены, с ее появлением на придворных балах. Умный человек, тонкий психолог, он не сразу понял, с какими опасностями связана слава первой красавицы Петербурга.

Обычно он ездил с женой на рауты и балы. Раз, в его отсутствие, графиня Нессельроде, жена министра иностранных дел, к ведомству которого Пушкин был причислен, взяла Наталью Николаевну с собой на бал в Аничков дворец, куда приглашались только придворные. Пушкин, вернувшись из поездки, был этим очень недоволен и открыто говорил, что не позволяет своей жене бывать там, где сам не бывает. Графиню Нессельроде он терпеть не мог, она это знала. Его раздражительные остроты были ей переданы, и она их не забыла, сторицей за них отплатила, когда разразилось его столкновение с Дантесом.

Первая вспышка, напоминавшая его прежние, бурные взрывы страстей, постепенно остыла. Пушкин сделал над собой усилие и постарался отнестись к камер-юнкерству как к недоразумению. Но до конца жизни его бесило это неподобающее звание. Наталья Николаевна это знала. Когда Пушкин умер, она, к большому неудовольствию Николая, похоронила мужа во фраке, а не в ненавистном ему придворном мундире.

После поездки в Оренбург Пушкин снова, как в молодости, завел Дневник. Первую запись он сделал 24 ноября 1833 года. Последнюю — в феврале 1835 года. Это всего только 30 печатных страниц, но в них стремительная сжатость, характерная для Пушкина.

«Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры — (что довольно неприлично моим летам), — записал Пушкин в Дневнике 1 января 1834 года. — Но двору хотелось, чтобы Н. Н. танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau*... Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством? Доволен,

*Маркиз де Данжо (1638—1720) — приближенный Людовика XIV, автор мемуаров, сообщавших повседневные подробности частной жизни короля и придворного быта.

потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, — а по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике».

Несколько дней спустя он пишет: «Великий кн. (Михаил Павл. — *А. Т.-В.*) намедни поздравил меня в театре: — Покорнейше благодарю, Ваше Высочество; до сих пор все надо мною смеялись, Вы первый меня поздравили» *(7 января 1834 г.)*.

Тут же записано, что Николай сказал княгине Вяземской на балу: «J'espère que Pouchkine a pris en bonne part sa nomination, — jusqu'a présent il m'a tenue parole et j'ai été content de lui etc.»*.

Через несколько дней более выразительная запись: «Бал у гр. Бобринского, один из самых блистательных. — Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его» *(17 января)*.

За всякое назначение было обязательно благодарить начальство. Тем более обязательно было поблагодарить Царя за назначение к его двору. У Пушкина была возможность выразить благодарность, так как на этом балу у Бобринского Царь с ним долго разговаривал, но весь их разговор свелся к Пугачеву. Что Пушкин промолчал о своем камер-юнкерстве, уже было протестом. Царь отлично понял смысл этого молчания. На этот раз Пушкину у Бобринских вряд ли было весело.

Зато Наталья Николаевна, которая наконец попала в заветный круг, очень была счастлива, совершенно не понимала, чего муж сердится? Надежда Осиповна Пушкина писала дочери: «Александр, к большому удовольствию жены, сделан камер-юнкером. Представление ее ко двору, в среду, 17-го числа, увенчалось большим успехом. Участвует на всех балах. Только о ней и говорят; на бале у Бобринской Император танцевал с ней кадриль и за ужином сидел возле нее. Говорят, что на балу в Аничковом Дворце она была положительно очаровательна. Натали всегда прекрасна, элегантна; везде празднуют ее появление. Возвращается с вечеров в четыре или пять часов утра, обедает в восемь часов вечера; встав из-за стола переодевается и опять уезжает» *(26 января 1834 г.)*.

Отметил этот бал в Аничковом и Пушкин в своем Дневнике, но по-своему: «В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. — Я уехал, оставя N. Н., и, переодевшись, отправился на вечер к С. В. С<алтыкову>. — Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне: Il aurait pu se

---

* Надеюсь, что Пушкин хорошо отнесся к своему назначению. До сих пор он исполнял данное мне слово, и я им был доволен, и т. д. *(фр.)*.

donner la peine d'allez mettre un frac et de revenir. Fraites-lui des reproches* *(26 января 1834 г.)*.

Царя сердило, что Пушкин мало ценит дворцовые приглашения. На балу у Трубецких Царь сказал Наталье Николаевне: «Est-ce a propos de bottes ou de boutons que votre mari n'est pas venu dernièrement?»** *(там же)*.

Это был намек на то, что старая графиня Бобринская, стараясь оправдать внезапный отъезд Пушкина с другого бала, сказала Царю, что он уехал, потому что по ошибке явился во дворец во фраке с темными пуговицами, а не с мундирными.

Сапоги или башмаки, темные или блестящие пуговицы, короткие или длинные штаны, фрак или мундир — все эти подробности форменной одежды изводили Пушкина. Он был человек светский, с хорошими манерами, знал, как надо себя вести, умел войти в гостиную. До женитьбы, когда он мог тратить на себя деньги, он любил одеваться хорошо, с тем вольным художественным оттенком, который, с легкой руки Байрона и других романтиков, был в моде среди его поколения. Пушкин носил широкий плащ, откидные воротнички, развевающиеся галстуки. Но к форме относился с штатской небрежностью, попадал из-за этого впросак. Н. М. Смирнов и его жена, которая за свою фрейлинскую службу изучила придворную рутину, должны были напоминать Пушкину, когда что следует надеть. И камер-юнкерским мундиром наградил его Смирнов, в ответ на уверенья Пушкина, что он не хочет и не может сам сшить мундир. Смирнов, который был камергером, подарил поэту свою старую камер-юнкерскую форму***.

Другой мундирной нянькой Пушкина была старая графиня Бобринская. Раз, уже в конце года, получив опять приглашение в Аничков, Пушкин с удовольствием увидал, что на билете написано: являться в мундирном фраке. На этот раз пуговицы были у него золотые, с орлами. Штаны короткие, до колен. Белые чулки и башмаки с пряжками. Казалось, все ясно, все в порядке. Но он опять промахнулся.

---

* Мог бы побеспокоиться, поехать надеть фрак и потом опять приехать. Покорите его *(фр.)*.

** Почему ваш муж прошлый раз не был, из-за сапог или из-за пуговиц? *(фр.)*.

*** «...узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет в пору Пушкину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, но что представляется его воле взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору» (Смирнов Н. М. Из памятных заметок // Русский архив, 1882, I, с. 239).

«В девять часов мы приехали, — пишет он в Дневнике. — На лестнице встретил я старую г<рафиню> Бобринскую, которая всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами; но это еще не все)... Гр. Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну, такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели» *(18 декабря 1834 г.).*

Иногда Пушкин досадовал на себя за такие светские промахи. Записывая в Дневник несколько строк об обеде у австрийского посла, с которым он уже давно был в простых, дружеских отношениях, Пушкин заметил: «Я сделал несколько промахов: 1) приехал в пять часов, вместо пяти с половиной, и ждал несколько времени хозяйку; 2) приехал в сапогах, что сердило меня во все время» *(17 марта 1834 г.).*

В сапогах, значит, и в длинных панталонах, которые тогда еще не совсем вытеснили короткие штаны с башмаками и чулками. Надо было внимательно следить за всеми изменениями в мужских нарядах, чтобы знать, когда в чем к кому ехать. Эти мелочи скорее смешили, чем сердили Пушкина. Он и в более серьезных случаях не умел долго сердиться. Через месяц после его придворного назначения Е. Н. Карамзина, дочь историка, которая очень любила Пушкина, писала старому другу семьи, И. И. Дмитриеву: «Пушкин крепко боялся дурных шуток над его неожиданным камер-юнкерством, но теперь успокоился, ездит по балам и наслаждается торжественной красотой жены, которая, несмотря на блестящие успехи в свете, часто преискренно страдает мученьями ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа» *(20 января 1834 г.).*

Пушкин писал Нащокину: «...Конечно, сделав меня камер-юнкером, Государь думал о моем чине, а не о моих летах — и верно не думал уж меня кольнуть» *(март 1834 г.).*

Все же это необдуманное назначение дало первую трещину в его преданности Николаю. Его уверенность, что Царь чтит в нем вдохновение, поколебалась. Его самолюбие, его гордость были задеты. Он насторожился.

В тот 1834 год зимний сезон был особенно шумный. Царь и Царица любили танцевать. Каждый вечер был бал, то у кого-нибудь из вельмож, то в посольстве, то во дворце. Иногда в одну ночь несколько балов. С наступлением Великого Поста сезон сразу обрывался. На семь недель прекращались все приемы.

Пушкин записал в Дневник: «Слава Богу, масленица кончилась, а с нею и балы. Описание последнего дня масленицы (*4 марта)* даст понятие и о прочих. Избранные были

званы во дворец на бал утренний, к половине первого. Другие на вечерний, к половине девятого. Я приехал в девять. Танцевали мазурку, коей оканчивался утренний бал. Дамы съезжались, а те, которые были с утра во дворце, переменяли свой наряд. — Было пропасть недовольных: те, которые званы были на вечер, завидовали утренним счастливцам. Приглашения были разосланы кое-как и по списку балов князя Кочубея; таким образом, ни Кочубей, ни его семейство, ни его приближенные не были приглашены, потому что их имена в списке не стояли. Все это кончилось тем, что жена моя выкинула. Вот до чего доплясалась.

Царь дал мне взаймы 20 000 на напечатание *Пугачева*. Спасибо» *(6 марта 1834 г.)*.

Когда Наталья Николаевна поправилась, Пушкин, чтобы дать и ей, и себе отдых, отправил ее с двумя детьми в деревню, на Полотняные Заводы, которые перешли во владение старшего брата, Дмитрия Гончарова, так как дедушка наконец умер. Опять началась переписка с женой. Его письма показывают, как нарастало в нем тяжелое раздражение против тех условий, в которые он попал. В этих письмах, сквозь обычные шутки, слышится звон цепей. Ему так и не удастся их разорвать.

Камер-юнкерство было не только званием. Царь требовал, чтобы камер-юнкеры являлись на все приемы и на некоторые службы в придворной церкви.

«...Нашел на своем столе два билета на бал 29-го апреля и приглашение явиться на другой день к Литте; я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни, — писал Пушкин жене. — В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что Государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и что он велел нам это объявить... Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом (одному было 22, другому 23 года. — *А. Т.-В.*), — ни за какие благополучия! J'aime mieux avoir le fouet devant tout le monde*, как говорит M-r Jourdain *(16 апреля 1834 г.)*.

Пушкин надеялся, что, оставшись один, сможет писать, но камер-юнкерство не давало покоя. На Пасхе подошли празднества по случаю совершеннолетия наследника, будущего императора Александра II. Царь желал, чтобы все придворные чины явились во дворец к торжественной присяге. Пушкин решил никуда не ходить, но по живости характера не усидел дома, да еще и в письме к жене разболтался. Она

---

* Я предпочитаю, чтобы меня публично высекли *(фр.)*.

просила его отнести ее письмо к тетке. Он этого не сделал: «...потому что репортуюсь больным и боюсь Царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех Царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с Царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет. Теперь полно врать; поговорим о деле: пожалуйста, побереги себя, особенно сначала...» *(20—22 апреля 1834 г.)*. Дальше шли заботливые советы и вопросы об ее здоровье. Пушкин очень беспокоился, что жена не достаточно бережется после недавнего выкидыша.

Тайная полиция это письмо представила Царю на прочтение. Удивительно, что Пушкину вздумалось так откровенно писать о царях по почте. Еще удивительнее, что он узнал, что Царь его письмо прочел. Пушкин записал в Дневнике: «Несколько дней тому назад получил я от Ж<уковского> записочку из Ц. С. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что Г<осударь> об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мною Н. Н., и нашед в нем отчет о присяге В. Кн., писанный, видно, слогом не официальным, донесла о всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо Г., который сгоряча, также его не понял. К счастию, письмо показано было Ж., который и объяснил его. Все успокоилось. Г. неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. Но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у Царя Небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего Правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать Царю (человеку благовоспитанному и честному), и Царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть Самодержавным!» *(10 мая 1834 г.)*.

Запись гораздо сдержаннее, чем его настроение. Пушкин был так взбешен тем, что Николай прочел его очень интимное письмо к жене, что у него разлилась желчь. После первой

встречи с Николаем в Кремле Пушкин создал себе романтический, воображаемый образ Царя. Несмотря на юмор, несмотря на остроту аналитической мысли, Пушкин не был скептиком. Ему нужны были герои. Он приписал Николаю черты, которые хотел видеть в русском царе, — правдивость, твердость, справедливость, мудрость. Он поверил, что молодой царь будет править «бодро и честно», что он умеет чтить вдохновенье, давать мыслям свободу. К этому, им выдуманному, царю Пушкин искренно приписался в верноподданные. За эту новую свою царственную политическую иллюзию он долго держался. Любопытство Николая к чужим письмам вскрыло ее хрупкость и оскорбило его понятие о чести. Пушкину было тяжело разочароваться в Николае. Но его Дневник свидетельствует, как отношение к Царю изменилось. Передавая разговоры за обедом у Смирновых, Пушкин записал:

«В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку. Полетика сказал: «L'Emp. Nicolas est plus positif, il a des idées fausses, comme son frère, mais il est moins visionnaire!»*. Кто-то сказал о Гос.: «Il y a beaucoup du praporchique en lui et un peu du Pierre le Grand!»** *(21 мая 1834 г.)*.

Этот кто-то скорее всего был сам Пушкин. Непривычная горечь слышится в его письмах к жене:

«Я тебе не писал, потому что был зол — не на тебя, на других. Одно из моих писем попалось полиции и так далее. Смотри, женка: надеюсь, что ты моих писем списывать никому не дашь: если почта распечатала письмо мужа к жене, так это ее дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом; но если ты виновата, так это мне было бы больно. Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. Я пишу тебе, не для печати; а тебе нечего публику принимать в наперсники. Но знаю, что этого быть не может; а свинство уже давно меня ни в ком не удивляет» *(18 мая 1834 г.)*.

На этот раз Пушкин писал так резко именно потому, что знал, что его письма вскрывают, что, быть может, это слово — свинство — дойдет до самого Царя. Раз нельзя лично с ним объясниться, пусть прочтет. И в следующем письме он повторяет:

---

* Император Николай человек более положительный. У него тоже есть ложные идеи, как у его брата, но он менее фантастичен! *(фр.)*.

** В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого! *(фр.)*.

«Я поехал к Ея Выс. (в. к. Елене Павловне. — *А. Т.-В.*) на Каменный Остров в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою несчастную роль и досаду». «Я не писал тебе, потому что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la lettre*. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности... невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя; а вот что пишу для тебя. Начала ли ты железные ванны? есть ли у Маши новые зубы? и каково перенесла она свои первые?» *(3 июня 1834 г.)*.

Через некоторое время его «добродушие, доходящее до глупости», взяло верх. «На *того* я перестал сердиться, потому что toute rêflexion faite**, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике поневоле привыкнешь к говну, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух» *(11 июня 1834 г.)*.

Прорываются не свойственные ему тоскливые ноты: «Без тебя мне так скучно, что поминутно думаю к тебе поехать... ...плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость; особенно когда лет двадцать человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя. Благословляю всех вас, детушки» *(18 мая 1834 г.)*.

Как раньше, в Михайловском, его манила мечта о чужих краях, так теперь настойчиво встает мечта выйти в отставку и уехать в деревню.

«Хлопоты по именью меня бесят; с твоего позволения, надобно будет, кажется, выдти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию, и в котором к сожалению не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе; и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства» *(29 мая 1834 г.)*.

Наталья Николаевна, по-видимому, в ответ на его встревоженные рассуждения предлагала поселиться в Болдине. «Ты говоришь о Болдине, — пишет ей Пушкин. — Хорошо бы туда

* Буквально *(фр.)*.

** По здравом рассуждении *(фр.)*.

засесть, да мудрено. Об этом успеем еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и что еще хуже опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни» *(8 июня 1834 г.)*.

Через несколько дней опять пишет он ей об отставке, приучает жену к этой мысли: «Я крепко думаю об отставке. Должно подумать о судьбе наших детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроено до невозможности и только строгой экономией может еще поправиться. Я могу иметь большие суммы, но мы много и проживаем. Умри я сегодня, что с вами будет? Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном петербургском кладбище, а не в церкви, на просторе, как прилично порядочному человеку. Ты баба умная и добрая. Ты понимаешь необходимость; дай сделаться мне богатым, — а там, пожалуй, и кутить можем в свою голову» *(конец июня 1834 г.)*.

Он подал прошение об отставке. Написал его по-французски: «Семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, и я вынужден оставить службу и прошу Ваше Превосходительство получить для меня на это разрешение. В виде последней милости я просил бы, чтобы данное мне Его Величеством право посещать архивы не было от меня отнято» *(25 июня 1834 г.)*.

Пушкин никогда не ходил в Коллегию иностранных дел, к которой был причислен. Камер-юнкеров у Царя и без него было довольно. Казалось, не было никаких оснований отказать ему в такой разумной просьбе. Но Царь разгневался. Он передал через Бенкендорфа Пушкину, «что, не желая никого удерживать против воли», он отставку принимает, но право посещать архивы «может принадлежать единственно людям, пользующимся особой доверенностью начальства».

Ответ был настолько оскорбительный, что, будь Пушкин предоставлен самому себе, он, вероятно, принял бы отставку и уехал в деревню. Но в дело вмешался Жуковский. Из Царского Села прислал он Пушкину коротенькую записочку:

«Государь опять говорил со мной о тебе. Если бы я знал наперед, что тебя побудило взять отставку, я бы ему мог объяснить все, но так как я сам не понимаю, что тебя заставило сделать эту глупость, то мне нечего было ему ответить. Я только спросил:

— Нельзя ли как этого поправить?

— Почему же нельзя? — отвечал он. — Я никогда никого не удерживаю и дам ему отставку. Но в таком случае между нами все кончено. Он может, однако, еще взять назад письмо свое.

Это меня истинно трогает, а ты делай, как разумеешь» *(2 июля 1834 г.)*.

Жуковский был близкий человек, друг. Он знал все денежные трудности Пушкина, знал, что светские забавы ему не по карману, что писать в Петербурге Пушкин не в состоянии. Знал Жуковский и историю с письмом, которое Царь прочел. Но, видно, 20-летнее пребывание при дворе не прошло ему даром. Вместо того, чтобы помочь Пушкину выбраться из паутины, иметь мужество сказать Николаю, что придворная жизнь не годится для поэтов, Жуковский испугался, что Пушкин опять попадет в опалу, и постарался все смазать. Он обрушился на своего друга с яростью, которая иногда нападает на таких мягкотелых людей: «Ты человек глупый, теперь я в этом совершенно уверен. Не только глупый, но и поведения непристойного. Как мог ты не сказать о том ни слова ни мне, ни Вяземскому, не понимаю. Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголенная Глупость» *(13 июля 1834 г.)*.

Он настаивал, чтобы Пушкин в письме к Царю «чистосердечно обвинил себя за сделанную глупость» и проявил то «чувство благодарности, которое Государь вполне заслуживает». В следующем письме Жуковский опять писал: «Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком, он считает его с твоей стороны неблагодарностью. Он тебя до сих пор любил и искренно хотел тебе добра... Ты должен столкнуть с себя упрек в неблагодарности и выразить что-нибудь такое, что непременно должно быть у тебя в сердце к Государю» *(6 июля 1834 г.)*.

Ни в одном из трех писем Жуковского, которые дошли до нас от этих трех дней, нет ни слова о желаньях самого Пушкина, о его праве на спокойствие и свободу, на творческий простор. Только после смерти поэта, просматривая его бумаги, Жуковский понял, что не каприз и не глупость заставляли Пушкина добиваться отставки. При жизни Пушкина даже этот близкий друг не понимал, какой паутиной опутал его шеф жандармов. Только трагическая смерть поэта открыла наконец глаза Жуковскому. Он возмутился, написал Бенкендорфу длинное, похожее на обвинительный акт, письмо:

«В 36-летнем Пушкине все видели 22-летнего... Он все был как буйный мальчик, которому страшатся дать волю, под строгим, мучительным надзором... Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему было в том отказано под видом, что он служил, а действительно ему не верили. Но в чем была его служба? В том единственно, что он был причислен к Иностранной Коллегии. Какое могло быть ему дело до Иностранной Коллегии? Его служба была его перо, его Петр Великий, его поэмы... Для такой службы нужно спокойное уединение. Какое спокойствие мог он иметь со своей пылкой душой, со своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых он не имел возможности вырваться, погубили его».

Это письмо, по-видимому, никогда не было послано. Друзья отговорили Жуковского. Но можно себе представить, с каким тяжелым чувством должен был он, перебирая бумаги своего мертвого друга, прочесть:

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Пока Пушкин был жив, друзья не знали этого отрывка, быть может, даже не поняли бы его грозного смысла. А он растерялся перед натиском Жуковского, твердившего, что просить об отставке глупо, неприлично, неблагодарно. С горечью отвечал Пушкин на эти обвинения:

«Я право сам не понимаю, что со мною делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие — какое тут преступление, какая неблагодарность? Но Государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку, а прошу оставить меня в службе. Теперь, отчего мои письма сухи? Да зачем же быть им сопливыми? В глубине сердца моего я чувствую себя правым перед Государем; гнев Его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? просить прощения? хорошо; да в чем? К Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему, что у меня на сердце, но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье» *(6 июля 1834 г.)*.

Жуковский знал, что, обвиняя Пушкина в неблагодарности, заденет его за живое. Пушкин снова написал шефу жандармов два письма по-французски, одно 3-го, другое 6 июля. Прошение взял обратно, признал его «неподобающим» (in-

convenante). «Я Вас умоляю не давать ему хода. Я предпочитаю казаться непоследовательным, чем неблагодарным» *(3 июля 1834 г.)*.

Можно себе представить, как тяжело ему было брать обратно прошение об отставке, в которой он, вполне разумно, видел единственное свое спасение; как было ему противно оправдываться, объяснять свое положение, даже свои чувства. На следующий день он опять писал Бенкендорфу, уже по-русски: «Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое, вынужденное от меня неприятными обстоятельствами и досадными, мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностью и сопротивлением воле того, кто доныне был более моим благодетелем, нежели Государем» *(4 июля 1834 г.)*.

Но и этого оказалось мало. Через день Пушкин опять по-французски пишет Бенкендорфу: «Разрешите мне говорить с Вами откровенно. Подавая просьбу об отставке, я думал только о моих трудных и обременительных семейных делах... Император осыпал меня милостями с той минуты, когда его царственная мысль остановилась на мне. О некоторых из них я не могу думать без волнения, так много в них прямоты и великодушия...» *(6 июля 1834 г.)*.

Жуковскому и этого показалось мало. Прочтя это письмо, он писал: «Что с тобой сделалось, ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение».

Царь оказался снисходительнее. Он написал шефу жандармов: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 35 лет, мужу и отцу семейства».

Попытка Пушкина вырваться из Петербурга только крепче его закабалила, как обычно бывает с неудачными попытками к бегству. Но что было ему делать? Бенкендорф ясно сказал, что отставка опять испортит его отношения с правительством, от которого он был в полной зависимости. Потерять жалованье было не страшно, но его могли лишить единственного средства существования, возможности печататься. А он только что взял в казне 20 000 рублей на издание Пугачева. Его скрутили по рукам и по ногам. Стоило Пушкину рвануться на свободу, и загремели его цепи. Горько было ему просить у Царя прощения. Он-то хорошо знал, что прав он, а не они.

«На днях я чуть было беды не сделал, — писал он жене, — с *тем* чуть было не побранился — и трухнул-то я, да и грустно

стало. С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею; хоть и он не прав» *(11 июля 1834 г.).*

И опять в другом письме: «На днях хандра меня взяла; подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, не так? Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать, и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили как шута, и что их маменька ужас как мила была на Аничковских балах. Ну, делать нечего. Бог велик; главное то, что я не хочу, чтобы могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма» *(первая половина июля 1834 г.).*

Пока шли волнения из-за отставки, он забросил Дневник. Но 22 июля записал: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, — но все перемололось. — Однако это мне не пройдет».

Как глубоко был он встревожен, показывают отдельные фразы в письмах к жене. Наряду с внешней веселой, беспечной общительностью была в нем внутренняя замкнутость сильного, мужественного человека. Но в эти месяцы точно невольно срывается крик о помощи:

«Детей благословляю — тебя также. Всякой ли день ты молишься стоя в углу?» *(14 июля 1834 г.).*

«...Благодарю тебя за то, что ты Богу молишься на коленях посреди комнаты. Я мало Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас» *(3 августа 1834 г.).*

В конце шутливого длинного письма: «Мне здесь хорошо, да скучно, а когда мне скучно, меня так и тянет к тебе, как ты жмешься ко мне, когда тебе страшно» *(15 сентября 1834 г.).*

Здесь, это значит в Болдине, куда Пушкин поехал в третий раз, теперь из-за отцовских денежных дел и в надежде, что там найдет на него осенний прилив творчества. В этот злосчастный год, когда счастье повернулось к нему спиной, на него, тоже внезапно, свалились хлопоты и заботы об отцовских делах.

«Обстоятельства мои затруднились еще вот по какому случаю, — писал Пушкин Нащокину. — На днях отец мой посылает за мною. Прихожу — нахожу его в слезах, мать в постеле — весь дом в ужасном беспокойстве. *Что такое? Имение описывают. — Надо скорее заплатить долг. — Уж долг заплачен. Вот и письмо управителя. — О чем же горе? — Жить нечем до октября. — Поезжайте в деревню. — Не с чем.* — Что делать? — Надобно взять имение в руки, а отцу назначить содержание. Новые долги,

новые хлопоты. А надобно: я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата Льва...» *(март 1834 г.).*

Хлопоты он на себя взял большие, но бесплодные. Как только Пушкин принялся распутывать отцовские дела, как все — отец, бесшабашный Левушка, назойливо жадный муж Ольги, Павлищев, раздражавший Пушкина своими наглыми письмами, управляющие, кредиторы, даже незаконные дети дядюшки Василия Львовича — все стали требовать от Пушкина денег и притом всегда в тысячах. Напрасно напоминал он им, что на отцовском именьи уже числится более 200 000 рублей долгу, что уплата процентов съедает все доходы. Они ничего слушать не хотели, были уверены, что если он захочет, то деньги найдет. Родных волновали червонцы, которые ему платили за строчку стихов. Что Александру стоит — напишет несколько сот строк, деньги так и посыпятся.

«Теребят меня без милосердия, — жаловался Пушкин жене. — Вероятно, послушаюсь тебя и скоро откажусь от управления имения» *(8 июня 1834 г.).*

Эта новая обуза совпала с тревогой о возможной ссоре с Царем. Чтобы отправить отца и мать в Михайловское, пришлось бегать, доставать деньги. «Сегодня едут мои в деревню, и я еду их проводить до кареты, не до Царского Села, куда Лев Серг. ходит пешечком. Уж как меня теребили; вспомнил я тебя, мой Ангел. А делать нечего. Если не взяться за имение, то оно пропадет же даром: Ольга Серг. и Лев Серг. останутся на подножном корму; а придется взять их мне же на руки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а им и горя мало. Меня же будут цыганить. Ох, семья, семья!» *(11 июня 1834 г.).*

Мечтая об отставке, Пушкин рассчитывал, что ему будет легче управлять имением и распутывать отцовские долги, живя в деревне. Это уже была иллюзия. Ни навыков, ни инстинктов помещичьих у него не было. Он это почувствовал в Болдине. Надо было часть земли продавать. Вот как описал он жене свои разговоры с покупателем:

«Два часа сидел у меня. Оба мы хитрили — дай Бог, чтоб я его перехитрил на деле; а на словах, кажется, я перехитрил. Вижу отселе твою недоверчивую улыбку, ты думаешь, что я подуруша и что меня опять оплетут — увидим... Сейчас у меня были мужики, с челобитьем; и с ними принужден я был хитрить — но эти наверное меня перехитрят... Хотя я сделался ужасным политиком, с тех пор как читаю Conquête de l'Angleterre par les Normands*. Это что еще? Баба с просьбою. Прощай, иду ее слушать. Ну, женка, умора. Солдатка просит,

---

* Завоевание Англии норманнами *(фр.).*

чтоб ее сына записали в мои крестьяне, а его де записали в выблядки, а она де родила его только 13 месяцев по отдаче мужа в рекруты, так какой же он выблядок? Я буду хлопотать за честь оскорбленной вдовы» *(15 сентября 1834 г.)*.

На этот раз Болдино его ничем не порадовало. «Скучно, мой Ангел. И стихи в голову нейдут, и роман не переписываю. Читаю Вальтер-Скота и Библию, а все об вас думаю. Здоров ли Сашка? прогнала ли ты кормилицу? отделалась ли от проклятой немки? ...Много вещей, о которых беспокоюсь. Видно нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить» *(конец сентября 1834 г.)*.

Через несколько дней он выехал через Москву на Полотняные Заводы за семьей. В середине октября Пушкины вернулись в Петербург. С ними приехали две сестры Натальи Николаевны. Она была с сестрами дружна, и ей давно хотелось сделать их участницами своей веселой светской жизни. Она мечтала, что их сделают фрейлинами. Пушкин согласился не сразу, пытался ее от этого отговорить:

«Охота тебе думать о помещении сестер во дворец. Во-первых, вероятно откажут; а во-вторых, коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому ПБ — Ты слишком хороша, мой Ангел, чтоб пускаться в просительницы. Погоди: овдовеешь, постареешь — тогда пожалуй будь салопницей и титулярной советницей. Мой совет тебе и сестрам быть подале от двора; в нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться. Боже мой! кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил бы себе барином. Но вы, бабы, не понимаете счастия независимости, и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали про вас: «Hier madame une telle était décidément la plus belle et la mieux mis au bal»* *(11 июня 1834 г.)*.

Наталья Николаевна настаивала, строила планы, как будет выдавать сестер замуж. Пушкин с усмешкой отвечал: «Ты пишешь мне, что думаешь выдать Кат. Ник. за Хлюст<ина>, а Алекс. Ник. за Убри: ничему не бывать; оба влюбятся в тебя; ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтоб ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица» *(вторая половина июня 1834 г.)*.

«Если ты в самом деле вздумала сестер сюда привезти, то у Оливье оставаться нам невозможно: места нет. Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, женка! смотри... Мое мнение: семья должна быть *одна* под *одной* кровлей: муж, жена, дети, покаместь малы; родители, когда уже престарелы; а то хлопот

---

* Вчера госпожа такая-то решительно была всех красивее и всех наряднее на балу *(фр.)*.

не наберешься, и семейственного спокойствия не будет. Впрочем об этом еще поговорим» *(14 июля 1834 г.)*.

В том же письме Пушкин писал жене: «Царствуй, потому что ты прекрасна». Она и царствовала. Устраивала жизнь по своему вкусу, не считаясь ни с его советами, ни с его удобствами. Сестер, когда захотела, к себе водворила.

Пушкин сдался отчасти и по доброте. Пожалел своячениц. Соболевский спросил его:

— Зачем ты берешь барышень?

— Потому что их мать целый день пьет и с лакеями развратничает, — отвечал Пушкин.

Сначала появление двух барышень прошло гладко. Они вносили в хозяйство свою долю, и это, как будто, помогало сводить концы с концами. Александрин была только на год старше Натали, но несравненно домовитее и деловитее. Она присматривала за многочисленной и распущенной прислугой, в особенности за няньками и мамками. Александрин да верный Никита единственные в доме заботились о Пушкине.

Александрин была также единственная в доме Пушкина, читавшая его стихи. Старшая Гончарова, Екатерина, была так же глуха к поэзии, как и Натали.

6 декабря, в день царских именин, Екатерину Гончарову сделали фрейлиной. И этого Наталья Николаевна, при помощи тетки Загряжской, добилась. Это еще более связало Пушкиных со двором, внесло еще больше суетности, сгустило вокруг Пушкина бабью стихию, которая и раньше мешала ему работать. Он был не мастер охранять свое спокойствие, не требовал к себе внимания. Брат Натали, Сергей Гончаров, говорил: «У Александра Сергеевича был самый счастливый характер для семейной жизни, ни взысканий, ни капризов».

Теперь Пушкину уже приходилось вывозить не одну жену, но трех женщин. Вяземский острил: «Я видел Пушкина с тремя женами». Не один Вяземский, все посмеивались над его «гаремом». Смеялся и Пушкин.

Среди насмешливых голосов раздавался и веселый голос французского выходца, барона Дантеса. Он прозвал Пушкина с его тремя дамами — трехбунчужный паша.

В этот зловещий для поэта 1834 год вошел в его жизнь белокурый красавец, которому судьба поручила привести в исполнение предсказание старухи немки Кирхгоф. В начале года, 26 января, Пушкин записал в Дневник: «Барон д'Антес и маркиз де Пина, два Шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет».

Ровно три года спустя этот заезжий шуан, Дантес, смертельно ранил Пушкина на поединке.

Глава XXIV

ЖУРНАЛИСТИКА

В последний год своей жизни Пушкин навалил на себя еще новую обузу — стал редактором и издателем журнала «Современник». Он и его литературные друзья давно толковали между собой, что необходимо завести собственный журнал. Журналов было мало. Главными были в Москве «Московский Телеграф» Н. А. Полевого и «Московский Вестник» Погодина. В Петербурге Фаддей Булгарин и Н. Греч издавали «Северную Пчелу» и ежедневную газету «Сын Отечества». Там же, начиная с 1834 года, книгопродавец Смирдин издавал «Библиотеку для чтения» под редакцией Сеньковского. Уровень этих изданий не мог удовлетворить Пушкинский кружок. Им нужен был свой орган, где они могли бы высказывать свои взгляды и давать отпор грубым, чаще всего несправедливым нападкам беззастенчивых критиков. Еще в 1830 году, который для Пушкина был годом острой полемики, он на черновике статьи для «Литературной Газеты» поставил эпиграф из английского писателя Соусби (Southbey): «Сколь ни удален я моими привычками и правилами от полемики всякого рода, но еще не отрекся я совершенно от прав самозащищенья». В Болдине, в плодовитую осень высокого творческого подъема, набросал он этот незаконченный отрывок, где ясно высказал свое отношение к критике: «Будучи русским писателем, я всегда почитал долгом следовать за текущей литературою и всегда читал с особенным вниманием критики, коим подавал я повод. Чистосердечно признаюсь, что похвалы трогали меня как явные и, вероятно, искренние знаки благосклонности и дружелюбия. Читая разборы самые неприязненные, смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего критика и следовать за его суждениями, не опровергая оных с самолюбивым нетерпением, но желая с ними согласиться со всевозможным Авторским себяотвержением. Что касается до критических статей, написанных с одною целью оскорбить меня каким бы то ни было образом, скажу только, что они очень сердили меня, по крайней мере в первые минуты, и что следственно сочинители оных могут быть довольны, удостоверясь, что труды их не потеряны».

Пушкин знал и сладость, и горсчь славы. Случалось ему терпеть грубые нападки тех, кого он с усмешкой называл — собратья по перу. Случалось, что даже цензоры пробовали взять его под свою защиту. В том же 1830 году в «Северном Меркурии» (№ 49—50) появился сатирический фельетон

«Сплетница», где Дельвиг, Киреевский и Пушкин были изображены в виде содержательниц модных лавок. «Александра Сергеевна прежде действительно была из лучших мастериц в своем роде, но, начав лениться, стала рукодельничать плохо, думая, что покупатели не разглядят истинного достоинства ее работы». Это касалось VII главы Онегина. Цензор Сербинович возмутился и предложил комитету запретить печатать вторую часть «Сплетницы», еще более грубую, где были насмешки над африканским происхождением Пушкина*. Комитет его предложения не поддержал. Такая подошла полоса, что популярность — тогда говорили народность — временно отхлынула от Пушкина. По Москве ходила эпиграмма:

И Пушкин стал уж скучен,
И Пушкин надоел,
И стих его не звучен,
И гений отлетел.
Бориса Годунова
Он выпустил в народ,
Убогая обнова,
Увы, на Новый год.

Пушкин поставил себе за правило не отвечать критикам. Но временами не мог удержаться от косвенного ответа то в стихах, то в прозе. В его бумагах сохранился набросок статьи о Баратынском, сделанный тоже, вероятно, в 1830—1831 годах. В ней слышится оценка и его собственного положения: «Понятия и чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому, молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически... Но лета идут — юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются — Песни его уже не те — А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. — Поэт отделяется от них, и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит — для самого себя...»

Приблизительно в то же время написал он стихи, которые сначала назывались «Награды»:

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

(1830)

---

*К. С. Сербинович (1796—1874) был «всесторонним цензором» Петербургского цензурного комитета с августа 1826-го по июль 1830 года.

Несмотря на вспыльчивый характер и страстный ум, Пушкин рано научился сносить неодобрительные оценки. Но иногда в письмах к друзьям ворчал: «Меня 10 лет хвалили Бог весть за что и разругали за Годунова и Полтаву». Это писал он Погодину, а Элизе Хитрово, по поводу «Годунова», писал: «Когда я его писал, я не рассчитывал на успех... То, что есть в нем хорошего, написано не для того, чтобы поразить почтенную публику (то есть чернь, которая нас судит), а основательно раскритиковать меня так легко, что я думал порадовать дураков, которые могли бы позубоскалить на мой счет» *(февраль 1831 г.)*.

Когда в «Атенее» был напечатан нелестный и нелепый отзыв на IV и V главы «Евгения Онегина», Пушкин вскипел и на клочке синей бумаги написал колючий ответ. Тщетно Полевой выпрашивал у него эту бумажку, просил разрешения напечатать заметку.

«Я это написал себе на утеху, — сказал ему Пушкин. — Никогда, ни на одну критику моих сочинений я не возражал печатно».

«Ах, какую рецензию написал бы я на своих «Цыган», — говорил Пушкин Погодину, который, приводя эти слова, прибавил: «Он видно досадовал, что читатели его не понимают, а он сам не может раскрыть им свои цели!»

Даже критические статьи Вяземского не всегда удовлетворяли его. Вяземский, перепечатывая, полвека спустя, в 1875 году, свою статью о «Цыганах», сделал к ней такую приписку: «Пушкин был особенно недоволен замечанием моим о стихах «медленно скатился и с камня на траву свалился». Но Пушкин ничего не сказал, даже поблагодарил за статью. Отношения остались дружественными. Но Пушкин не был забывчив. «В то самое время, когда между нами все обстояло благополучно, Пушкин однажды спрашивает меня в упор: «Можешь ли ты напечатать «О чем, прозаик, ты хлопочешь?»?» Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу с ее стороны никакого препятствия. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краскою, обычной в нем приметы какого-нибудь смущения или внутреннего сознания в неловкости своего положения». Только тогда догадался Вяземский, что эпиграмма метила в него.

Критика Вяземского была критикой умного друга, человека одного с ним уровня. Совсем иначе относился Пушкин к нападкам тех, кого он называл «писаки русские». Самым из них злостным был Фаддей Булгарин. В конце 1829 года Пушкин и его друзья, через арзамасцев Блудова и Дашкова, узнали, что редактор «Северной Пчелы» находится на службе тайной полиции, что он доставляет шефу жандармов сведения

о политических настроениях литераторов. От него же брал Бенкендорф и готовые суждения о литературе. Булгарин своим привилегированным положением пользовался очень цинично, в критике был пристрастен и груб до наглости, одно время даже по отношению к Пушкину. Начал он с восторженных о нем статей. Потом писал пасквили на него. Затем опять перешел к статьям хвалебным. В «Письмах о русской литературе» Булгарин в 1833 году писал: «Пушкин заговорил новым языком, представил поэзию в новых формах, возбудил новые ощущения и новые мысли. Он истинный гений, столь же великий, как и его заслуги... Место Пушкина первое между нашими поэтами и не последнее в небольшом кругу поэтов всемирных... Хотя некоторые из недальновидных критиков и недоброжелателей Пушкина уже провозгласили совершенный упадок его дарования».

Он написал это, когда Пушкин уже был в милости, а за три года перед тем Булгарин и сам был среди этих «некоторых». Он не критиковал, он просто поносил Пушкина, осыпал его в печати грубыми насмешками. Пушкин иногда бесился, чаще смеялся, отвечал эпиграммами, которые всеми подхватывались, повторялись:

> Не то беда, что ты поляк:
> Костюшко лях, Мицкевич лях!
> Пожалуй, будь себе татарин, —
> И тут не вижу я стыда;
> Будь жид — и это не беда;
> Беда, что ты Видок Фиглярин.
> *(Февраль 1833 г.)*

Писатели не знали, что Николай по-своему отзывался на эти литературные бои. В 1830 году Загоскин выпустил роман «Юрий Милославский», который имел большой успех. Но имели успех и исторические романы Булгарина, тяжеловесные, дубовые. Он захотел сбить конкурента и напечатал в «Северной Пчеле» очень резкий отзыв о «Юрии Милославском». У Загоскина нашелся неожиданный заступник — Николай I. Роман ему понравился, а критика Булгарина настолько не понравилась, что он приказал Бенкендорфу сделать за нее Булгарину выговор. Пушкин, не подозревавший, что у Загоскина завелся такой высокий читатель и поклонник, поместил в «Литературной Газете» *(21 января)* хвалебный отзыв на «Юрия Милославского». На эту статью Булгарин немедленно ответил в печати, да так грубо, что Царь приказал обоих редакторов «Северной Пчелы», Булгарина и Греча, посадить под арест. Пушкин и его друзья потешались над тем, что агента тайной полиции отправили на гауптвахту. Их шутки доходили до Булгарина. А тут еще в марте в «Литера-

турной Газете» появилась ядовитая критика Дельвига на новый роман Булгарина «Дмитрий Самозванец». Булгарин обозлился, решил, что писал ее Пушкин, и через несколько дней напечатал в «Северной Пчеле» «Письмо из Карповки на Каменный Остров» о каком-то стихотворце, «который долго морочил публику, передразнивая Байрона и Шиллера, наконец, упал в общем мнении... Этот стихотворец служит более усердно Бахусу и Плутусу, чем Музам... в своих стихах он не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины. Он бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволили ему нарядиться в шитый кафтан».

Несколько дней спустя Булгарин напечатал в «Северной Пчеле» критику на седьмую главу «Онегина», где заявил, что Пушкин его, Булгарина, обокрал. Когда эта наглая статья появилась, Николай I написал Бенкендорфу: «В сегодняшнем номере «Пчелы» находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья против Пушкина. Предлагаю Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения, если возможно, запретить журнал» *(22 марта 1830 г.)*.

Бенкендорф с большой легкостью закрывал журналы, а на этот раз заступился за редактора. Чтобы оправдать Булгарина в глазах Царя, он послал ему критику Дельвига на «Дмитрия Самозванца» с почтительным указанием, что если бы «Государь прочел это сочинение, он нашел бы в нем много интересного и в особенности монархического». На это Царь ему ответил: «Я внимательно прочел критику на Самозванца и должен Вам сознаться, про себя, или в себе, размышляю точно так».

Дельвиг так и умер, не узнав, что Царь его статью прочел и одобрил. А это доставило бы ему большое удовлетворение. Он любил называть себя — я верноподданный моего Государя. В свою очередь, и Николай не знал, как был ему предан этот писатель, которого благодаря его дружбе с Пушкиным считали опасным либералом.

Бенкендорф своего агента от царской немилости оградил, но Булгарин свою злобу сорвал на Пушкине. 7 августа в «Северной Пчеле» появилось «Второе письмо с Карповки на Каменный Остров», еще более гнусное:

«Лордство Байрона и аристократические его выходки при образе мыслей Бог знает каком, свели с ума множество поэтов и стихотворцев в разных странах, и все они заговорили о пятисотлетнем дворянстве. Какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя от мулата или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из его

предков был негритянский принц. В ратуше города доискались, что в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра, которого каждый из них хотел присвоить, и что шкипер доказывал, что купил негра за бутылку рома. Думали ли тогда, что в родстве к этому негру признается стихотворец».

Выходка Булгарина задевала не столько литературное самолюбие Пушкина, сколько чувство рода, очень в нем сильное. Пушкин находил, что не помнят своего прошлого только дикари. Сам он гордился своими предками, не смущаясь тем, что друзья и недруги обвиняли его в подражании Байрону, в мелком чванстве, читали ему уроки демократизма. Рылеев с ним спорил, ворчал на него знатный барин Вяземский. Но Пушкин, покладистый в жизни, был в мыслях упрям. Оставаясь до конца жизни либералом, он в разговорах, в прозе, в стихах отстаивал свое право на живую семейственную связь с прошлым. Среди его черновиков есть отрывок романа, начатого в 1832 или 1833 году.

«Мы так положительны, что стоим на коленях перед настоящим случаем и успехом, но у нас нет очарования древностию, благодарности к прошедшему и уважения к нравственному достоинству. Прошедшее для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу историю, но едва ли мы вслушались. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности».

Ощущение рода было глубоко заложено в его крови. Выражал он его не раз в прозе, чаще в стихах:

Могучих предков правнук бедный,
Люблю встречать их имена
В двух, трех строках Карамзина.
От этой слабости безвредной,
Как ни старался, — видит Бог!
Отвыкнуть я никак не мог.

Когда Булгарин лягнул его темнокожих предков, Пушкин хотел ответить ему статьей в «Литературной Газете». Сразу написать не собрался. Он был в Москве, был занят невестой. Где тут полемизировать, да еще с Булгариным. В Болдине, в старой вотчине Пушкиных, оглянувшись на длинный ряд предков, он написал — «Моя родословная, или Русский мещанин. Вольное подражание лорду Байрону». Уже само заглавие показывает, что это прямой ответ Булгарину, который писал в «Северной Пчеле»: «Шестисотлетние дворяне не что иное, как мещане в дворянстве». Вот как ответил на это Пушкин:

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские, толпой,
Меня зовут аристократом.
Смотри пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не Академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Он высмеивает новую знать, вышедшую из временщиков XVIII века, потом в быстрых характеристиках отмечает заслуги своих предков, начиная с Радши, который «службой бранной святому Невскому служил», и кончая дедом — «когда мятеж поднялся средь петергофского двора, как Миних, верен оставался паденью Третьего Петра». И закончил горделивыми словами:

Под гербовой моей печатью
Я свиток грамот схоронил,
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я просто Пушкин — не Мусин,
Я не богач, не царедворец:
Я сам большой, я мещанин.

Покончив с родом Пушкиных, он обернулся к своему африканскому прадеду и в его защиту написал несколько стремительных строчек, которые летят, как стрелы:

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

(1830)

Это, как и «Медный всадник», один из редких в мировой литературе образцов полемики, облеченной в стихи музыкальные, запоминающиеся как мелодия, и в то же время властные. Пушкин одной строчкой определяет историческую эпоху или характер: «Его потомство гнев венчанный, Иван Четвертый, пощадил... С Петром мой пращур не поладил и был за то повешен им... Его пример будь нам наукой: не любит споров властелин...» В «Моей родословной», как в «Вельможе» и в «Пире Петра Великого», историческая лирика смягчена своеобразным юмором. Белинский не разделял взглядов и чувств Пушкина, высказанных в «Моей родословной», считал их устарелыми, аристократическими предрассудками,

но признавался, что «поэма написана стихами до того прекрасными, что нет никакой возможности противиться их обаянию, несмотря на их содержание».

Самому Пушкину эти стихи очень нравились. Сын Вяземского, князь Павел Петрович, рассказывает, что в Остафьеве, куда Пушкин заехал из Болдина, «во время вечернего чая он расхаживал по комнатам, не то плавая, не то как бы катаясь на коньках, и, потирая руки, декламировал «Я мещанин»: «Я просто русский мещанин».

П. А. Вяземский, отец, уговаривал Пушкина этих стихов не печатать, так как в них есть насмешки над новоиспеченными дворянами XVIII века, от которых он наживет новых врагов. Дельвиг тоже был против печатанья «Моей родословной» в «Литературной Газете». Такого же мнения оказался и Николай. Когда Пушкин представил на его цензуру эти стихи, Царь через Бенкендорфа передал ему: «Вы можете от меня сказать Пушкину, что я совершенно согласен с мнением его покойного друга Дельвига: такие низкие и подлые оскорбления, которыми его угостили, обесчещивают не того, к кому они относятся, а того, кто их произносит. Единственное оружие против них — презрение. Вот как бы я на его месте к этому отнесся. В сатирических стихах Пушкина я нахожу остроумие, но еще больше желчи. Для чести его пера, и в особенности для чести его рассудка, лучше было бы не распространять их» *(10 декабря 1831 г.)*.

«Моя родословная» не была напечатана при жизни Пушкина. Но нападки Булгарина обострили в нем желание иметь свою газету. Пока выходила «Литературная Газета», Пушкин в ней мог высмеивать Булгарина. Свою юмористическую прозу он подписывал псевдонимом — Феофилакт Косичкин. С закрытием газеты Дельвига Феофилакту Косичкину негде было печататься. Тщетно старались писатели получить разрешение издавать журнал. Им или отказывали, или журнал быстро закрывался. Так было с Дельвигом, год спустя с Киреевским и его журналом «Европеец». Все же Пушкин весной 1831 года завел переписку в газете с фон Фоком, помощником Бенкендорфа. Из этого ничего не вышло, но в архивах Третьего отделения сохранилась недатированная записка Пушкина, начинавшаяся словами: «10 лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности: читателей было еще мало. Благодаря новому закону о литературной собственности и цензурному уставу литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, т. е. *торговое*».

Писательство как профессия, промысел, от которого можно жить, — это была по тогдашнему времени мысль новая. Пушкин в другой записке говорит: «Литературная торговля находится в руках издателей *Северной Пчелы*, и критика, как и политика, сделалась их монополией... Для восстановления равновесия в литературе нам необходим журнал, коего средства могли бы равняться средствам *Северной Пчелы*, т. е. журнал, в коем печатались бы политические и заграничные новости». И тут же определяет он свое место среди русских писателей: «Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного Государя я имел на сословие литераторов гораздо более влияния, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств» *(27 мая 1831 г.)*.

Правильная оценка, но вряд ли она понравилась правительству. Во всяком случае, просьба Пушкина была отклонена.

А И. В. Киреевскому разрешили издавать двухнедельный журнал «Европеец», посвященный науке, философии и литературе, главным образом европейской, но без политического отдела. Киреевский был очень увлечен новым делом и писал Пушкину: «Вчера получил я разрешение издавать с будущего 1832 г. журнал и спешу рекомендовать Вам его, как рекрута, который горит нетерпением служить и воевать под Вашим предводительством; как девушку, еще невинную, которая хочет принадлежать Вам душой и телом; как духовную особу, которая просит утвердить ее в чине пастыря над стадом словесных животных». Киреевский поясняет, что статьи должны больше относиться к Европе, чем к России, «однако если когда-нибудь Феофилакт Косичкин захочет сделать честь моему журналу, высечь в нем Булгарина, то разумеется в этом случае Булгарин будет Европа, в полном смысле» *(октябрь 1831 г.)*.

Пушкин ответил через Н. М. Языкова, с приветливостью, которую он всегда проявлял к писателям своего лагеря: «Поздравляю всю братию с рождением Европейца. Готов с моей стороны служить Вам чем угодно, прозой и стихами, по совести и против совести» *(18 ноября 1831 г.)*. Получив первый номер, он писал редактору: «Кажется Европеец первый соединит дельность с заманчивостию... Избегайте ученых терминов, и старайтесь их переводить, то есть перефразировать: это будет и приятно неучам, и полезно нашему младенствующему языку» *(4 января 1832 г.)*.

«Европеец» просуществовал очень недолго. На втором номере его закрыли. «Я прекратил переписку мою с Вами, — писал Пушкин Киреевскому, — опасаясь навлечь на Вас лишнее неудовольствие или напрасное подозрение, несмотря

на мое убеждение, что уголь сажею не может замараться... Переписка с Вами была бы мне столь же приятна, как дружество Ваше для меня лестно» *(11 июля 1832 г.)*.

Закрытие «Европейца» произвело очень тяжелое впечатление. Цензор Никитенко записал в своем дневнике: «Вечер провел у Плетнева. Там застал Пушкина. «Европейца» запретили. Тьфу! Да что же наконец мы будем делать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно» *(10 февраля 1832 г.)*.

Вяземский писал И. И. Дмитриеву: «Известно, что в числе коренных государственных узаконений наших есть и то, хотя необъявленное Правительственным Сенатом, что никто не может в России издавать политическую газету, кроме Греча и Булгарина. Они люди достойные доверенности правительства; все прочие, кроме единого Полевого, злоумышленники. Вы, вероятно, пожалели о прекращении «Европейца»... Все усилия благонамеренных и здравомыслящих людей, желающих доказать, что в книжке «Европейца» нет ничего революционного, остались тщетны... — В напечатанном, конечно, нет, но надо уметь читать то, что не напечатано, и вы тогда увидите злые умыслы и революцию как на ладони» *(13 апреля 1832 г.)*.

Последняя фраза передает слова Бенкендорфа, сказанные Жуковскому. Против жандармского чтения между строк у писателей защиты не было. Как раз в это же время Пушкину пришлось объясняться с Бенкендорфом из-за «Анчара». Стихи были пропущены цензурой и напечатаны, но шеф жандармов увидал в них «политическое подразумение» и потребовал от Пушкина объяснения. Сохранился черновик Пушкинского ответа, где он писал: «Обвинения в применении и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом *ДЕРЕВО* будут подразумевать конституцию, а под словом *СТРЕЛА* самодержавие» *(24 февраля 1832 г.)*.

Сначала Пушкин объяснил закрытие «Европейца» как недоразумение, как произвол чиновников, о котором необходимо уведомить Царя. Как при жизни Дельвига он настаивал, что Дельвиг может и должен заставить правительство себя выслушать, так теперь он воображал, что Киреевский может добиться пересмотра решения. Пушкин писал И. И. Дмитриеву: «Вероятно Вы изволите уже знать, что журнал Европеец запрещен вследствие доноса. Киреевский, добрый и скромный Киреевский, представлен правительству сорванцом и якобинцем! Все здесь надеются, что он оправдается и что клеветники — или по крайней мере клевета — устыдится и будет изобличена» *(14 февраля 1832 г.)*.

Киреевскому он писал: «Вы одни не действовали, и Вы в этом случае кругом неправы. Как гражданин лишены Вы

правительством одного из прав всех его подданных; Вы должны были оправдаться из уважения к себе, и, смею сказать, из уважения к Государю: ибо нападения его не суть нападения Полевого или Надеждина» *(11 июля 1832 г.)*.

Удивительно, как долго держался он за эту иллюзию, хотя неудачное заступничество Жуковского ясно показало, что запрет обрушился не случайно и шел сверху. Жуковский, по придворному своему положению и по свойствам характера, предпочитал держаться в стороне от Бенкендорфа. Но он был дружен с матерью Киреевского, А. П. Елагиной, сына ее знал с детства и попробовал убедить шефа жандармов, что никаких злых умыслов у Киреевского не было: «Клевета искусна, — писал Жуковский Бенкендорфу, — издалека наготовит она столько обвинений против беспечного, честного человека, что он вдруг явится в самом черном виде и, со всех сторон запутанный, не найдет слов для оправдания. Не имея возможности указать на поступки, обвиняют тайные намерения. Такое обвинение легко, и оправдания против него быть не может... Киреевский — молодой человек, чистый совершенно, берется за перо и хочет быть автором в благородном значении этого слова. И в первых его строках находят *злое намерение*. Кто прочтет эти строки без предубеждения против автора, тот, конечно, не найдет в них сего тайного злого намерения. Но уже этот автор представлен Вам как человек безнравственный, и он, неизвестный лично Вам, не имеет средства сказать никому ни одного слова в свое оправдание. На что же может служить непорочная жизнь, если она в минуту может быть опрокинута клеветой?» *(без даты)*.

Жуковский этим не ограничился, пошел дальше, пробовал объяснить самому Царю, что Киреевский человек порядочный, за которого он ручается.

— А за тебя кто поручится? — угрюмо ответил Николай.

Жуковский был этими словами так оскорблен, что сказался больным, две недели не давал наследнику уроков. Если Царь не доверял воспитателю своего сына, близкому царской семье, бесконечно ей преданному, можно себе представить, с какой подозрительностью самодержец относился к Пушкину, духовную связь которого с декабристами он никогда не мог забыть. Пушкин, сам детски незлопамятный, долго этого не понимал. Может быть, так и умер, не зная, как к нему относился Николай.

В год закрытия «Европейца» Пушкин был так уверен, что получит разрешение на журнал, что уже начал собирать для него материалы. Вяземский сообщал об этом Дмитриеву в своем обычном шутливом тоне: «Посылаю Вам поэта Пуш-

кина и будущего газетчика. Благословите его на новое поприще. Авось с легкой руки Вашей одержит он победу над вратами ада, т. е. «Телеграфа», зажмет рот «Пчеле» и прочистит окна «Телескопу»... Новостей у нас в Петербурге нет. Царь и Пушкин у Вас, политика и литература воцаренная. Теперь Петербург упраздненный город» *(17 сентября 1832 г.)*.

Пушкин несомненно занимал царственное место. Слава его была всеми признана. Но материальное его положение становилось безвыходным, и это снова и снова толкало его на мысли о журнале. Личные потребности у него были крайне скромные. Женившись, он отказался от карт, от вина, от разъездов, от всего, на что беспечно летели деньги во время холостой жизни. В лохмотьях, конечно, не ходил, но на его, далеко не новой, бекеше долго не хватало на спине пуговиц, и никто из домашних не позаботился их пришить. Единственная привычка, от которой он до конца жизни не отказался, были книги. У него накопилась настолько большая библиотека, что когда в 1900 году Б. Модзалевский по поручению академии принял ее от Пушкина-сына, в ней, несмотря на всю неряшливость и небрежность наследников, все еще оставалось 35 ящиков книг. Б. Модзалевский насчитал 1522 номера. Из них 444 по-русски, 1000 на иностранных языках, остальное журналы. Были у Пушкина книги французские, английские, итальянские, немецкие, польские, латинские. Была даже грамматика древнееврейского языка, составленная англичанином Hurwitz*. Были книги по истории церкви, по богослужению, философии, по литературе, письмовники, гербовники, даже поваренные книги. Были классики, больше во французских переводах — Тит Ливий, Тацит, Светоний, Саллюстий, Сенека, Овидий, Лукреций, Юлий Цезарь, Гораций, Цицерон. Конечно, Байрон в нескольких изданиях, по-французски и по-английски. Было шесть изданий Данте, два в подлиннике, четыре по-французски. Даже совершенно разоренный непосильными семейными расходами Пушкин не мог устоять перед книгами, хотя бы и дорогими. В 1835 году он купил у книгопродавца Белизара книг на 2639 рублей. На следующий год опять на полторы с лишним тысячи. Из них одна история итальянских республик стоила 145 рублей. За «Теорию вероятности» Лапласа он дал 35 рублей, за «Фантастические рассказы» Гофмана — 56. Сказать, что он их дал, это не совсем точно. В последние годы книги брались на счет, попросту говоря, в долг. На последнем счете Белизара Пушкин написал, что обязуется 10 января 1837 года заплатить 700 руб-

---

* Гурвицем.

лей, остальные отдать 1 сентября того же года. На самом деле за две недели до смерти он внес половину обещанного — 350 рублей. Остальные заплатила уже опека. Но сравнительно с другими долгами книжные были уже не так велики.

До женитьбы Пушкин деньгам придавал мало значения. В ранней молодости часто сидел без копейки. Бывало трудно, но одна голова не бедна. Ему было 24 года, когда «Бахчисарайский фонтан» принес ему первые денежные успехи, и с тех пор деньги легко приходили и уходили. Он тратил их не задумываясь. На третий год женитьбы писал он жене: «Я деньги мало люблю — но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости». Он с ужасом чувствовал, что его независимость умаляется по мере того, как растут его долги. Ему казалось, что журнал обеспечит верный доход, даст возможность исполнить долг по отношению к семье и к читателям. Он понимал, что журнал — это большая обуза и, не получая разрешения его издавать, испытывал даже некоторое облегчение, что миновала его эта поденщина. Потом опять безденежье толкало на мысль о доходном издании. Сохранился писанный его рукой, разграфленный, с подзаголовками, точно готовый для типографии, пробный лист политической и литературной газеты «Дневник», помеченный 1 января 1833 года. Ничего из этих мечтаний не вышло, кроме оживленных толков среди московских и петербургских писателей.

А жизнь с каждым годом, с каждым балом становилась все дороже, все труднее ему было оберегать себя, создавать себе такую обстановку, в которой можно творить, работать. «Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен», — писал он осенью 1835 года Плетневу из Михайловского, куда уехал в надежде расписаться. Это было после новой, опять неудавшейся попытки вырваться из паутины. Снова просил он у Царя разрешения уехать на несколько лет в деревню, в отпуск. Просьба, как всегда, была адресована Бенкендорфу и писана по-французски. Трудно понять, чем руководствовался Пушкин, выбирая тот или другой язык, но письма более значительные он писал шефу жандармов не по-русски, точно думал, что по-французски Царь, до которого эти письма доходили, лучше поймет.

«У меня нет никакого состояния, — писал Пушкин, — ни я, ни жена еще не выделены. У меня есть только то, что я зарабатываю. Мой единственный определенный доход — это жалованье, которое Государю угодно было назначить. Для меня, конечно, нет ничего унизительного в том, чтобы работать для заработка. Но я привык к независимости, писать для денег для меня просто невозможно. Одна мысль об этом

может довести меня до подражания. Жизнь в Петербурге страшно дорога... Мне необходимо сразу остановить расходы, которые вынуждают меня делать долги, а в будущем грозят беспокойствами и затруднениями, может быть, даже нищетой и отчаянием. Прожив три, четыре года в деревне, я опять смогу вернуться в Петербург и продолжать труд, милостиво предоставленный мне Государем» *(1 июня 1835 г.)*.

Царь опять не разрешил ему уехать в деревню. Узнав об этом, Пушкин написал Бенкендорфу: «Предаю совершенно судьбу мою в царскую волю».

Больше ему ничего не оставалось делать. Но он был писатель и испытывал облегчение, если мог выразить в слове свои переживания, хотя бы самые неприятные. Год спустя, в заметке о письмах Вольтера, он писал:

«Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы». Он удивляется: «Что влекло его в Берлин? Зачем было ему променивать свою независимость на милости Государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить».

Была еще одна возможность выпутаться из долгов. Пушкин мог, оставаясь в Петербурге, переехать в небольшую квартиру, не держать экипажа, распустить лишнюю прислугу, зажить простой, замкнутой, семейной жизнью, без лишений, но и без светского блеска. На это у Пушкина не хватило духу. У этого храбреца не хватило мужества предложить Наталье Николаевне отказаться от тех удовольствий, которыми он сам ее окружил. У мужей, даже когда они бесконечно выше толпы, есть свое тщеславие и свое малодушие.

Пришлось опять просить денег взаймы. Царь уже раз дал ему 20 000 рублей на издание Пугачева. Теперь Пушкин просил денег на уплату долгов.

«За пять последних лет жизни в Петербурге я накопил около 60 000 руб. долгу, — писал Пушкин Бенкендорфу по-французски. — Кроме того, мне пришлось взять на себя денежные дела моей семьи, что усилило мои затруднения и вынудило меня отказаться от наследства; единственный способ устроить мои дела было бы уехать в деревню или занять большую сумму денег. Последнее почти невозможно в России, где закон не достаточно обеспечивает заимодавца и где займы почти всегда приходится делать через друзей и на слово» *(22 июля 1835 г.)*.

В черновике было сказано иначе: «За четыре года моей женатой жизни я накопил 60 000 р. долгу...» Он переделал это на пять лет, чтобы не было подозрения, что он в чем-то упрекает жену.

Государь велел выдать ему 10 000. Это не было выходом.

Пришлось торговаться. Черновики Пушкина показывают, чего стоила ему противная, мучительная переписка об этих деньгах с шефом жандармов и с министром финансов, графом Канкриным. Министру Пушкин писал:

«Вследствие домашних обстоятельств принужден я был проситься в отставку, дабы ехать в деревню на несколько лет. Государь Император весьма милостиво изволил сказать, что он не хочет отрывать меня от моих исторических трудов, и приказал выдать мне 10 000 рублей, как вспоможение. Этой суммы недостаточно было для поправления моего состояния. Оставшись в Петербурге, я должен был или час от часу более запутывать мои дела, или прибегать к вспоможениям и милостям, средству, к которому я не привык, ибо до сих пор был я, слава Богу, независим и жил своими трудами.

Итак, осмелился я просить Его Величество о двух милостях: 1) о выдаче мне, *вместо вспоможения, взаймы 30 000 рублей, нужных мне в обрез*, для уплаты необходимой, 2) о удержании моего жалования до уплаты сей суммы. Государю угодно было согласиться на то и на другое» *(6 сентября 1835 г.)*.

Новая ссуда увеличивала обязательства, усиливала денежную зависимость от правительства, но уверенности в завтрашнем дне не давала. По-прежнему самым надежным источником дохода оставались рукописи. Но для работы нужна была такая обстановка, которой Пушкин создать себе никак не мог. Он уехал в Михайловское, надеясь, что там будет писать. Заботы гнались за ним. Он писал жене:

«Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполовину промотал; ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает. Покаместь грустно. Поцелуй-ка меня, авось горе пройдет. Да лих, губки твои на 400 верст не оттянешь. Сиди да горюй — что прикажешь!» *(21 сентября 1835 г.)*.

Опять, как за два года перед тем в Болдине, Наталья Николаевна перебивала ему настроение. На этот раз она не дразнила, она просто не писала. Ее молчание его тревожило, ему было скучно.

«Пишу тебе из Тригорского. Что это, женка? вот уже 25-ое, а я все от тебя не имею ни строчки. Это меня сердит и

беспокоит. Куда адресуешь ты свои письма? Пиши *Во Псков,* ее высокородию Пр<асковье> Ал<ександровне> Осиповой для доставления А. С. П., известному сочинителю, — вот и все. Так вернее дойдут до меня твои письма, без которых я совершенно дурею. Здорова ли ты, душа моя? и что мои ребятишки? Что дом наш, и как ты им управляешь? Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а все потому, что не спокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был. Все это не беда. Одна беда: не замечай ты, мой друг, того, что я слишком замечаю» *(25 сентября 1835 г.).*

На следующий день он написал: «Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел отшельником два года незаметных». Это, кажется, единственный случай, когда письмо Пушкина к жене как-то переплелось со стихами. От нее наконец пришло два письма сразу.

«Как твой адрес глуп так это объядение! В Псковскую губернию, в село Михайловское. Ах ты, моя голубушка! а в какой уезд и не сказано. Да и Михайловских сел, чаю, не одно; а хоть и одно, так кто ж его знает. Экая ветреница! Ты видишь, что я все ворчу: да что делать? нечему радоваться». И в том же письме: «Канкрин шутит — а мне не до шуток. Государь обещал мне *Газету,* а там запретил; заставляет меня жить в ПБ, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошки деньги трудовые, и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета; твои теряют свое, от глупости и беспечности покойника Аф. Ник. Что из этого будет? Господь ведает» *(конец сентября 1835 г.).*

Наталья Николаевна по-прежнему ревновала его, сердитый топот ее ножек был слышен даже в тех редких письмах, которые она ему посылала по такому смутному адресу. Пушкин, в ответ на одну из таких вспышек, написал:

«Милая моя женка, есть у нас здесь кобылка, которая ходит и в упряже и под верьхом. Всем хороша, но чуть пугнет ее что на дороге, как она закусит поводья, да и несет верст

десять по кочкам да оврагам — и тут уж ничем ее не проймешь, пока не устанет сама.

Получил я, ангел кротости и красоты! письмо твое, где изволишь ты, закусив поводья, лягаться милыми и стройными копытцами, подкованными у М-me Katherine. Надеюсь, что теперь ты устала и присмирела. Жду от тебя писем порядочных, где бы я слышал тебя и твой голос, а не брань, мною вовсе не заслуженную, ибо я веду себя как красная девица. Со вчерашнего дня начал я писать (чтобы не сглазить только). Погода у нас портится, кажется, осень наступает не на шутку. Авось распишусь... Я смотрю в окошко и думаю: не худо бы если вдруг въехала во двор карета — а в карете сидела бы Нат. Ник.! Да нет, мой друг. Сиди себе в ПБ, а я постараюсь уж поторопиться, и приехать к тебе прежде сроку» *(2 октября 1835 г.)*.

Расписаться ему так и не удалось. Осень в Михайловском оказалась бесплодной, а счета сыпались дождем. Еще летом подавал он просьбу о журнале, напоминая, что за три года перед тем Царь дал свое согласие. В черновике прошения, писанном по-французски, Пушкин откровенно изложил Бенкендорфу свое отношение к журнальной работе:

«Это не мое ремесло, и оно мне во многих отношениях противно, но обстоятельства вынуждают меня прибегнуть к этому средству, без которого до сих пор я умел обходиться. Журнал даст мне возможность остаться в Петербурге и исполнять обязательства, для меня священные. Поэтому я хотел бы издавать газету на манер «Северной Пчелы», а что касается длинных критических статей, рассказов, повестей и стихов, не вмещающихся в фельетоны, я хотел бы их издавать отдельно, выпуская одну книгу каждые три месяца на манер английских журналов» *(июль 1835 г.)*.

Он поступил неосторожно, упомянув, кроме газеты, о толстом журнале. Ему, главное, хотелось получить разрешение на газету, перебить вредную монополию ежедневной «Северной Пчелы», а ему разрешили только издавать толстый журнал, «Современник», четыре номера в год. Это было совершенно недостаточно и в денежном отношении, и для борьбы за литературные ценности. Но выбора не было. Жизнь так прижала, что надо было брать, что дают. В 1836 году Пушкин начал издавать «Современник». Вспоминая об этой полосе жизни поэта, Вяземский писал: «Пушкин одно время, очень непродолжительное, был журналистом. Но журнальное дело не было его делом. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что

найдет их в журнале. Он обчелся и в литературном, и в денежном отношении. Пушкин тогда уже не был повелителем и кумиром 20-х годов. По мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своего он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и критику».

С тяжелым сердцем принялся Пушкин за новое ремесло редактора-издателя. Он писал Нащокину в октябре 1835 года:

«Денежные мои обстоятельства плохи — я принужден был приняться за журнал. Не ведаю, как еще пойдет. Смирдин уже предлагает мне 15 000, чтоб я от своего предприятия отступился, и стал бы снова сотрудником его Библиотеки. Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура, что с ними связываться невозможно».

Он воображал, что журнал принесет ему 30—40 тысяч рублей в год. На самом деле заработал он очень мало, но «Современник» поглотил все его время, все его силы. А это был последний год его жизни. У него не было помощника, он все вел сам — и редакторскую и издательскую часть. Писатели смотрели на его журнал, как на общее дело, всем близкое, считали за честь сотрудничать у Пушкина. Даже ленивый Жуковский в ноябре озабоченно писал: «Мне, тебе и Вяземскому надобно собраться у меня и побеседовать о плане журнала, который непременно надо написать на этой неделе». Но воз тащить пришлось Пушкину. Он никогда не был белоручкой и в единственный год своей редакторской работы это лишний раз подтвердил. Он сам вел переписку с сотрудниками, давал темы, собирал статьи, писал заметки и рецензии, держал корректуры, возился с типографией, со счетами, с распространением. Даже жене давал в письмах деловые поручения — какие рукописи послать в печать, какие в цензуру, что сказать Гоголю. Хотя раньше с ласковой насмешкой писал ей: «Какие же вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах, и помогаете мужьям мотать. И за то спасибо» *(июль 1834 г.)*. Он никогда не говорил — ты промотаешь, — всегда брал часть вины на себя — мы промотаем. Он не корил жену, но и не скрывал от нее, что расходы их растут гораздо стремительнее, чем доходы. Судя по некоторым фразам в письмах Пушкина, Наталья Николаевна, как это нередко бывает с безответственными женщинами, считала себя очень практичной, а мужа не деловым. Стихами его она по-прежнему не интересовалась, но следила за тем, сколько ему за них платят, гневалась, что он не умеет требовать более высоких гонораров, иногда вмешивалась в его переговоры с книгопродавцами. Из Москвы, где Пушкин собирал статьи

для «Современника», сговаривался с книжными лавками об его распространении, он писал жене:

«Боюсь, чтобы книгопродавцы не воспользовались моим мягкосердием и не выпросили себе уступки вопреки строгих твоих предписаний. Но постараюсь оказать благородную твердость» *(11 мая 1836 г.)*.

С обычной своей энергией и добросовестностью в работе впрягся Пушкин в эту новую для него деятельность. Трудности вставали на каждом шагу. Тени журналов, безвременно загубленных правительством, смущали. Старый враг, цензура, получила над ним еще большие права. Теперь уже не только как поэт, но и как редактор чувствовал он тяжелую подозрительность властей, ждал выговоров, которыми и без того уже десять лет угощал его шеф жандармов. Новая, горькая тревога слышится в его письмах жене. В мае поехал он по делам «Современника» в Москву и очень беспокоился о Наталье Николаевне, так как подходило время ее четвертых родов.

«Что твое брюхо, и что твои деньги? — писал он ей. — Я не раскаиваюсь в моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербурге. На даче ли ты? Как ты с хозяином управилась? что дети? Экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 000 доходу. И буду их иметь. Не даром же пустился в журнальную спекуляцию — а ведь это все равно, что золотарьство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова: очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди, что... Чорт их побери! У меня кровь в желчь превращается. Целую тебя и детей. Благословляю их и тебя» *(5 мая 1836 г.)*.

В Москве Пушкин познакомился с художником Брюлловым, о котором Нащокин писал ему: «Уж давно, то есть так давно, что даже и не помню, не встречал я такого ловкого, образованного, умного человека, о таланте мне тоже говорить нечего. Известен он всему миру и Риму. Тебя, то есть творения твои, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Очень желает с тобой познакомиться» *(январь 1836 г.)*.

Брюллов и Пушкин сразу сошлись. Брюллов говорил: «Какой счастливец этот Пушкин, так смеется, что все кишки видны». И еще говорил он: «Пушкин как ударит словами, как молнией в кучу лохмотьев, и сразу выжжет из них чистое золото».

Брюллов прожил несколько лет в Италии, где привык к свободной европейской жизни. Он растерялся перед той подавленностью, которую нашел в России. Так не похожа была эта, незнакомая ему, Николаевская Россия на ту Алек-

сандровскую, из которой он юношей уехал в Италию. От Нащокина и Пушкина он не скрывал своих опасений.

«Брюлов сейчас от меня. Едет в ПБ скрепя сердце; боится климата и неволи, — писал Пушкин жене. — Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры и мне говорили: *«Vous avez trompé»**, и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом! Весело, нечего сказать» *(18 мая 1836 г.)*.

Его страхи не оправдались. «Современник» не навлек, не успел навлечь на него новых кар, но жизнь ему засорил мелкими неприятностями и волнениями. Цензурные правила были туманны и растяжимы. Права писателей и редакторов, порядок прохождения рукописей, дозволенные и недозволенные темы и мысли — все было неопределенно. Цензор действовал по своему произволу, а если ошибался, то мог так же, как и автор, попасть на гауптвахту. Все это трепало нервы, создавало технические затруднения в печатанье номера. Еще до «Современника» Пушкин, по поводу своих рукописей, подавал в Главный цензурный комитет, как он насмешливо писал, «Всеуниженное прошение», где сквозь его официальную вежливость явственно сквозят нетерпение и ирония. Он напоминал, что обычно представлял свои рукописи в Третье отделение, получал их оттуда обратно с пометкой *с дозволения правительства* — и отсылал рукопись в типографию. Так издал он в 1827 году «Цыган». Между 1827—1833 годами главы «Онегина». В 1829 году — «Полтаву» и два тома стихов. В 1828 году — «Руслана и Людмилу». В 1834 году — «Пугачевский бунт».

«Теперь попечитель СПБ учебного округа изустно объявил мне, что не может более позволить мне печатать моих сочинений как печатались доселе, то есть за надписью Собственной Его Величества Канцелярии. Принужден утруждать комитет всеуниженным вопросом: какую новую форму соизволит он предписать мне для представления рукописей моих в типографию?» *(28 августа 1835 г.)*.

Год спустя в неоконченном письме к Денису Давыдову, по поводу его статьи о партизанской войне, которую цензор перечеркал красными чернилами, Пушкин сердито писал:

«Цензура дело земское, а опричники руководствуются не

* Вы обманули (доверие) *(фр.)*.

уставом, а своим крайним разумением... Тяжело, нечего сказать... И с одной цензурой напляшешься, каково же зависеть от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны и безответственны, но даже сами по себе следуют духу правительства. Но знаю, что никогда не были они притеснены как нынче, даже и в последнее пятилетие царствования покойного Императора, когда вся литература сделалась рукописной, благодаря Красовскому и Бирюкову. Одно спасение наше, если сам Государь успеет сие прекратить и разрешить, но и...» *(май 1836 г.).*

Бессильное раздражение нарастало в Пушкине. Работа его успокаивала, возвращала ему равновесие, но работа творческая. В ней он мог забыться, мог в нее уйти. Последние его стихотворения, написанные, когда он уже издавал «Современник», показывают, что не иссяк его поэтический дар. Но журналистика съедала его время, отрывала его от настоящей работы. Надо было читать чужие рукописи, самому писать заметки для журнала. В каждой блестит его ум, его неподражаемое уменье пользоваться русским языком. Не будь Пушкин так завален поденной работой, таких страниц было бы больше, у него остался бы досуг для многих художественных замыслов, осуществить которые помешала ему смерть.

Как помешала она ему наладить и литературное хозяйство «Современника». Это нельзя было сделать в один год. Пушкин не успел подобрать сотрудников, перебросить на них хоть часть работы. Ему хотелось привлечь Белинского, которого он знал по его статьям. Он поручил Нащокину подготовить это сотрудничество. Нащокин писал: «Белинский получал от Надеждина, чей журнал уже запрещен, 3 тысячи. — «Наблюдатель» предлагал ему 5. Греч тоже его звал. Теперь, если хочешь, он к твоим услугам. Я его не видал, но его друзья, и в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать» *(октябрь 1836 г.).*

К несчастью русской литературы и России, это сотрудничество не состоялось. Они даже не встретились. Но издали друг друга чувствовали. П. В. Анненков, со слов самого Белинского, сохранил несколько любопытных штрихов.

Пушкин следил за Белинским и говорил, что у него «есть чему поучиться и тем, кого он ругает».

Белинский рассказывал, что «Пушкин посылал к нему тайно книжки своего «Современника» и говорил про Белинского: «Этот чудак почему-то очень меня любит».

Тягостной стороной журналистики было также то, что из-за нее Пушкину приходилось иметь слишком много дела с чиновниками. Их тупой, мелочный, придирчивый форма-

лизм бесил, порой оскорблял Пушкина. Когда он писал Давыдову, что писатели сами по себе следуют духу правительства, он и о себе думал. В самом себе сознавал он то «здравое понимание гражданского долга», которым успел заразить своего случайного знакомца по арзрумскому походу, Юзефовича. От прежних революционных настроений Пушкин далеко отошел. Еще в 1833 году он писал: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».

Вяземский называл Пушкина «либеральным консерватором»: «В Пушкине, — писал он, — глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила — любовь к труду, потребность труда. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. Эта живительная, плодотворная деятельность никогда не могла совершенно онеметь или остыть. Ни года, ни жизнь, с испытаньями своими, не могли бы ее пересилить».

Внутренняя уравновешенность Пушкина росла, углублялась, все яснее проявляясь в его политических взглядах, в его широком патриотическом подходе к истории России, к ее нуждам, причем личные обиды и притеснения на этих взглядах совершенно не отражались. Крайне показательно отношение Пушкина к нашумевшим «Философическим письмам» Чаадаева.

В письме к жене сорвались у Пушкина горькие слова: «Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом». Но когда Чаадаев напечатал в «Телескопе» статью, где сводил на нет всю историю России, объявлял Россию незаконнорожденной, отрицал за ней «нравственное бытие», Пушкин встал на защиту своей страны и своего народа. Чаадаев с почтением говорил о цивилизующем влиянии западного христианства, но не придал никакого значения тому, что Россия была распространительницей христианства в своих огромных, европейских и азиатских, владениях. Чаадаев преклонился перед католичеством, а русского Христа просто не заметил. Теперь, после всех свирепых уроков истории, «Философические письма» поражают предвзятостью рассуждений, слепым преклонением перед Западом. В течение почти столетия руководители русской интеллигенции видели в них образец

исторической и публицистической мудрости. Между тем они дышат таким презрением к России, что их трудно читать без горечи и боли. Не удивительно, что, прочтя их, Пушкин возмутился, а Николай назвал Чаадаева сумасшедшим.

Пушкин сразу набросал ответ, который показывает, как глубоко он разошелся с политическим наставником своей юности. Пушкин напомнил Чаадаеву, что Россия заслонила Европу от азиатских нашествий и тем спасла христианскую цивилизацию. «Я совершенно не согласен с Вами относительно нашего исторического ничтожества... Нашествие татар картина печальная, но и величественная... А Петр Великий, который один целая всемирная история? А Екатерина II, которая привела Россию на порог Европы? А Александр, который Вас привел в Париж? И, положа руку на сердце, не находите ли Вы и в нынешней России нечто, что поразит будущего историка? Неужели Вы думаете, что он поместит нас вне Европы? Я всем сердцем привязан к Государю, но все-таки я далеко не всем, что творится кругом, восхищаюсь. Как писателю, мне бывает горько. Как человек, у которого есть свои предрассудки, я бываю задет, — но, клянусь честью, ни за что на свете не хотел бы я переменить родину, отказаться от истории наших предков, от такой, какую нам Бог послал...»

Это замечательное письмо кончается знаменательными словами: «Надо было сказать — и у вас это сказано, — что наше нынешнее общество настолько же презренно, как и глупо, что у него нет собственного мнения, что оно равнодушно к долгу, к справедливости, к правде, ко всему, что не есть простая потребность, что в нем циническое презрение к мыслям, к человеческому достоинству... Надо было еще прибавить (не в виде уступки, а потому что это правда), что в России только один европеец — это правительство, и что, несмотря на всю его грубость, только от него зависит не быть еще во сто раз грубее. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания».

Письмо это, написанное 19 октября 1836 года, осталось вчерне. Пушкин его не отправил. К. О. Россет, брат фрейлины, сообщил ему, что «Государь не сомневается, что Москва не разделяет сумасшедшего мнения автора, и Чаадаев отдан под надзор полицейских врачей». «Телескоп» был закрыт. Редактор, Надеждин, сослан. Чаадаева оставили в Москве, но признали душевнобольным. Каждую неделю к нему приезжали полицеймейстер и полицейский врач для его освидетельствования. При таких условиях Пушкину не хотелось нападать на автора «Философических писем». Прошло три месяца,

и смерть унесла Пушкина, одного из мудрейших русских патриотов. Их недоконченный спор перешел к следующим поколениям, для которых политические мысли Чаадаева оказались ближе, чем мысли Пушкина. На время.

Глава XXV

ПРОСТОЙ ПУШКИН

Где просто, там ангелов со сто.

Последние два года жизни Пушкина были полны неприятностей, денежных хлопот, тревог, мелких, злых уколов и крупных обид. Но еще никогда ни один поэт в России не пользовался таким общим признанием. Народное сознание рождалось в годы его роста, на него опиралось, около него крепло. Его слава — тогда говорили сиянье его имени — была общерусским достоянием. Она не допускала ни сомнений, ни споров. С ней поневоле все считались, даже Царь с Царицей. Все писатели, старшие и младшие, гордились Пушкиным, им вся Россия гордилась. Наш знаменитый, величайший гений нашего времени, солнце России — в этих словах не было лести, условного преувеличения. Они передавали подлинные чувства. Пушкин, при всей своей скромности и простоте, понимал свое положение, не только видел в нем почет, но и сознавал, что это накладывает ответственность. Перед последней дуэлью все повторял, что он обязан защищать свое имя, так как оно принадлежит России.

Среди писателей старейшим был И. И. Дмитриев, современник Державина, друг Карамзина, который пользовался почтительным вниманием следующих поколений. Когда Пушкину случалось ему писать, он делал это с изысканной старомодной любезностью, отдававшей XVIII веком. Первые опыты Пушкина Дмитриев встретил насмешливо и сухо, но с каждым новым его произведением смягчался. Получив от Пушкина восьмую главу «Онегина» и «Северные Цветы» с его стихами, И. И. Дмитриев писал ему: «Не скажу с Пчелою, что Вы ожили: в постоянном Вашем здоровьи всегда был уверен; изменение только в том, что Вы, благодарение Фебу, год от году мужаете и здоровеете. Ваши Годунов, Моцарт и Сальери доказывают нам, что Вы не только поэт Протей, но и сердцеведец, и живописец, и музыкант» *(1 февраля 1832 г.)*.

В письме к Вяземскому Дмитриев говорит: «Я не вытерпел прочитать еще раз «Моцарта и Сальери». По этому, говоря

модным языком, «созданию», признаю я и мыслящий ум и поэтический талант Пушкина в мужественном, полном созрении» *(9 апреля 1832 г.)*.

Из просвещенных стариков XVIII века Дмитриев был не единственным, склонившимся перед гением Пушкина. Приятель Пушкина, В. Д. Соломирский, ему из далекого Тобольска писал, как у него обедал «П. А. Соловцов, старец знаменитый, соученик и бывший друг Сперанского, богатый умом, познаниями и правдолюбием. Он сказал: «Сочинения Пушкина должно читать для роскоши ума; везде, где я встречаю произведения его пера, я их пробегаю с жадностью». — Когда стали пить за здоровье Пушкина и кто-то пожелал ему долголетия, Соловцов сказал: «Долгая жизнь великим умам не свойственна; им надо желать благодарного потомства» *(17 июня 1835 г.)*.

Старик сенатор, П. И. Полетика, человек умный и разнообразно образованный, которого Пушкин встречал на светских приемах и один разговор с которым у Смирновых записал в Дневник, в свою очередь, записал в свой дневник: «Этот Пушкин какое-то чудо. Он думает столько же, сколько поет и танцует» *(1835 г.)*.

Это слово — чудо — Гоголь любил применять к Пушкину.

Все крупнейшие писатели признавали его своим вождем — Жуковский, Дельвиг, Рылеев, Бестужев, Баратынский, Вяземский. Посвящая Пушкину свой перевод романа Б. Констана «Адольф», Вяземский написал в предисловии: «Прими мой перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф принес великому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы так часто говорили с тобой о превосходстве творения его, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему; в борьбе, иногда довольно трудной, мысленно вопрошал я тебя, как другую совесть. Дар, мною тебе подносимый, будет свидетельством приязни нашей и уважения моего к дарованию, коим радуется дружба и гордится Отечество» *(1829 г.)*.

Много лет спустя Вяземский, больше склонный к иронии, к насмешке, чем к восторженному преувеличенью, так определял положение Пушкина среди других стихотворцев: «Поэтической дружины смелый вождь и исполин...»

Много сохранилось отзывов о том, какое впечатление производили стихи Пушкина на современников. П. В. Анненков в своих воспоминаньях рассказывает: «При появлении в «Современнике» 1838 года посмертных сочинений Пушкина Белинский испытал более чем восторг, даже нечто вроде испуга перед величием творчества, открывшегося глазам его».

Тот же Анненков передает слова Белинского:

«Я не понимаю возможности жить, да еще в чужих краях, без Пушкина».

Самый значительный из тогдашних поэтов, Баратынский, и в письмах, и в стихах обращался к Пушкину, как к наставнику. Отношения между ними не совсем выяснены. Пушкин высоко ставил талант Баратынского. После смерти Дельвига он писал Плетневу: «Считай по пальцам, сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все». Но сердечной близости между ними не было. Баратынский был человек замкнутый. Вряд ли правы те, кто подозревал его в завистливой недоброжелательности к Пушкину. Он этого ничем не проявил. В его письмах нет тех неприязненных оттенков, которые проскальзывают у Языкова. В стихах Баратынского есть суровая, застенчивая, своеобразная, но несомненная нежность к великому собрату. Когда Москва заласкивала Пушкина, Баратынский напечатал в «Московском Телеграфе» поэтическое предостережение:

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал.
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы, —

Прости, я громко негодую.
Прости, наставник и пророк,
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

(1827)

И опять, в поэме «Пиры», Баратынский называет Пушкина ветреным мудрецом, но и пророком, и наставником.

Пушкин наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти дикие, и шалость,
Дано с проказливым умом
Быть сердца лучшим знатоком.
И, что, по-моему, не малость,
Быть прелюбезным за столом.

(1835)

Когда Пушкин умер, Баратынский писал Вяземскому: «В какой внезапной неблагосклонности к возникшему голосу России Провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждою». Позже Баратынский писал

своей жене: «Был у Жуковского. Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихи Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новые и духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, — чем бы ты думала? — силою и глубиною. Он только что созревал» *(1840)*.

Не сердиться на равнодушие, неприязнь, непонимание Пушкин научился, но похвалы его, конечно, радовали, особенно если его хвалили люди, мнением которых он дорожил. Да и широкая известность, народность доставляли ему удовлетворение. Пройти в толпе незамеченным он уже не мог. Даже незнакомые люди оказывали ему знаки внимания. В книжную лавку Смирдина, на Невском, которая была сборным местом просвещенных людей, своего рода литературным клубом, где писатели встречались и друг с другом, и с читателями, многие ходили, чтобы только взглянуть на Пушкина. Он часто забсгал туда порыться в литературных новинках. Провинциалы в письмах к приятелям, описывая столичные диковинки, отмечали, посчастливилось им увидеть Пушкина у Смирдина или нет.

Бывал он еще в другом книжном магазине. «Скоро после выпуска, — рассказывает Я. Грот, — сошелся я с Пушкиным в английском книжном магазине Диксона. Увидя Пушкина, я забыл свою собственную цель и весь превратился во внимание. Он требовал книг, относящихся к биографии Шекспира, и, говоря по-русски, расспрашивал о них книгопродавца. Как интересны казались мне эти книги, как хотелось подойти к Пушкину, но на это духу не стало.

В другой раз, когда я проводил лето на Карповке, у барона Корфа, Пушкин, живший на Каменном Острове и часто ходивший туда из города пешком, шел мимо сада, когда я стоял у калитки. Он взглянул на меня, и я, повинуясь невольному уважению, снял перед ним почтительно шляпу. Он учтиво отдал мне поклон и скоро скрылся из моих глаз».

Особснно предана была Пушкину молодежь. Гадалка верно предсказала, что он будет кумиром своего поколения. Да и следующих тоже. Лермонтов, которому не суждено было познакомиться с Пушкиным, издали обожал его. В начале 1837 года И. С. Тургенев, тогда еще совсем юный, пришел к Плетневу: «Войдя в переднюю, я столкнулся с человеком среднего роста, который уже надел шинель и шляпу и, прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры, нечего сказать!» — засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его бслые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до сих пор не

удавалось встретиться, и как я досадовал на мою мешкотность. Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полу-бога. Мы действительно поклонялись ему».

Граф В. А. Соллогуб, будущий писатель, а тогда просто светский юноша, описал свою первую встречу с Пушкиным. Соллогуб был с отцом в театре. Впереди них сидел курчавый человек. «Это Пушкин, шепнул мне отец. Я весь обомлел. Трудно себе вообразить, что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю, это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей. Пушкин, хотя и не был чужд той олимпийской недоступности, в какую окутывали себя, так сказать, литераторы того времени, обошелся со мной очень ласково, когда отец, после того как занавес опустили, представил ему меня».

Молодого Соллогуба поразила «особенная, только ему свойственная улыбка, в которой так странно сочетались язвительная насмешка с бсзмерным добродушием».

По-видимому, главная прелесть неправильного, но выразительного лица Пушкина заключалась в сочетании этой улыбки и быстрого, внимательного взгляда изменчивых глаз, которые казались то голубыми, то черными. Разные люди оставили описанье наружности Пушкина, но составить себе о ней представление все-таки трудно. Ни у кого не хватило наблюдательности или смелости, чтобы передать то особое излучение, которое исходит от людей необыкновенных. Может быть, мало кто его осознавал. Маленький рост поэта для некоторых не вязался с мыслью о великом человеке. Смущала и его подвижность, непоседливость, быстрота, которую можно было смешать с вертлявостью. Гибкий, сильный, здоровый, он любил физические упражнения, ходьбу, верховую езду, плаванье. «Пушкин был крепкого сложения и этому много способствовала гимнастика, которой он забавлялся иногда с терпением атлета, — писал Плетнев. — Как бы долго и скоро он ни шел, он дышал всегда свободно и ровно».

«Увидел маленькую белоглазую штучку, более мальчика и ветреного балуна, чем мужа», — записал в свой дневник литератор Второв, встретивши его в 1827 году у Дельвига. Около того же времени цензор Никитенко встретил Пушкина у Керн и тоже занес в дневник свои впечатления: «Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий ничего особенного. Если смотреть на его лицо начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем до самых глаз

выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи, полные силы и чувства».

Есть и такая запись случайного, неизвестного человека: «Пушкин был нехорош собою: смугловат, неправильные черты лица, но нельзя было представить себе физиономии более привлекательной, более оживленной, более говорящей и слышать более приятного, более гармонического голоса, как будто нарочно созданного для его стихов».

Один провинциал случайно встретил Пушкина за два месяца до его смерти у А. Ф. Воейкова: «В это время вошел желтоватый, смуглый брюнет с довольно густыми, темными бакенбардами, со смеющимися, живыми глазами... На Пушкине был темно-кофейного цвета сюртук с бархатным воротником, в левой руке он держал черную, баранью, кавказскую кабардинку с красным верхом. Когда Пушкин улыбался своей очаровательной улыбкой, алые, широкие его губы обнаруживали ряды красивых зубов поразительной белизны».

В кругу людей, к которым он был расположен, Пушкин мог быть необыкновенно милым и привлекательным. П. В. Анненков говорит, что его друзья и добрые знакомые «имели счастье видеть простого Пушкина, без всяких примесей, с чарующей лаской слова и обращения, с неудержимой веселостью, с честным, добродушным оттенком в каждой мысли. Чем он был тогда, хорошо обнаруживается из множества глубоких, неизгладимых привязанностей, какие он оставил после себя. Замечательно при этом, что он всегда свободнее раскрывал свою душу перед добрыми, простыми, честными людьми, которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или в прибавку к дружелюбному своему знакомству».

Возможно, что под добрыми, простыми людьми Анненков подразумевает Нащокиных. В темные, путаные последние годы жизни немало было у Пушкина приятелей, даже друзей, но после женитьбы ближе всех ему стал Павел Воинович Нащокин (1801—1854). Он сменил покойного Дельвига. Оба согревали Пушкина своей сердечностью. Оба самого Пушкина любили не меньше, чем его стихи.

Пушкин после Лицея познакомился с Нащокиным в кругу молодых повес. Нащокин служил в Измайловском полку, беспечно мотал большое состояние, играл в карты, устраивал вечеринки, где бывали офицеры, художники, писатели, актрисы. Он был крепко влюблен в актрису Асенкову, позже воспетую Некрасовым. Нащокин дорого заплатил за огарок,

при свете которого она разучивала роль. Огарок этот Нащокин оправил в серебро и хранил как драгоценность. Юная Асенкова была неприступной царевной. Есть легенда, что она отвергла ухаживания Николая. Попасть к ней в дом было невозможно. Но Нащокин умудрился проникнуть к ней, переодевшись служанкой. Этой шалостью Пушкин воспользовался для «Домика в Коломне».

Когда Нащокин размотал, проиграл большую часть своего состояния, он переехал в Москву, где беспечная, безрасчетливая жизнь продолжалась. Он влюбился в цыганку Ольгу, выкупил ее из лагеря, жил с ней несколько лет, с трудом с ней развязался, вскоре после Пушкинской женитьбы женился на милой, уютной дворяночке и стал с ней жить да поживать. Но от карт не отстал. Нащокин был человек очень неглупый, веселый, со своеобразным подходом к жизни, к людям. Пушкин, бывая в Москве, останавливался у них, приезжал к ним, как домой. Нащокин, чтобы его развлечь, показывал ему каких-то чудаков, вралей, полоумную старуху, которая надевала Потемкинскую ленту, чтобы солить грибы. Все это смешило Пушкина, отвлекало от назойливых петербургских забот. Ему было хорошо с Нащокиным. В расплывчатом, доброжелательном, ленивом, отзывчивом русском барине была бытовая, стихийная даровитость. Изо всех корреспондентов Пушкина только Нащокин писал чистым, разговорным русским языком. Он был такой хороший рассказчик, что Пушкин даже начал за ним записывать. В письмах Нащокина попадаются меткие словечки, до которых Пушкин был большой охотник. «Юсупов умер умно и равнодушно», — сообщал ему Нащокин.

Письма Нащокина к Пушкину похожи на письма влюбленного. Он действительно обожал Пушкина, понимал его больше, чем кто-либо, всем сердцем признавал его исключительность, но свою независимость сохранял. М. Ю. Гершензон, вдумчивый знаток московских связей Пушкина, говорит, что в последние годы жизни «Пушкин не имел друга более близкого, более любимого и преданного, чем Нащокин», и что его письма к поэту «дышат такой сердечной, почти нежной привязанностью и обнаруживают такую простоту равноправных отношений, какие можно найти разве еще только в дружбе Пушкина с Дельвигом». Когда Пушкин уехал с молодой женой из Москвы в Царское Село, Нащокин, расставаясь с ними, плакал и откровенно сознался в том в письме: «Привычка видеть тебя и заниматься тобой безмерна. Письма мои, сделай милость, рви, ибо они совершенно писаны слогом нежной московской кузины».

И Пушкин пишет ему ласково, называет его — утешитель мой, радость моя, воскресение нравственного бытия моего. В письме к жене срывается раз у поэта горькое слово: «Любит меня один Нащокин». В Москве Нащокин был для него одной из главных приманок.

«Рад я, Павел Воинович, твоему письму, по которому вижу, что твое удивительное добродушие и умная, терпеливая снисходительность не изменились ни от хлопот новой для тебя жизни, ни от виновности дружбы перед тобою. Когда бы нам с тобой увидеться! много бы я тебе наговорил; много скопилось для меня в этот год такого, о чем не худо бы потолковать у тебя на диване, с трубкой в зубах, вдали цыганских бурь...» *(январь 1835 г.)*.

Пушкин рано понял то, к чему многие приходят только под старость, — что благородное сердце умнее умной головы. В Нащокине он нашел то и другое. Его общество ценил он больше, чем разговоры московских любомудров, больше, чем встречи с Чаадаевым, который тоже жил в Москве. Чаадаев все еще хотел «заниматься устройством его образа мыслей», боялся, что Пушкин отстанет от века, и в письмах, писанных по-французски, наставлял, как должен думать русский писатель: «Мое самое горячее желание, дорогой мой, приобщить Вас к тайнам нашего времени. Углубитесь в себя, извлеките из собственной глубины тот свет, который таится в таких душах. Смотрите, какой славы Вы можете достичь. Возопите к небу» *(март 1829 г.)*.

Два года спустя Чаадаев призывал Пушкина к общей работе: «Я продолжаю думать, что нам надобно идти вместе, что это было бы полезно и нам и другим» *(17 июня 1831 г.)*.

Но Пушкину мудрая, скромная сердечность Нащокина уже стала ближе, чем беспокойная горечь Чаадаева, о котором Нащокин своеобразно упоминает в своих письмах: «Я Чаадаева каждый день вижу, но никак не решишься подойти, я об нем такого высокого мнения, что не знаю, как спросить или чем начать разговор» *(18 апреля 1831 г.)*. В другом письме дает он выразительную характеристику: «Чаадаев каждый день в клубе, всякий раз обедает, в обхождении и в платье переменил фасон, и ты его не узнаешь. Я опять угадал, что все странное в нем было не что иное, как фантазия, а не случайность и не плод опытного равнодушия ко всему. Еще с позволения Вашего скажу (ибо ты не любишь, чтобы я о нем говорил), рука на сердце, говорю правду, что он еще блуждает, что он еще не нашел собственной своей точки. Я с ним обо многом говорил, основательности в идеях нет, себе часто противоречит. Но что я заметил и это мне приятно:

человек весьма добрый, способен к дружбе, привязчив, честолюбив более чем я, себя совсем не знает и часто будет себя наружно изменять, что ничего не доказывает. Тебя очень любит, но менее чем я» *(30 сентября 1831 г.)*.

Нащокин не написал воспоминаний о своем гениальном друге, но все, что Бартенев с его слов записал, дышит трогательной любовью и редким проникновением в характер Пушкина. Нащокин говаривал: «Поприще словесности было для Пушкина лишь случайностью, если бы судьба велела ему быть воином, или отвела бы ему на долю какую-нибудь другую деятельность, — он везде оставил бы по себе след своего гения».

Так же думал и Мицкевич. А слова Нащокина: «Пушкин, по простоте и высоте своей», сходны с дружески мудрым словом Дельвига: «Великий Пушкин, малое дитя».

В Пушкине не было ни тени напыщенной ходульности, как в современных ему западных романтиках, не было заносчивости Байрона, горделивого позерства Шатобриана, мелочного, лживого хвастовства Ламартина. В жизни, как и в поэзии, Пушкин всегда оставался искренним, насквозь правдивым. Это основное свойство его характера, его творчества.

С годами Пушкина все больше тянуло к скромным людям, робость которых он умел разгонять своей приветливостью. Неизвестный провинциальный поклонник Пушкина, которому романист Лажечников поручил передать поэту свой роман «Новик», безыскусственно описал свою встречу с Пушкиным: «Благодарю Вас за случай, который вы мне доставили видеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру и не верил, какой он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него нет ничего тайного. Разговаривая же с ним, видишь, что у него есть тайна — его прелестный ум и знание. Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговори с ним, и только скажешь — он умный человек. Такая скромность ему прилична» *(19 сентября 1832 г.)*.

Значительную, выразительную оценку характера Пушкина оставил Н. М. Смирнов. Он познакомился с Пушкиным в 1828 году. Несколько лет спустя Смирнов женился на фрейлине Россет и тогда ближе сошелся с другом своей блестящей жены. Пушкин был своим человеком в доме Смирновых, что придает этим воспоминаньям особую ценность.

«Под личиною иногда ветрености и всегда светского человека Пушкин имел высокий, проницательный ум, чистый взгляд, необыкновенную сметливость, память, не теряющую

из вида ни малейших обстоятельств в самых дальних предметах, высоко-благородную душу... В важнейших случаях имел он и твердую волю... Пушкин с удивительной твердостью переносил удары судьбы и денежные стеснения.

Хотя он был известнейшим лицом в России, но весьма немногие знали его коротко и могли вполне оценить высокие качества его ума, его сердца и души. Те, кто близко его знал, открывали в нем ежедневно сокровища неистощимые и недоступные пониманию толпы.

Я не встречал людей, которые вообще были бы так любимы, как Пушкин. Все приятели его скоро делались его друзьями. В большом кругу он был довольно молчалив, серьезен, и толстые губы его давали ему вид человека сердитого. Но в кругу приятелей он был совершенно другой, лицо его прояснялось, он был удивительной живости, разговорчив, рассказывал много, всегда ясно, сильно, с резкими выражениями, часто с нервическими движениями. Он любил также слушать, принимал участие в рассказах и громко, увлекательно смеялся, показывая свои прекрасные, белые зубы».

Академик Яков Грот, исследователь осторожный и точный, встречавший друзей Пушкина, много лет друживший с Плетневым, так говорит о характере Пушкина: «Удивительно острый, блестящий ум, соединенный с чародейской властью над словом, поражал всякого, кто имел с ним дело. Беседа его становилась в высшей степени оживленной и увлекательной, как скоро сердце его было сколько-нибудь затронуто, и оттого-то Пушкин производил неотразимое впечатление на женщин, которые ему нравились и с которыми он, по собственному его выражению, кокетничал в разговоре. С другой стороны, он теми же свойствами своими, живостью, находчивостью в выражениях, колкою насмешкою наживал врагов... Господствующим свойством характера Пушкина была правдивость. И в художественном творчестве истина лежит в основе красоты всех его произведений, в описании природы, в изображении характеров, страстей и всех движений души... Ярче всего выразилась его честная, смелая правдивость, когда он написал Милорадовичу свои стихи и ответил Николаю, что он был бы с мятежниками. Когда Бенкендорф спросил его, на кого он написал «Выздоровление Лукулла», он ответил: «На вас». — Граф усмехнулся. — «Не верите? Отчего же другой уверен, что это на него?»

В сатире «На выздоровление Лукулла» *(1835)* Пушкин рассказал подлинную историю, случившуюся с графом Уваровым. Министр, прочтя стихи, пришел в бешенство. Попало Пушкину от Бенкендорфа, да и от друзей. Он нажил себе

новых врагов. Их у него и так было немало, особенно среди так называемой немецкой придворной партии, одним из украшений которой был Бенкендорф. Центром этого германофильского кружка был салон графини Нессельроде. Она терпеть не могла Пушкина. Отталкиванье было взаимное.

Если Пушкин кого-нибудь не любил, почти всегда за дело, его остроты могли очень больно ранить. Вяземский, перепечатывая в 1875 году свою старую статью о «Цыганах», сделал к ней интересные примечания: «При всем добросердечии своем Пушкин был довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству или увлечению, сколько по расчету; он, так сказать, вменял в обязанность себе, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим. Он не спешил взысканием, но отметка *«должен»* не стиралась с имени. Это буквально так. На лоскутках бумаги были записаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей, иногда заранее были заготовлены для них отметки, как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим. Но поспешим добросовестно оговориться. Если Пушкин и был злопамятен, то разве мимоходом и беглым росчерком пера напишет он эпиграмму, внесет кого-нибудь в свой «Евгений Онегин» или послание, и дело кончено... Все кончалось несколькими каплями чернил. В действиях, в поступках его не было и тени злопамятства, он никому не желал повредить. Пушкин вообще был простодушен, уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством. По характеру моему я был более туг, несговорчив, неподатлив... Он, пока его самого не заденут, был более склонен мирволить и мирволил... Натура Пушкина была более открытая к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нем было больше любви, нежели негодования, более благоразумной терпимости и здравой оценки действительности и необходимости, нежели своевольного враждебного увлечения».

Больше любви, нежели негодования, — эту черту характера Пушкина, такую же важную, как и его правдивость, отмечает и Смирнов: «Пушкин был самого снисходительного, доброго нрава; обычно он высказывал мало колкостей, не был очень резок. Своих друзей он защищал с необыкновенным жаром. Гнев его был непродолжителен».

Оно и не могло быть иначе. Злопамятство не свойственно людям с большой душой. Пушкину, наряду с великим умом, была дана великая душа и верное, горячее сердце. Но эти свойства не так бросались в глаза, как его ум, его поэтический гений. Друзей и недругов, русских и иностранцев поражал Пушкин разнообразием знаний и интересов, остроумием,

проницательностью, быстротой и ясностью суждений. С писателями иностранными ему не довелось встречаться, но просвещенные иностранные дипломаты говорили о нем, как об одном из самых выдающихся умов Европы. Пушкин был знаком со всем дипломатическим корпусом. С некоторыми дипломатами встречался дружески, обсуждал с ними иностранную политику, которой очень интересовался. В 1833 году он записал в Дневник разговор с английским поверенным в делах, Блайем (Bligh):

«Вчера был у Бутурлина. — Любопытный разговор с Блайем: зачем у вас флот в Балтийском море? для безопасности ПБ? но он защищен Кронштадтом. Игрушка!»

— Долго ли вам распространяться? (мы смотрели на карту постепенного распространения России, составленную Бут<урлиным>. Ваше место Азия; там совершите вы достойный подвиг сивилизации... etc.» *(30 ноября 1833 г.)*.

С этим Блайем, так же, как с французским послом, бароном де Барантом, Пушкин часто встречался. Барант был писатель. Он принимал участие в выработке международных законов о литературной собственности и по этому поводу обращался к Пушкину, просил у него сведений о русских законах и обычаях, касающихся авторских прав. Он писал Пушкину: «Желательно также знать Ваше мнение о мерах, которые должно принять правительство для ограждения интересов писателей» *(11 декабря 1836 г.)*.

Донесения дипломатов, сообщающие о смерти поэта, показывают, что некоторые из них понимали, кого потеряла Россия. Шведо-норвежский посланник, Густав де Норден, писал: «Россия лишилась писателя высоких достоинств, потеряла поэта, не имевшего себе соперника. Последние его работы отмечены большим спокойствием духа, носят печать необыкновенной законченности. Пушкин все более и более приближался к благородной простоте, свойственной подлинному гению. Те, кому довелось познакомиться с отрывками о Петре Великом, вдвойне оплакивают его преждевременную смерть».

Саксонский посланник, барон Люцероде, человек образованный, хороший лингвист, который читал Пушкина по-русски и переводил его на немецкий, писал: «Окончен жизненный путь одного из самых выдающихся умов Европы. Ужасное событие, совершившееся три дня тому назад, глубоко потрясло всех истинно образованных жителей Петербурга. Государственный историограф, Александр Пушкин, которого, после смерти Байрона и Гёте, следует считать первым поэтом Европы, пал жертвою ревности, злонамеренно доведенной до безумия».

Вюртембергский посланник, князь фон Гогенлоэ, писал о восторженном поклонении, которым часть аристократии окружала Пушкина: «Нелегко было заставить Пушкина говорить, но, раз вступив в беседу, он выражался необычайно изящно и ясно. Разговор его был полон очарованья для слушателей».

Пушкин не старался блеснуть, не торопился показать свой ум. Слишком хорошо знал он, что «ум, любя простор, теснит». Пушкин меньше всего хотел кого-нибудь теснить. В Нащокине он ценил, что тот не робел перед его умственным превосходством. Но это превосходство не могли не чувствовать его умнейшие друзья, и порой это их сердило. Наблюдательная Смирнова-Россет, которую Бог сметкой не обидел, перевидала на своем веку много выдающихся людей. Она рассказывала поэту Полонскому:

«Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни Вяземский спорить с ним не могли. Бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтобы Пушкин был умнее его, надуется и уже молчит, а Жуковский смеется: «Ты, брат Пушкин, чорт тебя знает, какой ты — ведь вот я и чувствую, что ты вздор говоришь, а переспорить тебя не умею, — так ты нас обоих в дураки и записываешь».

В критический момент своей жизни, задумав выйти в отставку, Пушкин дал Жуковскому себя переспорить, простодушно поверил, что для житейских дел у его старшего друга больше здравого смысла, чем у него самого. Эта уступка оказалась роковой.

В сложной, богатой оттенками натуре Пушкина, наряду с лукавым юмором и детской смешливостью, была искренняя дружественность к людям, широкое благоволение, желанье и уменье в каждом находить хорошие стороны, боязнь сделать какую-нибудь несправедливость. При его жизни даже близкие не понимали, сколько в нем доброты, хотя она проявлялась каждый раз, когда он мог кому-нибудь помочь. Когда у него были деньги, ему ничего не стоило их отдать. К деньгам он был равнодушен. Щедрость, как храбрость, почти физическое свойство. Пушкин родился щедрым, как родился храбрым. Но дело было не только в деньгах. Если кто-нибудь попадал в трудное положение, он даже среди собственных трудностей хлопотал, просил, разговаривал с чиновниками, писал письма, тратил свое время и внимание, готов был отложить в сторону свои дела вплоть до рукописей, что уже было самопожертвованием.

Получив от Бенкендорфа весьма холодное письмо с уведомлением, что «Годунов» не пропущен, Пушкин в несколь-

ких коротких словах отвечает, что подчиняется воле Государя, и сразу меняет тему, переходит к просьбе о пенсии вдове генерала Н. Н. Раевского. За десять лет перед тем Пушкин, тогда мало известный ссыльный поэт, был ласково принят в их семье, провел у них «счастливейшие дни моей юности». Теперь его стихи создали ему такое положение, что вдова Раевского обратилась к нему за поддержкой. В письме к Бенкендорфу Пушкин не обошел молчанием, а подчеркнул, что в семье Раевских есть декабристы: «То, что ее выбор обратился на меня, показывает, как мало у нее друзей, надежд и возможностей. Половина семьи в изгнании, остальные накануне полного разорения» *(18 января 1830 г.)*.

Просьба Пушкина имела успех. Царь назначил вдове героя двенадцатого года щедрую пенсию в 12 тысяч руб. Это не единственный случай, когда Пушкин удачно хлопотал по чужим делам. После казни Рылеева он заботился об его вдове, как после смерти Дельвига заботился о баронессе Дельвиг. Он просил за Мицкевича, за Анну Керн, заступался за малоизвестного Сухорукова, у которого чиновникам взбрело на ум отобрать собранные им материалы по истории казаков.

Пушкин всегда, где только мог, проявлял дружеское внимание к декабристам. Он аккуратно посылал все свои произведения Кюхельбекеру, которого десять лет таскали из тюрьмы в тюрьму. Когда Кюхельбекера отправили на поселение за Байкал и дали разрешение переписываться с далекими друзьями, он написал Пушкину благодарственное письмо, тяжеловесное и трогательное: «Мне особенно было приятно, что именно ты, Поэт, более наших Прозаиков заботишься обо мне: это служило мне вместо явного опровержения всего того, что Господа Люди, хладнокровные и рассудительные обыкновенно, возводят на грешных служителей стиха и рифмы. У них Поэт и Человек не дельный одно и то же, а вот Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все они вместе. Верь, Александр Сергеевич, что я умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения... Не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного, но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось» *(12 февраля 1836 г.)*.

Пушкин сразу ответил на письмо своего милого Кюхли, которого в Лицее так безжалостно дразнил, и попросил у ссыльного писателя статью для «Современника». Для Кюхельбекера не могло быть лучше подарка. Он ответил длинным письмом, где говорил главным образом о литературе и закончил короткой припиской по-французски: «Я не благо-

дарю тебя за письмо, — все благородное, все великодушное настолько тебе свойственно, что нельзя же громоздить фразы, когда обращаешься к Пушкину» *(3 августа 1836 г.)*.

Их переписка не понравилась жандармам. У Пушкина потребовали объяснений, как попало к нему письмо Кюхельбекера, и приказали доставить письмо в Третье отделение. Пришлось отослать письмо Мордвинову. Пушкин объяснил, что оно было доставлено ему на дом «неизвестно кем». На этом переписка кончилась. Пушкин уже доживал последние месяцы своей жизни.

Большинство биографов, всматриваясь в Пушкина, поддавалось таинственному обаянию, которое и сейчас исходит от его личности, как и от его стихов*. В нем трудно отделить поэта от человека. Даже невозможно. Плетнев, наскоро набрасывая для первой, вышедшей после смерти Пушкина, книги «Современника», биографический очерк, короткий, неполный, сжатый, сказал, что нельзя понять многое в поэзии Пушкина, не зная его жизни. Следующим, уже подробным биографом был 20 лет спустя П. В. Анненков. Он взялся за эту работу случайно. Его брат, И. В. Анненков, был адъютантом Ланского, командира Конногвардейского полка. Это был второй муж Натальи Николаевны. В подвалах Конногвардейских казарм стояли ящики с бумагами и рукописями Пушкина... Н. Н. Ланская предоставила их в распоряжение адъютанта своего мужа, а тот попросил брата, литератора, ими заняться. Прошло почти 15 лет со времени посмертного издания произведений Пушкина. Пора было подумать о новом издании. П. В. Анненков неохотно взялся за эту работу, ворчал, что копаться в старых бумагах совсем не интересно. «Напрасно, Павлуша, называешь ты это плесенью», — корил его Иван Анненков.

Но как только П. В. Анненков коснулся бумаг Пушкина, он воодушевился и писал И. С. Тургеневу: «Много я здесь получил от друзей-неприятелей его странных поминок, но в самых рассказах их превосходная личность Пушкина высказывается чрезвычайно ясно, на зло им. Удивительный характер!» *(1852)*.

Друзья, мемуаристы, критики, биографы сохранили много любопытных рассказов о суеверии Пушкина, о значении,

---

* Мне известно только одно исключение — князь Д. П. Святополк-Мирский издал в 1925 году по-английски книгу о Пушкине, где отозвался о нем неблагосклонно, свысока. — *Прим. авт.*

которое он придавал приметам. Правдивые люди оставили письменные свидетельства о своих разговорах с ним на эти темы, об его уверенности, что сбудутся грозные предсказания старой гадалки. Вяземский, братья Веневитиновы, Киреевские, Хомяков, жена казанского профессора А. А. Фукс, Нащокины, муж и жена, Лев Пушкин, Анна Керн, Соболевский, Погодин — вот какой длинный ряд разнообразных свидетелей того, что Пушкин не только любил говорить о тайных силах, играющих кругом человека и с человеком, но что он верил в них, знал их власть над собой.

Гениально умный художник не мог ограничить свое отношение к миру невидимому только гаданьями и приметами. Но каково было его подлинное, глубинное миросозерцание, об этом близкие ему люди не оставили нам сколько-нибудь связных указаний. Только отрывистые намеки. Как и во всем, что касается его жизни, вернейшим источником являются для нас его собственные слова. Но и он недоговорил. Его религиозные устремления или не успели созреть, или он не успел их раскрыть с такой полнотой и силой, как сделал это для своих политических и исторических мыслей и чувств, для своего любовного опыта. Его любовная лирика несравненно богаче, полнее, откровеннее, заразительнее его религиозных полупризнаний.

Религиозное сознание Пушкина развивалось медленно. Он слишком долго был под влиянием ветреной, суетной, мнимой философии XVIII века. Когда начал думать самостоятельно, подходил к этим новым мыслям о религии с несвойственной ему робостью. Точно чего-то опасался. А в Кишиневе, когда «непобедимое волненье меня к лукавому влекло», написать кощунственную поэму не побоялся. Хотя и тогда уже его томило желанье заглянуть в миры иные и он упрямо повторял: «Конечно, дух бессмертен мой...» Потом вспоминал он эти полосы воинственного неверия со стыдом, с отвращением, сердился, если при нем кто-нибудь упоминал о Гаврилиаде.

В Одессе он полушутливо звал Александра Раевского к заутрене, «чтоб услыхать голос русского народа в ответ на христосованье священника». В Михайловском он внятно услыхал народный голос. Среди подлинной, старинной русской жизни сбросил он с себя иноземное вольтерьянство, стал русским народным поэтом. Няня, с ее незыблемой верой, Святые Горы, богомольцы, слепые калики перехожие, игумен, в котором мужицкая любовь к водочке уживалась с мужицкой набожностью, чтение Библии и святых отцов, — все просветляло душу поэта. Там произошла с ним таинст-

венная перемена, там его таинственным щитом святое Провиденье осенило. После Михайловского не написал он ни одной богохульственной строчки, которые раньше, на потсху минутных друзей минутной юности, так легко слетали с его пера. Не случайно его поэтический календарь в Михайловском открывается с «Подражаний Корану» и замыкается «Пророком». В письмах из деревни Пушкин несколько раз говорит про Библию и Четьи-Минеи. Он внимательно их читает, деласт выписки, многим восхищается, как писатель. Это не простой интерес книжника, а более глубокие запросы и чувства. Пушкин пристально вглядывается в святых, старается понять источник их силы. С годами этот интерес ширится. Вскоре после свадьбы пишет он Плетневу: «Присоветуй ему (Жуковскому. — *А. Т.-В.*) читать Четьи-Минею, особенно легенды о киевских чудотворцах; прелесть простоты и вымысла!» *(апрель 1831 г.)*.

Год спустя «с умилением и невольной завистью» читает он «Путешествие по Святым местам» А. Н. Муравьева. В черновой тетради № 2387, судя по хозяйственным записям относящейся к 1834 году, есть такая запись:

«Руссо сказал, — прекрасно то, чего нет. Это не значит, только то прекрасно, что не существует. Прекрасное существует, но его нет, ибо оно является нам единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам оживить, обновить душу, но его ни удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем. Оно не имеет ни имени, ни образа; оно посещает нас в лучшие минуты жизни. Величественное зрелище природы, еще более величественное зрелище души человеческой, поэзия, счастье, несчастье дают нам сии высокие ощущения прекрасного; и, весьма понятно, почему всегда почти с ними соединяется грусть. В эти минуты живого чувства стремишься не к тому, чем оно произведено и что перед тобою, но к чему-то лучшему, тайному, далекому, что с ним соединяется и что для тебя где-то существует. И это стремление есть одно из доказательств бессмертия души; иначе отчего бы, в минуты наслаждения, не иметь полноты и ясности наслаждения? Нет, эта грусть убедительно говорит нам, что прекраснос здесь не дома, что оно только мимопролетающий благовеститель лучшего... Это есть восхитительная тоска по отчизне...»

Пушкин анонимно сотрудничал в составлении «Словаря Святых» и написал о нем в «Современнике» рецензию, где говорит:

«Есть люди, не имеющие никакого понятия о житии того святого угодника, чье имя носят от купели до могилы и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себс никакой уко-

ризны, мы можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству» *(1836)*.

Плетнев вздумал корить Пушкина, что он ничего не читает. Пушкин ответил, что действительно, давно ничего не читает, кроме Евангелия. Он не раз говорил молодому Вяземскому, что Ветхий и Новый Завет надо постоянно читать, что надо знать тексты. С Вяземским-старшим он так не разговаривал. Между ними была скорее умственная, чем душевная близость. Только много лет позже, когда Пушкина уже не было в живых, пережил князь Петр Вяземский сходный душевный перелом. Но перемену в Пушкине и он отметил. Вскоре после его смерти Вяземский писал Денису Давыдову: «Пушкин никогда не был esprit fort*, по крайней мере не был им в последние годы жизни своей, напротив, он имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их» *(15 февраля 1837 г.)*.

Кроме этих нескольких слов, оброненных Вяземским, из близких Пушкину людей только Плетнев, в письмах к Гроту, рассказал, что за несколько дней до смерти у Пушкина было «высокорелигиозное настроение. Пушкин говорил со мной много о судьбах Промысла, выше всего ставил в человеке качества благоволения ко всем, видел эти качества во мне, завидовал моей жизни» *(24 февраля 1842 г.)*.

И опять, в другом письме: «Начало мирному общежительству положил для меня Пушкин в последние годы своей жизни. Любимый его разговор со мною, за несколько недель до его смерти, все обращен был на слова: — Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение».

Пушкин не искал разговоров о религии, скорее избегал их. Только перед женой, судя по нескольким фразам в письмах к ней, приоткрывал он какие-то внутренние заслоны. Семейная жизнь, семейные привязанности и обязанности, вернули его к привычкам детства. По вечерам он крестил засыпающих детей, как когда-то крестили его детскую кроватку бабушка и няня. Письма к жене часто кончались словами:

«Христос с вами, дети мои... Машку, Сашку рыжего и тебя целую и крещу. Господь с вами... Прощайте, все мои, Христос Воскресе, Христос с вами... Обнимаю тебя, детей благословляю, тебя также. Всякий ли день ты молишься, стоя в углу?»

Это были не просто обрядные слова, а выражение подлинных чувств. Пушкин с близкими, дорогими людьми словами не играл.

---

* Вольнодумец *(фр.)*.

В четырех книгах «Современника», которые он успел издать, были напечатаны три его рецензии на книги религиозного содержания — на «Словарь Святых», на сочинения отца Георгия Конисского и на автобиографию Сильвио Пеллико. По поводу собрания сочинений церковного деятеля и богословского писателя времен Екатерины, о. Г. Конисского, Пушкин писал:

«Проповеди Георгия просты и даже несколько грубы, как поучения старцев первоначальных; но их искренность увлекательна». Эту мысль Пушкин подкрепляет цитатами, которые указывают, что именно в этих проповедях его увлекает: «Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья... Мы познаем разумом души; а телесные очи суть как бы очки, чрез кои душевные очи смотрят». Он выбрал цитаты, которые главным образом говорят о силе молитвы, о чудесах, о бессмертии души, о той «радости, которая ждет нас, когда, сбросив тяготу мирскую, душа, освобожденная от бренного тела, улетит к престолу Всевышнего».

Когда Пушкин писал это, может быть, за стеной его кабинета три сестры, Коко, Ася и Таша, собирались на очередной бал, наполняя дом поэта шумной, нарядной женской суетой, которую так хорошо описывал Толстой. Для него, как и для Пушкина, стихия нарядной женственности была одним из прелестных соблазнов мирских.

По поводу русского перевода сочинения Сильвио Пеллико Пушкин писал, что автор принадлежит к «сим избранным, которых Ангел Господний приветствовал именем *человеков благоволения*». Мало было избранных (даже между первоначальными пастырями Церкви), которые бы в своих творениях приблизились кротостию духа, сладостию красноречия и младенческою простотою сердца к проповеди Небесного Учителя».

В этой же статье есть у Пушкина несколько слов об Евангелии, для его духовной жизни знаменательных: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже *пословицею народов;* она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием, — и такова ее вечно-новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению, и погружаемся духом в ее божественное красноречие».

Как радовала его красота Евангелия, так радовала его и красота молитв. Со слов кого-то из его друзей, едва ли не Плетнева, Анненков писал: «Последние стихотворения Пушкина ознаменованы тем особым состоянием духа, которое в высоких образцах, граничащих с религиозным эпосом, ищет пищи и удовлетворения себе».

В последнее лето своей жизни Пушкин переложил на стихи молитву Св. Ефрема Сирина:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв,
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей —
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

(1836)

Как смиренная исповедь звучат эти шестнадцать строк.

Пушкин не стал церковником. Это и неудивительно. Официальное православие тогда было слишком подчинено чиновникам. Восторженная приятельница поэта, Элиза Хитрово, которая сохранила среди светской жизни простонародное благочестие и была преданной духовной дочерью ученого митрополита московского Филарета, очень старалась и Пушкина к нему приблизить. Ей это не удалось, только стихами они через нее обменялись. Она послала митрополиту стансы Пушкина:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, праздeн ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

(26 мая 1828 г.)

Филарет ответил ему стихами:

Не напрасно, не случайно
Жизнь судьбою мне дана,
Не без правды ею тайно
На тоску осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из тайных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною,
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждутся Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Пушкин поблагодарил несколькими строчками, где говорил об арфе Серафима. Тем дело и кончилось. По-видимому, они даже не встретились. Филарет был человек ученый, даровитый и преданный церкви, но как князь церкви он был крепко связан с ее официальной оболочкой. Если бы Пушкин, как это после него делали Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев, отчасти Лев Толстой, как это постоянно делали мужики, а изредка и баре, начал искать живые источники православия, которые текут в глубине земной церкви, он мог бы там найти ему еще неведомые духовные сокровища, о существовании которых он только смутно подозревал, без которых тосковал.

И ходить было недалеко. В лесах Тамбовской губернии, не очень далеко от Болдина, жил в Саровской обители монах и подвижник отец Серафим. К нему со всей России ехали и шли богомольцы. Пушкин вряд ли слыхал об его существовании. Кто знает, что вынес бы земной сердцевед Пушкин от общенья с кротким, светлым, радостным прозорливым старцем, который в душу человеческую с ее слабостями, исканьями, томленьями проникал еще глубже, чем великий поэт. Пушкин до конца жизни сохранил счастливую способность восторженно радоваться всякому таланту, всякому Божьему дару. Не мог бы он не отозваться на высокую, лучезарную духовность, струившуюся от Серафима Саровского. Но величайший русский святой XIX века и величайший поэт России так и не встретились.

29 марта 1836 года, в день Светлого Христова Воскресенья, умерла мать Пушкина, Надежда Осиповна. Она уже давно недомогала. Александр раньше других членов семьи угадал,

что болезнь роковая. Отчасти из-за ее болезни навалил он на себя обузу отцовских дел и долгов. Александр был очень внимателен к матери, почти каждый день навещал ее, то один, то с женой, которая приносила в комнату умирающей отголоски светской суетности, когда-то так тешившей Надежду Осиповну.

Пушкин очень много делал для семьи, считал себя обязанным их всех выручать, поддерживать. Своих стариков, бестолковых, вечно без гроша, разоренных и беспомощных владельцев нескольких больших имений и двух тысяч душ крестьян, ему было просто жалко. Жившее в нем чувство рода требовало некоторого общего семейного благообразия. У него по-прежнему не было близости ни с кем из них. Никто из них, ни отец, ни мать, ни брат, ни сестра ему ничего не давали, а от него ждали и требовали больше, чем он мог давать.

Пушкин не притворялся ни перед другими, ни перед собой и вряд ли переживал кончину матери, как сердечную потерю. Но эта смерть приблизила его к тайне, усилила, углубила мысли о смерти, которые уже давно звучали в его стихах, слышались в его разговорах. Из всей семьи только один Александр поехал проводить мать до места последнего упокоения. Он похоронил ее в Святогорском монастыре, на краю обрыва, откуда открываются любимые им просторы псковских холмов, лесов, озер.

Месяц спустя Пушкин был в Москве и довел до слез жену Нащокина разговорами, которые поразили ее своей необычностью. Он стал ей рассказывать, что, когда рыли могилу для его матери, он любовался песчаным грунтом и думал о Нащокине.

— Если он умрет, непременно надо его там похоронить. Земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины. Как покойно ему будет здесь лежать, думалось мне...

На самом деле он думал не о Нащокине, а о самом себе. Черновики, отрывки стихов показывают, как подкрадывалась к нему смертельная усталость, как его горячее, страстное сердце искало покоя. Он так и писал:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит,
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

(1836)

Стихотворение осталось незаконченным, но дальше идет прозаический конспект, в котором целый план жизни, мечта не сбывшаяся:

«О скоро ли я перенесу мои пенаты в деревню. Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, религия, смерть».

Похоронив мать, Пушкин сразу, не выезжая из монастыря, купил себе место на кладбище, рядом с ее могилой. Теперь наконец у него завелся свой клочок земли, свое крепкое жилище, единственное, которое он сумел приобрести за всю свою трудовую жизнь. Да и то было связано с мыслью не о жизни, а о смерти. Лето 1836 года, свое последнее лето, Пушкин проводил на Каменном Острове, на даче, за которую вряд ли все было заплачено. Но жизнь бежала, как всегда, шумная, беспорядочная, расточительная. Все так же, следуя за Царем и Царицей, переехали светские люди на Острова, развлекались, бывали в Каменноостровском театре, танцевали, катались верхом. В то лето дачный сезон был людный и веселый.

Пушкины жили недалеко от слепого графа Григория Александровича Строганова (1770—1857). Это была такая же оригинальная фигура в петербургском обществе, каким в Москве был Юсупов. Об этом Строганове Байрон упомянул в первой песне «Дон Жуана», так как слава о похождениях Строганова, когда он, молодым красавцем, был послан Екатериной в Мадрид послом, прошла по всей светской Европе. Графиня А. Д. Блудова, хорошо его знавшая, писала: «В нем, как и во многих вельможах, выросших под конец царствования Екатерины, было смешение совершенно иностранного воспитания и привычек с чисто русской чуткостью. В разговоре, в языке, в приемах это был представитель либерально-аристократической молодежи Версальского двора. В направлении политическом — представитель русского Государя и русского народа».

Пушкин, через жену, был в свойстве со Строгановым, который привлекал его богатством своих воспоминаний и неугасающим интересом к жизни. А. М. Калмыков, частый гость Строганова, рассказывает: «На даче Строганова, со стороны балкона, часто можно было видеть Александра Сергеевича, беседовавшего со стариком. Фигура графа Григория с седыми вьющимися волосами, в бархатном, длиннополом черном сюртуке, с добродушной улыбкой, невольно останавливала внимание гуляющих. Особенно когда вместе с ним был и поэт».

Одним из любимых развлечений дачников была верховая

езда. Актер Каратыгин в своих записках пишет, как «гвардейская молодежь и светские львицы взметали пыль своими кавалькадами». Одной из первых среди этих львиц была Наталья Николаевна, очень любившая верховую езду. Молодой балтийский немец, В. Ф. Ленц, гостивший на Островах у графа Виельгорского, оставил романтическое описание такой кавалькады: «Балкон дачи Кочубея, где жили Вьельгорские, выходил на усаженное березами шоссе, которое вело от Каменноостровского моста вдоль реки к Елагину Острову. Здесь я увидел картину, выступавшую из пределов действительности и возможную разве в «Обероне» Виланда. После обеда доложили, что две дамы, приехавшие верхами, желают переговорить с графом. Все вышли на балкон. На высоком коне, который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытами землю, грациозно покачивалась несравненная красавица, жена Пушкина. С нею были ее сестры и Дантес. Граф приглашал их войти.

— Некогда, — был ответ.

Прекрасная женщина хлестнула по лошади, и маленькая кавалькада галопом скрылась за березами аллеи. Это было как идеальное виденье. Тою же аллеею суждено было Пушкину отправиться на дуэль с Дантесом».

Петербуржцы ездили на Острова, как прежде в Царское, посмотреть на Пушкина, полюбоваться его женой. Тот же Ленц описывает бал в недавно построенном здании минеральных вод. На этих балах бывал весь петербургский свет, включая Царя. Ленц опять увидал Наталью Николаевну, на этот раз с мужем. «Супруги невольно останавливали взоры всех. Бал кончался. Наталья Николаевна, в ожидании экипажа, стояла, прислонясь к колонне, у входа, а военная молодежь, преимущественно из кавалергардов, окружала ее, рассыпаясь в любезностях. Несколько в стороне, у другой колонны, стоял в задумчивости Пушкин, не принимая никакого участия в этом разговоре».

В то лето на Каменном Острове написал Пушкин «Молитву», «Недорого ценю я громкие права». Написал «Памятник»:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук Славян, и Финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей, Калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в наш жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о Муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

(Август 1836 г.)

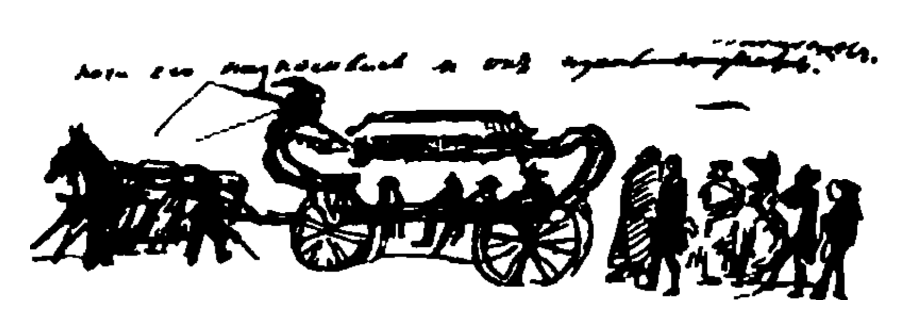
Последняя строчка своей неожиданной усмешкой отстраняет опасность напыщенности, улыбкой прикрывает грозное предчувствие близкого конца. Это больше чем стихи. Это пророчество. Оно сбылось. В недавний столетний юбилей Пушкина его стихи повторялись в России на всех языках и наречиях, его имя прозвучало по всем странам, по всему миру, закрепляя за ним право на земное бессмертие.

Часть пятая

СБЫВАЮТСЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ

(1836—1837)

Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала...



Глава XXVI

ТРАВЛЯ

4 ноября утром, по только что учрежденной городской почте, Пушкин получил пакет. В нем было вложено три диплома на звание члена общества рогоносцев.

«Орденоносцы, Командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством почтеннейшего Великого Магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно назначили Г. А. Пушкина помощником Великого Магистра и историографом Ордена. Бессменный секретарь — гр. И. Борх».

Письмо было анонимное. Подпись вымышленная. На эту пакость можно было бы не обращать внимания, но составители диплома послали его не только Пушкину. В то же утро Вяземский, Виельгорский, Васильчикова, Элиза Хитрово и еще несколько лиц, с которыми поэт был близок, получили такие же конверты, в которые были вложены вторые конверты, адресованные на имя Пушкина и заключавшие в себе копии того же пасквиля, писанного теми же корявыми печатными буквами. Было ясно, что пасквилянт хорошо знал, с кем поэт был близок, и хотел своей гнусной выходке придать самую широкую огласку. Удар был нанесен метко.

Слухи, разговоры, сплетни поползли, как грязное пятно, по Петербургу, по России. Но никто не знал, кем писаны анонимные письма. Не знаем мы этого и сейчас. Упорнее всего называли три имени — графа С. С. Уварова, князя Гагарина и князя Долгорукова. Уваров был зол на Пушкина за его стихи «На выздоровление Лукулла». Он мог мстить. Но трудно верится, чтобы министр народного просвещения стал заниматься рассылкой анонимных пакостей. Да и нет против Уварова улик.

Затем называли двух приятелей, Гагарина и Долгорукова. В то время оба князя были молодыми светскими вертопрахами, частыми гостями в салоне графини Нессельроде, где

постоянно бывал и покровитель Дантеса, голландский посланник, барон Геккерн. Это был круг, Пушкину враждебный. На Гагарина и Долгорукова, как составителей пасквиля, указывал позже секундант Пушкина, Данзас. Его рассказ был опубликован в 1863 году, когда оба князя уже были эмигрантами. Гагарин превратился в иезуита, Долгоруков — в публициста, составившего себе некоторое имя своими заграничными изданиями. Оба категорически отвергали обвиненье, выдвинутое Данзасом.

Гагарин опубликовал свое опровержение только в 1865 году, вернувшись из Сирии в Париж. Когда он узнал, в чем его обвиняют, он немедленно отправил в Петербург, в «Биржевые Ведомости», письмо, где настаивал на своей непричастности к анонимным письмам: «В этом темном деле, мне кажется, прямых доказательств быть не может. Остается только честному человеку дать свое честное слово. Поэтому я торжественно утверждаю и объявляю, что я этих писем не писал, что в этом деле я никакого участия не имел; кто эти письма писал, я тогда не знал и теперь не знаю». Из письма Гагарина видно, что друзья Пушкина его и раньше подозревали. В сороковых годах А. И. Тургенев побывал у Гагарина, который тогда проходил новициат в Ахеолонском иезуитском монастыре, во Франции. Тургенев признался Гагарину, что на похоронах Пушкина «он с меня глаз не сводил, желая удостовериться, не покажу ли я на лице каких-нибудь признаков смущения, или угрызения совести, особенно, когда пришлось прощаться с покойником».

Позже защитником Гагарина выступил Н. С. Лесков. Он встречался с ним в Париже, был им очарован и утверждал, что Гагарин мучился тем, что его так жестоко оклеветали. «Под иезуитским послушанием сохранил он черты русского простодушия и барственности, был хорошо образован, положительно добр и имел нежное сердце».

Все черты, не совместные с низкими мерзостями, направленными против великого поэта.

Версия о Долгорукове держалась, да еще и сейчас держится, упорнее. Но и против него прямых улик нст. Нельзя же скверную репутацию и предположения отдельных лиц, хотя бы и таких добропорядочных, как князь В. Ф. Одоевский, считать уликами. П. Е. Щеголев, путем сложного анализа, вплоть до экспертизы почерка, доказывал, что именно Долгоруков писал эти письма. Но когда анонимное письмо написано искаженными печатными буквами, трудно довериться такой экспертизе. Впрочем, Щеголев и сам прибавлял: «Один из физических исполнителей найден, но в этом гнус-

ном деле участвовал коллектив». Догадка правдоподобная. В чьем-то порочном мозгу родилась пакостная игра, а партнеры нашлись.

Есть еще рассказ князя А. В. Трубецкого, однополчанина и как будто даже приятеля Дантеса, записанный историком В. А. Бильбасовым ровно 50 лет после смерти Пушкина. В рассказах Трубецкого много неверного, много пустяков, а в конце странное признание: «В то время несколько шалунов из молодежи — между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой кузен, стали рассылать анонимные письма мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. В другое время он не обратил бы внимания на такую шутку, быть может, заклеймил бы ее эпиграммой. Но теперь он увидел в ней хороший предлог и воспользовался им по-своему».

Небрежно, как о незначительной шалости, рассказывает Трубецкой о том, что несколько светских шалопаев шутя погубили Пушкина. Но к этому рассказу исследователи отнеслись недоверчиво.

Остается еще мнение самого Пушкина, психологически самое убедительное. Пушкин сразу решил, что пасквили писал и рассылал голландский посланник, барон Геккерн, и этой своей уверенности не скрыл ни от него, ни от друзей, ни от Царя.

Барон Геккерн был видной фигурой в дипломатическом кругу Петербурга, где уже десять лет был представителем голландского короля. Он был коллекционер, любитель картин и древностей, приятный собеседник, способный поддержать в гостиной любой разговор. Но его боялись, ему не доверяли. У него был злой язык, он любил ссорить людей, сплетничал, интриговал.

«Геккерн делал пакости из любви к пакостям, как в истории с Пушкиным», — писал Вяземский.

Николай, при дворе которого так долго был аккредитован Геккерн, назвал его в письме к брату «гнусной канальей». Документы, связанные с дуэлью, и письма Геккерна подтверждают справедливость царской характеристики. Все же, казалось бы, дипломату рискованно заниматься анонимными письмами, да еще с явным намеком на Дантеса, к которому старший Геккерн был так привязан, что усыновил его. Многие считали, что их связывает мужская дружба очень определенного характера. Тем более не было Геккерну основания подставлять своего любимца под гнев ревнивого мужа. Разыгралась ли в нем ревность? Или, как думал Вяземский, сказалась потребность делать пакости?

Пушкин по бумаге, по стилю, по внешнему виду письма

сразу решил, что оно писано дипломатом. На мысль о Геккерне наводили его рассказы Натальи Николаевны, ее полупризнания о двусмысленных разговорах и приставаньях к ней голландского посланника. Были у Пушкина еще какие-то доказательства, до нас не дошедшие.

«Как только были получены эти анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерна и умер в этой уверенности, — писал Вяземский в. к. Михаилу Павловичу. — Мы так никогда не узнали, на чем было основано его предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности».

О каком случае говорит Вяземский? Опять мы этого не знаем. Но Вюртембергский посланник, князь Гогенлоэ, докладывая своему правительству о смерти Пушкина, писал: «Мнение власти, основанное на тождественной расстановке знаков препинания, на особенностях почерка и на сходстве бумаги, обвиняет Г.». То есть Геккерна.

Гагарин верно сказал — это дело навсегда останется темным.

Есть еще одно предположение, которое, не исключая виновности Геккерна, намечает в этой мерзостной травле его сообщников. У Пушкина было много друзей, было бесчисленное количество поклонников, но были у него также завистники и враги, органически враждебные его гению. Самым влиятельным из светских салонов, явно враждебных Пушкину, был дом заносчивой и недоброй графини М. Д. Нессельроде, жены министра иностранных дел. Дочь графа Гурьева, министра финансов при Александре I, она стареющей барышней вышла замуж за отцовского подчиненного из немцев. Граф Гурьев ценил Нессельроде за угодливость и старательность, а также и за кулинарные таланты. И министр, и его чиновник особых поручений были лакомки, оба любили и умели стряпать, сочинять блюда, оба обессмертили свои имена, один Гурьевской кашей, другой пудингом Нессельроде.

Женившись, Нессельроде быстро пошел в гору при деятельной поддержке своей жены. От отца она унаследовала большое состояние и привычку брать большие взятки. Среди многих светских россказней и сплетен, сохраненных тем же князем П. В. Долгоруковым, есть анекдот о том, как Нессельроде представил к камергерству своего чиновника, графа Шувалова, только что помолвленного с дочерью Александра I от Нарышкиной. «Император Александр I, со дня помолвки обходившийся с Шуваловым, как с будущим зятем, улыбаясь, спросил у него: сколько он подарил гр. Нессельроде за это представление?»

Ее взяточничество было всем известно, но это не мешало ей занимать в высшем свете влиятельное положение. Возможно, что в глазах Царя и его приближенных многое искупалось ее лютой враждой к либеральным идеям, ее демонстративной преданностью монарху. Одним из ее завсегдатаев был барон М. А. Корф, однокурсник Пушкина. Он преклонялся перед ее «необыкновенным умом и железным характером... Ее дружба была неизменна, заботлива, охранительна, иногда до ослепления пристрастна... Но вражда ее была ужасна и опасна. Она любила созидать и разрушать репутации».

Вяземский говорит: «Гр. Нессельроде самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней, гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который заседания имел в Сен-Жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене, в салоне гр. Нессельроде в доме министра иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитического, олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграмм на отца ее, гр. Гурьева».

Графиню Нессельроде многие не любили. Ее боялись больше, чем Бенкендорфа, и ей это нравилось. Великий князь Михаил Павлович называл ее Господин Робеспьер. Вяземский подсмеивался над претензиями некрасивой, но очень желавшей нравиться женщины, которая не прочь была разыгрывать роль м-м Рекамье, — и плечиста, и грудиста, и брюшиста, — говорил он про нее. В этой знатной даме привлекательного было мало, но положение ее мужа заставляло и влиятельных русских, и весь дипломатический корпус посещать ее салон. Барон Геккерн был в большой дружбе с ней и с ее мужем.

У Нессельроде в доме говорить по-русски не полагалось. Для этих людей русская литература не существовала. Дом русского министра иностранных дел был центром так называемой немецкой придворной партии, к которой причисляли и Бенкендорфа, тоже приятеля обоих Нессельроде. Для этих людей иностранец Геккерн был свой человек, а Пушкин чужой. Хотя очень возможно, что, прояви он хоть какое-нибудь внимание к жене министра, по ведомству которого числился, — и ее отношение изменилось бы. И для него она могла бы стать заботливым другом, как была для барона

Корфа и для Геккерна. Но Пушкин ее терпеть не мог и этого не скрывал.

Насколько у этой знатной дамы, которая по положению мужа могла причинять немало зла, была недобрая репутация, можно судить по тому, что император Александр II раз за обедом в Зимнем дворце сказал:

— Мы же знаем теперь автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина. Это Нессельроде.

В этих случайно брошенных словах указание на ту враждебную официально-светскую атмосферу, где Пушкин задыхался, а Геккерны процветали. Но в этих словах Царя, который был уже взрослым молодым человеком, когда Пушкин был убит, и лично знал поэта, нет разрешения загадки. Через несколько дней после смерти Пушкина Вяземский писал А. Я. Булгакову: «Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих. Довольно нам иметь твердое убеждение, что жена Пушкина непорочна... Пушкина в гроб положили, зарезали жену его городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безымянные письма».

С того дня, как Пушкин получил пасквиль, и до тех пор, пока Дантес не принял его вызов, Пушкин не знал покоя. Его выдержка, его добродушие были расшатаны. Обсуждая с друзьями анонимное письмо, делая догадки, что его писал Геккерн, Пушкин приходил в такое бешенство, что «просто был страшен», — писал Соллогуб. По словам Вяземского, «анонимные письма лежали горячей отравой на сердце Пушкина. Ему нужно было выбросить этот яд со своею кровью, или с кровью того, кто был причиною или предлогом нанесенного Пушкину оскорбления».

Отношение Пушкина к жене как будто не изменилось. Ей первой показал он полученный диплом. Но, как говорит тот же Вяземский, «между Пушкиным и его женою стало третье лицо. Оно набрасывало на них свою тень. Это был призрак, но он сводил с ума Пушкина».

Великому князю Михаилу Павловичу Вяземский писал: «Эти письма привели к объяснениям супругов Пушкиных между собой и заставили невинную в сущности жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побудили ее снисходительно относиться к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерна. Она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккернов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу. Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала; обладая горячим и страстным характером, он не мог хладнокровно

отнестись к положению, в которое он с женой были поставлены: мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета, он послал вызов молодому Геккерну».

Так звали Дантеса с тех пор, как Геккерн его формально усыновил.

Барон Жорж Дантес (1812—1895) был француз, приехавший в Россию на ловлю счастья и чинов. Вначале счастье ему улыбалось. Дантесы были состоятельные эльзасские промышленники, получившие дворянство в начале XVIII века. Баронский титул дал им Наполеон, что не помешало им сразу после реставрации стать легитимистами. Отец Жоржа Дантеса был членом палаты депутатов. Июльская революция 1830 года пошатнула и его политическое положение, и его состояние, так как он был сторонником Карла X. Во время переворота Жорж Дантес был юнкером в Сен-Сире. Пушкин в Дневнике назвал его шуаном, потому что Дантес, вместе с несколькими юнкерами, примкнул к Вандейскому отряду герцогини Беррийской, которая надеялась поднять восстание и посадить на престол своего сына. Их попытка кончилась ничем. Дантесу пришлось оставить Сен-Сир и поселиться у отца в Эльзасе, в их деревенском доме, который простоял до войны 1914 года, когда чья-то артиллерия его сожгла. Деревня быстро надоела молодому человеку, и он уехал в Берлин, где у них были титулованные родственники. Там ему покровительствовал принц Вильгельм Прусский, будущий император Германский. Получив от него рекомендательные письма, Дантес поехал дальше на восток, в Россию, где многие иностранцы хорошо устраивались. Дорогой Дантес познакомился с голландским посланником, бароном фон Геккерн де Беверваардом, который возвращался к своему посту в Петербург. Несмотря на разницу лет — Дантес был моложе на 20 лет, — они быстро сблизились. Случайная дорожная встреча превратилась в тесную дружбу, оказавшую роковое влияние на жизнь Пушкина.

Сразу по приезде в Петербург Геккерн, пользуясь своими связями, стал хлопотать о зачислении своего фаворита в гвардию. Ему помог директор Пажеского корпуса, граф Адлерберг. Вандейская авантюра молодого француза понравилась Царю. Дантесу и приехавшему одновременно с ним маркизу де Пинэ разрешили сдать при Военной академии экзамен на офицерский чин. Это была только формальность. Дантес приехал в Петербург 11 октября 1833 года. Заниматься начал в ноябре, а уже в начале нового, 1834 года он сдал экзамен. Царь спросил Адлерберга, знает ли шуан

по-русски? «Я ответил ему наудачу утвердительно, — писал директор Пажеского корпуса будущему русскому гвардейцу. — Я очень советовал бы Вам взять учителя русского языка».

Француз этому совету не последовал. Стоило ли стараться, когда их освободили от экзаменов по русской словесности и по русскому военному уставу. Немудрено, что, как отметил Пушкин в Дневнике, гвардия роптала, когда Дантеса зачислили в Кавалергардский полк. Офицер он был плохой, с дисциплиной считаться не хотел. На параде закурил сигару. Во время маневров, вопреки приказу, запрещавшему офицерам выходить из палаток иначе, как в форме, он появлялся в шлафроке, сверх которого накидывал шинель. В конном строю не держал дистанции, в седле сидел небрежно, на службу опаздывал или совсем не являлся. За три года службы в полку он сорок четыре раза подвергался взысканиям. К этому надо прибавить, что, не зная по-русски, он не мог отдавать команду. Но часть офицеров он забавлял живостью, остроумием. Другие его недолюбливали, называли заносчивым французом. В гостиных, куда ему открыл доступ сначала голландский посланник, а потом кавалергардский мундир, его принимали охотно.

Русских светских людей немного смешил провинциализм маленького наполеоновского барона. Князь Павел Вяземский-сын, который с ним часто встречался, говорит: «Дантес был человек практический, дюжинный, добрый малый, балагур, вовсе не Дон-Жуан, просто приехавший в Россию сделать карьеру... Уже принятый в Кавалергардский полк, он, до появления приказа, разъезжал на вечера в черном фраке и серых кавалерийских рейтузах с красной выпушкой, не желая на короткое время заменять изношенные черные штаны новыми».

Эти рейтузы с красной выпушкой очень забавляли Вяземского-отца и Пушкина. Дантес умел на шутку отвечать шуткой, умел и Пушкина смешить. Недурной танцор, веселый говорун, этот русский гвардеец, не умевший говорить по-русски, был желанным гостем на балах в тех светских и посольских домах, где бывали и Пушкины. И у них он был принят. Это никого не удивляло. С тех пор как незамужние сестры поселились у них, Наталья Николаевна, которой очень хотелось выдать их замуж, стала принимать холостую молодежь, как возможных женихов для Асиньки и Коко. Но Пушкин верно предсказал — ухаживали они не за старшими сестрами, а за его женой. Дантес влюбился в нее чуть не с первого взгляда, что опять-таки никого не могло удивить. Наталья

Николаевна была в зените своей женской прелести, и одно ее появление делало других женщин незаметными.

Дантес был ей ровесник. Когда они встретились, ему было 22 года. Многие считали его красавцем. У него был отличный цвет лица, густые белокурые волосы, открывающие плоский, срезанный назад лоб. Голубые выпуклые глаза смотрели дерзко и ласково. Маленький красивый рот был всегда готов раздвинуться в призывную улыбку. В нем была та самоуверенная наглость молодого, здорового зверя, которая на некоторых женщин действует безошибочно. Наталье Николаевне с этим ничтожным французом было несравненно веселее, чем с умными друзьями мужа. И потом он был видный, статный, высокий, на много вершков выше Пушкина.

— Меня судьба, как лавочник, обмерила, — с усмешкой говорил про свой рост Пушкин.

Он был почти одного роста с женой и на приемах не любил стоять рядом с ней. Наталья Николаевна была бы счастливее, если бы судьба убавила Пушкину — так она его до конца дней звала, — дарованья, но прибавила росту. Но его гений ее не стеснял. Она была слишком поглощена собой, чтобы его замечать. Кокетничала со всеми, вплоть до Царя.

К осени 1836 года, когда вокруг Пушкиных скопились признаки надвигающейся бури, Наталье Николаевне только что минуло 24 года. За шесть лет замужества она родила четырех детей, но красота ее не потускнела. Она была из тех редких женщин, которые с каждым ребенком хорошеют. Это была уже не робкая провинциальная девочка, готовая спрятаться в кусты, чтобы не попасть на глаза Царю с Царицей. Теперь она хотела, чтобы все смотрели на нее, все любовались ею. Это была модная львица, одна из первых красавиц Петербурга, ненасытная в своем желании нравиться. При этом был в ней целомудренный холодок, так привлекавший Пушкина. Сочетание красоты, кокетства и чистоты усиливало ее неотразимость. История с Дантесом единственный темный эпизод в ее жизни с Пушкиным. Но и эта трагедия забрызгала Наталью Николаевну не грязью, а кровью. Может быть, потому, что Пушкин поспешил заслонить ее своим телом.

Вот какой увидал Наталью Николаевну молодой граф В. А. Соллогуб, когда он впервые приехал к Пушкиным с визитом: «Пушкин жил в довольно скромной квартире. Самого хозяина не было дома. Нас приняла его красавица жена. Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельнее, чем Пушкина, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе законченность классической правильности черт и стана. Ростом

высокая, с баснословно тонкой талией, при роскошных плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее. Такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более. А кожа, глаза, зубы, уши. Да, это была настоящая красавица. Недаром все остальные, даже самые прелестные женщины, меркли как-то при ее появлении. На вид она всегда была сдержана до холодности и вообще мало говорлива. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой и, в особенности, тем видным положением, которые занимал ее муж — она бывала постоянно в большом свете и при дворе, но женщины находили ее несколько странной. Я с первого же взгляда без памяти в нее влюбился. Надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который тайно не вздыхал бы по Пушкиной. Ее лучезарная красота рядом с его магическим именем кружила все головы. Я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с ней незнакомых, но чуть ли никогда ее, собственно, и не видевших».

Ее успех дорого стоил Пушкину. Уже давно светский Петербург стал для него тюрьмой. А для нее это была сцена, где она разыгрывала богиню, Царицу, не подозревая, что магия Пушкинских стихов придает особый блеск ее красоте. Да и он этого, по скромности своей, не сознавал. Наталья Николаевна не поверила бы, если бы ей сказали, что, когда его убьют, потускнеет ее блеск.

Не она одна, все светские красавицы той эпохи были окружены особым вниманьем, вызывали такое же лестное любопытство, которое теперь вызывают кинематографические звезды. Появление новой красавицы было событием, отмечавшимся наравне с царскими указами и новыми стихами Пушкина. Передвижения, успехи, победы, ошибки хорошеньких женщин упоминались в письмах даже людей лично от них далеких. Когда на масленице в Петербург приехала московская красавица, Киреева, Вяземский писал Тургеневу: «Когда она первый раз появилась в собрании, поднялась возня и толкотня, ее окружили, рассматривали, становились на стулья. Пошли сравненья с Завадовской, с Пушкиной. Только и разговоров, что о ней. Вот смена здешних разговоров: стихи Пушкина «На выздоровление Лукулла», поглотил их пожар Лемана (сгорели балаганы, сгорели люди. — *А. Т.-В.*). А появление Киреевой затмило пожар» *(8 февраля 1836 г.)*.

Тот же Вяземский сказал о ком-то: «Природа создала ее красавицей, уж это одно есть избрание и посвящение». Хотя это было сказано не о ней, Наталья Николаевна избранницей

себя чувствовала. Собственная красота ее опьяняла, кружила ее маленькую пустую головку. Целью, смыслом, поэзией ее жизни было вызывать восхищение. Кругом нее были женщины образованные, начитанные, умные, как Карамзины, Бобринские, Элиза Хитрово и ее дочери, Смирнова. Они умели слушать своих умных друзей, умели и сами говорить. Наталья Николаевна молча присутствовала при их беседах. Вряд ли даже слушала.

Сестра поэта, которая вообще к своей моднице-невестке благоволила, рассказывала, что Баратынский, когда Пушкин читал свои стихи, спросил Наталью Николаевну, не мешают ли они ей своим чтением? Жена Пушкина невозмутимо ответила:

— Пожалуйста, продолжайте. Я все равно вас не слушаю.

Так рассказывает в своих воспоминаниях Лев Павлищев, племянник поэта.

Возможно, что это только анекдот. Но ни про одну из многочисленных приятельниц Пушкина такой истории нельзя было бы сочинить. Для них Пушкин был неотделим от его стихов. А Натали шла мимо его творчества, как жена чиновника проходит мимо скучных бумаг, за писанье которых мужу платят жалованье. Он отучил ее называть себя сочинителем, объяснил, что только в лакейской так зовут писателей. Это она поняла. На некоторые вещи она была понятлива и в обществе держать себя умела. Попав в верхние слои русской аристократии, где Пушкин уже был своим человеком, она быстро освоилась с новой для нее обстановкой, сумела использовать положение жены первого в России поэта. Возможно, что она, с неизлечимой тупостью женщины с очень ограниченным кругозором, продолжала называть Пушкина и некоторых его друзей сочинителями. Но они могли об этом и не догадываться. Вслух она этого уже не говорила. Она вообще была неразговорчива.

Письма, дневники, воспоминанья современников не раз упоминают об ее красоте, об ее нарядах. Но никто не сохранил для потомства ни одной ее остроты, ни одного меткого замечанья. Зато она знала все оттенки поклонов, улыбок, мимолетных разговоров, умела с царственной плавностью войти в бальный зал. Легким движеньем ресниц, одним поворотом классической головки могла она приворожить крепче, чем словами. Чего же больше?

Неутомимый поклонник женской красоты, А. И. Тургенев, после парадной церковной службы во дворце в день именин Царя, 6-го декабря 1836 года благочестиво каялся в дневнике: «Великолепие военное и придворное. Пушкина

первая по красоте и туалету. Я не знал, слушать ли, или смотреть на Пушкину и ей подобных? Подобных — но много ли? Жена умного поэта и убранством затейливее всех».

Пушкин и сам продолжал восхищаться торжественной красотой своей жены, хотя все чаще завидовал тем, у кого «жены не красавицы, не Ангелы прелести». Уехав в Москву накануне ее родов, он называет ее в письме — моя прелесть, моя царица, мечтает о портрете, который обещал написать с нее Брюллов. Нечасто беременные жены получают от мужей письма, полные такого восторженного утверждения их красоты. В то же время он писал жене: «Душу твою я люблю еще больше, чем твою красоту».

Странно, но стихов жене Пушкин не писал. Многим женщинам, которых любил, которыми хотя бы мимолетно увлекался, писал, а ей, когда она была еще невестой, посвятил только одно стихотворение «Мадонна», помеченное 8 июля 1830 года. Долго считалось, что к Наталье Николаевне относятся два стихотворения — «Красавице» и «Когда в объятия мои...». Позднейшие исследователи пришли к заключению, что последнее стихотворение написано еще до жениховства. «Красавице» некоторые относили к Царице Александре Федоровне. Пушкин ценил ее красоту. Он записал в Дневник: «Я ужасно люблю Царицу, несмотря на то, что ей уже 35 и даже 36 лет».

Возможно, что «Красавице» относится к графине Е. М. Завадовской. О ней Вяземский писал:

Красавиц севера царица молодая,
Чистейшей красоты высокий идеал...

Ее часто сравнивали с Пушкиной. Генерал Ермолов писал: «Гончаровой-Пушкиной не может быть женщины прелестнее. Здесь многие находят ее гораздо лучше красавицы Завадовской» *(21 декабря 1831 г.)*.

Не так давно сделана архивная находка, которая как бы подтверждала эту версию. Каким-то чудом из альбома Завадовской уцелел один листок, на котором рукой Пушкина написано:

В ней все гармония, все диво,
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, —
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Если, как думали раньше, эти стихи были посвящены невесте, то вряд ли Пушкин стал бы их вписывать в альбом ее соперницы по красоте. Особенно принимая во внимание ревнивый характер Натальи Николаевны.

Но проза Пушкина, его письма к жене показывают, что он был привязан к ней и крепко, и нежно. О своих семейных делах Пушкин по-прежнему не любил разговаривать, но иногда, в письмах Нащокину, проскальзывают два-три слова: «Говорят, что несчастие хорошая школа: может быть. Но счастие есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному, какова твоя, мой друг; какова и моя, как тебе известно. Конечно, мы квиты, если ты мне обязан женитьбою своей...» *(март 1834 г.).*

Год спустя повторяет: «Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились».

Ни в письмах к жене, ни тем более в разговорах с друзьями Пушкин не жаловался на ее расточительную страсть к выездам и нарядам. Его считали необузданным, колючим, вспыльчивым, а он оказался веселым, заботливым, покладистым, внимательным, нетребовательным, бесконечно снисходительным мужем. Он никогда ни в чем не упрекал свою «женку». Твердил, что не мешает ей кокетничать, только просит делать это в меру и с достоинством. По тому, как он надолго оставлял ее одну, можно судить, насколько он ей доверял. И она это доверие заслуживала. Несмотря на все, что она могла видеть, слышать, подозревать в родной семье, ни в ней, ни в ее сестрах не было гончаровской распущенности, которую можно было ожидать от дочерей сумасшедшего отца, выросших между дедом-развратником и грубой, опустившейся матерью.

При всем своем кокетстве Наталья Николаевна умела держать поклонников на расстоянии. Красота, да еще такая ослепительная, сама по себе соблазн и на соблазны толкает, но молодая Пушкина среди шумных светских успехов сохранила свою репутацию незапятнанной. Не любовью, игрой с чужими чувствами наполняла свою жизнь эта суетная, пустая женщина. У нее была жестокая привычка рассказывать мужу про свои победы, передавать ему пылкие речи своих обожа-

телей. Пушкину удовольствия это не доставляло, но ее забавляло.

Она и с Дантесом хотела позабавиться. Хотя от него, быть может, пахнуло на нее огнем. Пушкин, до последнего вздоха настаивавший на ее невинности, все же говорил друзьям, что Дантес ее взволновал.

Дантес два года на глазах у всех ухаживал за ней. Как и многие другие. Не он один стоял за ее стулом, добивался чести протанцевать с ней кадриль или мазурку, только что вошедшую в моду. Не он один скакал за ней по островам. Не он один был ею околдован. Но он был один из самых ее упорных и откровенных обожателей, он обращал на себя внимание, заставлял говорить о своей влюбленности, и в этих разговорах его имя все чаще произносили рядом с именем Пушкиной. Многие наблюдали за красивой молодой парой, одни с тревогой, другие со злорадным любопытством.

На посторонних они производили впечатление влюбленных. Молоденькая барышня, увидав их на балу у неаполитанского посланника, записала в дневник: «Они безумно влюблены друг в друга. Барон танцевал мазурку с Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту».

И Пушкин мог подметить на лице своей Мадонны это упоение, которое бросалось в глаза чужим. Обмен улыбками может ранить, как удар ножа.

«Зимой 1836—1837 гг. мне как-то раз случилось пройтись несколько шагов по Невскому проспекту, промежду Н. Н. Гончаровой-Пушкиной, сестрой ее Гончаровой и молодым Геккерном, — рассказывает младший Вяземский. — В эту самую минуту Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это был первый признак разразившейся драмы. Отношения Пушкина к жене были постоянно дружеские, доверчивые до конца жизни».

Мы никогда не узнаем, сколько в нем было подлинной уверенности в ее правдивости, сколько мужественной решимости во что бы то ни стало защитить честь своего имени. Плетнев писал про Пушкина: «Честь, можно сказать рыцарская, была основанием его поступков, и он не отступал от своих понятий о ней ни одного раза в жизни, при всех искушениях и переменах судьбы своей». А тут дело шло о чести его и всей его семьи.

Роковая дуэль была вызвана не только ревностью, но и отвращеньем к грязи, которой старались закидать его и Наталью Николаевну. До конца не услыхала она от него ни одного грозного слова. От ревнивца трудно было бы ожидать

такой сдержанности, тем более что поведение Дантеса давало Пушкину основание ревновать. Было ясно, что и автор анонимного письма намекает на Дантеса. В докладе своем Государю Пушкин написал:

«Признавая поведение жены моей безукоризненным, в то же время все говорили, что повод к этой мерзости дал Дантес своим упорным ухаживанием за ней. В то же время я убедился, что анонимные письма писал Геккерн».

Судьба, чтобы еще резче оттенить открытый, благородный характер Пушкина, противопоставила ему двух иностранцев — молодого, ничтожного бездельника и низкого светского негодяя, который, точно ядовитое насекомое, исподтишка жалил его. Пушкина приводило в бешенство ощущенье нечистых, неуловимых прикосновений к его семье.

Многие подробности последней дуэли, вероятно, навсегда останутся неясными. Внешняя обстановка точно нарочно сочинена таинственным режиссером, чтобы придать последним дням жизни поэта что-то шекспировское. В нем самом величавая сдержанность сменяется бешеным негодованьем, которое пугало близких, смех, то горький, то вдруг веселый, перемешивается со слезами. Отдельные события, встречи, переговоры секундантов и посредников, злые салонные шепоты, двусмысленные усмешки, мерзости, замучившие поэта, мрачные вспышки гнева в голубых его глазах, неудержимая игра улыбок, которыми обменивались Натали и Дантес, этот высокий, белокурый человек, тень которого за 20 лет перед тем вызвала немка-гадалка, все движения страстей разыгрываются в нарядной рамке балов и пышных забав, которыми в ту зиму Петербург был особенно богат. Семейная драма Пушкиных переплеталась со светской хроникой, развертывалась на глазах толпы любопытной, насмешливой, безжалостной, как всякая толпа. Как далек был Пушкин от царственного, творческого одиночества Болдина. И как дорого заплатил он за желание найти на проторенных путях обыденное счастье обыденных людей.

Весь высший свет, включая Царя с Царицей, следил за быстро развивающимся столкновением, а все-таки сущность его осталась неразгаданной. Многих подробностей мы не знаем. Мы не знаем, была ли Наталья Николаевна влюблена в Дантеса, или только играла? Больше того, мы не можем утверждать, что жена, из-за которой Пушкин пошел на роковой смертный поединок, все еще оставалась для него единственной, незаменимой женщиной, как в первые годы после свадьбы.

Глава XXVII

СУДЬБА

Пушкин только созрел как художник и все шел в гору как человек...
Жуковский

5 ноября, на следующий день после получения анонимного диплома, Пушкин послал Дантесу-Геккерну вызов. Его письмо попало в руки Геккерна-старшего, так как молодой кавалергард нес в казармах сверхурочное дежурство «за незнание людей своего эскадрона и за неосмотрительность в одежде». Геккерн бросился к Пушкину, чтобы уладить ссору. При настроении Пушкина на это трудно было рассчитывать, но старик, как его называл Пушкин, так униженно просил его отложить дуэль, хотя бы на 24 часа, что Пушкин сжалился над ним. Добродушие взяло верх на праведным гневом.

Геккерн пытался разжалобить и друзей Пушкина. Он встретил на Невском Вяземского и умолял его уговорить Пушкина дать ему две недели отсрочки. По словам Бартенева, «князь тогда же понял старика и не взялся за посредничество, но Жуковского он разжалобил». Главной своей сотрудницей Геккерн выбрал тетку Натальи Николаевны, Е. И. Загряжскую. К ней, в Зимний дворец, поехал он прямо от Пушкина. Она испугалась, поняла, что светской карьере ее любимицы грозит опасность. Искушенный в интригах дипломат и опытная, старая фрейлина стали сообща придумывать выход. И придумали, но очень рискованный. Они решили объявить, что Дантес влюблен совсем не в Натали, а в старшую сестру, в Коко, и к ней сватается. Надо, чтобы Пушкин как можно скорее об этом сватовстве узнал и в него поверил. Загряжская решила просить помощи Жуковского. Наталья Николаевна, которую кто-то, может быть, тетка, а может быть, и старший Геккерн, держал в ходу этого плана, спешно послала своего брата в Царское Село. Жуковский почувствовал, что надвигается катастрофа, сразу приехал, но далеко не сразу понял, кто прав, кто виноват.

Десять недель спустя, когда Пушкин найдет за оградой Святогорского монастыря тот покой, о котором тщетно мечтал в жизни, Жуковский, в письме к Бенкендорфу, заклеймит обоих Геккернов, как «злонамеренных иностранных развратников, которые низкими средствами старались раздражить и осрамить Пушкина». Но в первый момент Жуковский отнесся к ним, как к порядочным людям, считался с ними, верил им,

жалел «бедного Геккерна». Пушкину, по своему обыкновению, Жуковский читал нотации.

Жуковский приехал из Царского Села 6 ноября и в тот же день встретил у Пушкина Геккерна. 24-часовой срок истек. Голландский посланник пришел умолять об отсрочке. Он говорил о своей привязанности к Дантесу, о своих надеждах и страхах. По словам Вяземского, «Геккерн так говорил Пушкину о своих отеческих чувствах к молодому человеку, что Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, согласился отсрочить дуэль на две недели и в течение этого времени вести себя так, точно ничего не произошло».

Теперь Геккерн и Загряжская могли приняться за осуществление своего плана. 7 ноября Жуковского, который на все готов, чтобы остановить дуэль, извещают о неожиданном сватовстве Дантеса. Жуковский доволен. Едет к Загряжской, к Геккерну, к Пушкину, видается и с Дантесом, который в этих переговорах играет роль пассивную. За него все решает, все устраивает, со всеми хитрит старший Геккерн, лживый, скользкий дипломат, «гнусная каналья». Пушкин видит их уловки, их паучье беганье вокруг него и его жены. Жуковский не видит, сердится, удивляется, что Пушкин не придает никакого значения сватовству Дантеса, твердит, что свадьбы не будет, что это только увертки отца и сына, чтобы избежать дуэли.

Никто из друзей не оставил подробной записи о том, что делал Пушкин, что делалось кругом него в эти последние, страшные для него месяцы его жизни. Приходится восстанавливать события по отдельным, отрывистым данным. Позже, по памяти, написал воспоминания граф Соллогуб. Сразу после смерти Пушкина, под жгучим впечатлением утраты, Вяземский написал великому князю Михаилу Павловичу очень значительное письмо, как бы отчет о том, что произошло. Он дал общую психологическую картину. В ней нет подробностей, нет дат, нет нарастания событий. Все же среди немногочисленных документов о дуэли и смерти Пушкина это письмо является одним из важнейших уже потому, что его под непосредственным впечатлением событий писал человек очень умный и безукоризненно правдивый.

Есть еще дневник А. И. Тургенева, который, после двухлетнего пребывания за границей, вернулся в Петербург. Он почти каждый день, а иногда и несколько раз в день, видался с Пушкиным. Но в дневнике об этих встречах упоминается мельком, суетливо. Некогда ему было остановиться, всмотреться. Все суетился, всю жизнь торопился.

Есть письмо Жуковского, которое сразу после смерти

Пушкина он написал отцу, С. Л. Пушкину. В составлении этого письма принял участие весь кружок друзей, бывших около Пушкина в последние его дни. Его надо принять за основной источник. Есть черновик другого письма Жуковского, к Бенкендорфу, по-видимому, неотправленного. Есть, наконец, три листочка заметок, набросанных Жуковским в эти темные ноябрьские дни. Это отрывистые фразы и неряшливо датированные факты. Их отчасти дополняют его пять писем к Пушкину, но и они без дат. Ответных писем Пушкина нет. Как это случилось? Куда они исчезли?

Жуковский пишет Пушкину в том же тоне, как случалось писать ему и раньше, когда поэт ссорился в Михайловском с отцом, или, уже женатый, чуть не поссорился с Царем из-за своего желания уехать в деревню. Все так же, как школьника, корит Жуковский Пушкина за необдуманность, резкость, глупость, неосторожность, невеликодушие, неблагодарность. Осыпает его упреками.

Пушкин в свадьбу не верит и от дуэли отказаться не хочет. Жуковский пишет ему: «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Я еще не дал никакого ответа старому Геккерну. Но ради Бога, одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от *безумного злодейства*, а жену твою от совершенного посрамления».

Странное выражение. Точно Пушкин был способен на злодейство. Жуковский старается оградить от его гнева «бедного отца, который силится отбиться от несчастья, одно ожидание которого сводит его с ума». Из писем Жуковского не поймешь, кого считает он обиженным, кого обидчиком? Он отчитывает Пушкина: «В этом деле и с твоей стороны есть много такого, в чем должен ты сказать — виноват. Все это я написал для того, что счел своей святейшей обязанностью засвидетельствовать перед тобой, что молодой Геккерн во всем, что делает его отец, совершенно посторонний, что он так же готов драться с тобой, как ты с ним. И отцу отдать ту же справедливость».

Казалось бы, что первая святейшая обязанность Жуковского — оградить своего гениального друга от гнусной травли. Но старший Геккерн притворился невинной жертвой, сумел одурачить Жуковского и надеялся с его помощью, прежде чем объявить о сватовстве, устроить между противниками примирительную встречу.

Пушкин знал, что рано или поздно дуэль неизбежна, и от всякого общенья с Дантесом отказывался. У него было одно желанье — поскорее рассчитаться с обидчиком, который нарушил его покой, бросал тень на его честь, делал его

смешным, порочил репутацию Натальи Николаевны. Уже весь город знал об анонимных письмах, о возможности дуэли. Жуковский, не в меру жалевший тех, кого он сам позже назовет злонамеренными, ветреными иноземными развратниками, вряд ли облегчил Пушкину муку и тяжесть этих дней.

На третий день после вызова, когда Геккерн крутился и торговался за Дантеса, Пушкин был у графа Виельгорского и, к своему большому неудовольствию, узнал, что графу все известно. Геккерны, ища сочувствия, спешили первые все всем рассказывать. Это не помешало Жуковскому сурово укорять Пушкина за его откровенность с такими близкими друзьями, как Вяземский и Карамзины: «Ты поступаешь весьма неосторожно, невеликодушно и даже против меня несправедливо. Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софии Николаевне?..» В следующей записочке Жуковский, узнав о разговоре Пушкина с Вяземской, уже грозит ему: «Я булавочку свою беру из игры нашей, которая теперь с твоей стороны жестоко мне не нравится».

Так близкий друг Пушкина требует от него полной скрытности, хотя знает, что Пушкин пропадает от гнева, бешенства и боли. Жуковский сам отметил на одном из своих отрывистых листков, что Пушкин даже плакал. Он записал: «Я у Пушкина. Большое спокойствие. Его слезы. То, что я говорил об его отношениях...» Пометка — 8 ноября.

Слезы и спокойствие. Какие отношения? С кем? Опять загадка.

Пушкин, послав вызов, принял решение, которое считал единственно правильным, неизбежным. Отсюда и его спокойствие. Оно исчезнет, когда его, хитростями, обходными движеньями, заставят временно отказаться от дуэли. 26 января, когда он снова пошлет Дантесу вызов, уже окончательный, к Пушкину сразу вернется его ясность. Он сразу успокоится.

Но слезы. Были ли это слезы отчаяния, жалости, ревности, негодования или раскаяния? Этого Жуковский не отметил, не пояснил.

Как Пушкину должно было быть противно бороться с такими ничтожными, нечистоплотными насекомыми, как эти Геккерны, которых он после сватовства Дантеса стал еще больше презирать. И не он один. В письме к великому князю Михаилу Павловичу Вяземский передает отношение своего кружка к Геккернам: «Брак был решен между отцом и теткой, г-жой Загряжской. Было бы слишком долго излагать В. И. В. все лукавые происки молодого Геккерна во время этих переговоров. Приведу только один пример. Геккерны, старый и моло-

дой, возымели подлое намерение просить молодую женщину написать молодому человеку письмо, в котором она умоляла бы его не драться с мужем. Разумеется, она отвергла с негодованием это гнусное предложение».

Поистине гнусное. К сожалению, Вяземский не указал, когда Геккерны вымогали от Натальи Николаевны это письмо — если до сватовства, то, может быть, Дантес рассчитывал, что ему удастся и без сватовства увильнуть от дуэли.

Старший Геккерн, спасая репутацию своего фаворита, хотел, чтобы Пушкин взял свой вызов обратно, прежде чем Дантес посватается к Коко. Жуковский и на это шел и простодушно сердился на Пушкина, что он упирается. В этих переговорах прошла неделя.

Загряжская и Геккерн решили, что довольно тянуть, пора разрубить узел. Тетка вызвала Пушкина к себе. Утром 13 ноября, в тот день, когда она ждала Пушкина к себе, голландский посланник послал старой фрейлине письмо с точными указаниями, как она должна поднести Пушкину это сватовство: «Я забыл вчера Вам посоветовать, чтобы Вы, во время сегодняшнего разговора, сказали, что план, касающийся моего сына и К., уже давно существует, но когда Вы пригласили меня придти к Вам, я заявил, что не хочу дольше отказывать в моем согласии, с условием сохранить все дело в тайне до окончания дуэли, потому что с момента вызова Пушкина оскорбленная честь моего сына требовала молчания».

Пушкин привык видеть в Е. И. Загряжской старшую родственницу, опекуншу сестер Гончаровых, заменявшую им мать. Ей поручал он жену во время своих разъездов. Он относился к ней с уважением, с доверием, был к ней привязан. Теперь она заставила его в своей гостиной разговаривать с Геккерном, которого он считал автором анонимных писем и главным зачинщиком интриги, вязкой паутиной оплетавшей Пушкина. Своего презренья к обоим Геккернам поэт ни от кого не скрывал. Дантеса он считал пустым малым, но все-таки не трусом, никак не ожидал, что он будет прикрываться женитьбой на девушке, которую не любил, которая была на шесть лет старше его.

Загряжская, в присутствии Геккерна-отца, сообщила Пушкину, что Дантес просил у нее руки Коко и что дальнейшая ссора между будущими родственниками теряет всякий смысл. Что Пушкин мог ей на это возразить? Он оказался вынужден, не выходя из гостиной Загряжской, сказать Геккерну, что берет свой вызов обратно.

Казалось, дело улажено. Но тут неожиданно заговорил Дантес. Он понимал, что попал в глупое положение, и вздумал

ставить Пушкину условия. В архиве Геккернов хранился листок, где рукой Дантеса было написано: «Я не могу и не должен соглашаться, чтобы в письме была упомянута м-ль Гончарова. Жениться или драться? Честь запрещает мне принимать такие условия, и эта фраза ставила бы меня в печальную необходимость драться». Дантес требует от Пушкина объяснения его поступков: «Прежде чем вернуть Вам Ваше слово я желаю знать, почему Вы изменили Ваши намерения, не уполномочив никого представить Вам объяснения, которые я хотел лично Вам дать? Вы первый должны признать, что прежде чем взять слово обратно, каждый из нас должен представить объяснения, чтобы мы могли потом относиться друг к другу с уважением».

По поводу этого письма Дантеса есть у Жуковского такая запись:

«Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина».

Жуковский записал это сразу после строчки, где говорится о свидании Пушкина с Геккерном у Загряжской.

Три дня спустя, 16 ноября, у Карамзиных праздновали день рождения хозяйки. За обедом Соллогуб сидел рядом с Пушкиным: «Во время общего веселого разговора Пушкин вдруг нагнулся ко мне и скороговоркой сказал:

— Ступайте завтра к Даршиаку, условьтесь с ним только насчет матерьяльной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь.

Потом продолжал шутить и разговаривать, как ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возразить не осмелился. В тоне Пушкина была решимость, не допускающая возражений».

Пушкин по-прежнему был уверен, что свадьбе не быть. Но в тот же вечер у графини Фикельмон был большой раут. По случаю смерти Карла X дамы были в трауре. Только счастливая невеста, Екатерина Гончарова, появилась в белом платье. Она уже давно была страстно влюблена в поклонника своей неотразимой сестры и действительно была очень счастлива и до, и после свадьбы.

На этом парадном приеме в австрийском посольстве промелькнули все действующие лица нарастающей драмы. Были там оба Геккерна, были их друзья, включая министра иностранных дел, графа Нессельроде и его жену. Была Наталья Николаевна, которая и в черном платье затмевала свою сестру-невесту. Но копившееся кругом них электричество начинало и ее тревожить.

Жуковский записал: «Записка от Нат. Н. ко мне и мой совет. Это было на рауте у Фикельмона».

Какой совет? Что она написала? Опять загадка.

Пушкин приехал поздно, казался очень встревоженным. Дантеса он грубо отогнал от Коко, запретил ей с ним разговаривать. Это заметили оба секунданта, Соллогуб и Даршиак, молодой секретарь французского посольства, которого Дантес просил быть его свидетелем. «Мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы», — говорит Соллогуб в своих воспоминаньях.

Соллогуб был очень молод и восторженно предан Пушкину. Он растерялся, не знал, что делать, как спасти поэта. Эта дуэль его мучила. Он боялся за Пушкина. «Ни у одного из русских не поднялась бы рука на него, но французу жалеть русской славы было нечего».

Тут же, на рауте, Соллогуб попытался образумить Дантеса. Их разговор дошел до нас в двух версиях. В печатных своих воспоминаниях Соллогуб писал: «Дантеса я взял в сторону и спросил, что он за человек? Я человек честный, — отвечал он, — и надеюсь это доказать. Затем он стал объяснять мне, что не понимает, чего от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден. Но никаких ссор и скандалов не желает».

Такова печатная версия воспоминаний. Но в бумагах П. В. Анненкова сохранилась еще черновая записка Соллогуба. Это единственный из всех известных документов, где проступает затаенная, ревнивая ненависть Дантеса к Пушкину.

«Я взял Дантеса в сторону. «Что вы за человек?» — спросил я. «Что за вопрос», — отвечал он и начал врать. — «Что вы за человек?» — повторил я. — «Я человек честный и скоро это докажу!» Разговор наш продолжался долго. Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина, а что с ним могут делать, что хотят: на Кавказ или в крепость».

Немудрено, что после этого разговора Соллогуб не спал всю ночь. Наутро он поехал к Пушкину. В той же черновой записи Соллогуб говорит: «Пушкин был в ужасном порыве страсти. Дантес подлец. Я ему вчера сказал, что плюю на него».

Все-таки в ноябре друзьям и секундантам удалось кое-как предотвратить дуэль. Соллогуб, исполняя данное ему Пушкиным поручение, поехал к Даршиаку, чтобы условиться с ним «насчет матерьяльной стороны самого беспощадного поединка. Каково же было мое удивление, когда с первых же слов Даршиак объявил мне, что он сам всю ночь не спал, что хотя он не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских». Затем он показал Соллогубу письмо, где Пушкин брал назад свой вызов:

«Я вызвал Г. Ж. Геккерна на дуэль, и он принял мой вызов, не входя ни в какие объяснения. Прошу секундантов рассматривать мой вызов, как не существующий, так как молва известила меня, что Г. Ж. Геккерн решил после дуэли объявить о своем намерении жениться на м-ль Гончаровой» *(17 ноября 1836 г.).*

Геккерны старались добиться, чтобы Пушкин в этом письме не упоминал о сватовстве. Он им этой уступки не сделал. В тот же вечер, на балу у Салтыковых, помолвка была объявлена. На балу были и Пушкины, муж и жена. Пушкин перестал здороваться с Дантесом и запретил ему бывать у них в доме. Для него эта свадьба ничего не разрешала, скорее усложняла, запутывала его в новые сети. Он-то отлично знал, в которую из двух сестер влюблен Дантес.

На помолвку красавца кавалергарда с незаметной, небогатой фрейлиной Екатериной Гончаровой, смотрели, как на благородную жертву, принесенную им ради спасенья чести любимой женщины. Эту сентиментальную легенду опровергает Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу: «Часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это плод досужей фантазии. Ничто, ни в прошлом молодого человека, ни в поведении его относительно нее, не допускает подобного толкования».

Старший Геккерн сам распространял по Петербургу эти россказни. Когда, после смерти Пушкина, Николай написал голландскому королю, прося его отозвать своего посланника, Геккерн сразу отбросил прежнюю версию, будто бы Дантес женится по любви. И в письмах к своему министру иностранных дел, и в особенности в письмах графу Нессельроде, русскому министру иностранных дел, Геккерн без всякого стеснения опорочивает Наталью Николаевну. Своему министру он пишет осторожнес, лукаво искажает историю сватовства, пускает в ход инсинуации, недомолвки, от которых, в случае нужды, можно отречься:

«Сын мой, понимая хорошо, что дуэль с Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре г-жи Пушкиной. Этот брак, вполне приличный в светском отношении, так как девушка принадлежит к лучшим семьям этой страны, спасал все: репутация г-жи Пушкиной оставалась вне подозрений... Но мой сын, как порядочный человек и не трус, хотел сделать предложение только после дуэли... тут вдруг Пушкин написал секундантам, что, будучи

осведомлен всеобщей молвой о намерениях моего сына, он берет вызов обратно».

Русскому министру голландец писал с большей уверенностью. Он знал, что найдет у Нессельроде поддержку. Может быть, даже надеялся, что его письма будут доложены Государю и произведут на него впечатление. Геккерн понимал, что история с дуэлью может отразиться на его карьере, и всеми силами оборонялся. Сразу после смерти Пушкина он послал графу Нессельроде, с которым каждый день виделся, длинное письмо, «чтобы опровергнуть клевету, предметом которой я сделался». В этом письме Геккерн имел наглость ссылаться на Наталью Николаевну, как на свидетельницу, которая может подтвердить невинность Дантеса и его собственную.

«Говорят, что я подстрекал моего сына к ухаживаниям за г-жой Пушкиной. Обращаюсь по этому поводу к ней самой. Она сама может засвидетельствовать, сколько раз я ее предостерегал от пропасти, в которую она летела. Она скажет, что в своих разговорах с ней я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть глаза, по крайней мере я на это надеялся. Если г-жа Пушкина откажет мне в этом признании, то я обращусь к свидетельству двух высокопоставленных дам, бывших поверенными моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех своих усилиях порвать эту несчастную связь» *(1 марта 1837 г.)*.

Геккерн хорошо владел французским языком. Он хорошо знал, что эти слова «pour rompre cette funeste liaison»* имеют совершенно определенное значение, говорят о связи незаконной, грешной. Но Пушкин был уже убит, за Наталью Николаевну некому было заступиться, а Дантеса ему во что бы то ни стало хотелось обелить, представить как жертву. Он в том же письме писал: «Высокое нравственное чувство заставило моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины... Он предпочел безвозвратно связать себя, чтобы только не компрометировать г-жу Пушкину».

Такие же речи при жизни Пушкина Геккерн-старший вел вполголоса в петербургских гостиных. Его гнусный шепот доходил до слуха Пушкина, усиливал его тревогу, его гнев. Его счеты с Геккернами с помолвкой не кончились. Оскорбление, нанесенное анонимными письмами, не было смыто, ни тем более забыто. 21 ноября, когда Дантес уже был объявлен женихом Коко, Пушкин написал Геккерну-старшему письмо, где, как говорит Вяземский, «излил все бешенство свое, всю скорбь раздраженного, оскорбленного сердца свое-

---

* «Чтобы порвать эту несчастную связь» *(фр.)*.

го, желая, жаждая развязки и пером, омоченным в желчи, запятнал неизгладимым поношением и старика и молодого».

Письмо Пушкина дышит презреньем и негодованьем. Слова сыплются, как удары, как пощечины. Некоторые фразы, как терновые шипы, впились в мозг Пушкина. Они несколько раз возвращаются в разных вариантах письма и повторяются в окончательном тексте. Пушкин это письмо прочел своему секунданту, Соллогубу: «Он запер дверь и сказал — я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте. — Тут он прочитал письмо... Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я письма этого смертельно испугался. В тот же вечер я рассказал Жуковскому у Одоевского. На другой день Жуковский сказал у Карамзиных, что письмо остановлено».

Жуковский воображал, что женитьба Дантеса на Коко внесет успокоение. Пушкин в ноябре дал себя уговорить, письма Геккерну не отправил, но хранил его, а в январе послал, почти не меняя текста, настолько точно это письмо выражало мысли и чувства, которыми поэт мучился три последние месяца жизни. В тот же день, 21 ноября, когда Пушкин писал Геккерну, написал он и Бенкендорфу, докладывая через него Царю о своем столкновении с Геккернами. Это единственный документ, где Пушкин сам изложил историю анонимных писем и сватовства Дантеса. Весь Петербург уже знал о полученных им пасквилях, порочащих честь его жены. Молчать Пушкин не мог. Он носил придворное звание. Один из его противников был гвардейский офицер. Другой — иностранный дипломат, аккредитованный при русском дворе. Пушкин считал себя обязанным оповестить об этом деле Царя. В письме Бенкендорфу Пушкин ясно говорит, что это доклад, но отнюдь не просьба о защите. Не ему, при его независимости, было искать у правительства помощи в делах чести.

Друзья, постоянно встречавшие Пушкина в это время, говорят, что он был возбужден, встревожен, нервен, переходил от мрачности к желчному веселью, от вспышек гневной ярости к слезам. Но эти внутренние бури, которые он не мог, а может быть, и не хотел, скрыть, не отразились на его письме Бенкендорфу. Он написал его точно, сжато, просто, как настоящий писатель-классик.

Письмо настолько важно, что я привожу его целиком, исключив только обычные заключительные вежливые слова:

«Граф, я в праве, я даже считаю себя обязанным сообщить о том, что произошло в моем семействе. Утром, 4-го ноября, я получил три экземпляра письма оскорбительного для чести моей и моей жены. По внешнему виду бумаги, по стилю и манере изложения, я сразу увидал, что оно написано иностранцем, человеком высшего общества, дипломатом. Я стал наводить справки. Я узнал, что еще семь или восемь человек получили в тот же день двойные конверты, куда были вложены такие же письма, адресованные на мое имя. Большинство адресатов, подозревая какую-то низость, мне их не переслали.

Все они были возмущены низким и незаслуженным оскорблением, но, признавая поведение моей жены безукоризненным, в то же время говорили, что повод к этой мерзости дал Дантес своим упорным ухаживанием за ней. Я не мог допустить, чтоб имя моей жены связывали с чьим бы то ни было именем. Я послал это сказать Дантесу. Барон Геккерн явился ко мне и принял за Дантеса вызов, но просил о двухнедельной отсрочке.

Случилось так, что во время данной ему отсрочки Дантес влюбился в мою свояченицу, м-ль Гончарову, и сделал ей предложение. Об этом меня оповестила молва. Я заявил Даршиаку, секунданту Дантеса, что беру вызов обратно. В то же время я убедился, что анонимные письма писал г. Геккерн, о чем считаю своим долгом предупредить правительство и общество.

Я единственный судья и хранитель чести моей и жены моей, почему я не прошу ни правосудия, ни мести; я не могу и не хочу сообщать кому бы то ни было, на чем основаны мои утверждения» *(21 ноября 1836 г.)*.

Очевидно, письмо было доложено Государю, как и надеялся Пушкин. Через два дня Царь вызвал его в Зимний дворец. При аудиенции присутствовал Бенкендорф. О чем Царь говорил с поэтом, неизвестно. По-видимому, Пушкин рассказал Николаю, как Геккерн-старший преследовал Наталью Николаевну своими нашептываньями, уверял ее, что Дантес умирает от любви к ней. Во всяком случае, Царь позже писал брату в выражениях, очень близких к уже написанному, но еще не отправленному письму Пушкина к Геккерну:

«Хотя, — писал Николай, — никто не мог обвинять жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса, в особенности его гнусного отца... Порицание поведения Геккерна справедливо и заслуженно, он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто

умирал к ней любовью... Жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих».

Никакого реального результата разговор Пушкина с Царем не имел. Поэт сам был «хранитель своей чести», а бесчестье голландского дипломата было недостаточно доказано, чтобы правительство могло вмешаться в историю с анонимными письмами. Конечно, можно было убрать, услать куда-нибудь гвардейского офицера Жоржа Дантеса, но и этого не нашли нужным сделать. Граф В. Ф. Адлерберг рассказывал Бартеневу, что, когда пошли по Петербургу анонимные пасквили, он, «находясь в постоянных дружеских сношениях с Пушкиным, восхищаясь дарованием Пушкина, встревожился. Он вспомнил, что Дантес говорил, что не прочь поехать на Кавказ, подраться с горцами, и поехал к В. К. Михаилу Павловичу, прося его удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный красавец француз пользовался большим успехом в обществе. Его считали украшением балов. Он подкупал своим острословием, до которого В. К. был большой охотник».

Возможно, что Царь не принял крутых мер еще и потому, что тут была замешана репутация молодой женщины, которой и он восхищался. Всякий лишний шум мог ей повредить.

Почти через сто лет после смерти Пушкина даровитый пушкинист П. Е. Щеголев пустил в ход легенду, что одной из причин смерти Пушкина была влюбленность Николая в его жену. Щеголев нигде прямо не сказал, что между Пушкиной и Царем была тайная любовная связь, но его сопоставления и намеки это достаточно ясно говорят. Его доказательства настолько шатки, что можно было бы об этой гипотезе не упоминать, если бы она не бросала тень на Пушкина. В 1937 году, по случаю столетия со дня смерти Пушкина, его поминали в России и по всему миру, и эту пикантную выдумку повторили на всех языках, в речах, в печати, по радио. Она вошла в серьезный труд о Пушкине американского профессора Саймона. Нельзя оставить без ответа такое опороченье имени Пушкина. Он умер, защищая свою честь. Мы, его литературные потомки, обязаны защищать его от посмертной клеветы.

Щеголев построил свои доводы на анализе анонимного диплома. В нем он нашел намеки не на Дантеса, а на Николая. То, что Нарышкин назван великим магистром ордена рогоносцев, Щеголев толкует как напоминание о связи Александра I с Нарышкиной. С той поры прошло более 20 лет. Уже были забыты романы предыдущего царствования, но Щеголев

пишет*: «Мне думается, что составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии»**. Почему думается? Далее еще болсс произвольное развитие этой совершенно произвольной царственной линии. Это уже не литературнос исследование, это политический памфлет, сочиненный для вящего опорочения одного из Романовых.

В подкрепление своей легенды Щеголев пишет: «Пушкина и ей подобные красавицы фрейлины и молодые дамы двора не только ласкали высочайшие взоры, но и будили высочайшие вожделения. Для придворных красавиц было величайшим счастьем понравиться монарху и ответить на его любовный пыл». При этом Щеголев цитирует двух писателей, весьма от русского двора далеких, Добролюбова и француза Галлэ де Культур, который провел в России несколько лет, как секретарь князя А. Н. Демидова сан Донато. Потом он издал в Париже книгу «Царь Николай и Святая Русь». Книга вышла в 1855 году, в момент повальной русофобии, поднявшейся во Франции и в Англии в связи с Крымской войной. Русского Царя старались изобразить как некое азиатское чудовище. Обычно Щеголев давал критическую оценку источникам, которыми пользовался, но о книге Галлэ де Культур он только говорит — «острая и любопытная книжка, при некоторых и немалых неточностях». На самом деле это книга невежественная, легкомысленная. Особенно во всем, что касается Пуш-

---

* Книга П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» вышла первым изданием еще при старом режиме, потом была переиздана в Москве в 1928 году. В ней полная, хорошо документированная картина событий. Тем неприятнее читать в такой серьезной работе клевету на Пушкина, «по царственной линии», вставленную во второе издание. — *Прим. авт.*

** В книге П. Е. Щеголева эта фраза приводится в следующем контексте:

«Нарышкин — великий магистр ордена рогоносцев — стал рогоносцем по милости императора Александра, пошел, так сказать, по царственной линии. И первую главу в истории рогоносцев историограф должен был начать с императора Александра. Начать... а продолжать?

Мне думается, составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии. Если достопочтенный великий магистр был обижен в своей семейной чести монархом, то его коадъютору, его помощнику г-ну Александру Пушкину, историографу ордена, кто нанес такую же обиду, кто сделал его рогоносцем? Надо поставить вопрос точнее: в кого метил составитель пасквиля, на кого он хотел указать Пушкину, как на обидчика его чести? На Дантеса ли? Полно, так ли это? Не слишком ли мелко после пышного начала, после именования величавого рогоносца по высочайшей милости, кончить указанием на Дантеса!» (Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С. 369.)

кина. В ней повторяется вздорный рассказ о том, как генерал Милорадович будто бы высек Пушкина по приказу Александра I. Эта злая и бессмысленная петербургская сплетня в свое время чуть не довела молодого Пушкина до самоубийства. А француз выдает это за факт и на нем строит всю дальнейшую психологию поэта. По его словам, Пушкин этим сеченьем был так потрясен, что «добровольно осудил себя на ничтожество (néan) и весь остаток жизни провел в борьбе с собственными мыслями. Он смирился и, как орел с подрезанными крыльями, стал летать низко, перестал парить над вершинами и океанами».

Вот на этого пошлого автора, который даже дату смерти Пушкина не мог правильно указать и уморил его 2 января 1838 года, пушкинист Щеголев нашел возможным опереться для характеристики нравов высшего светского общества и Царя, о котором француз знал так же мало, как и о Пушкине. «Царь самодержец, — писал Галлэ де Культур, — в своих любовных историях, как и в остальных своих поступках. Если он отличает женщину на прогулке, в свете, в театре, он говорит одно слово дежурному адъютанту... Нет примера, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительной признательности.

«Неужели царь никогда не встречает отпора со стороны своих жертв?» — спросил я одну даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности.

«Никогда», — ответила она мне с выражением крайнего изумления.

При этом добродетельная дама пояснила любознательному иностранцу:

«Мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом».

Даже если бы это было так, это еще не доказывает, что Пушкина была в связи с Царем, и Щеголеву, внимательному исследователю той эпохи, не следовало бы цитировать, да еще без всяких оговорок, такое огульное поношение русских женщин той эпохи. Он много занимался декабристами, не мог он не знать, какое высокое понятие о чести было присуще тогдашнему просвещенному русскому дворянству, Раевским, Вяземским, самому Пушкину, каким высоким сознанием личного достоинства и долга были исполнены многие женщины придворной среды, из которой вышли жены декабристов. Но Щеголев увлекся возможностью бросить лишний комок грязи в одного из Романовых и сделал это за счет Пушкина, не побоявшись его запачкать. Будь эта догадка

верна, она нанесла бы несравненно больший ущерб репутации поэта, чем репутации Царя.

Со времени смерти поэта прошло сто лет. Никто из друзей и недругов Пушкина, никто из современников и многочисленных исследователей никогда не обмолвился ни одним словом, не напал ни на какие данные о связи Натальи Николаевны с Царем. Об этом не говорит ни один из тоже достаточно многочисленных врагов Николая I, ни один из недоброжелателей поэта, так охотно возводивших на него всякие поклепы. Герцен, беспощадный, непримиримый враг Николая I, оставил много рассказов о недостатках и пороках этого Государя, но нигде у него нет даже намека на то, что Щеголев назвал — по царственной линии. А Герцен и в Москве, и в эмиграции встречал многих близко знавших Пушкина.

Есть еще один и для меня решающий довод против щеголевской легенды. Это отношение близких, преданных ему людей к его вдове. Его друзья были люди порядочные, морально очень брезгливые. Наталья Николаевна не могла бы ждать от них снисхождения, если бы в основе травли, погубившей ее мужа, лежала ее связь с Царем. Между тем после дуэли и после смерти поэта они сохранили к ней добрые чувства, старались ее поддержать. Последние два дня жизни Пушкина княгиня Вера Вяземская почти не отходила от него и от его жены, а княгиня Вера была женщина до резкости, до беспощадности прямая. Дочь Карамзина, княгиня Е. Н. Мещерская, большой друг Пушкина, тогда же писала: «Я все это время была с ней, прежде всего, потому что это доставляло мне утешение, хотя бы таким путем отдать дань памяти Пушкина, и еще потому, что, право, судьба этой молодой женщины так ужасна, что заслуживает сочувствия... Минутами ее просто раздирают угрызения совести» *(1837)*.

Отношения между Николаем I и Пушкиным были очень сложные, для поэта очень трудные. Десять лет прошло с тех пор, как только что коронованный молодой Царь снял с него опалу. С тех пор многое изменилось в жизни, в них обоих. Прошла первая, наивная влюбленность Пушкина в Николая. Но взаимный интерес, более дружественный со стороны Пушкина, оставался. Женитьба и камер-юнкерство связали Пушкина со двором; он часто стал встречаться и разговаривать с Царем. Но по вольнолюбивой, горделивой природе своей он не мог стать царедворцем. Придворные обязанности его тяготили, светские выезды ему давно надоели. Без средств, с репутацией неисправимого либерала, с постоянной, неудовлетворенной потребностью в уединенной, сосредоточенной

работе, он только ради красавицы жены таскался по балам. Он шутливо писал ей: «Одно мне выгодно от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать, да жрать мороженное». Он хотел уехать в деревню, Бенкендорф не пустил. Внешне Царь был приветлив, но камер-юнкерство и прочитанное письмо заставили Пушкина насторожиться, оставили в нем глубокую царапину. С тех пор Пушкин так и остался настороже.

Все же, когда анонимный диплом потряс его, Пушкин через шефа жандармов доложил об этом Царю. Он этого никогда не сделал бы, будь в пасквиле намек на Николая I. Пушкин мог бы скорее догадаться, чем Щеголев спустя сто лет. С таким обидчиком, вызвать которого на дуэль было невозможно, Пушкин ни в какие объяснения не стал бы пускаться.

Николай I женился по любви и с женой жил очень дружно. Но он любил болтать с хорошенькими женщинами, танцевать с ними, кокетничать, возбуждать между ними соревнование, дразнить их, интриговать на маскарадах, до которых он был большой охотник. В Пушкинскую эпоху у него как будто еще не было любовных связей. Во всяком случае, молва еще не называла ни одного имени.

Он, конечно, восхищался красотой Натальи Николаевны. Нельзя было ею не любоваться. Такой она родилась, как ее муж родился поэтом. Царь с ней танцевал, иногда вел ее к ужину. Это было большое отличие. Больше того, Нащокин, со слов Пушкина, рассказывал Бартеневу, что «Царь, как офицеришко, ухаживал за его женой, нарочно по утрам проезжал мимо ее окон, а к вечеру на балах спрашивал, отчего у нее шторы всегда спущены?»

Что он проезжал мимо них, это неудивительно, так как Пушкины жили около дворца. Это довольно невинная форма ухаживанья. Но высокий вздыхатель мог и смутить Пушкина. Лет десять спустя после смерти поэта Николай I рассказал барону М. А. Корфу: «Под конец жизни Пушкина, встречаясь очень часто с его женой, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я как-то разговорился с ней о коммеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе; я посоветовал ей быть осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для самой себя, столько и для счастья мужа, при известной его ревности. Она верно рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. Разве ты мог ожидать от меня другого? — спросил я его. — Не только мог, но, признаюсь откровенно, я и вас самих

подозревал в ухаживаньях за моей женой... Три дня спустя был его последний дуэль».

Царственная линия, которую Щеголев произвольно провел через жизнь Пушкина, идет вразрез со всем обликом поэта. Всякое поползновение Царя на честь его жены вызвало бы с его стороны яростный отпор. Пушкин был человек прямой, честный, смелый, глубоко порядочный. Умер, как и жил, мужественно. Если принять догадку Щеголева, то пришлось бы считать, что Пушкин в роковую полосу своей жизни, когда слабые и сильные стороны характера сказываются особенно явственно, вел себя как лицемерный искатель. Не мог бы он, умирая, просить для своей семьи покровительства Царя, если бы подозревал или предполагал в нем любовника своей жены. Эту посмертную клевету надо окончательно отбросить.

Глава XXVIII

ВЫЗОВ

В доме Пушкиных шли спешные приготовления к свадьбе. В конце декабря Пушкин писал отцу:

«У нас свадьба. Моя свояченица, Екатерина Гончарова, выходит замуж за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника голландского короля. Это очень красивый и славный малый; он в большой моде. Он богат и на четыре года моложе своей суженой. Приготовление приданого очень занимает и поглощает мою жену и ее сестер, но меня они злят, так как мой дом превращен в модную и белошвейную лавку».

На этот раз приданое шилось не на деньги жениха, как это было с Натали, а на 10 тысяч рублей, полученных от Д. Н. Гончарова, который теперь был главой семьи. Ему пришлось выдать Дантесу письменное обязательство, что Екатерина Гончарова, пока ей не будет выделена законная часть наследства, будет получать от брата 5 тысяч рублей в год. Это было во много раз больше того, что Дантес получал от родного отца. Дантес, в противоположность Пушкину, сумел обставить свою внезапную женитьбу довольно приличным денежным договором.

Обрученье Дантеса и Коко произвело много шума, казалось неправдоподобным, возбуждало всеобщее любопытство. Даже императрица Александра Федоровна в начале января, перед самой свадьбой, писала графине Тизенгаузен, дочери

Элизы Хитрово: «Мне так хотелось бы иметь через Вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса. Неужели причиной ее явилось анонимное письмо? Что это — великодушие или жертва? Мне кажется бесполезно, слишком поздно». И опять, в другой записочке, писала она: «Мне жаль Дантеса».

А он, став женихом, еще откровеннее продолжал ухаживать за Натальей Николаевной, с которой по-прежнему каждый день встречался в свете. Накануне Нового года в доме Вяземских был большой прием. Княгиня рассказывала потом Бартеневу, что ей было очень неприятно, когда появился Дантес с невестой, так как Пушкин с женой уже были у нее. Княгиня не могла не принять Дантеса, а «француз», как она его называла, стал сразу увиваться за Пушкиной. Бартенев записал со слов Вяземской: «Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила кн. Вяземской, что у Пушкина такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы с ним вернуться домой. Наталья Николаевна была с ним то слишком откровенна, то слишком сдержанна».

10 января в Исаакиевском соборе, как тогда называли Адмиралтейскую церковь, где три недели спустя должны были отпевать Пушкина, состоялась свадьба Екатерины Гончаровой и Дантеса. Посаженной матерью жениха была графиня Нессельроде. Наталья Николаевна на свадьбе была. Пушкин не был. Когда молодые приехали к Пушкиным с визитом, он приказал их не принимать. Дантеса к себе в дом не пускал, жене запретил у них бывать. Послушалась ли она, мы не знаем.

Внешне жизнь Пушкиных катилась как всегда, очень светская и очень простая. Один из случайных посетителей, попавших в ту зиму к Пушкину, так описал его комнату: «Большой кабинет. Огромный стол простого дерева, заваленный бумагами и книгами. Простые плетеные стулья по стенам. Одно удобное кресло, на котором он сидел в стареньком, дешевом халате. Красный диван. Полки с книгами. Все просто».

Даже эта простота была не по средствам, не по силам Пушкину, тем более что большинство их знакомых жило широко и нарядно. Это не мешало Наталье Николаевне веселиться и выезжать. Пушкин по-прежнему сопровождал ее, занимал деньги, чтобы оплачивать жизнь, весь склад которой ему опостылел. Усталый раб уже не мечтал о побеге.

Последняя квартира Пушкиных, на Мойке, в доме Волконских, была большая. Одиннадцать комнат, службы, конюшни на шесть лошадей, сеновал, ледник. На годичный декабрьский акт в академии Пушкин приехал в двухместной

карете четверкой с форейтором. Но все это делалось в долг. По утрам, когда три сестры, проплясавши всю ночь, еще сладко спали, начинались бесконечные звонки кредиторов. С каждым днем их было все больше, все труднее было прислуге их выпроваживать. Пушкин всем был должен: дровянику, молочнице, булочнику, в мелочную лавку, прислуге, каретнику, извозчику за наем лошадей. Раулю за вино 777 рублей. Портному за фрачную пару 450 рублей. В этом неоплаченном фраке Пушкина похоронили. Модистке Зихлер, за наряды Натальи Николаевны, он был должен 3364 рубля. И приблизительно столько же книгопродавцу Белизару за свою единственную роскошь, за книги. Когда он умер, в доме было только 300 рублей. Не на что было его похоронить. После него опека оплатила 50 разных счетов. Сколько крови испортили ему эти счета. А после его смерти читатели вдруг проснулись и за три дня в одном только Петербурге раскупили у Смирдина на 40 тысяч рублей его сочинений.

За последний год жизни Пушкин пять раз обращался к ростовщице Шишкиной, закладывал у нее шали, серебро, жемчуга, свои, сестер Гончаровых, Соболевского. Он задолжал ростовщице 16 тысяч рублей. На следующий день после того, как Пушкин был в Зимнем дворце, докладывая Царю об анонимных письмах, он занял у Шишкиной 1250 рублей. Два месяца спустя, накануне того дня, когда он послал Дантесу второй, роковой вызов, ему опять пришлось искать денег, он опять заложил вещи, на этот раз на 2200 рублей. Так, до последних дней денежные затруднения и тяготы преследовали величайшего русского писателя.

Один из лучших пушкинистов, Б. Л. Модзалевский, писал: «Прочитывая дело опеки об уплате долгов Пушкина, можно наглядно видеть, в каких тисках материальной необеспеченности был поэт в последние годы своей жизни, насколько тяжело было ему финансовое положение, из которого, по-видимому, не было исхода... Векселя, требования кредиторов, счета... все это дорисовывает поистине трагическую обстановку, в которой должен был жить поэт...»

«О бедность, бедность, как унижает сердце нам она...» Это припев к женатой жизни Пушкина. Работа переставала его кормить. Не было душевного спокойствия, необходимого для вдохновения. Талант его не иссяк, и он это знал. Его умственный кругозор все ширился. Он был не только первым поэтом, но и духовным вождем всей думающей России.

Последние отклики разнообразия его умственных интересов случайно сохранились в дневнике непоседливого А. И. Тургенева. За границей Тургенев много видался со

своим братом Николаем. Близкое общение видного чиновника с эмигрантом-декабристом, с государственным преступником, заочно приговоренным к суровому наказанию, очень не нравилось Николаю. Никаким карам за такие встречи Тургенева не подвергли. Он продолжал бывать во дворце, но Царь не замечал его, хмуро проходил мимо него, не разговаривал с ним. Тургеневу это было очень неприятно. Он был царедворец. На дворцовых выходах, куда он продолжал получать приглашения, видя немилость Царя, «многие от меня отворачивались и я от них», — пишет он в дневнике.

Тех, кто ищет в этом дневнике сведений о Пушкине, эти записи дразнят своей скудостью, торопливостью, путаностью. За два месяца Пушкин упоминается в них 26 раз, но всегда бегло, как одна из многих фигур на сцене большого света. В этой и привычной, и чуждой ему толпе лицо поэта мелькает, то замкнутое, мрачное, грозное, то неожиданно расцветающее улыбкой. Тургенев, опять-таки впопыхах, отмечает и его домашнюю жизнь. Из Европы он привез свежий запас новостей, литературных, политических, житейских, книги, новые и старинные, коллекции документов, старых архивных выписок, грамот по русской истории, которые всегда и всюду собирал. Пушкин всем этим очень интересовался. Как редактор «Современника», он считал Тургенева ценным сотрудником. Отмечая их почти ежедневные встречи, Тургенев не забывает выразить свое восхищенье красотой Натальи Николаевны, но и «умным, любопытным разговором» Пушкина так увлекается, что ради него иногда даже пропускает балы. Со стороны такого бальника это большой комплимент Пушкину.

Из записей Тургенева видно, что на балах и приемах встречались не только для танцев, но и для обмена мыслями. В этих беседах принимали живое участие иностранные дипломаты. Их имена все время попадаются в записях и письмах Тургенева, как и в Дневнике Пушкина. К несчастью, дневник Тургенева — это какой-то гоффурьевский журнал, где отмечены передвижения ряда лиц, но не их поступки, мысли, переживания. После кончины Пушкина Тургенев писал своему другу, И. С. Аржавитинову: «Последнее время мы часто виделись с Пушкиным и очень сблизились; он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений, начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю: он созревал для нее, и знал, и отыскал в известность многое, чего другие не заметили.

Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие» *(30 января 1837 г.)*.

Но пока Пушкин был жив, Тургенев точно не отдавал себе отчета, что творится вокруг него, хотя об этом толковал весь Петербург. Тургенев по всей Европе гонялся за знаменитостями и за новостями. А вот у себя дома, встречая каждый день Пушкина, ни на минуту не задумался над тем, что надвигалось на поэта, не говоря уж о том, что не подумал отвратить катастрофу. Никто об этом не подумал. Правительство преследовало за дуэли, но власти ничего не сделали, чтобы эту дуэль предотвратить. Царь был противник дуэлей, но остался пассивным наблюдателем, хотя после смерти Пушкина писал брату: «Давно ожидать должно было, что дуэлью кончится их неловкое положение». Да что же говорить о Царе, если друзья поэта не сумели отвратить удар? Судьба неуклонно вела Пушкина к катастрофе.

Вскоре после приезда из-за границы Тургенев делает пеструю запись, характерную для всего его дневника: «Бал у Карамз<иных>, встретил дочь Опоч., которая упрекала и звала в понедельник. Осмотрел магазин Гамбса, какая роскошь в мебелях. Сидел у Даршиака, с Нервосо Броглио, Гизо и Тьере, с Даршиаком о Бурбье и м-м Дансело. Обедал у татар. Вечер у Пушкина до полуночи. Дал Песнь о Полку Игореве для брата с надписью. О стихах его, Р. и Б. (вероятно, Рылеева и Бестужева. — *А. Т.-В.*). Портрет его в подражание Державину: «весь я не умру». О М. Орлове и Кис., Ермол. и кн. Меньш. Знали и ожидали, «без нас не обойдутся». Читали письмо к Чаадаеву, не посланное» *(15 декабря)*.

В этой записи не сразу разберешься. Для нас самое в ней любопытное — это неизменное дружеское участие Пушкина к декабристам. Эмигранту, Николаю Тургеневу, посылает он свое любимое «Слово о полку Игореве». Расспрашивает, как вели себя перед бунтом генералы М. Орлов, Киселев, Ермолов. 6 января Тургенев отмечает: «В десять часов вечера отправился к Фикельмону. Там любопытный разговор с Пушкиным, Барантом, кн. Вяземским. Хитрово одна слушала, Барант рассказывал о записках Талейрана. У Фикельмона есть рукопись пленного шведа, Бока, сосланного в Сибирь, откуда он прислал рапорт о войне в Штокгольм, обвиняя во многом Карла XII. С Либерманом о Минье. С Хитрово и Даршиаком о плотской любви. Вечер хоть бы в Париже! Барант предлагает Пушкину перевести «Капитанскую дочь». В январе 1837 года балы сменялись балами. Иногда в одну ночь их было несколько. 14 января Тургенев записал: «Бал у французского посла. Прелесть и роскошь

туалетов. Пушкина и ее сестры, сватовство». И больше ничего, никаких пояснений.

17 января бал у княгини Мещерской, на следующий день — у саксонского посланника, барона Люцероде, потом у Бобринских, затем в австрийском посольстве. Иногда суетливый хроникер, отмечая все эти приемы, бросает два-три слова, за которыми прячутся подробности Пушкинской драмы. Точно дразнит позднейших исследователей... «От Мещерских к Лютцероде, — записывает он 18 января, — где долго говорил с Натальей Пушкиной и она от всего сердца, потом с Шереметевой».

О чем от всего сердца говорила Наталья Николаевна? Тургенев ни тогда, ни позже не пояснил. Как не пояснил он и сделанной 19 января записи: «У кн. Вяземской о Пушкиных, Гончаровой, Дантес-Геккерне...»

21 января был большой бал в австрийском посольстве. О нем есть несколько строк в дневнике А. П. Дурново, рожденной Волконской: «Бал у Фикельмонов был очень многолюдный, леди Лондондери надела все свои изумруды, на ней и бриллиантов было много. М-м Пушкина была причесана гладко, косы положены очень низко. Она была совершенно как камея».

Все продолжали восхищаться красотой Натальи Николаевны. Особенно настойчиво проявлял свое восхищенье ее новый родственник, Дантес. Это бросалось в глаза. Породнившись с Пушкиным, Дантес не стал более бережно относиться к репутации его жены. Напротив, пользуясь своим положением мужа ее сестры, он еще откровеннее ее компрометировал. Жуковский в письме к Бенкендорфу говорит, что оба Геккерна держали себя вызывающе: «Пушкин умирает, убитый на дуэли, и убийца его француз, принятый в нашу службу с отличием. Этот француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли».

«Поведение Дантеса после свадьбы, — говорит Н. М. Смирнов, — дало всем повод думать, что он точно искал в браке не только приблизиться к Пушкиной, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своей невесткой; он откинул всякую осторожность, и казалось иногда, что он насмехается над ревностью непримирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил ее здоровье, словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь».

То же писал и Вяземский великому князю Михаилу Павловичу: «Вашему Им. Выс. небезызвестно, что молодой Гек-

керн ухаживал за г-жой Пушкиной. Это неумеренное и довольно открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа. Несмотря на это, он, будучи уверен в привязанности жены и чистоте ее помыслов, не воспользовался своей супружеской властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело к неслыханной катастрофе, разразившейся на наших глазах».

Одних, и их было немало, наглость молодого француза возмущала, в других она вызывала злорадные насмешки над одураченным мужем. Общество делилось на два лагеря, но сторонники Пушкина особенной энергии не проявили. А недоброжелатели забавлялись, в них играло чувство травли, соблазн злого зрелища. «Его Петербург замучил всякими мерзостями», — говорил Хомяков. «Да, конечно, светское общество его погубило, — писал Вяземский Смирновой. — Проклятые письма, проклятые сплетни приходили к нему со всех сторон... Светское общество (по крайней мере, некоторая часть оного) не только терзало ему сердце своим недоброжелательством, когда он был жив, но и озлоблялось против его трупа» *(февраль 1837 г.)*.

А в доме Пушкиных, до самой дуэли, гости еще ловили отблески их первоначальной семейной идиллии. «Его жена повсюду прекрасна, как на балу, так и в своей широкой черной накидке у себя дома», — писал Тургенев Свербееву 21 декабря. Месяц спустя, накануне дуэли, поэт Якубович был у Пушкина и любовался Натальей Николаевной, которая сидела на полу, на медвежьей шкуре, положив на колени мужа свою головку камеи. Но стоило ей надеть бальное платье, и она из ласковой жены превращалась в ветреную кокетку, продолжавшую недобрую игру с Дантесом. Она не понимала, не подозревала, что обязана беречь Пушкина не только ради него, себя и детей, но и ради России.

Княгиня Е. Н. Мещерская-Карамзина, очень любившая Пушкина, говорила позже Я. Гроту: «В сущности, Наталья Николаевна сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако же, из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж был иначе создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам. Собственно говоря, Наталья Николаевна виновата только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменила чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую, пламенную душу Пушкина».

Вяземский-сын писал, что в последние месяцы жизни Пушкин много говорил о своем деле с Геккернами: «И отзывы его друзей, и их молчание должны были перевертывать ему душу и убеждать в необходимости кровавой развязки... Пушкин знал, что сплетни о нем расходятся по всей России. На увещания своих друзей он отвечал, что принадлежит России и хочет, чтобы имя его осталось незапятнанным».

Эту же фразу привел в письме к великому князю Михаилу Павловичу Вяземский-отец. У Пушкина бывали такие фразы, в которых так метко отчеканилось его настроение, что некоторое время он их повторял, как припев.

В эти последние месяцы жизни Пушкин был откровеннее с женщинами, с Карамзиной, с Мещерской. Какие-то признания сделал он своей давней тригорской приятельнице, бывшей Зизи Вульф, теперь баронессе Вревской. За несколько дней до дуэли она приехала в Петербург в гости к сестре, Анне Вульф, когда-то беспомощно влюбленной в Пушкина. С обеими сестрами мог он говорить как с близкими друзьями. Позже Тургенев писал, что он «им открылся». В чем открылся?

Муж Зизи, барон Вревский, писал зятю поэта, Н. И. Павлищеву: «Евпраксия Николаевна была с покойным Александром Сергеевичем все последние дни его жизни. Она находит, что он счастлив, что избавлен от этих душевных страданий, которые так ужасно мучили его в последние дни его существования» *(28 февраля 1837 г.)*.

Сестры свято сохранили тайну своих последних бесед с Пушкиным. Но после его смерти они, как и их мать П. А. Осипова, упорно уклонялись от встреч с его вдовой. Прямого указания на ее виновность в этом, конечно, нет. Для них было довольно и ее роковой ветрености, ее игры с Дантесом. Прочитав в «Сенатских Ведомостях» приговор суда над Дантесом, баронесса писала брату: «Тут жена не очень приятную роль играет, во всяком случае. Она просит у маменьки позволения приехать, отдать последний долг *бедному* Пушкину — так она его и называет. Какова?» *(25 апреля 1837 г.)*.

После похорон Пушкина П. А. Осипова писала Тургеневу: «Я знаю, что вдова Ал. Серг. не будет сюда, и этому рада. Не знаю, поймете ли Вы то чувство, которое заставляет меня теперь бояться ее видеть» *(17 февраля 1837 г.)*.

Ближайшие друзья пробовали образумить Наталью Николаевну. Княгиня Вера Вяземская предостерегала ее, что кокетство с Дантесом плохо кончится. И получила характерный ответ:

— Мне с ним весело. Он мне просто нравится. И ничего не случится. Будет все то же, что было два года.

Наталья Николаевна зарвалась, закусила удила. Ее стройные ножки понесли ее по опасным тропинкам. Она прикрывалась полуправдой, рассказывала мужу, что ей нашептывал Геккерн-старший, что говорит Дантес. Хотя вряд ли все, что он говорил. Даже после того как Дантес женился на ее сестре, когда возможность дуэли висела над ним, как постоянная угроза, она, несмотря на запреты Пушкина бывать у молодых, продолжала кокетничать и танцевать с Дантесом, не отстранила его, не поставила предела его волокитству. С другими отлично умела это делать, а Дантесу позволяла больше, чем следовало. Пушкин имел право сказать, что Дантес встревожил ее воображение. Для него это было мучительное открытие. Но доверие ей он продолжал оказывать. Хотя кто знает, что было у него на душе?

Как никто не знает и настоящих отношений между Натальей Николаевной и Дантесом. Он был в нее влюблен и этого не скрывал. На посторонних они производили впечатление влюбленной пары. Танцуя с Дантесом, Пушкина вся менялась. За пять дней до дуэли, 22 января, светская барышня М. К. Мердер записала в дневнике: «О любви Дантеса известно всем. Однажды вечером я сама заметила, как барон не отрываясь следил взорами за тем углом, где она находилась. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным, чтобы, надев маску равнодушия, появиться с ней среди танцующих».

Пушкина эти взгляды, это выставление своих чувств напоказ приводили в бешенство. Все это не улики, не указания на неверность Пушкиной. Напротив, удовлетворенная страсть не так настойчиво проявляется на людях. Сам Дантес, по-видимому, не хвастался победой над Натальей Николаевной. Ничтожный малый, иностранец, заехавший в чужую страну, он в русском обществе не видел нужды стесняться. Но никто из многих свидетелей семейной драмы Пушкина, в течение почти трех месяцев разыгрывавшейся на глазах петербургского общества, не обвинил Дантеса в том, чтобы он когда-нибудь непочтительно или хвастливо отозвался о Наталии Николаевне*. Может быть, Пушкин не дал Дантесу

---

* Когда справляли столетие со дня смерти Пушкина, его внук, Николай Александрович Пушкин, встретился в Париже с внуком Дантеса, своим троюродным братом по бабке. Передавая об этой встрече парижскому корреспонденту издававшейся в Риге газеты «Сегодня», Н. А. Пушкин сказал: «Мой троюродный брат рассказывал мне, как перед смертью его дед, Дантес, сказал ему и его отцу: «Из всех женщин, которых я любил, Н. Н. Гончарова-Пушкина была единственная, которая мне не принадлежала» («Сегодня». *20 марта 1937 г.*). — *Прим. авт.*

времени добиться взаимности, которой он так открыто искал. А Наталья Николаевна своим поведением сделала столкновение неизбежным. Вот что писал Вяземский великому князю Михаилу Павловичу:

«Молодой Геккерн продолжал в присутствии своей жены подчеркивать свою страсть к г-же Пушкиной. Городские сплетни возобновились, и оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силой на действующих лиц драмы, происходившей на его глазах. Положение Пушкина стало еще мучительнее, он стал озабоченно взволнованным, на него тяжело стало смотреть. Но отношения его к жене не пострадали. Он сделался еще предупредительнее, еще нежнее к ней. Его чувства, в искренности которых невозможно было сомневаться, вероятно, закрыли глаза его жене на положение вещей и возможные последствия. Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккерном, как и до свадьбы. Тут не было ничего преступного, но было много необдуманности и ветрености. Когда друзья Пушкина, желая его успокоить, говорили, что не стоит так мучиться, раз он уверен в невинности своей жены и эту уверенность разделяют все его друзья, все порядочные люди, он отвечал, что ему недовольно своей уверенности, своих друзей, известного круга, что он принадлежит России и хочет, чтобы его имя оставалось незапятнанным везде, где его знают».

Так, с трагической ясностью обрисовал поведение и состояние Пушкина Вяземский, близкий друг поэта, свидетель последних дней и часов его жизни. Но Вяземский мог и не все сказать. Он был связан обещанием. Он писал А. Я. Булгакову: «Пушкин нам всем, друзьям своим, как истинным душеприказчикам, завещал священную обязанность: оградить имя его от клеветы. Он жил и умер в чувстве любви к ней и в убеждении, что она невинна. И мы, очевидцы всего, что было, проникнуты этим убеждением» *(8 февраля 1837 г.)*.

Несколько дней спустя, в письме к дочери Булгакова, молоденькой княгине О. А. Долгоруковой, Вяземский более сурово отозвался о поведении Натальи Николаевны: «Пушкин был прежде всего жертвою (будь сказано между нами) бестактности своей жены и ее неумения вести себя, жертвою своего положения в обществе, которое, льстя его тщеславию, временами раздражало его, — жертвою своего пламенного и вспыльчивого характера, недоброжелательства салонов, и в особенности жертвою жестокой судьбы, которая привязалась

к нему, как к своей добыче, и направляла всю эту несчастную историю» *(7 апреля 1837 г.)*.

Охотилась за ним судьба. Но сети для ловли сплели хорошенькие ручки Натальи Николаевны.

23 января был большой бал у графини Воронцовой. Дантес не отходил от Пушкиной, веселил и смешил ее. Издали следил за ними Пушкин. Вдруг он увидел, что его жена вздрогнула и отшатнулась от своего кавалера. Он сразу увез ее домой. Дорогой он узнал, что Дантес рассказывал ей об их общем мозольном операторе, который будто бы сказал ему, «que le corps de Mme Pouchkine est plus beau que celui de ma femme»*.

Так, много лет спустя, передавала Бартеневу княгиня Вера Вяземская. И ее муж в письме к великому князю Михаилу Павловичу приводит этот казарменный каламбур: «Je sais maintenant que votre corps est plus beau que celui de ma femme»**.

Каламбур нового родственника Наталья Николаевна мужу передала, но что у нее с Дантесом было тайное свидание, попыталась от него скрыть. Свидание устроила жена другого кавалергарда, Идалия Полетика, которая жила в кавалергардских казармах на казенной квартире. Наталья Николаевна с ней дружила, хотя эта постоянная посетительница салона графини Нессельроде была в дружбе с обоими Геккернами, а Пушкина терпеть не могла и этого не скрывала. Он неосторожно подшутил над ее сентиментальными излияниями. Она ему за это щедро отомстила.

Не она ли послала и анонимное письмо, извещавшее Пушкина о тайном свидании между его женой и Дантесом? Письмо это он показал Наталье Николаевне. Отпираться было трудно. По желанию Пушкина при их объяснении присутствовала княгиня Вера Вяземская, которая рассказывала Бартеневу: «М-м N. N. (Полетика. — *А. Т.-В.*) по настоянию Геккерна пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдастся ему. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней».

Княгиня Вяземская — свидетельница правдивая и с точной памятью. Нет сомнения, что Наталья Николаевна именно

---

* Что тело м-м Пушкиной красивее, чем тело моей жены *(фр.)*.

** Теперь я знаю, что ваше тело красивее, чем тело моей жены *(фр.)*.

так и изобразила эту темную встречу с ухаживателем, которого Пушкин из-за нее уже раз вызвал на дуэль. Некоторые подробности, подчеркивающие запретный характер этого свиданья, сохранились в рассказах А. П. Араповой, дочери Натальи Николаевны от ее второго брака с П. П. Ланским. Ее мемуарами приходится пользоваться осторожно, так как она без стеснения чернит память Пушкина, выставляя свою мать невинной страдалицей. Тем более выразительно звучит ее рассказ о том, как ее мать со слезами на глазах признавалась ее воспитательнице: «Сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание. Бог свидетель, что оно было столько же кратко, как и невинно».

По словам Араповой, Наталья Николаевна получила от Дантеса письмо: «Вопль отчаяния с первого до последнего слова. Он жаждал только излить свою душу, заверял честью, что прибегает к ней единственно только, как к сестре своей жены, и что ничем не оскорбит ее достоинства и чистоты. Письмо, однако же, кончалось угрозою, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, то он не в состоянии будет пережить такого оскорбления... Местом свидания была избрана квартира Идалии Полетики... Чтобы предотвратить опасность всевозможных последствий, Полетика нашла нужным посвятить в тайну предполагавшейся встречи своего друга, влюбленного в нее кавалергарда П. П. Ланского, поручив ему под видом прогулки перед зданием зорко следить за всякой подозрительной личностью».

То есть за Пушкиным. Но кто же об этом тайном свидании известил Пушкина? О нем знали только Геккерны, Полетика и Ланской, будущий муж Натальи Николаевны. Он, кажется, был человек безобидный и притом беззаветно преданный Наталье Николаевне. Остальные трое могли ничем не погнушаться — ни сводничеством, ни рассылкой анонимных писем. Возможно, что это было не единственное свидание Натальи Николаевны с Дантесом, но Пушкина известили только об этом.

Теперь поединок уже стал неизбежен. Другого выхода у Пушкина не было, да он его и не искал. Он одного боялся, чтобы ему опять кто-нибудь не помешал. 26 января он послал Геккерну-старшему письмо:

«Господин барон. Позвольте мне подвести итог тому, что произошло. Поведение Вашего сына мне давно было известно, и я не мог оставаться к нему равнодушен. Я ограничивался ролью наблюдателя, с тем, чтобы вмешаться, когда я найду

нужным. Случай, который при других обстоятельствах был бы для меня крайне неприятен, на этот раз, к счастью, пришел мне на помощь. Я получил анонимные письма и увидал, что пришел момент действовать, и этим воспользовался. Остальное Вы знаете. Я заставил Вашего сына играть такую жалкую роль, что моя жена, удивленная такой низостью, такой пошлостью, не могла удержаться от смеха. Чувство, которое, может быть, могла бы вызвать в ней эта великолепная, великая страсть, погасло в спокойном презрении и заслуженном отвращении.

Позвольте Вам сказать, Господин Барон, что в этом деле Вы играли роль не особенно пристойную. Вы, посланник короля, отечески сводничали Вашего сына. По-видимому, все его бестактное поведение направлялось Вами, по-видимому, Вы подсказывали ему его жалкие разглагольствования и тот вздор, который он позволил себе писать. Вы, как развратная старуха, по всем углам подстерегали мою жену, чтобы повторять ей, как Ваш незаконный сын ее любит. Он сидел дома, больной венерической болезнью, а Вы уверяли, что он умирает от любви. Вы шептали ей — верните мне моего сына.

Вы понимаете, что после этого я не могу допустить никаких отношений между Вашей и моей семьями. Только под этим условием я согласился не давать хода этому грязному делу, не позорить Вас в глазах Вашего и нашего двора. Хотя я мог бы и собирался это сделать. Я не желаю, чтобы моя жена слушала Ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы Ваш сын, после его низкого поведения, осмеливался разговаривать с моей женою, тем более повторять ей свои казарменные каламбуры да еще разыгрывать несчастного влюбленного, когда на самом деле он просто подлец и трус. Я вынужден просить Вас прекратить все эти штуки, если Вы хотите избежать нового скандала, перед которым я не остановлюсь» *(26 января 1837 г.).*

Это с небольшими изменениями то письмо, которое Пушкин написал еще 21 ноября. От него сохранилось два черновика, сильно исчерканных. В них есть и прямое обвинение, что анонимные дипломы писал Геккерн. Есть еще две выброшенные фразы: «Муж, если он не дурак, естественно становится поверенным своей жены, он направляет ее поведение. Но я, признаюсь, не совсем был спокоен». И дальше: «Красивое лицо, несчастная страсть, длившаяся два года, всегда могут произвести впечатление на молодое существо». Эти слишком интимные слова Пушкин выбросил. В остальном это совершенно тот же текст, который он написал еще в ноябре. Пушкину нечего было менять, так как ничего не

изменилось ни в его оценке обоих Геккернов, ни в их поведении. Только с каждым днем Геккерн-старший все больше напоминал ему развратную старуху-сводницу, младший все больше возмущал его своей наглостью.

Послав Геккерну письмо, Пушкин, как он сказал Даршиаку, впервые за два месяца вздохнул свободно. Вяземский писал потом Смирновой-Россет: «Необузданный, пылкий, беспорядочный, сам себя не помнивший во всех своих шагах, он сделался спокоен, прост и полон достоинства, как скоро добился, чего желал. Ибо он желал этого исхода».

Пушкин посветлел. В нем даже мелькнул прежний шаловливый Пушкин. 25 января, после свидания Натали с Дантесом, когда неизбежность дуэли стала очевидной, Пушкин, вместе с Жуковским, пошел к Брюллову в мастерскую. В тот же день художник Мокрицын отметил это посещение в своем дневнике. Оба поэта рассматривали альбомы и рисунки. Пушкину особенно понравился комический этюд — «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне». На нем было изображено, как толстый турок-полицейский спит на коврике посреди улицы. Его стерегут два босых, тощих городовых. Пушкин хохотал до слез, не мог расстаться с этим рисунком, просил подарить его ему. Брюллов отказал. Рисунок сделан для князя Салтыкова, он не может его отдать. Пушкин бросился на колени: «Отдай, голубчик!» Но рисунка так и не получил.

Лернер имел право написать: «Наш великий поэт умел не только бороться с враждебными людьми и обстоятельствами, но и забывать их, что гораздо труднее, и хоть на краткий миг смирить предчувствие близкого конца и воскрешать в душе беззаботную веселость юношеских дней».

В день получения письма от Пушкина Геккерн обедал у графа Строганова, которому показал письмо Пушкина и спросил совета. Старый граф сказал, что надо драться. 26 января барон Даршиак, секундант Дантеса, привез Пушкину вызов от Геккерна-младшего и письмо от Геккерна-старшего. Вызов Пушкин принял. Письмо голландского посланника вернул не читая.

Графа Соллогуба уже не было в Петербурге. Надо было искать другого секунданта. Это оказалось не так легко. Закон относился сурово и к дуэлянтам, и к секундантам. Их в наказание сажали в крепость или сдавали в солдаты. Пушкин не хотел подводить друзей и боялся, что они опять помешают поединку. На этот раз он решил пойти до конца. Ему было нетрудно скрыть новый вызов от домашних. Может быть, о нем знала Александра Гончарова, да и то не наверно. Из друзей едва ли не первая узнала княгиня В. Вяземская.

Вечером 26 января, в канун дуэли, Пушкин был у нее. Было еще несколько человек, был и Дантес с женой. Пушкин сел играть в шахматы, изредка поглядывая сквозь открытую дверь в соседнюю гостиную, где Дантес сидел возле Натальи Николаевны, которая весело смеялась его шуткам. Этот вечер Вяземская описала в письме, писанном несколько дней спустя, вероятно, первого февраля.

«Смотря на Дантеса, Пушкин сказал мне:

— Что меня забавляет, это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что его ожидает по возвращении домой.

— Что именно? Вы ему написали?

Он сделал утвердительный знак и прибавил:

— Его отцу.

— Как? Письмо уже послано?

Он сделал тот же знак. Я сказала:

— Сегодня?

Он потер руки, опять кивая головой.

— Неужели вы думаете об этом? Мы надеялись, что все кончено.

Тогда он вскочил, говоря мне:

— Разве вы принимаете меня за подлеца? Я уже вам сказал, что с молодым человеком мое дело кончено. Но с отцом дело другое».

Вяземского не было дома. Когда он вернулся, княгиня ему это рассказала, но они решили, что уже поздно, что утром будет виднее, как действовать.

Еще до разговора с женой, на балу у Разумовских, Вяземскому было дано предостережение. Он давно тревожился за Пушкина, находил, что в ту зиму судьба охотилась за ним, как злая обезьяна. Увидав у Разумовских, что Пушкин о чем-то слишком оживленно разговаривал с Даршиаком, Вяземский забеспокоился и подошел к ним. Они замолчали. Спокойствие Пушкина обмануло его.

На этот бал Пушкин приехал без жены, в поисках секунданта. Если бы Вяземский это знал, он, может быть, постарался бы отогнать злую обезьяну. Хотя вряд ли ему это удалось бы. Смерть уже чертила вокруг Пушкина свой магический круг. Но как это было угадать? Пушкин, по словам Тургенева, который тоже видел его на этом балу у Разумовских, «был весел, полон жизни, без малейших признаков задумчивости». Совершенно таким, каким Тургенев видал его изо дня в день. Только, пожалуй, веселее.

На балу Пушкин обратился к секретарю английского посольства Артуру Меджнису, просил его в секунданты. Они встречались в свете, бывали друг у друга... «Меджнис был

долгоносый англичанин, которого прозвали больным попугаем, — писал Н. М. Смирнов. — Это был человек очень порядочный. Пушкин уважал его за честный нрав».

Меджнис сказал, что не может дать ответа, не переговорив с Даршиаком. Из разговора с секундантом Дантеса Меджнис убедился, что дело гораздо серьезнее, чем он думал, что нет никакой надежды примирить противников. Он стал разыскивать Пушкина, но тот уже уехал с бала. Был второй час ночи. Меджнис постеснялся поехать к семейному человеку так поздно и отложил свой ответ до утра. Шаги Командора приближались.

Глава XXIX

ЖИЗНЬ КОНЧЕНА

В среду, 27 января, в день дуэли, Пушкин провел утро, как обычно, был так спокоен, что домашние могли не подозревать, что он замыслил, к чему готовился. Казалось, Наталья Николаевна после того, как муж узнал об ее тайном свидании с Дантесом, могла бы тревожиться. Но она по-прежнему была уверена, что все с рук сойдет, что «ничего не случится, будет все то же, что было два года».

Ее сестра, Александра Гончарова, что-то знала или подозревала. Но она никому ни тогда, ни после не открылась. Так и осталась в тени, молчаливая, замкнутая, преданная. Что знала, то знала, что Пушкину давала, то давала.

В тот день Пушкин встал в 8 часов, напился чаю, казался веселым, ходил по квартире, напевая какие-то песенки. В 11 часов пообедал с детьми, сидел в кабинете, разбирал бумаги, просматривал рукописи, читал. В это утро, против обыкновения, никто к нему не заглянул. Почему-то не приехал и Вяземский, хотя его жена накануне рассказывала ему, что Пушкин отправил Геккерну вызов. Никто не встал между ним и судьбой.

Рано утром пришли два письма, от Даршиака и от Меджниса. Английский дипломат отказывался быть секундантом: «Я вижу, что дело вряд ли может окончиться примирением, — а только это и могло бы побудить меня принять в нем участие. Поэтому я прошу Вас не возлагать на меня тех обязанностей, о которых Вы говорили» *(27 января 1837 г.)*.

Даршиак настаивал, чтобы Пушкин безотлагательно указал своего секунданта, с которым ему необходимо переговорить. Пушкин ответил ему довольно резко:

«Я совсем не желаю посвящать в мои семейные дела всех праздношатающихся Петербурга. Поэтому я против всяких переговоров между секундантами. Своего я привезу прямо на место поединка. Так как вызов исходит от г. Геккерна и он сторона оскорбленная, то он, если ему угодно, может выбрать мне секунданта. Я вперед на него согласен, даже если это будет его слуга. Относительно времени и места, я в его распоряжении. По нашим русским правилам, этого и довольно. Прошу Вас, г. Виконт, верить, что это мое последнее слово, и что я тронусь с места только для того, чтобы явиться на поединок...» *(27 января 1837 г.).*

Это была последняя бравада в жизни Пушкина.

В утро перед дуэлью он написал еще одно письмо по делам «Современника», писательнице А. О. Ишимовой. Он заказал ей несколько переводов с английского и выразил сожаление, что не может зайти к ней в этот день, чтобы окончательно сговориться об этой работе. Он отметил в английском сборнике к переводу пять драматических сцен, сам завернул книгу, написал на пакете адрес и приложил к нему свое письмо:

«Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покаместь честь имею препроводить Вам Barry Cornwall. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете, как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» *(27 января 1837 г.).*

Как характерно для Пушкина, что в последнем написанном им письме он не забыл послать писательнице товарищескую похвалу.

Его друзья, помещая в первом посмертном издании его произведений это письмо, сделали к нему такое примсчание: «Тон спокойствия, господствующий в этом письме, порядок всегдашних занятий, не изменившиеся до последней минуты, изумительная точность в частном деле, даже почерк этого письма, сохраняющий все признаки внутренней тишины, свидетельствуют ясно, какова была сила души поэта».

Ишимова получила письмо рано, в третьем часу. Очевидно, оно было написано утром, когда еще не кончились раздражавшие Пушкина поиски секунданта. Он не хотел искать его среди близких знакомых. Вообще не искал, положился на случай. Вышел на улицу, встретил товарища по Лицею, Данзаса, и подхватил его. Данзас был скромный офицер инженерных войск, добродушный, беспечный, далекий от светских и литературных верхов. Он мог ничего не

знать об анонимных дипломах, о том, что происходило вокруг Пушкина. Может быть, оттого он за него и ухватился. И еще оттого, что Данзас был лицеист. Значит, свой, надежный.

Появление Данзаса толкуют по-разному. Жуковский считал, что Пушкин за ним послал. Вряд ли. Пушкин хотел драться немедленно, без проволочек и переговоров. Посланный слуга мог не застать, напутать. Опять потянулись бы часы мучений. Пушкин просто вышел на улицу, чтобы поскорее подхватить кого-нибудь из многочисленных своих знакомых, поскорее покончить с призраком, гонявшимся за ним по всем гостиным Петербурга.

В памятке Жуковского, которую он так и не расшифровал для потомства, записано: «Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни, — потом увидел в окно Данзаса, встретил в дверях радостно, — вошли в кабинет, запер дверь, — через несколько минут послал за пистолетами; — по отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь; велел подать бекешь; вышел на лестницу, возвратился — велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика, — это было ровно в час».

Вероятно, Никита — он всегда помогал барину одеваться — доложил Жуковскому, как барин мылся, как надел все чистое. Русские солдаты так делали перед боем. Так сделал и Пушкин, готовясь к поединку с высоким, белокурым Дантесом, идя навстречу судьбе.

Запись Жуковского сделана сразу, но Вяземский в письмах к Булгакову и к великому князю Михаилу Павловичу, написанных после смерти поэта, писал, что «Пушкин, в день дуэли, нечаянно встретил на улице старого лицейского товарища, Данзаса, посадил его к себе в сани и повез во французское посольство к Даршиаку». Для этих последних часов перед дуэлью Данзас является единственным достоверным свидетелем. Да и для самой дуэли. Через несколько дней после смерти Пушкина, давая показания в Следственной комиссии, он заявил: «27 января, в первом часу пополудни, встретил его Пушкин на Цепном мосту, что близ Летнего Сада, остановил, предложил ему быть свидетелем разговора, который он должен был иметь с виконтом Даршиаком: не предугадывая никаких важных последствий, а тем менее дуэли, он сел в его сани и отправился с ним. Все время пути он с ним разговаривал о предметах посторонних с совершенным хладнокровием».

За участие в дуэли Данзасу грозило серьезное наказание, и на следствии он мог изобразить свою встречу с Пушкиным как случайность. Но 25 лет спустя он почти дословно повто-

рил это Аммосову, который его рассказ записал и напечатал: «27 января 1837 года, проходя по Пантелеймоновской улице, встретил Пушкина в санях. Пушкин остановил Данзаса и сказал: «Данзас, я ехал к тебе, садись ко мне в сани, поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Данзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали на Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Данзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах».

Только у Даршиака понял Данзас, в чем дело. «А. С. Пушкин рассказал обоим секундантам историю анонимных писем, автором которых он считал нидерландского посланника, свой первый вызов, женитьбу Дантеса и то, как гг. Геккерны, даже после свадьбы, не переставали дерзким обхождением с женой его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мнения поносительного как для его чести, так и для чести его жены».

При этом Пушкин прочел свое письмо, уже посланное Геккерну-старшему, отдал его Даршиаку и уехал, предоставив секундантам определить условия поединка. Из его слов они поняли, что дуэли не избежать, и эти условия были ими к половине третьего выработаны и подписаны. Противники должны были в тот же день, в пятом часу, встретиться на Черной речке, у Комендантской дачи. Оба секунданта понимали, что значит Пушкин для России. Это не помешало им сочинить и подписать роковой договор.

Пушкин после разговора во французском посольстве домой не возвращался. Он ждал Данзаса в кондитерской Вольфа. Было около четырех часов, когда Данзас приехал за ним. Они вышли из кондитерской, опять сели в извозчичьи сани и поехали к Троицкому мосту. Пушкин казался спокойным, удовлетворенным. Был ясен и оживлен. Шутил. Когда они свернули на реку, спросил Данзаса:

— Ты что же, меня уже в крепость везешь?

Данзас нарочно выбрал людную дорогу, надеялся, что кто-нибудь их заметит, остановит. Не мог Бенкендорф не знать о готовящейся дуэли. О ней толковал весь город, включая Царя. Сколько раз жандармы предотвращали поединки. На этот раз они бездействовали.

На набережной было большое движение. Попадались знакомые. 19-летняя графиня А. К. Воронцова-Дашкова, о которой Лермонтов писал — как мальчик кудрявый, резва, нарядна, как бабочка летом, — заметила, что ей навстречу попался сначала Пушкин с Данзасом, потом Дантес с Даршиаком. Она

встревожилась, почуяла, что надвинулась гроза, но не знала, как ее отвратить, что делать.

Князь В. Д. Голицын возвращался с катанья с гор, модного развлеченья того сезона, и крикнул им:

— Что вы так поздно? Все уже разъезжаются...

В этот день каталась с гор и Наталья Николаевна. Ее экипаж тоже скрестился на набережной с извозчичьими санями, которые везли Пушкина. Он смотрел в другую сторону, а ее близорукие, чуть раскосые глаза не заметили мужа. Ну а Дантеса заметила ли она? Успела ли обменяться с ним последним приветствием или нет? Эта встреча в санях на набережной была их последней встречей.

В четыре с половиной часа противники почти одновременно подъехали к Комендантской даче. Было холодно, ветрено. Они вошли в лес, выбрали полянку, прикрытую от дороги соснами. Снег был глубокий. Секунданты принялись расчищать для дуэлянтов дорожку. Дантес им помогал. Пушкин, закутанный в медвежью шубу, сел на сугроб и молча смотрел на последние приготовления. Данзас спросил, находит ли он место удобным? Пушкин ответил:

— Мне решительно все равно. Только кончайте поскорее.

Протоптали тропинку — аршин ширины, двадцать шагов длины. Секунданты отмерили с каждого конца десять шагов, бросили свои шинели на снег, чтобы отметить барьеры. Поставили противников. Начали заряжать пистолеты.

— Ну что, кончили? — нетерпеливо спросил Пушкин.

— Да. Кончили.

Данзас махнул фуражкой. Противники начали быстро сходиться. К барьеру первым подошел Пушкин. Но Дантес выстрелил первый, еще не доходя до барьера.

Пушкин зашатался.

— Я ранен...

Он упал лицом в снег на шинель Данзаса. Пистолет выпал из его руки. Секунданты бросились к нему. Дантес сделал движение в его сторону. Пушкин приподнялся, оперся левой рукой на снег и движением руки остановил противника:

— Погодите... Я чувствую, что могу еще выстрелить...

Дантес вернулся на свое место. Данзас подал Пушкину запасной пистолет, так как дуло его пистолета было полно снегом. Полулежа Пушкин прицелился и еще твердой рукой выстрелил. Он был хороший стрелок. Выстрел был меткий. Пуля попала противнику в грудь, но Дантес стал боком, а грудь прикрыл правой рукой. Пуля задела руку, попала на пуговицу и отскочила. Толчок был настолько силен, что Дантес свалился.

Пушкин отбросил пистолет, воскликнул — браво! — и опять упал на снег. Не подымая головы, он спросил:

— Убит?

— Нет. Ранен в руку и в грудь, — ответил Даршиак.

— Странно, — сказал Пушкин, — я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет.

На мгновение он впал в полуобморочное состояние, потом пришел в себя, и уже до самой смерти сознание не покидало его.

Рана была смертельная. Пуля попала в живот, перебила вены, раздробила часть крестцовой кости, задела кишки. Кровь лилась. Доктора они с собой не привезли. Секунданты на руках вынесли раненого на дорогу, где их ждали извозчики. Даршиак и Данзас усадили Пушкина в сани, а сами пошли рядом, поддерживая его. У Комендантской дачи стояла карета, присланная Геккерном-старшим. Данзас уложил в нее Пушкина, скрыв от него, чей это экипаж.

Дорогой Пушкин с ним разговаривал, вспоминал то свои кишиневские дуэли, то одну из дуэлей известного бретера Дорохова, когда он смертельно ранил в живот офицера Щербачева.

— Боюсь, не ранен ли я, как Щербачев? — сказал Пушкин.

Гнев его уже потух. «Другой ряд более возвышенных, более достойных мыслей ожидал умирающего на дому», — говорит Анненков.

Его привезли домой около шести часов. Он послал Данзаса вперед, позвать слуг, предупредить жену, сказать ей, что рана не опасна. Никита вынес своего барина из кареты на руках.

— Что, брат, грустно тебе нести меня? — сказал ему Пушкин.

Наталья Николаевна вышла в переднюю, увидала, что мужа вносят на руках, и упала в обморок. Когда она пришла в себя, он уже был в кабинете. Она хотела войти. Пушкин твердым голосом закричал ей по-французски:

— Не входите!

Он боялся, что она увидит рану и испугается еще больше. Пустил ее только, когда на него надели чистое белье и уложили его на диван. Первое, что он сказал ей:

— Будь спокойна, ты ни в чем не виновата.

Как часто бывает в таких случаях, доктора не сразу нашли. Ни домашнего доктора Пушкиных, И. Т. Спасского, ни лейб-медика Арендта, известного хирурга, сопровождавшего

Александра I в походах, не оказалось дома. Данзасу посоветовали поехать по соседству в Воспитательный дом. Он так и сделал. Нашел там акушера, доктора Шольца. Дорогой заехали еще за доктором Задлером. В начале седьмого часа оба доктора вошли в кабинет, где лежал Пушкин. Там же были Данзас и Плетнев. Наталья Николаевна тоже была около мужа. Пушкин попросил всех выйти и, оставшись наедине с докторами, сказал им:

— Плохо со мной...

Врачи его осмотрели. Доктор Задлер уехал за инструментами. Пушкин громко, внятно спросил Шольца:

— Что вы думаете о моей ране? Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо кольнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану?

Шольц не скрыл, что рана опасная.

— Скажите — смертельная?

Шольц и этого не стал отрицать, но прибавил, что, может быть, Арендт и доктор Спасский будут другого мнения.

— Благодарю вас, вы поступили со мной, как честный человек, — сказал Пушкин, потер лоб и прибавил: — Надо мне привести в порядок мои домашние дела...

Он помолчал и прибавил:

— Кажется, крови много идет...

Доктор переменил компресс, спросил, не хочет ли он видеть друзей.

Точно в ответ на это Пушкин обвел глазами полки с книгами, окружавшие его диван, и сказал:

— Прощайте, друзья...

Потом спросил:

— Вы думаете, что я и часу не проживу?

Доктор его разуверил и спросил, не позвать ли из соседней комнаты Плетнева.

— Да. И я хотел бы Жуковского.

Теперь Пушкин знал, что смерть пришла.

К семи часам приехали Арендт и Спасский. Рано утром явился Даль. Его никто не звал, он пришел сам, как врач, как друг. Не отходил от умирающего.

Пушкин был рад ему. Сразу обратился к нему на «ты», чего раньше не делал.

Все три доктора всеми силами старались спасти раненого, облегчить его страдания. И все делали вещи медицински губительные. У больного было сильное внутреннее кровоизлияние от перебитых кишок, вен, костей, а ему давали каломель и касторку, поили холодной водой, давали глотать лед, вертели, перекладывали его.

Ранение было настолько тяжелое, что вряд ли и современная медицина могла его спасти. Но теперь умеют облегчать страдания. Тогда не знали анестезирующих средств.

Своего домашнего врача Пушкин встретил теми же словами:

— Плохо мне...

Спасский попробовал его обнадежить. Пушкин сделал рукой отрицательный жест, показывавший, что он ясно понимает свое положение:

— Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица, она должна все знать.

Из жалости к ней он старался скрыть от нее свои страдания, но безнадежности своего положения скрывать не хотел. Тоже из жалости. Боялся, что ее будут осуждать за равнодушие к нему. В нем до конца не угасало желание оградить ее репутацию от злых кривотолков.

«Пушкин беспокоился за жену — люди заедят ее, думая, что она в эти минуты равнодушна к нему... Это решило его сказать ей об опасности», — писал Тургенев из квартиры Пушкина за четыре часа до его кончины неизвестному: «Опять призывал жену, но ее не пустили, ибо, после того, как он сказал ей — Арендт меня приговорил, я ранен смертельно, — она в нервическом припадке лежит в молитве перед образами» *(29 января 1837 г.)*.

Арендт оказался не только старшим врачом, но и посредником между умирающим поэтом и Царем. С царями связаны многие важные моменты в жизни Пушкина. Такова была эпоха. Таково было царственное положение, которое он сам занимал.

Арендт после первого осмотра спросил Пушкина:

— Я еду к Государю. Не прикажете ли ему что сказать?

— Скажите, что я умираю и прошу прощения за себя и Данзаса. Он ни в чем не виноват.

Больше ничего. Никаких просьб о семье. Все свидетели, стоявшие около него, так приводят его слова, обращенные к Царю.

Возвращения Арендта Пушкин ждал с нетерпением. Говорил:

— Жду царского слова, чтобы умереть спокойно.

Арендт не нашел Царя в Зимнем дворце. Государь был в театре. Лейб-медик поручил камердинеру доложить Царю, когда он вернется, о положении Пушкина. Вернувшись из театра, Царь отправил к Арендту фельдъегеря с письмом, в которое была вложена короткая, писанная карандашом за-

писка к Пушкину. Лейб-медик должен был показать ее умирающему и вернуть Царю.

«Я не лягу, я буду ждать ответа Пушкина», — писал Николай Арендту. Пушкину Царь писал:

«Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам свидеться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение» (текст академического издания).

Пушкин прочел записку и долго не выпускал листка из рук, не хотел с ним расставаться. Подлинник записки не сохранился, но Жуковский, Вяземский, доктор Спасский, Тургенев, все приводят приблизительно одинаковый текст. Как все приводят одинаково и ответ Пушкина, устно посланный Царю:

— Скажите Государю, жаль, что умираю, весь был бы его...

«Эти слова, — свидетельствует Вяземский, — слышаны мною и врезались в память и сердце мое по чувству, с коим были произнесены».

На следующее утро Пушкин просил Жуковского отвезти его благодарность Царю, когда Жуковский ехал во дворец доложить Николаю о том, что произошло. Он встретил посланного за ним фельдъегеря. Царь вызывал Жуковского, чтобы расспросить о положении больного и распорядиться бумагами Пушкина. Он поручил Жуковскому их опечатать, предоставив ему сжечь все, что в них найдется предосудительного, частные письма вернуть тем, кто их писал, рукописи сдать в цензуру.

Пушкину об этом, конечно, ничего не сказали, но он, вероятно, ждал, что меры будут приняты, и велел Спасскому в своем присутствии достать из ящика и сжечь какую-то бумагу. Жуковский рассказал об этом в черновом письме к Бенкендорфу и прибавил: «Более никаких распоряжений он не делал и был не в состоянии делать».

Что это была за единственная бумага, которую Пушкин сжег — рукопись, письмо, стихи? Мы не знаем. Если верить преданию, он беспокоился еще о какой-то золотой цепочке. Княгине Вяземской, которая безвыходно провела эти дни около Пушкина и его жены, поручил он передать ее Александре Гончаровой.

Обещанье Царя взять на свое попечение его семью сняло с Пушкина груз земных забот. Просьба Государя исполнить христианские обязанности, то есть причаститься, пришла уже после того, как Пушкин сам выразил желание видеть священ-

ника. Когда Спасский спросил, кого он хочет, Пушкин ответил:

— Возьмите первого ближайшего священника.

Послали за отцом Петром из Конюшенной церкви. Он был поражен глубоким благоговением, с каким Пушкин приобщался.

— Я стар, мне уже не долго жить, на что мне обманывать, — говорил священник княгине Е. Н. Мещерской. — Вы можете мне не поверить, но я скажу, что я для самого себя желаю такого конца, какой он имел.

И Вяземскому о. Петр со слезами на глазах говорил о христианском настроении Пушкина. Такое же впечатление осталось у друзей. Данзасу Пушкин сказал:

— Хочу умереть христианином.

Пушкин очень страдал от боли. «Это была настоящая пытка, — говорит доктор Спасский. — Физиономия Пушкина изменилась, взор его сделался дик, казалось, глаза готовы выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не услышала, чтобы ее не испугать».

— Зачем эти мученья? — говорил он. — Без них я бы умер спокойно.

Жуковский в письме к С. Л. Пушкину, в составлении которого принимали участие все друзья, окружавшие Пушкина в последние дни, писал:

«Княгиня Вяземская была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он лежал на диване, лицом к двери, но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. Жена здесь, — говорил он, — отведите ее. Что делает жена? — спросил он однажды у Спасского. — Она, бедная, безвинно терпит, и в свете ее заедят».

Терпенье, с которым Пушкин переносил страданье, мудрость, с которой он ждал приближения смерти, поразили всех, кто был около него. Даже у Арендта, у этого рассеянного, невозмутимого хирурга, сосредоточенного больше на болезни, чем на больном, порой на глазах показывались слезы. Он сказал:

— Жаль Пушкина, что он не был убит на месте, страданья

его невыразимы. Но для чести его жены это счастье, что он остался жив. Никто из нас, видя, с какой любовью и вниманием он продолжал относиться к ней, не может сомневаться в ее невинности.

Пушкин среди своих страданий продолжал заботиться о жене. Он дал ей последнее наставление:

— Поезжай в деревню, носи траур по мне два года. Потом выходи замуж за порядочного человека.

Наталья Николаевна так и сделала. На этот раз она Пушкина послушалась.

Умирал Пушкин так же мужественно, как и жил. Плетнев писал поэту Теплякову:

«Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим».

Друзья, окружавшие его, были потрясены этим, для них новым Пушкиным. Раньше они не понимали, какая сила воли и высота духа таилась в этом веселом песеннике. Жуковский наивно писал С. Л. Пушкину: «И особенно замечательно, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной; буря, которая за несколько часов волновала его душу яростной страстью, исчезла, не оставив в нем никакого следа. Ни слова, ниже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: не мстить за меня, я все простил».

Вяземский много лет был близок с Пушкиным, но и он был взволнован откровением, которое принесли ему последние часы его жизни. Он писал великому князю Михаилу Павловичу: «Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Все, что было в нем беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, было данью человеческой слабости и обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь, и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой исстрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения. Ни одного горького слова, ни одной резкой жалобы, никакого едкого слова напоминания о случившемся не произнес он, ничего, кроме слов мира и прощения своему врагу».

Как это бывает с людьми, сильными духом, физические страдания принесли Пушкину внутреннее просветление. Даль, записки которого подробнее всего рисуют последние

часы, говорит: «Пушкин заставил всех присутствующих сдружиться со смертью, так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил. Пушкин положительно отвергал утешения наши, и на слова мои:

— Мы все надеемся, не отчаивайся и ты.

Он ответил:

— Нет. Мне здесь не житье. Я умру, да, видно, уж так и надо».

От Даля Пушкин меньше старался скрыть свои страдания, чем от других друзей. Когда боль становилась невыносимой, он отрывисто говорил ему:

— Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорее...

Эти последние слова — пожалуйста, поскорее — часто срывались. Точно просил он у кого-то пощады, ждал, что кто-то снимет с него эти муки, пожалеет. Его терзала не только физическая боль, но, как часто бывает при заражении крови, тяжелая, сердечная тоска.

— Ах, какая тоска, — говорил он Далю, — сердце изнывает...

Он просил поднять его, поворотить на бок или поправить подушку, — и, не дав кончить этого, останавливал.

— Ну так, так хорошо, вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо.

«Вообще он был, по крайней мере в обращении со мною, покладлив и послушен, как ребенок, и делал все, о чем я его просил.

— Кто у моей жены? — спросил он.

Я отвечал: много добрых людей принимают в тебе участие — зала и передняя полны с утра до ночи.

— Ну и спасибо. Однако же поди, скажи жене, что все слава Богу, легко, а то ей, пожалуй, там наговорят».

Одно время у Даля мелькнула надежда. «Пушкин это заметил, взял его за руку, спросил:

— Никого тут нет?

— Никого.

— Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?

— Мы за тебя надеемся, Пушкин, право надеемся.

Он пожал мне крепко руки и сказал:

— Ну, спасибо!

Но, по-видимому, он только однажды и обольстился моей надеждой».

А. И. Тургенев в письме к Нефедьевой, которое писал в квартире Пушкина утром 29 января, передает сходный разговор, но с другим оттенком:

«Пушкин не заметил, что жена в комнате, и при ней

спросил Данзаса, думает ли он, что он сегодня утром умрет, прибавив:

— Я думаю... По крайней мере, желаю этого...

Когда приступ боли обострялся, Даль советовал:

— Не стыдись своей боли, стонай, тебе легче будет...

— Нет! Жена услышит. И смешно, чтобы этот вздор меня пересилил. Не хочу!»

На третий день, к утру, страдания немного утихли. Пушкин воспользовался этим, чтобы попрощаться с семьей и друзьями, которые два дня не отходили от него. Только бедную Элизу Хитрово не пустили к нему. Она несколько раз приезжала. Плакала. Громко всем пеняла, что не уберегли поэта. Молилась, стоя на коленях у дверей кабинета, где он умирал. Проститься с ним, прикоснуться к нему, еще живому, ей не пришлось. Но и горевать долго не пришлось. На следующий год она умерла.

Пушкин позвал жену, простился с ней. Потребовал детей. Они спали. Их принесли полусонных. Он молча клал каждому руку на голову, крестил и слабым движением руки отсылал от себя. Потом велел позвать из соседней гостиной Жуковского. «Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукой, я отошел».

Ему уже трудно было говорить, да и припадки боли возвращались. «С нами прощался он среди ужасных мучений и судорожных движений, но с духом бодрым и с нежностью, — писал Вяземский Денису Давыдову, — у меня крепко пожал руку и сказал: прости, друг, будь счастлив».

Он захотел проститься с Карамзиной. За ней послали. Она пробыла около него несколько минут, стала уходить. Пушкин ее вернул:

— Перекрестите меня...

Она благословила его. Пушкин поцеловал ей руку. Она быстро вышла.

Он сам прощупал себе пульс, посмотрел на доктора Спасского усталыми глазами и сказал:

— Смерть идет!

Смерть уже стояла у его изголовья. Пульс падал. Руки холодели. И вдруг Пушкину вздумалось поесть морошки. Когда ее принесли, он потребовал, чтобы жена его покормила. Наталья Николаевна, стоя на коленях около дивана, дала ему с ложечки несколько ягод, потом припала лицом к его лицу. Пушкин погладил ее по голове и ласково сказал:

— Ну, ну, ничего, слава Богу, все хорошо...

Его твердый голос обманул жену. Она вышла из кабинета просиявшая и сказала Спасскому:

— Вот увидите, он будет жив, он не умрет.

Пушкину оставалось меньше часу жизни.

Когда Наталья Николаевна вышла, он впал в полузабытье, схватил руку Даля:

— Ну, подымай меня, идем... да выше, выше... идем...

Опять пришел в себя, открыл глаза, повторил:

— Ну пойдем, пожалуйста, да вместе...

Даль поднял его выше. Друзья молча стояли вокруг него. Натальи Николаевны не было. Пушкин вдруг открыл глаза. Лицо его прояснилось:

— Кончена жизнь, — сказал он.

Даль не расслышал, переспросил:

— Что кончено?

— Жизнь кончена, — внятно повторил Пушкин и прибавил: — Тяжело дышать. Давит...

Это были его последние слова.

29 января 1837 года, в 2 часа 45 минут Пушкин скончался. Умер тихо, так тихо, что Даль не уловил последнего вздоха.

«Божественное спокойствие разлилось по его лицу», — писала Вяземская. «Друзей поразило величавое и торжественное выражение лица его. На устах сияла улыбка, как будто отблеск несказанного спокойствия, на челе отразилось тихое блаженство осуществившейся светлой надежды». Так позже передала княгиня Е. Н. Мещерская Якову Гроту то величавое воспоминание, которое сохранила она от мертвого лица поэта.

Она же, под свежим впечатлением тяжкой утраты, писала своей невестке:

«И голова, и сердце у нас были полны мыслями о тяжких моральных страданиях, которые предшествовали этому трагическому концу: и чувством восхищения и умиления, которыми эта смерть, такая прекрасная, такая спокойная, такая христианская и поэтическая наполнила душу друзей его».

«Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо, — написал Жуковский С. Л. Пушкину. — Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было на нем в первую минуту смерти.

Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это был не сон и не покой. Это не было выражение

ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также выражение поэтическое. Нет. Какая-то глубокая удивительная мысль на нем разливалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, важное, удовлетворенное знание. Я уверяю тебя, что никогда на лице его я не видал выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, таилась в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина».

Глава XXX

ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ

Его и мертвого не оставили в покое.

Когда разнеслась по Петербургу страшная весть, что Пушкин смертельно ранен, началось паломничество к дому Волконских на Мойке, где он жил. Стояли на улице, смотрели в окна квартиры, где умирал поэт. Кто посмелее, подымался по лестнице, пробирался в переднюю, чтобы узнать, есть ли надежда. Когда он скончался, тысячи людей, желавших проститься с усопшим, прошли через его квартиру.

«В эти оба дня та горница, где он лежал во гробе, была беспрестанно полна народом, — писал Жуковский Пушкину-отцу. — Конечно, более 10 000 приходило взглянуть на него; многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в его лицо; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума».

Никто из друзей не отметил тогда смуглого, молодого гусарского офицера, который пришел проститься со старшим поэтом. Но после этих траурных дней имя Лермонтова, раньше мало кому известное, слилось с именем Пушкина. Весь читающий Петербург повторял его стихи:

Погиб поэт! невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой.
С свинцом в груди и жаждой мести
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде... И убит!

К тяжкому чувству непоправимой народной утраты примешивалось негодованье против чужеземца, у которого поднялась рука на Пушкина. Роптали и на то, что Бенкендорф ничего не сделал, чтобы предотвратить дуэль, хотя знал, что она надвигается.

Эти разговоры напугали шефа жандармов. Он вообразил, что кто-то готовит манифестации, враждебные не только Геккерну, но и правительству, с которым Бенкендорф себя отождествлял. Ему чудились заговоры, происки какой-то «демагогической партии», существовавшей только в воображении жандармов. Чуть ли не бунт. Жандармы, как сообщает «Отчет о действиях корпуса в 1837 г.», стали выяснять: «Относились ли эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту? В сем недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное, как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либерализма — высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено».

Со своей стороны, министр просвещения граф С. С. Уваров дал цензуре соответственные этому жандармскому решению указания и распорядился, чтобы «в статьях была соблюдена настоящая умеренность и тон приличия».

Статей почти не было. Немногочисленные журналы и газеты не дерзали отдать должное зачинателю русской словесности, величайшему русскому поэту. О том, что он был смертельно ранен на дуэли, в печати не было сказано ни слова. Даже разговаривали об этом вполголоса, в письмах писали с оглядкой. Описывая в письме к С. Л. Пушкину все подробности последних дней поэта, Жуковский ни слова не упомянул о ране, не объяснил, от чего внезапно скончался 37-летний, полный сил и здоровья, человек.

В «Литературном Прибавлении к Русскому Инвалиду» появилась короткая заметка в черной рамке. Она начиналась словами: «Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался в цвете лет, в середине своего великого поприща».

Старший цензор, князь М. А. Дондуков-Корсаков, президент академии, высмеянный Пушкиным в эпиграммах, вызвал к себе редактора, А. А. Краевского, и сделал ему строгое внушение:

— Что это за черная рамка? Что за солнце поэзии... великое поприще... Что он был, полководец или министр? Писать стишки — какое это поприще?

Это была единственная газетная траурная рамка, но весь

Петербург, знатный и незнатный, публика и народ, как тогда говорили, волновался, негодовал, горевал. Сдержанный, все смягчавший Жуковский писал Бенкендорфу:

«Весьма естественно, что после того, как распространилась в городе весть о гибели Пушкина, поднялось много разных толков; весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему, как к любимому русскому поэту, оживился безвременной трагической смертью (в этом чувстве нет ничего враждебного, оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо проявляет, что она дорожит своею славою). Вероятно, во многих это чувство было соединено с негодованием против убийц Пушкина, может быть, и с выражением мнения... вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского, и кого же русского — Пушкина... Вероятно и то, что говорили о Пушкине с живым участием, о том, как хорошо бы изъявить ему уважение какими-нибудь видимыми знаками... Возможно, что были разговоры и о том, что надо отпречь лошадей и довезти колесницу до церкви, что хорошо бы произнести речь и поразить его убийц».

Во всем этом Жуковский не видел ничего предосудительного, опасного. Но Бенкендорф видел. Он так боялся каких-то беспорядков, чуть не восстания, что приказал снять с репертуара «Скупого рыцаря», где известный трагик Каратыгин должен был играть главную роль. Тургенев в письме к Нефедьевой пояснил: «Вероятно, опасаются излишнего энтузиазма».

Ярко вспыхнувшая народная любовь к погибшему поэту тщетно искала проявления. Не было ни прессы, ни публичных собраний, ни клубов, ни лекций. Общественное мнение было лишено всякой возможности высказаться. Самым глубоким, самым русским выражением общих чувств должны бы были быть торжественные похороны, общая молитва. Правительство и этого не допустило.

Николай I, как и его шеф жандармов, как его министр просвещения, считал «излишние почести» нежелательными.

Царь послал умирающему поэту милостивую записку, где назвал его любезным другом. Он несколько раз справлялся о его здоровье. После его кончины он проявил исключительную щедрость к семье, велел заплатить за Пушкина 100 000 рублей долгу. Назначил вдове и детям хорошую пенсию, приказал единовременно выдать ей 10 000 рублей и издать сочинения Пушкина на казенный счет. Все это он сделал. Но когда Жуковский предложил перечислить все эти милости в особом

рескрипте на смерть Пушкина, как составлял он когда-то рескрипт на смерть Карамзина, Николай отказал.

— Я не могу сравнить Пушкина с Карамзиным. Мы насилу довели его до смерти христианской, а Карамзин умирал, как ангел.

Царь тут же высказал Жуковскому свое неудовольствие, что Пушкина положили в гроб во фраке, а не в камер-юнкерском мундире.

— Небось по совету Вяземского?

— Нет. По желанию вдовы, — пояснил Жуковский.

У Царя не было подлинного уважения и дружественности к убитому. Князь Паскевич-Эриванский писал Николаю: «Жаль Пушкина как литератора, в то время, как талант его созревал, но человек он был дурной».

Царь ответил: «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю».

В оправдание Николая, вернее в объяснение его отношения к Пушкину, надо сказать, что не он один так смотрел. В деле дуэли далеко не все были на стороне Пушкина. Вяземский объяснял это тем, что «тайна, которой окружили все последние события его жизни, дает обширную пищу людскому невежеству и злобе». О дуэли и поведении Пушкина судили вкривь и вкось. Его недоброжелатели не стеснялись открыто высказывать сочувствие Геккернам. Саксонский посланник, барон Люцероде, доносил своему правительству:

«При наличии в высшем обществе настоящего представления о гении Пушкина и об его деятельности нельзя не удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство атаковалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека».

Об этом писал и Вяземский: «Некоторые из коноводов нашего общества, в которых нет ничего русского и которые не читали Пушкина, кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной полицией, не приняли никакого участия во всеобщей скорби. Хуже того. Они оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала чернить память Пушкина, как терзала при жизни его душу. Жалели о судьбе интересного Геккерна, а для Пушкина не находили ничего, кроме хулы».

Даже А. И. Тургенев, давний знакомец Пушкина, который не прочь был щеголять своей с ним близостью, сообщая об отказе Государя подписать рескрипт, писал Нефедьевой, что очень одобряет решение Царя: «Несмотря на всю привязанность к Пушкину и на мое искреннее уважение к его гению. Государь не мог выхвалять жизнь Пушкина, умершего на

поединке и отданного им под военный суд, но он отдал должное славе русской, олицетворявшейся в Пушкине».

Но огромное большинство грамотных русских людей было глубоко потрясено, огорчено, оскорблено гибелью Пушкина. Многие не скрывали своего негодования против его убийц и гонителей. Исключительная щедрость Царя как будто показывала, что он понимает, кого потеряла Россия, но поведение жандармов не менее явственно показывало настоящее отношение правительства к Пушкину и его друзьям. Бенкендорф все искал заговора. Кто-то послал ему анонимное письмо, где требовал суровой кары обоим Геккернам «за оскорбление народное». Бенкендорф нашел, что это «очень важное письмо, которое доказывает существование и работу общества». То есть тайного общества. Письмо неизвестного было доложено Царю.

Страх перед Пушкиным, даже мертвым, был так велик, что близким людям не позволили похоронить его достойным образом. Когда выяснилось, что в доме Пушкиных денег всего только 300 рублей, старый граф Григорий Строганов, родственник вдовы, взял на себя устройство похорон и все расходы. Он хотел придать им торжественный характер, что соответствовало и положению Пушкина, и привычкам самого Строганова. От имени Н. Н. Пушкиной были разосланы приглашения на отпевание, которое должно было состояться 1 февраля в Исаакиевском соборе. Это была приходская церковь Пушкиных.

Строганов просил митрополита совершить отпевание. Митрополит отказался. Это был первый признак того, что опала не снята и с мертвого поэта. Затем, 31 января, был получен приказ, что вынос тела должен произойти не утром, в день отпевания, а накануне ночью, без факелов. Отнести тело Пушкина было приказано не в собор, а в небольшую Конюшенную церковь.

Друзья поэта были поражены, оскорблены. Вот тут-то смиренный Жуковский и разразился тем письмом к Бенкендорфу, которое уже несколько раз цитировалось. Оно, кажется, осталось неотправленным по совету Тургенева. Это письмо — один из важнейших документов для изучения заключительной драмы Пушкина. Вот что Жуковский писал по поводу полицейских мер, принятых Бенкендорфом:

«Полиция перешла границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политической целью и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель и должны были иметь особенную натуру, чтобы в то

время, как душа их была наполнена глубокой скорбью, иметь возможность думать о волновании умов в народе через каких-то агентов, с какой-то целью, которая никаким рассудком постигнута быть не может».

То же чувство негодования и обиды кипит в письмах Вяземского. Великому князю Михаилу Павловичу он пишет: «Объявили, что мера эта была принята в видах общественной безопасности, так как толпа будто бы намеревалась разбить оконные стекла в домах вдовы и Геккерна. Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом: осмелились со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал, навязали им чувства, враждебные властям, утверждая, что не друга, не поэта оплакивали они, а политического деятеля. Выражение горя к столь несчастной кончине, потеря друга, поклонение таланту были истолкованы как политическое и враждебное правительству движение».

Страх народного возмущения, о котором никто не помышлял, кроме жандармов, был так велик, что на Мойке, вокруг дома Волконских, на соседних улицах, на всем пути от дома до Конюшенной улицы, поставили солдат. И этого показалось мало. В ночь выноса в небольшую гостиную Пушкиных, где собрались только самые близкие друзья покойного, внезапно явился наряд жандармских офицеров.

«Без преувеличенья можно сказать, — писал Вяземский, — что у гроба собралось больше жандармов, чем друзей. Не говоря уж о солдатских пикетах, расставленных на улицах. Но против кого же была эта воинская сила, наполнявшая собой дом покойного? Против кого эти переодетые, но всеми узнанные шпики? Они были там, чтобы не упускать нас из виду, подслушивать наши сетования, наши слова, быть свидетелями наших слез, нашего молчания».

В первом часу ночи, когда опустели улицы, когда затихла русская столица, тело ее певца перевезли в церковь настолько тесную, что вместить всех приглашенных на отпевание она не могла. Несмотря на все это, «похороны Пушкина отличались особой пышностью и торжественностью», как доносил своему правительству барон Люцероде, который был так огорчен этой смертью, что вечером, в знак траура, отменил у себя танцы. Многие ли русские так же поступили, неизвестно.

Небольшая церковь была переполнена. Был весь дипломатический корпус, кроме больного английского посла и, конечно, голландского посланника. Суетный Тургенев в тот же день докладывал Нефедьевой: «Народ в церковь не пускали. Едва достало места и для блестящей публики... Дамы

красавицы и модниц множество... Мы на руках вынесли гроб в подвал, на другой двор; едва нас не раздавили. Площадь вся покрыта народом, в домах и на набережной Мойки тоже».

«Это действительно народные похороны, — записал в дневник цензор Никитенко. — Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, — все стеклось к церкви, где отпевали поэта. Площадь была усеяна экипажами и публикой».

Было сделано все, чтобы не допустить на похороны молодежь. Лицеистам не позволили приехать из Царского Села. В университете обязали профессоров читать в этот день лекции, боялись, что они, вместе со студентами, устроят демонстрацию. Студенты поодиночке, украдкой пробирались на площадь, поклониться праху величайшего русского писателя. Многие из них, вероятно, повторяли стихи Лермонтова, уже разлетавшиеся по Петербургу, по России. Эти стихи усиливали нервность жандармов, хотя клеймящие их слова о надменных потомках известной подлостью прославленных отцов были добавлены Лермонтовым позже, на гауптвахте, куда его за эти стихи посадили.

Свой страх правительство проявляло грубо и бестактно. Запреты, солдаты, нелепые распоряжения и стеснения придали похоронам политический характер, отняли от них то общенародное благолепие, которым они должны были быть отмечены. Это задело, возмутило многих и, конечно, прежде всего друзей Пушкина.

Жуковский и лично был глубоко обижен. 28 января, когда Пушкин был еще жив, Царь поручил Жуковскому хранение и разбор его бумаг. Было условлено, что Жуковский их опечатает, вернет частные письма авторам. Бумаги, которые по своему содержанию могут быть во вред Пушкину, Жуковский имел право сжечь. Согласно этим указаниям Царя Жуковский 29 января, через час после смерти поэта, как только тело его было вынесено из кабинета и поставлено в передней, наложил свои печати на все находившиеся в кабинете бумаги.

На следующий день ему было сообщено, что разбирать бумаги он должен не один, а вместе с жандармским генералом Дубельтом. Государь так мало доверял воспитателю своего наследника, что даже в таком чисто литературном деле приставил к нему жандармскую няньку. Шпионы, следившие за друзьями Пушкина, за всеми, кто приходил в квартиру, подметили в гостиной, в цилиндре Жуковского, какие-то конверты, пакеты. Для Бенкендорфа этого было достаточно, чтобы заподозрить Жуковского в том, что он украдкой, обманывая доверие Царя, выносит из квартиры бумаги покойного.

На самом деле это были пакеты с письмами Пушкина к жене, которые она передала Жуковскому.

«Само собой разумеется, — с понятным раздражением писал Жуковский Бенкендорфу, — что такие письма, мне вверенные, не могли принадлежать к тем бумагам, кои мне приказано было рассмотреть. Да их, впрочем, и представлять было не нужно: все они были читаны, в чем меня убедило то, что между ними нашлось именно то, из которого за год перед тем некоторые места были представлены Государю Императору и навлекли на Пушкина гнев Его Величества, потому что в отдельности своей представляли совсем не тот смысл, какой имели в самом письме в совокупности с целым».

Отстранить генерала Дубельта от разбора Пушкинских бумаг Жуковский не мог, но Бенкендорфу рыться в них он все-таки не дал. Шеф жандармов хотел, чтобы весь архив поэта был доставлен к нему в Жандармское управление, где он мог бы сам его рассмотреть. Жуковский настоял на том, чтобы бумаги были доставлены к нему, в его казенную квартиру в Аничковом дворце.

Царь сначала принял предложение Жуковского вернуть, не читая, частные письма тем, кто их писал. Но Бенкендорф настоял на своем праве их прочесть, «чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность которого должна быть обращена на всевозможные предметы».

Отпеть Пушкина тайком оказалось невозможным, но его гроб тайком увезли из Петербурга, точно хоронили преступника. Пушкин заранее купил себе место на кладбище Святогорского монастыря. Туда его и отправили. В ночь с 3 на 4 февраля гроб вынесли из подвала, завернули в рогожу, поставили на простую телегу, устланную соломой, и повезли во Псков. Наталья Николаевна осталась дома. Она не была при муже, когда он умирал. Не была и в церкви, на отпевании, может быть, тоже боялась враждебных манифестаций. А скакать за гробом сотни верст по скверным дорогам ей уже было не под силу. Она тяжело переживала обрушившуюся на нее катастрофу.

Царь приказал Тургеневу сопровождать тело. В ту зиму Тургенев был в немилости. Это первое царское поручение так его взволновало, что его обычная суетливость перешла все пределы. В нем, как в дядюшке Василии Львовиче, было много комического, нелепого. «Не до смеха было, а нельзя было воздержаться от смеха, глядя на Тургенева и на сборы его дорожные», — писал Вяземский Булгакову *(5 февраля 1837 г.)*.

Странная погребальная процессия, пугавшая встречных, двинулась. Впереди скакал жандармский полковник. За ним телега с гробом, на которой примостился верный старый Никита, 20 лет служивший Александру Сергеевичу. Шествие замыкала кибитка, в которой сидел Тургенев.

Жандарму было приказано мчаться во весь дух, без остановок. На следующий день к вечеру они уже доскакали до Пскова, сделав 400 верст. Вдогонку мертвому Пушкину мчался еще камергер Яхонтов. Ему было приказано объяснить псковскому губернатору «волю Государя, чтобы воспретил всякое особое изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно, по нашему обряду, исполняется при погребении тела дворянина».

Этого Яхонтова Тургенев на пути встретил. Он его раньше знал. Напоил чаем, потом обогнал, приехал в Псков раньше его и 4 февраля поспел к губернатору на вечеринку. «Яхонтов скор и прислал письмо Мордвинова (помощника Бенкендорфа. — *А. Т.-В.*), которое губернатор начал читать вслух, но дошел до Высочайшего повеления — *о невстрече* — тихо, и показал только мне, именно тому, кому казать не должно было. Сцена, хотя бы из комедии», — записал Тургенев в тот же вечер в дневник.

Так, по-шекспировски, сплеталось вокруг гроба поэта трагическое и комическое. Царь и жандармы напрасно тревожились. Ни дорогой, ни во Пскове никто и не думал устраивать встречи, изъявлять какие бы то ни было чувства.

Только старый дядька, Никита Козлов, по словам жандармского полковника, «так убивался, что смотреть было больно, как убивался. Привязан был к покойному. Не отходил почти от гроба, не ест, не пьет».

6 февраля, рано утром, опустили земные останки Пушкина в могилу. Около нее, кроме жандарма и нескольких крепостных, стояли только Тургенев да Никита.

1923—1939 г.
Лондон

КОНЕЦ

БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения Пушкина. Изд. Имп. Академии наук. Т. I (1900), II (1905), III (1912), IV (1916), XI (1914). СПб.

Сочинения А. С. Пушкина. Изд. П. В. Анненкова. В 7 тт. СПб., 1855—1857.

То же. Под ред. О. Морозова. В 7 тт. СПб., 1887.

Пушкин. Под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауз и Эфрон. В 6-ти тт. СПб., 1907—1915.

Сочинения Пушкина. Переписка. Под ред. и с прим. В. И. Саитова. Изд. Имп. Академии наук. В 3-х тт. СПб., 1906—1911. (Примечаний нет.)

Пушкин. Письма. Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского. Труды Пушкинского Дома Академии наук. Т. 1 — 2. М.; Л., 1926—1928.

Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Труды Пушкинского Дома. Л., 1927.

Дневник Пушкина (1833—1835). Ред. и прим. Б. Л. Модзалевского. Госиздат. М.; Пг., 1923.

А. С. Пушкин. Гаврилиада. Под ред. Б. Томашевского. Труды Пушкинского Дома.

П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки его произведений. Изд. Общественная польза. СПб., 1873.

Его же. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874.

Его же. Воспоминания и критические очерки. Т. 1—3. СПб., 1879—1881.

П. В. Анненков и его друзья. Изд. Суворина. СПб., 1892.

А. Барсуков. О Ганнибалах. — Русский Архив. 1891.

П. И. Бартенев. Род и детство Пушкина. — Отечественные записки. 1853. Т. 91.

Его же. Материалы для биографии Пушкина. 1855.

Его же. Пушкин. — Московские ведомости. 1854 и 1855.

Его же. О Пушкине. Рассказы кн. Веры Вяземской и Вяземского.

Его же. К биографии Пушкина. СПб., 1888.

Его же. Пушкин в южной России. М., 1914.

Его же. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей. Под ред. М. Цявловского. Изд. М. и С. Сабашниковых. М., 1925.

Его же. XIX век. Т. 1. М., 1872.

Н. Б. Берг. Сельцо Захарово. — Москвитянин. 1851. № 9—10.

Д. Благово. Рассказы бабушки. М., 1885.

В. Вересаев. Пушкин в жизни. Вып. 1 — 4. Изд. Недра. М., 1926—1927.

Ф. Ф. Вигель. Воспоминания. М., 1864.

Кн. Сергей Волконский. О декабристах. Париж, 1921.

Кн. П. А. Вяземский. Сочинения. В 9-ти тт. СПб., 1878 - 1884.

Кн. П. П. Вяземский. Пушкин по документам Остафьевского Архива. — Русский Архив. 1884. Т. 2.

В. П. Гаевский. О Дельвиге. — Современник. 1853. Т. 37 и 39; 1854. Т. 43 и 47.

Его же. Празднование лицейской годовщины. — Отечественные записки. 1861. Т. 139.
Его же. Пушкин в Лицее. — Современник. 1863. № 7.
Его же. Пушкин и Кривцов. — Вестник Европы. 1887. № 12.
Его же. О перстне Пушкина. — Вестник Европы. 1888. № 2.
Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по Императорскому Царскосельскому Лицею. В 3-х тт. СПб., 1912.
М. О. Гершензон. Семья декабриста. — Былое. 1906.
Его же. Мудрость Пушкина. М., 1919.
Его же. Статьи о Пушкине. Изд. Гос. Академии художественных наук. 1926.
Ф. Глинка. Сочинения. 1869.
М. Л. Гофман. Поэзия Карамзина. — Руль. 1926. № 1919.
К. Я. Грот. Царскосельский Лицей. Бумаги I-го курса, собранные Я. Гротом. СПб., 1911.
Я. К. Грот. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Изд. Имп. Академии наук. СПб., 1866.
Его же. Переписка с П. А. Плетневым. Т. 1 — 3. СПб., 1896.
Его же. Труды и сочинения. СПб., 1898.
Его же. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899.
Д. В. Давыдов. Сочинения. Изд. Смирдина. М., 1848.
М. В. Данилов. Записки. 1842.
Барон А. А. Дельвиг. Сочинения. СПб., 1895.
Его же. Неизданные стихотворения. Ред. М. Л. Гофман. — Труды Пушкинского Дома. 1922.
Барон А. И. Дельвиг. Мои воспоминания. В 4-х тт. Изд. Румянцевского Музея. М., 1913.
И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь. М., 1866.
Его же. Письма разных лиц к Дмитриеву. 1867.
М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. 1869.
Кн. И. М. Долгоруков. Капище моего сердца, или словарь всех тех лиц, которых встречал. — Русский Архив. 1890.
Кн. П. Долгоруков. Хроника недавней старины.
Гр. Р. Эрдинг. Мемуары. М., 1888.
В. Жирмунский. Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Пг., 1922.
Его же. Байрон и Пушкин. Изд. Academia. Л., 1924.
С. П. Жихарев. Записки. — Русский Архив. 1890—1891.
Его же. Биография Чаадаева. — Вестник Европы. СПб., 1871.
В. А. Жуковский. Сочинения. Под ред. проф. А. С. Архангельского. В 3-х тт. СПб., 1906.
Заозерский. Пушкин в воспоминаниях современников.1910.
К. П. Зеленецкий. Г-жа Ризнич и Пушкин. — Русский Вестник. СПб., 1856.
В. Зелинский. Русская критическая литература о произведениях Пушкина. М., 1887.
Гр. П. Капнист. О высылке Пушкина из Одессы. — Русская Старина. 1899.
Н. М. Карамзин. Письма к И. И. Дмитриеву.
Его же. Неизданные сочинения и переписка. 1862.
В. Кеневич. Примечания к басням Крылова. 1868.

А. А. Корнилов. Н. И. Тургенев и Союз Благоденствия.
Барон М. А. Корф. Восшествие на престол Николая I. СПб., 1857.
Д. Д. Кропотов. Жизнь гр. М. Н. Муравьева. СПб., 1874.
И. И. Лажечников. Знакомство мое с Пушкиным. — Русский Вестник. 1856.
Н. Лернер. Труды и дни. М., Изд. Скорпион. 1903.
И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. — Русский Архив. 1866.
Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899.
Его же. Материалы для академического издания сочинений Пушкина. Изд. Имп. Академии наук. СПб., 1902.
М. Макаров. Пушкин в детстве. (Из записок о моем знакомстве.) — Современник. СПб., 1843.
А. И. Маркевич. Пушкин и Новороссийский край. — Записки Новороссийского университета. Одесса, 1900.
И. И. Мартынов. Воспоминания. — Заря. 1871.
Maturin. Melmoth the Wanderer. London, 1820.
Мациевич. Кишиневские предания о Пушкине. — Исторический вестник. 1833.
В. О. Михневич. Дед Пушкина. — Исторический вестник. 1866.
Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. — Труды Пушкинского Дома при Российской Академии наук. 1925.
Вел. Кн. Николай Михайлович. Граф П. А. Строганов. СПб., 1903.
Его же. Русские портреты.
Новые матерьялы о дуэли и смерти Пушкина. Под ред. Модзалевского, Оксмана, Цявловского. Атеней. СПб., 1824.
В. А. Озеров. Сочинения. СПб., 1828.
А. Ф. Онегина собрание. — Неизданный Пушкин. — Труды Пушкинского Дома. М.; Пг., 1923.
Остафьевский Архив князей Вяземских. — В 5-ти тт. Изд. Гр. С. Д. Шереметьева. Под ред. В. И. Саитова. СПб., 1899—1913.
Л. Павлищев. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890.
Памяти Пушкина. — Научно-литературный сборник Университета Св. Владимира. Киев, 1899.
П. А. Плетнев. О жизни и сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1853.
Его же. Сочинения и переписка. По поручению II отд. Имп. Академии наук издал Я. К. Грот. СПб., 1885.
Л. Поливанов. Демон Пушкина. — Русский Вестник. СПб., 1886.
А. С. Поляков. О смерти Пушкина. — Труды Пушкинского Дома. Госиздат СПб., 1922.
Пушкин и его Современники. Изд. Имп. Академии наук. СПб. Начато в 1903 г. (Могла достать только первые 20 выпусков.)
Пушкинский Сборник. Изд. Юрьевского университета. 1899.
Алексей Юр. Пушкин. Для биографии Пушкина. — Москвитянин. 1852.
В. Л. Пушкин. Стихотворения. М., 1822.

Его же. Опасный сосед. Лейпциг, 1855.
С. Л. Пушкин. Об отрывке из дневника Пушкина. — Современник. 1840. XIX.
И. И. Пушин. Записки. СПб., 1907.
Раевских архив. Под ред. Модзалевского. В 4-х тт. СПб., 1908—1911.
Raikes, Thomas. A visit to St. Petersburg (1829—1830). 1838.
Н. Розанов. Воспоминания о Д. М. Велланском. — Русский Вестник. 1867.
А. О. Россет. Рассказы о Пушкине. — Русский Архив. 1882.
Е. А. Сабанеева. Воспоминания о былом. СПб., 1914.
Д. Садовников. Отзывы современников о Пушкине. — Исторический вестник. 1883.
В. И. Саитов. Соболевский, друг Пушкина. Изд. Парфенон. СПб., 1922.
Д. Свербеев. Воспоминания о Чеадаеве. — Русский Архив. 1868.
И. Селезнев. Исторический очерк бывшего Царскосельского, ныне Александровского Лицея. СПб., 1861.
М. И. Семевский. Рассказы о Тригорском. — СПб. Ведомости. 1866. № 139—168.
А. О. Смирнова-Россет. Записки. СПб., 1895.
Н. М. Смирнов. Воспоминания. — Русский Архив. 1882.
С. А. Соболевский. Таинственные приметы в жизни Пушкина. — Русский Архив. 1870.
Его же. Библиографическая судьба Пушкина. — Вестник Европы. 1871.
Заметки о полном собрании сочинений Пушкина. — Вестник Европы. 1869—1870.
Б. Соколов. Кн. М. Волконская и Пушкин. Изд. Задруга. М., 1922.
Гр. В. А. Соллогуб. Воспоминания. СПб., 1887.
Его же. Вчера и Сегодня. СПб., 1845.
Вл. Соловьев. Судьба Пушкина. СПб., 1898.
Тайные общества в России в начале XIX столетия. Сборник.
С. А. Толстой. Федор Толстой Американец. Гос. Академия художественных наук. М., 1826.
Б. Томашевский. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925.
N. Tourgeneff. La Russie et les Russes. Paris, 1847.
Архив братьев Тургеневых. Изд. Академии наук. Т. 1—2. 1911—1913.
А. М. Фадеев. Воспоминания. — Русский Архив. 1891.
А. А. Фукс. Воспоминания о Пушкине. — Русская Старина. СПб., 1899.
Влад. Ходасевич. Русалка. Глава из книги «Поэтическое хозяйство Пушкина».
Хроника недавней старины. Из архива кн. Оболенского-Нелединского-Мелецкого. М., 1876.
М. Цявловский. Письма Пушкина и к Пушкину. Изд. Гос. Академии художественных наук. М., 1925.
Н. К. Шильдер. Император Александр I, его жизнь и царствованье. СПб., 1904.

А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. СПб., 1903.
Его же. Записка. Русский Архив. 1865.
И. А. Шляпкин. К биографии А. С. Пушкина. СПб., 1899.
Его же. Из неизданных бумаг Пушкина. СПб., 1903.
Его же. Описание Пушкинского Музея Имп. Александровского Лицея. СПб., 1899.
П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. СПб., 1911.
Его же. М. Волконская. Изд. Парфенон. СПб., 1922.
М. В. Юзефович. Записки. Русский Архив. 1880.

Это далеко не полный список статей и книг, которыми мне пришлось пользоваться. Но обстоятельства так сложились, что составить более исчерпывающую библиографию я была не в состоянии.
Лондон. 1. I. 1929. А. Т.-В.

Дополнение к библиографии, помещенной в первом томе. (Из второго тома «Жизни Пушкина» А. В. Тырковой-Вильямс.)

А. В. Литературные воспоминания. — Москвитянин. 1851. № 12.
И. С. Аксаков. Письмо о Пушкинском празднике. — Русский Архив. 1890.
Альбом Пушкинской Юбилейной Выставки в Имп. Академии наук. СПб., 1899.
Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 г. Изд. Любителей Российской словесности. М., 1882.
Альбом. Пушкинский уголок. В. П. Острогорский. М., 1899.
Митрополит Анастасий. Пушкин в его отношении к религии и православной церкви. Белград, 1937.
Арзамас. — Современник. 1851. Январь.
А. П. Арапова. Н. Н. Пушкина-Ланская. Приложения к «Новому Времени». 1907—1906.
А. С. Архангельский. Пушкин в Казани в 1833 году. 1899.
В. Брюсов. Письма Пушкина и к Пушкину. Изд. Скорпион. М., 1903.
Его же. Лицейские стихи Пушкина. СПб., 1907.
Е. Г. Вейденбаум. Путешествие в Арзрум. — Русский Архив. 1905. Кн. 4.
Временник Пушкинской Комиссии. Академия наук СССР. М.; Л., 1936.
А. Н. Вульф. Дневник. М., 1929.
М. О. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912.
М. Л. Гофман. Пушкин Дон Жуан. Париж, 1935.
Н. Греч. Записки о моей жизни.
К. К. Данзас, В. И. Даль и В. А. Соллогуб. Последние дни жизни и кончина Пушкина. 1863.
Г. Р. Державин. Записки. М., 1860.
К. П. Зеленецкий. Сведения о пребывании Пушкина в Кишиневе и Одессе. — Москвитянин. 1854. № 9.
Звенья. Сборники. М., 1933 и 1935.
А. П. Каратыгин. Воспоминания. — Русская Старина. 1880. Июль
Бар. М. А. Корф. Записки.

Н. Кулишер. Пушкин и Нащокин. — Русская Старина. 1880.
В. К. Кюхельбекер — Русская Старина. 1875 и 1883.
Его же. Дневник. Предисловие Ю. Н. Тынянова. М., 1923.
Barry Cornwell. Dramatic Scenes.
Летопись Гос. Литературного Музея. Под ред. М. Цявловского. М., 1936.
В. В. Ленц. Приключения финляндца. — Русский Архив. 1878. Кн. 4.
Н. И. Лорер. Записки декабриста. Госиздат. М., 1934.
Литературное наследство. Госиздат. М., 1934.
Б. Модзалевский. Керн. Л., 1924.
Его же. Пушкин. Труды Пушкинского Дома. Л., 1929.
Московский Журнал. 1801—1803.
Московский Пушкинист. Под ред. М. Цявловского. М., 1927.
В. Нащокин. — Русский Архив. 1887. Кн. 1.
Б. Л. Недзельский. Пушкин в Крыму. Крымское изд., 1929.
А. В. Никитенко. Дневник. СПб., 1905.
Николаевская эпоха. Сборник.М., 1911.
Кн. А. П. Оболенский. Из архива кн. Оболенского-Нелединского-Мелецкого. М., 1876.
А. А. Оленина. Дневник. 1828—1829 гг. Париж, 1936.
Отчет Имп. Публичной библиотеки. Описание бумаг Пушкина. 1889.
Павлов-Сильванский. Пестель. — Русский Биографический словарь.
Памяти Пушкина. Изд. СПб. Университета. 1900.
Письма женщин к Пушкину. М., 1828.
М. Погодин. Воспоминания. — Русский Архив. 1865. № 1.
М. М. Попов. А. С. Пушкин. — Русская Старина. 1874. Т. X.
Потокский. Воспоминания. — Русская Старина. 1880. Т. VII.
Пушкинские дни в Одессе. 1900.
Пушкинский сборник. СПб., 1899.
М. И. Пущин. Записки. — Русская Старина. 1881 и Русский Архив. 1908.
Др. Рудыковский. Встречи с Пушкиным. — Русский вестник. 1841. № 1.
Рукою Пушкина. М. Цявловский и Л.Б. Модзалевский. 1935. Academia.
Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Л. Модзалевский и Б. Томашевский. 1937.
Н. А. Саввин. Болдино и Пушкин. Нижний Новгород, 1929.
Д. Сапожников. Ценная находка. Вновь найденные рукописи Пушкина. СПб., 1899.
А. О. Смирнова. Записки, дневники, воспоминания. Прим. Л. В. Крестовой. Изд. Фед. М., 1925.
С. А. Соболевский. Переписка с А. С. и Л. С. Пушкиными. — Русский Архив. 1878.
М. И. Сухомлинов. Император Николай I, критик и цензор Пушкина. — Исторический Вестник. 1884. № 1.
Его же. Исследования и статьи по русской литературе.
Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926.
А. Г. Фомин. Пушкиниана. Изд. Академии наук. 1929.

П. Я. Чаадаев. Сочинения и письма. М., 1913.
П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. 1928.
Thomas B. Shaw. Pushkin, the Russian Poet. — Blackwood's Magazine. 1845. VII, VIII.
В. А. Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887.
В. Е. Якушкин. О Пушкине. М., 1899.
Его же. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Румянцевском Музее.
И. Д. Якушкин. Воспоминания. — Русская Старина. 1884. Кн. II—XII.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ ПУШКИНА

к с. 7. Пейзаж с домами и церковью. *15 сентября 1833.*

к с. 139. Автопортрет в виде всадника в бурке и с пикой. *1829.*

к с. 255. Портрет Н. Н. Гончаровой (?). «Медный всадник». *6 октября 1833. Болдино.*

к с. 351. Пейзаж с рекой. *Вторая половина ноября 1833 (?). Санкт-Петербург (?).*

к с. 435. Похоронная процессия. «Гробовщик». *Около 9 сентября 1830. Болдино.*

НА ПЕРЕПЛЕТЕ

Портрет А. С. Пушкина *(гравюра Т. Райта. 1836).*

Рукопись «Повестей Белкина» *(фрагмент фотоиллюстрации Е. Кассина).*

«Скамья Онегина» в Тригорском *(фрагмент фотоиллюстрации Е. Кассина).*

*

Фотоиллюстративный ряд открывают:

в 1-м томе — портрет А. С. Пушкина работы неизвестного художника (С. Г. Чирикова?). *1810-е гг.*

во 2-м томе — портрет А. С. Пушкина работы В. А. Тропинина. *1827.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
РАБОТА И ЗАБОТА
(1833—1836 гг.)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
СБЫВАЮТСЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ
(1836—1837 гг.)

Тыркова-Вильямс А. В.
Т 93 Жизнь Пушкина: В 2 т. Т. 2: 1824—1837. — 4-е изд. — М.: Мол. гвардия, 2004. — 514[14] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 875).

ISBN 5-235-02652-7 (т. 2)
ISBN 5-235-02650-0

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869—1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй — там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, — наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

УДК 882(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна
ЖИЗНЬ ПУШКИНА

Главный редактор **А. В. Петров**
Редакторы **А. Ю. Карпов, О. И. Ярикова, А. В. Никитин**
Художественный редактор **А. Б. Романова**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**
Набор и верстка **А. А. Горкин, А. В. Никитин**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Подписано в печать с готовых монтажей 16.12.2003. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 27,72+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 34704.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127030, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127030, Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02652-7 (т. 2)
ISBN 5-235-02650-0